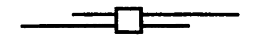
А.В. Амфитеатров

3

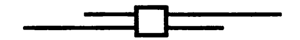
А.В. Амфитеатров

А.В. АМФИТЕАТРОВ



А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений
в 10 томах



БАБЫ И ДАМЫ

МИФЫ ЖИЗНИ

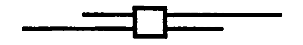


Москва
НПК «Интелвак»
2001

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений в 10 томах

Том третий



РАССКАЗЫ

ПОВЕСТИ

ЛЕГЕНДЫ



Москва
НПК «Интелвак»
2001

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

«Федеральная программа книгоиздания России»

Составление, примечания *Т.Ф. Прокопова*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-019-7
ISBN 5-93264-029-4 (т. 3)

БАБЫ И ДАМЫ

Междусословные пары

От автора ко 2-му изданию

Рассказы, объединенные под общим заглавием «Междусословные пары», написаны мною в разные годы на общую тему о «любви — разрушительнице каст», по сюжетам, собранным дружескою анкетою. Еще лет двадцать тому назад я заинтересовался сказанною темою под впечатлением одного частного случая, изложенного в рассказе «Домашние новости». Тогда я обратился к нескольким друзьям своим, рассеянным в беспредельности русской провинции, с просьбою, — если им известен или станет известен однородный факт демократической любви — брачной или внебрачной — не отказать мне сообщить о нем сколько возможно подробно. В результате я в несколько лет сделался обладателем 48 сюжетов для романа, основанного на «человеческих документах». Из них в течение литературной деятельности своей я использовал не более трети. Сюжет «Мечты», — посвященный мною Льву Николаевичу Толстому, потому что он был заинтересован рассказом, узнав в героине девушку, ему знакомую, — сообщен мне известным народовольцем, болгарином Гавриилом Беламезовым. Справедливость требует отметить, что, по словам Льва Николаевича Толстого, Беламезов слишком идеализировал «Мечту» и в действительности ею двигали мотивы, хотя и не дурные, но гораздо менее «не от мира сего», чем изображено в моем рассказе. «Побег Лизы Басовой» записан мною в Париже, со слов лица, непосредственно участвовавшего в этом приключении. Думаю, что по истечении почти четверти века не будет нескромностью указать, что рассказ «Нелли Раинцева», у меня

имеющий местом действия Петербург и написанный с петербургскою бытовою обстановкою, построен на фактической основе многошумного, гораздо грубейшего, чем рискнули изобразить мои смягченные краски, скандала не в петербургском, но в московском большом свете второй половины восьмидесятых годов. Этому рассказу, впервые появившемуся в покойной «Неделе» Гайдебурова, почему-то очень повезло за границею. С легкой руки «Berliner Tageblatt» «Нелли Раинцева» была переведена на многие европейские языки. Habent sua fata libelli... *

Александр Амфитеатров

Cavi di Lavagna
1910

* Книги имеют свою судьбу... (*лат.*)

ДОМАШНИЕ НОВОСТИ

I

Гражданин Северо-Американских Соединенных Штатов Александр Николаевич Чилюк лежал на диване и сам себе не верил: неужели он опять в России, в захолустной деревушке своего отца, в том самом доме, откуда двенадцать лет тому назад ушел он в свое всесветное бродяжничество?

Да... и даже ничего не изменилось с тех пор в этой тихой обители. Те же темные, поблекнувшие обои, те же кожаные диваны, те же портреты генералов и архиереев по стенам... все старое: точно и не уезжал... Недостает только, чтобы по дому раздавались быстрые тяжелые шаги и резкий бранчивый голос матери Чилюка, умершей в его отсутствие... Чилюк поморщился: ему припомнилось, как здесь, в этой комнате, где теперь наслаждается он послеобеденным отдыхом, разыгралась двенадцать лет тому назад горькая, тяжелая сцена.

Мать его ненавидела, а уж если мать ненавидит свое дитя, то ненависть бывает ужасна и беспощадна. У Чилюка мороз по коже пробежал при воспоминании о детстве — голодном, холодном, полном слез и бесчеловечных наказаний. Другой бы ребенок не вынес, но он унаследовал, точно назло матери, ее богатырское сложение и вырос молодцом. И головой его Бог не обидел. Шесть классов гимназии про-

шел он в первом разряде, а тут и попутал грех. Чилюк переслал во время extemporale * записку слабому товарищу. Вспыльчивый педагог обмолвился... назвал Чилюка мерзавцем, а Чилюк ответил пощечиной... Выгнали с волчьим паспортом, и хорошо еще, что только тем кончилось дело. Мог угодить в тюрьму... в солдаты...

— Поздравляю, Александр Николаевич, с повышением. Теперь вам уже и до арестантских рот недалеко.

И Чилюку стало немножко жутко, когда он воскресил в памяти мать — тучную пожилую женщину с желтым лицом, искаженным от гнева на ненавистного сына. Щеки у нее тряслись, и глаза остановились, как у одержимой столбняком, когда она говорила эти злые, нематеринские слова. Но тогда Чилюк не сробел, сам по-волчьи сверкнул на мать своими, похожими на ее, глазами и так же злобно и презрительно ответил ей:

— Сами не попадите туда раньше меня!

Отец при этой фразе испуганно зажал уши и выбежал из комнаты.

Александр Николаевич улыбнулся: отец ничуть не изменился за двенадцать лет. Все тот же сырой, рыхлый мужчина с кислым, никогда не выглядевшим молодо, но зато и не стареющим бабьим лицом. По-прежнему женолюбив, слаб и не может жить без опеки. Александру Николаевичу очень не понравилась, по первому взгляду, особа, заменившая в доме его мать, —эта Александра Кузьминишна... или как там ее? Словом, «мой лучший друг», по рекомендации отца. У нее фигура крупичатой уездной поповны, а лицо старой девы — нос башмаком и злые серые глаза буравчиком; если она рассердится, они, вероятно, станут зелеными. Такие глаза бывают только у скверных людей. Отец, по-видимому, у нее в полном подчинении: что ни вздумает сказать, сперва взглянет на Александру Кузьминишну, точно спро-

* Учебные упражнения в переводах на латинский или греческий язык (*лат.*).

сит позволения. Влюблен, как кот, и под башмаком, — ясное дело. Каково-то уживается с избранницей его сердца сестра Катя?

Александр Николаевич, по крайней мере, в десятый раз с утра пожалел, что не застал Катю дома.

— Угораздило же ее так некстати уехать к какой-то подруге, да еще в Саратовскую губернию, да еще на целый месяц! Этак и не увидишь ее, пожалуй... Через месяц я за тридевять земель буду. А хотелось бы повидать...

Когда, против воли порешив с гимназией, Александр Николаевич с отчаяния бросился в заманчивую, полную тревог и переворотов жизнь авантюриста и уехал добровольцем к Черняеву, Катя одна искренно плакала о нем. Мать и проститься не захотела с ним, отец благословил как-то наскоро и смущенно, словно втайне рад был, что отделался от «мерзавца»-сына, с которым решительно не знал, что делать дальше. Кате тогда было двенадцать лет; теперь она — уже двадцатичетырехлетняя девушка и, вероятно, красавица: девочкой она обещала много. Но Александр Николаевич не мог вообразить ее взрослою. Он вспомнил ее белое и румяное личико с большими черными глазами, ясными, чистыми и правдивыми, и у него потеплело на душе. Это личико часто грезилось ему, как последний обломок немногих приятных воспоминаний о родине, и в грозные ночи на алексинацких редутах, и когда он стоял вольным матросом на вахте парохода, уносившего его из Марселя в Соединенные Штаты, и в бараке, где он вместе с десятками товарищей-землекопов на линии Тихоокеанской железной дороги лежал в жестоких припадках малярии. Сколько он видел, испытал, пережил и перечувствовал в эти двенадцать лет! Чем только не был он в Америке! Землекоп, разносчик газет, посыльный, мелкий бакалейщик, матрос, дрогист, распорядитель общества похоронных процессий, адвокат, коммивояжер и, наконец, — для того, чтобы увенчать эту лестницу состояний, — сперва приказчик, а потом счастливый компаньон крупной мануфактуры, для которой он с чисто

российской сметкой, почти нечаянно, изобрел приспособление, дорого оцененное на рынке...

Дверь скрипнула.

— Саша, можно к тебе?

На пороге стоял отец Чилюка — Николай Евсеевич.

— Разумеется, папенька!

Старик вошел, тщательно запер дверь и опустил медный язычок на замочную скважину. Александр Николаевич наблюдал родителя не без изумления.

— Что это, папенька? К чему такие предосторожности?

Старый Чилюк сделал многозначительную гримасу и подсел к сыну.

— Видишь ли, друг мой, — пожевав губами, начал он очень тихим голосом, — ты меня извини, пожалуйста, что я потревожил твой сон...

— Да я не спал.

— Тем лучше... Но мне надо говорить с тобой об очень важном деле и... и секретно: главное, чтоб она не слыхала!

— Кто она? Александра Кузьминишна, что ли? А вы, добрейший папа, как я замечаю, имеете к ней немалый решпект.

Николай Евсеевич покраснел.

— Но... как же иначе? Она — не кто-нибудь, а девушка хорошей фамилии, с образованием и притом... гм!.. при том... хоть это — не совсем-то ловкое признание сыну со стороны отца, но ты, как человек бывалый, наблюдательный, не мог сам не заметить, что она мне очень дорога!

— Не мог не заметить: вы правы. Что же дальше?

— Саша! — трагически воскликнул Чилюк после некоторого молчания, — признайся: очень ты меня презираешь?

— Вас? За что? До ваших сердечных дел мне нет дела. Я — отрезанный ломоть, отделен от вас и морями, и горами, и реками. На таком почтенном расстоянии мы можем существовать, ничуть не нуждаясь в мнении друг друга.

— Как человек, как посторонний человек, Саша! — продолжал Николай Евсеевич. — Я знаю, что потерял право видеть в тебе члена семьи... Но как человек!

Сын пожал плечами.

— Что ж? Вам только пятьдесят лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. Меня же прошу уволить от ответа. Какой я вам судья? Я только что приехал, ни к чему не пригляделся. Может быть, дама вашего сердца — ангел, а может быть, — дьявол; может быть, ее присутствием создается рай в доме, а может быть, — ад. Как она уживается с Катей? Вот вам — судья настоящий, по праву, компетентный, с основаниями и доказательствами. К Кате и обратитесь. А мне что! Так-то, папа!

Александр Николаевич засмеялся, но старик не развеселился, а, напротив, сидел как в воду опущенный.

— Я должен тебе признаться, — пробормотал он, запинаясь и багровея, — что... это, конечно, очень странно... но Катя не живет у меня больше.

Александр Николаевич внимательно взглянул в смущенное лицо отца.

— То есть?

— Она ушла от нас.

— Как ушла? куда?

— Совсем ушла. Не поладила с Александрой Кузьминишной и не захотела оставаться с нею под одной крышей... так, потихоньку, и ушла. Ты знаешь Теплую слободу — тут близко, под городом? Там ее кормилица Федосья живет... кружевница — помнишь? У Федосьи и поселилась...

Александр Николаевич вскочил с дивана.

— Это бред какой-то! — вскричал он. — Неужели вы это серьезно? Да у вас в доме — эпидемия, что ли? То сын сбежал в Сербию, то дочь куда-то к черту на кулички. И потом: я помню Катю смирной, кроткой девочкой. Я думаю, надо было неистово оскорбить ее, чтобы она решилась на такую штуку!

— Александра Кузьминишна действительно была резка с нею...

— А у вас не хватило характера вступиться за дочь? — презрительно заметил Александр Николаевич.

— Ты напрасно так думаешь, Саша! Я, конечно, не смею хвалиться: я далеко не богатырь воли, но все-таки помню свои обязанности и... и не дал бы Кати в обиду. Но Катя была сама в этом случае словно сумасшедшая. Она возненавидела Александру Кузьминишну, едва та вошла в дом. Надо тебе сказать, что пред смертью твоей покойницы-матери Катя была с ней очень хороша, совсем не так, как раньше. Ты помнишь, что у Глаши был ужасный, тяжелый характер... Ревновала ли Катя к памяти Глаши, просто ли чувствовала антипатию к Александре Кузьминишне, но сцены следовали за сценами. Я был мучеником между двумя этими женщинами, клянусь тебе...

— Охотно верю. Дальше.

— Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного, — и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить.

— Гм!

— Ты не веришь? Напрасно! Взгляни!

«Папа, — прочитал Александр Николаевич, — мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег, но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминишну вы не решитесь, а жить вместе с этой подлой женщиной я не стану, лучше умру. Не сердитесь на меня за это, а я не сержусь. Ваша Катя».

— Позвольте, папа: в этой записке нет ни одного знака препинания, мерзкий почерк, «вместе» через два «есть» написано, не «посмеит» вместо не «посмеет»... Неужели это Катя писала?

— Друг мой, ты знаешь, как туга она была на науку, а в последние годы она книги в руки не брала.

— Но все-таки... Кстати: вы ее где учили?

— Домашним воспитанием...

Александр Николаевич досадливо махнул рукой.

— То-то она пишет, как прачка!.. Но что она может делать там, у этой Федосьи? Ну, я помню ее — отличная женщина, но не станет же она держать Катю на хлебах даром. Вы говорите, Катя денег не взяла?

— Ни копейки, и все, что я ни посылал, возвращала.

— А звать ее назад вы пробовали?

— Да, но она резко отклонила мои просьбы, а потом и...

— И Александра Кузьминишна запретила. Эх!.. Необразованная, воспитанная белоручкой — на что годится она там?!

— Ах, Саша! — Николай Евсеевич прослезился, — мне передавали, будто она ужасно опустилась, стала совсем comme une paysanne *; одевается по-ихнему, так же работает, как они...

— Ну, это еще — куда ни шло! я сам целых шесть лет состоял хуже, чем в пейзанах, пока не выбился в люди...

— Но, Саша! прибавляют, будто она очень дурно ведет себя, что она забыла всякий стыд и женственность...

— Катя?!

— Да, cher... Et l'on dit enfin, что у ней есть... un amant... ** А? каково это слышать?!.

— Продолжайте, — наморщив лоб, мрачно сказал сын.

— Другие говорят, что их не один, а много... Чего же тебе еще? Я все сказал...

— Действительно, вполне достаточно.

— Позволь! Куда же ты? — вскрикнул Николай Евсеевич, видя, что сын взялся за шляпу.

---

* Как крестьянка (*фр.*).

** Дорогой... И говорят, наконец... любовник... (*фр.*)

— В Теплую слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас?

— Я... я не знаю... так неожиданно... я совсем не затем говорил... — залепетал старый Чилюк.

— Не могу же я оставить свою родную сестру черт знает в каком положении!

— Да, черт знает в каком... Как это странно, однако вообрази, я считал тебя демократом!..

— К чему вы это? — изумился Александр Николаевич на недоумелую улыбку отца.

— Нет, так...

— Хотите вы, чтобы я вернул ее к вам?

Старик замялся.

— Друг мой! знаешь ли... по-моему, это неудобно... Конечно, я — как отец... но она так компрометировала мое имя, и потом... потом, если правда, что говорят об ее поведении, то, как хочешь, держать ее в доме совсем неприлично... смеяться будут.

— А теперь над вами не смеются разве? Я думаю, хохочут по всей губернии?

— Увы! увы! Ты совершенно прав, мой друг... и вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу... очень большую... Уговори ты Катю уехать!

— Куда?

— Да чем дальше, тем лучше; чтобы забыли про нее в здешних местах. Согласись, что я в ужасном положении; вечно под боком живой упрек, и всякий этот упрек видит... и наконец, чем я виноват, если она убежала?!

— Я вот что сделаю, — задумчиво выговорил Александр Николаевич, — я предложу ей уехать со мною.

— В Америку?! — обрадовался Николай Евсеевич.

— Зачем в Америку?! Я могу ее устроить в Петербурге, у моих друзей... Денег я предложу ей от себя, потому что от вас, как я замечаю, она, пожалуй, и не возьмет.

— Не возьмет и ни за что не возьмет! она гордая... Ах, Саша! если бы ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын мне, в ножки поклонился! — прочувствованным тоном говорил Николай Евсеевич, пожимая руки сына, — ты и ее, несчастную, спасешь...

— И вам руки развяжу?

— Да, освободишь мою совесть... Саша, скажи: очень ты меня сейчас презираешь?

Александр Николаевич отвернулся. Ему было жаль отца...

— Эх, папа!.. — выразительно вырвалось у него.

Он махнул рукой, взял шляпу и вышел.

II

«Все-таки спасибо матери, — думал Александр Николаевич, идя узким проселком между двух волнующихся морей желтой ржи, — спасибо, что она родила меня похожим на нее, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство... это черт знает что такое! особенно если долго их не видишь и поотвыкнешь... Право, если подумать, что при другой, более нежной маменьке и из меня, пожалуй, развилось бы что-нибудь этакое расплывчатое, — можно извинить покойнице все ее порки, затрещины и колотушки».

Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в Теплую слободу вместе с повозкою и кучера, чтобы не сделать в его лице всю отцовскую прислугу свидетелями свидания — не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу до Теплой слободы он отлично помнил: в детстве ему часто случалось бегать в этот бойкий пригород поглазеть на воскресный базар, на девичьи хороводы и подвыпивших мужиков. Теплая слобода была местом шумным и людным, — на шоссейном тракте, с постоялыми дворами, трактиром, панскими лавками, кузницами. Народ здесь жил богатый,

больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый... по крайней мере, не слишком пьяный: полслободы было заселено старооверами-беспоповцами какой-то мелкой непьющей секты. Ковачи, бабы-кружевницы и огороды Теплой слободы далеко славились.

Стук кузнечных молотов встретил Александра Николаевича далеко за слободской околицей. В черте селения он стал почти нестерпимым для ушей. Слободская улица открывалась целым рядом ковален, дымных и грязных, где кузнецы двигались черные, как черти в аду.

— Бог в помощь! — сказал Александр Николаевич дюжему мастеру, возившемуся с топором на ветхой покрыше лошадиного станка. — Здравствуйте!

— Здравствуйте и вы! — ответил мастер, не отрываясь от работы.

— А где здесь, почтенный, живет Федосья Ивановна?..

— Которая Федосья Ивановна? три их у нас... старостиха — раз, лавочница — два, а третья — тетка Федосья, кружевница...

— Ее-то мне и надо.

— А зачем вам тетку Федосью? — возразил мастер, роняя к ногам Чилюка длинные щепки, летевшие из-под быстрого топора.

Чилюк усмехнулся.

— Милый, ведь тебя не теткой Федосьей зовут? с чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо?

Мастер воткнул топор в покрышу и по столбу спустился наземь.

— Нет, я ведь почему спросил, — добродушно извинился он, — еще здравствуйте... почему спросил? Федосья Ивановна-то родная тетка мне выходит... вон оно что... Я у нее заместо сына сызмалу принят...

Александр Николаевич, живя с джон-булями и янки, заразился от них любовью к физической силе, свойственною за-

падным народам гораздо в большей степени, чем нам, русским. Чилюк и сам был крепыш, точно из меди отлитый, но таких богатырей, как стоявший пред ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи мастер засучил и обнажил такие мускулы, что Чилюку даже весело стало.

— Здоров же ты брат! — сказал он богатырю.

— Что мне делается! — ответил тот, широко и добро улыбаясь, — а тетки-то нету. Вы за кружевом, верно?

Александр Николаевич нашел, что ему подсказано хорошее incognito...

— Да, за кружевом.

— Нету ее. В город ушла плетеное продавать. Нынче в городе базар, — четверток на дворе... Да вы — ничего, пройдите. Коли заказать надо, так и Катерина Николаевна принять может... жилица у нас... — пояснил он, — и, что готового есть, покажет. Я вам мальчонку дам, он проводит...

Двор кружевницы, однако, был затворен. На калитке висел замок. Мальчонка перевалился через плетень и предложил Чилюку последовать его примеру. Чилюк исполнил это гимнастическое упражнение с ловкостью, заслужившей полное одобрение черномазого вожатого.

— Добре сигаешь, барин... — сказал он. — Ты посиди часок на крылечке, а я за Катериной побегу... на огородах она...

Федосьина усадебка была из самых исправных в Теплой слободе, а Теплая слобода — из самых исправных великорусских пригородов. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Чилюк видел и понимал это относительное невзыскательное довольство, но, с отвычки от русской деревни, ему все-таки казалось, что кругом и бедно, и грязно...

«Впрочем, я и не в таких мурьях живал, — не без самодовольства подумал он. — Дивны дела Твои, Господи!.. Вот

уж не подумал бы я месяц тому назад, что переплываю океан затем, чтобы сидеть теперь между плетней, смотреть на сорный двор с курами и этим бравым петухом... ишь орет... какой красный черт! — в ожидании таинственной сестрицы, не то барышни, не то мужички, которая — еще Бог знает кем окажется и как примет мое появление...»

Загремел замок. Скрипнула калитка. Во двор вошла высокая девушка. У Чилюка задрожало сердце, и судорога подошла к горлу.

— Здравствуйте. Вам кружевов? Не осудите на жданье... клубнику брала... сходит она у нас... — говорила девушка высоким звонким голосом, приближаясь к Чилюку и на ходу вытирая руки о передник.

Александр Николаевич встал ей навстречу.

— Вы Катя Чилюк? — спросил он несколько сдержанным голосом и, не дожидаясь ответа, продолжал, — а я Александр Чилюк... ваш брат... из-за границы.

Катя выпустила из рук передник; на лице ее отразилось больше смущения, чем радости... Она застенчиво сказала:

— Братец Саша!

Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич обнял ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшей пред ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению.

— Не смотрите, братец, — конфузливо смеясь, сказала Катя, — я с огорода, чучелом... ведь нынче будни... Войдите в хату. Я самовар вам поставлю и приберусь, пока вскипит.

В хате было чисто и просторно, — сразу видать, что жилье семьи с достатком и не слишком людно́й. Пол не дальше как в последний праздник мытый, печь свежевыбеленная, бревенчатые стены не черные, а только бурые: значит, есть смотрение за домом; ни паутины, ни тараканов. Катя исчез-

ла за перегородку, разделявшую хату пополам от печи до двери, и после недолгих сборов вышла к брату принаряженною, в кумаче и бусах.

— Теперь хоть на человека похожа... — сказала она.

Александр Николаевич похвалил ее красоту и наряд, вгляделся в нее и подивился. Совсем не видно «барышни» в Кате, — словно она и родилась в этой избе, и век здесь прожила, а не два только года. Красавица — да! но красавица дикая, деревенская, — «с румянцем сизым на щеках», как пел некогда Фет, — большая, статная и с таким могучим мускульным развитием молодого здорового тела, что при каждом движении платье трещит и врозь лезет на груди и в плечах. Лицо — под золотистым загаром, слегка огрубевшее от ветра и солнца. Силы и здоровья здесь больше, чем красоты, или, вернее сказать, в них-то здесь и красота.

Разговор между братом и сестрой не клеился. Оба искали удобного случая, чтобы заговорить, как и почему они после долгой разлуки встретились при таких необыкновенных обстоятельствах, и Чилюку хотелось, чтобы начала речь об этом Катя, а Кате — чтобы начал Чилюк.

— Да... — решился наконец перейти к делу Александр Николаевич, — много воды утекло... перемен в нашей семье и не сосчитать... О себе я уже не говорю: моя история старая. Но ты вот... признаюсь, никак я не ожидал тебя встретить здесь.

— Братец! — перебила его Катя и на минуту глянула совсем прежнею Катей; черные глубокие глаза ее широко открылись и заискрились; лицо стало откровенным и доверчивым, — вы не судите меня строго... право же, мочи моей не стало, братец... я ведь долго терпела...

— Я не про то говорю, Катя, — сказал Александр Николаевич, — я очень хорошо понимаю, что положение твое могло быть невыносимым, что надо было уйти. Меня удивляет, зачем ты *сюда* ушла?

Катя не ответила, она сидела у обеденного стола, потупившись, и молча перебирала складки фартука.

— Послушай, — заговорил брат после короткого молчания, — ты извини меня... я, может быть, мешаюсь не в свое дело. Ведь мы свои только по имени, по крови... я тебя оставил малюткой, без меня ты выросла, имеешь право считать меня чужим. Но у меня об одной лишь тебе — маленькой девочке — осталась хорошая память от всего нашего дома. Я тебе очень за это благодарен, право. Ты мне как бы связью с родиною была. Так ты меня другом своим считай, а не бойся. Если тебе неприятно, ты можешь не отвечать; но поверь: я спрашиваю тебя только потому, что хочу тебе хорошего и желал бы устроить твою жизнь как тебе будет угодно и как только могу я лучше, поэтому ты будь со мною откровенна.

Катя подняла свои доверчивые глаза.

— Да я не скрываюсь, братец... — сказала она, — я потому вам ничего не ответила, что, боюсь, не сумею вам объяснить... Ведь я дурочка не дурочка, а около того... Меня маменька аспидной доской — ребром да углом — по голове много била... Сама про себя я много думаю и, что скажут мне, соображаю как следует... а вот говорить — смерть моя... Тоже памяти нет... Верите ли? чему меня учили, все я забыла. Писать стану, — буквы путаю... Ну... да вот видите!

Она подняла руку ко лбу, на котором мелкими каплями выступала легкая испарина; лицо ее несколько побледнело, — большого напряжения стоила ей долгая, складно обдуманная речь. Александр Николаевич наблюдал ее с удивлением и жалостью.

— Гм... вот что... — задумчиво протянул он. — Это для меня новость, об этом отец мне не говорил... Говорил, что у тебя не было способностей, — и только...

— Особенного ничего и нет; мне даже и доктор один сказал, что я в своем уме весь век доживу; а вот именно, что способностей у меня никаких...

— Ну хорошо. После об этом. Вернемся к старому. Вот вижу я тебя в этой избе, в этом наряде; руки у тебя рабочие... Заметно, что ты не даром здесь живешь и от труда не бегаешь. Не подумай, что я тебя укоряю этим. Я сам прошел рабочую школу, какой — прямо скажу — тебе не испытать. Не то что русскому мужику, — русскому каторжнику легче, чем нашему брату, вольному рабочему, пока он проложит себе дорогу и выйдет из грязи в князи, как вышел я. Следовательно, говорить с тобою как товарищ я имею право. Хорошо. Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный. Но в России люди нашего класса берутся за него только в крайней необходимости, чтоб уйти от него при первой возможности, как и я вот теперь постарался уйти. А тебе не было неизбежной надобности выбирать его, да еще в такой форме: у нас есть родные; наверно, ты имеешь знакомых, даже друзей; тебе было бы легко найти себе какое-нибудь место — гувернанткой, компаньонкой, чтицей, продавщицей в магазин, наконец... А ты ни к кому не обратилась, — ушла сюда, к Федосье. Отчего?

— Да все оттого же, братец.

— Способностей нет?

— Да.

Александр Николаевич пожал плечами.

— Видите ли, братец, — с расстановкой продолжала Катя, и опять мелкие росинки выступили у нее над бровями, — я из дома давно задумала уйти: как только эта Сашка у нас проявилась... — с нескрываемой ненавистью выговорила она противное ей имя, необыкновенно живо напомнив Чилюку его грозную мать. — Вот тогда я и передумала обо всем, что вы говорите. Магазинов у нас в городе нет, так о продавщице только не думала. Стала я пытать себя, гожусь ли куда: в гувернантки ли, в учительши ль... в акушерки очень мне хотелось... Нет, — словно каменная у меня голова: ничего-то к ней не пристает, ничего-то в ней не держится. Что сегодня выучу, завтра... какое там, завтра! — через полчаса забуду. Все слова улетают, один

только туман остается. Тут мне доктор этот подвернулся. Ни на что, говорит, вы не надейтесь; у вас не все дома. Вы и здравомыслящая, и все; но у вас способности к учебе отшиблены... Оно и впрямь: как не отшибить? — все тем же ровным голосом заметила она, взяла руку брата и положила ее на свою голову, — чувствуете, какой шрам?.. У меня тут даже плешка, с семитку, пожалуй, а то и больше; волосами зачесываю; хорошо, что густые — не видать... Так, говорит доктор, и знайте, что дальше не лучше, а хуже будет... насчет памяти, то есть. Ну, тогда я себя и порешила. Скажите, братец, ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе?

— Стыдно, Катя...

— Да еще когда этот хлеб так дорого, таких обид стоит, что поперек горла становится... Я и пустилась своего хлеба искать. Головой не могу найти, думаю, руками найду...

— Извини, Катя, — поспешно перебил ее брат, — ты Толстого не начиталась ли?

— Нет... Какой Толстой? — спросила Катя с откровенным недоумением.

— Писатель. Он почти то же говорит, что и ты. Только он вовсе умственный труд отметает... всех зовет к ручному.

— Нет, я бы учительшей либо акушеркой больше хотела быть, чем — как теперь, — вдумчиво молвила Катя. — Хорошо, у кого в уме светло... Но как я ничего не могу, то, стало быть, и состоять мне при ручном деле. Заходила я иной раз к маме Федосье, — ведь она кормила меня, помните, братец? — нравилось мне, как она живет, кружевничает... работа хорошая, тонкая... Мама Федосья была ко мне добра... Я выплакала ей свою беду, что у папаши я жить не могу, а идти некуда. Либо я зарежу Сашку, либо дом сожгу, либо сама утоплюсь... Мама Федосья мне и говорит: «Нет, ты, Катя, не режь ее и сама не топись, а, как станет тебе невтерпеж, приди ко мне; я тебе что-нибудь присоветую...»

— Подожди, Катя, — перебил ее опять Александр Николаевич, — эта Александра Кузьминишна мне самому показалась противна... но с чего, собственно, началось у тебя такое озлобление?

Катя всплеснула руками.

— Братец! да как же иначе? Ведь она — как у нас проявилась? Когда мамашу разбил паралич и отнялись у нее ноги, — она меня ни на шаг от себя не отпускала; по хозяйству хлопотать было некому; вот и взяли в дом эту проклятую... Мамаша с места двинуться не может, а она — бесстыдная! в ее же доме... Нет, братец, вы со мной про это не говорите, а то я тут сбиваюсь... — сказала она с потемневшим лицом; но вдруг сама близко наклонилась к Александру Николаевичу:

— Братец, а ведь она мамашу удушила!..

Чилюк невольно отшатнулся. Мурашки пробежали у него по спине.

— Что ты, Катя... Бог с тобою...

— Удушила, братец! Доктора говорят, будто мамаша померла от второго удара... А отчего же этот удар приключился как раз в ту ночь, когда я у мамаши в спальне не спала?.. Прокралась, подлая, в спальню, да подушкой и задушила. Вы моему слову верьте. У меня есть в сердце такое, что меня никогда не обманет. Мамаша хоть и без ног, а еще бы десять лет прожила: она была крепкая...

— Бредишь ты, Катя...

— Все вот так говорят, все! — с горечью возразила Катя, — и папаша, и даже мама Федосья, на что уже всякому моему слову верит. А я врать не умею... Вы слушайте: я в маменькиной комнате, когда покойницу на столе убирали, Сашкину подвязку нашла и спрятала... Тогда у меня и подозрения никакого не было. После — много после — папаша как-то раз говорит мне, чтоб я его простила, если он женится на Александре Кузьминишне. Тут мне в виски так

и стукнуло, так все мне и просветлело, и, как мне дело представилось, так я все и выложила папаше. Он рассердился, затопал на меня ногами и прогнал с глаз долой; а в скорости прилетает ко мне сама Сашка, — лица на ней нет... И давай на меня кричать: как я смею клеветать на нее... А я вынула из ящика подвязку и спрашиваю: это — что?.. Она вся побелела, прыг ко мне, выхватила подвязку из рук да в карман ее... Я к ней бросилась, а она... ох, братец!..

Катя, бледная как мертвец, опять пригнулась к брату, почти уронив голову ему на плечо.

— Она меня по щеке два раза ударила! — глухо прошептала она.

Чилюк ничего не сказал, но так ударил кулаком по столу, что доски затрещали и вздрогнула посуда на надстольных полках. Он встал и медленно прошелся по избе. Потом наклонился к сестре и поцеловал ее в голову. Катя почувствовала слезу, упавшую на ее волосы, и покраснела; взор ее засверкал благодарным восторгом и слезами...

Кое-как справившись с волнением, она продолжала:

— Я тогда обезумела... к пруду бросилась... да на самом берегу вспомнила маму Федосью: не топись, а приходи, посоветуйся... Так, в чем была, и прибежала к ней, и выплакалась... «Утро вечера мудренее», — говорит мама. Напоила меня малиной, уложила спать, а Максима, — племянник ее, кузнец — послала в нашу усадьбу сказать, чтобы не беспокоились, что барышня-де у нее отдыхает. Поутру рано, с зорькою, будит меня мама Федосья: «Вставай, Катюша, обряжай вот эту одежу, — платье мне простенькое припасла, — да пойдем-ка мы с тобой к Пафнутию в Боровск, помолимся! Авось в мозгах-то у тебя просветлеет, — увидим, как тебе дальше быть...» Целую неделю до Боровска шли, там три дня пробыли... Назрело у меня в душе — пойти к маме Федосье в жилички... Дальше — как сами видите.

Катя умолкла.

— Катя! — сказал Александр Николаевич, крепко взволнованный, — ты молодец... только этому конец положить надо. Что себя мучить? Я тебя увезу отсюда...

Катя, не глядя на брата, покачала головой.

— Ты не хочешь?.. значит, довольна?..

— Довольна, братец, я здесь при деле. Привыкла.

— Дело будет и в другом месте, и привыкнешь к другому месту.

— Что, братец, — как слышно? войны не будет? — не отвечая, спросила Катя.

— Нет, кажется... а что?

— Я бы в милосердные сестры пошла... А так, просто — куда мне ехать, братец? зачем?

— Я тебя устрою в Петербурге к хорошим людям...

— Что же я у них делать буду?

— Что понравится, что знаешь...

— А я же ничего не знаю... а что умею, тому здесь место, а в Петербурге ни к чему... Даром я хлеба есть не хочу... дурочкой между людей жить тоже не согласна... У меня гордость есть. Нет, братец, — вы только не обижайтесь, родной! — оставьте меня, как нашли, не ворошите... И мне придется привыкать к новым людям, и новым людям ко мне; полюбимся ли друг другу, еще бабушка надвое сказала, — а здесь уже дело верное. И я люблю, и меня любят...

В уме Александра Николаевича мелькнула быстрая мысль...

— Позволь, Катя, — остановил он ее, — я вижу, что ты честная девушка, и тебя не следовало бы об этом спрашивать, но отец намекал мне о каких-то дурных слухах...

— Я знаю, что на усадьбе про меня говорят, — спокойно сказала Катя, глядя прямо в глаза Александру Николаевичу, — что у меня любовник есть. Вы не верьте. Лгут. Никакого у меня любовника нет. Чудные! коли на меня плохо надеются, хоть мамушке бы поверовали: она у нас строгая, святая, — все зна-

ют... Вот, — она улыбнулась, застыдилась и покраснела, — замуж я, может быть, точно пойду...

— За кого же? за здешнего?

— Да... за Максима, матушкина племянника...

— Ты его любишь?

Катя задумалась.

— Люблю... — не совсем смело начала она и потом гораздо решительней договорила: — Очень уж хороший он человек, мало таких на свете, и меня крепко любит...

— Совсем, значит, свяжешь себя с Теплой слободой?

— Совсем... что же? Я ведь с нею расставаться и так не собираюсь, — сказала Катя и вдруг неожиданно прибавила: — Он меня из воды вытащил... случилось тут... тонула я один раз...

— Как же случилось?

— Так... Вы не думайте, что я нарочно... просто на плоту мыла белье, да и сорвалась. Плавать я хорошо умею, да меня под плот затянуло. Другие девушки закричали. Максим подоспел, бухнул в воду и вытащил... После того мы с ним и поладили, чтобы повенчаться.

— Конечно, дай тебе Бог счастья, но... Скажи, пока ты жила у отца, ты ни разу не собиралась замуж идти?

— Нет... Маменька последние годы больная была, — как мне от нее было уйти? А женихи тогда были. Александра Кузьминишна тоже подыскивала мне женихов, — сбыть меня ей хотелось; да как же можно за нелюбимого человека замуж идти?.. зачем?..

— А никто не нравился?

Катя промолчала.

— Не уживаются по нашей глуши хорошие люди из нашего сословия, — сказала она потом, — скучно им тут, к большим городам их тянет... за пьяницу, либо бездельника, либо слабодушника, хоть бы и полюбился на грех, какая радость выйти? Был один, — тихо сказала она, — доктор... хороший

человек... шибко мне нравился, и я ему... Только я этому доктору сама сказала: вы меня оставьте! я не для вас... Я вам не пара...

— Почему же, Катя?

— Умный он был, очень образованный. Все говорили, что ему в столице большая дорога будет, когда он земский срок отслужит. Ну... на что ему такая жена, как я? Неуч, беспамятная... Всюду бы я его осрамила, всякие бы пути ему завязала. Сокол в небо рвется, а я ему — путы на ножки... что хорошего? И Бог весть, надолго ли бы его любви хватило?.. Кандалы, хоть из золота их слей, милы не будут... Да и любовь ли еще была? Глушь ведь у нас... скука... а я не урод собой... к тому же, видел он, что меня крепко обижают... вот и пожалел... Подумала я так-то ночку, другую, поплакала — и отказала...

— Тяжело тебе было! — участливо отозвался Александр Николаевич.

— Не-хо-ро-шо, — раздумчиво протянула Катя, — что же? не все мед пить, напьешься и водицы... Прошло уже, забылось... Он теперь в Петербурге... Жениться стал — письмо прислал... хорошее письмо... только лучше бы его не писать было! А то что такое? Точно благодарит: спасибо, что меня не погубила...

Катя засмеялась, и звонкий звук смеха свидетельствовал, что неудачный роман не оставил в ее душе никакой горечи...

— Ах, Катя, Катя! — улыбаясь, говорил Александр Николаевич, — видал я чудных людей, а таких, как ты, не случалось... Так не поедешь со мной?

— Нет, братец... простите... не поеду. От добра добра не ищут.

— Как хочешь, дитя мое, неволить я тебя не буду. Насильного счастья не бывает. Я довольно пожил на свободе, чтобы не знать этого... Но я богат. Позволь мне помочь тебе.

Вы... — он окинул глазами убранство хаты, — не слишком-то здесь роскошничаете...

— Вы денег хотите мне дать? — спросила Катя.

— Если позволишь...

— Денег мне дайте, если богаты. Мы оттого и свадьбу не играем, что надо новую хату ставить, а денег у нас не богато... Я вам скажу, братец, правду, что мама Федосья стала на старости к беспоповцам клонить, и они ее очень почитают. Ну а нам с Максимом что же ее тяготить? В одной хате две веры нехорошо... ссориться станем...

— Да. Возьми, сколько хочешь. Ты у меня одна, — мне не жалко.

— Чай, женитесь, братец!

— Женюсь ли, нет ли, это еще вилами на воде писано... А ведь твоего Максима я уже видел! — весело воскликнул Чилюк, глядя в окно, — право, видел: он станок починял... Ведь это он идет по двору?

Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно. Думалось, шевельнется этот богатырь, и либо плечом стену высадит, либо головой потолок проломит. Вымытое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что по дороге из кузницы он забежал на пруд искупаться. Александру Николаевичу богатырь показался почти красавцем, со своим румяным лицом, рыжеватой бородой и веселыми голубыми глазами, которыми он с великим недоумением уставился на Катю: это, мол, что за гость у вашей милости? Зачем?

— Максим, это мой брат, Александр Николаевич, из-за границы приехал, — улыбаясь, сказала Катя, — не забыл меня, спасибо ему, пришел навестить...

Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что, казалось, он весь засветился: и глаза как будто стали ярче, и румянец алее, и борода рыжее. Он низко поклонился и несмело протянул руку Чилюку. Руки были по-

жаты крепко, приветствия сказаны горячо, но затем наступило неловкое молчание. Александр Николаевич с досадою чувствовал, что при всей своей опытности, при всем своем навыке к обращению с самыми разнообразными людьми, он не находит тона, которого надо держаться. Они смотрели друг на друга как люди разных миров — с любопытством, но без участия, и с некоторой боязнью. Всем троим было неловко. Побормотав несколько вялых фраз, шаблонных и бесцветных, о своей радости за сестру, о своей уверенности, что выбор ее пал на хорошего человека, Чилюк резко оборвал речь, встал и начал прощаться. Максим, слушавший Александра Николаевича с каким-то конфузливым испугом в глазах, был, видимо, рад, когда Чилюк замолчал. Катя не удерживала брата.

— Я приду в город проводить вас, — сказала она, любовно глядя в глаза Александру Николаевичу; и он по взгляду ее понял, что она отлично чувствует, как неловко ему между нею и Максимом, но извиняет ему это и не сердится. — В усадьбу мне нельзя, а в город приду. Вы дайте мне знать, когда будете уезжать.

— Завтра вечером я уеду.

— Скоро так? — грустно отозвалась Катя.

— Эх, — искренним вздохом вырвалось у Александра Николаевича, — что мне тут делать, Катя? У вас здесь, на Теплой слободе, — все свое, новое; там, на усадьбе, — тоже свое, хоть и старое... И здесь, и там я лишний, чужой человек; от старого отвык, к новому не привык; старое, Катечка, мне противно, новое — непонятно. А времени разбираться нету. Жизнь у меня в деле: как вода в котле, ключом кипит. Прощай, друг Катя! Шел я тебе помочь, а отчасти, каюсь, и поругать тебя, но крепко ты мне полюбилась. И жаль мне тебя оставлять здесь, и думается мне, что ты хорошо себя понимаешь и устроишь свою судьбу лучше, чем устроил бы я. Оставайся и живи как знаешь. Пусть тебя другие как хо-

тят судят, я же тебе не судья. Вижу, что ты честная девушка и ничего бесчестного не то что сделать, даже подумать не в состоянии... Тем хуже для тех, кто будет тебя порочить! А плохо тебе придется — напиши: чем могу — словом ли, деньгами ли, всегда выручу... А завтра приходи в город, я тебе коечто хорошее скажу...

Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре, над золотым потопом ржи.

Когда пред Чилюком поднялись из-за кудрявой рощи красные кровли отцовской усадьбы, ему стало не по себе. Он не поверил тому, что Катя говорила о смерти матери, но провести ночь под одной крышей с Александрой Кузьминишной после этого рассказа показалось ему невыносимо гадким... Едва ступив на крыльцо дома, он уже распорядился, чтоб ему готовили лошадей в город. Николай Евсеевич по лицу сына угадал, на чьей он стороне, и сконфуженно развел руками... Александр Николаевич коротко передал ему подробности своего свидания с Катей, свое намерение помочь ей деньгами и заключил:

— А от вас, папа, прошу одного: оставьте вы ее совсем в покое, не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтоб иметь право на вмешательство в ее жизнь...

— Воля твоя... я этого не понимаю, — бормотал старик, — ты сочти, сколько жертв она приносит: выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества... и для чего же? Для благосостояния, комфорта, покоя? Нет, для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас, в хате... Черт знает какие люди на свете родиться стали!.. И... извини меня: ты мне еще чуднее Кати. Ее странность я могу объяснить хоть тем, что ее мать била по темени аспидной доской. Но ты — сильный, неглупый, образованный человек — и вдруг вторишь этой безумной. Ради чего? Что ты находишь в ней отрадного?

— Видите ли, папа, — перебил Александр Николаевич, — семья, в которой житья нет, общество, членом которого имеешь право быть, но не имеешь возможности, и сословие, значения которого не понимаешь, — вовсе не такие драгоценности, чтоб от них не отказался человек, когда его чутьем потянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянуло — она и ушла. Вы говорите о покое... Покой хорош только как отдых, его знают только те, кто устает. Люди неработающие знают не покой, но оцепенение. И живой душе в мире оцепенения жутко. Вырвется она за его границы и уйдет куда попало — все равно, на счастье или на несчастье, лишь бы и то, и другое было свое: добытое своею волею, своими руками, своей головой. Ведь только это-то и называется жить. Я знаю это, потому что на себе испытал. И не пробуйте понимать чужого счастья — не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю, и мне ее как-то жалко, а между тем я видел ее искренно счастливою. Оставьте ее!.. Кроме вреда, мы с вами ничего ей не принесем... Она не наша — своя! Пусть же эта чудачка и счастлива будет по-своему.

1890

РАЗРЫВ

Иван Карпович Тишенко, старший столоначальник в отделении Препон департамента Противодействий, давно уже очнулся от послеобеденного сна, но все еще сидел на кровати, зевал, тупо вглядываясь в световую полосу, брошенную сквозь полуотворенную дверь на пол темной спальни лампами столовой, и злился — беспричинно, тяжело, надуто, как умеют злиться только полнокровные и с дурным пищеварением люди, когда доспят до прилива к голове. Его раздражало — то зачем он так долго спал, то зачем его разбудили.

Шум самовара, звяканье чашек в столовой били его по нервам. Хотелось сорвать злость хоть на чем-нибудь. Ивана Карповича уже три раза звали пить чай; дважды он промолчал, а на третий раз сердито крикнул: «Знаю! слышал! можно, кажется, не приставать, пощадить человека!» — и хотя чаю ему очень хотелось, нарочно, назло просидел в темноте еще несколько минут. Наконец встал, накинул халат, вдел ноги в туфли, — и, при первом же шаге, споткнулся на что-то. Поднял, посмотрел: старый женский башмак.

— Бросает тут... гадость какая! — с сердцем проворчал он и швырнул башмак в угол.

По тому, как порывисто Иван Карпович хлебал горячий чай, и по толстой сердитой морщине на его лбу Аннушка, домоправительница Тишенко, догадалась, что барин сильно не в духе. Она испуганно молчала, исподлобья и украдкой поглядывая на Ивана Карповича блестящими голубыми глазами. Иван Карпович поймал один из этих робких взглядов.

— Позвольте вас спросить, — ехидно и резко сказал он, глядя в сторону, — долго ли мне еще приучать вас к порядку? Расшвыриваете у меня в комнате обувь свою прелестную... очень мило!.. Ко мне ходят товарищи, порядочные люди; коли сами срамиться желаете, срамитесь, сколько угодно, но меня срамить я вам запрещаю.

Аннушка испугалась еще больше, покраснела, как кумач, и едва не уронила из задрожавших рук чайник.

— Виновата, Иван Карпович... сейчас приберу, забыла...

Она вышла. Иван Карпович посмотрел ей вслед и презрительно покачал головой. Ему было досадно, что Аннушка и на этот раз проявила обычную, много лет ему знакомую покорность, не возразила и не дала ему отвести душу в легкой ссоре. «Фу, как глупа и тупа! — подумал он, — самых простых и первоначальных прав своих не понимает, а туда

же еще зовется женщиной! Какая это женщина? так, — красивый кусок мяса... Да и чего красивого? Одни телеса! Отпустил Бог двадцать фунтов грудей, — только и всей радости... Корова! Вымя!»

Напившись чаю, Иван Карпович переоделся на вечер, щеголем, взял шапку и, не взглянув на Аннушку, вышел со двора.

Он отправился в гости к своему сослуживцу Белоносову. Белоносов — человек семейный и обремененный детьми — жил тем не менее открыто; у него сидело на шее четыре взрослых дочери: ради их устройства Белоносов принимал гостей больше и чаще, чем желал и был в состоянии. Иван Карпович нашел у него большое общество — все молодежь. «Приятно проведу время», — решил он, и недавней сонной досады как не бывало. Он сделался и весел, и развязен, рассказал Белоносову служебный анекдот, мадам Белоносовой сообщил рецепт от ревматизма, а когда барышни затеяли petits jeux * и танцы под фортепиано, оказался самым деятельным и интересным кавалером. Танцуя кадриль с младшей Белоносовой, Линой, красивой девушкой, похожей на Тамару, с известной гравюры Зичи, Тишенко смешил свою даму каламбурами, допытывался, в кого она влюблена, сказал ей про ее сходство с Тамарой. Барышня смеялась и не без интереса поглядывала на своего кавалера. Однако старики Белоносовы, наблюдавшие танцующих взорами и умиленными, и деловыми вместе, строили довольно кислые гримасы, когда на глаза им попадались Лина и Тишенко в паре. После кадрили мать отозвала Лину.

— Ты с Тишенко много не танцуй, — внушила она, — он, конечно, недурен собой и умеет держаться в обществе, но он женатый, хоть и врозь с женой живет. Про него ходят нехорошие слухи. Нечего тебе, девушке, с ним знаться. Дурные люди

* Салонные игры (*фр.*).

сплетки по знакомым разнесут, да и сам голубчик — известный сахар-медович: втрое нахвастает...

И во весь вечер затем Тишенко не удалось уже ни слова сказать с m-lle Белоносовой.

Возвращался домой Иван Карпович поздно и немного пьяный. По дороге им опять овладели злые, мрачные мысли.

«Завидно, право, завидно, — думал он, — умеют же люди жить! Какой-нибудь Белоносов — что он? тля, беспросветный чинуша. По службе идет скверно, у начальства числится в круглых дураках, необразован... а вот поди же ты, как у него хорошо! Жена, дочери, приличное общество... ах какое это великое дело! Право, в семье он даже не так глуп кажется, — что значит свое гнездо! И себе спокойно, и люди уважают».

Он гневно отбросил носком сапога попавший под ноги окурок.

«А вот меня не уважают, — продолжал он грызть себя — да, по правде сказать, не за что и уважать. Что в том, что я университетский, и голову на плечах имею, и собою не урод? Университетский, а служу в таком учреждении, что при порядочном человеке и назвать-то конфузно: так его печать заклевала... Знаю, что пакости служу, а служу, у начальства на лучшем замечании, награды получаю, — ничего, не претит! Идеалы прежние — тю-тю! выдохлись! Даже и не вспоминаешь никогда прошлого — нарочно не вспоминаешь, потому что, как сообразишь, сколько было тогда мыслей в голове и огня в сердце и какая осталась теперь пустота и там, и там, — так даже жутко делается. Да! старое ушло, а нового ничего не пришло. Зависть берет даже на Белоносовых. У них какое ни есть, а все-таки житье-бытье: ругайте его филистерством, мещанством, — все-таки люди хоть спокойны, пожалуй, даже и счастливы. Буржуйство так буржуйство! Пролетариат так пролетариат! А у меня — ни то, ни се, черт знает что! Вся жизнь — ка-

кое-то тупое прозябание с злостью вперемежку. Опустился черт знает до чего!»

Он почти подходил к своей квартире.

«Эта Линочка слишком заметно переменилась ко мне сегодня. Ей, должно быть, сказали про меня какую-нибудь мерзость. Ведь у этих филистеров сплетен не оберешься. Мещанское счастье строится на мещанской добродетели, а мещанская добродетель — на кодексе из сплетен и предрассудков. Меня в таких кружках принимают скрепя сердце, потому что я — сослуживец и человек нужный; потому еще, пожалуй, что я умею быть забавным, расшевеливать веревочные нервы ихних Сонь, Лиз, Лель... а спросите-ка хоть тех же Белоносовых: что за птица Тишенко? — пойдет писать губерния! Жену бросил, ведет безнравственную жизнь... Ну и бросил! ну и веду, чтоб вы все пропали!..»

Он, злобно закусив губы, позвонил у своего подъезда. Ему не отворяли. Иван Карпович вынул из кармана квартирный ключ и сам отпер дверь.

«Анна спит... сном сморило, — брезгливо засмеялся он, — тем лучше, разговоров не будет. А то началось бы: где вы, Иван Карпович, побывали? да весело ли вам было? да отчего от вас духами пахнет?.. Ах, несчастье мое! Вот из-за кого пропала моя репутация. Пока не было Анны — куда еще ни шло: ругали меня, но были и защитники. Иные даже считали меня несчастной жертвой супружеских недоразумений... Обзавелся этим сокровищем, — и пошел крик: Тишенко совсем опустился, связался с мещанкой... тьфу!.. И что я в ней нашел? Бог мой, Бог мой! как она нелепа и скучна! Как можно было так дико увлечься, взять ее в дом? А ведь стыдно вспомнить — было время, когда я ползал на коленях, платье ее целовал. Тьфу! Вымя!»

Тишенко с отвращением и страданием поморщился, и жалея себя, и брезгуя собою в прошлом. Он провел бессонную ночь, и когда утром Аннушка постучала в дверь спальни, будя

барина на службу, то на этот стук в уме Ивана Карповича ответила уже твердо сложившаяся мысль:

«Нет, баста! надо отделаться от Анны: надоела! пора!»

Однако еще дня два-три после того Иван Карпович не находил в себе силы нанести первый удар этому кроткому созданию — и безропотному, и беспомощному. Безволие, несносная назойливость совестливой жалости, томившей и нывшей наперекор желанию, дразнили его и выводили из себя. Все время он был невозможен: придирался по пустякам, ругался, кричал, только что не дрался. Аннушка, запуганная до полусмерти, ничего не понимая, вконец растерявшись, не знала как быть и что делать, и в тяжелые минуты грубых сцен отделывалась своим обычным молчанием, лишь трусливо вздрагивая при слишком уж грубых и громких окриках. Порою глаза ее заплывали слезами, но плакать она не решалась: Иван Карпович не терпел слез. Наконец Тишенко решился.

Он что-то не потрафил по службе, получил замечание и пришел домой к обеду бурый с лица от разлившейся желчи.

— Анна! — сурово сказал он, — мне надо поговорить с тобой.

Пока Тишенко обиняками намекал о необходимости разойтись, Аннушка стояла, прислонившись к дверной притолке, и перебирала пальцами складки передника. По лицу ее и потупленным глазам не видно было, понимает ли она господские слова. Тишенко говорил сперва довольно мягко; он несколько раз прерывал речь, выжидая, не вставит ли Аннушка слово, но она молчала. Мало-помалу Иван Карпович начал горячиться и наконец вскрикнул уже совсем злобным голосом:

— Ты мне не нужна больше... Я тебя разлюбил... Уходи! Понимаешь?

— Вся ваша воля... — ответила Аннушка, стоя все так же с понуренной головой и опущенными глазами.

Иван Карпович был озадачен. Он ждал если не отчаянной сцены, то хоть слез. Ему самому очень трудно далось это объяснение, и по себе он судил, как должно быть тяжело Аннушке.

— Вот и прекрасно, вот и умница, — бормотал он, — и... я очень рад, что мы расстанемся друзьями. Я, конечно, имею в отношении тебя обязанности... я человек увлекающийся, но честный и помогу тебе устроиться...

— Нешто вы хотите прогнать меня? — перебила Аннушка, поднимая глаза.

Тишенко изумленно развел руками.

— Я от вас, Иван Карпович, не уйду, — продолжала Аннушка, и губы ее сжались так крепко, в глазах засветилась такая твердая решимость, что Иван Карпович растерялся.

Оба молчали.

— Как же ты не уйдешь? — начал Тишенко сдержанным тоном, медленно и солидно, — если я тебе говорю, что незачем нам жить вместе, что я тебя разлюбил...

Аннушка снова потупилась.

— Меня-то небось вы не спросили, разлюбила ли я вас... — тихо молвила она.

Иван Карпович сконфузился.

— Очень мне надо! — с откровенной досадой проворчал он.

— Мне от вас идти некуда, Иван Карпович! — говорила Аннушка, глядя ему в лицо, — я безродная: вся тут как есть. Крест на шее да душа — только у меня всего имущества; где моя душа пристала, там мне и быть. Что вы меня разлюбили — это ваша воля, а уйти от вас мне никак нельзя... Помереть лучше...

— Скажите, как трогательно! — прервал Тишенко, — не беспокойся, матушка, цела будешь. Повторяю тебе: я человек не дурной и о тебе позабочусь. На улице не останешься. Прачечную, белошвейную, модную мастерскую открой — что хочешь... Я тебя поддержу. А не то просто деньгами возьми.

— Не надо мне ничего, Иван Карпович. Я не уйду.

Тишенко уговаривал Аннушку, представлял ей резоны, просил, потом стал грозить, кричал, топотал ногами, потом опять просил, потом опять кричал, пока не свалился в кресла, совсем обессиленный волнением и гневом, в поту и осипший.

— Ох, не могу больше! — в отчаянии застонал он, — пошла вон!..

Получасом позже Иван Карпович заглянул к Аннушке на кухню. Молодая женщина сидела за шитьем.

— Я ухожу, Анна, — сказал он спокойно, как мог, — вот смотри: я кладу на стол конверт, здесь тысяча рублей, это твои... Прощай!.. не поминай лихом, — добром, правду сказать, не за что, — а главное, уходи! сейчас же уходи! Берегись, чтобы я тебя не застал, когда вернусь: нехорошо будет.

Аннушка затворила за барином на подъезде, села в передней на стул и просидела неподвижно весь вечер, бессмысленно уставив помутившиеся, почти немигающие глаза на уличный фонарь за окном. Наступили сумерки, в фонаре вспыхнул газ, — Аннушка сидела, как мертвая, не меняя ни позы, ни выражения в лице. Она не спала, но и наяву не была, потому что ничего не понимала из того, что видела и слышала. Мысль всегда шевелилась в ее простоватой голове не очень-то бойко, а теперь эта голова была как будто совсем пустая: тяжелое, точно свинец, бессмыслие царило в пораженном, придавленном внезапною бедою мозгу...

Поздней ночью Иван Карпович нашел ее на том же самом месте и оцепенел от изумления.

— Да что ты, шутки со мною шутишь?! — закричал он, хватая Аннушку за плечо...

Она очнулась, перевела свои глаза — неподвижные, с странным тусклым светом зрачков — на красное, искаженное гневом лицо Тишенко и, как спросонья, пролепетала:

— Не... пой... ду...

Казалось, она продолжала давешний разговор, точно он и не прерывался для нее...

«У нее были голубые глаза, а теперь какие-то серые, свинцовые...» — подумал Тишенко; эта перемена покоробила его не то страхом, не то отвращением, — ему стало жутко. Он ушел в спальню в глубоком недоумении, совсем сбитый с толку поведением Анны. Сделай любовница ему скандал, ударь его ножом, подожги квартиру, — он знал бы как себя вести, но ее немое, страдательное упорство парализовало его собственную мысль и волю. Анна знает, что Тишенко — человек раздражительный до самозабвения; года два тому назад, в минуту бешенства, он из-за каких-то пустяков пустил в нее гимнастической гирей фунтов пятнадцати весом... как только Бог ее уберег! — знает, а все-таки играет с ним в опасную игру. Что за дурь на нее нашла? аффект у нее, что ли, как теперь принято выражаться? «Вздор! — громко подумал Иван Карпович, — какие у нее, коровы, аффекты!.. Аффекты докторишками и адвокатишками выдуманы, чтобы перемывать разных мерзавцев с черного на белое... Просто притворствует и ломается... Знаем мы!»

Мысль о притворстве Аннушки понравилась Ивану Карповичу; он с удовольствием остановился на ней.

— Погоди же! — волновался он, — утром я тебе покажу, как играть комедии. Не уходишь честью, — за городовым пошлю... да!.. Ночью не стоит заводить историю, а чуть свет...

Спать он не мог. Фигура Аннушки, понуро сидящей в передней, медленно плавала пред его глазами, отгоняя дремоту от его изголовья.

— Боюсь я что ли ее? — проворчал он, и гордость гневно забушевала в нем.

Бессонница продолжалась, тоска и гнев росли; к ним прибавилась головная боль с сердцебиением, стукотней в виски, дурным вкусом во рту... Иван Карпович не вытерпел, вскочил

с постели, накинул халат и пошел проведать Аннушку. Та же неподвижная фигура на стуле встретила его тем же стеклянным взглядом... Не спит!..

Тишенко открыл рот, чтобы выбраниться, но осекся на полуслове. Мороз побежал мурашками у него по спине, волосы на голове зашевелились... Он быстро отвернулся и почти побежал назад в спальню. Когда он сел на кровать, то почувствовал, что его бьет сильная лихорадка — все тело мерзнет и дрожит, точно в каждую жилку его вместо крови налита ртуть. Он слышал, как бьется сердце — часто и гулко, словно в пустоте, и ему действительно казалось, будто в груди его образовалась какая-то огромная яма, где медленно поднимается и опускается, как шар, истерическое удушье...

— Я, кажется, очень испугался... — шептал он, уткнув лицо в подушку, но не смея погасить свечу, — это... это очень странно и глупо... никогда в жизни я ничего не боялся... но она такая чудная... О, подлая! до чего довела! — вскрикнул он со скрипом зубов, встал и принялся ходить по спальне.

Ходьба помогла ему. Истерический шар отошел от горла. Иван Карпович ходил, думал и удивлялся: обыкновенно он размышлял сосредоточенно, солидно и несколько медлительно — теперь же в голове его кружился такой быстрый и беспорядочный вихрь дум, желаний и планов, что ему даже странно делалось, как один случай может породить такое громадное и неугомонное движение мысли.

Взошло солнце. К девяти часам Ивану Карповичу надо было идти на службу. Он вспомнил об этом, когда часы пробили уже девять. Он не изумился и не испугался своей просрочки, хотя за опоздание, наверное, ждал выговора: и служба, и начальство были далеки и чужды ему в эти минуты. Он машинально оделся, взял портфель, вышел. Но пред дверью в переднюю его остановила трусость, властная, как сумасшествие... Тишенко чувствовал себя решительно не в состоянии увидать Аннушку еще раз такою, как минувшей ночью.

«Если у нее глаза открыты, — размышлял он, — я не знаю, что сделаю... либо закричу на весь дом, либо ударю ее чем попало. Не пройти ли лучше черным ходом?» Но гордость его возмутилась против этой мысли. Хоть и нерешительным зыбким шагом, он все-таки вошел в переднюю. Аннушка спала, сидя, откинув голову на спинку стула, повесив руки, как плети.

Лицо ее было желто, брови хмурились, рот раскрылся. Иван Карпович остановился было пристальнее разглядеть Аннушку: что в ней так сильно напугало его ночью? — но веки спящей задрожали, и весь ночной ужас сразу вернулся к Тишенко; он выскочил на подъезд, крепко захлопнул за собой дверь и зашагал по тротуару, как будто убегая от злой погони.

На службе Иван Карпович работал старательно, как всегда. Когда часовая стрелка приблизилась к трем, возвещая скорый конец присутствия, он подошел к своему сослуживцу Туркину, тоже средних лет холостяку и бобылю:

— Ты где обедаешь сегодня?

— У себя в «Азии»... а что?

— Прими меня в компанию, у меня дома обед не готовлен.

— Послушай-ка, Иван Карпович, — спрашивал за обедом приятеля Туркин, — или тебе нездоровится? Молчишь, лицо у тебя зеленое, глаза как у Пугачева. Нервы, что ли? Так ты их водочкой, водочкой...

Под вечер Туркин звонил у подъезда Тишенковой квартиры. Аннушка отворила ему.

«Что мне врал Тишенко? — подумал Туркин, — ничего в ней нет особенного... такая же, как была».

— Ну-с, Анна Васильевна, — бойко и развязно заговорил он, усаживаясь в пальто и шляпе на подоконник в передней, — я к вам от Ивана Карповича. Он вами очень недоволен. Не хорошо-с, душа моя, очень нехорошо-с. Иван Карпович поступает с вами благородно, а вы вместо того делаете ему

расстройство. Ежели сказано вам: уходите, — значит, и надо идти, пока честью просят, а то можно и городового пригласить. Иван Карпович только шума не желает, вас жалея, — так вы это и цените! Забирайте свои пожитки и... это что же должно обозначать?!

Аннушка, не слушая Туркина, повернулась к нему спиной и пошла во внутренние покои. Туркин за нею. Он горячился, убеждал, размахивал руками. Аннушка посмотрела на него, и он смутился и замолк.

— Не пойду... — услышал Туркин ее хриплый шепот.

— Черт знает что такое! — рассуждал он, беспомощно стоя среди комнаты и постукивая цилиндром о колено, — что с ней станешь — будешь делать? В самом деле, чудная какая-то... ишь глядит! И впрямь за городовым не сходить ли? Так скандал будет, до начальства дойдет... нет, уж это — мерси покорно! Ну ее совсем и с Иваном Карповичем! Своя рубашка ближе к телу! Пусть сами, как хотят, так и справляются со своими глупостями.

— Ну, брат, — сконфуженно говорил Туркин, входя в свой номер, где давно поджидал его Тишенко за целой батареей пивных бутылок, — упрямится твоя Меликтриса... и слушать не стала!..

Он рассказал, как было дело.

— По-моему, один тебе способ: возьми ты ее измором. Номер у меня большой — живи... день-другой не покажешься, небось не стерпит, уйдет... Да ты слушай, коли я говорю! Куда глядишь-то? о чем думаешь?

Иван Карпович тупо посмотрел на Туркина.

— Это ты хорошо сделал, — сказал он.

— Что?

— А вот... городового не надо...

Туркин вгляделся в его красное лицо и воспаленные глаза, сосчитал пивные бутылки на столе и свистнул.

— Однако, Иван Карпович, ты, кажется, здорово «того»...

— Скажи ты мне, Туркин, — тихо заговорил Тишенко, — что это у меня в голове делается?.. Словно у меня там жила лопнула со вчерашнего дня... Я помню, когда был мальчишкой, так пульсовую жилу себе ножом перехватил. Кровь хлещет, порез саднеет, а рука тяжелая, что каменная; столько из нее вытекает, что, кажется, ей бы легче делаться, а она, наоборот, словно тяжелеет пуда на два с каждой минутой... Вот теперь у меня в мозгу происходит как будто точь-в-точь такая же штука... С тобою не бывало?

— Никогда. С какой стати? У меня, брат, мозги легкие. А тебе вот что скажу: ложился бы ты спать... а то мелешь с пива невесть что!..

Назавтра Иван Карпович на службу не пошел. Туркин, вернувшись из должности, опять нашел приятеля за пивом.

— Вторую полдюжину почали, — сообщил ему коридорный.

«Запил! — подумал Туркин, — скажите! я и не знал, что с ним это бывает... Ну, пускай его пьет! Если человеку мешать в таком разе, — хуже: надо ему свой предел выдержать...»

Для Ивана Карповича наступила третья бессонная ночь. Просыпаясь по временам, Туркин неизменно видел, что Тишенко бродит по номеру, бормочет что-то, потом подходит к столу и пьет стакан за стаканом.

— Кончил бы ты эту музыку, — уговаривал его Туркин на другой день за обедом, — право, нехорошо; на себя непохож стал, не спишь... смотри: развинтишься вконец... ну и перед начальством неловко...

Иван Карпович, не слушая Туркина, протирал себе глаза.

— Попало что-нибудь?

— Красное... — не отвечая на вопрос, сказал Тишенко.

— Что «красное»?

— Так... все. Это у меня бывает. Вдруг заболит около темени, вискам станет холодно, а на лбу горячо... очень не-

приятно!.. и — на что ни поглядишь, — все красное... мутное и красное... Потрешь глаза — проходит... Брысь, подлая! — крикнул он, сбрасывая на пол вскочившую на диван кошку.

— За что ты ее? Это наша любимица... ее вся «Азия» холит, — упрекнул Туркин.

— Терпеть не могу, когда всякая дрянь мечется под руку во время еды...

— Сам же ты ее прикормил за эти дни, а ругаешься.

— Хочу и ругаюсь. Не твое дело. Избавь от замечаний...

Туркин струсил: у Ивана Карповича губы были совсем белые, а голос звучал громко, грубо и отрывисто... «Навязал я себе нещечко на шею! — подумал чиновник, — пойти проведать то, другое сокровище... авось надумалась, сговорчивей будет!»

Но напрасно звонил он у Аннушки. Бледное лицо показалось на мгновение в окне и, окинув Туркина невнимательным взором, скрылось.

— А Иван Карпович уснули, — доложил Туркину коридорный, когда тот вернулся в сердцах от нового конфуза. — После вашего ухода они все серчали... даже бутылку на пол бросили и мне подмести не позволили... сами ругаются, а промежду слов все этак глаза себе кулаками вытирают... а потом и задремали!..

— Спит — и слава Богу!.. стало быть, конец безобразию! — радостно воскликнул Туркин.

Был второй час ночи; Туркин уже часа три как был в постели и видел прекрасные сны. Грезился ему чудный сад с ярким солнечным светом, пестрыми клумбами, желтыми дорожками... все было красиво, чисто, аккуратно, — одно нехорошо: в эдем этот доносился откуда-то рев: не то звериный вой, не то гневный человеческий крик. Туркин оробел, начал прислушиваться и вместе с тем просыпаться... Рев усилился, и стало совершенно ясно, что летит он не откуда-либо еще, а с дивана,

где вечером уснул Иван Карпович. В ту же минуту Туркин дернут был с постели, как землетрясением, и, качаемый могучими руками за ворот, за плечо, озадаченный и перепуганный насмерть, увидал над собою при свете предыконной лампадки страшное багровое лицо с выкатившимися белками глаз... Лицо дергалось безобразными гримасами, кривя запекшийся рот, из которого вырывался густой, басовый, совершенно животный вой...

— Тишенко! что с тобой?.. — завизжал Туркин.

«Допился!» — как молния, мелькнула у него мысль...

— Иди к ней! иди! — ревел Иван Карпович, чуть не ломая ему плечо железными пальцами, — гони ее... о-о-о!.. изве... изве... ла... ме... ня... зме... змея...

Слова вылетали у него из гортани слог за слогом, как лай...

— Куда я пойду? — защищался Туркин, — сумасшедший! опомнись! Теперь ночь...

— Не пойдешь? Ночь, говоришь, ночь! Ладно же! Я... я сам... я пойду... — кричал Иван Карпович, колотя себя в грудь кулаками, и вдруг, согнувшись вполовину своего большого роста, как зверь, шмыгнул за дверь номера, сбив с ног спешившего на ночной шум коридорного...

— Караул! — завопил вслед ему освобожденный Туркин, но Тишенко уже сбегал по лестнице, качаясь, спотыкаясь о ступеньки, колотясь о перила.

Он ничего не видел перед собой — красная мгла застилала ему глаза, — но бежал вперед по слепому неистовому инстинкту...

— Вошел? ты говоришь, вошел? — торопливо спрашивали дворника дома, где квартировал Тишенко, подоспевшие вслед за бешеным Туркин и околоточный...

— Как же: во двор прошли и прямо по черной лестнице...

— Что ж ты его не держал? Разве не видал, что человек не в себе?! — озлился околоточный.

— Да мне и то чудно показалось, как это они без шапки...

— То-то «чудно»! А еще дворник... животное!.. Городовые! Карпов! Филатов! ступай вперед по лестнице...

В квартире Ивана Карповича была тишь и темь. Околоточный чиркнул спичкою и осветил пустую кухню... в соседней комнате, столовой, валялся на полу подсвечник с потухшей, разбитою на куски свечой... Туркин подобрал огарок, зажег...

— Господи, помилуй! — охнул дворник, и все попятились: из-под двери спальной ползла в столовую черная широкая струя...

Аннушка — еще теплая и трепещущая — лежала за дверью с проломленною головою. Орудие убийства — утюг — Тишенко бросил тут же... Самого его нашли в передней: сидя на том самом месте, где недавно его напугала Аннушка, он спал крепким сном с самым спокойным и довольным выражением на утомленном лице...

1891

РЕБЕНОК

Марье Николаевне Гордовой предстояло тайное и крайне неприятное объяснение. Она услала из дома кухарку, опустила в окнах шторы и, в волнении, ходила взад и вперед через все три комнаты своей небогатой квартиры, выжидая звонка в передней.

Марье Николаевне тридцать лет. Она — крупная блондинка, довольно статная, но с чрезмерно развитыми формами; при том в ее фигуре есть что-то пухлое, вялое, дряблое. Лицо у нее белое, без румянца, в легких веснушках под глазами — светло-голубыми, очень красивыми и неглупыми; физиономия осмысленная, но бесхарактерная и несколько чувственная. Марья Николаевна не замужем, но у нее есть любовник,

и она только что вернулась в Петербург из Одессы, куда уезжала на целых шесть месяцев, чтобы скрыть беременность и роды. Этого своего любовника она и ждет теперь.

Семья Марьи Николаевны — безденежная, расстроенная, без главы в доме. Гордова — сирота и живет вместе с двумя старушками-тетками, целые дни блуждающими по Петербургу, разнося знакомым сплетни, вести, хозяйственные и врачебные советы, являясь в один дом на положении «своих», в другой — просто прихлебательницами. Квартира пустует с утра до вечера. Марья Николаевна тоже мало сидит дома, — у нее много знакомых. Ее любят в интеллигентном обществе: она не без образования, кое-что читала, умеет поговорить об умном, далеко не prude * и в беседах с мужчинами не теряется. За пышные золотые волосы, высокую грудь и вкусные плечи за нею много ухаживали; она это любила, пробовала силы своего кокетства чуть ли не на каждом мужчине, но замуж упорно не шла. «Успею!» — думала она, рассматривая в зеркале свое моложавое лицо.

Одним из побежденных Марьей Николаевной был частный поверенный Василий Иванович Иванов — человек не с очень большим достатком, но и не нуждающийся. Он вышел в люди из простого звания, но ни развитием, ни особенными талантами не отличался. Зачем Марья Николаевна пристегнула этого скромного, кроткого и не слишком далекого господина к сонму своих поклонников, — неизвестно. Должно быть, — для коллекции, потому что для такой избалованной девушки Василий Иванович вовсе не был находкою, да к тому же был женат, хотя и жил врозь со своей женой, простой женщиной, не дававшей ему развода. Иванов был очень влюблен в Марью Николаевну и долгое время выносил ее капризы, дурачества и мелкие женские тиранства с терпеливой выносливостью истого Тогенбурга. Но однажды, остав-

* Недотрога (*фр.*).

шись наедине с нею, он под влиянием ее заигрываний совершенно неожиданно «сбесился», выказал совсем ему не свойственную предприимчивость и овладел девушкой. С ее стороны любви тут никакой, разумеется, не было, но по женскому фатализму, по страсти доказывать себе разумность и логичность всех своих поступков, Марья Николаевна поторопилась уверить себя, что любит Иванова. Иванов же разбираться в фактах не любил и не умел, а принимал их непосредственно: «Отдалась, — значит, любит». Началась связь, и вскоре любовники действительно довольно тесно свыклись друг с другом. Иванов принялся усиленно хлопотать о разводе, но жена поддавалась на его убеждения туго и требовала с мужа весьма крупную сумму денег. Тем временем Марья Николаевна забеременела. Это — как водится — поразило любовников ужасом: они совсем потерялись, не знали, что предпринять, раздражались друг против друга и ссорились. Наконец Василий Иванович списался с одной повивальной бабкой в Одессе, и вскоре Марья Николаевна уехала, никем не заподозренная. То обстоятельство, что тайну оказалось возможно скрыть, опять примирило и сблизило любовников — они расстались друзьями и часто переписывались.

Марья Николаевна родила сына. Роды были трудные, а за ними последовала болезнь. Переписка прервалась на целые два месяца; когда же возобновилась, то Василий Иванович начал получать письма вялые, ленивые, в каком-то натянутом тоне и с чем-то недосказанным в содержании, — словно Марье Николаевне смерть как не хотелось писать, и, насилуя свою волю, она исполняла скучную и неприятную обязанность. Потом совсем замолкла. Василий Иванович терялся в догадках, что с нею, как вдруг получил городскую телеграмму, что Марья Николаевна уже в Петербурге и ждет его тогда-то к себе, потому что «надо поговорить».

Василий Иванович смутился и от неожиданности, и от краткости телеграммы.

«Надо поговорить... Ну да, разумеется, надо поговорить, если муж и жена (Иванов уже считал Марью Николаевну женою) не видались полгода. Но как странно Маня пишет! Выходит, как будто она зовет меня потому только, что надо поговорить... Э! тьфу, черт! какие нелепости лезут в голову... просто глупая бабья редакция телеграммы, — и ничего больше! А странно, однако, что Маня приехала так нечаянно, не предупредив, — точно с неба упала...»

Так думал Иванов, шагая в отдаленную улицу, где жили Гордовы. Чем ближе был он к цели, тем бледнее становились его опасения и сомнения. Радость близкого свидания с любимой женщиной заливала его душу волною такого полного, светлого счастья, что черным думам, если бы даже он хотел их иметь, не оставалось места в уме, — порыв любви был их сильнее.

Иванов вошел к Гордовой бойко, развязно, даже шумно и широко раскрыл ей объятия. Она встретила его растерянно и нерешительно подставила ему свои губы; когда же поцелуй затянулся слишком долго, на ее покрасневшем лице выразились испуг и смущение. Она уперлась в грудь Иванова ладонями и незаметно освободилась из его рук. Затем села на диван, сдвинув как бы нечаянным движением кресла и круглый стол так, что они совсем загородили ее; подойти и подсесть к ней стало нельзя.

— Как ты поздоровела и похорошела! — восторгался Иванов. — Ты помолодела на десять лет.

Марья Николаевна отвечала на возгласы Иванова сдержанно и боязливо, так что он наконец не без недоумения взглянул на нее: в ее лице ему почудилось нечто скучливое, усталое и насильно затаенное — словно ей надо высказать что-то, а она не смеет. Иванова кольнуло в сердце нехорошим предчувствием; он осекся в речи, пристальным испуганным взо-

ром уставился в лицо девушки и увидел, что и она поняла, что он проник ее состояние, тоже испугалась и также странно на него смотрит. Тогда ему страшно захотелось, чтоб она раздумала говорить то затаенное, что ей надо и что она не смеет сказать. Но Марья Николаевна уже решилась. Она порывисто встала и оттолкнула кресла:

— Нет, так нельзя! — сказала она, ломая свои бескровные белые пальцы, — я не хочу... я должна сказать прямо... Послушайте! Между нами больше не может быть ничего общего. Не ждите, что наши отношения продолжатся... Я за тем и звала вас, чтобы сказать... Вот!

Залпом, в один дух высказав все это, она отвернулась к зеркалу и, задыхаясь, стала — без всякой надобности — поправлять свою прическу. Иванов стоял совсем ошеломленный.

— Что с тобой, Маня? — жалко улыбнулся он наконец.

Она не отвечала. Тогда он побагровел, на лбу его надулась толстая синяя жила, глаза выкатились, полные тусклым свинцовым блеском; он шагнул вперед, бормоча невнятные слова. Марья Николаевна вскрикнула и, обратясь к Иванову лицом, прижалась спиной к зеркальному стеклу. Иванов отступил, провел по лицу рукой, круто повернулся на каблуках и, повесив голову на грудь, зашагал по гостиной с руками, закинутыми за спину. Марья Николаевна следила за ним округленными глазами и со страхом, и с отвращением.

Он остановился перед нею.

— Давно это началось? — спросил он, глядя в сторону.

— Что?

— Ну... да вот это! — вскрикнул он нетерпеливо и, не дожидаясь ответа, махнул рукой и опять зашагал.

Марья Николаевна растерялась. Когда это началось? — она сама не знала. Не то до, не то после родов. Она помнила только, что когда в Одессе ей было скучно или больно, ею овладевала тупая, узкая, сосредоточенная тоска, и в эти мо-

менты у нее не было иной мысли, кроме раскаяния в нелепой своей связи. «За что я страдаю и буду страдать?» — думала она, сперва обвиняя себя одну. Как эгоистический инстинкт самооправдания привел ее от нападок на себя к нападкам на Иванова, она не заметила. Взвешивая сумму позора, лжи, болезни и неприятностей, полученных от ее связи, она находила эту сумму слишком большою сравнительно с наслаждением, подаренным ей любовью, — и, с чисто женским увлечением, обостряла сравнение, преувеличивая свои печали и унижая радости. В ней уже не было любви, ни даже страсти, но стыд сознаться себе, что она без любви принадлежала мужчине и скоро будет иметь от него ребенка, не позволял ей ясно определить свои отношения к Иванову. «Да, я люблю... — насильно думала она, — но какая я была дура, что полюбила!» Но после родов — под впечатлением страшного и позднего физического переворота в теле своем — она вся словно переродилась. Удрученная болезнью, она не имела ни времени, ни охоты останавливаться мыслью на чем-либо помимо своего здоровья, а между тем, когда она встала с постели, то вопрос ее связи оказался уже непроизвольно решенным, втихомолку выношенным в ее уме и сердце. Она встала с чувством резкого отвращения к прошлому году своей жизни. Ей как-то стало не стыдно теперь думать, что любви не было, — наоборот, казалось, что было бы стыдно, если бы была любовь. Свое падение она считала более или менее искупленным чрез рождение ребенка и болезнью, и теперь у нее осталось только удивление, как с нею могла сплестись эта связь.

«Это безумие, мерзость!» — с отвращением думала она.

Василий Иванович стал противен ей по воспоминаниям. Когда она представляла себе его фигуру, лицо, руки, она себе не верила, что это тот самый человек, кому она принадлежала. «Как можно было любить его? И он... как он смел подумать, что я его люблю?» Ей понравилась возможность выгораживать себя в своем падении, распространять свое новое отвращение

и на прошлое время, уверять себя, будто Василий Иванович всегда был противен ей, будто она — жертва, взятая силой. И она себя уверила. И беспричинная, и тем более лютая, что беспричинная, злоба к Иванову разгорелась еще сильнее и упорнее. Мало-помалу Марья Николаевна совсем потерялась в море навязанных себе лжей и недоумений. К тому времени, как ехать в Петербург, она окончательно перепутала свой действительный мир с выдуманным, Иванова настоящего — с фантастическим, загубившим ее зверем, которого она боялась, ненавидела, чьи узы надо было с себя сбросить во что бы то ни стало. Когда он вошел к ней, она держала в своем уме образ фантастический, и только страх заставил ее принять поцелуй Иванова; затем через секунду образ фантастический сменился настоящим, страх исчез, остались только отвращение и решимость отвязаться. Тогда-то Марья Николаевна и заговорила, и вышло все, что случилось. Не могла же она передать всего этого двумя словами, а много говорить она не хотела и боялась, что не сумеет, а потому упорно и тупо молчала, враждебно глядя пред собой.

— Послушай, Маня... — возвысил голос Иванов, хрипя и с трудом проглатывая вдыхаемый воздух, — послушай... отчего же это так? Ведь я... я, кажется, ничего не сделал тебе такого, за что бы можно было так круто перемениться ко мне...

Марья Николаевна ободрилась: зверь был решительно неопасен!

— Да, вы — ничего, то есть, по крайней мере... ничего нового... Но я — много.

— Ты другого полюбила? — быстро спросил Иванов, бледнея.

— Нет... я никого не люблю... Я только много думала и вглядывалась в наши отношения и убедилась, что мы с вами не пара!

Иванов молча барабанил пальцами по столу.

— Что же так поздно, Маня? — с горечью сказал он, качая головой, — я ведь такой же, как и был. Я ведь часто тебе говорил, Маня: ты и умница, и красавица, и образованная, а я — что я пред тобою? Сама же ты мне зажимала рот: молчи! я тебя люблю! А теперь, когда я думал, что мы связаны неразрывно, когда у нас есть ребенок... ты теперь вдруг сама разрушаешь нашу любовь...

— Не говорите про любовь! Какая любовь? Ее не было!

— Как не было? Маня! что ты?

— Никогда, никогда!

— Ты не любила меня?

— Нет!

— Да что же тогда было между нами?! — вскричал он, разводя руками, — я не понимаю! Ты знаешь, что я всегда смотрел на тебя свято, как — не хвалясь скажу — редкий муж смотрит на жену... а ты говоришь: не было любви! Что же было?

— Грязь была... безумие!

— Маня! Опомнись, что ты говоришь! Не клевещи на себя! Вспомни, что пред тобой — отец твоего ребенка! Ты мать и наверное его любишь! Как же тебе не совестно обижать его, называть его плодом... безумия, то есть, попросту сказать... разврата?..

Красные огоньки забегали в глазах Марьи Николаевны, и кровь прилила к вискам.

— Как ты смеешь так говорить? — закричала она. — Я? я развратная? и это ты сказал? ты смеешь плевать на меня? ты, погубивший меня? ты, кого я не знаю, как проклинать? Ты... подлец! ты силой взял меня!.. Ай!

Она отпрыгнула в соседнюю комнату, потому что Иванов, с почерневшим от бешенства лицом, бросился на нее, крутя над головою сжатыми кулаками. Теперь он был действительно похож на выдуманного Марьей Николаевной зверя. Он догнал ее и, схватив за плечи, толкнул так, что она,

перелетев чрез всю комнату, ударилась о стену плечом и упала на колени.

— Не лгать! — завопил он, — слышишь? Все — кроме лжи! Ты сама знаешь, что клевещешь! Я на тебя Богу молился, и я не подлец!.. Ох!

Он бросил растерянный взгляд, ища стула, направился было к нему, но вдруг, совсем неожиданно, сел на пол и, всхлипнув, как ребенок, закрыл лицо руками. Марья Николаевна глядела на него мрачно: ей не было его жаль, — у нее ныло ушибленное плечо... Гневное негодование Василия Ивановича было слишком правдиво, чтобы спорить с ним, но Марья Николаевна была так возбуждена, что охотно бросила бы ему в лицо снова свою клевету, если бы не боялась. Наплакавшись, Иванов встал и заговорил тихо и спокойно:

— Маня, ты вольна в своих чувствах, конечно, и можешь думать обо мне, как хочешь. Но я все-таки полагаю, что не имею права расстаться с тобою, не передав тебе одного дела. Моя жена наконец согласилась... дает мне развод. Хочешь ты...

— Ни за что! — перебила она его резко, — ни за что! Вы мне ужасны и... противны! Не желайте меня в жены! Вы бы имели во мне врага везде — в обществе, в делах, в кухне, в спальне...

— С врагами мирятся, Маня!

— Может быть, но я не могу.

Она несколько смягчилась и заговорила спокойнее:

— Послушайте! я не знаю, как это случилось, что я почувствовала к вам такое отвращение, но я не могу. Вся моя гордость кипит уже оттого, что я принадлежала вам, а вы хотите, чтобы я была вашею женою! Да меня замучит одно сознание ваших прав на меня, необходимость носить вашу фамилию... Я бы с наслаждением сорвала с себя кожу там, где вы целовали и обнимали меня, а вы хотите, чтобы я жила с вами!

— Тогда толковать нечего! Но откуда это? откуда?.. Послушай... послушайте, Маня, уверены ли вы, что вы вполне здоровы?..

Марья Николаевна покраснела. Мысль, что ее настроение не совсем нормально, приходила ей самой в голову еще в Одессе, и однажды она без утайки рассказала свое состояние местной медицинской знаменитости, явившись к почтенному эскулапу incognito, под чужим именем. Доктор с любопытством выслушал ее, пожал плечами, развел руками и сказал только:

— Бывает!

— Значит, я больна?

— Да, если только вы считаете, что были здоровы, когда влюбились...

— А если нет?

— Тогда вы теперь здоровы, а раньше были больны.

— Это не ответ, доктор!

— Что же я могу еще сказать вам? У вас вон родильная горячка была, да и роды — первые, поздние, трудные... Ведь это не шутки для организма, но буря, коренной перелом-с! Мало ли какие аффекты получаются у выздоравливающих!.. Вы же еще истеричны.

— Итак... это временное? — с испугом спросила Марья Николаевна.

— Все, что мы испытываем, временно, сударыня.

— Мне надо лечиться, следовательно?

— Лечиться никогда не лишнее...

— Ах, доктор, вы смеетесь надо мною!

— И не думаю, и не смею, но я, право, не знаю, что вам сказать. Вы теперь преисполнились отвращением к вашему супругу и полагаете, что больны...

— Нет, я думаю, что я здорова!

— В таком случае, что же мне прикажете делать? Остается поздравить вас с выздоровлением и посоветовать

не заболевать вновь... то есть, попросту сказать, не влюбляться...

— Но ведь я связана с этим человеком, доктор! Он имеет права на меня!

— Ну-с, тут уж я решительно ничем помочь не могу: это вне компетенции моей науки...

— Сделайте так, чтоб это прошло!

— То есть, лечить вас от здоровья и приворотный корень вам дать? Да его в аптеках не обретается. Вот что, сударыня, — последний вам сказ: отправляйтесь-ка вы к своему супругу и поступайте, как вам душа подскажет, как взглянется... Всего вероятнее, что вся эта история, когда нервы замолчат и улягутся, кончится и решится в самую желательную сторону... без всяких трагедий, разрывов и прочего... Ну а если нет, если не стерпится и не слюбится, ваше дело, как поступить... Лекарствице от нервов я вам пропишу... Имею честь кланяться!..

Марье Николаевне показалось обидным, что ее состояние объясняют аффектом, движимым чисто физическими причинами. Как весьма многие, она резко разделяла свой физический и духовный мир и придавала влиянию тела на душу гораздо меньше значения, чем обратно. Ей стало и противно, и досадно, что ее отвращение к Иванову хотят лечить насильственной близостью к нему же.

Эта беседа с доктором вспомнилась ей теперь. Она нахмурилась и ничего не ответила Иванову.

Василий Иванович взял в руки свою шляпу и повертел ее в руках.

— Теперь последний вопрос, — сказал он, — где мой ребенок?

— Здесь, в Петербурге.

— Зачем вы привезли его сюда?

— Затем, что я его люблю и хочу иногда видать.

— Он у кормилицы?

— Да.

— Я могу его видеть?

Марья Николаевна задумалась.

— Я не смею отказывать вам в этом праве... вы отец. Но зачем? Я не уступлю вам его!

— Да? Вы так привязались к этому... плоду безумия и насилия? — горько упрекнул он.

— Да. Мне все равно, как он явился. Я выносила его. Я мать.

— Дайте же мне взглянуть на него.

Марья Николаевна пожала плечами.

— Хорошо. Пойдемте. Я не успела еще найти квартиру для мамки. Она в меблированных комнатах.

— Сейчас идти?

— Да. Лучше все кончить сразу, чтобы больше не встречаться...

— Пусть будет по-вашему!

Четверть часа спустя они вошли в довольно приличные меблированные комнаты. Кормилка, уродливая баба с добрым и глупым лицом, дико оглядела Иванова и, по приказанию Марьи Николаевны, вышла. Ребенок, — здоровый, крепкий, как кирпич, толстый и красный, — лежал на подушках, сложенных на большом мягком кресле. Он спал крепко и с наслаждением, как умеют спать только грудные ребята.

— Вот! — сказала Марья Николаевна довольно мягко, с беспредельною лаской глядя на ребенка.

Иванов, обогревшись, чтобы не принести ребенку холода, на цыпочках подошел к подушкам. Умиленное выражение расплылось и застыло у него на лице, просветляя недавнюю печаль.

— Можно его поцеловать? — прошептал он.

— Проснется... — нехотя отвечала Гордова.

Но Василий Иванович уже нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Мальчик сморщил нос, но пребыл в прежнем безмятежном состоянии.

— Как вы довезли его двухмесячного? такой маленький!

— Он спокойный.

— Мамка эта с самого начала его кормит?

— Да. Хорошая женщина.

— По лицу заметно. Как же дальше-то с ним быть?

— Думаю найти ему помещение... поселить с мамкою.

— Прямо в чужие руки? Эх, мальчишка бедный!

Он склонился над ребенком... Марья Николаевна сурово посмотрела на него, открыла рот, хотела что-то сказать, но остановилась и, резко отвернувшись, принялась глядеть в сторону. Иванов поднял на нее влажные глаза.

— Вы что сказали?

— Я ничего не говорила. Хотела только... да лишнее!

Он опять обратился к ребенку. Марья Николаевна, в волнении, прошлась по комнате.

— Мне так хотелось самой кормить его, — сказала она внезапно.

Иванов сочувственно кивнул ей головой.

— Нельзя! Незаконный... репутация не позволяет... — раздраженно продолжала она. — Экий бедняк с первого дня рождения!.. И так на всю жизнь... без отца, без матери! Не признаю же я его своим: смелости не хватит... Быть может, когда-нибудь замуж задумаю выйти, — кто меня с ним возьмет? Кому он нужен? Несчастная звезда осветила нас с ним!

Иванов молчал и все глядел на ребенка.

— Он на вас похож... вот что я хотела сказать! — сердито бросила ему Марья Николаевна.

— Разве? — радостно проговорил Василий Иванович.

— А вы не видите сами?

Какая-то новая струнка задрожала в ее голосе. Она сама не знала, что творится с нею; тепло лилось ей в душу из этой детской постельки, умиротворяло ее гнев, ненависть и презрение; голос чувственной брезгливости внезапно замолк. Ей нравилось стоять у изголовья спящего ребенка, нравилось, что Иванов сидит над ним с таким честным, преданным, отцовс-

ким лицом; нравилось сознавать, что, пока они двое здесь, ребенок не одинок в громадном свете и не беззащитен.

— Что с ним будет! что с ним будет!.. — воскликнула она, всплеснув руками.

Иванов подошел к ней.

— Вы его очень любите, Маня. Я тоже.

Она смотрела в землю.

— Не женатые и во вражде друг с другом, что мы можем сделать для него, Маня? Погубим.

Она молчала.

— Выходите за меня замуж, Маня! Пусть я не буду мужем вам, но помогите мне спасти ребенка.

Она взглянула на него как спросонья:

— Я была не права... — сказала она тихо.

— Когда, Маня?

— Погодите... я говорила, что у нас с вами нет ничего общего... Я ошиблась: надо сказать — не было... теперь есть... Послушайте!

Она схватила его за руку.

— Простите меня: я действительно разлюбила вас... Но мне начинает казаться, что я была не права, что я не имела права этого делать... и, во всяком случае, не имела права гнать вас... теперь... Мы с вами не подходящие друг к другу люди, но случай ли, другое ли что соединили нас, к сожалению, навсегда. Я мать, вы отец... между нами этот ребенок: чужими мы уже не можем стать; можем стать врагами — чужими нет...

— Я тоже думаю, — спокойно сказал Иванов, — когда вы заговорили, что если выйдете за меня, то будете мне врагом, тут я и подумал...

— Да... Мы можем ненавидеть друг друга, у нас могут выходить ужасные сцены, а мы все-таки свои... Как это странно!.. Меня удивило, что после нашего объяснения мы так мирно и тихо стоим здесь возле кроватки... Послушайте! Неужели вы можете меня любить после нашего разговора?!

Василий Иванович задумался.

— Право, не знаю, Маня. Прежнего, кажется, не будет, но... я знаю одно: нам нельзя расстаться, — нечестно будет... и я не хочу расставаться.

— Долг?

— Да... долг и человечность.

Она покачала головой.

— Ах, что мне делать?!

— Выходите за меня замуж, право... Клянусь вам, я не буду докучать вам своей любовью, вы отбили у меня охоту к этому. Даю вам слово: это мое предложение — уже не вам, а нашему мальчику... нельзя, чтоб он остался без отца и без матери...

Марья Николаевна строго взглянула ему в глаза.

— Вы даете мне слово, что не будете предъявлять на меня никаких прав?

— Да... до тех пор, пока вы первая не сделаете шага ко мне. Не беспокойтесь: как я ни смирен, у меня есть и характер, и самолюбие... А вы меня очень оскорбили.

— Хорошо. Тогда я согласна. Я доверюсь вам. Вот вам моя рука.

Она печально улыбнулась.

— Сердце, извините, не могу предложить... Оно молчит...

— И за то спасибо: еще полчаса тому назад оно кричало против меня... Итак, начинать развод?

— Да... — с усилием выговорила Марья Николаевна и, подойдя к окну, стала смотреть в надвигавшиеся петербургские сумерки.

«А все-таки не люблю... противно мне... Исполнить долг хорошо... только это никого еще не наградило счастьем... Кончена моя жизнь!.. Прощай, молодость!..» — подумала она, и слезы потекли по ее щекам.

1891

ПОБЕГ ЛИЗЫ БАСОВОЙ

I

Храповицкий мещанин Тимофей Курлянков стоял на коленях в глубине «котла», выветренного в пластовой шиферной скале над Енисеем, и чинил рыболовную сеть. Он был очень не в духе. Сегодня утром нежданно-негаданно пожаловала к нему из города на одинокую заимку жена его Ульяна, баба еще молодая, но пьяная и гулящая. Тимофей, человек степенный и работящий, ее терпеть не мог. Жили они давнымдавно врозь: Ульяна — в городе по местам у «навозных», Тимофей — приказчиком-сторожем на глухой заимке, брошенной настоящим хозяином, красноярским купцом, чуть не в полную собственность Тимофея. Купец, великий фантазер и запивоха, весьма уважал Тимофея за честность и еще больше за то, что, «однако, курносый, как Сократ». Прежде чем спиться, купец успел поучиться в красноярской гимназии, а может быть, именно там-то и спился, как весьма многие сибирские юноши. Визиты Ульяны к мужу на заимку всегда означали одно и то же: что бабу бросил очередной любовник, а она с досады и горя запьянствовала, потеряла место, безобразничала недели две по улицам и валялась хмельная у всех кабаков славного города Храповицка, пока наконец, пропившись дотла, не вспомнила о существовании где-то в глуши, за сорок пять верст, своего законного супруга. Сегодня Ульяна пришла в довольно приличном виде, то есть имела на себе юбку и башмаки. Два года назад, в последнее свидание супругов, она явилась очам изумленного Тимофея почти Евою: всю одежду заменял ей рогожный куль, который она носила как поп ризу. А на дворе потрескивали уже сентябрьские морозы. Другая бы замерзла либо простудилась насмерть. Но этой железной, да и к тому же насквозь проспиртованной бабище все было сполгоря: хоть бы лиш-

ний раз чихнула! При встрече муж и жена после кратких и не весьма ласковых приветствий быстро переходили к пререканиям, от пререканий — к драке. Побеждал в продолжительном бою, в конце концов, разумеется, Тимофей, — все-таки мужчина! — но не без труда и урона, потому что Ульяна была не по-женски сильна и в драке зверела, так что надо было ее связывать. Вся обычная последовательность супружеского свидания повторилась и сегодня утром, о чем выразительно свидетельствовали царапины на лице Тимофея и подбитый глаз. Тимофей продержал жену связанною больше трех часов, покуда она утомилась ругаться, заснула, выспалась и, проснувшись, взмолилась о помиловании. Тимофей явил великодушие и развязал Ульяну, за что в благодарность та немедленно плюнула в ему глаза. Драка имела все данные возобновиться, но Тимофей, как опытный стратег, сообразил, что, покуда связанная Ульяна спала и отдыхала, он три часа работал во дворе, не покладая рук, и, следовательно, со свежими силами врага ему, утомленному, не сладить. И, осторожный, как Куропаткин, он благородно ретировался к сетям своим на Енисей, оставив за торжествующею Ульяною поле сражения и фортецию заимки.

Ульяна воспользовалась своею победою прежде всего за тем, чтобы разыскать имевшуюся в хате бутылку спирту, которую и осушила по-сибирски — чайною чашкою. Алкоголь умягчил ее бранное сердце и расположил мириться с мужем. К тому же на заимке ни души не было, и пьяной бабе стало скучно. Одним словом, каковы бы ни были намерения Ульяны, мирные или воинственные, но Тимофей около обеденного часа увидал из своего котла, что жена взбирается к нему в убежище крутою тропинкою по обрыву над Енисеем. Ульяна едва держалась на ногах, качалась, шаталась, падала на четвереньки, ползла. Тимофей пришел в ужас: он знал, что тропа узкая, неверная, осыпчатая, по ней и трезвому-то пройти не шутка. И не успел он крикнуть Ульяне,

чтобы та остереглась, как несчастная баба и в самом деле оступилась и полетела, перекувыркнувшись в воздухе, вниз, а за нею грянул целый обвал слоистой выветренной породы.

Тимофей, едва помня себя от ужаса, бросился на помощь к жене. Она лежала близ самого Енисея, на гальке, полузасыпанная, неподвижная. Пока мужик добрался к ней через сыпучую дыру, которую сделал в тропинке обвал, прошло довольно времени. Бледная синева лица, оскал зубов и лужа крови вокруг холодеющего тела выразительно сказали Тимофею, что он овдовел.

Тимофею нисколько не жаль было Ульяны, но он был потрясен внезапностью катастрофы и, кроме того, струсил. Не покойницы струсил, но — что засудят. Мужик он был неглупый и сразу смекнул, что в несчастный случай тут начальство плохо поверит. О скверных отношениях Тимофея с женою было известно далеко в околотке. Заглянул Тимофей в лужицу, наплесканную Енисеем между галькою: вода показала ему курносое лицо, исковерканное смущением и страхом, а что хуже всего, избитое и исцарапанное так усердно, что не у всякого настоящего убийцы бывает. Худо!

Одна надежда, что никто не видал. Кругом пустыня. До ближайшего жилья — села Прощи — семь верст. Спустить Ульяну, хорошенько загрузив крупною галькою, в Енисей, и концы в воду. Но тут Тимофей сообразил, что Ульяна прошла ряд сел, в которых ее знали. Значит, известно, что она находится у мужа. Значит, не сегодня-завтра узнается, что Ульяна пропала с заимки невесть куда. Значит, явится спрос к Тимофею: куда девал жену? А Енисей — река сумасшедшая: негруженое он грузит, а груженое разгружает. Каких камней ни наверти на покойницу, это похороны не верные, — течение очень может развязать труп и выбросить его где-нибудь на мель, в протоке.

Покуда Тимофей горевал и раздумывал, к заимке со стороны ближнего села подходил человек. Был он богатырского роста, в грубом пиджаке домотканого сукна, штаны засучены в высокие сапоги. Из-под московского картуза глядели глаза орлиные — суровые, смелые и зоркие. Сивые усы, сивая борода. Звали этого человека... впрочем, все равно как его звали, а кличка ему в округе была Потап. Был он старый политический ссыльный — бомбист, отбывший долгую каторгу и поселение и потом брошенный под гласный надзор в степное село. Жил на Проще много лет, омужичился, стал хозяином и, как часто бывает с поднадзорными властного ума и характера, если они попадают в очень глухое захолустье, сделался человеком, необходимым для крестьянства, — своего рода моральным начальством, которое иной раз повлиятельнее начальства коронного.

Тимофей зазрил Потапа издали на буграх. Сперва испугался, потом обрадовался. Потап был как раз человек, подходящий Тимофею для помощи и совета. Что Потап поверит ему и не подумает, будто он убил Ульяну, Тимофей не сомневался.

Потап поверил. Положение трупа, характер ушибов и ран на теле Ульяны убедили старика, что Тимофей говорит правду. Сомнения и страхи Тимофея он тоже понял очень хорошо. Без вины разорят и засудят.

— Прежде всего «это» надо зарыть.

Подняли мужчины мертвую Ульяну и перенесли ее на заимку, во двор. Там Потап приказал Тимофею разметать огромную кучу назема и на расчищенном месте рыть яму. Делалось так за тем, что под наземом земля талая, рыхлая, и легче, скорее берет ее заступ. Ведь по Енисею и летом уже на аршин вглубь почва промерзлая, что камень, хоть разбивай ее ломом и руби топором. А стояло не лето уже, ранняя осень: дни бежали к Покрову. Работали часа два. К вечеру тело Ульяны навсегда исчезло от глаз мира сего в глубокой

яме, плотно засыпанной песком. Поверх песка мужчины снова навалили бугор назема.

— Теперь, — сказал Потап, — сядем да померекаем, как избывать беду твою дальше. Я так полагаю, Тимофей, что оставаться на заимке тебе никак нельзя.

— Страшно, Потап Ильич, — сознался Тимофей. — Хотя баба была самая лядащая и никакой вины моей в ее смерти нету, а все же...

— Разумеется. Кому приятно жить одному в пустыне и труп под ногами чувствовать? Но помимо того опасно, что родня, знакомцы, начальство вскоре хватятся твоей Ульяны, начнут ее искать. А перед следствием и допросом, — я тебя знаю, — ты спасуешь... ну, и готов черту баран: ни за что ни про что Сахалина хватишь... Надо тебе уехать, друг любезный. Уезжай.

— Я бы с радостью, Потап Ильич, только боязно: не подать бы на себя еще большего подозрения? Скажут люди: что за диковина? Пришла к Тимофею жена и как в воду канула, а сам Тимофей ускакал невесть куда, будто оглашенный? Это не иначе, что он ее извел да бежал...

— Да, — спокойно возразил Потап, — ты совершенно прав. Бежать одному, без жены, я тебе не посоветую: прямая улика, — накроют. Но тебе следует не одному бежать, а именно вдвоем с женою.

— То есть как же это с женою, Потап Ильич?

— Так, с женою, с Ульяною.

— Позвольте, Потап Ильич? Мне невдомек. Ослышался я, что ли, или плохо вас понял? А зарывали-то мы с вами сейчас кого же?

— Ульяну зарывали.

— Ну?

— Чудак! Ульяну зарыли, а паспорт от нее небось цел остался? Нешто не знаешь, что на Руси человек состоит из души, тела и паспорта? Теперь, — покуда не станет извест-

но, что Ульяны твоей больше нет на свете, — которой женщине ты дашь паспорт Ульяны, та и будет Ульяною... Понял?

— Однако понял, — протяжно сказал Тимофей.

— Покуда ты назем ворочал, я твое дело обмозговал. Слушай: тебе совсем не «бежать» надо, а просто уехать, открыто уехать, у всех на вести, ну в Красноярск что ли, скажись, будто за покупками... И дам я тебе в попутчицы одну женщину... то есть девушку... Она из наших, политических, только в политику-то совсем не по характеру своему попала, а больше как кур во щи... Тоскует здесь ужасно, а сослана на пять лет. Человек хороший, но воли большой в себе не имеет, страдать и терпеть не охоча, да и не понимает хорошо-то, за что терпит. Вообще, лишняя она здесь. Я давно уже порешил устроить ей побег при первой же возможности. И если ты согласишься, то счастливее случая найти нельзя. По приметам она с Ульяною сходится. Ты ее знаешь: это — Лиза Басова. Моложе покойницы немножко, да это пустяки, сойдет. Вся твоя обязанность, стало быть, сводится к тому, что ты увезешь ее из наших мест, как будто бы свою жену, и доставишь, куда мы тебе назначим. А затем, пожалуй, хоть и домой возвращайся, на заимку. Скажешь людям, что жена поступила служить к господам, на место, в Красноярске или Томске. Можно, пожалуй, и паспорт ее там прописать. А то просто жалуйся, что, мол, запила, бросила меня в губернии... Все знают, какая шалая и непостоянная была твоя Ульяна. И если ты все это исполнишь, то не только спасешь себя от всякой опасности, но еще и доброе дело сделаешь, и заработаешь рублей пятьдесят, даже сто. У Лизы есть маленькие деньжонки, да и я согласен помочь. И заранее говорю тебе: этой твоей услуги я, пока буду жив, тебе не забуду.

Тимофей очень задумался. План Потапа казался ему прост и ясен. Если и было что трудное к выполнению, то разве вначале: как провезти Лизу Басову под именем Улья-

ны по тем деревням и селам, где Ульяну знают в лицо? Но, сообразив расстояние и свои знакомства, Тимофей высчитал, что последний пункт по тракту, опасный ему в этом отношении, находится верстах в 50 — станок Кошмино: у Ульяны была выдадена туда замуж старшая сестра. Дальше Кошмина Ульяна никогда не бывала. На доброй паре сытых сибирских степных коньков Тимофей рассчитывал сделать этот перегон в ночное время, выехать с вечера, покормить коней «на степу», в дороге, и так приноровить, чтобы к свету очутиться уже далеко за Кошминым.

— Если опозднимися, ободняет, то дам крюку по степи, объеду Кошмино стороною... Ничего! можно! Вот только, Потап Ильич, не было бы за вашей барышнею погони от начальства?

— За три дня я тебе ручаюсь, что не будет. А может быть, и четыре, и все пять дней, даже неделя пройдет, покуда ее хватятся... Это-то нам устроить всего легче. И сами целы будем и добрых людей не подведем. А за пять ден вы будете уже верстах в пятистах, если не больше. Да раз всем будет известно, что ты уехал со своею женою, какое же у кого может быть на тебя подозрение?

В таких соображениях и переговорах провели они — Потап с Тимофеем — целую ночь, а наутро окончательно ударили по рукам, решились и принялись действовать.

Побегу Лизы Басовой было назначено быть трое суток спустя. За это время Тимофей нарочно то и дело показывался на Проще всем, в том числе и помощнику станового, говорил о своей скорой поездке в Красноярск, будто хозяин-купец вызывает к себе по торговому делу, рассказывал, что жена к нему возвратилась, и жаловался, что никакого терпения с нею не стает, — так безобразно пьет и буянит.

— Одное оставить невозможно: боюсь, заимку сожжет; мне перед отъездом хлопот, забот выше головы, а отлучить-

ся от дома не смею. Спасибо Потапу, что заходит присмотреть. Только в то время я и свободен.

— Ты бы ее, однако, полечил? — советовали ему.

— И то в Красноярск с собою везу, — лекарь там, сказывают, чудотворный проявился, хорошо пользует от запоя травами. Хотя большой надежды не имею, однако авось! Этакая обуза и убыток, а нечего делать, везу. Да и все равно: как ее, проклятую, одное дома оставить? Она заимку сожжет. Вона — смотрите, как мне рожу-то обработала!

Некоторые любопытные кумушки сунулись было на заимку посмотреть, как пьет и безобразит Тимофеева молодуха, но наткнулись там на сумрачную и грозную фигуру Потапа, который вытурил их без церемонии:

— Нечего, нечего хвосты трепать, о чужом сраме любопытствовать. Когда вытрезвим Ульяну, тогда милости прошу, а представлений делать из пьяного человека не позволю: стыдно вам, тетки.

Потапа боялись, — кумушки ушли, не солоно хлебав, а легенда о беспросыпном запое Ульяны еще более окрепла, выросла и покатилась от хаты к хате.

Что касается Лизы Басовой, ее побег был обставлен очень просто. В назначенный день она обратилась к помощнику станового с просьбою об отлучке на три дня в соседнее село, верст за восемнадцать, к знакомой попадье. Отлучки эти разрешались ей уже не раз, — у полиции Басова была на счету «смирной» и выигрывала тем маленькие поблажки. Да и вообще ссылка в сибирском селе только скучна ужасно и для людей, не имеющих своих средств, голодна; в рассуждении же общего «прижима», она, пожалуй, легче городской: начальства меньше и калибром оно мельче. Помощник станового совершенно спокойно разрешил Басовой навестить попадью, а Басова тоже совершенно спокойно, отойдя версты две за поскотину, спустилась в балку, где ждал ее Потап с платьем, которое должно было превратить Лизу в Ульяну. Платье

Лизы Потап зарыл тут же в балке и камнем завалил. Падали сумерки, когда, окружив село по степи, они вдвоем спустились к Тимофеевой заимке. А полчаса спустя затарахтела по тракту кибитка, унося двоих путников. Проехать пришлось через все село, почти двухверстную Прощу, — на том настоял Потап. Слыша грохот колес, глядели люди в окна и говорили:

— Курлянков в губернию покатил: жену от пьянства лечить... Ишь, шельма, до чего себя довела: даже сидеть в кибитке не может... колодою лежит... Ай-ай-ай! Однако и бабы же пошли ноне.

Помощник станового тоже смотрел в окно и тоже жалел Тимофея и ругательски ругал его пьяницу-жену.

Лиза Басова кончила свою ссылку!

II

Лиза Басова, так романически бежавшая из ссылки в селе Проще, — прав был Потап, — попала в революцию, действительно, «как кур во щи», — совсем нечаянно и, пожалуй, что почти не ко двору. Была она москвичка (не городская — из уезда), происходила из духовного звания, училась в московском Филаретовском училище, курса не кончила, по неприятностям с начальницею, и семнадцати лет поступила продавщицею в игрушечный магазин. В качестве сироты жила у тетеньки, которая весьма строго наблюдала за ее нравственностью, но обращалась с нею как с прислугою. Да и приходилось, в самом деле, помогать прислуге. Тетенька держала на Бронной студенческие меблированные комнаты с столовкою, пансионеры к ней валили валом, потому что дама была довольно добросовестная: кормила дешево и почти съедобно. Со студенчеством весело, — Лиза своею полуприслужническою ролью не тяготилась. Дело у тетеньки процветало и росло, а сама тетенька старела и болела. Лизе пришлось бросить магазин

и превратиться в экономку меблированных комнат. Окруженная студентами, она ловила от них кое-какие «идеи времени», но, правду сказать, была слишком неразвита, чтобы сознательно усвоить, а развиваться было некогда: с утра до вечера кипела в хозяйстве, как в котле. Из себя девушка была не то чтобы уж очень красивая, но — пресимпатичной миловидности, рослая, статная, дышащая здоровьем и силою. Темпераментом природа наградила ее холодным, к влюбчивости не расположенным, а для дружбы и товарищества весьма приспособленным. Поэтому студенчество очень уважало и любило Лизу Басову, несмотря на ее простоту и почти темноту, и даже ревниво берегло ее от чересчур предприимчивых развивателей. Таким образом, досуществовала Лиза Басова до двадцать второго года жизни, не выйдя замуж и не имев романа, — просто «добрым товарищем» и «хорошею девкою». Со своей стороны, она почти суеверно обожала студенчество как некую высшую силу, инстинктивно, именно только за то уже, что оно студенчество, и не понимала, но глубоко уважала на веру решительно всякую «революцию», потому что огромное большинство студенчества, у нее квартирующего и столующегося, было революционно. Она знала кое-что по слуху — например, что у одних — «пролетарии всех стран соединяйтесь», а у других — «в борьбе обретешь ты право свое». Какая разница между теми и другими, это оставалось выше понимания Лизы, но она одинаково сочувствовала тем и другим, трепетала за тех и других, вместе с теми и другими ненавидела полицию, опасалась и подозревала шпионов и, в случае надобности, очень могла за тех и других собою пожертвовать. Ну и случай представился. Был обыск в меблированных комнатах, искали шрифт — и ничего не нашли. Присутствуя при обыске за хозяйку, Лиза Басова заметила скромный тючок, до которого полицейское внимание еще не достигло. Она хорошо знала, что тючок — с только что отпечатанными прокламациями более чем энергического призыва.

Тогда Лиза Басова тючок очень ловко скрыла и вынесла в прачечную. Жандармы удалились с пустыми руками, забрав на всякий случай двух обысканных студентов. Но назавтра они возвратились уже за Лизой Басовой: номерная горничная подметила ее проделку и нашла выгодным донести. В тюрьме Басова вела себя опять-таки не героинею какою-нибудь, но с достоинством, «хорошею девкою»: никому ни словом не повредила, ни в чем не обмолвилась, а, не надеясь на свою изворотливость, больше отмалчивалась: знать не знаю, ведать не ведаю. Арестованные студенты, искренно жалея Лизу, усердно и постоянно заявляли на допросах, что Басова в их деле — ни при чем, человек не партийный, и ровно ничего революционного они ей не открывали и не доверяли. Мудрое начальство и само видело с ясностью, что треплет совсем непричастного человека, но — за молчанку, в которой «упорствовала» Басова, — на всякий случай — швырнуло ее в порядке административной ссылки в Восточную Сибирь, на Енисей, в Прощу.

Потап немножко слукавил, когда уверял Тимофея, что ему хочется сбыть Басову из Прощи только потому лишь, что девушка очень тоскует.

Что Лиза умирала в Проще от тоски по России, — это правда, но кто же не тоскует в административной ссылке? А бегут, однако, весьма редкие. Больше того, еще недавно было время, когда подобные побеги, тем более от определенного срока, считались в ссыльной среде почти неприличными и вредными, потому что отзывались на остающихся товарищах лишением льгот по свободному жительству и разными мстительными притеснениями «по закону». Я испытал это на самом себе. В Минусинске я очень дружил с местными татарами. Они два раза предлагали мне выкрасть меня и переправить через Саяны в Китай.

— Только скажи — сам не услышишь, как очутишься в Сойотии.

Соблазн был огромный, а риска почти никакого. Но — посоветовался я с одним милым человеком, другом всех политических, и отказался.

— Потому что, — говорит, — пять лет ссылки не такой уж безнадежный срок, чтобы его не вытерпеть. Тем более, что средства у вас есть, живете сыто. А если вы сбежите, то местные власти получат еще небывалую нахлобучку от верхнего начальства: вы ведь человек нашумевший и на особом положении. И нахлобучка эта целиком выместится на остальных политических, из них здесь тогда последнюю кровь выпьют.

Таким образом, если срочный ссыльный бежит, то обыкновенно не для личного благополучия, а вытребованный «делом». Дело было дано и Лизе Басовой. Оно висело у нее на шее, вместе с крестом и образками (это уж на случай обыска, для полного грима «мещанки Ульяны Курлянковой»), зашитое в ладанку, в виде бумажки, мелко исписанной цифровым шифром. Бумажку Лиза должна была передать товарищу в маленьком уездном городке Пермской губернии. С товарищем этим она была незнакома, и что в бумажке значилось, было ей неизвестно. Посыл свой Потапу давно хотелось отправить, но не имелось подходящего гонца. В Лизе Басовой он угадал одну из тех пассивно-решительных женских натур, которые созданы для революционной дисциплины, с нерассуждающею исполнительностью, способною доходить до самопожертвований почти баснословных. В конце семидесятых годов был случай, что подобная «рядовая» революции, командированная Желябовым из Петербурга в Москву, по приезде — ночью в гостинице — была застигнута преждевременными родами, на восьмом месяце беременности. Она имела геройство выдержать ужаснейшие боли, даже не пикнув, так что и ближайшие соседи ничего не слыхали и не подозревали. Ребенок родился мертвый. Женщина уничтожила трупик в печке, прибрала и вычистила свой номер, а поутру, как ни

в чем не бывало, поехала шнырять по поручению, бесконечно трясясь по ужасным московским мостовым и конкам. Исполнила, что велено, и в тот же день отбыла обратно в Петербург. И только тут уже, окончив миссию и дав по ней отчет, свалилась, полумертвая, и выдержала долгую, тяжкую болезнь.

Тимофей Курлянков и Лиза Басова находились в пути уже седьмой день. Так как они передвигались не перекладными, а собственною Тимофеевой парочкой, то отдалялись от Прощи гораздо медленнее, чем могли бы, но Тимофей почитал, что так вернее. Вопросами о возможности погони, ареста и неприятных встреч беглецы волновались только в первый день, который — покуда не смерклось — Лиза сплошь пролежала в кибитке ничком, притворяясь спящей или пьяною. Но вот переехали за Енисей, очутились в другом округе, степь переменила название, — беглецы приободрились: сзади выиграно большое расстояние, впереди — никакой опасности, значит, поезжай, не поторапливай, понапрасну коней не мучь! Тем не менее к седьмому дню странствия кони сильно сморились и обили копыта. Тимофей решил выменять их на первом же базаре, который будет по пути, хотя бы и с малою приплатою, на свежую животину. В России мена конем, продажа или покупка лошади для крестьянина — жизненный вопрос первой важности, а в степной Сибири конь — это своего рода живой денежный знак, четвероногая, ходячая, если не из рук в руки, то со двора во двор, оборотная монета. На третий день Тимофей оставил красноярский тракт и свернул на запад, взяв новую степную дорогу — «на Рассею».

Ехать день за днем осеннею степью, уставленною могильниками исчезнувших народов, которых и имена-то история забыла, — невеселое занятие. Встречников путники имели вряд ли двух или трех, считая от станка к станку, на расстоянии тридцати и более верст, а то и совсем никого. Лиза от скуки старалась как можно больше спать и засыпалась до одурения. Проснется: пара коней трусит мелкою рысцою,

бубенцы звенят, будто медные собачки лают, мерно и жалобно; серое небо, серая степь и — каменные круги могильников на горизонте... Стоило просыпаться! Только и развлечения, что паромы через могучие степные реки, самовар да заедки на станках у «дружков» и ночлеги в неопрятных избах, с любопытными хозяйками, дымящими керосиновыми лампочками и угарными печами...

Тимофеем Лиза была очень довольна. Потап не ошибся, поручив ему девушку. Мужик оказался вежливый, «знающий свое место», услужливый, не наянливый. Был от природы неглуп, и за сорок пять лет жизни повидал, и узнал немало любопытного, как всякий работящий и торговый сибирский человек. Долгое путешествие на лошадях вдвоем, мужчины и женщины, — дело фамильярное, особенно в условиях, если они должны слыть за мужа и жену и выдерживать эти роли пред чужими людьми. Развивается невольное общение, устанавливается известная короткость, упраздняются или сокращаются разные мелкие физиологические секреты и условные лжи быта. Таким сближением недолго злоупотребить, не мудрено в нем зазнаться мужчине, особенно, когда он сознает, что женщина — вся в его руках и кругом от него зависит. Но Лиза не могла нахвалиться скромностью и почтительностью своего фиктивного супруга. С самого начала пути было решено между ними — во избежание обмолвок пред посторонними — говорить друг другу «ты» даже и наедине и совершенно позабыть, что Лиза — Елизавета Прокофьевна, а не Ульяна Дмитриевна. На станках, ночлегах и при дорожных встречах Лиза играла свою нетрудную роль молодой городской мещанки очень удовлетворительно. Пьяницею ей уже не надо было притворяться, как скоро они покинули круг «своих мест».

— Эх, сударыня! — с искренностью говорил ей Тимофей. — Кабы Ульяна хоть мало была на тебя похожа, то не радовался бы я теперь тому, что она в землю легла.

На ночлегах он очень искусно и деликатно покидал «жену» свою в хате с хозяйскими бабами, а сам удалялся спать в кибитку, отговариваясь, будто не любит спать в тепле. Осень, на его счастье, стояла погожая и еще без морозов.

К концу недели дорога изрядно изломала и коней, и путников. Чувствуя себя в совершенной безопасности, они решили передохнуть день-другой, чтобы ехать дальше со свежими силами и на свежих вымененных конях. Впереди было огромное торговое село Дагна. Въехав в него, как раз на самый Покров, путешественники застали и базарный день, и престольный праздник.

Кому не известно, что «батюшка Покров» — всероссийская годовая эра крестьянских свадеб? Но мало кому «в России» известно, что такое сибирская крестьянская свадьба в хлебных округах подсаянских и подалтайских благодатных степей. Вернее, впрочем, сказать надо, — чем была там крестьянская свадьба — и была еще очень недавно, лет десять тому назад, к какой именно давности и относится странствие Лизы Басовой. В настоящее время обеднение коснулось и этих молочных рек с кисельными берегами — Минусинского, Абаканского, Кузнецкого края. Неурожай, переселенчество, земельные ограничения заставили пооскудевших чалдонов укротить размах старинного веселья. И все же, даже и теперь, в хлебные годы, это — былинный пир на весь мир, продолжающийся не менее недели, с воистину гомерическим разгулом, с непросыпными попойками. Плохая крестьянская свадьба в Кузнецком округе обходится в 400 рублей, средняя — в 1000 рублей, порядочная — в 1400 рублей, богатая, о которой потом целый год молва гулом идет по степям, — до 4000 рублей! И собственно свадебные, прямые расходы составляют не более 10 — 20% этих сумм: остальное пропивается. На каждого гостя своего — поезжанина — хозяин отпускает не менее $1^1/_2$ бутылки водки в день, на каждую гостью — не менее $^1/_2$ бутылки, не считая «прочего».

Разорительность свадебного обычая и пьяная утомительность его настолько велики, что даже чалдоны-толстосумы кряхтят под этой тяжестью, да и народ совсем дуреет от гулянки. Один сельский богатей под Красноярском думал выдавать дочь замуж после Покрова. Вдруг является к нему депутация односельчан.

— Батюшка, Иннокентий Фомич, не будет ли твоей к нам милости — отложить свадебку на зимний мясоед?

— А вам что?

— Да кроме твоей, три свадьбы у нас на селе...

— Ну?

— Не выдержим, однако, — сопьемся.

Там, где предвидится ряд богатых свадеб, хозяева уговариваются об их сроках и очереди, чтобы не совпадали. Это создает на срок мясоеда своего рода заколдованный свадебный круг, попав в который, не легко выкрутиться. Сибиряки вообще мало стесняются расстоянием: сделать сотню, другую, третью на лошадях — у них и путешествием не почитается, — деловая или увеселительная поездка. На богатые и многообещающие свадьбы гости приглашаются и сами приезжают иногда из-за пятисот, даже из-за тысячи верст. Присутствие таких редких и издалека гостей, конечно, затягивает срок и усиливает напряжение свадебного разгула. Приедет человек кутнуть на одной свадьбе, а гуляет на трех, четырех и больше. Есть любители кружить по свадьбам, которые в том и проводят осенний и зимний мясоеды, что катаются от села к селу, со свадьбы на свадьбу на телегах или санях, обвешанных цветными платками, и пьянствуют изо дня в день на чужой счет. Но есть и несчастные, которые порабощаются той же участи совсем не по своему доброму желанию, а потому что они — почетные гости, уважаемые люди, и отпроситься или бежать от кошмарных пиров этих — для них значит жестоко оскорбить хозяев и нажить себе злопамятных врагов на всю жизнь. И, наконец, весьма

многие сибиряки, вполне искренно ругавшие и проклинавшие безобразие свадебного обычая, признавались мне, однако, что есть в его пьяном, длительном вихре своеобразная затягивающая сила — создается в целой группе людей то, что на юридическом языке называется «привычкою к праздной и порочной жизни», будто какой-то стихийный и массовый запой. Декадент назвал бы это «оргиазмом», а я думаю, что дело тут просто в хроническом алкогольном отравлении.

Едва въехали в село Дагну, Тимофей был окликнут рослым мужиком, нарядным, как купец, и здорово выпившим. Сперва путники струсили было, но, вглядевшись, Тимофей признал в мужике мелкого золотопромышленника Миронова, с которым вместе «старательствовал» когда-то за Байкалом. Тому прошло уже лет пятнадцать, с тех пор товарищи не видались и вестей друг о друге не имели. Ульяны Миронов не видывал и, что была или есть такая на свете, не знавал. Следовательно, опасности от него Лизе не предвиделось. Обрадовался старому товарищу Миронов, настоял, чтобы заезжали к нему во двор, и — как ты хошь, что ты хошь, однако ты у меня погости.

Напрасно Тимофей и Лиза настаивали и отговаривались, что нельзя — очень спешат, и далеко еще им путь держать: на самый Барнаул. Миронов только кланялся в пояс да повторял умиленным басом:

— Не обессудь! Уважь! Погости... Уж так мы тебе рады, так тебе рады... Господи! Я тебя, может быть, сколько годов в мертвых почитал?! Однако вдруг вижу: едет... И — супружница с ним... Ах ты! Ах ты!.. Не обессудь! Уважь! Погости!

— Душою бы рады, Василий Мироныч, но поспешаем в Барнаул...

— Что тебе в Барнауле делать? Барнаул так Барнаулом и останется, с места не уйдет. У меня погости! Ты, друг, посмотри, как живу... чаша полная!.. царю завидно!.. Госпо-

ди! Небось дружками были, камратами звались, из одного котла кашу ели, из одной бутылки спирт глотали... Чтобы все вместе, значит, и на земле, и под землею... И вдруг, однако, вижу: едет... И супружницу с собою везет, — экую добыл кралю писаную... Ах ты! Ах ты!.. Как же нам с тобою по всему этому случаю, однако, теперь не выпить! Тимофей Степанович! Ульяна Митревна! Уважь! Погости!

Он кланялся сам, заставлял кланяться жену, детей, работницу, работника.

— Что же, Ульяна Митревна? — нерешительно обратился Тимофей к «жене». — Ведь мы, все равно, хотели на день-другой себе роздых дать... Так лучше, может, и впрямь погостить у Василия Мироновича, ничем у чужих людей?

Лиза помолчала, подумала. Она чувствовала себя страшно усталою с дороги. Все кости болели.

— Хорошо, я согласна. Ваши гости, Василий Миронович, только уж — заранее уговор, хозяюшко милый: больше трех ден вы нас у себя не задерживайте.

— Ульяна Митревна! Сударыня ты моя! — возопил Миронов. — О чем твои ко мне слова? Напрасные твои ко мне слова! Да ты только проживи у нас три дня-то, — так ты и Барнаул свой и все на свете забудешь, с нами не расстанешься... Вот какие мы люди, сударыня моя!.. Опять же теперь свадьба у нас наладилась: однако племянницу из своего дома выдаю за хорошего молодца: купец-парень! — в Плющу, село, за нами будет сорок верст... слыхали аль нет? Как же мне, сударыня, теперь возможно отпустить тебя, хотя бы и в Барнаул? Ты у меня на свадьбе первый человек будешь... Уважь! Погости! Не обессудь!..

Таким-то манером попали наши путники в сибирский свадебный смерч. И начал он их с того дня шатать и мотать — от Василия Миронова к Мирону Васильеву, из Дагны в Плющу, из Плющи в Дагну. И благодаря тому, что вся Дагна видела, как высоко чтит и ценит Тимофея Курлянкова и супругу его, Улья-

ну Митревну, Василий Миронов, первый на Дагне, а пожалуй, что и по всей прилегающей округе, человек, — только и слышали теперь путники со всех сторон, что:

— Не обессудь! Уважь! Погости!..

Или — как в Сибири хозяйская формула предлагает:

Поелозьте, поелозьте,
Милы гости!

На что порядочный гость должен, по этикету, отвечать с учтивостью:

То и знаем,
Надвигаем,
То и знаем,
Надвигаем,
Наелостились[1]

Прошло три дня. Прошла неделя. Прошло десять дней. Прошло две недели. Тимофей и Лиза были, правда, уже не в Дагне и даже не в Плюще, а в какой-то Опустоши, но Опустошь, как две капли воды, походила и на Дагну, и на Плющу, и был с ними тот же Мирон Васильев, и был тот же Василий Миронов, и шло кругом все то же — одно на одно, вино на вино.

Как в Дагне, Плюще — потом в чем-то еще — потом в Опустоши, Тимофей и Лиза, по почину Василия Миронова, всюду оказывались самыми почетными гостями. Их больше всех и чуть не первыми после родителей потчевали, усерднее всех угощали и отводили им лучшую свободную каморку для ночевки. В разыгрывании супружеской комедии прибавился новый, неприятный и щекотливый момент. Но Тимофей опять-таки показал себя молодцом и настоящим рыцарем. Он каждый вечер очень ловко умел задержаться и заговориться с кем-либо, в момент отхода ко сну, чтобы дать «жене» время свободно

раздеться и улечься в постель под одеяло. А сам, затем проникая в «супружескую» камору, целомудренно тушил ночник и свертывался калачиком, не раздеваясь, на каком-нибудь сундуке, лежанке либо просто на полу, сунув под себя армяк, а под голову шапку. Поутру он столь же скромно и деликатно удалялся, якобы «до ветра», — чтобы освободить Лизе срок спокойно одеться и привести себя в дневной порядок. Но потом, выждав достаточно времени, непременно возвращался, и тогда уже он Лизу настойчиво просил удалиться из каморы. Как-то раз, забыв что-то, она — только что вышла — сейчас же возвратилась и застала Тимофея валяющимся с усердным и деловитым видом, точно он обязанность исполняет, на ее едва покинутой постели.

— Что ты, Тимофей Степанович? Ты еще спать намерен? — изумилась Лиза: было уже около шести часов утра, и все село встало на ноги.

— Не... я, однако, так...

Тимофей сконфузился.

— Зачем же?

Тимофей сконфузился еще больше:

— Для людей...

Лиза поняла: Тимофей старался придать их «супружескому» ложу «естественный» вид, будто на нем спали два тела, а не одно...

— Ты меня, Ульяна Митревна, извини, пожалуйста, — виновато оправдывался Тимофей, — однако, понимаешь, я ведь не дурное что мыслю, а для тебя же стараюсь... Как мы, значит, супругами считаемся... пред людьми. Этому, хоть всю Сибирь обойди, никто не поверит, чтобы муж с женой врозь спали... Ну и того... оберегаю, значит, твою честь и свою амбицию... Стараюсь так для тебя устроить, чтобы все к лучшему... для надлежащего вида. А то засмеют... тебя за распутную, меня за дурака почитать станут... Да и подозрения опасаюсь... Ты не обижайся: однако ничего...

Лиза вспыхнула, но обижаться было не на что: наоборот, скорее она могла лишь быть и действительно была тронута такою заботливою предупредительностью «супруга». Вообще, — и в оседлом состоянии, как в кочевом, — учтивый, сообразительный и трезвый Тимофей менее всего затруднял ей супружескую комедию. Гораздо щекотливее для Лизы была свадебная среда, в которой они с раннего утра до поздней ночи обращались.

III

Некогда Ганнибал зазимовал в Капуе и, — твердят все учебники истории для младшего и среднего возраста, — тем самым погубил весь свой итальянский поход, ибо в изнеженной среде капуанского обывательства суровые карфагенские воины изленились и, с позволения сказать, обабились. Нечто вроде капуанского упадка энергии переживали и прощенские беглецы — Тимофей Курлянков и Лиза Басова — в свадебном вихре, крутившем их по Дагнам, Плющам и Опустошам. Долго напряженные нервы не выдержали. Заговорила потребность реакции. Сказалась огромная усталость, физическая и нравственная, жажда сна, отдыха, покоя, животного прозябания. Только очутившись в полной безопасности, истомленный и потрясенный необычными впечатлениями и сверхсильными напряжениями энергии, организм оценивал самочувствием, как много он пережил и утратил в короткий срок, и настойчиво просил восстановить свою потерю. Каждое утро свое Лиза начинала угрызениями совести, что пора ехать дальше, но с тайною в глубине души надеждою: авось что-нибудь помешает, — и еще день-два будут длиться и сон в тепле, на мягкой постели, и люди кругом, и чистая пища, а не серая степь, серое небо, могильники, звяканье бубенцов и дорога, дорога — холодная сибирская дорога без конца. Когда человек сам не прочь

встретить помеху к своей цели, помехи находятся очень легко и принимаются очень покорно.

— Ну что за беда, в конце концов? — рассуждала Лиза. — Бегство мое уже совершившийся факт, а в этом, — думала она о своей ладанке на груди с зашитою запискою, — Потап не связал меня никаким сроком. Еще даже неизвестно, найду ли я в N – ске этого товарища... Быть может, его давно перевели...

Что касается Тимофея, лишь бы Лиза не торопила, а он готов был плавать в свадебной атмосфере как рыба в воде. Было тепло, сытно, почетно, работать не приходилось, деньги лежали в кошеле целые, непочатые: гуляй не хочу на чужой счет, — чего еще желать? куда гнать? Над нами не каплет! Не каждый год выпадает человеку этакая нечаянная благодать! Уж куда ни шло, пробесимся мясоед, а дорогу оставим на филипповский пост.

Тимофею заметно хотелось тянуть путешествие. Сперва было условлено, что он проводит Лизу только до Барнаула, а там сдаст ее знакомому Потапа, полуинтеллигентному купцу-сочувственнику, который уже позаботится переправить беглянку дальше на Каинск или на Курган, куда в то время дошла железная дорога. Но в пути беглецы услышали наверное, что Потапова купца-сочувственника в Барнауле нет — уехал в Петербург и вряд ли будет назад даже к новому году. Это известие совершенно изменило и планы, и маршрут путников. Им уже не для чего стало уклоняться так далеко на запад. Тимофей предлагал теперь просто подняться на север к таежной полосе и затем катить в Россию, как все добрые люди в то время ездили, прямиком — по большому Иркутскому тракту. Новая путина предстояла тоже огромнейшая, но все же короче прежде намеченной дуги — верст на 600. Чтобы осуществить ее легче и с меньшею потерею времени, следовало подождать, покуда кончится осенняя распутица и станут реки. А то ведь известное дело, что в Сибири,

когда морозов нет, путешественник не столько дорогою едет, сколько выжидает паромов.

Лень двинуться из уюта в степь сделала новый проект этот очень соблазнительным и для Лизы.

— Хорошо, Тимофей, я согласна. Мне безразлично, каким трактом ехать и куда именно выехать, — лишь бы к России ближе. Но мне за тебя совестно: ты таким образом очень отдаляешься от Храповицка, тебе трудно будет возвращаться.

— А я, Ульяна Митревна, в Храповицк-от, может быть, еще и не возвращусь.

— Как? А заимка твоя?

— За заимкою Потап Ильич покуда присмотрит, а потом хозяину письмо пошлю, он другого приказчика поставит. Бог с нею. Мне о заимке и вспоминать противно после того случая. Не жилец я больше на заимке. Я человек чувствительный. Там теперь вся земля покойницею пропиталась. Как я по ней ходить буду? Подошвы сожжет.

— Где же ты в таком случае намерен поселиться и чем займешься?

— А где? Доставлю тебя до Рассеи и сам в Рассее останусь. Деньжонки у меня есть, руки, — не хвалясь, скажу тебе, — золотые: к какому делу меня ни議 приткни, к промышленному ли, к торговому ли — нигде не ударю в грязь лицом. В Сибири пожито, попробуем счастья, как в Рассее люди живут. Ты не смотри, что я курносый: я счастливый. Опять же, однако, и тверезый — смею себя аттестовать: без рассудка не пью, знаю свою дозу...

— Ну, давай тебе Бог! — шутила Лиза. — Осядешь у нас в России, пожалуй, опять женишься — на российской?

Тимофей отвечал ей не сразу, помолчав, и с каким-то странным взглядом:

— Нет, жениться мне больше никак нельзя.

— Но ведь ты же вдовый?

— Я вдовый, да паспорт-от у меня женатый. Это правду говорил Потап Ильич, что русский человек состоит из души, тела и паспорта. И паспорт-от, пожалуй, точно оказывается действительнее всего прочего. Теперь, скажем, Ульянино тело в земле гниет, душа в горних витает, либо бесы ее по мытарствам водят, а паспорт жив. Сама знаешь, кто теперь по паспорту Ульяною-то оказывается... И, стало быть, выходит теперича так, что в теле и душе я с Ульяною смертью разведен, и венец наш кончился, а на паспорт — нет, дудки, женат! И теперь я на всю жизнь свою осужден к тому, чтобы — ежели в рассуждении бабьего случая — пребывать в беззаконии, а насчет чтобы честным браком, — однако нет! Какого попа ни проси, всякий тебя с крыльца прогонит: с ума сошел, свет? двоеженцем желаешь быть? Хоть и на духу признайся насчет Ульяны,— все одно: самый жадный поп — даже и для модели — венчать не станет. Потому что таинство таинством, а паспорт паспортом. Пред Богом, оно, конечно, таинство главнее, ну а в людях паспорт покажи... Да! Умно я себя устроил! Могу сказать!

Лизе было очень неловко слушать это рассуждение, тем более, что она находила его справедливым. Конечно, паспортная женатость Тимофея «на всю жизнь» обусловлена главным образом тем обстоятельством, что он не решился объявить смерть Ульяны. Это его вина. Но она, Лиза Басова, воспользовалась странным юридическим положением Тимофея, и часть вины как будто перелагается на нее, самозванку, злоупотребляющую документом о женатости уже неженатого человека, пользующуюся формальным правом, которое в действительности погасло. Чтобы скрыть невольное смущение, девушка отшучивалась:

— Ничего, Тимофей, Бог милостив! У тебя рука счастливая. Умерла настоящая Ульяна, теперь я в Ульянах слыву по паспорту. А в России найдешь себе новую Ульяну, чтобы была уже и по паспорту, и по сердцу...

Тимофей покраснел всем своим курносым лицом.

— Нет уж, спасибо, покорно благодарю. Конечно, мне до стариков еще далеко: пятого десятка не переломил, силу в себе чувствую, человек грешный. Без бабы не проживу. Но — чтобы опять комедь эту ломать, насчет паспорта, — нет, не согласен, оставьте! Если Бог пошлет согласную сожительницу, почему не взять? Но в Ульяны ее производить... нет! довольно!

— Что же, тебе имя надоело? — насмешливо спросила Лиза, даже уколотая немножко почти задорною горячностью Тимофея.

Он объяснил, не смутившись:

— Не надоело, но что мне в нем приятного? О первой своей Ульяне я и думать-то ненавижу: ведьма была, одного теперь в жизни своей боюсь, не вздумала бы по ночам сниться. А вторая Ульяна — ты то есть, — чего лучше не надо, да не свой человек, чужой кус... Я к тебе со всем моим глубоким уважением и никогда тебя не забуду; но ничего в тебе к удовольствию своему я иметь не могу. Что лестного? От людей-то прячешься, прячешься, хитришь, мудришь, чтобы не заметили, что мы с тобою не в совете живем... Ты нашего сибирского глума не вкушала. У Сибири язык — бритва. Как начнут издеваться, каждый человек сбеситься может, ежели имеет свою амбицию. Уж и без того меня травят мужики, что я пред тобою больно шибко робею, выходит, будто покорствую под жениным башмаком... Я имею свой характер, могу вытерпеть всякую насмешку, но истинно тебе, Ульяна Митревна, говорю: бывают насмешки непереносные. Нехотя озвереешь, среди зверей зверем себя выкажешь. Ты, Ульяна Митревна, уж снисходи ко мне, — пожалей маленько, если при людях, в таком разе, нагрублю тебе, не взыщи: не я грублю, амбиция грубит... потому что — по нашим понятиям — самый ничтожный тот человек, которым баба командует!

Неловкое положение Тимофея в качестве «супруга» среди мужчин Лиза понимала тем лучше, что самой ей в качестве «супруги» приходилось не веселее от бабьих стай, которые теперь окружали ее сорочьим стрекотом с раннего утра до позднего вечера. По части нравственности у сибирячек скверная репутация, но вряд ли вполне заслуженная. По крайней мере, сколько знавал я сибирское крестьянство и мещанство, бабы в них и на язык довольно сдержаны, и делом распутничают только там, где много «навозных»: своего рода «экзогамическая проституция» во вкусе и тоне древних жриц Астарты *). Пресловутый сибирский разврат — достояние безобразных слоев коммерческой и промысловой буржуазии, с случайными состояниями, с случайными банкротствами, «сегодня — на возу, завтра — под возом», — шик «Наполеонов тайги» и связанных с ними, соответственных Жозефин. В крестьянстве сибирском я ничего подобного не наблюдал. Напротив, не надо забывать, что южные сибирские степи — классический край крестьянского гражданского брака, очень прочно и честно соблюдаемого по простой силе обычая, без всяких принудительных уз. Если в сибирских женщинах что и коробит нравственное чувство, то не половая распущенность и безалаберность, а наоборот, холодная способность оценить свое тело как товар в спросе и поставить на городской рынок совершенно точно обусловленным предложением. Известна поговорка о Сибири: «Птицы без пения, цветы без запаха, женщины без сердца». Да и то все это, по преимуществу, в полосах, развращенных «навозным элементом».

Но бывают в году сезоны, когда сибирская баба «дуреет». Это — Масленица и свадебные мясоеды. Я говорил уже о пьянстве, которым сопровождаются сибирские свадьбы. Но и помимо пьянства или, вернее сказать, по подстрека-

---

*) См. в моих «Сибирских этюдах», изд 2-е, очерк «Галь тиморы». Сноски, обозначенные *), принадлежат А.В.Амфитеатрову.

тельству пьянства — это какой-то хаос распущенности в слове, жесте и деле. Большинство сибирских свадебных песен, острот и прибауток совершенно неповторимы в печати, между тем поют, острят и лясы точат, по преимуществу, женщины. В Минусинском уезде до сих пор уцелела старинная свадебная пляска «Козел», с такою выразительною мимикою, что канкан, кэк-уок и матчиш, сравнительно с ее первобытным цинизмом, не более как шведская гимнастика для детей среднего возраста. В Кузнецком округе посейчас молодую — для показания «честности» — выводят к пирующим гостям в одной рубахе. Высокоторжественная демонстрация эта сопровождается грохотом в тазы и котлы, пляскою вприсядку, воплем, гиканьем и пением своеобразного хорала, что ли, под названием «Беда». Эту «Беду» начал было мне диктовать один минусинский обыватель, но, произнеся четыре стиха, сконфузился и отказался продолжать.

— Нет, знаете, черт ее побери! Однако совестно. Когда ее на свадьбе, пьяный, орешь, — как будто и ничего, а у трезвого язык не поворачивается...

Словом, кто хочет вообразить себе настроение «хорошей и почестной» сибирской свадьбы, тому надо возвратиться из XX века в XVII и XVI — к Олеарию, Петру Петрею, Корбу. Разница одна: все то, в чем на Москве обличали эти старинные иностранцы родовитое боярство, в Сибири стало пороками богатого «чалдонского» крестьянства. А то — тождество «настроений» полнейшее. Включительно до знаменитой сцены Олеария: «Когда мужья спьяна попадали на пол, жены сели на них и продолжали пьянствовать, пока не упились донельзя». Включительно до пьяной путаницы, кто чья жена, кто чей муж, до так называемой «кумовщины». Ревнивый муж злобится на жену, замеченную им в амурах с каким-то молодцом на свадебной пирушке у родственников. Обыкновенно в Сибири на этот счет — строго: все за мужа и против неверной жены. Но тут только пожимают плечами:

— Дурак Блажных! Кто же тиранит бабу за свадебный грех? Известно, что бабы на свадьбах — сумасшедшие. Это ихнее время. Царствуют, подлые!

Когда Лиза впервые очутилась среди хмельных, полухмельных и похмельных баб-поезжанок, она прямо струсила: ей показалось, что она в доме сумасшедших, — таких словечек она наслушалась, такие невозможные вопросы ей задавались. Оскорбляться она не имела права, потому что видела, что обращаются к ней таким образом не со зла, а, напротив, с полным радушием, как к ровне, которой добра желают. Узнали, что «Ульяна Митревна» замужем седьмой год, а детей нет, и наперерыв осыпали ее супружескими советами и наставлениями — хоть провалиться от них сквозь землю — в ту же пору! Застыдилась, растерялась, — дружным хором подымают на смех: «Седьмой год баба замужем, а краснеет, как молодуха! Ишь, городская модница! Не разревись, поди, со стыдобы». И вправду, несколько раз атмосфера пряных слов и мыслей доводила Лизу до слез. Советовалась Лиза с Тимофеем, как ей вести себя, чтобы не было себе зазорно и баб не обидеть. Но тот только руками развел:

— Бабы, Ульяна Митревна!.. Время свадебное... Пьяные они... Ты отмалчивайся...

Так и решила Лиза: напустить на себя глупый вид и ровно ничего не понимать, — пусть лучше круглою дурою считают, но оставят в покое. Подействовало, отвязались. К великому своему удовольствию, Лиза вскоре удостоилась слышать собственными ушами такую себе аттестацию:

— Красивая жена у Тимофея, а уж куда не умна. Ни она слова сказать, ни она компанию разделить: сидит, как сова, да глазищами хлопает! Скука с нею скученская! А еще городская!

— Ее, миленькие, кажись, и муж-то не любит?..

— А за что любить? Разума в голове нет, детей не рожает... напрасно на свете живет, — только небо коптит.

Свадебных пирушек Лиза окончательно не выдержала. При первой же демонстрации молодой с аккомпанементом «Беды» ею овладел панический ужас. К счастью, Тимофей был близ «жены». Он заметил, что Лиза белая, как мертвец, — еще минута, и упадет в обморок... Он выхватил «жену» из толпы, увел, будто «сомлела». Так как сомлели уже многие женщины, то никто не обратил внимания. Лизе же это приключение стоило сильного — первого в жизни — истерического припадка. Тимофей хорошо понял, что потрясло Лизу, и задумался, как избавить ее от подобных зрелищ. Уговорились «сомлевать» на каждом пиру и как можно раньше. Как только пирование начинало переходить в оргию, Лиза симулировала обморок. Тимофей подхватывал ее и уводил, извиняясь, что «баба ослабела». Репутацию Лизы эти обмороки окончательно уронили: мало что «полудурье», да еще и больная! Тимофея же все жалели, что — польстился на красоту! навязал себе на шею сокровище!.. В каморке Лиза спокойно укладывалась спать, а Тимофей возвращался на пирушку. Так было и в Дагне, и в Плюще. Так устроилось и в Опустоши.

Лиза спала уже часа полтора, когда ее разбудило внезапно наполнившее каморку громыханье и бормотанье. В испуге она открывает глаза, приподнимается, садится на кровати и — в мерцании ночника — видит наклоняющегося к ней Тимофея, но — какого Тимофея! От смирного, вежливого «Сократа» не осталось и следа: лицо пылает огнем, нос — как вишня, голубые глаза остекленели и налились кровью, борода всклокочена, как войлок, дыхание — будто пожар в кабаке. Тимофей был совершенно пьян! Стоя перед изумленною, испуганною Лизою, он качался на ногах, как трость, ветром колеблемая, цеплялся за кровать, за подушку, за самое Лизу, и лопотал полумертвым языком:

— Жена... супруга... сударыня... желаю, чтобы, значит, все по закону... Уль? а Уль? Ульяша... а?

Лизу обуял страшный гнев. Недолго думая, она ударила Тимофея кулаком в переносицу с такою силою, что бедняга, будучи совсем слаб на ногах, рухнул навзничь и остался на полу в сидячем положении, крепко стукнув затылком о сундук.

—А, б..., паскуда, ворона сибирская! — возопил он. — Так-то? А в полицию хочешь?

Лиза обмерла.

Но Тимофея уже охватило сном. Он положил голову на тот самый сундук, о который едва не раздробил себе затылка, и захрапел.

Дверь приотворилась. В каморку заглянуло морщинистое лицо старухи-бабки, матери домохозяина. Она слышала крик и грохот упавшего тела и растревожилась.

— Что тут у вас, молодка? Захмелел, видно, сожитель-то твой?

У взволнованной Лизы едва достало силы найти подходящий ответ.

— Напился, свинья, и безобразничает!.. На ногах не стоит, а туда же командовать желает, драться полез!.. Прекрасно как: валяется на полу, как собака!.. Глаза бы мои его, постылого, не видали!

И завыла.

Она рассчитывала, что старуха, удовлетворив свое любопытство, уйдет. Не тут-то было. Бабка в качестве человека стародавнего в ответ на Лизино вытье разразилась предлинным увещанием, что «реветь, мол, тебе не о чем, — видно, слезы дешевы и глаза на мокром месте; муж у тебя, молодка, человек прекраснейший, а ежели выпил лишнее, то с кем греха не бывает? И какие, право, ну недотроги стали ноне молодые бабы! Ты на меня гляди: я смолоду от сожителя своего только тем не бита, чего в дому поднять нельзя, а сорок лет прожили вместе, развода не просили, детей подняли, внучат дождались. Чем голосить без толку, ты лучше сожителя пожалей: пьяный, что хворый. Нешто можно так, чтобы боль-

ной человек собакою на полу валялся? Ты его обряди, ты его уложи. Какая же ты жена, если к мужу жалости не имеешь?»

И пошла, и пошла.

Лиза убедилась, что от сибирской патриархальной матроны ей не отвязаться иначе, как войдя в смиренную роль покорной жены-сиделки. При помощи бабки она взгромоздила бесчувственного Тимофея на кровать, сняла с него сапоги, а сама осталась доночевывать до солнца, сидя без сна на сундуке. Непривычный к пьянству, Тимофей действительно сделался ночью ужасно болен. Лизе пришлось возиться с ним, как с малым ребенком. Отравленный алкоголем, Тимофей горел, охал, стонал, метался, рвало его. Словом, ночка выпала такая веселая, что и настоящей жене много надо иметь любви к мужу, чтобы безропотно выдержать подобное испытание, а каково же было терпеть ни за что ни про что от совсем постороннего человека жене по паспорту?

Назавтра, когда Тимофей проспался, между «супругами» произошло жестокое объяснение. Тимофей был смущен до дна души, чувствовал себя глубоко виноватым, просил прощения чуть не со слезами, божился и зарекался, что больше напиваться не будет. Верить было можно, потому что, — Лиза знала, — в обычных условиях жизни спутник ее действительно был — по сибирским понятиям — человек редкой трезвости. Но свадебные оргии и не таких людей выворачивают с лица наизнанку. После этой истории Лиза уже только о том и думала, как бы вырваться из засосавшей их вакхической обстановки, и ничего не могла сделать: их перекатывало, как шары какие-нибудь, из села к селу, с одного свадебного пира на другой, от тысячника к тысячнику. И всюду было одно и то же: разливанное море водки и пива, галдеж, песни, непристойная пляска свах, «Беда», «Козел». И — когда все перепьются, нагорланят, насквернословят и напляшутся до изнеможения — мертвый сон до следующего утра, опять открываемого полубутылкою водки на похмелье. А чтобы переутомленный гость не мог убе-

жать от тягостного хлебосольства, каждый хозяин спешил, первым долгом, обезлошадить поезжан: выпряженные из повозок кони угонялись табуном в степь, — копытить корм.

Тимофей держал данное слово и вел себя прекрасно, хотя Лиза втайне уже не так доверяла ему и немножко побаивалась его с той пьяной ночи. Роль фиктивной «жены», разыгрываемая в грубых условиях степной фамильярности, надоела и опротивела ей до тошноты. Нельзя притворно фамильярничать без того, чтобы на отношениях не остался осадок настоящей фамильярности. Лиза так привыкла быть Ульяною по целым дням, что только ночь возвращала ей самое себя, Лизу Басову, с ее сознанием, мыслями, чувствами, — возвращала на короткий предсонный промежуток. А с утра — чуть ступила за порог своей «супружеской» каморки — опять позабудь, что ты Лиза, влезай в кожу Ульяны Митревны.

Свадебная волна незаметно увлекла «супругов» от намеченного ими пути в сторону верст на полтораста. Это еще не так много. В Минусинске я знал не крестьянина даже, а полицейского чиновника, который поехал на свадьбу за шесть верст от города, а очутился затем, сам не зная как, за восемьсот верст, в Кузнецком округе, у совсем незнакомых мужиков. Но, тем не менее, когда беглецы подочли свой уклон от маршрута, Лиза пришла в ужас, да и Тимофей почесал в затылке. Решили дальше ни к кому ни за что не ехать и, по возможности, немедленно удирать.

Но тут произошло нечто непредвиденное и нелепое, что опрокинуло все их расчеты и планы.

IV

Свадьбе, на которой они теперь гостили, шел уже третий день. Невеста взята была с ближней, верстах в десяти, заимки, и поезжане проводили время в том, что напьются у свек-

ра, едут пить к тестю, напьются у тестя, едут пить к свекру. Где темный вечер пристигнет, там и ночлег. В одном из таких переездов застал их внезапно ударивший крепкий мороз. Лиза, не очень тепло одетая, страшно перезябла, приехала к месту совсем синяя, и голоса нет, — только стучит зубами. Струсила, не схватить бы горячку. Стали отпаивать ее горячим чаем, принудили выпить большую рюмку знаменитой сибирской наливки из облепихи. Лиза ожила, простуды ее как не бывало.

Раньше Лиза никогда не брала в рот крепких напитков, разве пригубливала для приличия. Облепиха покорила ее быстро. Вообще, это ужасная ягода, для непривычного человека настоящий дурман, — тем более, в спирту. Сперва опьянение облепихою дает очень короткий период веселых возбуждений, потом чувственный или буйный бред и, наконец, долгий мертвый сон: хоть ножами разойми человека — не услышит. На другой день — даже у крепких питухов — жестокая головная боль.

Одуренная облепихою, Лиза, сама не помнит как, очутилась в постели. Потянулась вереница тяжелых, диких, постыдных кошмаров. Ранним утром Лиза очнулась, как от электрического толчка. Еще не раскрывая глаз, она почувствовала, что она не одна в постели. Открыла глаза и на ситцевой подушке увидела рядом с своею головою курносое лицо, с широко разинутым ртом в густой курчавой бороде. Перина испятнана кровью. Холодея от ужаса, Лиза убедилась, что из фиктивной жены Тимофея Курлянкова она сделалась фактическою... А голову как железными обручами ломит, и в глазах прыгают снопами зеленые искры.

Тимофей проснулся и помертвел от пристально уставленного на него страшного взгляда Лизы:

— Уля... что ты? Бог с тобою, что ты? Уля... Улинька...

— То со мною, что убью тебя, подлеца!.. Мало тебя убить! — вырвался хриплый стон из груди Лизы.

Но Тимофей вдруг облился гневным румянцем и подступил к «жене» резко, смело, почти гневно:

— То есть за что же это, однако, ты убивать меня желаешь, Ульяна Митревна? Вся твоя воля, но это с твоей стороны не по чести. Что было, то было; однако никакой вины моей против тебя нету. Я, однако, не варнак какой-нибудь, не в лесу силком тебя взял. Сама пожелала.

— Что?!

— То, что хоть чужих людей спроси: мало ли ты с вечера чудесила? То смирная, воды не замутишь, от каждого стыдного слова огнем вспыхиваешь, а тут разгулялась — не унять. Волосы распустила! Платье с себя рвать начала! Весь народ смеху дался. Я тебя от срама силком увел, спать уложил. А что не ушел от тебя, как обыкновенно, ты же не отпустила... Что же я, каменный, что ли?.. Оно, конечно, ты вчера не вовсе в себе была, да ведь и я облепихи этой проклятой грешным делом глотнул изрядно. Пьян не был, этого нет: я тебе обещал, что напиваться больше не буду, и слово мое крепко. А в голове пошумливало... мысли веселые пошли... владание ослабло... Кабы я вовсе трезвый был, может быть, и остерегся бы. А во хмелю бес сильнее человека... Кто своему счастью враг?..

— Ты слушай меня, Ульяна Митревна, — уговаривал он, — ты не кручинься, сердца своего напрасно не береди. Стыдиться тебе ни перед кем не приходится: что мы с тобою не муж и жена, это мы одни знаем. А для прочих мы в законе. Паспорт-от вот он. По паспорту ты — моя законная супруга. И как мы с тобой живем, никто нам в том не указ. Пред людьми ни на мне, ни на тебе никакого греха нет. Что мы вдвоем знаем, то при нас двоих и останется, а по паспорту ты — моя законная жена...

— Дьявол в твоем паспорте сидит! — отвечала рыдающая Лиза. — Будь он проклят, твой паспорт! Поработил ты меня им! Что от меня теперь осталось? Сперва твой пас-

порт имя мое съел, теперь тело погубил... Куда я теперь годна? Как я покажусь родне и друзьям?

— Ты не кричи... усмири себя... не кричи... Обнаружишься, — твердил побледневший, с трясущимися холодными руками Тимофей.

— Все равно мне теперь! Кого мне беречься? Чего бояться? Хуже, чем ты поступил со мною, мне ни от кого быть не может... Все равно!

— Да мне-то не все равно! — почти зарыдал Тимофей. — Матушка! Ульяна Митревна! Ведь если ты теперь себя обнаружишь, следствие начнется... никакие свидетели мне не помогут, никакой присяге суд веры не даст... Убивцем меня сделают! На Сахалин мне идти! За что? Матушка! Ульяна Митревна! Себя погубишь, меня погубишь... Усмири себя! Пожалей!

Он стал на колени и ползал, целуя подол ее рубахи.

— Уйди, — хрипела она, — уйди, тварь!.. Видеть тебя не могу... Убью я тебя! Уйди...

Она повалилась ничком на постель. Тимофей вышел. Несмотря на все свое самообладание, на этот раз он оплошал — на нем лица не было, так что хозяева переполошились.

— Что? Храни Бог, не захворала ли сама-то?

Тимофей сделал страшное усилие и отвечал с натянутою усмешкою.

— Не то что захворала, а блажит с похмелья... Приступа к бабе нет!

— То-то, слышим, шумите в каморе...

— На том простите...

— О, нешто к тому? Дело житейское.

Домохозяин, пятидесятилетний сивый чалдон, хитро подмигнул Тимофею веселыми глазами:

— Маленько поучил, однако, благоверную-ту?

«Поучил звонарь протопопа, как же!» — со злостью подумал про себя Тимофей. Но вслух произнес с важностью:

— Не без того...

— Ты вожжу возьми, — рекомендовал чалдон. — Я всегда вожжою. Баба вожжу любит, потому что вожжа — вещь крепкая.

Лиза пролежала до самого полдня, как пласт, уткнувшись лицом в подушку, ни разу не переменив положения. Тимофей заглядывал к ней время от времени, но думал, что она спит, и оставлял ее в покое. Наконец решился окликнуть... Лиза взглянула на него потухшими усталыми глазами...

— Тимофей Степанович, — сказала она тихим глухим голосом, — я тебя прощу... только увези ты меня отсюда сегодня же...

— Как сегодня, Ульяна Митревна? — забормотал изумленный Тимофей. — Кони в степи, шубы у тебя нету — надо шубу купить: холода пали, никак не управиться нам сегодня... Да и хозяевам обидно...

— Видеть я их не могу! Видеть не могу! — скрипела зубами Лиза и мотала головой. — Пойми: противно мне место это, бежать я хочу от него!.. Позорно мне здесь! Страшно!.. Не могу!

Но не уехали они ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Из лошадей одна хромала, шубу продажную нашли, но пришлось ее перешивать. Желая угодить тоскующей Лизе, Тимофей старался искренно и налаживал отъезд усердно, сколько ни пеняли ему за то радушные хозяева. На четвертый день Тимофей вошел к Лизе мрачный, как туча, и с досады даже шапку бросил оземь.

— Что еще?

— А то, что по Чулыму *) сало пошло: парома больше нет, почту сегодня кое-как на лодках перевезли, а завтра уже не берутся, до самого ледостава теперь конного пути не будет...

---

*) Приток Оби.

Лиза, бледная, сидела, стиснув зубы, уставя глаза в одну точку. Потом тихо-тихо и зло, нехорошо засмеялась.

— Везет же мне, Тимофей Степанович!

— Да уж... точно... что и говорить! — вырвалось у того невольное согласие.

— Сама природа пути загораживает. Я уже не верю, что мы когда-нибудь вырвемся отсюда. Судьба! Если бы я была суеверна, то подумала бы, что это Ульяна твоя мстит мне, зачем я имя ее украла, не выпускает меня из Сибири проклятой...

— Ой, не поминай ты ее... не к добру...

— Долго ли ждать ледостава?

— Ден десять... Если морозы будут... Раньше лед не сдержит...

Лиза засмеялась еще горше и злее.

— Ты не убивайся, Ульяна Митревна, — попробовал утешать Тимофей, — зато теперь в тайгу подымемся, по снегу поедем, на санях... Не увидишь, как дорогу скоротаем... На Спиридона-солнцеворота *), слово тебе даю, уже будешь в России.

— А мне теперь все равно! — тихо возразила Лиза. — Раньше, позже... все равно!

Тимофей глядел на нее с изумлением. Она продолжала:

—Ты еще не знаешь, какая беда со мною случилась... Я ладанку свою потеряла!.. Где — не знаю... Все углы, все щели осмотрела: нету! Уже на тебя думала: не ты ли снял?

— Зачем мне? — оскорбился Тимофей.

— То-то знаю, что незачем... Крест, образки целы все до единого, а ладанка оторвалась, пропала... я второй день ищу. Нету! Судьба!

— Авось найдется, хозяевам надо сказать...

— Нет, не найдется, — упрямо возразила Лиза. — Это судьба.

---

*) 12 декабря.

— Мощи там у тебя были, что ли, какие?

— Да, мощи... перст угодника Потапия!.. — горько усмехнулась Лиза.

По имени Потапа Тимофей догадался, что тут совсем не то, и деликатно умолк. Но в то же время взял про себя некоторое решение... Вдвоем с Лизою они еще раз обшарили каморку, сени, углы, сорные кучи, отхожие места.

— Не иначе, как черт украл! — говорил Тимофей.

Лиза холодно и злобно повторила:

— Судьба!

Эта потеря добила молодую женщину.

Ее охватила какая-то суеверная, болезненная апатия, выражавшаяся полным бездействием, упадком сил и страхом людей. Буквально по целым дням Лиза лежала в каморке на постели, бессмысленно глядя на стену, молчала и даже не думала; считала спиленные сучки в бревнах, пятна, разводы. Если к ней входили, спешила притвориться спящею. Если вызывали ее Тимофей или хозяева, выходила полусонная, дикая, зевающая, старалась сесть особняком, выбирала угол потемнее, молчала как рыба, была людям тяжела и себе неприятна.

— У Тимофеевой хозяйки в голове не все дома! — давно уже говорили по селу, многозначительно указывая на лоб.

Чулым стал. Санный путь открылся. Известие, что можно ехать, Лиза приняла равнодушно, точно оно ее не касалось. Машинально собрала пожитки, машинально распростилась с хозяевами. Только перед самым отъездом еще раз обыскала до нитки, до самой маленькой щели, свое помещение. Ничего не нашла...

— Судьба!

Печально и мрачно было путешествие на север. Двигались медленно, потому что — то метель, то оттепель, здесь река не стала, там ее распустило. Засиживались на станках по суткам и больше. Ехали то на колесах, то на полозу.

В первые три дня Лиза с Тимофеем не сказала ни слова. Сидела в кибитке прямая, как истукан, и, почти не моргая, глядела в белую степную даль. Каждая встречная повозка пугала Лизу. На станках Тимофею приходилось долго уговаривать ее и наконец чуть не силою тащить, чтобы не оставалась в кибитке на морозе, но шла бы в тепло, к людям.

День был серый, снежный, с кисейными сетками густо летающих, тяжелых, белых мух. Дорога шла в гору. Впереди чернели таежные холмы. Лиза сидела в кибитке. Тимофей, чтобы облегчить труд коням, шагал рядом с санями, понукая, посвистывая, припрягаясь к оглобле, когда подъем крутел...

— Тимофей! — внезапно раздался глухой голос Лизы.

— Ась? — обрадовался Тимофей, что наконец-то заговорила.

— Куда мы едем?

— Не знаю, как станок называется. К ночи, люди сказывают, в Мариинском будем.

— А дальше куда?

— Куда приказывала...

Тимофей назвал город Пермской губернии, намеченный для Лизы Потапом.

Кони взяли гору. Тимофей дал им вздохнуть, потом сел в кибитку и погнал шибкою рысью. Бубенцы звонко заплакали жалобным смехом.

— Тимофей!

— Что, Ульяна Митревна?

— Мне нечего делать в N – ске, Тимофей... Явку я потеряла... время потеряла, всю себя потеряла... Судьба!..

— Перестань уж ты убиваться, Ульяна Митревна! Кое время себе мучишь занапрасно... Брось!.. Кабы польза была, а то сама знаешь, что непоправимое... брось!.. Тише вы, уносные!

Кони пошли шагом.

— Если в N – ск не желаешь, прикажи, куда? Я сказал, что доставлю, и доставлю. Хоть в самое Москву!

— В Москву? К тетке? На Бронную? — вскрикнула Лиза. — Ни за что! Никогда!

— Не желаешь к своим, значит?

— Нету у меня больше своих... Стыд один есть! Как я своим в глаза глядеть буду? Умру от стыда... Страх какой!.. Не надо, Тимофей... не надо!

— Положим, что полиция признает тебя там, на Москве-то, — подумав, согласился Тимофей.

Лиза молчала. Разговор возобновился только на следующий день, уже далеко за Мариинском.

— Я не только своих боюсь, Тимофей, мне и чужие-то страшны, — говорила Лиза. — Если бы можно было найти нору какую-нибудь, забилась бы в нее, да так и не выглядывала бы... или вот ехать бы всю жизнь, как мы теперь едем, чтобы пристанища не иметь, чтобы никто не мог привязаться с расспросом, кто ты, откуда, зачем... Не могу я! Умирать жалко, а вся жизнь моя сломалась... Не могу я на жизнь оглядываться! Не могу, чтобы меня прошлое окликало... знакомым голосом!.. Заново надо жить... Не могу!..

— Да что же мне с тобой делать? Куда мне тебя девать? — лепетал смущенный Тимофей: он тоже начинал подозревать, что Лиза сходит с ума. Угрызения совести мучили его. И не только за «грех» против Лизы, а и еще кое за что. Дело в том, что ладанку-то он нашел в тот самый день, когда Лиза рассказала ему о своей потере. Она провалилась между двумя рассохшимися половицами в подклеть и лежала — одноцветная с ними, доступная только сибирским рысьим глазам. Тимофей знал уже, что в ладанке таится политический секрет, и, значит, она — штука опасная.

«Однажды потеряла и в другой раз не убережет, — думал он о Лизе. — А кто знает, чего тут Потап наколдовал?

Сохрани Бог: попала бы в чужие руки? За клочок бумажки люди в рудники уходят...» И, недолго мешкая, он отправил роковую ладанку в топившуюся печь. «Ей же лучше, о ней же стараюсь, — мысленно оправдывал он себя перед Лизою. — Что потеряла, погорюет и перестанет, а свою петлю на своей шее возить — не расчет...»

— Куда? — в задумчивой тоске отозвалась Лиза на беспокойные вопросы спутника. — Почем я знаю?.. Если бы такую глушь найти, чтобы никогда никого из прежних знакомых не встретить...

— А жить чем станешь?

— Работать могу... В люди служить готова идти... мастерскую открою... прачечную... булочную... я все умею...

— Деньги нужны.

— У меня есть четыреста рублей.

— О? — сказал Тимофей и хлестнул лошадей. Промчавшись с версту, он раскурил трубку, затянулся, выпустил дым и серьезно обратился к Лизе. — На эти деньги, ежели приложить к ним маленький капиталец, можно и торговишку начать в небольшом городе или селе хорошем...

* * *

Фабричный врач В – ский, административно высланный из подмосковного посада на север за «литературу» и «неуместные собеседования» с рабочими, только что прибыл в Т., уездный город N – ской губернии. Он уже выдержал обычный искус в полицейском управлении, с подписками, чтением закона о ссыльных, с наставлениями власти предержащей о местном «режиме», и теперь искал себе квартиру.

— Трудное это у нас дело, ваше благородие, квартиру найти, — говорил В – скому, шагая по т – ским непролазным грязям, великодушно навязавшийся ему в качестве чичероне, полицейский солдат. — Вы, в столице обитая, привыкли

жить чисто, а у нас обыватель, прямо надо сказать, свинья. В хлеву живет, в навозе дрыхнет. Разве попробовать на слободке?

— Я города не знаю. Где хотите. Мне — лишь бы клопы не обижали.

— Без клопа, ваше благородие, прямо говорю, не найти. Такой город. Даже в присутствии клоп преизбытствует. По зерцалу ползают, окаянные. Где без клопа? Не найти!

В – ский — чистюля щепетильнейший — тяжко вздохнул, уныло размышляя: «Уж лучше бы меня опустили прямо в девятый круг Дантова ада!»

Но мирмидон вдруг круто повернул:

— Есть! Пойдемте на Соборную горку, ваше благородие. Попытаем счастья у лавочника.

— Неужели без клопов?

— Не должны бы еще развестись, подлые: новый дом лавочник поставил. Только что перебрались хозяева-то, до осени проживали в старом, при магазине. Богатеют прытко у нас черти-лавочники, ваше благородие. Хоть бы этого взять: всего четвертый год, как он проявился в нашем городе, а уж экую домину построил... Здесь, пожалуйте, ваше благородие...

— А вы разве не войдете?

Воин сконфузился.

— Не обожает этого хозяин здешний, чтобы наш брат к нему жаловал. «Ты, — приказывает, — ко мне в лавку приходи, я тебя, чем хочешь, ублаготворю, а на дом ко мне без надобности не шляйся. Не люблю!» Ничего, мы не обижаемся. Человек обходительный. А что нравный, все они, сибиряки, свободного духа наперлись. Сибирский он, ваше благородие, из тамошних мещан... Вы извольте идти, ваше благородие, я у калитки подожду.

Две минуты спустя В – ский стоял в довольно чистеньком зальце, как обыкновенно бывают мелкокупеческие зальцы

в северных уездных городах: с геранью, канарейкою, часами, которые кричат кукушкою, с портретами царя и царицы, с большими образами и лампадкою под низким белым потолком. По крашеному полу тянулась суровая домотканая дорожка, а по дорожке ходили два четвероногих: толстый серый кот и здоровый лупоглазый ребенок.

— Что? Приезжий? Квартиру ищет? Какая же у нас квартира? Нет у нас квартиры. Зачем пускала? — слышал В – ский сердитый женский шепот за перегородкою: хозяйка бранила работницу, открывшую В – скому двери. — Да уж хорошо, хорошо... что с тебя взять, если дура?.. Иду сейчас... поди, самого позови...

— Простите, пожалуйста, я, кажется, совершенно напрасно вас побеспокоил... — начал было В – ский навстречу входящей женщине, но поднял на нее глаза и осекся, разиня рот...

Перед ним — в замасленной, белой с розовыми цветочками, ситцевой блузе и с годовалым ребенком на руках — стояла молодая особа лет 28. В рослой плотной фигуре ее, в расплывшихся красивых чертах румяного лица, в русых волнах пышных волос, в серых вопросительных глазах, внимательно на него глядевших, В – скому мелькнуло что-то знакомое, далекое, давнее...

— Басова! Лиза! это вы же! вы! — вскричал он наконец, потирая обе руки. — Какими судьбами? Как я вам рад! Вот неожиданность...

С лица женщины сбежал румянец, и руки ее, державшие ребенка, задрожали.

— Ой, как вы меня испугали, господин!.. — произнесла она белыми губами, притворно и сторожко улыбаясь. — Что вы? Я вас не знаю... Обознаться изволили...

И в ту же минуту, вывернувшись из боковой двери, застегивая на ходу пиджак, перед В – ским явился — уже лысоватый спереди — мужчина, с лицом курносого Сократа,

в окладистой курчавой бороде. У него тревожно бегали глаза, но рот улыбался.

— Поди к себе, Ульяна Митревна, поди к себе... Феня плачет, — быстро сказал он женщине. И — сейчас же к В – скому:

— Очень приятно познакомиться. Тимофей Степанович Курлянков, домовладелец здешний, ха-ха-ха, коммерсант. Квартирку изволите искать? Крайне сожалею, однако, нет у нас квартирки... нет... нет-с... Это вас дурак полицейский привел? Несообразная публика-с! Видят — новый дом и воображают... Какие квартирки! Нам с супругою едва повернуться... Трое детей-с!

— Это вашу супругу я имел удовольствие сейчас здесь видеть?

— Да-с. Супруга-с. Законная моя жена-с. Ульяна Митревна Курлянкова. Да-с.

— Ваша супруга имеет поразительное сходство с одною моею хорошею знакомою.

— Бывает-с. Бывает-с. Чего не бывает на свете?

— Может быть, близкая родственница? Мою знакомую звали — Елизавета Прокофьевна Басова.

— Басова? Не слыхал-с. Басова? Нет, такой родни у нас нету-с. Курлянковы, Хворовы, Черных, а Басовых — нет, не имеем. Да вы где их изволили знать?

— В Москве... студентом еще...

— В Москве не только родни, знакомых не имеем. Еще не бывали мы даже в Москве. Супруга моя, как и я, из Сибири происходит-с. Сибиряки-с. Соленые уши, — ха-ха-ха! Я — Курлянков, а она, по отцу, Черных. Да-с. Очень сожалею, что не могу услужить квартиркою... очень...

— Извините за беспокойство.

— Помилуйте... за честь понимаю... Покорнейше прошу... Не оступитесь... Пожалуйста...

— Поладили, ваше благородие? — вопросил В – ского ожидавший мирмидон.

— Нет, брат... не отдают... — раздумчиво отвечал тот, весь в мыслях о только что пережитой встрече.

— Так я и знал, что не отдадут. Характерные сибиряки. Что же? завтра еще поищем. Теперича свести вас, что ли, на постоялый двор?

— Веди на постоялый двор.

В грязной комнатке постоялого двора В – ский лежал на облупленном клеенчатом диване и думал: «Двойников на свете не бывает. Если я видел не Лизу Басову, то ее оборотня».

В дверь постучали.

— Можно-с?

— Пожалуйста...

Пробежали часы... При колыхающем пламени свечи, В – ский жал на прощание руку человеку в окладистой курчавой бороде, с лицом лысого Сократа, а тот ему объяснял:

— Истинно говорю вам: в селе сем подгородном вам не в пример лучше будет устроиться, чем в городе. Домик тот, который я вам рекомендую, у попа-с, — чудеснейший. По близости, несомненно, найдете многих товарищей ваших. А о разрешении выбрать местожительство не заботьтесь: только заявите желание, чтобы обитать на селе — исправник у меня, по долгам своим, во где сидит: давну — запищит... Но уж, пожалуйста!.. Как благородного человека, вас прошу: позабудьте! И супруга просит... Неудобно это, чтобы нам с вами в одном городе... Сделайте милость! Не тревожьте! Я ежели и деньгами что... могу-с!.. Потому что женщина-с... невры у них... Трое малых детей.... сама тяжелая... Убедительнейше вас прошу: гораздо лучше вам будет на селе, чем в нашем городе. Какой это город? Одно предисловие... Смехота-с!..

1907 Январь

Париж

ФАРМАЗОНЫ

Я ехал курьерским поездом из Москвы в Петербург. В вагоне было пустовато. Ближайшим ко мне соседом по креслу оказался бравый мужчина, лет под пятьдесят, широкоплечий, усатый, с красным загорелым лицом и богатырскою грудью. Разговорились. Оказался средней руки землевладельцем N – ской губернии, а прежде служил в гусарах, дослужился до ротмистра и вышел в отставку. Хозяйничает, женат, имеет кучу детей и, — о диво, истинно дворянское диво! — ни гроша долга, хотя, как сам признается, «смолоду было бито-граблено».

— Зато теперь уж... ни-ни! Не пью, курить бросил, а — что до женщин, так, будучи женатым на моей свет-Наталье Александровне, не имею времени даже вспомнить: существуют ли, кроме нее, на земле другие представительницы прекрасного пола? Так-то-с. А было, всего было... Однако не всхрапнуть ли? Уже первый час...

Он вынул часы на цепочке, обремененной множеством брелоков. В числе их бросилась мне в глаза огромная золотая монета незнакомой, иностранной чеканки.

— Что это у вас? — заинтересовался я.

— Это? Ха-ха-ха! Фармазонский рубль! Слыхали? Шучу: старый мексиканский доллар. Редкостная штука. Я думаю, во всей России только в нашей семье и имеется. У меня, у брата Пети, брата Володи, брата Сенечки, брата Федечки, брата Мити, брата Герасима, брата Тита, брата Онисима... Как увидите у кого на пузе этакую златницу, так и знайте: Жряхов, значит. Хе-хе-хе! фармазоны! Я брата Онисима двадцать лет не видал. Иду по Невскому: навстречу — рамоли, еле ноги движет, и на жилете — доллар этот. Извините, говорю, милостивый государь, с кем именно из братьев моих, Жряховых, имею удовольствие? Я, отвечает, Онисим. А ты кто же? Ванечка или Вольдемар?.. Вот-с, фармазонство какое!

И, лукаво посмеиваясь, он вытянулся на кресле во весь свой богатырский рост, закинул руки за голову, смежил очи и почти моментально заснул, с хитрою улыбкою на губах.

Утром, проснувшись под Вишерою, слышу громкую беседу. Говорили вчерашний спутник со «златницею» и новый пассажир, севший ночью где-то на промежуточной станции, — юный, упитанный щеголек, с очень хорошими, барственными манерами. Первое, что привлекло мое внимание, когда я осматривал пришельца, точь-в-точь такой же брелок-златница, что и у Жряхова, эффектно вывешенный на цветном жилете. Жряхов пучил глаза на златницу незнакомца, видимо недоумевающий и сбитый с толку.

— Позвольте-с, — гудел его густой голос, — вы слово, честное дворянское слово даете мне, что вы не из Жряховых?

— Странный вы человек! — отзывался ему веселый тенор, — говорю же вам: Ергаев, Вадим Ергаев моя фамилия, а с Жряховыми ничего общего не имею.

— Непостижимо!

— Слыхал, что есть такие помещики в нашем уезде. Только из них никто уже в этом имении не живет. Купец какой-то арендует.

— Верно-с... Но в таком случае... удивительно-с... Откуда же это у вас?.. Быть не может!.. Удивительно!

Бормоча такие бестолковые восклицания, Жряхов продолжал таращиться на юношу, облизывал губы языком, щипал себя за усы, воздымал плечи к ушам, — вообще, видимо, сгорал от нетерпеливого любопытства пред какою-то сомнительною загадкою или мистификацией... И, наконец, вдруг выпалил густым басом, глядя пассажиру прямо в глаза:

— Стало быть, Клавдия-то Карловна жива еще?

Юноша удивленно раскрыл рот, странно дрыгнул ножкою и протянул медленно и в нос:

— Жи-и-ива... А вы ее знаете?

— Гм... знаю ли я ее? — с ожесточением, и даже как бы обидясь, воскликнул Жряхов. — Кому же ее и знать, как не мне? Ивану Жряхову! Всем нам, Жряховым, благодетельница, пуще матери родной!.. Да! я могу ее знать! Клавдия Карловна человек нашего времени. Но вот, как вы ее изволите знать, — это, признаюсь, мне весьма удивительно: ведь ей, по самому дамскому счету, сейчас за пятьдесят... Куда! к шестидесяти близко!..

Юноша опять конфузливо дрыгнул ножкою и, слегка усилив розовые краски на своем сытом личике, возразил:

— Неужели? Я бы ей и сорока не дал. Удивительно сохранилась!

Жряхов внезапно фыркнул и закатился смехом. Глядя на него, засмеялся и — сначала изумленный и даже готовый обидеться — юноша.

— О... о... от нее? — с трудом пересиливая смех, выговорил Жряхов, коснувшись указательным перстом златницы спутника. Тот неопределенно пожал плечами. Жряхов залился еще пуще.

— А говорили... ничего общего!.. — лепетал он, вытирая выступившие слезы, — нет, батюшка! Кто сим отмечен, в том... хо-хо-хо!.. стало быть, есть жряховское! есть! Хо-хо-хо! Фармазоны! Так сохранилась, говорите? Ах, черт ее подери!

— Клавдия Карловна — препочтенная дама, — серьезно сказал юноша. — В нашем захолустье она просто — феникс. Мы бы погибли, спились без нее. Ведь от этой провинциальной скуки черт знает до чего можно дойти. Хоть пулю в лоб — иной раз, а вот Заст на кухаркиной сестре спьяну женился. Скажу вам откровенно: без Клавдии Карловны я сам не знаю, что со мною было бы... Из университета я удален за «историю», приехал под надзор, тоска, хандра, не до работы, кругом пьянство, разврат, — ну, знаете, с волками жить — по-волчьи выть... пропал бы, кабы не Клавдия Карловна.

Жряхов одобрительно кивал головою.

— Что говорить! — согласился он, — сколько ей нашего брата, дворян, спасением обязано, — даже удивления достойно. Только я до сей поры полагал, что она исключительно наш жряховский род, по многочисленности оного, спасала, а теперь вижу, что стала выступать и в другие фамилии. Вы, г. Ергаев, давно ли изволили гостить у Клавдии Карловны?

— Летом 1897-го года.

— Так-с. А я летом 1875-го. Разных выпусков, стало быть.

И бешеный смех снова овладел им. Юноша тоже загоготал.

— Господа, — сказал я, — вы так заразительно смеетесь, что слушать завидно. А, судя по громкому вашему разговору, то, чему вы смеетесь, не секрет. Не будьте эгоистами: дайте повеселиться и мне, бедному, скучающему попутчику.

— С удовольствием, — сказал Жряхов.

— Ничего не имею против, — прохихикал юноша.

— Видите ли, — начал Жряхов, — уезд, где я родился, — и вот где они, — кивнул он на юношу, — теперь жительствуют, медвежий угол. Там и железная дорога-то недавно прошла — всего лет десять, как зацепилась веткою за Николаевку. Дворянства в мое время сидело еще по усадьбам много, только по захолустной скуке все так между собою перероднились, что во всем уезде не стало ни женихов, ни невест, — все кузины да кузены: никакой поп венчать не станет. Ладно-с. Любвей, стало быть, нема, а без любвей — какая же и общественность? Старикам хорошо: водки выпить, в карты поиграть, а молодому человеку это — тьфу! рано! ему романическое подавай, с чувствами. И так как в романическом была у нас, молодых дворян, большая убыль, — ибо соседские барышни, зная, что мы не женихи, пребывали к нам весьма холодны и готовы были променять всех нас гуртом на любого франта из других уездов, только бы не был кузен, — то впадали мы в холостую тоску, а чрез нее в огорчительные для родителей и пагубные поступки.

Юноша вдруг фыркнул. Жряхов приятно на него уставился:

— Что вы-с?

— Н-н-ничего... я вспомнил... продолжайте...

— Родитель мой, Авксентий Николаевич Жряхов, и родительница, Марья Семеновна, были, царство им небесное, люди строгие, богобоязненные. Детей имели множество и дрожали над ними трепетно. А сынки, то есть я и братцы мои, удались, как нарочно, сорванец на сорванце, умы буйные, страсти пылкие... И вот-с, — тонко улыбнулся рассказчик, — вспоминаю я из детства моего такую картину. Приехал из корпуса на побывку брат Онисим. Мне тогда годов девять было, а ему семнадцать, восемнадцатый. Парень — буря-бурею... Н-ну... Живет неделю, другую. Вдруг в один прекрасный день — катастрофа... Онисим — словно туча; горничная Малаша — вся в слезах; мать ее, скотница, вопит, что кого-то погубили и так она не оставит, пойдет до самого губернатора; маменька валяется в обмороках и кричит, что Онисим ей не сын и видеть она его, беспутного, не желает; а папенька ходит по кабинету, палит трубку, разводит руками и бормочет:

— Что ж поделаешь? Ничего не поделаешь. Человек молодой. Закон природы, закон природы!

Малаше дали сто рублей и убрали ее из дома, но... недели две спустя, в слезах была прачка Устя, и про поход к губернатору вопила Устина тетка. Еще через неделю — Груша с деревни, и Грушин отец явился в усадьбу с преогромным колом. С березовым-с. Положение становилось серьезным. Папенька с маменькою, хотя люди достаточные, однако не фабриковали фальшивых бумажек, чтобы с легкостью располагать сторублевками. А их, судя по энергии брата Онисима и обилию крестьянских девиц в околотке, надо было заготовить преогромный запас. Чувствуя себя бессильною пред сыновним фатумом, мамаша продолжала рыдать, проклинать и падать в обмороки, а папаша — курить трубку и рассуждать:

— Что ж поделаешь? Ничего не поделаешь. Закон природы!

И вот тут-то впервые слетел к нам с небеси ангел-избавитель, в лице Клавдии Карловны.

Она тогда всего лишь третий год овдовела и жила строго-строго. Ездила в далекие монастыри Богу молиться, платья носила темных цветов, манеры скромные, из себя — картина. Блондинка, на щеках розы, глаза голубые навыкате, лучистые этакие, рост, фигура, атуры... загляденье! Вот-с, приезжает она к нам, по соседству, в гости. Маменька ей, конечно, всю суть души и возрыдала. Клавдия Карловна — ангел она! — большое участие выказала, даже разгорячилась и в румянец взошла.

— Позвольте, — говорит, — Марья Семеновна, покажите мне этого безнравственного молодого человека!

— Ох, — маменька отвечает, — душенька Клавдия Карловна! Мне этого негодяя совестно даже и выводить-то к добрым людям.

Однако послала за братом Онисимом. Осмотрела его Клавдия Карловна внимательно. Ну, — где учитесь? да любите ли вы свое начальство? да начальство вами довольно ли? да зачем вы огорчаете маменьку? да маменька вам — мать родная... Словом, вся бабья нравоучительная канитель, по порядку, как быть надлежит.

Юноша Ергаев опять захихикал.

— Было-с? — кротко обратился к нему Жряхов.

— Как на фотографии! — раскатился тот.

— Отпустили Онисима дамы. Клавдия Карловна и говорит мамаше:

— Что хотите, душечка Марья Семеновна, а он не безнравственный!

— Душечка, безнравственный!

— Ах, не безнравственный!

— Милочка, безнравственный!

— Нет, нет, нет и нет! не поверю, не могу поверить! Быть не может. Такой приятный мальчик, и вдруг безнравственный!

— Душечка, Малашке — сто, да Устюшке — сто, да Грушкин отец — с березовым колом. Пришлось бы вам кол-то увидать, так поверили б, что безнравственный!

Задумалась Клавдия Карловна и вдруг — с вдохновением этаким, в очах-то голубых:

— Вся эта его безнравственность, — просто налет! юный налет — ничего больше! Душечка Марья Семеновна, умоляю вас: не позволяйте ему погибнуть!

Маменька резонно возражает:

— Как ему не позволишь, жеребцу этакому? Уследишь разве? Я человек старый, а он, изверг, шастает — ровно о четырех копытах.

— Это, — говорит Клавдия Карловна, — все оттого, что он одичал у вас. Ему надо в обществе тонких чувств вращаться, женское влияние испытать...

— Так-с? — круто повернулся рассказчик к Ергаеву.

Тот кивнул головою, трясясь от беззвучного смеха.

— Вручите, — говорит, — его, душечка Марья Семеновна, мне! Я вам его спасу! Я образумлю, усовещу! Я чувствую, что могу усовестить! И должна! Должна, как соседка ваша, как друг ваш, как христианка, наконец... Отпустите его ко мне погостить, — я усовещу!

— О, Господи! — простонал Ергаев.

— Хорошо-с. Мамаше что же? Кума с возу, — куму легче. Обрадовалась даже: все-таки хоть несколько дней, детище милое на глазах торчать не будет, да и та надежда есть, — авось хоть в чужом-то дому не станет безобразить, посовестится... Ну-с, уехал наш Дон Жуан с Клавдией Карловной, и след его простыл. Неделя, другая, третья... только — когда уж в корпус надо было ехать, появился дня за три. Еще больше его ввысь вытянуло, худой стал, баритоном заговорил, а глаза мечтательные этакие и словно как бы с поволокою. У вас совсем не такие! — бросил он Ергаеву.

— Помилуйте, — обидчиво отозвался тот, — да ведь с 1897-го-то года два лета прошли!

— Речь у Онисима стала учтивая, манеры — в любую гостиную. Просто ахнула мамаша: узнать нельзя малого! Ай-да Клавдия Карловна!.. И в дополнение благодеяний подарила она ему на память часы с цепочкою, и на цепочке — точно такую же вещицу, как видите вы у нас с г. Ергаевым... В нашем роду она тогда была первая-с.

Ну-с, затем история прекращает свое течение на год. Брат Онисим в офицеры вышел и в полк поступил, а на побывку летнюю пожаловал брат Герасим — только что курс гимназии кончил и на юридический метил. Книжек умных навез. Развивать, говорит, вас буду! Смиренник такой, — шалостей никаких; ходит в сад с книжкой, листами вертит, на полях карандашом отметки делает. Мамаша не нарадуется. Только вдруг — приходит:

— Маменька, предупредите папеньку, что я университет решил побоку.

— Как? что? почему? уморить ты нас хочешь?

— Потому что я должен жениться, и мне станет не до ученья, — придется содержать свою семью.

— Жениться? Да ты ошалел? когда? на ком?

— На Феничке.

— На просвирниной дочери?

Так маменька и рухнула... Очнувшись:

— Рассказывай, — говорит, — разбойник, что у вас было? добивай мать!

Отвечает:

— Да ничего особенного. Я ей «Что делать» читал.

— Ну?

— Она ничего не поняла.

— Еще бы! просвирнина-то дочь!

— Тогда я начал ей «Шаг за шагом» читать.

— Ну?

— Она тоже ничего не поняла, но...

— Да не мучь! не тяни!

— Но как-то стала в интересном положении.

Маменька опять в обморок. Папенька пришел, усами пошевелил, трубкой попыхтел:

— Что ж, — говорит, — поделаешь? Ничего не поделаешь. Закон природы!

— Вот, — брат одобряет, — за это я вас уважаю. Здравый образ мыслей имеете.

— Но жениться на Феньке, — продолжает отец, — и думать забудь, прохвост! Прокляну, наследства лишу, из дома выгоню.

— А вот за это, — возражает брат, — я вас презираю. Подлый образ мыслей имеете.

И пошла у нас в доме каждодневная буря: «Женюсь!» — «Вон из дома!» — «Женюсь!» — «Вон из дома!..» Не житье, а каторга.

В таких-то тесных обстоятельствах маменька и вспомнила о Клавдии Карловне, как она нашего Онисима в чувства возвратила. К ней:

— Голубушка! благодетельница! Вы одна можете! Спасите! усовестите!

Выслушала та, вздохнула глубоко, возвела голубые очи горе, перекрестилась и говорит:

— Пришлите!

И — что же бы вы думали-с? Поехал к ней Герасим якобы с визитом, да... только мы его и видели. Лишь за три дня до отъезда явился — молодцом, еще лучше Онисима, вылощенный такой, надушенный, и «златница» на цепочке. Лихо! О Феничке и не спросил, а ее тем временем маменька замуж спроворила, хорошего жениха нашла, из города почтальона, — смирный, всего на семь четвертных миру пошел и еще ручку у маменьки поцеловал с благодарностью. Стали было у нас в доме над Герасимом подшучивать:

— Как же, мол, братец, тебя Клавдия Карловна усовещивала? коленками на горох ставила или иное что?

А он весьма серьезно:

— Прошу вас на эту тему не острить. И кто об этой святой женщине дурно подумает, не только скажет, тот будет иметь дело со мною. А эту вещь, — златницею потрясает, — я сохраню на всю жизнь, как зеницу ока, на память, какие умные и развитые дамы существуют в России, и до какого благородного самопожертвования могут они доходить!..

Ну-с... Я буду краток. Через год Клавдии Карловне пришлось спасать брата Тита: тоже жениться хотел — на соседской гувернантке. Затем брата Митю, — в город стал больно часто ездить, так мамаша за его здоровье опасалась. А как приехал брат Федечка из правоведения, то мамаша даже и выжидать не стала, чтобы он выкинул какое-нибудь художество, а прямо так-таки усадила его в тарантас и отвезла к Клавдии Карловне:

— Усовещивайте!.. Хоть и ничего еще не набедокурил, а усовещивайте!.. Такая уж их подлая жряховская порода!

И только на брате Пете вышла было в сей традиции малая зацепка. Рыжий он у нас такой, весноватый, угрюмый, — одно слово, бурелом. По Лесному институту первым силачом слыл. Волосы — копром. В кого только таким чертом уродился? Привезла его маменька... Клавдия Карловна — как взглянула, даже из себя переменилась:

— Ах, — говорит, — рыжий! ненавижу рыжих!

— Голубушка, — плачет маменька, — душечка! Клавдия Карловна!

— Нет, нет! И не просите! Не могу я иметь влияния на рыжих! Не могу! Не могу! Антипатичны моей натуре! Не в силах, — извините, не в силах.

— Голубушка! Да не все ли равно — кого усовещивать-то? Брюнет ли, блондин ли, рыжий — совесть-то ведь цветов не разбирает, безволосая она...

— Ах, ах! Как все равно? Как все равно? Флюиды нужны, а я флюидов не чувствую.

— Матушка! — убеждает маменька, — флюиды будут.

Насилу уговорила.

— Так и быть, Марья Семеновна, видючи ваши горькие слезы, возьмусь я за вашего Петю. Но помните: это с моей стороны жертва, великая жертва.

— Уж пожертвуйте, матушка!

Прослезилась Клавдия Карловна и крепко жмет ей руку:

— Ах, Марья Семеновна! вся жизнь моя — одно самопожертвование.

— За то вас Бог наградит! — сказала маменька.

Взглянула на небо:

— Разве Он!

Ваш покорнейший слуга тем временем доучивался в Петербурге, у немца-офицера в пансионе: в юнкерское училище готовился. Братья старшие уже в люди вышли. Онисим ротою командовал, Герасим — товарищ прокурора, Митька — главный бухгалтер в банке... Хорошо-с. Едучи к родителям на каникулы, обхожу весь родственный приход — проститься. Ну, известно: поцелуй папеньку с маменькой, кланяйся всем, вспомяни на родном пепелище. Отцеловались с братом Онисимом, ухожу уже.

— Да! — кричит, — главное-то позабыл! Вот что: увидишь Клавдию Карловну, так, голубчик, кланяйся ей очень, очень, очень! да ручку поцелуй, дурак! да передай вот эту штукенцию... От брата Онисима-мол! Пож-жа-луйста!

И сует мне превосходнейший альбом — в серебре — и надпись на крышке: «От вечно преданного и благодарного».

— А о златнице сей, — показывает, — передай, что всегда памятую и не снимаю.

У Герасима — та же самая история. У Дмитрия — та же. У Тита — та же. Навалили мне подарков к передаче кучу. Шали какие-то, меха, ковер... И все — от благодарно-

го, признательного, никогда не забуду ваших благодеяний, ношу и помню, будьте во мне уверены. Даже дико мне стало: что за родня у меня такая? Папеньке с маменькой — шиш, а чужой даме! — горы-горами шлют... просто неловко както! Высказал это свое недоумение брату Титу, а он дал мне подзатыльник и говорит:

— Глуп еще. Зелен. Созреешь — сам посылать будешь. Айда!

Приехал. Здравствуйте, папенька! Здравствуйте, маменька! Радостно. Ну, пирог с морковью, творог со сливками, простокваша, — все, как свойственно. Отпировал первые родственные восторги, вспомнил: ба! да ведь у меня подарки на руках... Иду к родителям:

— Папенька, позвольте вашего шарабана.

— Зачем? куда?

— К Клавдии Карловне.

Каково же было мое удивление, когда папенька вдруг страшно вытаращил на меня глаза и едва не уронил трубку из рук, а маменька всплеснула руками и облилась горькими слезами.

— Уже! — стенает, — уже!..

А отец тянет:

— Как ты ска-зал?

— К Клавдии Карловне.

— Пошел вон, дурак!

Ушел. Ничего не понимаю, за что обруган и выгнан. От дверей зовут назад:

— Зачем тебе к Клавдии Карловне?

Мать опять как всплеснет руками и на меня с негодованием:

— Аксюша! как тебе не стыдно?

Даже покраснела вся.

— Как зачем? Мне братцы целую уйму вещей навязали, — все просили ей в презент передать.

— Ага!.. ну, успеешь... — снисходительно сказал отец.

— Торт там яблочный, от Феди... не испортился бы? — говорю деликатно и, казалось бы, вполне резонно. А он опять вдруг насупился, да как вскинется:

— Русским тебе говорю языком: успеешь... м-м-мерзавец!

Ладно. Дитя я был покорное: не пускают, и не надо. Даже не доискивался, почему. Понял так, что, должно быть, папенька и маменька с Клавдией Карловной поссорились... Пошел со скуки, с ружьем да Дианкою-псицею, слонов слонять по лугам-болотам, лесам-дубравам, деревушкам да выселкам. Вот-с, иду я как-то селом нашим с охоты, а у волостного правления на крыльце писариха сидит, семячки щелкает. «Здрасте!» — «Здрасте! Семячков не угодно ли?» — «Будьте так любезны!..» Баба не старая, муж пьяница, драная ноздря... И пошло у нас это каждый день. Как я с ружьем — она на крыльце.

— «Здрасте!» — «Здрасте!» — «Семячков прикушайте!» — «Покорнейше благодарю».

С неделю только всего и роману было. Семячек пуда с два сгрыз, — инда оскомина на языке явилась. Но потом сия дама говорит мне: «Молодой человек, как вы мне авантажны!» — «Будто?» — «Право-ну! И ежели бы вы завтра о полуднях в рощу пришли, я бы вам одно хорошее слово сказала...» — «Превосходно-с». Являюсь. Она там. Восторг! Но — вообразите же себе, милостивые государи, мою жесточайшую неудачу: не успел прозвучать наш первый поцелуй, как кусты зашелестели, раздвинулись, и — подобно deus ex machina * — вырос пред нами... мой родитель!

— Табло! — восторгнулся Ергаев.

— Наитаблейшее-с табло.

Я обомлел. Пассия моя завизжала:

— Ах, святители! у, бесстыдники! — и была такова.

* Бог из машины (*лат.*).

А родитель, глядя на меня с выражением полной беспомощности пред волею судьбы, выпустил из-под усов огромный клуб дыма, и бысть мне глас его из клуба того, яко из облака небесного:

— Что же поделаешь? Ничего не поделаешь. Закон природы.

И больше ничего. Повернулся и ушел.

За обедом — строг. Маменька с заплаканными глазами. Смотрит на меня и головою качает. Преглупо. Подали блинчики с вареньем. Отец воззрился и говорит сурово-пресурово:

— Ты что же, любезнейший, поручений набрал, а исполнять их и в ус не дуешь?

— Каких поручений, папенька?

— Сам же говорил, что братья просили тебя передать Клавдии Карловне подарки.

— Но, папенька...

— Что там «но»?! Нехорошо, брат. Она — друг нашего дома, почтеннейшая дама в уезде, а ты манкируешь. Торт-то яблочный прокис небось... что она подумает? Жряховы, а кислыми тортами кормят. Позор на фамилию. Свези торт, сегодня же свези! Дама почтенная... Друг семейства...

Жряхов улыбнулся, задумчиво покрутил ус и, крякнув, принял молодцеватую осанку.

— Поехал, приехал... Вышла — батюшки! так я и ошалел: глаза голубые, пеньюар голубой, туфли голубые, брошь-бирюза голубая, — волосы, кажись, и те, с обалдения, мне за голубые показались. Вьются! Ручка, ножка... Господи! Ей тогда уже под тридцать было, — ну... вот Ергаев говорит, что она и посейчас сохранилась, а в те поры...

Жряхов поник думною головою.

— Разумеется, — продолжал он после долгой и сладкой паузы, — родительский дом свой я увидал затем, лишь когда ударил час ехать обратно в Питер, где ждало меня юнкерское училище... Прошли прекрасные дни в Аранхуэце!.. Пла-

кала она... Боже мой! я до сего времени не могу вспомнить без содрогания. Мы сидели на скамье у пруда, и мне казалось, что вот — пруд уже обратился в солено-горький океан и в нем копошатся спруты и плавают акулы... И я сам ревел, — инда у меня распух нос и потрескались губы... И вот вынимает она из кармана эту самую златницу и подает мне ее печальною рукою, и говорит унылым-унылым голосом, как актрисы разговаривают в пятых актах драматических представлений... «Ванечка, друг мой! Сохрани этот мексиканский доллар. Я дарю его только тем, кого люблю больше всего на свете. Береги его, Ванечка, — это большая редкость. Покойник-муж привез мне их из Америки пятьдесят, а вот теперь... у меня их... остается... всего двадцать во-о-о-семь!!!»

— Теперь только шесть, — деловито поправил Ергаев.

— Так ведь времени-то сколько ушло, — огрызнулся Жряхов, — подсчитайте: двадцать два года! «И еще, — говорит, — милый ты мой друг Ванечка, умоляю тебя: не снимай ты с себя этого брелока никогда, никогда, — слышишь? — никогда! И если увидишь на ком-нибудь подобный же брелок, отнесись к тому человеку, как к другу и товарищу, и помоги ему во всем, от тебя зависящем. И он, Ванечка, тоже всегда сделает для тебя, все, что может. Потому, что это — значит, друг мой, лучший друг, такой же друг, как ты, Ванечка. А кто мне друг, тот и друзьям моим друг. Они все мне в том клялись страшною клятвою. И ты, Ванечка, поклянись».

— Извольте, — говорю, — Клавдия Карловна! с особенным удовольствием...

И, действительно, преоригинальную она меня, волк ее заешь, клятву заставила дать. Но сего вам, милостивый государь, знать не надо, ибо вы есте нам, фармазонам, человек посторонний. А г. Ергаеву она и без того должна быть известна.

Г. Ергаев смотрел в сторону и посвистывал, что-то чересчур румяненький.

— Так вот-с. И клялись, и плакали, и целовались. Тем часом подали лошадей. Глазки она осушила, перекрестила меня, я ручку у нее поцеловал, она меня — как по закону следует, materински в лобик, и вдруг исполнилась вдохновения:

— Передай, — говорит, — матери, что я того... исполнила долг свой и возвращаю ей тебя достойным сыном ее, как приняла, — не посрамлен род Жряховых и, покуда я жива, не посрамится вовеки!

Пророчица-с! Дебора! Веледа!! Иоанна д'Арк!!!

Жряхов умолк и склонил голову в умиленном воспоминании.

— И больше вы не видались с Клавдией Карловной? — спросил я.

— Видеться-то виделся, да что-с... — он махнул рукою. — Лет пять спустя, когда мы после покойного папеньки наследство делили. Заехал к ней, — по-прежнему красота писаная; разве что только располнела в излишестве, не для всех приятном. Обрадовалась, угощение, расспросы, Ванечка, ты... Ну, думаю, вспомним старинку: чмок ее в плечо... Что же вы думали бы, государи мои? Даже пополовела вся — как отпрянет, как задрожит, как зарыдает. «Ванечка! — кричит, — ты! ты! ты! мог так меня оскорбить? так унизить? Да за кого же ты меня принимаешь? Ах, Ванечка! Ванечка! Ванечка! Грех тебе, смертный грех!» — «Клавдия Карловна, — говорю...» — никогда никто ее иначе, как Клавдией Карловной не звал, и братья тоже говорили...

— Это верно, — пробурчал Ергаев.

— Клавдия Карловна! — да ведь было же...

А она мне гордо и строго:

— Ванечка, из любви к страждущему человечеству, для спасения гибнущего юношества, чтобы утереть слезы отцов и матерей, я, как могла, исполняла долг свой. Но теперь, когда ты взрослый, офицер, жених... Ах, Ванечка! Ванечка! как ты мог подумать? Сколько у тебя братьев, — и лишь ты

один дерзнул оскорбить меня так жестоко. А я тебя еще больше всех их любила!.. Да-с!..

— А балаболка эта, златница мексиканская, — переменил тон Жряхов, — действительно нас всех ужасно как дружит... Ведь вот, — обратился он к Ергаеву, — вижу я вас в первый раз, а вы мне уже удивительно как милы. Смотрю на вас, и молодость вспоминаю, и смешны вы мне, и любезны... Только денег в долг не просите, а то — прошу быть знакомым, — все, чем могу... в память Клавдии Карловны... помилуйте! за долг почту! Потому — златницею связан с вами... ха-ха-ха! фармазоны мы с вами, сударь мой, даром, что у меня шерсть седая, а у вас молоко на губах не обсохло. Фармазоны-с, одной ложи фармазоны... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!..

* * *

Приглашенный в «ведомство» для разноса, — смущенный и трепетный, — стоял я пред его превосходительством, — о каким, черт его побери, превосходительством! — самим Онисимом Авксентьевичем Жряховым. Он меня пушил, он мне грозил, а я чувствовал себя погибшим.

— Нельзя-с! убрать-с! воспретить-с! прекратить-с! — звучали в ушах моих жестокие слова, и чувствовал я, что на сей раз слово есть и дело, и что я уже убран, воспрещен, прекращен.

— Министр-с...

— Ваше превосходительство!

— Не могу-с... Министр-с...

Я чувствовал, что лечу в пропасть. И в этот миг — как солнечный луч спасения — вдруг блеснули мне на жилете его превосходительства золотые блики. И в памяти встали мои недавние дорожные спутники, голубоглазая Клавдия Карловна... Мексиканский доллар! — вихрем промчалось в голове моей, и, вдохновляемый восторгом отчаяния, я заговорил, толкаемый как бы неземною силою:

— Ваше превосходительство! даю вам слово, что впал в заблуждение в последний раз в моей жизни. Предайте его забвению, ваше превосходительство. Я раскаиваюсь. Предайте забвению.

— Не могу-с!

— Ваше превосходительство!

— Не могу-с!

— Ваше превосходительство! Во имя святой женщины, от которой вы получили сию златницу! Ради Клавдии Карловны!

Генерал нелепо открыл рот и онемел.

— Вы... вы знаете? — слабо пролепетал он.

Я твердо глядел ему в глаза:

— Наслышан-с.

Долго молчал генерал. Потом — мягко этак, меланхолически и со «слабым манием руки»:

— Ну... на этот раз, так и быть... будем считать инцидент исчерпанным. Но впредь... ради Бога, будьте осторожнее. Ради Бога! ну, для меня, наконец! Для меня-а-а!

— Ваше превосходительство!!!

1900

МЕБЛИРОВАННАЯ КАРМЕН

В Москве романических приключений относительно меньше, чем в Петербурге, — по крайней мере, приключений, выплывающих наружу. А уж процент кровавых трагедий, сравнительно с процентом петербургским, совсем ничтожен. Как-то раз — после наделавшей в свое время шума истории Кашевской и Кувшинского — я разговаривал об этой московской добродетели с молодым литератором-петербуржцем, автором ряда бытовых очерков из нравов столичной «ули-

цы». Я указал ему на количественную разницу в проценте романической уголовщины петербургской и московской и спросил его мнение о причинах. Он изложил мне целую серию гипотез и предположений. Из них многие я позабыл, многие показались мне натянутыми и рискованными. Но одно из положений моего знакомого вспоминается мне, как не лишенное оригинальности. Оно гласило: «У вас в Москве меблированных комнат меньше». То есть меньше народа, не имеющего семьи или, по крайней мере, ее подобия. Меньше народа, отбитого от дома и поставленного на холостую ногу в такие годы, когда человек, готовый выйти из семьи отцовской, близок вместе с тем к тому, чтобы формировать семью свою собственную и из сына семьи превратиться в pater familias'а *. Меньше народа, обреченного на безалаберную богему, — неизбежный удел всех этих суррогатов житья своим домом, от шикарных chambres garnies ** до студенческих, во вкусе А.И. Левитова, «комнат снебелью» где-нибудь на Бронных. Затем, в составе петербургской богемы женский элемент гораздо сильнее, чем в составе богемы московской. Девушки и женщины, стремящиеся в столицу на поиски образования и личного трудового заработка, в Москве не засиживаются. Им здесь делать почти нечего. Столица женского образования и труда — Петербург. Меньше женщин — меньше поводов к романам, меньше «кусательных инцидентов», как говаривал один покойный московский поэт-юморист... Известное дело: Viele Weiqer — viele Jacken, viele Jacken — viele Flöhe... *** Жизнь меблированных комнат — жизнь скучная и развивающая поэтому большое стремление к общительности. Шлянье в гости из номера в номер, из одних меблированных комнат в другие — фатальный закон, тяготеющий над приютами интеллигентной цыганщины. Сидите вы бирюком в номере; четыре стены

* Отец семьи (*лат.*).

** Меблированные комнаты (*фр.*).

*** Много женщин — много интриг, много интриг — много скандалов (*нем.*).

его вам опостылели; олеографическую нимфу, улыбающуюся вам со стены, так бы вот взял да и хватил толстой, розовой, блаженно улыбающейся мордой об угол стола; два законных самовара выпиты, третьим баловаться не хочется; дело, какое было, сделано; идти в гости некуда: вы в Москве человек чужой; идти куда-нибудь за развлечением — дорого: вы располагаете всего рублями пятьюдесятью в месяц pour boire, manger et sortir *. Остается одно: выйти в коридор и шагать часа два подряд от комнаты для прислуги до выходной двери, и от выходной двери до комнаты для прислуги. А навстречу вам шагает другая точно такая же тень, скучающая и не имеющая места, куда склонить голову. Вот вы и движетесь некоторое время, подобно двум маятникам, пущенным с двух разных сторон. Когда-нибудь вы столкнетесь, столкнувшись — разговоритесь и познакомитесь, и маятники начнут качаться вместе — по одному направлению. Если ваш новый знакомый такой же новичок в меблированном Монрепо, как и вы сами, — вы, по всей вероятности, через десять минут будете сидеть у него в номере либо он у вас и за бутылкою пива вспоминать Ставропольскую или Казанскую губернию. Если же пред вами меблированный старожил, то вы, маяча по коридору, будете быстро осведомлены, что в первом номере живет помощник присяжного поверенного, начинающий идти в гору; в третьем — репортер Чижиков, который денег не платит, но которого хозяйка боится выгнать, так как он может обличить ее в газетах; в седьмом — отставной штаб-офицер, приехавший в Москву из Томской губернии хлопотать о пенсии, но вот как-то уже третий год ему эта пенсия не выходит, да, говорят, будто и хлопотать-то о ней надо не в Москве, а в Петербурге...

— А остальные номера заняты «нашими». Скажу вам: прекрасные ребята! Отличная компания подобралась! Два студиоза, консерваторка одна — Есиповой нос утереть со-

* На еду, питие, развлечение (*фр.*).

бирается, — рожища, я вам скажу, преестественная, но ничего, добрая девка; поэтик один... мы его Пушкиным из банкирской конторы кличем... Ну еще два-три парня, — так, «ососки», но терпеть можно, смирные к тому же. А в семнадцатом номере полковница, отличная дама, душа-человек; мы все ее страсть как любим. Настоящая этакая, знаете ли, барыня, белой кости и голубой крови, но жеманства этого pruderie — ничуть! Душа нараспашку. И веселая. У ней и бутылочку красненького распить можно с приятностью, и поврать всякое легкомыслие она согласна. Но не думайте чего-нибудь такого, нехорошего. Она, батюшка, не из тех... Говорю вам: барыня самая заправская. Да чего лучше? Пойдемте-ка к ней, она дома.

— Но как же это? Неловко... Вон на мне сорочка русская...

— Глупости! Мы все к ней ходим, как придется, запросто...

В конце концов вы непременно очутитесь у душевной дамы. Прежде всего, вас поражает мысль: «Что значит женщина! Такой же номеришко, что и у меня, а как у нее комфортабельно! И туалетец, и веера по стенам, и ковер на полу, и лампа с абажуром с сушеными цветами, и хорошими духами пахнет». Правда, на пианино стоит тарелка с недоеденной колбасой, из-за шифоньерки с безделушками выглядывает предательски горлышко кахетинской или крымской «четверти», но... à la guerre comme à la guerre *. Сама полковница — дама того возраста, когда женщин о годах уже не спрашивают. Помята летами и жизнью, но нравиться еще очень может: большая, вальяжная, сытая и белая барыня. Взглянуть на нее поутру, — найдутся и морщинки, и сединки, и кожа поблекла, и губы выцвели, и бюст одряблел. Но ввечеру она — если не красивое, то, во всяком случае, еще эффектное создание: корсетом душит себя, не жалея, пудрится, как Жюдик, мажется, как Сара

* На войне, как на войне (*фр.*).

Бернар, — вся гримированная, но разберет это только разве знаток... а уж куда же наивным обитателям «комнат снебелью»! На полковнице надет капот, когда-то несомненно дорогой, теперь же, как и сама хозяйка, поношенный, но еще сохранивший много следов недавнего великолепия. За этот капот пред вами немедленно извиняются: «Я не ждала... вы застали меня в таком «дезабилье»... * А впрочем, у нас ведь попросту, — вот и вы в русской рубашке». Но зайдите к полковнице завтра, послезавтра, по приглашению, без приглашения, — вы все равно застанете ее в том же капоте. Она «не одевается» — за исключением тех дней, когда выезжает в театр или концерт (в гости она никогда не ездит, и у нее никогда гостей из общества не бывает) и удивляет меблированный мирок остатками своего когда-то, должно быть, замечательного туалета. Вы курите, разговариваете. Быстро убеждаетесь, что пред вами не «полуинтеллигентка», а действительно барыня, видевшая в своей жизни и хорошие дни, и хорошее общество, дама с отличными манерами, с красивою речью, кое-что читавшая, с тактом, способная говорить обо всем, но особенно охотно о «чувствах». В свою красивую речь она вставляет время от времени французские фразочки, произносит отлично. Словом, вы в присутствии женщины настолько distinguee **, что вам даже неловко за свой костюм, за свои провинциальные манеры, за свой нечаянный визит. Вы успеваете между делом, — из намеков, отдельных фраз, брошенных мимоходом, — постичь, что барыня замужем, но была несчастна в супружестве и живет врозь с мужем; что тянется дело о разводе, или, наоборот, муж ей развода не дает, потому что — «несчастный любит меня без памяти, но что же мне-то делать? Ведь сердцу приказывать невозможно!» У дамы довольно трудные обстоятель-

* Не вполне одет (*фр.*).
** Изысканно наряжены (*фр.*)

ства, однако... «живем кое-как, боремся с судьбой и, слава Богу, не скучаем...» Среди разговора, которым вы совершенно очарованы, вас смущает только одно обстоятельство: ваш коридорный знакомец, при всем своем уважении к хозяйке, бесцеремонно швыряет окурки папирос прямо на ковер, а она, лениво останавливая его, лишь коротко замечает: «Ах, Петенька, Петенька!.. вы неряха!»

«Вот тебе раз! — думаете вы. — «Петенька»! Как же этот самый Петенька говорил мне, будто живет в номерах и знаком с дамой всего три недели?»

Вваливается возвратившаяся из оперы, с театральной галерки, компания «наших»: тут и мозгляненький Пушкин из банкирской конторы, и вертлявый юрист в пенсне французского золота, и медик третьего семестра Архип Превозносященский. Это мужчина с грудищею тенора di forza *, плечами Ильи Муромца, с резкими чертами энергического лица, голосом как у протодиакона и кулаком — «по покойнику на удар». Превозносященский садится в дальний угол и, в то время как все шумят и болтают, пребывает там тихо и молчаливо. Но вы чувствуете на себе его тяжелый и как бы подозрительный, враждебно испытующий взор, и вам почему-то неловко под этим взором, как на экзамене. Вы видите также, что хозяйка время от времени, украдкой, поглядывает в сторону Превозносященского и слегка качает головою с ласковой укоризной. Вино, пиво. Компания весела, «врут» достаточно много и достаточно откровенно. Хозяйка фамильярна уже не с одним Петенькой, а все у нее стали Сереженьки, Сашеньки — все, кроме Превозносященского, которого она усиленно вежливо зовет Архипом Владимировичем. Зараженный этим калейдоскопическим изменением недавнего бонтона на распущенность меблированной богемы, вы быстро входите в общий тон и начинаете болтать с хозяйкой те же

* Мощный, сильный (*ит.*).

пустяки, что и все болтают. И вдруг вскрикиваете, потому что тяжелая лапа Превозносященского становится вам со всего размаха на мозоль, и сам он вырастает перед вами, как коломенская верста, храня на лице выражение Хозе, вызывающего Эскамильо «à coups de navaja»!!! *

— Что это вы?

— Ах, извините! Сколь вы нежного воспитания! — грубо отвечает богатырь, задирая вас. — Видать, что не из простых свиней!

Хозяйка встает с места и порывисто уходит за перегородку спальной, откуда раздается ее сдержанно-взволнованный зов:

— Архип Владимирович, пожалуйте сюда на минутку.

Воинственный пыл Превозносященского погасает. За перегородкой быстрый, резкий дуэт шепотом; до вас долетают отрывистые повышения то mezzo-soprano, то баса:

— Это невыносимо... Сколько раз просила... Вы не умеете себя держать в обществе... Как это глупо... Вы меня компрометируете.

— Но не могу же я позволить, чтобы всякий...

— Не ваше дело. Я сама знаю, что прилично, что неприлично, я всякого сумею остановить, когда будет надо...

Компания сдержанно улыбается, и кто-нибудь нагибается к вашему уху с советом:

— Вы, батенька, с Матильдой Алексеевной поосторожнее! Превозносященский у нас — ух какой! К нам-то он привык, а вы человек внове...

Превозносященский возвращается красней рака и весь остальной вечер ухаживает за вами с самоотверженной кротостью и усердием, стараясь изо всех сил заслужить прощение ваше и «ее». Пред вами — меблированная Кармен, дрессирующая своего меблированного Хозе.

---

* На поединок, «на новахах» (ножах) (*фр.*).

А потом Хозе повадится ходить к вам каждый день либо с жалобами на тиранство погубительницы своего покоя, либо сидеть по два часа подряд молча, со взором уставленным в одну точку и полным такой мрачной выразительности, что после этого визита вы идете к меблированной Кармен и дружески (ибо уже недели две, как вы ближайшие друзья) рекомендуете:

— Вы бы, Матильда Алексеевна, как-нибудь полегче с Превозносященским! Вот вам Федоров стал конфеты носить... а тот медведь на стену лезет, никак с ним не сообразишь. Ведь знаете, какой он. Долго ли с ним нажить хлопот?

Кармен клянется вам, что она ни в чем не виновата, что Архип напрасно ревнует и делает историю, как всегда, из пустяков, — и... в тот же вечер уедет с Федоровым кататься за город!.. А ночью, по ее возвращении, вы не должны слишком удивляться, если услышите отчаянный стук в дверь вашего номера и отворите бедной Кармен, которая, растерзанная, в изорванном белье, окровавленная, с помутившимися от ужаса глазами и белым как полотно лицом, прохрипит вам:

— Он хотел меня зарезать! — и упадет без чувств на вашем пороге.

Случай с трагедией, конечно, везде и всюду дело исключительное. Но эти Матильды Алексеевны, эти меблированные Кармен, с их переменчивыми легкими романчиками — явление частое, общее и замечательно точно и одинаково повторное. Мне лично случалось знать их штук до десяти. И, право, менялись лишь имена, да цвет волос, да покрой капотов. А затем всегда одна и та же история.

Непременный возраст между тридцатью пятью и сорока пятью годами (по словам Кармен, — тоже всенепременно, — двадцать шесть); непременно — либо имя русское, а отчество иностранное, либо имя иностранное, а отчество русское (одну знал даже Авдотью Францевну!); непременная смесь прошлой

бонтонности с настоящей распущенностью; непременный неоконченный развод с супругом; непременная, — частью действительная, частью притворная, ради интересности, — нервность и истеричность. Все эти дамочки — дети полурусских семей: с примесью остзейской, французской или польской крови. Родители когда-то были богаты, потом крахнули. Дамочек воспитывали широко и богато, а потом, — силою ли необходимости, случаем ли, — они попали в руки глупых, скучных и неподходящих захолустных мужей, ко всему этому — обыкновенно — хотя достаточных, но не слишком богатых. Словом, в супружестве — ни денег, ни красы, ни радости: одни лишь «сцены», вялый сон, недомогающее прозябание в бездельном и безденежном «медвежьем углу». А барыньке «жить хочется», она с темпераментом, с нервами, «с головкой». Да еще в головку положено несколько идеек из умных романов. В десятке барынь этого сорта я знал двух-трех таких, что по части тонкой психологии амурных чувств могли бы заткнуть за пояс хоть самого Бурже. И вот загорается у барыньки идея — «оставить этот скучный двор, где жалкое существованье», и помчаться в столицу на поиски новой жизни, под псевдонимом нового и «своего дела». Муж высылает ежемесячно деньги... жить кое-как можно, — тем более, что окружающая барыню в столице меблированная среда неприхотлива и невзыскательна. Вокруг барыньки толпится молодежь, очень юная, очень веселая, — беспритязательно влюбленная и платонически поклоняющаяся. Молодежь на три четверти провинциальная: дети медвежьих углов, нагрянувшие в столицу — с аттестатом зрелости в одном кармане и четвертным билетом в другом — из захолустных гимназий и семинарий. Они и женщин-то не видывали, кроме наивно-тупенькой кузины Машеньки и еще более наивно-грубой горничной Гапки или Дуняшки. Холеная, «интеллигентная», ловкая, хорошо одетая Матильда Алексеевна поражает их, как существо неведомого мира; они все — у ее ног. Ах ка-

кая женщина! Ах какой человек! И лишь немногие смельчаки-материалисты дерзают мечтать:

— Ах если бы она увенчала мой пламень!

Значит, «флёрта» — сколько хочешь, обязанностей никаких. Барыньке весело, она втягивается в флёртовую музыку и через некоторое время делается ее специалисткой — «меблированной Кармен». Попадаются между ними и «червонные дамы», — Ребекки Шарп, ловкие эксплуататорши вертящейся вокруг них молодежи, — но это сравнительно редкость. Обыкновенно, это — женщины очень легкомысленные, поверхностные, но добрейшей души; они скорей сами готовы отдать свое, чем взять чужое. До тех лишь пор, пока флёрт остается только флёртом, длится истинный расцвет меблированной Кармен. Она — своего рода мотылек, перелетающий с цветка на цветок, ни к одному особенно крепко не привязывающийся, расстающийся легко, дружески, и оставляющий по себе такое же дружеское воспоминание в участнике мимолетного увлечения. И вдруг в такие-то розовые отношения врывается мрачный и буйный Хозе-Превозносященский. Кармен «закрутила» его между прочим, так себе, из любопытства, — как это отнесется к ней «непочатая натура»? А непочатая натура взяла да и вспыхнула самою настоящею страстью — беспредельною и самоотверженною, но и требующею к себе уважения; взяла да и привязалась к меблированной Кармен, как может привязаться молодая, впервые охваченная любовью сила, попавшая в мягкую власть, в бархатные лапки к героине бальзаковского возраста, — отцветающей, но опытной и интересной, и еще прекрасной прелестью теплого, ясного «бабьего лета». Страсть заразительна. Настроение меблированного Хозе охватывает и меблированную Кармен. Она сознает себя героинею большого, крупного, сильного чувства, и ей нравится сознание, возвышающее ее женское достоинство. Форменное объяснение в любви. Связь. Но Превозносященский — Превозносященским, а в свою флёртовую бойкую богему барынька слишком сильно втянулась,

чтобы от нее отказаться. Она любит, но в то же время флёртирует, флёртирует и флёртирует. А Хозе, в своей ревнивой безраздельной любви, рычит, рычит и рычит. Рычит — однако терпит. Но всякому терпению бывает конец. И в один прекрасный день Хозе убеждается, что его Кармен устала от сильных страстей, что флёрт затягивает ее сильнее обыкновенного, и что, увы, кажется, на горизонте уже обрисовалась тень его счастливого преемника, меблированного тореадора Эскамильо.

— Когда же этому конец будет? — решается он на роковое объяснение.

Кармен действительно вся эта история до смерти наскучила, и, набравшись храбрости, она отвечает:

— Никогда! «Я родилась свободной, — свободной и умру!»

— А, так-то ты! Держись же, проклятая!..

И — через десять-двадцать минут — дворник дома, где помещаются меблированные комнаты, влетает в участок с испуганным лицом:

— Ваше высокородие! Пожалуйте к нам, у нас в номерах неблагополучно!..

1894

ОСТРОЖНАЯ СКАЗКА

(Записана в Минусинске от крестьянина из ссыльно-поселенцев, бывшего сахалинца)

В городе Симбирском, вскорости после воли, жил генерал с генеральшею, а у них дочь, барышня пребольшой красоты, так что все на нее изумлялись. Были они господа небогатые и прислуги многой не держали, а нанимали только стряпку да парня за кучера и за лакея. Генерал был скупой, жалованье платил малое, а работу спрашивал большую. По-

этому люди не имели охоты идти ему служить и переменил он прислуги видимо-невидимо. Вот-с, и нанимается к нему однажды малый из безвестных людей: давно уже он околачивался в Симбирском по разным занятиям, но никто его на месте долго держать не хотел, потому что заявил он себя как пьяница и бабий потаскун. И как этот самый малый стал теперича к генералу в должность, сейчас смутил его нечистый влюбиться в барышню, в генеральскую дочь. Служит месяц, другой, — об одном только и думает: как бы ее достать? Генерал с генеральшею не могут им нахвалиться.

— Вот, — говорят, — ославили парня пьяницею, а он тверезее тверезых — до ужасти старательный.

А невдомек, что затем парень и пить бросил: худо про дочь на уме держит.

Подошел большой праздник, зимний Никола. Генерал с генеральшею ушли ко всенощной, а дочь осталась дома, потому как чувствовала в себе лихорадочное нездоровье. Парень смекает: «Не зевай: теперя наше время!»

Сейчас идет на кухню, поставил стряпке бутылку вина на березовой почке, так что старуха выпила, свалилась под стол и осталась без всякой памяти. После того парень затворил во всем доме ставни, продел болты и замычки, берет баринов-генералов пистолет и марш к барышне в спальню.

— Так, мол, и так! Влюбленный в тебя сверх возможности. И — либо ты сейчас во всем мне покоришься, либо я на сем месте застрелю тебя из пистолета и подожгу фатеру, а сам убегу, и никто на меня ничего не докажет, потому что мы с тобою во всем доме одни, а стряпка лежит пьяная.

Конечно, барышня испугалась и начала ужасно просить и плакать, чтобы он отстал. Но парень не принял ее резонов, и, желая быть жива, должна была она согласиться на полную его любовь.

С того случая начали они видаться потайну, и барышня страшно как его боялась, чтобы не раскричал и не похвастал, какая она есть. Так что он, себя понимая, стал над нею

зазнаваться и шутил ей всякие насмешки; если она не умела ему угодить, то бил побоями. Так оно продолжалось три года, в которые барышня под великим секретом родила трех дочерей. И, как родит, сейчас же парень уносил дитя за город на мусорные пустыри и свертывал ему голову, а барышне говорил, будто отдал к своей тетке питать молоком на рожке. Барышня же хотя верила, но очень тосковала и все надеялась как бы повидать детей. Так в том и убедил ее парень, что все три девочки живы, и будто старшую тетка крестила Машенькою, среднюю Дашенькою, а меньшенькую Сашенькою.

На четвертый год познакомился парень с молодою вдовою, дворничихою, богатою женщиною; задумал жениться; сладился. От места отказался, а барышне сказал:

— Твое, сударыня, счастье: теперича ты мне не нужна; отпущаю тебя на всю твою полную свободу; может быть, ты какому-нибудь дураку еще и понадобишься.

Барышня бы и рада, только спрашивает:

— А где я найду своих детей?

А он, негодяй, захохотал, как филин:

— В этом, любезный друг, я тебе не помощник. Черт ли их теперь найдет? Ихние косточки давно собаки растаскали.

Так он этим словом барышню убил, что она сделалась вся не в себе и как безумная дурочка. Приходит она к родителю-генералу в кабинет, стала на колени и призналася во всем, насколько виноватая:

— Извольте судить меня судом или казнить из собственных рук, потому что теперь моя жизнь должна быть самая несносная.

Генерал ужаснулся и встревожился, но когда пригляделся, что у барышни заплетающий язык и глаза враскос бзырят, не дал ей веры, но позвал свою генеральшу и приказывает:

— Посади дочь в чулан и смотри за нею в оба, потому что у нее начинается бешеная горячка и от горячки она несет скверный вздор.

Генеральша затворила барышню в чулане, а генерал зовет к себе парня, ставит с глаза на глаз:

— Слушай, прохвост несчастный! Вот-де и вот-де как обличает тебя моя дочь.

Тот, малый не глупый, во всем отрекся:

— Служил честь честью, ни в чем вашему превосходительству не виновен, а на такое — и в мыслях не имел посягнуть. Не иначе, что барышня стали повредившись в уме и сами на себя наговаривают небывалое. А ежели они, сохрани Бог, в самом деле насчет себя с кем ошиблись, то ихнему греху моей причинности нет. Я, по низкости своего звания, и очей-то на барышню поднять не дерзал — не то чтобы этакое смелое.

Тогда генерал приказал генеральше:

— Возьми сто рублей и поезжай с дочерью на кислые воды. Отдай ее в больницу к самому лучшему сумасшедшему доктору, который безумных лечит, чтобы он всю ее дурь выгнал кислою водою. А как выгонит, возвращайтесь скорыми ногами: я припасу жениха, и выдадим ее замуж, потому что глупый бред ее не иначе как от молодой крови.

Повезла генеральша дочь на кислые воды, отдала в больницу к сумасшедшему доктору. Но барышня в больнице трое суток прожила, а на четвертую ночь прицепила к отдушнику шнурок и петлею задавилась. С тем ее и похоронили, что лишила себя жизни в напрасной помешанности ума. А грех девический, если и был какой, то на мертвой его не искать: рассудит Бог правотою Своею, человекам судить поздно.

Тем временем парень-погубитель зажил с женою хорошо и богато. Минул год, — принесла ему жена дочку. Сам он в отлучке был, оставались в дому одни бабы. Вот в первых сумеречках лежит роженица за пологом, на постели, дремлет. Спать не спит, а и не во весь глаз смотрит. И — не то спится, не то в самом деле — сдается ей, будто половицы скрип-скрип, словно кто ходит тяжелою ногою. Глядь: подле

зыбки стоит женщина, молодая, из себя хорошая и на дитя ласковым оком смотрит. Очень удивилась баба:

— Что тебе, голубушка, надо? Чьих будешь? Откуда пожаловала?

А женщина ей не отвечает, а сама спрашивает:

— Как наречешь имя девочке?

Дворничиха говорит:

— Муж наказывал: коли мальчика родишь, назови в меня, Павлом; коли девку, — Зинаидою.

Женщина засмеялась и говорит:

— Какая еще Зинаида? Это моя дочка, Машенька.

Перекрестила дитя в зыбке, — и не стало ее видать. А на дворничиху напал страх, и от страха она проснулась и видит, что все пригрезилось во сне. Ничего она тогда о том сне никому не сказала, и сейчас же он у нее из головы вон.

Ну а назавтра девочку сказано крестить, однако она к вечеру — пищать, пищать, да в том и отдала Богу душу, ангелом на небеси больше стало.

Потужили, поплакали. Но — люди молодые, за детьми дело не станет. Пришло дворничихе рожать вдругорядь. Схватило ее ночью. Час глухой, поздний...

— Ох, — говорит мужу, — побеги за бабушкою. Приспело мòе время.

Муж — шапку в охапку, на улицу бегом. Покуда до бабушки добег, покуда достучался, — вернулся домой, ан жена еле жива, в обмороке, а в ногах ребенок новороженный... опять девочка, да слабая-преслабая, сразу видать: не жилица на свете.

Повитуха говорит:

— Надо окрестить поскорее.

Подняла дитя на руки, а оно — носиком хлип! — да уж и неживое...

Очнулась дворничиха. Спрашивает про дочку. Показывают: мертвенькая!

— Так, — говорит, — я и думала...

И опять стала без чувств, и потом сделалась с нею жестокая болезнь, после которой она встала с постели только на третий месяц. И рассказала она тогда соседке, что, как побежал муж за бабушкою, боли ее отпустили, и забылась она дремою. И чуть завела глаза опять, стоит пред нею та самая ласковая женщина и говорит:

— Зачем тебе повитуха? Не бойся! Родишь и без повитухи, — я помогу.

А тут ее разбудили крепкие боли, и уж как она страдала и как разродилась, ничего не помнит, потому что охватило обмороком. Только все ей казалось, что женщина эта возле нее: ходит по комнате, носит дитя на руках, тетешкает и приговаривает:

— Вот и Дашенька пришла! Вот я и с Дашенькой!

Соседке дворничиха рассказала, а мужу не осмелилась, потому что очень боялась его, и когда он сам не спрашивал, не могла с ним заговорить.

В третий раз сделалась дворничиха тяжелою, опять родила девочку, и опять дитя умерло в скорых часах, так что не успели окрестить. Заговорили о дворнике с дворничихою нехорошо в околотке, что, верно, надо быть, лежит на них смертный грех: всем видимо дело, как Бог наказывает — неведомо чем дети мрут, — даже не допускает принять крещение. Подслушал парень мирскую молву, вернулся домой туча-тучею. Поставил хозяйку к допросу:

— Слыхала, что народ бает?

Она говорит:

— Я, Паша, тому неповинна. Может быть, ты за собою какую вину знаешь? Так повинись, — будем вместе отмаливать.

Он ее обругал:

— Дура! Какая может быть на мне вина? Жизнь моя у всех на видимости. Я в церкви бываю, на исповедь хожу... нешто виноватому допустимо? Не обо мне речь, — про тебя соседи невесть что гуторят...

— Что же, Павел Нефедыч?

— Да будто ты всех троих наших детей ведьме скормила.

Осерчала баба; осерчав, осмелилась, да все и выложила, — какие она, всякий раз, что ей рожать, сны видит.

Выслушал он, взялся за голову, говорит:

— Как же ты могла мне не сказать? Ты не знаешь... Это страшное!

Баба видит, что он с лица белый и губы дрожат, — отвечает:

— Я не смела.

А он все за голову держится.

— Какая она?

Начала баба рассказывать, а он у стола, на лавке, под образами сидит, качается из стороны в сторону, бурчит:

— Так... ты понять не можешь, а я понять могу... Это, что ты говоришь, очень страшное.

После встал, головою мотнул, на бабу свою обернулся.

— Такое это дело, жена, что ежели может оно быть взаправду, то мне после того нельзя и на свете жить.

И, между прочим, снимает картуз с гвоздя.

— Куда ты, Павел Нефедыч?!

— А на базар — в лабаз, овсом сторговаться...

И ушел на улицу. А бабу схватило одоление, незнамый ужас. Стала она на пороге, смотрит мужу вслед, а он идет-идет, оглянется, картуз поправит и еще шибче шагу дает. И сдается ей, точно это он не сам идет, а силою его, как ветром, гонит... И что дальше, то у нее горше, — сама не знает с чего, — душа мрет, так вот тоска под сердце и подкатывает.

Повернул Павел за угол. Баба стоит, глаза лупит, — думает: «Вот те и жисть наша стала! Это — удавиться надо: такая жисть!»

И рассказывала она потом, — вдруг понравилась ей эта затея в мыслях:

— Удавлюсь!

Запала в мозги и вытряхнуть не дается.

— Удавлюсь! Сама себе госпожа, никто мне не приказчик...

Испугалась, пошла по двору, замесила свиньям корму, собрала кокошные яйца... Нет! — словно кто невидимкою рядом ходит и в уши шепчет:

— Возьми вожжи, да в хлеву, на стропиле...

Бродит баба со двора в избу, из избы во двор; прямо перед собою в землю глядит, в сторону глазом коситься робеет. Чудится ей: не своя она сейчас, кругом — наваждение. Стены-то тесные, углы-то темные...

— Удавлюсь!

Спасибо, соседка завернула. Ну затараторили, разговорили дурные мысли. Дворничиха с радости вцепилась в бабу и домой пустить не хочет.

— Сиди, — говорит, — со мною. А то я одна, без хозяина, что-то больно ноне забоялась. Уйдешь, — ну, право, ну удавлюсь.

Баба к бабе, что пчела к пчеле. Одна соседка, другая, третья — набежал к дворничихе целый бабий майдан. Застрекотали! Сплетки да пересуды: оживела дворничиха, позабыла страхи, раздула подружкам самовар, поставила на столе заедков — по рюмке сладкой водки поднесла, давиться из мыслей выкинула, врет — стрекочет — заливается пуще всех.

А в окошко вдруг — стук-стук-стук-стук-стук-стук...

— Тетенька! — кричат, — выдь-ка поскорее, — побезём: хозяин твой себе горло перерезал... На бульваре, в кустах, под оврагом лежит...

1902

ЕЛЕНА ОКРУТОВА

Эту странную историю рассказал мне Евгений Романович Ринк, бывший товарищ председателя московского окружного суда.

* * *

Вечерело; верхушки сосен трепетали в розовом свете умирающего дня; лесной проселок, сырой и глинистый, тянулся широкой оранжевой полосой между густым и приземистым кустарником; темно-зеленые краски орешника становились все бархатнее и бархатнее по мере того, как бледнели румяные стволы соснового строевика.

На окопе дороги стоял человек. Был он высок, костляв и широкоплеч, а пиджак ему достался чуть не с карлика; шов лопнул вдоль всей спины, рукава были на четверть короче, чем надо, и огромные кисти коричневых рук казались оттого еще огромнее и страшнее. На мускулистых ногах болтались широкие парусинные штаны; ноги, вдетые босиком в старые резиновые калоши, были видны по щиколку. Голову прикрывал картуз — когда-то бархатный.

Трудно было бы решить, к какому именно званию принадлежал этот бродяга, прежде чем стал бродягою. Верно одно: не мужик, да и не барин. Человек, который с младости надел немецкое платье и не оставляет его даже в лохмотьях. Промотавшийся мещанинишка — цеховой или фабричный, с волчьим паспортом; горемыка, прямо из острога попавший — пока светло, на поденщину Хитрова рынка, а как стемнеет, на ночевку, в рощу подмосковного дачного местечка. Благо лето теплое!.. Народ зовет таких людей «стрюцкими». Он не слишком вреден и опасен, когда есть работа и кусок хлеба, а когда нет, становится нищим, карманником, вором, а случится — и убийцей.

Не хорошее было лицо у бродяги, а сильное: длинные, резкие черты сухого лица дышали если не привычкою, то страстью повелевать; серо-голубые глаза глядели дерзко и презрительно; рыжеватые усы росли плохо, — как пух, а борода начиналась только под подбородком, так что губы, тонкие и сухие, были на виду. Злое и порочное создание сказывалось в этом человеке.

Бродяга был в духе. Сегодня он ел мясо и пил водку: желудок его был полон; в кармане звякали три пятака на завтрашний день; он курил папироску и знал, что еще две есть в запасе; ночь обещала быть сухою и теплою...

На дороге послышался молодой женский голос, напевающий мелодию веселого романса. Бродяга насторожил уши, подался назад, и кусты орешника проглотили его. Мимо шла, возвращаясь с вечерней прогулки, барышня-дачница. Это была высокая, статная девушка, с веселыми карими глазами на румяном лице; она шла, слегка раскачиваясь на ходу, и вместе с ее телом раскачивался ярким маятником бриллиантовый крестик на полной груди; талию обвивал серебряный кавказский пояс.

Дачница свернула с проселка на лесную тропинку. Из орешника высунулась голова с сверкающими глазами, жадно сосредоточенными — вслед девушке — на светлом обруче пояса... Бродяга вышел на дорогу и огляделся: на проселке не было ни души; он знал, что не будет ни души и на болотистой тропинке, которою пошла барышня, чтобы сократить путь к дачному поселку... Бродяга колебался, нерешительно переминаясь на месте... Белое платье и серебряный обруч еще мелькали сквозь зелень, песенка еще слышалась... Двуногий волк бросился по тропинке...

* * *

Сергей Константинович Окрутов и Марья Тихоновна Бекасова сидели впотьмах на ступеньках дачной террасы.

— Значит, Марья Тихоновна, с вашей стороны это дело решенное, и вы беретесь хлопотать за меня перед Еленой Михайловной? — говорил Окрутов, сильно раздувая красную звездочку своей сигары.

— Душою бы рада, Сергей Константинович, кабы это сладилось. Лучше вас зятя мне и не надо. Но вы сами знаете мою Лелю: своевольница она; я ей приказывать не в си-

лах. Пойдет за вас — слава Богу, не пойдет — не взыщите с меня, старухи!

— А как вы думаете, Марья Тихоновна: пойдет или не пойдет?

— Уж если откровенно говорить, батюшка, так скорее, что не пойдет. Стареньки вы для нее, а ей ведь девятнадцатый годок... Молодой о молодом и думает.

— Из меня, Марья Тихоновна, хороший муж выйдет: я Елену Михайловну ни в чем не стесню, во всем им дам полную волю...

— Дашь — хорошо, а не дашь — так она, батюшка, и сама возьмет. Характерная она у меня. Все по-своему, сама по себе... Вот и сейчас: сколько раз было говорено, чтобы не гулять в роще, на ночь глядя, — нет, убежала коза и пропадает... А я — мать! Я с вами говорю, а у меня сердце ноет: и простудилась-то она, и заблудилась-то она, и злые-то люди ее обидели...

— Вот и Елена Михайловна! — перебил Окрутов, заметив у калитки палисадника белую фигуру.

— Бога ты не боишься, Леля! — начала было причитать Бекасова, но осеклась, увидев, что дочь приближается к террасе какой-то странной, шатающейся походкой. — Да что с тобой? — вскрикнула она, хватая Лелю за руки и в полуобмороке втаскивая ее в дачу, к свету. — На тебе лица нет.

— Ох, дайте мне воды... вина... чего-нибудь, — прохрипела Леля сквозь стиснутые зубы, — мочи нет... устала!..

— Господи! На что ты похожа? Вся исцарапана, платье изорвано, в воде, в грязи...

— Это я сквозь кусты по болоту лезла напролом... Хотела пройти короткой тропой, да сбилась с нее, заблудилась, — вот и...

Голова утомленной девушки откинулась на спинку кресла; по белому как снег лицу побежали синие тени... Она была без чувств. Насилу ее оживили.

— Крестик-то свой бриллиантовый Елена Михайловна потеряли... — заметил с сожалением Окрутов. — Хорошенькая была вещица.

— Ну, батюшка, что крестик! — огрызнулась Марья Тихоновна, — хорошо, что голову-то еще не потеряла. Говорила я, что гулянки эти не доведут до добра...

Леля, как только очнулась, немедленно удалилась в свою комнату и легла в постель. Целую ночь Марье Тихоновне чудилось, что дочь не то стонет, не то глухо рыдает. Она вставала с постели, стучалась в спальню Лели, но отклика не было...

«Надо быть, во сне бредит, — решила старуха. — Этакая безумная! Можно же себя так уходить!..»

На другой день Леля отдохнула и казалась спокойною. Мать передала ей предложение Окрутова. К удивленно Марьи Тихоновны, Леля немедленно и даже как бы с радостью согласилась. Свадьбу сыграли два месяца спустя.

* * *

В мартыновском окружном суде слушалось сенсационное дело о сбыте фальшивой монеты. Зал был полон публикой: и дело интересовало, и любопытно было послушать нового товарища прокурора Николая Сергеевича Окрутова, только что назначенного из Москвы в Мартынов; это был первый серьезный дебют молодого обвинителя.

На скамье подсудимых, как почти всегда бывает в таких делах, сидели, по большей части, евреи: растерянная кучка людей, сознающих, что они пропали, и решившихся судорожно цепляться за свободу, которая ускользала от них, как гладкий вьюн. Но коновод дела — Аверьян Красноносов — был русский. Им сильно интересовались, потому что взят он был после отчаянной защиты, с оружием в руках. Его допросы замучили судебного следователя; о прошлом Аверьяна Красноносова не удавалось ничего узнать, а он, полагая, что ему

все равно каторги не миновать, прибег к довольно обычному средству: всклепывать на себя все новые и новые преступления. При проверке показаний некоторые оказались ложными, некоторые как будто подтверждались, но смутно и запутанно. Очевидно, мошенник так хорошо прятал концы в воду, что, кроме его самого, никому и не найти. А он, сделав первые признания, затем умолкал и чуть не в глаза смеялся над измаянным прокурорским надзором. Наконец, тюрьма ли ему надоела, по другой ли причине, только он перестал играть в прятки, отрекся от всех своих прежних поклепов на себя, а дело о фальшивой монете, наоборот, рассказал ясно и подробно.

Слухов об Аверьяне Красноносове носилось в Мартынове столько, что мартыновское общество было очень разочаровано, когда вместо романтического разбойника увидало на скамье подсудимых сгорбленного старика, с головою голою, как яйцо, с лицом — под цвет арестантского халата, с глазами мертвенными и потухшими. Пока шло следствие, Аверьян Красноносов был точно сонный. Обращались к нему с вопросом — он отвечал вяло и односложно. «Ведь все равно засудите, так что еще канитель-то тянуть?» — говорила без слов вся его внешность. Обвинителя он своей апатией рассердил, своего защитника удручил, присяжных предубедил против себя, а на публику произвел самое отталкивающее впечатление...

Приступили к прениям. Николай Сергеевич Окрутов начал речь, ловко представляясь, что он не дебютант, а обстрелянная птица. Волнение новичка перешло в нем в одушевление; у молодого человека был, бесспорно, настоящий ораторский талант. Слушали внимательно; временами в зале чувствовался одобрительный шорох. Молодой обвинитель сосредоточил свою речь главным образом на виновности Аверьяна Красноносова. К смягчению вины его соучастников он находил еще несколько возможностей: евреи, «угне-

тенная нация», недостаток заработка в черте оседлости и т.п. Но Аверьяна он казнил беспощадно, «резал» его, как на судейском жаргоне с трепетом думал защитник Аверьяна, сознавая, что после такой речи ему не то что возражать, а и сказать будет нечего. Аверьян — в начале обвинительной речи такой же сонный, как во время следствия, — наконец очнулся и во все глаза смотрел на пылкого товарища прокурора. Последнего, однако, внимание это не радовало. Ему казалось, что в оловянных глазах подсудимого нет ни страха, ни уважения к нему, представителю карающей власти, а теплится глубокий огонек, насмешливый и подмигивающий: «Говорун ты хороший, что тебя корить! а жидковато, брат, ей-Богу, жидковато... и сам-то ты какой-то жидкий да сухопарый», — говорил Окрутову этот взгляд, невозмутимо измеряя его действительно тщедушную, хотя и длинную, фигуру и бледное лицо под преждевременной лысиной, обрамленное рыжеватыми бакенбардами.

Когда дело дошло до «угнетенной нации» и «черты оседлости», внимание Аверьяна Красноносова опять угасло. На буром лице его появилось выражение брезгливой скуки; он громко зевнул и бесцеремонно отвернулся к публике, бесцельно разглядывая беспорядочную кучу незнакомых ему глаз, носов, бород и дамских шляп.

И вдруг — глаза его расширились и засверкали, точно увидав что-то знакомое и приятное; он зашевелился на месте; он забылся до того, что привстал со скамьи и, казалось, — не дерни его конвойный сзади за халат, — он бросился бы в публику... Но, и успокоившись, он уже не отрывал взгляда от лица, привлекшего его внимание.

То была русая девушка в светлом платье, свеженькая и хорошенькая, в первом расцвете молодости. Рядом с нею сидела пожилая, но еще хорошо сохранившаяся женщина, судя по поразительному сходству — ее мать. Красноносов перевел глаза с девушки на ее соседку, — и мысли его, смущен-

ные не то далеким воспоминанием, не то странным сходством, как будто прояснились... Он улыбнулся и стал пристально смотреть уже не на девушку, а на пожилую. И та, почувствовав на себе это упорное приглядыванье, невольно должна была отвести глаза, до тех пор со страстным вниманием устремленные на товарища прокурора, к старому преступнику.

Они смотрели друг на друга несколько секунд... Красноносов видел, как в красивых карих глазах пожилой дамы выражение любопытства сменилось недоумением, потом беспокойством... потом... она страшно побледнела, а глаза ее исполнились такого ужаса и отчаяния, что Аверьянов не выдержал поединка и потупился.

Обвинительная речь кончилась; объявлен был перерыв. Окрутов прошел в публику; ему жали руки, поздравляли с успехом; карьера его, — он это чувствовал, — была сделана. Он подошел к пожилой даме и девушке, обратившим на себя внимание Аверьяна Красноносова.

— Ну, мама? Оля? довольны вы мною? — весело спросил он, весь сияя счастьем первого успеха. — Хорошо говорил?

— Да... очень, — пробормотала мать, глядя на него както странно, словно на человека, которого видит в первый раз.

Поговорив с сестрою и матерью, Окрутов направился к кучке своих сослуживцев, но мать его окликнула:

— Коля... постой... Скажи: этого Красноносова засудят?

— Разумеется, мама. Я его взял мертвой хваткой. У меня не вывернется.

— А, если засудят, что ему будет?

— Каторга...

По бледному лицу Окрутовой пробежала судорога, глаза ее потускли и помертвели...

— Как ты волнуешься, мама, — заметил Окрутов, — говорю тебе: не бойся за меня, дело выиграно.

Окрутова сделала над собой усилие, слегка кивнула головой, — «я, мол, спокойна» — и отпустила сына.

Защитники обвиняемых говорили много и долго. Зато присяжные заседатели не совещались и часа. Евреям, почти всем, дано было снисхождение; двоих оправдали вовсе. Зато относительно Аверьяна Красноносова, — как пошли звонить: «да, виноват!» — так и прозвонили по всем тринадцати вопросам. А когда раздался последний ответ, из публики послышался слабый крик, и Окрутову замертво вынесли из залы.

— Ишь, как обрадовалась первому сыновнему успеху! — заметил судебный пристав соседу репортеру.

— Успех-то скверный, — желчно возразил тот, — на крови человеческой построен.

— Ну, батюшка, — как-никак, а все приятно: мать ведь. Да еще мать-то какая: Елена Михайловна — вся в детях... святая!

Красноносов выслушал вердикт совершенно хладнокровно, бровью не мигнул. Когда Окрутова вскрикнула и упала, он покосился на публику и, увидав, с кем именно дурно, был заметно озадачен. Во всяком случае, происшествие это заняло его чуть ли даже не более, чем вердикт, решавший судьбу его жизни.

— Какой закоренелый злодей! — вздыхали уголовные дамы.

Аверьяна Красноносова увели из залы заседания. Шагая между конвойными по длинному коридору окружного суда, он спросил:

— Братцы-служивые! что я вас спрошу — скажите — не откажите: эта барыня, что сейчас сомлела, кто будет такая?

— Мать прокуророва, сказывают, — ответил солдат.

— Мать... про-ку-ро-ро-ва?..

Черты Красноносова исказились гримасою свирепого изумления, и — вдруг — страшный старческий хохот огласил коридор.

— Ха-ха-ха! — истерически выкрикивал Красноносов, — мать!.. мать... мать...

— Тише ты, оглашенный! молчи! не дозволяется! — закричал на него всполошившийся конвойный.

Преступник, получив чувствительный толчок рукояткой сабли, умолк, но судороги продолжали коверкать его лицо, и дикий блеск глаз был полон смеха, каким разве только дьяволы смеются на дне ада — смеха отчаяния...

«Уж не рехнулся ли? — думали конвойные. — С этакими тихими случается. На суде смирен-смирен, а как каторгу объявят, и ум — вон...»

Николай Сергеевич Окрутов обедал — по случаю счастливого дебюта — в ресторане, с товарищами. Вернулся домой поздно и навеселе. Сестра встретила его с встревоженным лицом.

— Коля, голубчик, я тебя насилу дождалась. — Взгляни на маму: не послать ли за доктором? по-моему, она очень нехороша...

Испуганный Окрутов прошел в спальню матери, и не успел он отворить дверь, как Елена Михайловна повалилась ему в ноги:

— Коля! Коля! — вопила она, хватаясь за его колени, — вороти!.. голубчик, вороти!..

— Что такое? мама, что с вами? — волновался молодой человек, тщетно стараясь поднять мать с ковра.

— Вороти!.. Я не знаю, как это у вас называется... апелляция... кассация... все равно! только вороти! вороти! вороти!

— Бог с вами, мама! какая апелляция? какая кассация? кого воротить?

— Этого... как его... А...верь...я...на...

— Аверьяна Красноносова?! — изумился молодой обвинитель. — С чего вы о нем вспомнили?

— Да! да!.. ты не можешь сослать его в каторгу, — слышишь ли?.. я виновата во всем... *ты* не можешь...

— Да почему же, почему? — терял голову Окрутов, начиная приходить к убеждению, что мать его сошла с ума.

И в ушах его прозвучал страшным криком на весь дом невероятный ответ:

— Потому что он — твой отец!

1894

НЕЛЛИ РАИНЦЕВА

Когда Нелли Раинцеву, обмытую и одетую в белое платье, положили на стол в огромном зале, из простенков которого на эту белую, неподвижную невесту смерти равнодушно смотрели такие же белые и неподвижные мраморные боги, — Таня, личная горничная умершей барышни, хорошенькая, сама похожая на барышню девушка, с заплаканными глазками, отправилась убирать комнату покойницы.

Убирала она недолго, а вышла из комнаты бледная, с сухими глазами, полными испуга и сердитого удивления. Она прошла в свою каморку, затворила дверь на крючок, вынула из кармана несколько мелко исписанных листков голубой бумаги и, усевшись на сундук, принялась читать.

* * *

«Я, Елена Раинцева, пишу эти признания, намереваясь сделать с собою что-нибудь такое, отчего бы я умерла. Пусть знают люди, отчего я умерла... если только узнают. Потому что передать эти листки лично или сказать, где их по смерти моей искать, родителям ли моим, друзьям ли, я, пока дышу, не в силах: не достает духа... и я их, по мере того как пишу, прячу под матрац. Найдет эти листки, вероятно, моя горничная Таня. Она, конечно, их прочтет, так как она вообще очень любопытная, а потом между мною и ею есть тайна, и это

заставит ее испугаться, не выдаю ли я ее в своих листках. Таня! советую тебе приберечь находку до того дня, когда тебя выгонят от нас. А этого — по смерти моей, когда некому будет за тебя заступиться, — ждать недолго, потому что ты дерзкая, бессовестная и распутная. Мама будет кататься в истериках и обмороках, папа обгрызет себе все усы, а «весь Петербург» будет хохотать. Это будет хорошая отместка. Насолишь господам Раинцевым! До папá и мамá мне нет никакого дела: они меня не любили и не берегли, а если бы любили и берегли, не сделалось бы того, что мне надо умирать. Они мне ничего не могут за листки мои сделать, потому что я тогда буду мертвая, а что с ними от листков моих станет, мне все равно, все равно...

Папа — делец и игрок. Мама — светская женщина. Мне двадцать третий год, а она еще кокетничает с бывающими у нас молодыми людьми и... только ли кокетничает? Я сама слышала, как этот большой дурак в мундире, Петька Аляпов, сказал про мамá своему товарищу, Эльту, что она «невредная баба». Тогда я чуть не расплакалась, мне хотелось подбежать и ударить Петьку, сказать, что стыдно так, что он негодяй... Не знаю, как я совладала с собою. Петьку я до сих пор ненавижу. Потому что если прежде мама меня не любила... т.е. нет: была ко мне безразлична, — любить и не любить она не может! — то я-то очень ее любила, уважала ее, любовалась на нее; у меня к ней было что-то вроде институтского обожания. А теперь мне все равно, все равно...

Папá не до меня из-за биржи и Сельскохозяйственного клуба; ведь состояния у него нет, а между тем он ворочает сотнями тысяч; они то приходят, то уходят, и разница между их приливом и отливом составляет те десятки тысяч, что мы проживаем в год. Мамá не до меня, потому что она — «невредная баба». Ну а я-то сама что такое? Барышня, владеющая четырьмя языками, разнообразными, будто бы, талантами, репутацией маленькой эксцентричности и наружностью довольно бы приятною, не будь в ней чего-то... как это сказать? — ненас-

тоящего, что ли?.. дряблого, вялого, что меня злит и возмущает и отчего я никогда и никакими средствами не умела отделаться. Точно те цветочки земляники, что сдуру, вдруг, спустя лето, возьмут и расцветут накануне осени, на истощенной и отдыхающей почве, жалкие, мятые какие-то, без завязи.

Репутацию таланта я заслужила тем, что немножко рисую, немножко леплю, немножко играю, немножко пою, немножко сочиняю стихи — и все эти немножко — немножко лучше, чем у всех наших знакомых барышень. Однако когда я, вообразив себя будущею великою пианисткою, отправилась к покойному Антону Рубинштейну и сыграла ему рапсодию Листа, которую долбила два месяца, которою отравила жизнь и себе самой, и всем домашним, Рубинштейн поморщился и сказал:

— Лучше, барышня, выходите-ка замуж!

Так же беспощадны, хоть и в других выражениях, оказались ко мне Семирадский, Антокольский, Эверарди, Буренин. Словом, я дилетантское ничто, никогда не способное достигнуть хотя бы микроскопического художнического нечто.

Репутацию эксцентричности я нажила тем, что стихи мои дурны и тяжелы, но полны диких красок и сладострастных образов, взятых напрокат у Катюль Мендеса, Ришпена, Верлена, Ростана; тем, что книги, которые мои сверстницы читают потихоньку, ночью, из-под подушки, открыто лежат на моем письменном столе; тем, что я умею фехтовать и смело скачу на лошади через канавы и заборы; тем, что я не раз переодевалась мальчиком и тайком исчезала с гусарской компанией моих кузенов в какой-нибудь шикарный шато-кабак, причем эти балбесы относились ко мне с таким восторженным удивлением, точно я, по меньшей мере, Жанна д'Арк и, выпивая стакан шампанского и слушая двусмысленности, — спасаю отечество.

И вся-то моя эксцентричность — даже этакая-то жалкая — и та «с разрешения начальства». Мама однажды сказала мне:

— Ma petite, je vous salue: vous avez votre petit peu d'esprit *. У кого нет средств блистать, как Рекамье, той надо заставить заметить себя, прикинувшись хоть Марией Башкирцевой.

Это ли не carte blanche ** на самую широкую программу?

У меня — это входит в программу — есть свои знакомые; они не приняты у мамы и, если бывают у меня, проходят прямо ко мне, в мою комнату, и сидят в ней все время визита. Но чаще я бываю у них, потому что они бедные и гордые, и боятся, не подумали бы о них, что они «обивают пороги» у богатой подруги-аристократки. Ведь папа и мама уверены, что мы аристократы, и я, за неимением прав на более определенное звание, должна с ними согласиться: пускай будем аристократы! Хотя на самом-то деле я знаю, какие люди — аристократия, и это не мы, уж никак не мы, конечно. Аристократ — это князь Липецкий.

Он не играет на бирже, не директорствует в кредитном учреждении, нигде не служит даже и дает всего один большой обед в год; но когда папа получил в первый раз приглашение к Липецкому, он сделался так в духе, что мама, без всякой сцены, уговорила его заплатить наши счета. В доме Липецкого, наверное, нет ни одной вещи-имитации, кузены его не ездят в его семью, как в трактир, и не увозят его дочерей на тройках к цыганам. Когда я была представлена княгине Липецкой, заплакала бы, кажется, от зависти к ее дочерям: их-то мать никто не посмеет назвать «невредною бабою».

К своим не бывающим у меня гордым приятельницам я ухожу отводить душу, когда становится невмочь противно и душно жить в нашем лицемерном и развратном доме. Я назвала наш дом развратным... прочтут и осудят: сама-то какая святая! Да, и я развратная. И не с тех пор, как я пала, — в этом я виновата меньше, чем во всех грехах моей жизни. А зову я себя так потому, что — чем же должна быть и зваться девушка-лице-

---

* Малышка, я вас приветствую (*фр.*).

** Карт-бланш (*фр.*); чистый лист, полная свобода действий.

мерка, у которой несколько гувернанток было удалено из дома за амурничанье с ее отцом, которой мать — «невредная баба», которая с одиннадцати лет уже слыхала и понимала, зачем мужчины любят женщин, а в четырнадцать лет прочла «Mademoiselle Gira'd ma femme»? * Прочла, поняла и... если не усвоила, то лишь потому, что соблазнительного случая не было применить теорию к практике.

У меня есть друг, которым я горжусь: Корецкая, женщина-врач, уже пожилая. Как-то раз, когда мне было особенно тяжело, я разоткровенничалась с нею.

— Да это не воспитание, не жизнь, — почти в ужасе сказала она, — это какая-то золоченая тина, лакированная грязь. Вам надо все это бросить, перевоспитать себя и сделаться новым, полезным человеком — для себя и для других. Уйдите вы из вашего омута, пока не вовсе им затянуты.

— Куда?

— К нам идите: учитесь, служите, работайте. Мало ли русской женщине, если она независима, сильна, не стеснена нуждою, дела на Руси?.. Охоты нет к нам — выходите замуж, конечно, с разбором: сделать счастливым хорошего работника общественной нивы у его домашнего очага — задача благородная и благодарная не менее всякой самостоятельной деятельности.

Короче:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви...

Все это прекрасно, но витиевато. Со мною надо говорить проще, а то я раздражаюсь и перестаю верить. В стан поги-

* «Мадемуазель Жирар — моя женщина»? (*фр.*)

бающих? А что я там буду делать? Там все рабочие, а я — белоручка. Воспитание воспитанием, а и натуришку надо принимать в соображение. Яблочко от яблоньки недалеко падает, и если вся моя семья — дрянь, то неоткуда и мне стать отборным фруктом. Я вот браню свой быт, а переменить его — мало что не смею, мало что не хочу: «не имею настоятельной потребности», как выражаются мои ученые знакомые. Пожалуй, даже страдала бы, если бы переменила, и мне пришлось бы, вместо флёрта и переливания из пустого в порожнее, обучать ребятишек, как

Вот лягушки на дорожке
Скачут, вытянувши ножки, —
Ква! ква! ква! ква!

И Корецкая права, когда упрекает, что я на словах — как на гуслях, а чуть до дела, у меня и пороха на заряд нет. Так и вышло — вышло до последнего. Быт мой довел меня до падения, ниже какого не бывает, до самопрезрения, жить с которым в душе нельзя, и вот я умираю, а ничего в нем не переменила — ухожу на тот свет порочною, пустою и лицемерною, как жила. Смерти не боюсь, а изменить нравственному комфорту, потеряв в последние минуты хорошее о себе мнение у тех именно жалких людей, чье мнение я презираю, потому что они еще хуже меня, — не могу... нет сил... сробела...

Наследственность, воспитание, обстановка — отравы тяжкие. Однако есть же у иных счастливиц какая-то самостоятельная закваска — противоядие этим отравам. Есть у меня еще приятельница: оперная певица на вторых ролях. Как ни плох наш дом, все же — думаю — не беспутнее он, хоть с поверхности-то, театральных кулис. А вот — подите же! — к Липе никакая грязь не липнет. За нею ухаживают, она не недотрога, и кокетка, и хохотушка, и «поврать» не прочь, — а чиста, как

стеклышко: честная душа, честное тело. Точно у нее в сердце есть плотина, останавливающая приток житейской грязи: «Стой! Дальше не смей наплывать! Внутри меня святая святых!» Помню: вышла в свет «La terre» *. Я прочла — вещь художественная, мне понравилась; многие пикантности я и сейчас помню. А Липа не осилила и десяти страниц — вернула мне книгу.

— Претит, — говорит, — да и скучно: какой в этом интерес?

И ведь это — не так, как наши prudes, что ахают: «Ах какой стыд! Можно ли рассказывать такие вещи?»

И не оторвутся от скабрезной книги, пока не остановит их вожделенное «Fin» **. Нет, просто здоровая душа у Липы, и нет в ней этого нервного патологического любопытства к греху, живущего в наших отравленных душах — наперекор сознательному стыду, наперекор негодованию против самой себя: зачем это во мне? за что!

Разврат и скука, скука и разврат.

Стремление избыть их, спрятаться от самой себя, — вот откуда мои мнимые таланты, мнимая эксцентричность, вся моя глупая, призрачная жизнь. Лишь бы жизнь шла непрерывным вертячим круговоротом, лишь бы быстрая смена впечатлений, а то — к Семирадскому так к Семирадскому, на курсы так на курсы, в кафешантан так в кафешантан, под дружеские распекания Корецкой — так под распекания. Если бы не любовь моя к комфорту, я сделалась бы путешественницею: есть же такие всемирные дамы, что шляются по свету за приключениями — и сегодня ее встречают на Avenue de l'Opéra, послезавтра на римском Monte Pincio ***, через год — одалискою в гареме

---

* «Земля» (*фр.*).

** «Конец» (*фр.*).

*** Холм Пинчио (*ит.*).

афганского эмира, еще через год — в какой-нибудь Венецуэле невестою героя pronunciamento *, а еще через год она в царевококшайском клубе читает лекцию об алмазных копях Трансвааля. Я обожала Мазини и недели три, что называется, и легла, и встала в окружном суде, в качестве «уголовной дамы», притворяясь, будто серьезно увлечена Андреевским. Хотела поступить на сцену, но здесь-то вышла совсем бездарностью: самое совесть зазрила. Познакомилась и дружила недели три с пожилою и титулованною богачихою, меценаткою то спиритов, то теософов, то поэтов-декадентов, — она говорила мне дикие, туманно-сантиментальные речи, странно заглядывала мне в глаза своими черными глазами с поволокой, слишком крепко жала мне руки и слишком часто целовала меня напомаженными губами. Ездила я и в Москву к Толстому, но он, должно быть, прочитал меня насквозь, так сух и короток был его прием, так холоден и безучастно-неприветлив пронизывающий взгляд его серых глаз.

Однажды, когда одурь скуки мучила меня больше обыкновенного, моя камеристка Таня — девушка бойкая и преданная мне, насколько вообще может быть предана служанка барышне капризной, но не особенно дурно с нею обращающейся, — попросила меня отпустить ее на весь вечер — до утра на именины своей подруги, экономки богатого холостяка — далеко, в другом конце города. Я позволила. И вдруг мне пришло в голову!

— Бал прислуги... Я этого никогда не видала.

И я потребовала, чтобы Таня показала мне свое веселье. Она долго отнекивалась, но я настояла на своем. Было условлено, что я поеду в гости к обычной укрывательнице всех моих проказ — к тете Христине Николаевне, что Таня повезет туда для меня свое платье, я переоденусь, переменю прическу, и мы отправимся.

---

* Восстание (*исп.*).

— Я, барышня, представлю вас так, будто вы служили бонною у приезжих господ, а теперь от них отошли и в ожидании хорошего места...

Поехали. Приключение занимало меня, и мне было и весело, и жутко. Очутились в очень приличной квартире: холостяк позволил экономке принять гостей в своих комнатах, а сам уехал на охоту. Публика вечеринки имела вид довольно чистый — по крайней мере, мужчины — благодаря фракам. Меня, хотя и незнакомую, приняли чрезвычайно радушно. Я танцевала весь вечер — только все одни кадрили, потому что на легкие танцы не нашлось мастеров.

Не скажу, чтобы вечер оставил во мне впечатление большой оригинальности и занимательности. Было, право, то же самое, что на наших балах, — даже не карикатура, а именно то же самое: только позы и жесты более угловатые да речь — либо застенчивая не в меру, либо вычурная — по фельетонам бульварных газет. Я понравилась. За мною ухаживали, мне говорили комплименты. Но вот что меня поразило: никто из кавалеров этой «хамской» вечеринки не говорил своей даме и тысячной доли тех пошлостей, двусмысленностей, сальных каламбуров, какими занимают нас — demi-vierges * — под видом флёрта, Петьки Аляповы и компания. Флёрт был и тут, были шутки — наивные, нескладные, часто грубые, но не гнусные. Эта непривычная почтительность мужчин к женской стыдливости даже больно кольнула меня, на минуту.

«Вот, — думала я, — мою горничную, о которой я наверное знаю, что она падшая девушка, мужчины ее круга уважают, щадят ее слух, ее предполагаемое — официальное, что ли — целомудрие. А наши мужчины? За что они наполняют наши уши, отравляют наше воображение своею, собранною на улице и в шато-кабаке, грязью? Мы невинны, а с нами обращаются как с последними... Меня отучили краснеть от гадких намеков,

* Полудевственница (*фр.*).

потому что это смешно: как же, помилуйте, девушке за двадцать, а она «не понимает...»

У закуски хозяйка почти насильно заставила меня выпить две рюмки мадеры. От комнатной жары вино ударило мне в голову. За ужином мой сосед, фельдшер из военного госпиталя, усердно подливал мне какую-то шипучку, вроде плохого шампанского, приговаривая:

— Нельзя-с, извольте кушать, не извольте обижать Лизавету Леоновну, ибо такой уж сегодня для них монументальный предел времени.

Среди ужина в столовую вошли два запоздалых гостя — судя по шумным приветствиям, их встретившим, из почетных. Вглядевшись в старшего из них, я едва не ахнула, а Таня, сидевшая насупротив меня, уронила рюмку: мы узнали в пришедшем Петрова — домашнего письмоводителя и большого любимца моего отца. Он сразу признал меня: на его спокойном, вежливом лице выразилось изумление; однако он не сказал ни слова. На Таню было жаль смотреть. Конец ужина, — а он был нескорый, — я, разумеется, просидела как на иголках.

— Господи! Себя вы осрамили, а меня погубили! — отчаянным голосом бросила мне Таня, когда наконец встали из-за стола.

— Как же ты не предупредила меня, что здесь можно его встретить? — возразила я.

— Да он сказал мне, что не будет... что барин Михаил Александрович занял его на весь вечер какою-то работой. Да, видно, освободился, и принес его черт на наше несчастье.

Я не потеряла присутствия духа. Отец всегда хвалил Петрова как малого честного, порядочного и — когда надо и захочет — умеющего держать язык за зубами. Я смело подошла к нему и, не конфузясь вопроса в его удивленных глазах, начала с ним тихий разговор:

— Петр Васильевич, вы узнали меня?

— Узнал-с, Елена Михайловна, и ума не приложу-с, — откровенно сказал он, разводя руками.

— Нечего и прикладывать. Просто захотелось пошалить. Вы — не правда ли? — будете добрый, не выдадите меня? Никому не расскажете?

Я смотрела на Петрова умоляющими глазами. Он покраснел.

— Никому-с.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Вот и спасибо! А за это, — я во весь остальной вечер не буду танцевать ни с кем, кроме вас.

Таня, когда узнала, что Петров дал честное слово не выдавать нас, совершенно успокоилась.

— Его слово — каменная стена.

Еще танцевали. И еще, и еще. Таня отозвала меня в сторону.

— Барышня, — шепнула она, — будьте такие добрые... коли насмотрелись на наше веселье, позвольте проводить вас к Христине Николаевне.

— Вот! Так рано? Зачем?

— Да извольте ли видеть... Михайло мой приглашает меня в ресторан: что, говорит, здесь гнилую селедку жевать? Нешто мы сами себе не можем сделать удовольствие?.. А я страсть давно не была в ресторане... Кабы вы разрешили, — смерть хочется. Я ему говорила, что затруднительно мне, что подругой обязана. А он говорит: тащи и подругу... вас, то есть... Ну это, известное дело, где же? А я такое придумала, что провожу вас, а он пущай издали следует, и, как провожу, сейчас с ним в ресторацию...

Мне было очень весело. В голове шумело. Я расхохоталась.

— Отчего же ты не хочешь взять меня с собой?

— Барышня, да я бы душою рада... но как же?.. Несолидно будто...

— Шалить так уж дурить до конца... Я поеду. Только вот что. Ты будешь любезничать с своим Михайлом, тебе будет

весело, а кто же станет развлекать меня? Надо четвертого... либо подружку, либо кавалера... мне все равно.

Таня весело кивнула головой и отошла к Михайле.

— Петров давеча просился, чтобы Михайло принял его в компанию; они приятели, оба гжатцы, земляки, — сказала Таня минут через десять. — Как полагаете?

— Принимай, — засмеялась я, — тем лучше: вернее не выдаст нас, если будет виноват вместе с нами...

Она тоже засмеялась.

— Верно. А вы с ним будьте поласковее. Он ничего, парень хороший, как есть «комильфот», за него даже купчиха хотела замуж выйти.

И вот — я, Таня, ее жених и Петров — очутились в кабинете грязненького ресторанчика — как сейчас помню его красные с золотыми разводами обои. Все были слегка навеселе после угощения на вечеринке. Мне не следовало больше пить, но я побоялась обидеть людей, истратившихся на наше угощение, и понадеялась на себя, что не опьянею — я могу вынести много вина. Но поддельное шампанское, которого потребовала Таня, ошеломило меня, — и не прошло и четверти часа, как мы все были страшно пьяны. Мужчин не помню, но Таня стала буйно весела; а я, наоборот, совершенно отупела. Помню, что жених Тани целовал ее, что она на меня за что-то сердилась, стучала по столу кулаком, а потом рвала на себе платье и выкрикивала бранные слова. Ей кто-то зажал рот. Она перестала буянить, но во все горло затянула песню. Помню, что пришел распорядитель и ссорился с мужчинами, запрещая нам шуметь, и советовал куда-то перейти...

Меня разбудила страшная головная боль.

Я приподняла голову с подушки и уронила ее назад, но мне мелькнули незнакомые обои, и я вскочила и села на постели, протирая запухшие глаза и силясь вспомнить, где я, зачем и что со мною. В дверь глянуло женское лицо. Я едва узнала

Таню. Она была бледна, желта, помята, как выжатый лимон, — и в глазах ее застыло так много ужаса, что я сразу поняла все — и сама застыла в столбняке... Таня села рядом со мною.

— Наделали мы дела! — прошептала она.

Я молчала.

— Вы не пугайтесь очень; как-нибудь спрячем, — продолжала она, оживляясь. — Поправить нельзя, а скрыть не трудно. Он не расскажет. Он сам больше вас испугался, когда отрезвел и понял, в какую беду втравило его вино. Так и бросился бежать, словно пол под его ногами загорелся. Господи! угораздило же нас так перепиться: я сама была как мертвая. Не то — разве допустила бы? Тут и вины-то вашей никакой нет: хмельная — чужая.

Рассказать, что я чувствовала, пока она говорила, и слова ее медленно будили во мне сознание и воспоминания, — я бессильна. Все укоряло меня бездонным падением, унижением, ни с чем несравнимым. Стыд и обида душили меня, подкатывались к горлу. И когда наконец вырвались рыдания, я была довольна: иначе я боялась задохнуться. Таня тоже обрадовалась.

— Выплачьтесь, выплачьтесь, это лучше, — твердила она, отпаивая меня водою, — выплачьтесь, да и пойдем. Уже совсем светло. Скоро на Невском начнется толчея, чиновники пойдут в должность, — того и гляди, налетим на знакомых.

По дороге Таня учила меня, что сказать Христине Николаевне в оправдание моего отсутствия во всю ночь...

— Да слушайте, барышня! — вскрикивала она, замечая мой бессмысленный, невнимательный взгляд, и, спохватясь, что меня обижает, продолжала мягче: — Какая вы, право! Ведь надо обдумать дело — ловко его обделать! с какой стати вам пропадать, да и мне с вами вместе?

Оставшись одна, я почти мгновенно заснула, и так крепко, что, слава Богу, ничего не видела во сне, только маялась

сухим жаром да чувствовала сквозь сон, что продолжает трещать голова. Таня возвратилась с приказом от мама́ не рисковать собою и, если я нехорошо себя чувствую, переждать несколько дней у тети.

— Вы ничего не бойтесь, — зашептала Таня, когда мы остались одни. — Видела я его. Говорю: «Бога ты не боишься! совести у тебя нет!» А он весь затрясся. «Обратно, — говорит, — боюсь до чрезвычайности и совесть имею — оттого сейчас и бегу из этого дома, на который навлек проклятие. Я, — сказывает, — от места отказался. А как Михаил Александрович не отпустили меня и даже рассердились, что я хочу уйти, то я отпросился у них на месяц в Гжатск — побывать к жене. За месяц воды утечет много. Елене же Михайловне скажи, что, сколь я ни много подлец против нее, однако пускай мне верит: никаких новых пошлостев я не затевал, а что было, о том буду нем до гроба и всегда в раскаянии».

Эти слова свалили половину тяжелого камня с моего сердца. Публичный позор отдалился от меня... быть может, и в самом деле, навсегда. Оставалась мука самопрезрения... ну с нею-то справиться и сосчитаться сумею! Я чувствовала, что не очень ее боюсь, хотя в то же время стыдилась, что не очень. Я взглянула в лицо Тани, его выражение мне не понравилось: она понимала меня — мою трусость и позорную радость, что я выскочила из захлопнувшего было меня капкана. Мне стало обидно, совестно, и я заплакала.

— Мне все равно... я умру! Утоплюсь, — всхлипывала я.

— Ну вот! — равнодушно возразила Таня, и в тоне ее я услышала: — Где тебе? Нешто такие топятся? Жидка на расправу, голубушка.

И она была права: ничего я над собою, жизнелюбивой, болебоязливой тварью, не сделала и со всем примирилась. И когда месяц спустя, убирая мне волосы, Таня сказала мне сквозь зубы:

— Петров приехал. Спрашивал, чтобы я поговорила... Позволите вы ему стать на прежнее место при Михайле Александровиче?

Я спокойно пожала плечами:

— Разумеется! Мне-то какое дело?!

* * *

В ноябре наши друзья Кроссовы давали свой обычный ежегодный вечер. Я сделала себе для него прелестный новый туалет. Даже мама, которая не любит, чтобы я рядом с нею была очень красива, сказала мне несколько комплиментов. Я стояла перед трюмо и, разговаривая с мама́, примеряла перчатки, когда Петров прошел через зал из кабинета отца, с портфелем под мышкой. Я видела в зеркале его покойное, бесстрастное лицо... Его потупленный взгляд искоса и мельком скользнул в мою сторону... и вдруг в ясном стекле явилось мне совсем другое лицо, красное и трепещущее, с внезапно мутными и шальными глазами... И я почувствовала, как под этим взором румянец алою волною разливается по моему лицу и шее, и — что мне стыдно... стыдно... хоть задохнуться от стыда!.. Это была секунда, меньше секунды... но ее было слишком достаточно, чтобы понять, что он не забыл того ужасного вечера и живо вспомнил его сейчас, когда взглянул на меня... И я... теперь я тоже вспомнила его лицо, как плавало оно тогда предо мною — там, в ресторане, во мгле хмельного тумана, такое же тупое и чувственно-страшное, как сделалось теперь...

Мне стало жутко. Я чувствовала, что замершая было тайна, существовавшая между мною и этим человеком, снова ожила и протянулась между нами связующей жгучею нитью. Дурной вечер тогда и провела у Кроссовых!

Прошло несколько дней. Наблюдая украдкою за Петровым, я ни разу не замечала на лице его ничего подобного выражению перед кроссовским вечером; обычная одереве-

нелость равнодушной старательной почтительности, безразличный, точно застылый взгляд... Но я ему уже не верила. В воздухе чуялась угроза скрытой любви, и я холодела от страха, что страсть, пока еще молчаливая и робкая, осмелеет, выскажется, будет требовать, грозить... Да, именно так: в своем тайном позоре, я не сомневалась, что если Петров осмелится преследовать меня своей любовью, то я не услышу просьб, а непременно требования и угрозы...

У нас были гости. Я пела. Молодой Кроссов — постоянный мой ухаживатель — пристал ко мне, чтобы я спела его любимый старинный романс «Si vous n'avez rien à me dire» *, и я отправилась из зала в боковой кабинетик, чтобы взять с моей нотной этажерки тетрадь, в которой была вплетена эта допотопная ветошь... В кабинете было темно, свет из зала падал сквозь портьеру только на пол узкой и бледной полосой... Я хотела отдернуть портьеру, но вдруг сильные руки увлекли меня в темный угол кабинетика, и задушенный голос бессвязно зашептал мне — онемелой от ужаса неожиданности — глупые и страстные слова.

Он шептал, что любит меня, что жить без меня не может, что — либо ему пропадать, либо я должна его любить; он шептал, что если я не сделаю по его, так не жаль ему ни себя, ни меня — он готов на всякий срам и скандал, себя — в острог, а меня — на публичный позор; сулил объявить все, что случилось между нами, сулил привести свидетелей...

Он шептал почти беззвучно, но мне казалось, что он кричит во все горло, что его слышат все, что в зале нарочно все затихли, чтобы к нам прислушаться...

— Да оставьте же вы меня, — с бессильным бешенством проскрежетала я, стараясь вырваться, — ведь там люди, они могут войти... Если вам надо говорить со мной, найдите другое время, другое место...

* «Если бы вы мне ничего не сказали» (*фр.*).

Он стал требовать, чтобы я назначила ему свидание, — сегодня же, когда все в доме заснут...

— Это невозможно... вы с ума сошли... пустите меня... так подло!..

Тогда он яростно забормотал мне на ухо какие-то проклятия, сжимая меня еще крепче. Я поняла, что этот обезумевший зверь способен сейчас убить меня, вытащить в зал, закричать на весь дом, что я была его любовницей.

— Елена Михайловна! Что вы так долго? — окликнули меня из зала от рояля.

Кто-то двинул стулом, вставая, очевидно, чтобы идти ко мне. Волосы зашевелились на моей голове...

— Да, — отчаянно шепнула я, — только уйдите, уйдите...

Железные руки отпали, и Петров исчез в коридоре, почти в тот же миг, как Кроссов откинул портьеру из зала...

Я отговорилась, что не нашла романса и петь не могу. Сказала, что нахожу темноту приятною, и предложила переместиться из зала в кабинетик. Кроссов обрадовался и принялся нашептывать обычные сентиментальности, а я сидела, счастливая, что он говорит глупости, не требующие ответов, сидела в каком-то «ледяном бреду»: голова была полна тяжелого холода, и мысли — масса мыслей — ненужных и беспорядочных — застывали в мозгу, как грешники в девятом кругу Дантова ада.

Было около часа ночи, когда гости разъехались. Мама оказалась в расположении разговаривать со мною о Кроссове, поздравляя меня с победой и недоумевая, зачем он тянет время и не делает предложения. Она болтала целый час, пока не заметила, что я имею усталый и больной вид. Тогда она отпустила меня спать, но перспектива кроссовского предложения сделала ее любезною, как никогда; она проводила меня в мою спальню, заставила Таню при себе раздеть меня и уложить... и только тогда величественно удалилась.

Когда шаги ее затихли в коридоре, я бросилась к двери, чтобы запереть ее на ключ. Но ключа не оказалось в замочной скважине. Мне не поверили, против меня приняли меры...

Дальше — рассказ короткий.

Потянулась тайна и чувственное рабство, медленно переродившееся в чувственную привычку... Ну да! И пускай стыдно! Я простила моему любовнику его грубость, его насилие, я привыкла к нему. Привыкла — потому что он был сильный, смелый и нежный; потому что он обожал меня; потому что он ревновал меня, как мавр; потому что мне было смешно, когда он звал меня тысячами глупейших названий; потому что, когда я злила его, он осыпал меня уличными словами, и мне становилось жутко, глядя на его ужасные кулаки, которые не раз видала над своею головою; потому что я верила, что если бы я согласилась умереть вместе с ним, так он умер бы, не размышляя; потому что мы мучили и любили друг друга, как тигры, — переходя от поцелуев к побоям и от побоев к поцелуям...

Никто в доме не подозревал нашей связи. Кроссов ездил к нам через день и все заметнее и заметнее терял голову. А я очень похорошела и помолодела. Все считали Кроссова моим женихом, хотя он предложения еще не делал... Ох, сколько сцен выносила я за этого Кроссова!.. Сколько раз, слушая его любезности, я искренно ненавидела его, потому что у меня болели исщипанные за него плечи, и я знала, что будут болеть еще больше.

Наконец Кроссов сделал предложение. Я приняла его... я не могла не принять, потому что — мне нечего было бы ответить ма́ма и па́па о моем отказе. Кроссов был жених из самых завидных, а я — сидела у них на шее; в двадцать три года не принять предложения Кроссова — кого же дожидаться? Принца с луны или старого девства?

Я приняла предложение, сама не веря, чтобы брак этот состоялся, и не зная, как же, однако, он расстроится... «Авось

как-нибудь»... Но в это время, кстати, умерла моя тетка Ольга Львовна, и свадьба отсрочилась...

Однажды Петров пришел ко мне, сильно смущенный. К нему приехала на побывку из Гжатска жена, и папа, в знак особого благоволения к своему любимцу, разрешил ему приютить ее у себя в боковушке.

Наши свидания — редкие, случайные и урывочные — сделались адом. Теперь, когда Петров был не мой, я любила его, ревновала, делала ему бешеные сцены, а он попрекал меня моим согласием на брак с Кроссовым, грозил, если я его обманываю и свадьба состоится, зарезать меня, Кроссова, себя... Он все пугал да ругался... но однажды заплакал — и плакал такими грозными слезами, что лучше бы он истоптал меня ногами!

Тайные волнения меня извели; я изнервничалась, исхудала, побледнела, меня одолевала постоянная слабость, я дрогла и коченела, кутаясь днем в пледы и в несколько одеял по ночам. Как-то раз я завернула к Корецкой и, между разговором, упомянула о своем недомогании. Она расспрашивала меня чуть не целый час, подробно, мелочно, и потом долго молчала; наконец, глядя на меня в упор своими огромными черными глазами — честным зеркалом ее прекрасной, прямой души — сказала:

— Раинцева, если вы дура, то сейчас вы смертельно обидитесь на меня и уйдете, рассорившись со мною надолго. Если же вы не дура, то ответите мне откровенно на вопрос, который я обязана сделать вам как медик и который, — в моем слове вы, конечно, не сомневаетесь, — умрет между нами. Вот. Вы... вы позволите мне предполагать, что вы в таком положении?

Я ахнула и осела в кресле... Только этого не хватало!

Ответа не понадобилось: его сказало мое лицо. Потом началась истерика.

Я выплакалась у Корецкой. Она ни о чем меня не расспрашивала. Успокоила, что это еще только в самом начале, и обещала, когда придет время, устроить все в секрете.

— Но я... замуж выхожу! — простонала я.

— За него?

Я опустила голову, колеблясь, лгать или нет. Корецкая приняла мое молчание за утвердительный ответ.

— В таком случае, чего же вы струсили? Все будет по закону.

Я ушла от нее с нравственным страхом перед Кроссовым, — возможность ответственности пред этим мальчиком впервые представилась моим глазам, — и с физическим страхом пред будущими страданиями, пред трудностью скрывать свое положение... Куда ни обернись, стыд и позор, позор и стыд... Я ненавидела себя, Петрова, Кроссова, Корецкую... всех! всех! всех! все меня пугали, все делали мне больно... все были мои злодеи...

Я пришла домой. Когда я поднималась по лестнице, из каморки-боковушки сквозь притворенную дверь украдкой взглянула на меня женщина. Это была жена Петрова. Я видала ее много раз раньше, но старалась не смотреть на нее: у меня к ней было ревнивое отвращение... я брезговала ею... Теперь я ее разглядела: дебелая красавица-баба — не то мещанка, не то мелкая купчиха, с румяным кормиличьим лицом и толстым телом. Ее огромная фигура и неуклюжий стан смутили меня... Я с отвращением подумала, что, может быть, с нею то же, что и со мною, и мне стало гадко, тошно, гнусно... и... и я не помню, как взбежала в свою комнату и заперлась в ней.

Меня всю перевернуло в несколько минут. Я уже не волновалась, не рыдала, не малодушничала. Я холодно сознавала, что я — вся в грязи, это доходило до физической галлюцинации липких потоков, льющихся по телу, от которых хотелось дрожать, ежиться, и казалось, что от них ни укрыться, ни отмыться. Я уже никого не ненавидела, ни на кого не жаловалась, да ни о ком и не думала. И ни о чем, кроме одного слова:

— Грязь... грязь... грязь...

Приехал Кроссов. Как он полюбил меня — милый юноша! Я слушала его восторженную болтовню — болтовню влюбленного, у которого спутанная мысль и язык беспорядочно прыгают с предмета на предмет, точно обезьяна вперегонку с попугаем... Я улыбалась, я отвечала на вопросы и, кажется, впопад, я не казалась странною... А между тем в голову ко мне не заходила ни одна мысль, кроме все той же, одной, стучащей, как широкий маятник дедовских часов:

— Грязь... грязь... грязь...

По отъезде Кроссова я подумала:

— Неужели я буду настолько подла, что выйду за порядочного, честного молодого человека опозоренная, с чужим ребенком? За что?

Воспоминание о давешней встрече с женою Петрова встало предо мною...

— Грязь, грязь, грязь!..

Так прожила я два дня, бессонная и бессмысленная, в закостенелом самоотвращении. А на третий день, ввечеру, я приказала Тане приготовить мне горячую ванну, и когда после нее осталась одна в своей комнате, то встала на подоконник, отворила форточку и целых полчаса стояла, подставляя разгоряченную голую шею под ветер и гнилую мзгу петербургской ночи.

Потом я села к столу и написала эту рукопись.

А теперь я, даст Бог, буду умирать. И я ни на кого не сержусь, но и... никого мне не жаль... а себя всех меньше!»

1895

СЕМЕЙСТВО ЧЕНЧИ

Дело было доверено мне при следующих обстоятельствах.

Является ко мне прилично одетая, средних лет дама, заплаканная, со следами еще недавней красоты:

— Мне надо говорить с вами.

— Что угодно?

Мнется. Потом:

— А у вас есть три свободных часа, чтобы меня выслушать?

— Три часа?!

Признаюсь, я пришел в ужас: дама, собирающаяся говорить три часа без умолка!..

— Я знаю, что это очень долго, но, право, дело мое стоит того, чтобы его прослушать. А я не умею рассказывать иначе как с самого начала. Уже потерпите...

— Хорошо-с...

— К тому же — меня к вам направил граф Лев Николаевич Толстой...

Это меняло дело. Я весь превратился во внимание и вот что услышал.

Но сперва — маленькое отступление. Общество, куда я сейчас поведу за собою читателя, — средняя купеческая среда: та самая среда, которую сорок лет тому назад, под впечатлением первых драм Островского, прозвали «темным царством» и в которую с тех пор будто бы лились и льются злоисцеляющие «светлые лучи». В последнее время русский литератор как-то откачнулся от этой среды. Думает ли он, что уж слишком много сделано в ее области Островским и что заниматься ею после знаменитого драматурга значит — затягивать старые песни на новый современный лад? Очень ли уж ярко и соблазнительно сверкают новые типы миллионного молодого купечества, так что избалованному их обилием автору нет охоты спускаться с эффектных верхушек денежного мира в темноватые норки, где живут, наживаются и проживаются тысячники? Мирок этот забыт, и скажу больше: забыты и прощены, за давностью, самые пороки, кипевшие в «пучине» московской, когда А.Н. Островский навел на нее свой обличительный фонарь. Безобразия, разврат, хамство так называемой «коммерческой аристократии» вызвали в московском обще-

ственном мнении даже некоторую реакцию в пользу старинного купца с Таганки и Якиманки. Он-де был Кит Китыч, но — семьянин. Являясь домой в пьяном виде, он увечил чад и домочадцев, но не привозил с собою француженок от Омона. Он запирал свою дочь в терем, чтобы она не перемигивалась с офицерами, но разве это не лучше, чем предоставить свою дочь ad libitum * всем офицерам всех видов оружия? Он бил благороднейшего мздоимца Василиска Перцова и платил за побои воздаяние. Но ведь и это безобразие не хуже, чем самому получать пощечины от Василисков Перцовых и в воздаяние иметь лишь удовольствие видеть, как автор пощечины, в присутствии благоговеющих лакеев «Эрмитажа», аристократически моет свои белые руки, оскверненные «прикосновением к купеческой морде», что доподлинно проделал однажды некий г. Щодро Мордвин. Все это более или менее справедливо. Но мне думается, что снисходительная пословица «не так скверен черт, как его малюют» еще не исключает того положения, что черт все-таки скверен. И если порок среднекупеческого общества померк в сиянии пороков коммерческой аристократии, я не нахожу в этом резона ставить первое в пример второй: в разном виде, но друг друга стоят. А что до семейственной и патриархальной простоты, которую ставят этому обществу в главную заслугу его защитники, то — где же вы найдете более упрощенные семейные формы и отношения, чем во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого? Однако вряд ли кто таким формам и отношениям позавидует. И вот всякий раз, как случай забрасывал меня в глубину московского среднекупеческого общества, мне приходилось на первом же шагу вступать либо в старую отрыжку Кит Китычей — с одной стороны Большовы, Коршуновы, Гордеи Торцовы, с другой — угнетенные Митеньки, сумасшедшие Купидоши, трепещущее чувство в образе Любови Гордеевны и жалкая пьяная правда

---

* По желанию, по прихоти (*лат.*).

по следам Любима Торцова; либо — прямым путем — именно во «Власть тьмы». Такова и настоящая история.

Доверительница моя — дочь человека, действительно, весьма почтенного. Я наводил точные справки. Никто не сказал мне дурного слова ни о семейной, ни о торговой порядочности этого купца: «старого завета папаша» — кремешок, но с теплою искоркой внутри, под суровою личиной судьи-патриарха. Уступая веянию прогресса, он отдал дочь в пансион русской мадам на французский манер, где, подобно Липочке Большовой, девочка «проявила способности» — обучилась играть на фортепиано и танцевать. Когда девушка заневестилась, ее взяли из пансиона в ожидании, какой на ее долю достанется Подхалюзин. Является жених — старший приказчик большой серебряных дел фирмы. Сватовство это так типично, что я расскажу о нем, хотя оно и не имеет прямого отношения к дальнейшим событиям. Девушку заставили играть на фортепиано. Едва она села к инструменту, под нею сломался табурет, и она упала...

«Свадьбе не бывать», — думает она и видит, что бледен жених, бледен отец, бледны все — у них та же мысль: «Не к добру это... разойдется свадьба».

Однако ударили по рукам.

— Поцелуйте меня, — просит жених, оставшись с невестой наедине.

— Хорошо, что я его тогда не поцеловала! На третий день приехал он к нам, заперся с папашей в кабинете и выходит потом — весь в слезах... разошлась свадьба. Так бы я и осталась «оцелованная»!..

Разошлась же свадьба таким путем. Когда жених сказал своему хозяину, что намеревается жениться, тот воскликнул, даже не дослушав:

— Жениться хочешь? И отлично. Только женишься ты не на этой там своей, — как бишь ее? — а у меня для тебя давно припасена невеста.

И выводит за руку свою старшую дочь. Против хозяйской воли приказчик не посмел идти, к тому же за прежнею невестой ему давали десять тысяч, а хозяйская дочка приносила с собою стотысячное приданое да еще богатые перспективы в будущем, — женился, хоть и сквозь слезы... И так все это было ясно, понятно и в порядке вещей, что на изменившего жениха даже не обиделись ни брошенная невеста, ни ее семья: что же делать? хозяин не велел, — значит, не судьба. Невеста (жених ей не очень нравился) плакала лишь об одном:

— Господи! какая пройдет обо мне слава по купечеству, что от меня жених отказался...

Нашелся другой искатель ее руки — настоящий герой нашей истории, тоже старший приказчик очень крупной фирмы, торгующей меховым товаром. Хватил немножко образования. На невесту произвел впечатление тем, что «все смеются, зубы скалят, а он смотрит этак серьезно, пристально, даже с суровостью». Мог говорить по-умному. Однако — из-за приданого торговался, как Шейлок, прося накинуть две тысячи на обещанные десять; а то разойдется дело.

— Папаша, дайте ему двенадцать тысяч! — молит дочь.

— Голубушка, мне не денег жаль, а тебя: какой же он будет тебе муж, если способен отказаться от тебя из-за двух тысяч?

— Дайте, папаша; все равно — видно, уж такая моя судьба. А мне будет очень срамно, если разойдется и вторая моя свадьба!

Внезапно жених подался на великодушие: согласился на десятитысячное приданое. Приписали это его влюбленности, но впоследствии ларчик открылся иначе: изобретательный молодой человек сватался разом к трем невестам и, когда его драгоценную особу нигде не оценили дороже восьми тысяч, женился на той, за которою давали десять.

Стали жить — и довольно ладно. Торговая репутация молодого была хороша: он славился знатоком меха, человеком честным, энергичным, исполнительным. Тесть — не слишком довольный, что зять его — человек подвластный, да еще служит конкурирующей фирме, — дал ему средства устроить самостоятельный магазин на деньги жены и ссуду под вексель. Кроме того, выдавал дочери ежемесячно сто рублей на булавки. Кроме скупости, молодая не примечала за мужем особых недостатков: деньги у нее он отбирал, а выдавал на содержание дома по рублю в день и требовал, чтобы стол был первого сорта.

— Если, бывало, бифштекс ему не по вкусу, заберет его с тарелки, да и пустит мне в лицо через стол. Суп не понравится — супом плюется...

— Вы называете это — «не было особых недостатков»?

— Что же? у других хуже бывает... Тогда он меня, по крайней мере, не бил...

С течением времени к скупости прибавилась странная жестокость — сперва по отношению к посторонним: мальчиков в своем магазине молодой купец бил за каждую, даже самую ничтожную вину с такою свирепостью, что они убегали один за другим, а жена трепетала:

— Не миновать нам беды — попадем под суд.

— Эка важность, что бью! — оправдывался муж: — Меня самого били... и не так еще! вот и вышел человеком...

Пугала окружающих не самая наклонность купца к бойлу — «всех их били, и все вышли людьми» — но, что он бил не спокойно, — не для наказания, — зверел, нанося удары... В полном своем ужасе развернулась его разнузданность на руку, когда подросли и стали учиться дети. Не зная по-латыни ни одного слова, отец вздумал репетировать сынишку-гимназиста.

— Как же это он ухитрялся?

— А он когда-то начинал учиться по-французски, — так буквы помнил. Спрашивает, бывало, у Коли слова и смотрит на пер-

вую букву, так ли начинается слово, как Колька ответит. Стол?.. Если Колька ошибается, скажет вместо «mensa», положим, «mensis» — отец не замечает: хорошо! молодец!.. Но, если бы он ошибся в первой букве — ну, обмолвился бы хоть «tensa» или «pensa», — у отца сейчас же наливаются кровью глаза; так-то ты учишься, мерзавец? Ремень в руки — и пошло живодерство.

А мы еще смеемся над горбуновским анекдотом, как купец выдрал сынишку за «Софонизбу», почитая ее за неприличное слово! Впрочем, я знал барышню, которая на вопрос, что поделывает ее сестра-курсистка, важно отвечала:

— Изучает какую-то Спинозу... должно быть, очень мудреная болезнь, потому что давно уже изучает...

«Детоубийство по мелочам» вызывало резкие сцены между родителями, кончавшиеся тем, что освирепелый муж колотил и жену. Но у жены были защитники — братья, жившие в том же доме, через лестницу, и ради них семейный палач немного сдерживался. Чтобы ускользнуть от вмешательства жены и необходимости колотить ее, а потом иметь неприятные объяснения с шурьями, жалкий, одичалый человек придумал систему келейных наказаний. Запрется в кабинете и порет мальчишку:

— Я с тебя шкуру спущу, а если крикнешь, спущу и другую, и третью, — не беспокой маму.

Однажды, на шестой день после родов, лежа в постели, жена слышит далекое мычание, отчаянное, но ничего общего не имеющее с человеческим голосом.

— Что это? — в испуге спрашивает она дочь, сидящую у ее кровати.

— Ничего, мамаша... так что-то на улице...

Но потом пришлось сознаться:

— Коля принес из гимназии двойку, и папаша его третий день порет...

Родильница вскочила с постели и босиком побежала выручать сына, забывая, какой опасности себя подвергает...

Произошла страшная сцена... Один из братьев пришел на крик... И такова сила традиционной боязни «не пущать на дом марали», что несчастная женщина, в эту ужасную минуту, напустилась на своего же защитника:

— Зачем ты суешься между мужем и женою? Столкуемся и сами...

— Помилуй: ты можешь умереть от его безобразия.

— Это мое дело.

Последовала болезнь, жестокая и долгая, как все женские болезни, изнурительная и ведущая за собою целый круг нервных расстройств, малокровия и других недомоганий. Пошли лекарства, доктора, скитания по медицинским звездам всех величин… Клейн, Шервинский, Остроумов, поездка в Крым, житье в санаторной колонии Ограновича... Кажется, за это время доверительница моя сама немножко отстала от детей и, как говорится, запустила их...

Отношения мужа к жениной семье, к тестю и шурьям были нехороши. Свой магазин он прикрыл во время торговой заминки и, продав его тестю, сам пошел к нему же в приказчики, на трехтысячное жалованье. Сделка была выгодная, но зять считал себя обиженным и в особенности тем, что тесть потребовал уплаты по векселю десяти тысяч, данных им на открытие магазина.

— Папаша, как вам не стыдно в самом деле? — набросилась на старика и дочь.

— Не хочешь ли хоть сейчас получить от меня эти деньги?

— Зачем же вы их с нас требовали?

— Затем, чтобы, когда муж тебя бросит, ты имела свой кусок хлеба.

Лечилась моя доверительница и в Крым съездила на счет отца. Муж не дал ни копейки.

Дома продолжалось все то же: глупая скупость и бесчеловечное битье смертным боем жены, детей, прислуги. Иногда на безобразника находили как будто минуты просветления — и он смирялся пред женою, каялся, что и сам не знает,

как это вскипает в нем сердце, затихал немножко, а затем устраивал скандал, горший прежнего... Надо заметить, что мы имеем дело не только не с пьяницею, но даже с вовсе непьющим человеком.

Все это были, однако, цветочки — ягодки ждали впереди.

Распространяться далее о подробностях этого семейного ада — трудная по своей щекотливости тема. Достаточно назвать ее последнюю, заключительную точку: супруг окончательно разнуздался и, после психопатической скупости и жестокости, впал в психопатический разврат — окружный суд увидел его обвиняемым в попытках к развращению своей старшей дочери.

Глухая мирская молва обличает гораздо больше половых преступлений, совершающихся в мирных, по-видимому, недрах буржуазных семейств, чем доходит их до света правосудия; а горький опыт убеждает в том, что мирская молва в данном случае редко сплетничает попусту, видя дым там, где нет огня. Укрывателями преступлений являются обыкновенно те самые лица, которые больше всего от них терпят, т.е. семья преступника. Мотивы укрывательства — стыд, что такая гнусная «мораль» падет на дом; жалость выдать тюрьме и каторге близкого, родного человека, с кем сживались многими и многими годами, кого привыкли уважать и бояться, кому привыкли повиноваться, человека одного имени и одной крови; наконец, — и весьма часто, — панический страх, внушаемый семье самим преступником, деяния которого так необычны и ужасны, что семья теряется, с кем она имеет дело — с безудержным ли в разврате деспотом или просто с сумасшедшим. Запуганные семьи терпят безобразия своих психопатов, не вынося сора из избы, предпочитая терпеть стыд и позор действительный, но тайный, стыду ложному, но открытому — стыду гласной обороны против постыдных посягательств ошалелого эротомана. Грубый и нескладный по форме, но меткий анализ такого скрытого в се-

мье полового преступления дал А.Ф. Писемский в драме «Бывые соколы».

Все указанные мотивы и соображения имелись налицо и в настоящем случае. Жертвы распущенного психопата ограничивались пассивным сопротивлением, заботясь лишь об одном, чтобы намерения его не переходили в действия. Но расходившегося скота было мудрено унять. Он зверел со дня на день все больше и больше: бил семейных походя и довел свою наглость до того, что мать, не в силах далее защищать свою дочь, удалила ее сперва к родным, а потом в закрытое учебное заведение, наперекор воле нежного родителя, который в отмщение за отпор, оказанный ему честною девочкой, решил не давать дочери никакого образования: коли она была мне непокорна, пусть будет не барышнею, но прачкою!

Семейный совет, обезопасив девочку, решил приняться за безобразника всерьез и, на первых порах, будучи не в силах уговорить мою доверительницу поднять руку на мужа, т.е. действовать уголовным порядком, попробовал домашние респрессалии. В последнее время психопат манкировал службою в магазине, хотя она была единственным источником его доходов. Ему фиктивно отказали.

— Наплевать!

Равнодушие это скоро объяснилось: скупясь в грошах для жены и детей, чуть не моря семью с голода, нежный супруг и родитель накопил на собственные удовольствия капиталец в 40.000 рублей да прибрал к рукам лучшие женины вещи.

Супруги разъехались. Через несколько дней муж требует, чтобы жена уступила ему младшего сына, ее любимца.

— Ни за что.

Тогда он выкрал мальчика обманом. Жена подала в сыскное отделение просьбу — найти исчезнувшего супруга и украденного ребенка.

По отъезде мужа жена осмотрела шкапы и сундуки с своим приданым: пусто, — все, что было получше, выбрано. В один

прекрасный день, в отсутствие жены, хозяин-вор возвратился — подобрать остальное. Когда он сходил с набитым саквояжем по лестнице, его настигла возвратившаяся жена.

— Где сын?

— Это моя печаль.

— Я не отстану от тебя, пока ты не покажешь мне его.

— Не отставай: ищи ветра в поле...

— Бери все, да сына отдай.

— Не отдам.

— Коли так, едем в участок.

— Едем.

Приехали.

— Вот мой муж: я о нем объявляла, что он пропал и увез у меня сына... а теперь нашелся, прошу его задержать.

— Помилуйте, господа, — говорит муж: — Она совсем сумасшедшая! Я просто собрался к Сергию-Троице и сынишку захватил с собою, а ей представляется Бог весть что...

В участке жену пристыдили неуместною ревностью, поздравили, что муж нашелся и... тем дело и кончилось. По выходе из участка супруг со своим саквояжем вспрыгнул на извозчика — и был таков. Жена помчалась за ним в погоню. Оглядываясь, он не узнавал ее, потому что она сняла шляпу и повязалась, как горничная, платочком. Так проследила она беглеца до одной из московских окраинных улиц, где он нырнул в ворота дома, показавшегося жене как будто знакомым... Прочитав на воротах фамилию домовладельца, она вспомнила, что была здесь лет пятнадцать тому назад, после своей свадьбы, с визитом; муж привозил ее сюда нарочно, чтобы похвастаться, какую он добыл себе красивую и воспитанную жену; старшая дочь купца-домовладельца была одною из трех невест, отказавших жениху-авантюристу... Естественно, что знакомство, начатое такою враждебною демонстрацией, более не продолжалось. Но муж потихоньку поддерживал связи с семьею своей бывшей невесты и, быть может, даже

под влиянием ее и затеял похищение ребенка; по крайней мере, мальчик был спрятан именно в этом доме.

Милая семейка ужинала и наслаждалась повестью героя о дневных приключениях, когда пред всею этою небольшою, но честною компанией выросла как из-под земли моя доверительница в сопровождении околоточного. Ребенок спал на диване... Началась глупая и подлая сцена. Взволнованную до полубезумия мать стыдили ее беспокойством за сына:

— Можно ли так гоняться за мужем? Что про вас люди скажут? Муж от того и ушел, что вы его замучили, чтобы немножко отдохнуть от вас...

— Бог с ним... мне его не надо... мне сына...

— Вот он ваш сын, не пропал. Не с чужим он, а с отцом.

— Я его возьму с собою.

— Что это вы? как можно везти ребенка в такую позднюю пору через весь город? Вон и дождик пошел... Лучше сами оставайтесь ночевать у нас.

— Нельзя; обо мне беспокоятся дома.

Порешили на том, что мальчик переночует в гостеприимной семье, а завтра утром мать за ним приедет. Потом принялись мирить мужа с женою.

— Это все родители, братцы да сестрицы вас ссорят. Бросили бы вы папашин дом, наняли бы квартирку... вот хоть у нас есть свободная.

— Это верно, — подтверждал муж, — клянусь: ничего не имею против тебя, а только не терплю я твоих родных. Поселимся отдельно, и вот увидишь, как хорошо заживем. Я много виноват пред тобою, но все заглажу...

Мираж счастья соблазнил давно не видавшую его женщину. Она согласилась разойтись с родными... Но, когда на другое утро она приехала за сыном, гостеприимная семья встретила ее как незнакомую:

— Что вам угодно?

— Где мой сын? мой муж?

— Почем мы знаем, где они скитаются? Пожалуйста, оставьте нас в покое с вашими грязными историями.

Одураченная ловким заговором женщина стала грозить, шуметь — ей засмеялись в лицо и вытолкали ее вон.

Она приходила еще и еще: один раз даже поймала мужа в недрах его нового семейства — даже вцепилась в него руками: на нее набросились всею семьею, оторвали ее от мужнина сюртука и вышвырнули на улицу, а муж тем временем улизнул.

— Я буду караул кричать, стекла бить стану! — грозит несчастная в безумии отчаяния.

Ей хладнокровно возражают:

— Ах, сделайте ваше одолжение! По крайней мере, тогда будет улика налицо, что к нам в дом ворвалась сумасшедшая и скандалит.

Только после этой долгой, но бесполезной погони за украденным сыном, пришел конец долготерпению бедной женщины. Скрепя сердце, она отреклась от мужа и подала прокурору жалобу, обвиняя семейного тирана в безнравственных покушениях на дочь и в похищении ребенка.

Родитель продолжал скрываться и отличаться. Не зная о жалобе, но предполагая, что жена ведет против него какую-нибудь законную мину, он, во избежание розысков и повесток, жил непрописанным. Несколько времени спустя, он выкрал у жены и другого сына — четырехлетнего... Но эта покража оказалась менее удачною: сестренка похищенного мальчика выследила отца до Рязанского вокзала и видела, как он сел в дачный поезд, — значит, живет где-нибудь на подмосковной станции. Нашли его близ полустанка Малаховки: выдает себя за вдовца и жуирует в свое удовольствие. Детей отдать отказался: законом к тому не обязан, — а жены не желает знать.

Моя доверительница, — по собственному ее признанию, от всех этих издевательств она была одною ногою в сумас-

шедшем доме, — поехала в Петербург и подала на Высочайшее имя прошение об отдельном виде и возвращении ей детей. В комиссии прошений пришли в ужас, прочитав мотивировку просьбы; обычно продолжительные в таких случаях справки на этот раз были наведены с резкою быстротою, и через месяц злополучная семья вздохнула свободно, выйдя из-под кошмара отцовских уродств...

Мать получила возможность распорядиться судьбою детей и воспитывать их прилично, без трепета и за их будущее, и за их честь. Добиться такой самостоятельности и законных прав на самозащиту было единственною целью моей доверительницы, когда она подавала жалобу. О каре преступнику она не думала. Напротив, теперь, когда высшее правосудие дало ей искомые права, она взяла на себя новую и нелегкую задачу — спасти виновного мужа от позорного наказания, а семью — от «марали». С этою целью, когда дело разбиралось на суде, и мать, и дочь воспользовались предоставленным им правом отказаться от показания. Родственники потерпевших давали показания сдержанные и осторожно-двусмысленные. Ни один опасный свидетель не был вызван. Словом, счастливого психопата вытащили за уши из омута те самые овцы, среди которых он всю жизнь был волком. Великодушие, очень дурно понятое и оплаченное: поверенный подсудимого, попросив суд об удалении свидетельниц из залы заседания, бесцеремонно облил их помоями беспутнейших выдумок, натолкованных ему полусумасшедшим клиентом... Представитель обвинительной власти, усматривая недочеты в следствии, обжаловал оправдательный приговор, и дело перешло в судебную палату.

Моя доверительница радовалась, что удалось спасти мужа, пока ей не выяснили последствий оправдания: муж опять получает право на детей, а она остается посмешищем, облитая помоями адвокатского краснобайства... За что?

Под впечатлением этого удручающего «за что?», потеряв веру в правосудие, с ненавистью к людям, полная слез,

проклятий, истерических выкриков, бродила она по улицам, как пьяная, не помня себя, — и сама не могла мне объяснить толком, как зашла она, что повлекло ее к Толстому, которого она до тех пор никогда не видала и даже читала мало... И Лев Николаевич разговорил ее...

Соображая всю рассказанную мною трагедию, я не полагаю, чтобы в ее весьма отвратительном герое работала исключительно злая воля, как думает моя доверительница, настойчиво доказывая, что муж ее в здравом рассудке.

— Помилуйте! какой он был умница в торговом деле!

Воля не столько злая, сколько больная. Очевидно, мы имеем дело с резким типом последовательного помешательства: moral insanity*, как классифицировал Маудсли.

Морализировать мой рассказ незачем: он ясно говорит сам за себя, без комментариев. Я только снова подчеркну сказанное мною вначале о темном царстве и его обманной патриархальности, строенной не на нравственном самосознании, но на лицемерных внешних отношениях. Ах, не вынести бы сор из избы! что люди скажут! ах, не принять бы нам на себя «марали»! И вот — во имя накопления в избе кучи вонючего, заразительного сора — несколько лет подряд держат на свободе злого и вредного сумасшедшего, способного на убийство и на изнасилование — на всякую мерзость, какую подскажет ему искаженная деятельность больного мозга. Еще более разительная подробность: держат на свободе — не жалея его, как больного, но, наоборот, считая безобразника за вполне здорового, в твердой уверенности, что он не сумасшедший, но изверг по природе. Самодурство домовладыки санкционировано семейным безмолвным соглашением, самозащита против самодура упразднена и воспрещена. Его пороки, его грязь, расплывшаяся в семье, не «мораль» для последней, но станет «моралью», когда выплывет наружу, к обществу, на его правый и строгий суд. Пошлая и без-

* Нравственное слабоумие (*англ. мед.*).

нравственная логика! Каким язычником надо быть, какого кумира надо создавать из молвы двух десятков злых языков, чтобы, избегая их нахальной сплетни, терпеть над собою иго заведомого безумца, бешеного и развратного, и трепетать не пред мыслью, что безумец этот, не дай Бог, убьет когонибудь или опозорит родную дочь, но пред стыдом, как бы этого «своего» безумца не убрали, куда следует, — в тюрьму или сумасшедшей дом!.. Я слышал от многих коммерческих людей совершенно серьезный упрек потерпевшей: «Как это она всетаки довела до огласки? Как-нибудь бы обошлась — смягчить бы, скрыть бы, замять бы. Жаль: хорошая семья — и вдруг скандал!» Этот панический ужас скандала диктует русским людям половину мелких и трусливых подлостей, какими полна столичная жизнь. И никогда-то никого-то ни от чего-то он не спас, — даже от огласки, против которой выставляется он панацеей, потому что факты, укрытые от суда, следствия, психиатра и газеты, все же оповещаются городскими слухами, да еще разукрашенные, с пестрыми прибавлениями и небылицами досужих салопниц. А портил и портит всегда, всем и во всем...

От автора Вскоре по печатании этого этюда изложенное в нем дело было разобрано московскою судебною палатою, обвинившею преступного мужа. Попав под манифест, он избавился от наказания, но, как лишенный прав состояния, потерял возможность отнимать у матери детей, чего доверительница моя только и добивалась.

В ОМУТЕ

...«Вы, полуматери и полукуртизанки»...
Из одной пародии

Дело было в отдельном кабинете модного ресторана, в центре Москвы. Мы не то обедали, не то ужинали в мужской дружеской компании. Как говорит один из героев Островского, день

прошел, вечер не наступил, а потому, был ли это обед или ужин, — не скажу в точности. Так — ели и пили.

Время, однако, мне важно обозначить, потому что и оно имеет некоторое значение в том, что я хочу рассказать дальше.

Сидели, пили, болтали. В соседних кабинетах было тихо. Вдруг эту тишину точно прорвало. И справа, и слева поднялся говор, смех, раздались бойкие глиссады на фортепиано, густой, хотя совсем необработанный, женский голос запел пресловутое «Клико» Паолы Кортес. В левом кабинете, очевидно, разыгрывалось какое-то недоразумение. Слышались женские голоса:

— Да глупости... поймите же, что нам так неудобно... мы вместе приехали, вместе и быть хотим... Они мужчины — должны уступить...

В ответ на все эти нетерпеливые выкрики что-то гудел и в чем-то извинялся вежливый басок распорядителя.

— Да кто там такие? — раздраженно вскрикнула одна из невидимок высоким сопрано; в ее голосе почудилось мне что-то знакомое.

Опять учтивое жужжание распорядительского баска и уже значительно пониженные тоны успокоившегося сопрано:

— А! знаю... Попросите его выйти ко мне...

Вслед за тем в наш кабинет вошел распорядитель и таинственно обратился ко мне:

— Вас спрашивают.

Я вышел не без недоумения, напутствуемый насмешливыми улыбками и остротами товарищей.

В коридоре меня ждала дама. К великому моему изумлению, я узнал в ней одну — как говорит пушкинская Татьяна — «мужу верную супругу и добродетельную мать». Верную и добродетельную — вне конкурса; своего рода жену Цезаря, которой не смеет коснуться подозрение. Встретиться с нею tête-à-tête в коридоре бойкого ресторана было столь удивительно, столь нео-

быкновенно, что, право, встань предо мною любимец московской ребятежи — слон «Мавлик» из Зоологического сада — я менее изумился бы...

— Ну что вы на меня уставились? — сердито бросила она мне, не подавая руки. — Я это. Я... Можете поверить вашим глазам.

— Анна Евграфовна! Как вы сюда попали?

— Совершенно так же, как и вы... Да это не ваше дело. А вот что: вы с кем?

Я назвал фамилии.

— А я с большой компанией. И у меня к вам просьба. У вас кабинет огромный, а нам приходится разбиваться по двум маленьким. Вас всего трое, а нас восемь. Следовательно, вы должны уступить нам вашу комнату.

— Сделайте одолжение...

— Пожалуйста. И… нельзя ли как-нибудь так устроить, чтобы ваши друзья не видали нашей компании? Мы своим дамским кружком… без мужчин! Могут быть знакомые — неловко.

Я уже взялся было за ручку двери в наш кабинет, когда Анна Евграфовна опять меня окликнула.

— А.В.! Надеюсь, что эта встреча останется между нами. Это должно умереть... Вы журналист... Сами художник... un bohémien...* вы поймете…

И скрылась за дверью своего кабинета. Мне показалось, что она пьяна, но от вина или от смущения — не разобрал. С какой стати я попал в bohémien'ы, и что я, в качестве bohémien'a, понять был должен — тоже.

Мы устроили перетасовку комнат совершенно благополучно. Было уже поздно — время ползло к двенадцати часам. За стеною шла самая завидная для любителя пьяного дела оргия. Хлопали пробки. Заказ следовал за заказом. Хо-

---

* Человек богемы (*фр.*).

хот, визг, крик, возня, танцы и, судя по смеху, выкрикам и темпу музыки, надо полагать, весьма разнузданные танцы, под пианино; половые так и шмыгали по коридору к дверям кабинета таинственной компании. Мужского голоса не было слышно ни одного. Очевидно, Анна Евграфовна не солгала: кутили дамы «сами по себе».

— Париж, братец ты мой, — усмехнулся один из моих друзей, кивая на стенку, отделявшую нас от бабьего разгула.

— Чего там Париж! — подхватил другой. — Просто Вальпургиева ночь какая-то. Броккен. Es trägt der Besen, trägt der Stock, die Gabel trägt, es trägt der Bock...*

— Хоть бы повидать этих ведьм, что ли? Между ними бывают прехорошенькие.

— А вот он видел... может нам рассказать...

Я поспешил замять разговор. Оргия между тем разгоралась все ярче и ярче. Веселье начинало переходить в истерику. Слышались уже не песни, а оранье, не смех, а пьяные взвизги, весьма похожие на истерическую икоту. Дамы, очевидно, ссорились между собой, язвили друг друга. Слов не было слышно, но в интонации хмельных голосов слышалось озлобление... Наконец гроза разразилась с великим треском. Мы услыхали грубое, совсем не женское слово; в стену ударился и рассыпался со звоном стакан, за ним другой...

Одна истерически захохотала, другая истерически заплакала, остальные истерически кричали, унимая и ту, и другую. Гвалт был невообразимый. Гуси, когда галлы лезли в Капитолий, и то — я думаю, — гоготали тише.

— В последний раз я с вами... черт вас всех возьми! — горячилось чье-то контральто.

— И прекрасно! только того и желаем, — визжала, судя по голосу, Анна Евграфовна.

---

* Сядь на козла, садись на шест, на вилах соверши свой въезд... (*нем.*; И.В. Гёте. Фауст. Пер. Б.Л. Пастернака)

Хлопнули двери, и несколько барынь, шурша платьями, мелькнули мимо нашего кабинета к выходу. Стало тише.

Мы тоже собрались уходить и платили по счету, когда снова явился распорядитель, хмурый и сердитый.

— Дама эта опять вас просит — в кабинет к ним зайти.

— Тебе нынче везет, как Неверу в «Гугенотах», — шутили приятели, прощаясь со мной. — Жаль только, что Валентина твоя, вероятно, лыка не вяжет.

Я вошел в «бабий кабинет», как успел уже прозвать его кто-то из нашей компании. Анна Евграфовна сидела у залитого вином стола. Кроме нее в комнате было еще две дамы. Но одна спала, лежа на диване спиною к свету, а другая хоть и сидела за столом, но в таком безнадежно-пьяном отупении и с таким искаженным от вина лицом, что, право, сомневаюсь, узнаю ли я ее, если встречу когда-нибудь трезвую. Стоило взглянуть на нее, чтобы определить не только, что она напилась, но и — чем напилась: это одутловатое сизое лицо, на котором переливались все тона от ярко-красного до серого цвета, было живою бутылкою с коньяком.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала Анна Евграфовна.

Судя по неособенно складной речи, по чересчур блестящим глазам и не в меру румяному лицу, она тоже приняла немалое количество винных капель, но бодрилась.

— Вы простите... у меня к вам просьба. Тут... негодяйка одна поссорилась с нами и убежала, не заплатив своей доли, а она из нас самая богатая. Ну... и у меня не хватает заплатить по счету... Можете вы меня выручить? А то я браслет оставлю в залог.

Я приказал записать счет Анны Евграфовны на себя. Она поблагодарила и собралась было уйти из ресторана, но ее подруги были «в состоянии недвижимого имущества».

— Ну что я с ними буду делать? — отчаялась Анна Евграфовна, — они на моем попечении... я должна их отвезти домой... Эта вот — барышня… у нее мачеха — такая prude...

У этой муж — зверь... если она одна, без меня, домой явится в подобном виде, он ее убьет, как собаку... А я бы как-нибудь ее выручила, наврала бы что-нибудь такое: болезнь или обморок, опьянение от эфира или о-де-колона... Мало ли у нас вывертов? Тем живем!

Я, признаться, был отчасти рад бесчувственности подруг. Меня грызло любопытство. Хотелось разобраться: что это за компания предо мной? Во что швырнул меня счастливый или несчастный — как хотите, так и судите — случай?

— Остается одно, — предложил я, — сидеть и ждать, пока они немножко проспятся. А чтобы не скучно было в ожидании, не заняться ли нам маленьким крюшоном?

Анна Евграфовна окинула меня пытливым взглядом.

— Послушайте, — смущенно возразила она, — вы... надеюсь, хоть и видите меня в странной обстановке, — все-таки не думаете...

Я поспешил ее уверить, что «все-таки не думаю», и мы уселись к столу в самой дружеской беседе.

— Вы, однако, добрый малый и хороший товарищ! — говорила Анна Евграфовна, между тем как я смотрел на нее и изумлялся: совсем не та женщина! Всегда у меня при виде этой большой полной блондинки являлось представление о чем-то степенном, солидном, семейном. О представительстве у домашнего очага за чайным столом, у серебряного самовара, или в гостях, рядом с мужем, таким же солидным, представительным, и уже в порядочных чинах. Представление о типичной русской матроне, которая дома сидит, детей растит и шерсть прядет. И вдруг матрона превращается в опереточную примадонну под хмельком. Вакхический румянец, вакхический огонек в помутившихся глазах, вакхический задор нескромной речи — почти до бульварно-закулисного жаргона... и при этом пьет, как матрос. Крюшон не выпивался, а таял на столе, как снег под солнцем... Метаморфоза, каких не найти и у Овидия!

— Да-с... Вот так-то! не ожидали меня встретить? Да? А я этак часто... Я, знаете, хотела было вас тоже втащить в наше общество, но тут еще две ваших знакомых были, — они и побоялись, — дуры! — что стыдно, что вы рассказывать будете. А я, что вы рассказывать будете, не верю. А что стыдно — чего же стыдно? Самих себя не стыдимся, вас — нечего... Мы часто этак компанией, часто!

Она помолчала.

— Вы меня, конечно, сейчас презирать изволите? — начала она со злым огоньком в глазах, — и вон ту? — она ткнула пальцем в сторону спавшей на диване дамы. — И вон эту, мою Людмилу, — она кивнула на безнадежно отупевшую девицу.

— Ну, вашу Людмилу, мне кажется, не презирать сейчас, а оттирать надо. А вот, что вас заставляет пускаться в этакие авантюры, — признаюсь, для меня загадка...

— Что? — скука! То есть то же самое, что вас, мужчин, гонит из дома в эти кабаки. Магнит забвения, подъема нервов шампанским и коньяком. Ведь я вас не спрашиваю, зачем вы сюда попали... У вас, небось, и дела-то побольше моего, и развлечения широкие — не моим чета, а все-таки вы здесь. Сидите, едите, пьете и уж не Бог весть какие умные и веселые разговоры с вашими друзьями разговариваете... Все это вы прекрасно могли бы проделывать и дома, однако вы идете в ресторан. Тянет вас сюда электричество это, воздух ресторана, возможность разнуздаться, сюртук снять и язык распустить: «ндраву моему не препятствуй» на благородный манер, с приличиями и «интеллигенцией». Тянет — терпимость, публичность распущенности. Дома и распустишься, мол, да все не так. При том — что за охота? У своего приевшегося и присмотревшегося очага, где — что нового ни придумай — все на старое смахивать будет... А вот в чужом месте — это другое дело. Эх, господа!.. У вас вон театральные интересы, газетные интересы, общественные... захотите

политикой заниматься — политические будут... А у меня или у них обеих — что? Дом — и один дом! скучный, постылый дом, где живешь не как человек, а хуже машины... Муж с десяти часов до половины пятого на службе, в пять часов обедаем, в шесть он ложится спать и спит до восьми. В это время ни я, ни дети пикнуть в доме не смеем. Иначе — сцена. Тоска, тишь, могила. Встает, пьет чай, затем уходит в клуб — и возвращается поздно ночью, после второго штрафа. А черт его знает еще — может быть, и не из клуба... за вами, мужчиньем, разве уследишь? Да и следить-то охоты нету: сокровище какое! Ведь вот он думает же, что я сейчас у Людмилы в гостях... придет ли ему в голову, что мы обе в этом кабаке? Так и у меня — насчет его... Ну-с, вернулся, бухнулся на постель, захрапел. Утром газета и кофе, опять служба, та же раз навсегда заведенная шарманка жизни. О чем мы с ним говорим? О том, что жаркое засушено или суп перестоялся. Я забыла, когда мы в последний раз улыбались друг другу. Смотрим друг на друга, как контрагенты по хозяйству, а не как муж и жена. Точно между нами не брак, а какой-нибудь юридический контракт лежит. Он обязан зарабатывать шесть тысяч в год и из них тратить в доме пять. Я обязана за эти пять тысяч доставлять ему все удобства — от кухни до любви включительно. Помилуйте! Разве это жизнь? Это колесо, в котором вертишься, как белка. И когда колесо чуть-чуть приостанавливается, белка норовит выскользнуть из него на свободу... хоть как-нибудь, хоть куда-нибудь.

— Это все я слыхал не раз и хорошо понимаю, но зачем же выпрыгивать — непременно в кабак?

— А что же мне делать?! Влюбиться, что ли, в кого-нибудь прикажете? Так вот представьте себе: не могу. Совсем — «я другому отдана и буду век ему верна». Темперамент ли у меня такой, старое ли воспитание это делает — только мой Евлампий Ильич может быть спокоен: роговой музыки он на своей голове никогда не услышит. Не по долгу — нет. Какой

может быть долг к человеку, который в жизнь твою кроме тоски ничего не внес, не вносит и никогда вносить не будет? А не надо мне ничего этого... Не хочу, не нравится! А пить буду. «Мы пить будем, мы гулять будем, когда смерть придет, умирать будем». Voilà! * Пьяная, но верная супруга. Ново — не правда ли? Вот вам тип для этюда.

— Благодарю вас. Но что вы все так экстренно, прямо в крайности: либо пить, либо влюбиться... Разве только и света в окошке? Ваша белка разве не может дома разнообразить свою беготню? У вас дети есть.

— И если бы вы знали — какая при них превосходная бонна! Она их понимает лучше, чем я; они ее понимают лучше, чем меня. И любят больше. Стоит мне вмешаться в порядки детской, и сейчас же выйдет какая-нибудь глупость. Либо меня до истерики ребята доведут, либо я заставлю детей разреветься. Не умею... Ну просто не умею быть с ними. И моей Амалии Карловне, в конце концов, всегда приходится поправлять плоды моего непрошенного вмешательства. А супруг ворчит: «Что ты, матушка, лезешь не в свое дело? Есть у тебя Амалия Карловна — ты ей ребят и предоставь. А то покоя в доме нет». Нет, наука быть матерью не шутка, а нас ей не учили. Нас учили быть женами, а не матерями. Напрасно говорят, что быть матерью, переполняться материнской нежностью — это так естественно, что это от самой себя должно исходить. Это правило для естественных натур, а не для нас искаженных городской жизнью выродков. Я буду дика просто бабе, чудна, а баба мне далека — чужая, непонятная тварь. Нас на материнство дрессировать надо, заново дрессировать, потому что мы перестали видеть в нем свое естественное назначение, заслонили его другими потребностями и декорациями. Joie de vivre **, утеха жизнью, заслонила ее

* Вот! Так-то! (*фр.*)

** Радость жизни (*фр.*).

смысл, raison de vivre *. «Чтоб иметь детей — кому ума недоставало», — Грибоедов сказал. А вот — подите: не достает же... Ведь сознаешь порою, что так нельзя. Еще как совестно-то иной раз бывает: какая же ты, мол, женщина, если ты детям своим не мать? Стараешься, принуждаешь себя, и, кроме тоски и утомления для себя, да детского рева, — никаких результатов. Не умею, и все тут. А доучиваться — поздно: вы слышали, например, — моя педагогическая практика супругу мешает. Да и неохота. Молодость проходит, мне уж тридцать лет, хочется самой взять от жизни хоть какие-нибудь удовольствия. Ну... ну — и вот: всякий веселится, как и где ему приятно...

— Вы читали бы что-нибудь?..

— Ах, не говорите банальностей! «Читали бы что-нибудь»! Что читать? Серьезное — скучно; к чему мне? К тому же и не так я учена, чтобы серьезно читать. Пробовала: половины не понимаю, устаю до смерти... Голова совсем не работает. Жизнь и так скучна, — что же за охота себя еще утомлять и мучить? А роман возьмешь — все равно, обязательно на «cabinet particulier» ** наткнешься. Эту же приманку, как вы сами видите, я и без романов знаю. Который час? — резко оборвала она свою речь.

— Четверть второго.

Анна Евграфовна вскочила, бледная как полотно; хмеля ее точно не бывало.

— Черт знает что, — сказала она сквозь зубы. — Какая, однако, я дура. Болтаю с вами, а ведь *он* в два, наверное, дома будет. А мне надо еще раньше, чем самой к дому ехать, — вот этих двух доставить в места родные. Если муж не застанет меня — беда, будет буря. Ведь это вы, господа мужчины, имеете право рыскать, где угодно, во всякое время дня и ночи, а нас за это бьют!

---

* Смысл жизни (*фр.*).

** «Отдельный кабинет» (*фр.*).

— И плакать не велят?

— Нет, вы не смейтесь. Я не в переносном — в прямом смысле говорю...

— Тьфу! мерзость какая!

— А вы думали, что если человек смотрит ангелом, так он ангел и есть?! Но ведь муж и прав, в сущности говоря, будет, если вздует меня. У нас имя общее, а я его треплю, черт знает где бываю. Хорошо, что пока Бог милует. А вдруг случится скандал, я окажусь к нему припутанной?! Например — вот, хоть как сегодня. Не будь, по счастью, вас в ресторане — как бы я выкрутилась из затруднения со счетом? Пришлось бы оставить здесь вещь, впутать в дело и прислугу, и хозяина ресторана... Красиво! нечего сказать.

Говоря это, она расталкивала отупевшую девицу; та зевала и хлопала глазами, но наконец сообразила, чего от нее требуют, и стала лениво одеваться.

Спавшая дама, едва ее окликнули, вскочила, как встрепанная, и заметалась, на скорую руку хватая свои разбросанные вещи.

Обе были одеты превосходно, где-то я их видал. Моим присутствием они нимало удивлены, по-видимому, не были...

— Прощайте, — сказала Анна Евграфовна, подавая мне руку, — помните: молчание. А вообще, если хотите, напишите: это ничего, это, может быть, даже полезно будет. И мне, и другим. Я ведь не исключение, мой друг! Далеко не исключение! Нас много — гораздо больше, чем вы, может быть, думаете... этаких секретных виверок.

И вот ехал я домой в глубоком раздумье, рассуждая о том, что сейчас видел и слышал. Вспоминал я наши мужские сходбища и кутежи, в которых не раз приходилось принимать участие и Евлампию Ильичу, о ком сейчас только — хуже, чем с ненавистью или даже презрением... нет! с холодным безразличным равнодушием — говорила его жена. Вспоминал, — и все в них было тоже и порочно, и пьяно, и неумно, правда. Но вместе с тем, не

знаю почему, в памяти у меня все вертелись эти стихи эпикурейца Клавдия на пиру умирающего Деция из «Двух миров» Майкова:

Ну, да!
Два пальца в рот, и вся беда!
А вот что будет, как ворвется
Сюда весь женский Рим! Начнется
Вот тут-то оргия...

И нехорошо на душе становилось.

1894

МАМКА

Странную историю рассказал мне наезжий из Москвы адвокат. Настолько странную, что выслушав, я напрямки сказал ему:

— Не врете, так правда. А, впрочем, спасибо за сюжет.

— Помилуйте! Я же сам вожусь с этим делом... мне ли не знать всю подноготную?

В одну московскую семью приезжает гостья, пожилая дама из провинции. В Москву она прибыла по делу — утверждаться в правах небольшого наследства, которое нежданно-негаданно свалилось ей от брата, холостого чудака и нелюдима, ненавидевшего свою родню. Старик умер одиноко, не оставив завещания, и имущество его досталось сестре — весьма кстати, потому что до тех пор она жила в страшной бедности, почти в нищете. С московскою семьею наследницу свели деловые отношения, так как москвичи тоже приходились покойному какою-то седьмою водою на киселе. Дама была впервые в доме, ее угощали, занимали, вывели к ней детей, и, наконец, красивая, дородная мамка торжественно вынесла последнее произведение хозяев — шестимесячного младенца.

Дам, особенно пожилых и детных, сахаром не корми, но дай повозиться с «ангелочком», а гостья, вдобавок, только что успела предупредить хозяйку, что безумно любит маленьких. Но, к удивлению присутствующих, она — чем бы смотреть на ребенка — уставилась во все глаза на мамку, побледнела, задрожала, а та, едва подняла глаза на гостью, тоже стала белее снега.

— Что это, Господи? — глухо сказала гостья, — в глазах рябит, что ли? Ольга, это ты?

Мамка пошатнулась, ребенок скользнул с ее рук, — счастье, что не на пол, а в кресла, — а сама она повалилась на ковер, в глубоком обмороке.

Переполох поднялся ужаснейший. Мамка лежит как пласт. Гостья над нею мечется в истерике — и хохочет, и плачет, и бранится. А хозяева ничего не понимают, только чувствуют: скандал!

— Анна Евграфовна! успокойтесь! что это значит? вы знаете нашу Акулину?

— Какая там Акулина? — визжит гостья, — это Ольга, наша Ольга!

— Да помилуйте! откуда вы взяли Ольгу? Акулина! у нее и в паспорте...

— Покажите паспорт.

Принесли. Паспорт правильный: Акулина Ивановна Лаптикова, крестьянка Некормленой губернии, Терпигорева уезда, Пустопорожней волости, деревни Заплатина, Неурожайка то ж, девица, 28 лет, росту выше среднего, лицо чистое, волосы русые, глаза серые, нос и рот обыкновенные, особых примет не имеет, прописка в порядке, больничный сбор уплачен...

— Где вы ее достали?

— Акушерка знакомая привела.

Анна Евграфовна повертела паспорт в руках, посмотрела на очнувшуюся мамку и решительно заявила:

— Паспорт фальшивый.

— Полно вам!

— Фальшивый, говорю вам. Это не Акулина, это — Ольга, моя племянница, которая шесть лет тому назад, — как ее мать, а моя сестра, Евлампия, умерла, — не захотела с нами оставаться, уехала в Питер работы искать... Ты — Ольга? Или нет? Признавайся! Что уж тут? Не спрячешься.

— Я, тетенька... — пролепетала мамка.

История разъяснилась в таком виде.

Ольга N., «дочь бедных, но благородных родителей», по смерти матери осталась восемнадцатилетнею бесприданницею на шее у тетки, которая, сама нищая, ненавидела девушку, как лишний рот в семье. Когда Ольга, чувствуя свою неуместность в теткином доме, запросилась на волю, в Петербург, Анна Евграфовна была рада-радехонька ее сплавить. Сколотив несколько рублей на дорогу, продав разные вещи, Ольга уехала, что называется, в одном платьишке. На прощанье много не горевали, расстались сухо, а затем Ольга — как в воду канула, и шесть лет о ней не было ни слуха, ни духа — до ее совершенно нечаянного, негаданного, мало сказать: сценического, — сверхтеатрального выхода в роли мамки ребенка господ Игрековых.

Допрошенная теткою и «господами», Ольга, alias * Акулина, рассказала о себе следующее.

Прибыв в Петербург, она напрасно обивала пороги в конторах, посредничающих по спросу и предложению труда, напрасно печатала объявления в газетах: ей не везло. На настоящий интеллигентный труд она не годилась — по недостаточности образования, полученного кое-как, из пятого в десятое, в жалком захолустном пансионишке. В бонны не брали: где языков требовали, а ими Ольга не владела, где спрашивали:

* Иначе говоря (*фр.*).

— Платье у вас приличное есть?

— Вот — только, что на мне.

— Так вас — прежде, чем в дом взять, еще одеть придется! Так ходить нельзя: у нас порядочные люди бывают, да и дети смеяться станут, скажут — нищая... Нет, прощайте: тратиться на туалет бонны совсем не входит в мои расчеты.

— Вычтите из жалования.

— Да хорошо, если вы у нас уживетесь, а если нет? Плакали денежки. Нет, прощайте. За пятнадцать целковых в месяц вашей сестры сколько угодно, — только свистни... какие еще! с туалетцем, с языками.

Впрочем, три раза ей удалось пристроиться с грехом пополам, но ненадолго: рослая, здоровая девушка, Ольга едва успевала поступать на места, как ее начинали преследовать мужчины — ухаживаньем, а женщины — ревностью, и ей приходилось бежать либо от чересчур подозрительных Юнон, либо от чересчур назойливых Зевесов. А девушка она была чистая, целомудренная, воспитанная в строгой семье. Окружавшая ее в столице мужская облава мерзила ей глубоко.

Так пробилась она, точно рыба об лед, два года, из которых добрых полтора — по подвалам, углам, питаясь хлебом, луком да квасом. Одичала, огрубела, но упрямо верила, что настанут для нее лучшие дни. Вернуться к тетке не хотела ни за что, лучше — в могилу. О московском дяде хорошо знала, что, хоть умри она у него на пороге, а он ее даже в дом не пустит, двугривенного не вышлет. Кругом шныряли гадкие твари, торговки и посредницы разврата, — все в один голос кричали ей: дура, за что ты себя мучишь, когда у тебя есть драгоценный капитал молодости и красоты? Девушка, однако, держалась крепко — и выдержала.

— Хоть бы в горничные кто взял! — рыдала она.

А подвал ей хладнокровно возражал:

— В горничные тебе нельзя. Ты образованная, дворянка.

— Да какая я образованная? Я и знала-то мало, теперь забыла все...

— Дворянка!

И действительно, когда выпадали ей места в услужение, занять их мешал Ольге именно ее дворянский вид на жительство.

— Нельзя, милая, — объясняли ей, — горничная вещь ходовая. Ее сгоряча и крепким словом обзовешь, и по затылку если даже стукнешь, — все должна стерпеть... По мировым чтобы не шляться... дело житейское... Ну-с, а вы дворянка, образованная, с вами так нельзя... Стеснять же себя ради вас в домашнем обиходе — согласитесь...

Ольга соглашалась и уходила, полная отчаяния. Если что ненавидела она теперь, так это именно свой дворянский паспорт, по праву рождения насуливший ей всяких житейских привилегий, а теперь не позволявший ей зарабатывать на жизнь.

В один прескверный день она поняла, что дальнейшая борьба немыслима, что перед нею остаются на выбор — либо постылое возвращение к ненавистной тетке, либо — торговля собою. Как ни противно было ей первое, а все же лучше разврата. Случилось ей ненароком заработать несколько рублей поденщиною, шитьем, распродала платьишки, которыми обзавелась было на некоторых кратковременных местах своих, и, распростившись с Питером, тронулась восвояси. Ехала с ужасом, не веря, что доедет, и все надеясь: вот-вот случится такое чудо, что спасет и выручит.

В вагоне насупротив Ольги поместилась молодая женщина, краснолицая, веселая, выпившая. Едва поезд тронулся, как Ольга и попутчица ее разговорились и уже за Колпиным были приятельницами. Заметив, что Ольга едет уж очень налегке и голодная, женщина угостила ее баранками, колбасою, чаем, водкою. Водки Ольга не пила, а попутчица прихлебывала

усердно и вскоре стала столь весела, что обратила на себя внимание кондуктора и настолько заполонила его сердце, что получила приглашение «погостить» у него в служебном отделении. Веселая особа согласилась, но — пред уходом — попросила Ольгу припрятать маленький узелок.

— Потому, — шептала она, — я к вам, милая, доверие получила, а кавалер этот — кто ж его знает? Напоит да оберет... А тут у меня, миленькая, пачпорт да двенадцать рублев денег.

И ушла.

Ольга знала, что спутницу ее зовут Акулиной Ивановной, что она крестьянская девица Некормленой губернии, Пустопорожней волости, деревни Заплатина, Неурожайки то ж, — что она едет на готовое место, выписанная, по рекомендации от конторы, белою кухаркою, в незнакомую господскую семью в дачное имение под городком Клином. Препроводительное письмо, по просьбе Акулины Ивановны, она сама ей читала: оно лежало тут же, с паспортом, с деньгами. Ей было до боли завидно этой бойкой, сытой, устроенной при месте женщине и жаль своих собственных неудач. Она думала о своей судьбе и ее и готова была поменяться с нею хоть сейчас своим ненужным ей нищим дворянством и своим забытым полуобразованием. Думала, покуда не уснула.

Проснулась от внезапной остановки поезда. Кругом — поле, брезжит рассвет, люди бегут мимо окон, по насыпи, машут руками, что-то кричат.

— Что случилось?

— Женщину убило. С поезда свалилась. Насмерть! Вздумала на ходу из вагона в вагон перейти, — ну а хмельная была. Ее и стрясло. Так — всю голову в лепешку.

Женщина эта была веселая Акулина Ивановна.

И вдруг — точно молнией озарило Ольгу: а узелок-то?! Ведь он у нее, у Ольги. Там — паспорт, там — рекоменда-

ция... Ведь это, значит, сразу на готовые харчи?.. В поезде никто ее, Ольги, не знает, Акулины Ивановны тоже...

И когда на ближайшей станции был составлен протокол о происшествии, и Ольгу, как соседку погибшей по вагону, жандарм спросил:

— Как звать?

Она смело ответила:

— Акулиной Ивановой... Лаптикова — прозвище.

— Покойницу знала?

— Нет... Впервые дорогой съехались...

— Говорила с нею в дороге?

— Как же, господин офицер! Очень даже много говорили.

— О чем?

— О своих делах. Насчет местов больше.

— А как ее звали по имени? Не упомнишь?

— А тоже Акулиной, господин офицер. С того у нас и разговор пошел, что дивно нам стало, как это мы обе, незнакомые, сошлись, и обе Акулины.

— Паспорт?

— Вот он.

Жандарм поглядел, — все выправлено в порядке, — записал.

— Куда едешь?

Ольга назвала.

— Ожидай: можешь быть вызвана как свидетельница. Грамотная?

— Не обучена...

— С Богом.

В вагон Ольга возвратилась уже не дворянкою N., но крестьянкою Акулиною Лаптиковою. Свой собственный паспорт Ольга-Акулина запрятала в своих вещах, а по паспорту Лаптиковой явилась в Клин к обозначенным в препроводительном письме господам. Оставаться у них на службе она, конечно, не собиралась: она ехала, как рекомендованная белая

кухарка, а и готовить-то путем не умела, — разве самые простые кушанья.

— Больше недели меня не продержат, выгонят, — рассуждала она. — А мне того и надо. Как приеду на место, сейчас себе сошью шерстяное платье, чтобы сколько-нибудь вид иметь. А потом — в Москву, там меня никто не знает. С этим видом да с моей наружностью и ловкостью я себе хорошее место найду. Денег тратить не буду, посылать мне некуда, харчи готовые, одеться, обуться простому человеку немного надо, — скоплю сто рублей, тогда можно будет и опять дворянский паспорт вытянуть из-под спуда, и опять поеду в Петербург искать места подходящего, приличного... С одежею да с возможностью выжидать, перебиться, — найти место можно. А без этого нашей сестре, горемыке, одно место — на панели.

Действительно, господа в Клину продержали Ольгу недолго. Несколько дней она сказывалась больною, а когда выздоровела и стала готовить, господа разразились лютою бранью на мошенничество конторы, приславшей им вместо опытной кухарки совсем первобытную стряпку, и выдали девушке расчет и денег на обратный билет. Как и собиралась, она отправилась в Москву, записалась в тамошних конторах и, благодаря своей симпатичной внешности и представительности, действительно, в самом скором времени получила место горничной в богатом купеческом доме.

Место Ольге попалось чудесное: дела мало, денег много. С подарками, «на-чаями» и т.д. она зарабатывала рублей 25 в месяц. Пятнадцать тратила на себя, десять относила на книжку, в сберегательную кассу. В доме было много женщин. И хозяйке, и дочерям ее очень полюбилась красивая, смышленая, отесанная горничная. Ей много дарили вещами, и обращались с нею настолько хорошо, что Ольга не раз подумывала, уж не признаться ли ей во всем? Люди хорошие, — авось помогут и на ноги поставят. Но ложный стыд

и страх, что ей не поверят, заподозрят за нею какое-нибудь темное дело, ее удержали.

— Еще боялась: за беглую нигилистку почтут, — наивно оправдывалась впоследствии девушка.

В скором времени хозяйка Ольги отправилась в Крым и взяла ее с собою прислугою. В Крыму они оставались недолго: пришла телеграмма, что в московском доме случился пожар, много погорело. Возвратясь в Москву, Ольга убедилась, что в числе других погоревших вещей погиб и ее сундучок. Дорогого в нем ничего не оставалось, но... между крышкою и обивкою его был Ольгою заклеен второй ее паспорт, на собственное ее имя Ольги N. Таким образом, она утратила свою настоящую личность и навеки осталась крестьянкою Акулиною Лаптиковою. Поразило ее это страшно; она плакала горькими слезами, не смея никому объяснить, о чем так горько разливается. Хозяйка, чтобы утешить ее в пропаже погорелого имущества, подарила ей несколько денег, но радости оттого Ольге не прибавилось.

Сто рублей она давно накопила, но полагала, что теперь они ей — ни к чему. Об ее сбережениях было известно в доме, и Ольге отбоя не было от женихов, которые сватались к ней и сами, и через свашек, чуть не каждый день. Разумеется, она всем упорно отказывала и сердила тем свою хозяйку, которой непременно хотелось в награду за хорошее поведение выдать Ольгу замуж — «покуда не свертелась». Она даже нашла ей сама жениха, одного из приказчиков своего мужа, человека нестарого, солидного и красивого. Ольга и ему отказала. Хозяйка очень разгневалась. В этом упорстве Ольги она видела что-то скверное, безнравственное.

— О красоте своей много мечтаешь! — жестоко говорила она, — в содержанки собираешься.

— Помилуйте, барыня! — оправдывалась девушка в напрасных слезах.

— Тогда — какого же ты принца дожидаешься?!

Одна из барышень по зиме была просватана. Жених ее, московский купчик-ухарь, из цивилизованных, женился ради денег. Некрасивой и золотушной невесте он возил букеты и конфеты, а хорошенькой горничной при каждом удобном случае подмигивал, — золотой сунет в руку, то ущипнет, то поцелует. Девушка была в отчаянии. Под гнетом этого назойливого ухаживания она чувствовала себя чуть не преступницею.

— Совестно уж очень! Люди меня обласкали, одели, обули, а выходит, точно я вместо благодарности отбиваю.

Пошла и рассказала все хозяйке. Вышел скандал. Жениху отказали, а «Акулину» — тоже со двора долой, чтобы вперед застраховать хозяйских дочерей от опасной конкуренции. История огласилась, и в хороших купеческих домах «Акулина» места не нашла, пришлось спуститься пониже, приютиться в семье какого-то бухгалтера... Но и отсюда ее выжила злополучная красота! Она начинала Ольге мешать почти столько же, сколько стеснял ее когда-то дворянский паспорт, но отделаться от этой обузы было труднее, чем от старой.

Так, переходя с места на место, Ольга переменила нескольких хозяев. Замуж она упорно не шла, все надеясь, что как-нибудь, хоть чудом, да выскочит на прежнюю свою колею, вернет утраченное звание, поедет в Петербург, и тогда начнется для нее жизнь сызнова. В прошлом году случилось ей жить на месте, в подмосковном дачном поселке. За нею стал сильно ухаживать местный лавочник, человек зажиточный, из кулаков, красивый, властный, грубый. Ольга отвергла его искания так же, как и все другие. Но это был хищник не из таких, чтобы упустить полюбившуюся им добычу. Однажды Ольга пила чай в гостях у какой-то нянюшки-соседки, и та угостила ее вареньем, покушав которого, девушка впала в глубокий, мертвый сон. Пробудилась она в объятиях своего преследователя.

Лавочник успокоил взрывы отчаяния погубленной девушки обещанием жениться на ней по осени, и Ольга покорилась своей судьбе с тупым фатализмом, который вообще овладел ею с тех пор, как пожар уничтожил ее подлинный документ...

— Да неужели вы даже ни разу никого не спросили, как вам восстановить себя в утраченных правах? — спрашивали ее впоследствии.

— А кого я спрошу? кому доверюсь? Ведь признаться надо было бы... Страшно! Я законов-то не знаю...

Когда осень пришла, и господа Ольги вслед за другими дачниками потянулись в город, — лавочник объяснил своей невесте, что он с удовольствием и в самом деле женился бы на ней, если бы, к несчастью, уже не был женат. Ольга, как сама выражается, «наплевала ему в глаза», но — ей оттого лучше не стало. Она была беременна. Господа, сожалея о ее печальной истории, держали ее у себя, пока ее положение не сделалось слишком заметным, — затем, конечно, уволили... Ольга съехала на квартиру, которую ей посчастливилось найти задешево у какой-то повивальной бабки. Та уговорила молодую женщину, — когда ребенок родится, сдать его в воспитательный дом, а самой пойти в кормилицы...

— Выгоднее этих мест, если в хороший дом попасть, нету. Ты красавица, тебя в любой княжеский или графский дом руками оторвут...

И действительно, когда пришла пора, место она нашла Ольге превосходное... Но — на этом месте она и встретилась со своею теткою...

— Где же теперь эта Ольга? — спросил я рассказчика.

— У тетки живет... Ту страшно поразила ее история... Клянет себя, что загубила девку, ухаживает за Ольгою, как за родною дочерью... Деньжонки-то теперь есть, можно жить не ссорясь.

— Что же так до конца дней своих она и останется в крестьянских девицах Акулинах?

— Нет, устраиваем ей восстановление в правах. Только — сложная штука.

— Почему?

— Да потому, что и тетка, и господа эти, у которых она в мамках жила, наглупили, огласили историю. Проще бы всего — Акулинин паспорт сейчас же в клочки, приехать на родину и заявить о потере вида на жительство. Никаких бы хлопот... Там ведь ее все знают. А тут стало известно, что она по чужому виду проживала...

— Так что же?

— Преступление же это. Уголовщина. Ну спросят, а как достался вам этот чужой вид? Присвоила, — опять преступление. От кого? От женщины, погибшей при сомнительных обстоятельствах... фатальный круг уголовных сцеплений. Придется перешагнуть через суд и публичную огласку, — нечего делать. А она и слышать не хочет. Чуть о суде упомянем, так и затрепещется...

— Знаете что? — сказал я.

— Что?

— Посоветуйте-ка тетке этой Ольги поскорее приискать ей жениха, а Ольге — непременно немедленно выйти замуж.

— Что же будет?

— Да очень просто, получится третья фамилия, в которой утонут и Ольга N., и Акулина Лаптикова... Останется новая полноправная имярек какая-нибудь.

Адвокат засмеялся.

— Знаете, а ведь это идея. Но Акулина-то останется, все-таки...

— Что за важность? Это уже от мужа зависит, каким уменьшительным именем звать свою жену. Можно Акулину Олею кликать, и Ольгу Акулею... дело вкуса и привычки.

Такие-то причуды случаются на свете, господа!

1898

КЕЛЬНЕРША

I

Сидим мы с знакомым немцем, профессором русского университета в ученой командировке, в некотором константинопольском кафешантане. Скука страшная; безголосые певицы, сиплые «дизёзки», дамский оркестр aus Wien *, кто в лес кто по дрова. В Константинополе по вечерам туристу некуда деваться: день очень интересен, — по крайней мере, для охотника до старины, византийщины и азиатчины, а ночью, если вы избалованы удовольствиями, лучше спите, — все равно ничего не найдете путного.

Молодая, рослая кельнерша поставила перед нами по рюмке коньяку, повернулась и ушла.

— Посмотрите, какая прелестная фигура, — указал я компаньону, вдогонку ей.

Кельнерша остановилась и обратила к нам улыбающееся лицо.

— Благодарю вас за комплимент, — услыхал я насмешливый ответ на чистейшем русском языке.

— Вот тебе раз! Соотечественница?!!

— Как видите.

— Так присаживайтесь к нам, пожалуйста, разделите компанию.

Кельнерша согласилась. Это была очень красивая женщина, лет двадцати пяти-шести, не старше, с настоящим великорусским лицом, круглым и розовым; карие глаза смотрят бойко и весело, а главное — умно; сочный рот улыбается, русых волос хватит на три хороших косы... прелесть что за создание!

— Ну-с, господа, — начала она, укладывая на стол холеные белые руки, — во-первых, требуйте чего-нибудь порядочного,

---

* Из Вены (*нем.*).

подороже, чтобы я имела право как можно дольше просидеть с вами; я давно не встречала русских и рада поболтать.

Спросили шампанского.

— Во-вторых, — продолжала молодая женщина, разливая вино по стаканам, — говорите, кто вы такие? Я терпеть не могу сидеть с незнакомыми людьми и только для вас, как соотечественников, делаю исключение.

Мы назвали свои имена.

— Вам не сродни писатель Амфитеатров? — спросила она меня.

— Это я сам, но — откуда вы знаете мое имя?

Оказалось, что кельнерша выписывает большую петербургскую газету, где я в то время преимущественно работал.

— Вы не удивляйтесь, что я трачу свой заработок на журналы, — улыбалась она. — Хоть я и оторвалась от России, а скучно без родного слова. Я ведь истая русачка... очень русская, как говорит тут у нас в оркестре одна еврейка.

— А можно узнать ваше имя?

— Наталья Николаевна Голицына.

— Ой, какое громкое! — пошутил я.

— Да, это мое несчастье. Помните — как в «Подростке» Достоевского: «Ваше имя?» — «Долгорукий». — «Князь Долгорукий?..» — «Нет, просто Долгорукий». Вот и я просто Голицына.

Час от часу не легче! Выписывает русские газеты, толкует о Достоевском... что за феникс такой?

— Вашу фамилию, г. А., я запомнила, главным образом, вот почему. Вы как-то раз напечатали рассказ на такой сюжет. Молодая девушка-дворянка, которой опостылели домашние притеснения от любовницы ее отца, бесхарактерного и дрянного человечишки, убежала из дому и поселилась в деревне у своей кормилицы... Вернувшийся из Америки брат застает сестру совсем опростелой; она даже собирается замуж за крестьянина... Так я передаю?

— Да, была у меня такая повестушка, и остается лишь удивляться, как вы ее запомнили?

— Скажите: это вымышленная история или из действительной жизни?

— Развитие сюжета, конечно, вымысел, но основа — действительное происшествие.

— Так.

Она тяжело вздохнула.

— Вы хорошо сделали, что оставили свою героиню в тот момент, когда она только собирается выйти замуж за крестьянина... Потому что — если бы вы продолжили свою повесть, — вам вряд ли удалось бы выдержать тот сочувственный тон, каким вы все это рассказывали.

— Вы полагаете?

— Да, — потому что я знаю это по опыту. И, если вы спросите меня: «Как дошла ты до жизни такой?» — как угораздило меня, женщину из порядочного общества, не без образования, недурную собой, попасть кельнершей в константинопольский кафешантан, — я вам отвечу: всему виною мое наизаконнейшее супружество с Василием Павловичем Голицыным, крестьянином... вам все равно какой губернии, уезда, волости и села. Положим, что «Горелова, Неелова, Неурожайки то ж». В супружество это меня толкнули черт и идея. А из супружества — после двухлетней каторги... слышите ли? к а т о р г и — вырвали необходимость и добрые люди.

Моя девичья фамилия — Сарай-Бермятова. Как видите, «во мне кипела кровь татар». Однако, должно быть, кипела очень давно. Я помню родословное древо в кабинете моего отца, оно было преогромное — корни крылись где-то за Дмитрием Донским или Иваном Калитою. Мой отец-покойник, — не тем будь помянут, — проел на своем веку несколько состояний и, чтобы поправить дела, женился на купеческой вдове, очень красивой, нельзя сказать чтобы умной, но довольно богатой:

тысяч на двести-триста капитала. Единственный плод этого брака — ваша покорнейшая...

Матери я не помню: мне было три или четыре года, когда она умерла. Отца помню отлично: изящный такой, седоватый джентльмен с постоянно-французскою речью и манерами маркиза. Говорят, смолоду был красавец и великий победитель сердец. Сорок лет он прожил на свете баловнем судьбы и превосходнейших наследств: все прямо в рот летели жареные голуби. «Птичка Божия не знала ни заботы, ни труда». Под старость он вдруг вообразил себя дельцом... Выбрали его директором банка... Как шли в банке дела, не знаю, но в один прескверный день была назначена экстренная ревизия. Папаша в это утро встал очень веселый. За кофе он, как ни в чем не бывало, шутил со мною и моей гувернанткою — весьма хорошенькою офранцуженной полькой; как я потом узнала, этой барыньке не хватало только развода с первым мужем, чтобы сделаться моей мачехой. Пришел из банка рассыльный — сказать папаше, что его ждут.

— Сейчас, сейчас, сейча-а-ас, — пропел папаша на мотив шансонетки, — я готова, готова, готова... но тсс! об этом ни слова... молчи!

Встал из-за стола, поцеловал меня в голову, пожал руку гувернантке, прошел, что-то насвистывая, в свой кабинет и... пустил себе пулю в висок! Недели три шумели газеты о его рыцарском расчете с собою: вот, мол, как умирают Сарай-Бермятовы — порядочные люди без страха и упрека — римляне XIX века! Не знаю: может быть, это и впрямь очень красиво быть самоубийцей à la romaine...* только римляне, кажется, не растрачивали предварительно чужих денег и не делали нищими своих дочерей.

Осталась я одна-одинешенька: мне шел уже восемнадцатый год. Моя гувернантка, оплакав своего покойного бла-

---

* По-римски (*фр.*).

годетеля, осушила глазки и поступила экономкою pour tout faire * к одному местному тузу. На прощание она дала мне дружеский совет — последовать ее примеру, если к тому представится выгодный случай.

— У вас ничего нет, вы ничего не знаете, избалованы, не готовы к жизни; вы погубите свою молодость в бесполезной борьбе с нуждою... А, между тем, молодость и красота — капитал. Ma petite chérie! ** помните, что люди бывают молоды только раз в жизни. Хватайте счастье таким, каким оно вас найдет.

Порядочное-таки дрянцо была эта госпожа!

Я ее не послушала, а вместо того собрала свои пожитки, сколотила кое-какие деньжонки и махнула в Питер — учиться. Чему — я, когда ехала, еще сама не знала. Призванья у меня не было; все равно — чему, лишь бы потом самой зарабатывать хлеб. Приехала: тпру! без диплома никуда не пускают. Сунулась я экзаменоваться на домашнюю учительницу: провалилась! хорошо, значит, учили дома. Пришлось готовиться сызнова.

Жилось ужасно бедно и чрезвычайно весело. Номерная жизнь и кухмистерские свели меня с множеством таких же, как и я, — чающих движения научных источников... Сложился живой кружок, подвижной и разнообразный; люди менялись в нем, как стеклышки в калейдоскопе. Перевидала я молодежь всяких окрасок: и нигилистов pur sang ***, и социалистов по Марксу, и неосоциалистов, и народников, и почвенников, и толстовцев — и во все эти окраски, разумеется, и сама понемножку отливала цветом, в каждую — своевременно. Я — настоящая русская по натуре: в какую среду ни попаду, сейчас же попаду в тон, заражусь ее взглядами, вку-

---

* По-настоящему (*фр.*).
** Моя милочка! (*фр.*)
*** Истинных (*фр.*).

сами, манерами. Один ученый человек доказывал мне, будто это — великое качество русских, будто благодаря ему они стали лучшими из колонизаторов. Лермонтов похвалил за него Максима Максимовича, а Гончаров — русских матросов в Японии. Может быть, они и правы, судить не смею; только это качество, как мне кажется, носит в себе задатки большой бесхарактерности, отсутствия самостоятельной мысли и самостоятельных убеждений. Я ни на одном языке не встречала пословицы равносильной «с волками жить — по-волчьи выть»; это — принцип русской податливости и уступчивости.

Совсем было приготовилась я к экзамену, — вдруг в одном кружке наткнулась на проповедь опрощения.

Проповедовал человек весьма интересный; я вам его не назову, но вы, вероятно, о нем слышали.

В одном из его имений, в глубокой провинциальной глуши уже образовалась маленькая колония опростелых... Он предложил и мне поехать туда и там отведать трудовой жизни — покупая самоудовлетворение потом, болью в пояснице и мозолями на руках. Я согласилась. Экзамены — к черту, и помчалась.

Жизни моей в колонии рассказывать не стану. Скажу только, что и здесь я, как кошка, упавшая из окна, сразу стала на четыре лапы: освоилась, вошла в колею. Всего нас было человек десять; из них три женщины. Опростелых колонистов противники ругают — кто лицемерами, кто бездельниками, кто шутами гороховыми. Я этого не скажу. Были в нашей колонии люди неискренние, дурные, актеры, тартюфы, но были и славные ребята: честные, убежденные, с глубокою верою в правду своего учения и целесообразность своих действий. И этих было большинство. Крестьяне немножко трунили над нами, считали нас как бы юродивыми, а как рабочую силу — презирали, но в общем относились скорее дружелюбно, чем враждебно. С гордостью могу сказать, что я много способствовала этому дружелюбию. Мужики презирали ко-

лонистов и колонисток, главным образом, за слабосилие. Намерения-то у всех были самые усердные, да не хватало мускульной силы и выносливости, чтобы их оправдать. Худенькая, истощенная, голодная, беременная крестьянская баба легко кончала в полчаса работы, над которыми бились по два, измаивались до полного изнеможения наши, здоровенные на взгляд, мужчины... Между ними были настоящие силачи, а не выдерживали — надрывались.

«Господи! — сокрушался наш общий любимец Сереженька Z., — я вытягиваю на силомере двенадцать пудов, поднимаю карету за заднее колесо, а пройду полосу с сохою — и никуда не годен. А эти тщедушные мужичонки — как ни в чем не бывали!..»

Мое воловье здоровье и выносливость пришлись в этом случае очень кстати. По деревне так и говорили:

— Все господа с усадьбы не стоят на работе медного гроша, а из Натальи Николаевны будет прок.

Действительно, работа у меня спорилась легко и весело; в поле я не только не отставала от деревенских девок, а еще и обгоняла их. Ничто так не сближает, как общность работы. Впоследствии я убедилась, что опроститься, т.е. стать крестьянкою вполне, переработать свою натуру на мужицкий лад, применить себя целиком к мужицкой среде — дело вряд ли возможное. Но омужичиться, — схватить внешность, ухватки, речь, даже на время пошиб мысли, — очень легко; это совершается совсем незаметно, особенно если Бог наделил вас хамелеоновскою подражательностью, про которую я вам говорила.

II

Месяца не прошло, а я омужичилась — во всем, начиная с наружности: коричневый загар, «румянец сизый на щеках» — все эти прелести простонародной красоты полу-

чались налицо. У меня набралось полное село подруг и приятельниц... Я обучилась так же, как они — орать пронзительнейшим голосом песни — истинно волчьи песни, и отпускать шуточки, от которых прежде у меня завяли бы уши. Никого из нашей колонии крестьяне не приглашали на помощь, как этого нам страстно ни хотелось: ведь это было бы с их стороны признанием нашей рабочей равноправности, равносильно блистательно выдержанному экзамену трудовой зрелости. Не тут-то было: «Ну их, господ... одно баловство: только портят либо других задерживают», — говорили несокрушимые пейзаны и управлялись в поле одни. Для меня делали исключение — и даже в своем роде почетное: как началась страда, меня не только звали нарасхват, но и ставили в первые серпы... Первое время было страшно трудно: «ноет спинушка, руки болят» — едва разогнешься потом. Так тело изболит — хоть плачь! Но самолюбие заставляло меня владеть собою: помилуйте! как же! такой почет, — мы гонимся за мужиками, а они нас знать не хотят, и только одну меня считают своею... и вдруг я покажу им, что я этого не стою, что я такая же слабосильная, слабовольная и неумелая дрянь, как все?! Да еще оглядишься: больные, беременные — все в поле, все гнут спину и не жалуются... Так мне-то как же уставать и жаловаться? Даже, бывало, станет совестно за свою силу и здоровье, когда сравнишь себя с другими. Перетерпела я несколько дней усталости непомерной, до слез доходящей, а потом и обошлась; стало все легче, легче. Вообще, мое мнение таково: нет физической работы, с которою нельзя свыкнуться — нужно только упорство и постепенность упражнения. Не надорвешься сгоряча по первому началу, тогда одолеешь труд, втянешься в него и даже его полюбишь.

«Наталья уважит, не выдаст», — хвалили меня в деревне.

Да-с, из Натальи Николаевны я была пожалована в Натальи, Наташи и даже Наташки... Какое упоение! Я уверена, что за такую честь три наших колонистки отдали бы по году

жизни; но — увы! одна из них была чахоточная, другая истеричка, а третья, хоть и здоровая, но... говорила иной раз удивительные для опростелой фразы.

— Ах, дорогая Наталья Николаевна, я так боюсь, что — когда приедет NN (наш хозяин-покровитель), он останется мною недоволен. Я далека от народа, ужасно далека. Но что же мне делать? Намерения у меня самые добрые, но от них так пахнет...

— От намерений?!

— Ах, вы привязываетесь к словам! От мужиков.

Или:

— Вот вы не побоялись загореть, и это вам даже идет... А я? Ведь это ужас подумать: на что я буду похожа при загаре с моими белыми волосами?

Однажды же она разрешилась искреннейшим и поистине великолепным афоризмом:

— Если бы NN разрешил мне пудру и... хоть цветочный одеколон, я думаю, что мое опрощение пошло бы гораздо лучше...

— Вы, Лида, напишите об этом Толстому: спросите, — может быть, и позволяется, — посоветовала я на смех.

Она подняла на меня свои наивные круглые глаза.

— А что? ведь это идея!

Писала она Толстому о пудре и одеколоне или нет, — не знаю. В колонии она пробыла недолго: очаровала местного земского врача и вышла замуж, утратив вместе с тем и всякое тяготение к опрощению... Впоследствии она откровенно говорила:

— Если бы я не была влюблена в NN, как кошка, разумеется, не пошла бы в эту несносную мужицкую кабалу. Я думала, что мое геройство ему понравится, а он и внимания не обратил.

В самом деле, NN, как истый фанатик, был совершенно равнодушен к женщинам; это доходило в нем до наивности;

сам весь отдавшись одной идее, он не понимал и в других иных стремлений, желаний и слабостей.

Опишу вам и других моих товарок. Одна — чахоточная девушка из купеческого звания — пришла в колонию потому, что «все равно, где ни ждать смерти». Ей было лет под тридцать. Это было существо молчаливое, кроткое, спокойное и с огромною силой воли. Она имела решимость отказать любимому жениху по тому соображению, что, веря в наследственность своей болезни, не считала себя вправе иметь потомство. В колонию она поступила, как другие поступают в монастырь. Она приехала к нам глядя на осень и, протянув кое-как зиму, умерла с первыми вешними водами.

Другая — совсем молоденькая — была из типа «талантливых неудачниц»: плохая копия с Марии Башкирцевой. Очень хорошенький, черноглазый, вертлявый чертенок с оливковым лицом, лихорадочными глазами в столовую ложку величиной, беспорядочной, насмешливой и капризной речью, смешными ужимками и двумя непременными истериками в день... Готовилась в актрисы, дебютировала, провалилась... сперва хватила нашатырю на гривенник, а потом — когда ее выходили — сама не зная зачем, попала к нам. Были у нас гостьи, временные и приходящие. Помню одну вдову-купчиху из Москвы: красивую, могучую женщину с спокойною речью и степенными манерами; ей у нас не понравилось, она ушла «на волю» после недели житья в колонии и очень звала с собою и меня, и оливковую Катю.

— Вам замуж надо, — говорила она, — эй, смотрите: плохо будет. Раскаетесь, да поздно. Вам головы не сносить: скверно кончите.

Помню одну польку из Киева. Что эту к нам занесло, — решительно не понимаю. Она повертелась у нас дня два — в полном недоумении: что мы за люди? куда это она попала? Наконец, надо полагать, решила, что мы дураки, и не только жить с нами, но и думать-то о нас не стоит.

— О, душко, як же у вас тенксно, — сказала она мне вечером во вторник, а утром в среду я узнала, что нашей гостьи уже и след простыл.

Колония очень гордилась моею приспособленностью к крестьянскому быту. NN писал мне восторженные письма: он видел во мне как бы воплощение своей идеи, доказательство, что она не миф, не бред, что привить культурную натуру к почве и ручному труду вовсе не такая тяжелая задача, как думают... До какой степени все это меня разжигало и пришпоривало, вы и вообразить не можете. Я, не шутя, возомнила себя — в некотором роде звеном, должным связать в одно целое великую цепь между барином и мужиком.

В эту-то пору и выплыл на свет вопрос о Василии Павловиче Голицыне и моем с ним законном браке.

Васька Голицын был круглый бобыль: двор у него коекакой был, но во дворе ни кошки, ни плошки, а только мальчонка лет семи от первой жены, которую Василий похоронил года три назад. От земли он отбился, а жил — чем Бог пошлет: мастачил на все руки, — и кузнец, и столяр, и слесарь, и медник, и лудильщик. Способностями природа не обидела, но в отместку наградила необузданною ленью, страстью к выпивке и стремлением к трактирной культуре, к «спинжаку», как окрестил это Глеб Успенский. Он презирал серое мужичье, водился с волостным писарем и сельским учителем — весьма франтоватым и недалеким по уму юношей из купчиков, бегающих от воинской повинности. Тогда это еще практиковалось. К нам он заходил — «для образованного общества». Мужчины Ваську недолюбливали.

— Это культуртрегер кабацкого пошиба, — горячился Сереженька, — жилетка, гармоника, дутые сапоги, сладкая водка, «барышня, дозвольте разделить компанию»... вот это что! Дайте ему деньги — он сейчас либо кабак откроет, либо станет торговать землей. В нем кулак сидит, зерно кулаческое.

Мы, женщины, отнеслись к Василию с большею терпимостью. Во-первых, с ним было нескучно, а когда он старался быть любезным, то оказывался совсем комиком: точно медведь пытается протанцевать качучу. Во-вторых, он выглядел все же почище и более отесанным, чем серая масса, окружавшая нас; да — что греха таить? — и некоторые из наших колонистов в своем благом усердии уподобиться мужику пересаливали в неряшестве и доходили до немалого свинства. Иногда это сильно надоедало, утомляло, раздражало, казалось актерством, рисовкою: люди кокетничали нечистоплотностью, как другие кокетничают «красой ногтей». Из себя Василий был молодец: большой, широкоплечий парень; зубы — как сахар, всегда оскаленные улыбкою. Наши мужчины находили эту улыбку фальшивою и неприятною.

— Он — каналья, ваш Васька Голицын, — уверяли они (мы находили особенное удовольствие дразнить товарищей, выхваляя Василья), — он себе на уме. Балагурит, а в уме считает да прикидывает. Вы посмотрите, какие у него глаза — холодные, жесткие, наглые; сам смеется, а глаза и не улыбнутся.

Как-то раз на жнивье одна из подружек, полуднуя, говорит мне:

— Что Васька Голицын к вам все ходит?

— Да, бывает.

— Гм... это он для тебя ходит!..

— Вона что выдумала.

— Ничего не выдумала: сам намедни в трактире похвалялся — переложил лишнее за белую шею и развел разговоры...

Помолчали.

— Ты, Наташа, будь с ним осторожнее. Он — парень, что говорить, ладный, но свинья. Через него не одна девушка плакала...

— Ну я не таковская, не заплачу. С чем подойдет, с тем и отойдет...

Деревенское ухаживанье не было для меня новостью; молодежь, освоившись с моим обществом, не делала большой разницы между мною и своими девушками. Знала я и медвежьи ласки — бух ладонью со всего размаха в спину: верх любезности! Умела и отвечать на них кулаком и — когда переведешь дух, занявшийся от тяжелого удара — градом любезной ругани, — не для обиды, а по душе... Но серьезно за мною никто не ухаживал, помнили все-таки, что я им не пара.

III

Мне было двадцать лет. Я была сильна и здорова, красива, полна жизни. Мир, куда бросила меня судьба, мне не был противен... Раздумавшись над словами моей подруги, я убедилась, что и Василий мне не противен... даже, пожалуй, нравится... Я написала NN письмо, спрашивая совета — как думает он, идти ли мне замуж за крестьянина, если представится к тому случай? Ответ получила самый восторженный: вы, мол, завершите этим подвигом блистательно начатое дело и т.д., и т.д.

В один весьма жаркий полдень Василий Голицын подкараулил меня на огородах и, без всяких предварительных объяснений, набросился на меня с самыми решительными объятиями; мне понадобилась вся моя сила, чтобы от него отвязаться.

— Баловаться не смей, — приказала я ему, — а садись, да поговорим. Если я тебе пришлась по нраву, то и ты мне не противен. О дуростях и думать оставь, но коли хочешь сватать — сватай: пойду за тебя.

— А деньги какие-нибудь есть за тобою? — спросил он, почесывая затылок, с весьма озабоченным видом. — Потому — люба ты мне очень, но только без денег мне никак нельзя жениться: прямо тебе скажу, — изба врозь лезет, в долгу, как в шелку, да ведь ты же еще и балованная, — будет тяжко.

Я ему указала, сколько у меня денег, т.е. во что я могу обратить все, что имею. Вышло, как мы посчитали, около шестисот рублей... Василий просиял.

— Тогда и говорить нечего; этакой другой невесты, хоть весь свет обойди, не найти. По рукам стало быть, и шабаш! На Покрова будем справлять свадьбу.

Расцеловались и объявились женихом и невестой. В колонии известие о моем предстоящем браке было принято довольно двусмысленно. Мужчины продолжали толковать, что Васька Голицын не мужик и что если уж я непременно хочу проявить на своем примере торжество идеи, то должна бы выбрать в мужья крестьянина, крепко сидящего на земле, настоящего Микулу Селяниновича. Чахоточная Агния все вздыхала и качала головой, — очень уж ей жаль было меня. Катя, по обыкновению, разрыдалась до истерики. Лидочка вытаращила на меня свои круглые глаза:

— Но ведь он пьяница, ma chère! *

Одним из непременных условий брака я поставила Василию, что он бросит пить, — если не вовсе, то хоть пить допьяна. Он обещал, клялся, божился, целовал, икону снимал.

Наличными деньгами у меня было рублей двести. Сто из них я отдала Василью на поправку избы, сто истратила на себя.

Время жениховства летело быстро, и не скажу, чтобы неприятно. Я всегда была искательницей сильных ощущений, а какое же ощущение может быть сильнее игры со зверем? А Василий был именно зверски влюблен в меня. Когда я выбегала на свиданье с ним, — право, иной раз становилось жутко. Сказывался в нем медведь, готовый растерзать, задушить. Раза три или четыре мне приходилось серьезно прибегать к кулаку, чтобы унимать его увлечения... Это ему даже нравилось...

---

* Моя дорогая! (*фр.*)

— Эка девка!.. Эка зверь-девка! — восклицал он и в знак удовольствия хлопал себя картузом по коленам.

Была я в него влюблена? Не знаю. Глядя по тому, что называть влюбленностью. В огонь и воду за своего жениха я не пошла бы и героем романа, хотя бы даже и сермяжного, его не воображала. Но, повторяю, играть с ним, как со зверем, было очень интересно и увлекательно. Его чувственная страстность льстила мне, заражала меня до такой степени, что временами мне становилось скучно без этого флирта à la russe, и я с самой живою радостью встречала своего жениха, когда наступал час свиданья. Кровь играла, а ведь — говорю же вам: «во мне кипела кровь татар». Во всяком случае, думаю, что в то время никакие увещания, никакие советы, никакие запреты не удержали бы меня от этого брака.

И вот, я — жена, баба. Сначала все, казалось, шло хорошо. Очень много труда, хлопот, но их я не боялась. Очень много грубых и наивных ласк: от них я шалела. Вот когда я действительно была влюблена в моего Ваську! Работа да ласки, ласки да работа, — так и слагалась жизнь. Но уже с первого дня я заметила, что мой муж вовсе не смотрит на меня, как на женщину; что я самка: вещь приятная, потому что она красива, покорна, доставляет много удобства, рабочей выгоды и домашнего наслаждения; но в то же время — вещь, которая не имеет ни самостоятельной воли, ни мнения, которая должна жить так, как ей муж приказывает, и не поднимать своего голоса, если не спрашивают; когда же милостиво спросят, поднять робко, просительно, совещательно, — не больше. Василий никогда не спрашивал моих советов. Он все делал сам и показывал мне уже сделанным; он взял мои деньги — и открыл на них в селе лавочку, меня же усадил в нее торговать, как я ни спорила против того, что он отрывался от земли.

— Глупая, — убеждал он, — что в земле хорошего? Земля — грязь, а торговля дело чистое.

Не знаю, прав ли был Сереженька, когда уверял, будто из Василия должен выработаться кулак. Думаю, что нет. Слишком широкая, разгульная натура была у моего супруга — сбивать деньгу было не в его характере. Торговля наша шла хорошо, но он ради одного бахвальства иной раз пускал ребром последний грош: поил приятелей, зазывал и принимал ночевать проезжающих купцов — с единственною целью похвастаться, какая у него нарядная изба и красивая жена «из барышень». Мои возражения он пускал мимо ушей, смеялся, не давал мне спорить, всякий серьезный разговор переводил в медвежьи ласки, на которые я, к сожалению, была слишком уступчива. Потом начал скучать моим вмешательством, не раз обрывал меня, иной раз даже при чужих, угрюмо замечая:

— Ну поговорила, и будет... У бабы волос долог, да ум короток.

Или еще что-нибудь в том же милом роде.

Он довольно долго держал свое слово: не пил. Но как-то раз его прорвало... Пошел в гости к учителю и вернулся пьяней вина. Это было месяцев пять спустя после нашей свадьбы. Я уже спала. Он меня разбудил, начал извиняться и нежничать. Я была в страшном негодовании и оттолкнула его.

— Поди прочь! Ты мне крест целовал, что не будешь пить, и присяги не сдержал. Ты скот. От тебя кабаком несет...

Тогда-с... Он в эту минуту держал в руке только что снятый сапог и, не сказав ни слова в ответ на мою нотацию, пустил мне этот сапог в лицо. А затем на меня посыпался град ударов. Я не успевала ни защищаться, ни кричать; меня молча били, я молча принимала побои. А когда я опомнилась, все было кончено: я уже боялась своего мужа, я была покорена.

Один умный человек сказал: дикая лошадь покоряется объездчику вовсе не потому, что он сильнее или умнее; она только сознает в нем волю более упрямую и злую, чем ее

собственная. Она инстинктивно чувствует, что — безопасный от ее копыт и зубов — он будет ее тиранить до тех пор, пока она не сознает его превосходства и своего рабства.

Со мною происходило то же самое. Лежа под кулаками, я сознавала лишь одно: если я сейчас закричу, стану бороться, он забьет меня насмерть... И если бы вы видели Василия, вы согласились бы, что он способен был вколотить жену в гроб, но — не дозволить ей торжествовать над собою.

Поутру вид моего покрытого синяками лица нимало его не сконфузил.

— Помни, Наташка, — пригрозил он: — Я горячий! мне теперь жаль, что так вышло, а сама виновата. И всегда так будет, коли ты станешь нос подымать, оказывать надо мной свою волю. Знай сверчок свой шесток. Бабье дело — у печки.

Нравственного состояния своего после этой ужасной ночи я не могу описать. Стыдно себя, стыдно соседей, — сожалеют, охают, а за спиною показывают пальцами, хохочут: что, мол, барышня, отведала мужниных кулаков? И сознание полной безвыходности положения. Ведь, по общему мнению, Василий имел право распорядиться так: ведь он муж... Вся деревня скажет это в один голос. Всех баб мужья бьют, — чем я святее других, что мой не будет меня колотить? Он владелец, а я вещь, собака, ничтожество. Меня незачем любить, меня нельзя уважать, мною можно только распоряжаться. Мне — с позволения вашего сказать — «набьют морду», а потом прикажут обниматься, и — утирай слезы, обнимайся... Где же моя волюшка? воля-то где? Какой злой дух ослепил мне глаза, позволил мне охотою идти на каторгу?

Хотела бежать. Но куда? У меня ни гроша за душой, прежние знакомые от меня отказались, из колонии муж всегда меня вытребует. Там сами-то живут — дрожат: будем ли целы? Полиция, как Аргус стоглазый, за ними следит. Где же им защитить меня? Чтобы уйти в Петербург, в Москву — нужен паспорт; да и оттуда ведь можно выписать беглую жену по

этапу... Куда ни кинь, всюду клин. И все-таки я думаю, что убежала бы. Но... я была беременна. Как же — думалось — бежать от отца своего ребенка? Да и совестно: бежать, не выдержав первого же испытания... Зачем же в таком случае было идти замуж с такими громкими словами, такими красивыми приготовлениями и проектами.

Рассказывать вам мою дальнейшую жизнь в супружестве было бы неинтересно: слишком однообразно. Скажу одно: к концу года я ненавидела Василия так, как, я думаю, редкой женщине случалось ненавидеть мужчину; ненавидела тем злее, что приходилось ненавидеть молча. Каждое неосторожное слово вызывало ссору и драку. Василий чувствовал мою ненависть в самой моей бессловесной покорности; он раздражался этим чувством, старался, чтобы я высказалась, задирал меня и, когда добивался своего, приходил в страшный гнев... ну и бил, конечно.

Родился сын. Это нас примирило было, сблизило. Что касается Василия, он прямо-таки снова влюбился в меня; так он был счастлив этим ребенком. И... черт нас, женщин, разберет! Представьте, что и я разнежилась, опять повисла к нему на шею, и мы пережили второй медовый месяц. Было же у меня, значит, какое-то серьезное чувство к нему, скоту!.. Но тут примешалось новое осложнение. Он сознавал, что очень много виноват против меня, и боялся, что я его грехов не прощу, не забуду и уже больше любить его не могу. Конечно, ничего подобного он не говорил, но я это чувствовала, — в особенности по новой радости, какую подарила мне судьба: Василий стал слепо ревновать меня ко всем мужчинам. Я должна была просить колонистов, чтобы они перестали навещать меня, потому что каждое посещение давало повод к страшным сценам.

— Надоело мужичкой быть? опять в барыни захотелось? — кричал Василий как бешеный, — и уж тут надо было либо виснуть на шею; миленький, мол, золотой! да Бог с тобою! что

ты! что ты! я тебя люблю, люблю... променяю ли я тебя, сокола моего, на кого-нибудь?! — либо, если уж слишком кипело в душе и не под силу было лицемерить, хоть молчать... молчать как рыба, потому что он сам себя не помнил: пена у рта, налитые кровью глаза, — и что попало в руки: полено так полено, безмен так безмен.

Стоило мне поговорить дольше, чем ему нравилось, с кем-либо из деревенских парней или молодых мужиков, — он начинал сцену по другой логике.

— Если ты, барышня, не побрезгала выйти за меня, Ваську Голицына, так не постыдишься повеситься на шею и Петру, Сидору, Карпу и Ивану.

Словом, я жила под вечным страхом, что не сегодня-завтра мне проломят череп; по той или другой логике, но проломят неизбежно.

Между тем, я готовилась быть матерью во второй раз... На самом переломе моей беременности, Васька, как нарочно, запил, и сцены повторялись по нескольку раз на день. Из колонии давно уже звали меня бежать, предлагали доставить мне если не отдельный вид, то заграничный паспорт. И вот однажды, когда мой муж, утомленный водкою и гневом, храпел на печи, а я подбирала с пола волосы, выдранные из моей косы, я решила, что мне ждать лучшего нельзя. Моя жизнь вылилась в общий тип жизни деревенской бабы: тяжкий, гнетущий труд с утра до ночи, нежности, оскорбительные ласки, вперемежку с побоями, каждый день синяки и каждый год ребенок. Надо было спасаться, пока была возможность.

Я совершенно хладнокровно взяла из зыбки ребенка, накинула на себя тулуп и вышла из избы в колонию... Два часа спустя я уже мчалась, — спрятанная под сеном, на дне саней, — в город к железнодорожной станции, а назавтра была в Москве у верных и добрых людей. Муж искал меня со всею энергией, на какую он был способен, когда хотел. Но найти

было трудно: чужой паспорт дал мне возможность убраться заграницу.

Мои здешние похождения коротки и неинтересны. Я очутилась в Вене, с ребенком на руках и чуть не накануне вторых родов. Маленьких деньжонок, какими снабдили меня в России, хватило, чтобы не умереть с голода в это тяжелое время. Мне советовали пробраться в Швейцарию, слушать лекции в Берне или Цюрихе... Но когда мне было учиться, если приходилось кормить себя и двух ребят? Надо было зарабатывать хлеб. Как? Чем? В отчаяние приходила: расставаться с ребятами не хотелось, а с ними никто не берет, конечно, ни в бонны, ни в няньки, ни в горничные. Скрепя сердце, отдала детей в деревню, в Штирии, крестьянке-кормилице, а сама поступила горничною в отель des étrangers *. Доходы были плохие: дети все съедали. А тут еще как на грех поссорилась с управляющим, лишилась места, осталась только что не на улице. Трудно было, ужасно трудно. Лезут какие-то маклерши с скверными предложениями... Попробовала, не гожусь ли я в певицы, дебютировала в каком-то кафе-концерте в качестве la belle russe... ** то-то провал был! Ни таланта, ни голоса, ни задора... Оставалось одно: либо — продаваться, либо — в статистки пантомимы за крону в вечер, — то есть опять-таки продаваться, так как на крону в сутки и кота не накормишь, не то что взрослую женщину, да еще с двумя детьми за плечами... Тут мне подвернулась — проездом из Константинополя — содержательница здешнего кафешантана. Она француженка и отличная женщина: не смейтесь, — очень нравственная... на свой образец, разумеется...

— Милая, — говорит, — вы красивы, молоды, производите впечатление на мужчин, можете привлекать публику. Не хотите ли распоряжаться у меня в заведении буфетом? Вам,

---

* Для иностранцев (*фр.*).
** Русская красавица... (*фр.*).

конечно, придется иметь дело с самым разнообразным народом, с обществом смешанным, не всегда приличным, но... слова к вам прилипать не будут, поступков же дурных ни я, ни кто другой от вас не потребуют. А доходы будут: в два-три года можно сколотить деньжонки.

Я подумала, решила, что всякий черт не так страшен, как его малюют, и согласилась. И вот второй год я здесь. Хозяйка была совершенно права: много дурных мыслей, скверных жестов, сомнительных слов, фамильярности, но факты зависят не от публики, а от нас самих. Я их не хочу, и их нет. Меня здесь любят. Мои «бакшиши» вдвое, втрое больше, чем дают другим... У меня уже есть тысяча франков, отложенных в «Credit Lyonnais». Наколочу другую-третью, и тогда видно будет, что надо делать...

1895

ПИТЕРСКИЕ КОНТРАБАНДИСТКИ

Из всех городов Российской Империи Петербург — наиусерднейший по торгу с Парижем произведениями моды, подлежащими высокой таможенной пошлине. Из всех городов Российской Империи Петербург — наиуспешнейший по контрабанде парижскими и вообще европейскими модами. Петербургские магазины завалены товаром парижских модных мастерских, никогда не виданным глазами, никогда не ощупанным руками таможенных досмотрщиков, хотя доехал этот товар к месту своей продажи отнюдь не в выдолбленных осях экипажей, не под шинами колес, не в двудонных сундуках и двубоких чемоданах, — вообще без всяких плутовских ухищрений старого чичиковского времени. Нет, его не прятали, везли в открытую, без всякой опаски, даже представляли на таможенный досмотр.

Кто же и как провозит эту дорогую и изящную контрабанду?

Нечаянный ответ на вопрос я получил от одной бессознательной преступницы по этой части, очень молоденькой и хорошенькой русской дамы из более чем «порядочного» общества.

— В последнюю свою поездку за границу, — смеясь, говорила она, — я вела себя немножко неумно. Истратила гору денег. Накупила всяких пустячков в Берлине, в Вене, в Италии, а все главное и необходимо нужное оставляла купить, конечно, в Париже. Прибавьте, что не удержалась — заглянула в Монте-Карло, — и... комментарии излишни. В Париже, как водится, влюбилась в магазины, увлеклась. Носили ко мне пакеты, носили; платила я по счетам, платила... В один печальный день подсчитываю свои финансы и с ужасом убеждаюсь, что зарвалась: кредит в банке истощен, в номере у меня — целый Монблан ненужных, но безумно дорогих вещей, а в кармане сто двадцать франков. Приходится телеграфировать мужу, чтобы выручал, и ужасно перед ним совестно. Мы далеко не богачи, дела наши в настоящее время очень не блестящи, — у кого, впрочем, они хороши? — денег мне муж, и без того уже, выслал чересчур щедро, гораздо больше, чем я имела право тратить — в последней телеграмме просил быть экономною, покупать осторожно. Нет, как ни повернуть дело, — нельзя беспокоить мужа: позор и стыд. Думаю про себя: не найду ли в Париже кого-нибудь из петербургских друзей? Нет, как нарочно, — ни души: конец сезона, все разъехались. Такое отчаяние. И вдруг, — нечаянно, негаданно, — спасена! Прямо с неба слетел ангел-избавитель, и все устроилось в двадцать четыре часа... Угадайте: как?

— Вероятно, вы продали часть вещей?

— Как бы не так. Разве я затем их покупала, чтобы потом продавать? Могла ли я с ними расстаться? Я в них просто влюблена была...

— Заложили свои bijoux?* Кредитовались в отеле?

— Как можно? Что вы? С моим-то положением? С моею фамилией?

— Тогда, простите, отказываюсь понимать.

— И ни за что вам не догадаться, если не расскажу сама. А между тем ларчик открывается очень просто, и все уладилось так мило, учтиво и приятно, что вы не в состоянии и вообразить. Мы, бедные, грешные русские дамы, способны хранить свои маленькие секреты от кого угодно, только не от француженки-горничной или модистки. Вот и разговорилась я однажды с прелестною барышнею, которую один крупный магазин прислал ко мне как примерщицу, а в разговоре выложила ей свое горе. Она выслушала, улыбнулась и отвечает:

— Это очень частая история, и в ней нет решительно ничего трагического.

— Ах, вы не знаете моего мужа...

— Вашему мужу незачем и знать о вашем безденежье. Вы можете прекрасно заработать эти деньги сами, здесь, в Париже.

— Я, mademoiselle? Бог с вами! Я выросла баловницею... Я не имею даже понятия, как и что можно работать для денег...

— Madame, неужели я осмелилась бы предложить вам какую-нибудь грубую работу? Слава Богу, я умею различать людей и вижу, с кем имею дело...

Тут у меня явилось новое сомнение. Женщина я молодая, собою, говорят, недурна, путешествую одна, без компаньонки, — не принимает ли меня эта госпожа за искательницу приключений, не собирается ли предложить мне... Вы понимаете?

— О, очень понимаю!

* Драгоценности? (*фр.*)

— Но — нет, не то. При одном намеке на мои сомнения, она так и вскипела... «За кого madame меня считает? Разве madame неизвестно, какой фирмы я представительница? Разве честь дома позволила бы моим патронам терпеть на своей службе особу, способную на подобные предложения?..» Даже отпаивать водою ее пришлось и извиняться потом: так расходилась... Ну а как и чем она меня спасет, все-таки не сказала... «Положитесь, — говорит, — на меня; вам не придется сделать ничего неловкого, даже неприятного, — просто, можно сказать, ничего от вас не потребуют, совсем, совсем ничего!»

— За ничего, Люси, денег не дают. Поставят какие-нибудь обязательства.

— Никогда. Уверяю вас: не вас обяжут, — вы обяжете. Да так, что если бы вы и в Петербурге оказались не при деньгах, то можете хоть совсем не платить. Вот, значит, какую услугу вы в состоянии, шутя, оказать.

Отвечаю:

— Не платить я не могу и не хочу, потому что принимать подарки от неизвестных людей не в моих правилах. Но если дело сводится к тому, чтобы услуга шла за услугу, тем лучше, с тем более легкою совестью я займу деньги...

Назавтра утром подают мне карточку какой-то m-me Durand. Имя ровно ничего не говорит: во Франции Дюранов и Ламбертов чуть не больше, чем у нас Ивановых. Принимаю. Входит дама лет сорока пяти, буржуазка, очень приличная, одета просто и элегантно, заметно, что туалет стоит больших денег.

— Мне сообщили, что вы в маленьком затруднении. Не позволите ли мне вам помочь? Сколько вам надо?

— Думаю, что обойдусь двумя тысячами франков.

— Пожалуйста, не стесняйтесь... Если надо больше...

— Нет, я разочла, что обойдусь.

— Прекрасно. Я могу ссудить вам эту сумму.

— А условия?

M-me Durand пожала плечами.

— Какие же условия между двумя порядочными женщинами? Я не процентщица. Когда будут деньги, пришлете мне долг. Вот и все.

Прямо благодетельная фея какая-то!

— А вот, — продолжает, — об одолжении небольшом я буду просить вас очень усердно...

— Все, что могу... Вы так меня выручили... Я не знаю, как вас благодарить...

— Дело пустое: я только попрошу вас взять с собою в ваш багаж ящик, который я посылаю в Петербург.

— С удовольствием, если только в нем не будет трупа, разрезанного на части. А то с полицией выйдут хлопоты, и, главное, я боюсь покойников.

Смеется.

— О нет! Я только хочу просить вас — передать подарки моей племяннице. Моя сестра живет в Петербурге, — у нее большая модная мастерская, — и вот теперь она выдает дочь замуж. Это свадебные дары.

— Прекрасно. Большой ящик?

— Довольно большой, но багажные по тарифу я, конечно, беру на свой счет.

— Да я не к тому. А, может быть, вы посылаете много вещей? Тем более, — если к свадьбе, то, значит, дорогие...

— Да, есть ценности.

— В таком случае, простите, но я могу принять их от вас только по описи... Мало ли что может случиться в пути, и какие потом возникнуть недоразумения?

— Конечно. Вы правы и благоразумны. Очень хорошо. Будет сделана опись.

— А кому я должна отдать ящик в Петербурге?

— О, не беспокойтесь об этом! К вам явится мой брат или племянник. Отдайте тому, кто предъявит вам рекомендацию от меня.

— Тогда все в порядке. Привозите ваши сокровища.

Привезла сундук. Действительно, целая башня. Как открыли мы его, я так и ахнула. Глаза разбежались. Вещи ослепительные. И чего-чего там только не было. С ума можно сойти: такие прелести. Никогда ничего не видала богаче и лучше. Поахала я над сундуком, повздыхала, — приступили к делу. Отсчитала m-me Durand мне две тысячи франков, взяла с меня расписку в них, под описью сундука мы обе вместе тоже подписались, — откланивается. А меня любопытство мучит.

— Простите, но я страшно заинтригована: что побуждает вас кредитовать меня, незнакомую вам женщину, на таких льготных условиях, да еще доверять мне этот ценный сундук? Ведь в нем, по меньшей мере, тысяч на сорок франков дорогого товара.

M-me Durand на это в ответ спрашивает меня с искренностью:

— Ведь вы действительно г-жа N.?

— Самолично.

— Ваш муж занимает в Петербурге такой-то пост?

— Да.

— В прошлом году вы ездили за границу и возвращались на родину тоже с большим багажом?

— Ваша правда.

— И пограничная таможня не осматривала ваших сундуков?

— Нет, осматривала, но очень поверхностно: только поотпирали замки да подняли крышки. А внимательно, как у других дам, моих вещей никогда не осматривают.

— О, конечно! Вот, видите ли, — нам все это прекрасно известно. И потому-то я решилась поручить вам этот сундук, что среди ваших вещей его осматривать не станут и, следовательно, родные мои получат вещи без пошлины. А пошлину им пришлось бы заплатить в размере гораздо большем двух тысяч франков, которыми вы желаете у меня кредитоваться.

В Петербурге ко мне явился тоже как-то утром очень учтивый и порядочный на вид француз, — по типу commis * из очень хорошего торгового дома. Он рекомендовался мне племянником m-me Durand, показал доверенность от нее и принял сундук по описи... Больше я его не видала.

Зато из вещей, бывших в сундуке, стала видеть очень много потом в сезоне, — то на одной нашей mondaine **, то на другой...

Спрашиваю Лили Беззубову:

— Где вы купили этот валансьен? В Париже, конечно? Здесь у нас нельзя найти такого.

— Нет, представьте, — именно здесь, в Петербурге.

Называет адрес и шепчет:

— Только не выдавать. Это я вам — по дружбе. Мне самой продали под страшным секретом. Говорит, что контрабанда.

А я отлично узнаю, что это тот самый, который по поручению m-me Дюран приехал из Парижа в знаменитом сундуке. Следовательно, не посылала она никаким родственникам никаких подарков, а все вещи были просто-напросто для торговли и отчаянно контрабандные. И мне вдруг стало стыдно и страшно:

— Как же это так? Ведь я, кажется, нечаянно попала в контрабандистки?

И так меня мучила эта мысль: ах, что если узнают? ах, что тогда со мною сделают? — что я не выдержала, во всем призналась мужу. Он ужасно рассердился, бранил меня, клялся, что сам, собственноручно, напишет письмо главному таможенному начальнику, чтобы тот отдал приказание впредь осматривать мои вещи как можно строже, напугал меня, расстроил, пригрозил, что больше не пустит меня одну за границу...

Сижу и плачу. Приезжает мой друг, Фофочка Лейст. Вы ее знаете.

— Что с вами?

---

* Приказчик (*фр.*).

** Светская дама (*фр.*).

У меня от нее тайн нет. Рассказала. Она подняла свой маленький нос, посмотрела на меня с видом неизмеримого превосходства, точно она на вершине пирамиды, а я на дне глубокого колодца, и сказала, картавя:

— Милая, какое вы еще дитя.

— Да! Дитя! И вы были бы дитя, если бы муж вам сделал такую сцену.

— Все мужья делают сцены.

— Сцены сценам рознь. Если сцена из пустяков и я права — пусть. Это даже приятно. Но когда сознаешь себя виноватою...

— А зачем же вы сознаете себя виноватою? Вы не сознавайте! Это не надо!

— Как не надо? Говорю вам: муж совершенно прав...

— О нет, муж никогда не может и не должен быть совершенно правым.

— Но поймите, ведь я действительно попала в очень некрасивую историю и провезла через границу дорогую контрабанду.

Фофочка опять:

— Дитя! Нет, вы дитя!..

Я рассердилась наконец:

— Дитя! Дитя! Легко говорить: дитя, — а посмотрела бы я вас на своем месте. Дитя! Дитя! А почему я «дитя»?

А Фофочка ничуть не смущаясь:

— Потому что — с кем же из нас, бедных путешественниц, того же не бывало? Но только дети имеют наивность говорить вслух о своих маленьких секретах...

* * *

Лет семь тому назад я жил в центре Петербурга, в огромном доме, на четвертом этаже. Окна моего кабинета приходились как раз к внутреннему углу квадратного корпуса, так что, живя в одном катете каменного прямого угла, я в каких-нибудь двух саженях по гипотенузе имел перед собою бли-

жайшее окно другого катета и часто волею-неволею становился свидетелем протекавшей за ним жизни. Хозяйка окна была дама пожилая, восточного типа, со следами былой красоты. Часто мелькали за окном по-домашнему одетые барышни, довольно красивые, тоже полувосточного неопределенного типа. Мужчин за окном я не видал ни разу. Зато дам — множество и, к изумлению моему, часто очень мне знакомых. Посещали таинственную квартиру актрисы, иногда даже знаменитые; проносились бледные профили тех львиц, которых «Листок» и «Газета» поминают «о азар», описывая балы, концерты, рауты; бывали и обыкновенные смертные, нарядные, сытые буржуазки.

Грешный человек, сперва я думал, что передо мною — тайная квартира для свиданий. Но, во-первых, повторяю: за окном никогда не видно было ни одной мужской фигуры; во-вторых, однажды я заметил у окна в живом разговоре с хозяйкой квартиры супругу моего соседа и приятеля — даму пожилую, прекраснейшую и добродетельнейшую, которой, как жены Цезаря, не должно было и не могло касаться подозрение.

Встречаю вскоре потом почтеннейшую Анфису Гавриловну на лестнице: подъезд у нас был общий. Говорю:

— А я вас видел на днях вот где и вот как...

Милая дама залилась румянцем, да — как расхохочется:

— Да ну? Что вы? Вот так попалась я. Вы смотрите: мужу не расскажите. Он мне задаст.

— Вот как? Однако! Ой-ой! Анфиса Гавриловна! Что-то неладно...

— Что уж хорошего? — вздыхает она, — но знаете: баба я слабая... соблазн так силен... Согрешила на старости лет, окаянная...

— Анфиса Гавриловна!!!

— Да полно вам... Не то, что вы думаете... И, вообще, ничего особенного... А только ваша братия, мужчины, не очень-то долюбливают хозяйку этой квартиры.

— За что?

— Говорят, будто много мы, бабы, ей денег носим.

Я смиренно повторил:

— За что?

— А уж это не ваше дело. Много будете знать — скоро состаритесь.

В другой раз, много позже, приезжаю к приятелю, чиновному литератору, — как зван был, — завтракать. Хозяина еще нет дома, не приходил со службы. Хозяйка встретила меня какая-то растерянная, с заметным смущением, сунула мне в руки газету и, извиняясь, что сейчас, сейчас вернется меня занимать, скрылась куда-то внутрь квартиры. Из соседней комнаты долго доносилось ко мне оживленное шушуканье двух женских голосов. Но вот — в передней задребезжал резкий хозяйский звонок. Шушуканье оборвалось, и — сию же минуту — мимо меня во весь дух, опрометью, бурею помчалась по направленно к кухне, на черный выход с узлом под мышкою хозяйка знакомого мне окна. А жена моего приятеля, проходя мимо меня навстречу мужу, сделала мне такой выразительный знак молчания, что я поспешил принять самое невинное выражение, на какое только способно лицо мое:

— Никого видом не видал, слыхом не слыхал...

Жена моего приятеля — хорошая дама, совестливая. Не любит и боится, чтобы о ней не только говорили, но даже думали дурно. Поэтому, возымев со мною общую тайну, она возымела и настоятельную потребность оправдаться, «чтобы вы не вообразили чего-нибудь худого».

— Поверьте мне: эта дама очень милая, она не занимается ничем дурным. Но я не смею принимать ее явно, потому что Петр ее терпеть не может. Ее все мужья ненавидят.

— Но кто же она, наконец?

— Фамилии не знаю. Никогда не знала. Да, кажется, и никто не знает. У нее нет фамилии.

— Батюшки, да это Расплюев какой-то в юбке! Ведь только почтеннейший Иван Антонович пытался уверить квартального надзирателя, что — «я без фамилии, у меня нет фамилии»...

— Да нет же! Какой Расплюев? Очень скромная, честная... Ну... ее все знают... Вероятно, приходилось слыхать... Это — Дина-контрабандистка...

— Ах, вот в чем дело... Слыхал, слыхал... Своего рода знаменитость.

— Что делать, мой добрый друг? — трагикомически вздохнула собеседница, — мы получаем так мало, а одеваться прилично в Петербурге так дорого. Если бы не Дина-благодетельница, мы, жены чиновников среднего оклада, все были бы одеты как чумички.

— Но в таком случае, за что же ненавидят ее мужья? Им бы, наоборот, следовало чтить ее и любить, — адрес бы ей благодарственный, что ли...

— И, конечно, следовало бы. Но разве с вами, мужчинами, можно сговориться по-человечески? Вы сотканы из предубеждений. Мой супруг на что добр и мягок, а при одном имени Дины просто тигром каким-то становится. Послушать его, так и краденое-то она нам продает, и записки-то любовные из дома в дом переносит, и в уголовщину-то нас когда-нибудь запутает, и шантажа-то мы не оберемся...

— Я, не зная вашей Дины, не решусь быть столь мрачным пророком, однако, по-видимому, — личность, действительно, темная и большого доверия не заслуживает.

— Ах, Боже мой! Как будто я рада знать ее? Я была бы очень счастлива никогда не видать ее, не пускать к себе на порог и позабыть об ее существовании. Пусть мой Петенька отпустит мне сто рублей в месяц на туалеты, и я изменяю Дине навеки: все буду закупать в магазинах. Но ведь ему это не под силу, — тогда о чем же и толковать? У Дины я имею

за тридцать, за сорок рублей вещи, за который в Гостином надо отдать сто, полтораста, а уж про Морскую я не решаюсь и мечтать...

— А вы не находите, что сто рублей в месяц на туалет — это немножко чересчур широкая роскошь при пятитысячном годовом доходе?

— Очень нахожу, — серьезно возразила она, — но что же делать? Моды растут в цене с года в год. А Петербург — точно с ума сошел, с года на год надо одеваться все роскошнее, все дороже. Дешевле, чем я вам сказала, трудно одеться не только хорошо, — где уж нам! — но просто хоть сколько-нибудь прилично по нынешним диким требованиям. А то хоть не выезжай вовсе, сиди дома: хуже других не радость быть... Да и супруг первый же начнет воркотню: «Что это ты, матушка? На что похожа? Всякую женственность утратила, даже собою заняться лень, одеться хорошо не умеешь. Клеопатра Львовна, Нонна Сергеевна — словно картинки, а ты рядом с ними допотопная какая-то, точно горничная в старом платье, подаренном барынею... Еще люди дурно подумают, — станут говорить, что я скуп, мало выдаю тебе на туалеты...» Так вот и понимайте: надо, чтобы и одета была по последней картинке и чтобы за грош пятаков наменять... Голь на выдумки хитра: умудряемся койкак, при помощи Дины. А вы, господа, видя, что она вечно при нас вертится, да деньги мы ей платим, да в долгу мы у нее все, как в шелку, воображаете, будто она наша грабительница и соблазнительница, женский Мефистофель какой-то... И, уж если бы вы знали, сколько неприятностей переносит она от вашего брата! И — каких! Подумать страшно.

— Неужели даже до «бокса»? — пошутил я, все держа в памяти бесфамильного, как Дина, Ивана Антоновича Расплюева.

Но дама пресерьезно мне возразила:

— А вы думаете, — нет? Очень просто!..

* * *

Случай вскоре доставил мне знакомство с Диной-контрабандисткою и вместе с тем убедил меня, что, действительно, не легка ее жизнь от нашего брата, мужчины. Как-то раз, поздно ночью, возвращаясь из театра, я заметил у ворот нашего дома беспомощно ковыляющую женскую фигуру: не то больная, не то очень пьяная... судя по поступи с наклоном не в «правую-левую», а все вперед, к земле, — скорее больная. Я прибавил шагу и догнал: Дина-контрабандистка!.. Но — в каком виде! Волосы сбились на лоб, лицо при свете фонаря белое, как плат, щека вздутая, под глазом не то синяк, не то царапина: именно уж — Расплюева в юбке после трепки...

— Виноват, — решился я сам заговорить с нею, — вы, кажется, нездоровы. Не помочь ли вам?

Она взглянула на меня с диким видом, потом, узнав меня, закивала головою и зашептала:

— Ах, пожалуйста, будьте так добры... Мне очень трудно идти... Я упала, разбилась... Дворника звонить не хочется... Люди грубые, я в таком безобразии... Бог знает что могут подумать...

Я помог Дине подняться на лестницу, в четвертый этаж. Должно быть, нога у нее была очень ушиблена, потому что она, бедняга, даже зубами скрипела, переступая со ступеньки на ступеньку. На звонок наш выбежали Динины барышни и, увидав хозяйку дома своего в столь беспомощном состоянии, конечно, пришли в ужас. Поднялся крик, визг, охи, ахи. Дина же, едва ввалилась в переднюю, беспомощно опустилась на стул под зеркалом и взвыла истошным голосом:

— Динку били! Ой-ой-ой! Динку били, — ой, как били! — воскликнула она, не стесняясь моим присутствием и, по-видимому, даже позабыв, что я, чужой человек, стою в дверях.

Стон и рыдания барышень удвоились. Я поторопился уйти и, спускаясь по лестнице, позвонил мимоходом к знакомому доктору:

— Зайдите в квартиру № 11, там хозяйка больна.

Он засмеялся.

— Опять избили, небось?

— А разве уже бывало?

— Это, на моей практике, уже в четвертый раз.

— Так что вы в некотором роде, выходит, состоите при этой квартире постоянным побойным врачом?

— Да... Что-то вроде чего-то...

Дней пять спустя Дина явилась благодарить меня. Она слегка прихрамывала, но синяк под глазом был тщательно затерт белилами и пудрою. Разговорились. Дина оказалась крещеною еврейкою, но столь удивительно обрусевшею, что, если бы не восточный облик, то и не догадаться об ее семитическом происхождении: так чист был ее акцент, так истинно-русски обороты речи. Она говорила, как типичная петербургская мещанка или мелкая торговка. При всей странности ее промысла и образа жизни, Дине нельзя было отказать в симпатичности и даже в привлекательности: глаза умные, мягкие очертания рта говорят о доброте и кротком, податливом характере. Смолоду, должно быть, была совсем красавица.

История ее увечий оказалась такова. Некий бравый экс-вивер, некогда изгнанный товарищами из полка за чересчур постоянное счастье в штоссе и макао, застал Дину с товаром у своей содержанки.

— Черт его нанес. Мы думали, — он в театре, оттуда в клуб поедет. Ан, — тут как тут, словно домовой или зловредный привидений...

Сперва экс-вивер Дину ругательски обругал, потом стал гнать из квартиры.

— Позвольте, — говорит Дина, — что же вы мне кулаки под нос суете? Я сама уйду... Только дайте мне собрать мои вещи...

— Нет тут никаких твоих вещей!..

— А это вот?

— Мое благоприобретенное!

— А если берете, то заплатите деньги...

— Вон!

— Как — вон? Мой товар... мои деньги...

— Твой товар? Товар твой? А вот я отправлю тебя в полицию вместе с твоим товаром, там посмотрят, — какой у тебя товар.

— Помилуйте, — возражает Дина, — как вы можете такое говорить? Кажется, я служу барыне не в первый раз, достаточно она переносила моих вещей.

А она, клиентка-то моя любезная, слыша эти слова, чем бы меня поддержать, вдруг вся всполошилась и, покрасневши, говорит:

— Нет уж, пожалуйста! Это зачем же? Вы на меня, сделайте одолжение, ничего не взводите. Никаких товаров я у вас до сегодня никогда не брала и вас в глаза не знаю, не видала, — кто вы такая, ведать не ведаю...

— Позвольте, — говорю, — сударыня милая! Коль скоро вы меня не знаете, то каким же способом, — объясните, — очутилась я у вас в ночное время на квартире?

— А это вас спросить надо...

А горничная ейная, — красивая такая, здоровая девка, шельма на вид, — сразу понимай: из той же компании, — тем временем мимо нас шнырит да шнырит... Я гляжу: чего она шнырит? — глядь, а узла-то моего уже нет... Мигнуть не успела, как она, горничная то есть, его в спальню спроворила. Тут я поняла:

— Угодники, у них подстроено! Сговорились, подлецы, все трое меня в ловушку поймать! Попала я на добрых плутов! Ну дело бывалое: стало быть, пропадай все, унести бы только ноги.

А тот знай орет:

— Вон! Вон! Вон!

— Да иду, батюшка, иду. Что вы надсажаетесь? Сама минуты не останусь в вашем вертепе.

— Вон! В полицию!

И — между прочим — обращается к горничной, к шельме своей:

— Маша, идите за дворником...

Тут я не стерпела. Очень уж обидно показалось. Как? Меня же обдули, как липку, да меня же к дворникам в лапы?

— Нечего, — говорю, — меня дворниками пугать: сама ушла, — не впервой грабеж-то терпеть. Возьмите себе кровные мои денежки на могилу, крест да саван. Не господа вы, а шувалики, — говорю. Воры, мазура несчастная, — говорю.

Сама, как услыхала мою аттестацию, взвизгнула, да в обморок, на диван. Горничная — ученая каналья — из спальни выбегает, кричит:

— Ах какие несносные оскорбления! Беспременно эту негодяйку надо в участок отправить. Я свидетельница.

Но барину, как он ни лют, в участок вести меня неохота.

— Мы, — говорит, — и без участка обойдемся, своим судом. Маша, приведите барыню в чувство, — стакан холодной воды барыне. А эту голубушку я провожу по-свойски...

Да — кулачищем меня в подглазье раз, два, три... Кулачище огромнейший, пудовик... Света не взвидела... Слышу: повернул, в шею толкает через все комнаты, злодей, за плечи ухватил сзаду — одною рукою ведет, а другою кулачищем по затылку наяривает... Довел до черной лестницы, да — как вдарит!.. Так я с поворота на поворот, из этажа в этаж, до самого двора и докувыркалась.

— Черт знает что такое! — возмутился я. — Жаловались вы на этого господина?

Дина потупилась.

— Нет. Как же я могу жаловаться? Пойдут суды, полиция... Мне, знаете, оно — дело неподходящее. Да. И еще от

прежних покупок за нею должишко был, рублей до двухсот. Теперь, конечно, тоже пиши пропало...

— Разве у вас нет на нее документа?

— Нет.

— Как же вы так?

Дина улыбалась.

— А на что документ? Что он мне поможет? Документы хороши, когда в торговле все чисто, а мое дело особое, деликатное. Оно все на взаимном доверии живет. Которая дама доверие к себе внушает, зачем мне с нее документ брать? Сама заплатит, когда деньгами раздобудется, без документа. И прибавит еще, хорошее вознаграждение подарит за долгое подождание. А у которой характер подлый, обманный, и никакой совести в ней нет, той я и с документом ничего не поверю. Потому что много ли я остаюсь, при всем моем документе, «галантированная»? Которая несовершеннолетняя, которой муж долги не платит, которая под чужой фамилией живет, до которой, ежели долг по закону получать, то и рукою ее не достанешь. Бывает и так, господин, что иной задолжалой сама лучше, какой она хочет, документ рада выдать, только — отвяжись, не губи, не стращай... Была у меня одна: муж видное место имеет. Задолжала она мне до двух тысяч рублей. Намекаю: «Анна Прохоровна, нельзя ли получить деньжонок?..» — «Ах, Дина, я без гроша. Да разве ты мне не веришь? Беспокоишься? Ты не бойся. Ну хочешь? — я тебе вексель выдам...» Была дура, согласилась: «Пожалуйте, хоть вексель». Проходит срок. Не платит. Переписали. Опять не платит. Опять переписали. И так-то раз пять или шесть. А мне не векселя нужны, у самой денег нет ни копейки для оборота. Афера тут у меня одна сорвалась, да кое-кому нужно было сунуть барашка в бумажке, колесца смазать... Говорю: «Как, Анна Прохоровна, хотите, а пожалуйте денежки, а то я документ протестую и до суда пойду...» Принялась она меня тут тоже срамить, ругать: и во-

ровка-то я, и контрабандистка-то, и в тюрьму-то меня, и в Сибирь... Однако я выдержала характер, настояла на своем. Уж не знаю, из каких сумм-доходов она извернулась, но заплатила... А дней этак шесть-семь спустя, вбегает ко мне знакомый сыщик...

— Динка, — говорит, — ты того: остерегайся. Коли что плохо лежит, припрячь. На тебя у-у-ух какой доносище был, и велено за тобою следить в оба... В большое тебя подозрение одна барыня поставила...

— Кто такая, голубчик? Разузнай, — хорошо заплачу.

— Такая-то...

Смекаю: Анны Прохоровны этой самой троюродная сестра... Вон оно, откуда ветер-то дует... Нет уж, ну их к дьяволу, документщиц этих... Тогда на две тысячи векселишко заплатила — да и то бумажонками какими-то завалящими, рублей полтораста потеряла я на одном промене, — а торговли испортила на десять тысяч...

— Мудреная у вас коммерция, Дина!

— Что ж? Какое кому дело дано, что кто умеет оправдать.

— И часто вас надувают в платежах таким образом?

— Да считайте, что из десяти клиентов три не платят.

— Однако! И все-таки выгодно торговать?

Дина уклончиво улыбнулась.

— Живу.

— Имеются у вас конкурентки? Много таких промышленниц в Петербурге?

— Да, есть... Порядочно много... Эльза Чухонка, Берта Егоровна, мадам Юдифь, Ольга Кривая...

— И все имеют свою булку с маслом?

— Не жалуются. Я-то, конечно, не чета им, в первый номер иду, в большие дома вхожа, репутацию имею. Но некоторые, — вот мадам Юдифь, например, — даже больше меня зарабатывают. Ну только это потому, что их коммерция нечистая, приторговывают...

— То есть?

— Мой товар модный и галантерейный, а они и от живого товара не прочь. Свидания устраивают, сводничают. Юдифь — та прямо эту специальность имеет. Конечно, дело выгодно. Как не выгодно? Но это — кому в охоту, и совести если нет. Я вот не могу. Доходно, а руки не поднимаются. Видно, дурна ли я, хороша ли, а совести, кому она от рождения дана, не изживешь... Вон Ольга Кривая и краденое покупает, с воришками знается... Еще выгоднее. Стыдно, не умею... Помилуйте! У меня племянницы взрослые, с образованием девушки. Очень хорошие, честные, порядочные... Даю вам благородное слово...

Дина задумалась.

— Вообще, хотелось бы кончить все это. Пора. Двадцать лет бьюсь, как пан Марек мычется по пеклу. Шутка сказать: мне пятьдесят лет, я старуха, мне бы внучат качать, чтобы бабушкою меня звали, а вот она — жизнь-то моя, покой мой...

Дина выразительно поднесла руку к замалеванному синяку:

— Только и заслужила.

— Да, завидовать нечему...

— А, если бы вы знали, сколько других беспокойств!

Дина даже рукою махнула.

— Всякий-то норовит отщипнуть у тебя кусок себе; со всяким-то делись, от всякого-то бойся доноса. Получишь дорогой, фартовый товар — думаешь: вот наживу сто на сто. Куда там!.. Не тут-то было! Как начнут рвать направо, налево подлипалы всякие, — благодари Бога, если останется в твою пользу двадцать процентов: остальное — так вот все само в руках твоих зримо и растает... Не будь у меня племянниц бедных, давно бы бросила. Племянницам хочется хорошее приданое дать... Вот, нет ли у вас женишка? — засмеялась она.

Я ответил ей в тон:

— Как не быть? У вас товар, у нас купец. Охотников взять красивую невесту с деньгами в Петербурге сколько угодно. Помногу ли сулите?

— Да уж куда ни шло, по большой красненькой на каждую расшибусь.

— По десяти тысяч? Ого!

— А для хорошего человека, если с ручательством, что верный — не обидчик, пить не станет и девку не заведет, можно и прибавить...

— Дина, да ведь у вас их с руками оторвут: по нынешним временам, ваши племянницы — клад...

— Да уж я, что касательно домашнего интереса, люблю так, чтобы все было по-хорошему... Да... Награжу всех, выдам, устрою — и забастую. Мне, старухе, много не надо. Сохраню себе малый кусок. Авось буду сыта.

— По монастырям, поди, станете ездить? Грехи замаливать?

Дина сжала губы.

— Не очень-то я, знаете... Не охотница... Нет, просто на покой хочу... Ну буду у племянниц гостить, от одной к другой ездить... Ничего, они у меня добрые, любят меня, не поскучают...

* * *

Дина — контрабандистка настоящая. Но огромный спрос на всякого рода запретный товар породил в Петербурге особые промыслы контрабанды мнимой, притворной: таков уж наш цивилизованный век, что даже контрабанда — и та стала жертвою фальсификации.

Обедая у иных петербуржцев, вы часто замечаете на столе бутылки со странными ярлыками, не похожими на этикеты обычно ходовых фирм. Содержимое бутылок иногда оказывается никуда не годным месивом, а то вдруг случайно

выпадает — нектар. В последнем случае, вы, конечно, интересуетесь:

— Где вы достаете такую прелесть?

Хозяева улыбаются таинственно.

— Это секрет.

В настоящее время — уже секрет полишинеля, потому что он неоднократно обнаружен, уличен, выведен на свежую воду и даже, кажется, побывал под судом.

К вам является неопределенное существо женского пола, полудама-полубаба.

— Что вам?

Существо оглядывается с видом заговорщицы.

— Дельце к вам... В особенную поговорить хотелось бы...

— Лиза, выйдите... Ну-с?

— Наслышаны мы, что у вас бывает много гостей.

— Случается... Так что же?

— Стало быть, вина у вас много идет... В магазинах берете? Дорого оно в магазинах-то. Да и нехорошее. Чистого вина нонче днем с огнем не найдешь в магазинах. Либо надо платить бешеные деньги...

— Совершенно верно. Дальше?

— Хочу вам предложить, не пожелаете ли, чтобы я вам поставляла вина? Самых высших сортов, за чистоту и качество ручаюсь, — если не понравится, хоть и денег не платите.

— А как дороги?

— По рублю бутылка огулом.

— Какие марки?

Баба-дама называет очень высокие заграничные вина: шамбертен, мутон-ротшильд...

— Ну, голубушка, — рекомендуете вы ей, — проваливайте, откуда пришли, и благодарите Бога, что я не зову полицию. По рублю за бутылку продавать мутон-ротшильд в состоянии только вор: очевидно, вина ваши краденые.

Баба-дама, ничуть не смутясь, возражает:

— Никак нет. Как можно, чтобы краденые! Мы только что без патента торгуем, а на каждую партию, которую будем доставлять, мы в полном своем праве.

— Как же так? Откуда вам достаются дорогие вина дешевле, чем они продаются на месте?

— А это вина, которые остаются из погребного отпуска на придворные обеды. Которые бутылки не поступают на столы, то экономия уже не возвращается обратно в погреба, но остается в подарок прислуге. Официанты делят вино между собою, а я у них скупаю и перепродаю. Вот-с и весь секрет, какое наше винцо выходит. И, стало быть, ничего в нем запретного нет, и совсем незачем вам беспокоить полицию.

— Если так...

Вы заинтересованы.

— Хорошо. Принесите на пробу несколько бутылок.

Вино, действительно, превосходное...

— Благодетельница, волоките еще.

— С удовольствием. Но только извините, могу доставить лишь большою партией. Бутылок этак в двести, не меньше.

— Ой, куда мне?

— Сударь, сами изволите рассуждать: по рублю за бутылку беру. По мелочам продавать — не стоит и мараться. На извозчиков, почитай, столько же проездишь, да на машину, ведь мы петергофские. А у вас винцо разойдется. Чего в доме не выпьют, с великою радостью разберут знакомые.

— И то правда. Хорошо. Доставьте двести бутылок.

Двести бутылок принесены. Они совершенно той же формы и с теми же этикетами, что пробные. Деньги заплачены. Продавщица исчезла. Вы хвалитесь приятелю:

— Вот попотчую тебя винцом. Слово даю: такого ты еще и не пробовал.

Приятель пьет и делает страшную гримасу.

— Бррр... Уж именно, что еще не пробовал!.. Кто тебя наградил этою бурдою?

Пьете. Ужас, что такое: и еусло, и уксус, и сивуха.

— Должно быть, испорченная бутылка, плохая пробка... Откроем другую.

Напрасно. Можете откупоривать вторую, третью, пятую, десятую, сотую! все будет — сандал, фуксин, жженный сахар, слегка заправленные плохим лафитом или кагором для запаха. Месиво, гнуснейшее на вкус и весьма мрачное желудочными последствиями. По крайней мере, один небезызвестный журналист, рискнув, по ненасытности утробы своей, опорожнить бутылку такого вина, едва не отдал Богу душу.

Ясно, конечно, что вино это никогда не видало не только дворцовых погребов, но даже обыкновенных купеческих подвалов.

Мошенничество это рассчитано на, так сказать, «психологию молвы». Легенда об остающихся после придворных парадных обедов драгоценных винах, действительно, существует в Петербурге, и, кажется, вина, действительно, дарятся прислуге, и та, действительно, продает их в свою пользу, но... конечно, не по рублю за бутылку и не в частные руки, а крупным виноторговческим фирмам, дающим очень хорошие цены и являющимся постоянными, многолетними, систематическими покупателями. Они приобретают товар, а вы легенду о товаре и карикатуру на товар.

— Ну а первое-то вино?

Кусок сала, положенный в мышеловку, чтобы заманить мышь. Три-четыре бутылки хорошего вина приобретаются промышленницею рублей за двенадцать. Остальные расходы производства: рублей на пять бурды для наполнения бутылок да около восьми копеек с бутылки за посуду со всею укупоркою. Следовательно, рублей за двадцать пять приготовляется вся приобретаемая вами партия. Вы платите двести рублей. Барыш — сто семьдесят пять. Кажется, недурно?

— Но, — скажет читатель, — принимая вино, вы можете попробовать его вторично?

А на сей случай в корзине или подвешенные под юбками продавщицы имеются в запасе две-три бутылки хорошего вина, которые и будут ловко подсунуты вам как вторичная проба. Вы платите такой хороший процент, что продавщице не жаль угостить вас на прощанье винцом порядочным. А затем для нее главное — поскорее выбраться из вашей квартиры и, по возможности, не повстречаться потом с вами на улице. А, впрочем, если и повстречается, то — что за беда?

— Какую ты мне бурду продала, чертова кукла?

— Окреститесь, батюшка! Никогда я вам ничего не продавала, впервой вас в глаза вижу... А за чертову куклу ответите... Не в бессудной стране живем... Господа прохожие! Господин городовой! Будьте добры прислушаться!

1898

КУРОРТНЫЙ МУЖ

Поццуоли изнывало в истоме полуденного зноя.

Я лежал в тени нависшего над морем утеса, положив под голову вместо подушки толстую кипу русских газет, только что полученных с почты.

От Неаполитанского залива веяло ароматом моря, отдыхавшего после вчерашней бури. Кто знает море, вспомнит этот запах, поймет меня и позавидует мне.

С берега веяло лимоном и розами.

От газет под головою — уголовщиною, крахами банков, юбилеями и бракоразводными делами.

Баюкала тень утеса, баюкало море, баюкали ароматы.

Глаза слипались, в голове бродила коварная мысль:

— А не развернуть ли мне «Новое время» или «Новости» да, прикрывшись ими вместо простыни, не задать ли хорошего храповицкого?

Между мною и миром легла туманная сетка. Я уже не видал ни Искии, ни Капри. Зато на горизонте очень ясно, хотя неожиданно, определились два Везувия, и я никак не мог разобрать, ни откуда взялся Везувий № 2, ни который из двух Везувиев настоящий.

Еще минута, и... Нирвана! «Покойся, милый прах, до радостного утра!»

Вдруг мне предстал незнакомец. По первому же взгляду я признал соотечественника: и какого! Соотечественника с головы до пят, до конца ногтей, до корня волос. От драгоценнейшей, но измятой и запачканной фетровой шляпы, приобретенной, по меньшей мере, у Брюно, до незавязанного шнурка на желтом башмаке, до истрепанной шелковой тряпки вместо галстуха на шее. От прорехи под мышками пиджака, сшитого, несомненно, у Тедески, до три дня небритой физиономии и потных желтых косиц, уныло прилипших к вискам.

Он кротко уставил на меня молочно-голубые очи, полный телячьего смирения и глубокой покорности судьбе; фыркнул раза три добродушнейшим носом стиля картошки и цвета спелого баклажана и сказал, отдуваясь:

— Если не ошибаюсь, компатриот?

И на утвердительный ответ мой продолжал:

— Не обессудьте, что я к вам присяду. Жарко. Солнце это... горки. Одно слово, Италия, черт бы ее побрал. Вы, конечно, удивлены, что я ругаю Италию? De gustibus, сударь мой, non est disputandum *. Вы, может быть, художник или, Боже избави, поэт? Тогда вам и книги в руки по части «Авзонии прекрасной». Но я, батюшка, статский советник, кавалер и домовладелец, а кроме того, откровенный человек. И как таковой говорю еще раз с полною искренностью:

— Черт бы ее побрал.

* О вкусах не спорят (лат.).

Страна порядочная, comme il faut *, не имеет права иметь так много синего моря, столько солнца, столько гор... в особенности гор. Коли нужна тебе живописная возвышенность для декорации, — воздвигни парголовский Парнас, Воробьевы горы... что-нибудь этакое, чтобы мило, благородно и не утомительно. А то — эвона каких дылд наворотили! А вы изволите видеть: я мужчина сырой комплекции. И, наконец, у меня катар желудка, одышка, приливы к голове. Шея короткая, а дело известное:

Те, у которых шея коротка,
И жить должны на свете покороче!

Кондрашка ходит за мною по пятам незримым спутником. Куда я, туда и он-с!

Вы, конечно, недоумеваете: откуда и зачем столь благополучный россиянин, как ваш покорнейший слуга, очутился здесь, под демоническою скалою, с которой только бы орать какому-нибудь Тартакову или Яковлеву:

Проклятый мир!
Презренный мир!
Несчастный, ненавистный мне мир!

Я разделяю ваше недоумение. Я тоже не знаю, зачем я здесь. Зовите меня вандалом, я это имя заслужил, но какую-нибудь московскую Плющиху, какие-нибудь питерские Пески я предпочитал, предпочитаю и по гроб жизни своей предпочитать намерен вашей голубой средиземной волне, вашему Везувию, похожему на солдата, который спьяна никак не раскурит свою трубку, вашим прославленным лиловым островам в дымке синего тумана.

Зачем же я здесь?

Затем, милостивый государь, что я — муж.

---

* Приличная (*фр.*).

Слово «муж» имеет во множественном числе две формы: «мужи» и «мужья».

Первые суть мужи славы. Вторые — мужья своих жен.

Участь первых — Капитолий. Вторых — башмак!

Первым ставят памятники. Вторым ставят рога.

Первых венчает история. Вторых — священники.

Первыми гордится человечество. Вторыми помыкают даже горничные их собственных жен.

К первым обращаются в звательном падеже:

— О, доблестные мужи!

Ко вторым:

— Э-эх, господа мужья!

О первых вещают миру Тациты, Несторы, Нибуры, Костомаровы. О вторых — Казановы, Арман-Сильвестры, Боккаччио, Поль де Кок и пр., и пр.

Я муж, милостивый государь! — и, конечно, если вы меня размножите, из меня выйдут не мужи, но мужья.

Sapienti sat! *

Мужья бывают разных пород. Я, с позволения вашего сказать, муж курортный.

Муж вечно прополаскиваемого тела и промываемых костей. Муж существа, пропитанного углекислотою всех европейских минеральных источников и солями всех европейских морей. Моя супруга — самая чистоплотная женщина под луною. Она вымыта не только за самое себя, но, я полагаю, и за нисходящих потомков наших, до седьмого колена включительно. И теперь купается здесь в Bagnoli уже в честь линии восходящей — за дедушку, прадедушку и т.д., вплоть до корня нашего родословного дерева. Так сказать, за здравие мы уже откупались и теперь полощемся за упокой. Нашими купаньями можно, назло невежливой пословице, отмыть добела черного кобеля, человека черной сотни пре-

---

* Для мудрого достаточно сказанного! (*фр.*)

вратить в дворянина белой кости, негра — в альбиноса, темную личность в светлого деятеля.

Супруга влачит меня из Петербурга в Старую Руссу, из Руссы в Ялту, из Ялты в Франценсбад, из Франценсбада в Виареджио, из Виареджио на Платен-Зее, с Платен-Зее в Либаву, из Либавы в Меран, из Мерана в Биарриц, из Биаррица в Кисловодск, из Кисловодска в Остэнде, из Остэнде в Сорренто, из Сорренто к черту на кулички, а что касается моей скромной особы, то, может быть, и на Волково кладбище. Что же? Путешествие не хуже других. Когда вы узнаете мою горемычную жизнь, вы согласитесь, что у меня нет резонов от него отказываться.

Прежде чем стать мужем женщины, я был человеком. Homo sapiens. Теперь друзья нашего дома стараются доказать мне, будто я переходная ступень от гориллы к минотавру. Иногда, ощупывая на лбу своем многочисленные зачатки рогов, я сам почти готов сомневаться: не сродни ли я любезному сыну беспутной Пазифаи? Но нет! нет!! нет!!! Homo sum et nihil humani a me alienum esse puto! *

Когда-то я «воспитывался» и, в некотором роде, не лишен даров образованности. Могу потолковать об Ювенале и в конце письма поставить vale. Батька у меня был строгий и философ. Бывало, сечет меня и приговаривает:

— Ангел Коля! Помни, что главенствующий принцип жизни есть долг.

— Что такое долг, папаша? — спрашивал я сквозь слезы.

Странная вещь, почтеннейший! Я с пятилетнего возраста имею совершенно ясное и определенное понятие о том, что такое долги, но о долге — и умирая, вероятно, не буду в состоянии сказать, что это, собственно, за штука.

Но папаша, как ритор великий, за словом в карман не лазил.

* Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо! (*лат.*)

— Долг, душа моя, — объяснял он, — заключается в том, чтобы, по возможности, сокращать свой аппетит к эгоистическим приятностям жизни и альтруистически подставлять свою голову под все шишки, кои свалит на тебя, бедного Макара, древо житейского познания добра и зла. Приятности суть сюрпризы жизни, ее капризы, спектакли не в счет абонемента; неприятности — необходимость, постоянное начало, самый абонемент. Поэтому первых не ищи и не ожидай, а вторые принимай как должное. Если в рот твой летит нежданно-негаданно жареный рябчик, не зазнавайся, потому что более чем вероятно, что завтра же чья-нибудь, тоже нежданная-негаданная рука вырвет из зубов твоих жареного рябчика, не случайного, но заработанного тобою в поте лица своего и по праву тебе принадлежащего. Ибо старинный стишок гласит:

Кто надеется на радости,
Тот дождется всякой гадости!

Шопенгауэр в своем роде был покойник, царство ему небесное!

По мотивам пессимистической логики, папаша, когда я скрадывал из шкафа один пряник, отпускал мне десять розог. Резон: пряников в жизни мало, а розог много.

Так, с детства, закалялся я в принципе покорности судьбе и учился лобызать руки, наказующие мя.

Так вырабатываются характеры!!!

Я не буду рассказывать вам свои ученические годы. Полз в гимназии на троечках, в университете на четверочках. Ни шатко, ни валко, ни на сторону. У вас есть сын? Конечно, вы желаете ему блестящей карьеры, громкого имени, славы, треска, блеска, житейского фейерверка вовсю? Тогда зарубите себе на носу: сохрани Бог, если мальчишка начнет приносить в бальнике тройки и четверки! Пусть лучше носит единицы и нули!

Из единичников — либо пан, либо пропал! — выходят или великие оболтусы, либо большие таланты, не умевшие примирить свою оригинальность со школьною дидактикою. Единичник, если он не идиот по природе, свое отдурит, перебесится и станет человеком, и старая быль — «молодцу не в укор».

Разумеется, лучше всего, если сын ваш будет пятерочником. Из пятерочников выходят впоследствии молодые люди, приятные во всех отношениях — с мозгами трезвыми, спокойными, ясными, хотя обыкновенно немножко коротенькими, притупленными усердною зубрежкою. Они преуспевают на служебных поприщах и тешат родительские сердца благонравием: si jeune et si bien décoré!!! *

Но троечник, четверочник — на весь век не человек. Ни рыба ни мясо. Ни крупных успехов, ни серьезных огорчений... все — «золотою серединкою»! Хорошо еще, коли ты Молчалин: «Молчалины блаженствуют на свете!» А вдруг — Обломов? Ведь это, сударь вы мой, тра-а-агедия!

И в трагедии этой я барахтаюсь пятьдесят годов! Как изволил остроумно выразиться господин Гейне, — раненный насмерть, представляю умирающего гладиатора.

Я богат, я человек со служебным весом, с общественным положением. От меня зависит многое для многих. Тем не менее, никто никогда ни в чем не только не сообразовался с моею волею, но даже не интересовался: как, мол, по сему предмету думает Николай Иванович? Я же всегда только и делал, что сообразовался со всеми и с каждым, до пресловутой «собачки дворника» включительно. И это без всякой настоятельной, внешней надобности, — просто по мягкости и вежливости натуры, по робости, не взглянули бы на тебя косым оком, по потребности быть ласковым теленком, о котором пословица врет, будто он двух маток

---

* Такой юный и такой заслуженный!!! (*фр*)

сосет. Неправда! По горькому опыту знаю, что наоборот, — ласкового теленка обсасывает всякий, кому не лень.

Никто никогда не имел права мною командовать, — и все командовали, я же всю жизнь свою кланялся и лебезил там, где имел право приказывать. Я четверть часа собираюсь с духом, прежде чем сказать лакею:

— Филипп, будьте так добры, почистите щеточкой мое пальтецо, оно три дня в грязи.

А Филипп величественно снисходит ко мне:

— Что ж? Можно! Вот ужо чаю напьюсь, — вычищу.

Дома я под игом прислуги, в магазинах под игом авторитета commis *, в трактире подавлен величием метрдотеля и т.д. Всегда, как помню себя, я носил, ношу и, надо полагать, до конца своих дней буду носить тесные сапоги, хотя у меня, милостивый государь, весьма страдальческие мозоли. Белье — не по мерке и синее, как это море, на берегу которого мы с вами имеем удовольствие сидеть. Шляпы либо покрывали меня с ушами, до плеч, как царь-колокол, либо едва держались на макушке. Я платил за цепочку накладного золота как за настоящую. Банщик Илья в воронинских банях двадцать лет подряд упорно моет меня казанским мылом, хотя знает, что меня тошнит от его запаха, хотя я двести раз просил его: «Мой меня глицериновым!» Я ел пережаренные бифштексы, а рыбу — обязательно недоваренную. Пил красное вино холодным, как лед, а шампанское теплым, как грудной чай. Половые, приказчики, кондуктора, все народы, созданные на потребу и на услужение рода человеческого, словно вступили против меня в безмолвную всеевропейскую стачку:

— Этого баловать нечего: ему что ни подсунь, все сойдет. Он у нас таковский!

---

* Коммерческого (*фр.*).

Горничная, по первому звонку моей жены, летит, точно ужаленная тарантулом. А на мои вопли лишь раздраженно откликается из девичьей:

— Некогда мне, барин! глажу барынины кружева. Не разорваться мне! Подождите — авось над вами не каплет.

Жду... О! я много жду! я всегда жду!

Я проклят, как Каин. У меня на лбу клеймо, гласящее: вот фалалей! Вот человек, провиденциально предназначенный без рассуждений заплатить своим ближним деньги, сколько с него спросят, и безропотно принимать всякую дрянь, что ему дадут. И всякий норовит у меня стяжать и, стяжав, мне же нагрубит.

Язык у меня глупый и застенчивый. Он прилипает к гортани именно в те роковые минуты, когда, защищая благополучие своего владельца, ему следовало бы звучать твердо и настойчиво:

— Нет! нет! нет!

Моя супруга — родом из тех разбитных и пышных девиц, которых в летние месяцы зовут «царицами дачного сезона». В звании этом она состояла уже десятый год. Очаровательности ее истекала земская давность. Пора была выйти замуж, выйти, во что бы то ни стало, — хоть за Мефистофеля, если не подвертывается Фауст. Надо было очень спешить: уже многие скептики начинали исподтишка величать царицу дачного сезона менее изящным, зато более подходящим прозвищем: «холмогорской грацией». Она сообразила:

— Еще год, и я останусь при одних гимназистах!

Horreur! Horreur! Horreur! *

Когда барышня ужасается своим девичеством, в воздухе пахнет брачной мобилизацией. Фалалеи! пожалуйте к отбыванию свадебной повинности!

* Ужас! Ужас! Ужас! (*фр.*)

Не думайте о нас плохо: у нас, как и у порядочных людей, тоже было объяснение в любви. Что касается меня лично, то, правду сказать, — «народ безмолвствовал». Но она, моя Евгения Семеновна, говорила много. Она открыла мне следующие новости: что я ее люблю, что она не хочет делать меня несчастным и потому согласна отвечать моим чувствам, и что, следовательно, нам остается только жениться.

Пока она, выбалтывая все это, висела на моей шее, я недоумевал: «Откуда она взяла, что я ее люблю, когда я, наоборот, всегда ее терпеть не мог? Я идеалист, мечтатель, подобно всем фалалеям моей комплекции. Я не выношу женщин, похожих на монумент Екатерины Великой. Мне бы женщину-мечту: Офелию, Гретхен, Теклу или Лауру у клавесина какую-нибудь. А тут — прошу покорно! — «холмогорская грация»: фигура купеческой дочки, бюст кормилицы, румяное лицо с победоносно-амурным выражением, точно у кафешантанной примадонны. Я люблю женщин скромных, наивных, а Евгения Семеновна — обер-кокетка, даже уже выходящая из моды, флёртистка из флёртисток, и целуется по темным углам с студентами-первокурсниками. Vade retro, Satanas!*

Все это следовало сказать ей резко и решительно.

Но что же? вместо того — хоть зарежьте меня, я до сих пор не понимаю, как это меня угораздило! — я внезапно простонал самым сантиментальным и ублаженным голосом:

— Что я слышу? Может ли быть? Боже мой! благодарю тебя! за что, за что мне такое счастье?

Мамаша, папаша... образ... Дети мои, будьте счастливы!.. Исаия ликуй!.. башмак, башмак, башмак!

Был один момент, когда я мог отвоевать себе супружескую автономию, мог стать «главою». Но, конечно, я его упустил. Не нам, фалалеям, уловлять моменты!

---

* Отойди, сатана! (*лат*)

Это было в вагоне. Курьерский поезд уносил нас в свадебное путешествие.

— Друг мой, — рыдая, призналась мне Евгения, — я боюсь, что ты будешь на меня в некоторой претензии... у вас, у мужчин, столько глупых предрассудков. Видишь ли... присяжный поверенный Эсаулов... у него были такие красивые усы... Ну и... ах, я несчастная!

Она ждала, что я ее, по меньшей мере, изобью. Но я сидел истуканом, глупо улыбался и бормотал:

— Гм... конечно, нехорошо... но что же делать, если усы? Бывает! Даже хуже случается... и без усов! Пожалуйста, мой ангел, не нервничай, успокойся... Я не в претензии... Это ничего, совершенно ничего!

С этого момента она меня презирает. И поделом! не извиняйся, когда следовало прибить. Но презрение презрением, а что всего хуже, она запомнила, что для меня «это ничего, это совершенно ничего». И помнит пятнадцатый год, и неукоснительно применяет теорию к практике.

О, священная тень незабвенного Менелая! прими меня в свои родственные объятия! Каких измен я не вынес, каких адюльтеров не терпел? «Фатиница, Фатиница, Фатиница! чего не претерпела ты?!» Да-с, милостивый государь! Пред вами не мужчина, не человек, а именно какая-то Фатиница в штанах... Елизавет Воробей — баба, которую приписал Чичикову Собакевич в проданные мертвые души под псевдонимом мужика — вот кто я!

«Все промелькнули перед нами, все побывали тут!» Тенора. Опереточные кривляки. Драматические верзилы: Анафемовы-Распротоканальевы, Громовы-Молниеносновы, Лидины-Тарарабумбиевы. Был жокей, этот хоть ел мало, — о весе беспокоился. Зато геркулес из цирка... я без ужаса вспомнить не могу, что за всепоглощающая пасть была у этого изверга рода человеческого. Серия велосипедистов. Серия атлетов-любителей. Серия конькобежцев. Контрабасист из оперного

оркестра. Baigneur Жан в Трувиле. Старший метрдотель в венском отеле. Проводники-черкесы на Бештау, татары на Ай-Петри, тореадоры в Севилье, прогорелые «дуки» во Флоренции... О! Евгения Семеновна хорошо знает этнографию, и у нее престранная манера ее изучать!

Подросли дети. Молодое росло, старое старилось. Я — как видите. Евгения Семеновна тоже уже не царица дачного сезона и даже не «холмогорская грация», а просто «дама, приятная во многих отношениях» так называемого бальзаковского возраста, когда день жизни прошел, вечер не наступил, а утешения сердце дамское требует, и бес стучит в ребро.

Поэтому, мы сейчас в периоде гувернеров и репетиторов. Фемистокл Алкивиадович Альфонсопуло... нравится вам это имя?

О, что это за невежда и проходимец! Но у него нос более греческий, чем даже Анабазис Ксенофонта, и глаза маслинами, каких не едали ни Гомер, ни Скараманга. По мнению Евгении Семеновны, этого совершенно достаточно, чтобы успешно воспитывать ребенка в самом строгом классическом направлении.

Наш первенец Феденька ежесубботно приносит в бальнике двойки, сидит в каждом классе по два года, под вечным сомнением: смилосердуется над ним благопопечительное начальство, переведет «так и быть» в следующий класс или выгонит на все четыре стороны, с волчьим паспортом — за тихие успехи и громкое поведение. Напрасно я молю:

— Евгения! перемени репетитора: он ничего не смыслит. Мы не имеем права губить ребенка.

— Ничего не смыслит? Фемистокл Алкивиадович? Да вы с ума сошли! Неблагодарный! Фемистокл Алкивиадович всего себя кладет на алтарь вашей семьи, а вы недовольны, вы критикуете, вы смеете протестовать?! Не Фемистокла Алкивиадовича вина, что у Феди свинцовые мозги! Ваш сын! весь в папашу, — радуйтесь! Отказать Фемистоклу Алкиви-

адовичу?! Придет же человеку в голову такая нелепость!.. Ах, да! понимаю, впрочем! понимаю! Вы, по обыкновению, ревнуете? Ха-ха-ха! скажите, какой Отелло нашелся... Ха-ха-ха! Туда же! Он ревнует! Ха-ха-ха!

Я ревную ее?! Я!.. Да я рад хоть сейчас лететь от нее с капитаном Андрэ к Северному полюсу, а если нелегкая или попутный ветер занесет наш воздушный шар на луну, — тем лучше! Капитан, валяй на луну! Чем я рискую? От луны ничего мне не станется! Мы с нею братья по оружию! Она — тоже двурогая!..

Я ревную?!.. Я готовый, когда угодно, уступить ее безданно и беспошлинно афганскому эмиру в гарем, дагомейскому королю в амазонки, — всякому, решительно всякому, кто согласится навязать себе на шею сей камень осельний и ввергнуться с ним вместе в пучину житейского моря?!

Но никто и никогда не возьмет ее у меня, и я никогда никуда от нее не убегу. А если убегу, она догонит меня даже в аду, чтобы водворить меня в черту моей оседлости: под башмак. Ибо без «мужа-мальчика, мужа-слуги» столь курортно-романическая дама обойтись не может. Я, в некотором роде, Жан Вальжан супружества. Я прикован к Евгении Семеновне, как каторжник к тачке, — с тою разницею, что каторжник все же влачит свою тачку, куда он хочет, а я влачусь, куда моя тачка катится.

Я уже доложил вам, что сейчас мы купаемся в Bagnoli, к великой потехе всяких праздношатающихся итальяшек и французишек.

— Messieurs! au nom de pipe! — voyez, voyez donc! *

А «cette baleine» ** тем временем уверена, что она мало-мало не Венера, выходящая из морской пены. Послушать ее, — волос дыбом станет. В нее влюблен весь Неаполь. Мессалина

---

* Господа! Черт побери! Смотрите, смотрите же хорошо! (*фр.*)
** «Эта моржиха» (*фр.*).

пред нею — девчонка и щенок. Клеопатра годится разве в горничные. Нинон де Лакло — много-много в компаньонки. Этот из-за нее чуть не впал в чахотку, тот разошелся с семьею, этот хотел броситься под поезд... Словом, как поется в цыганской песне:

Один утопился,
Другой удавился,
А третьего черти взяли,
Чтоб не волочился.

И все-то врет, все-то обманывает самое себя... и только себя, потому что обмануть людей — уже трудно: не по силам, не в состоянии. Какая потребность у женщин быть грешницами! Когда им изменяет возможность действительного греха, они хоть наклеплют на себя, хоть нагрешат платонически, воображением!

Разумеется, у Евгении сотня платьев и две дюжины купальных костюмов. На платья я не в претензии: Бог с ними! Платья — фатальная кара супружества. Мужчина осужден мучиться жениными платьями, как женщина — родами. Это — долг платежом красен. Одно за другое, suum cuique *. Но костюмы... эти ужасные костюмы, по фасону, изобретенному m-me Евою, когда после грехопадения она сконфузилась своей наготы и «оделась» при помощи виноградного листа!.. Стоит мне взглянуть на купальный костюм моей супруги, чтобы ощутить припадок водобоязни, прийти в унылое, молчаливое бешенство. Если я укушу кого-нибудь в такую минуту, — везите на бактериологическую станцию для пастеровской прививки. Евгения, как ни в чем не бывало, примеривает свои Евины пояса пред зеркалом, вертится, точно собирается на бал, а не в соленую воду, и я же обязан восторгаться: ах как идет! А чему идти и к чему идти?

* Каждому свое (*лат.*).

Впрочем, я знал барышню, которая находила, что ей очень *к лицу* ее *ботинки*.

— Недурно... очень недурно... — любуется Евгения. — Правда, недурно, Николай?

О как хотелось бы мне ответить:

— Нет, очень скверно.

Тебе за сорок лет. Ты мать троих детей уже на возрасте. Ты жена порядочного человека. Нам стыдно за тебя. Тебе неприлично выставлять свое тело, облепленное лоскутом мокрой материи, напоказ насмешливой публике скучающего курорта, которой только бы найти, над чем скалить зубы. Ты воображаешь, что можешь кому-нибудь нравиться? Lasciate ogni speranze! *

Ты стара, толста, расплылась. Тебе пора прятаться, а не выставляться. Твой костюм — глухой мешок, а не декольте! Ты общее посмешище. Смеются над твоим телом, над щегольством, приличным разве девочке восемнадцати лет, над запоздалым куртизанством, над Фемистоклом Алкивиадовичем, которого таскаешь ты за собою по Европе, как наглядную вывеску своих амурных упражнений надо мною, твоим мужем, слишком бессильным и слабовольным, чтобы прекратить твои благоглупости и безобразия.

Хотелось бы...

Но на хотенье есть терпенье! Amica veritas, sed magis amicus Plato **, а Plato этот я сам. Я ненавижу сцены, крик, истерики, обмороки. Так лучше помолчать. Своя рубашка к телу ближе. И — разве что на смертном одре меня прорвет, что называется, — и я выскажусь. Да и то — лучше смолчать? Не стоит. Она неуязвима! Она не знает низких истин, вся жизнь ее — ее возвышающий обман. Как я ни обругаю ее, она мне, все равно, не поверит. Есть рожон, про-

---

* Оставь надежду! (*ит.*)

** Платон мне друг, но истина дороже (*лат.*).

тив него же не попреши: это самообольщение тщеславной женщины. Евгения Семеновна твердо убеждена, что я влюблен в нее без памяти и нахожу ее, с полною искренностью, такою же обольстительною, как представляется она самой себе.

Я выскажусь и умру, а она будет, в трауре, хвастаться приятельницам:

— Вы даже вообразить не в состоянии, mesdames, как был влюблен в меня покойный Николай Иванович. Прожили мы с ним пятнадцать лет, кажется, порядочный срок, можно бы поостыть... Но для него все как будто продолжался медовый месяц. Просто африканская страсть какая-то. Верите ли? За четверть часа до смерти, он сделал мне сцену ревности... такую сцену! такую сцену! просто страшно вспомнить, как он меня ругал!

Она клевещет, а я в гробу — и никакой апелляции!

И — мало, что я, по ее милости, прожил дураком свой век — она сделает меня дураком в вечности, дураком в памяти потомства! Она введет в заблуждение историю и вклеит меня в оперетку!

О, Менелай и Пентефрий! Я чувствую, что на том свете мне уже уготовано место в вашей небольшой, но честной компании. Мы заключим дружественный союз угнетенных рогоносцев и, при свете пекельного огня, будем играть в винт, по маленькой, разумеется, и с болваном!..

Последние слова незнакомец произнес столь громко и патетически, что я даже усомнился, — он ли их выкрикнул, или прорычала средиземная волна, дробясь о берег. Тем более что, протирая глаза, я не нашел никакого незнакомца... Утопился ли он, расточился ли в воздухе, — предоставляю выбирать догадливости читателя, кому что больше нравится. Вернее всего, в действительности вовсе не было никакого незнакомца, а была лишь сонная, полуденная греза, навеянная мне, неосторожно положенною под голову, подушкою из газет с бракоразводными процессами.

1893

НА ЗАРЕ

Дарья Ивановна Кирибеева не спит, хотя уже далеко за полночь, и в открытые окна давно дышит прохладой и сыростью предрассветный ветерок, свежими, бодрящими струями наплывая в темную, душную ночь с большой горной реки, с шумом и грохотом держащей через город свой путь к морю. Господствующие над городом горы чуть видны во мраке, но на востоке их линия выступает яснее, и небо над нею подернуто мутными, белесоватыми полосами, предвестниками близкой зари, так хорошо знакомыми Дарье Ивановне. Она уже забыла, когда спала ночи. Уложив с вечера детей в постели и сама прикорнув возле них, она дремлет час-другой — чутко вздрагивая от малейшего шороха в доме, постоянно готовая открыть глаза. Едва сон становится крепче, Дарью Ивановну начинает душить кошмар, — она просыпается под впечатлением какого-нибудь страшного видения, в холодном поту, с усиленно бьющимся от испуга сердцем, и уже не в состоянии вторично сомкнуть ресницы. Она встает с постели, уходит из детской, зажигает в гостиной свечи и до зари бродит, как привидение, по своей маленькой квартире, волоча за собой концы длинной, накинутой на голые плечи шали и шлепая надетыми на босую ногу туфлями без задков... Подойдет к фотографиям, развешенным в гостиной, над диваном, пересмотрит в тысячный раз их знакомые лица; развернет попавшуюся под руки книгу, прочтет три строки, зевнет и бросит; усядется писать письма, начнет «милостивый государь» или «многоуважаемая», задумается и оставит перо; заглянет в буфет, машинально возьмет и съест что-нибудь оставшееся от ужина; найдет карты, — пасьянс раскладывает... Скучно, нет мочи ни спать, ни работать, ни развлечь себя; лицо горит; в голове пустота, — вместо мыслей, какая-то стукотня в виски, досадная, утомительная, бестолковая. Ночь надоедает страшно, уличный мрак, глядясь в окна,

пугает воображение, вгоняет в тоску. Дарья Ивановна ждет не дождется, пока над черным силуэтом далекого крутого холма не покажется сперва слабо мерцающее сияние, а потом не выступит громадная, светло-зеленая звезда: это Венера; вышла она, — значит, скоро и утро.

К бессоннице Дарьи Ивановны домашние относятся довольно невнимательно: привыкли, — история тянется пятый год. Прежде ее жалели, беспокоились о ней, теперь перестали. Что ж? ведь она, в сущности, всем здоровая женщина, полная, крепкая, от бессонницы не изводится и не худеет, день-деньской шьет, учит младших детишек, распоряжается по хозяйству и, на взгляд, не особенно устает к вечеру. Правда, цвет лица у нее в последнее время стал каким-то бурым, землистым, и уж слишком много морщинок побежало от глаз к вискам и на щеки; но, с другой стороны, нельзя же век цвести розою. Дарье Ивановне тридцать шесть лет, у нее семеро ребят!.. Все в доме, кому надо рано вставать, поручают будить их Дарье Ивановне. В шесть часов она стучит в дверь каморки, где спит ее старший сын, восьмиклассник-гимназист:

— Сережа! вставай!

Через полчаса Сережа приходит в столовую, умытый, одетый, но заспанный, зевая во весь рот.

— Ты, мамаша, опять не спала? — всегда спрашивает он с равнодушным удивлением, так только — для приличия, ради соблюдения формы.

— Нет... Когда же я сплю?

— Черт знает что такое!.. Ты бы хоть к доктору сходила, что ли...

— Не помогают мне доктора... Вон хлоралгидрат глотаю, — никакой пользы... Не опиум же принимать!

— Все-таки следует посоветоваться. Нельзя же так: ты посмотри, какие у тебя глаза.

Глаза у Дарьи Ивановны по утрам, действительно, бывают очень нехороши, и она не любит видеть себя в зеркале

после бессонницы. Не потому, чтоб она находила себя некрасивой: об этом она, пять лет вдова, стареющаяся, увядшая женщина, трудящаяся мать разоренного семейства, не имеет ни охоты, ни времени думать. Но ей всякий раз кажется, будто в стекле отражается не ее лицо, а чье-то чужое, странное, нервное, с затаенным раздражением в каждой черточке и с чем-то тупым и неприятным в расширенных зрачках усталых глаз. Дарье Ивановне представляется в такие минуты, что она похожа на сумасшедшую, — помешательства же она боится больше всего на свете с тех пор, как оно предсказано ей одним знаменитым медиком.

Глядя на светлеющий восток, Дарья Ивановна вспомнила, что младшие дочки — семилетняя Соня и шестилетняя Лиза — умоляли ее вечером поднять их на заре. Зачем бишь? Да!.. Русачка-няня уверила девочек, будто завтра солнышко весну-красну встречает и с радости играет на восходе разными цветами. Детям захотелось посмотреть, как это бывает. Дарья Ивановна усмехнулась. Она сама когда-то, живучи на своем глухом черниговском хуторе, из года в год собиралась наблюдать эту сказочную игру солнца и всякий раз просыпала зарю. Но однажды — уже не ребенком, а восемнадцатилетней красивой девушкой, — она встала вовремя, на рассвете; в ставни ее спальни сильно постучали, и, преодолев сон, она наскоро оделась как попало и выбежала на крыльцо, дрожа от утреннего холода и вся горя счастливым, молодым румянцем. На крыльце ее ожидал молодой сосед, техник с ближнего рафинадного завода. Он был в кожаной морской куртке и высоких сапогах; с его картуза стекали дождевые капли.

— Эка погодка-то!.. — встретил он Дарью Ивановну. — И дождь, и снег... и черт, и дьявол! Небо серое, — хоть солдатам на шинели его перекроить... Солнышко нынче надуло нас с вами основательно.

— Ничего! — весело ответила Дарья Ивановна, садясь на перила крыльца, — тучи еще могут разойтись.

— Блажен, кто верует. А я думал, что вы, услыхав, что дождь барабанит по крыше, и встать не захотите.

— Вот хорошо!.. Как же это, если я дала вам слово вчера вечером? Я никогда не лгу... Ну, пока солнце не показалось, извольте говорить что-нибудь, развлекайте меня, занимайте!

— Хорошо-с. Только... Вот мы с вами сейчас одни, — так я воспользуюсь случаем и лучше, чем переливать из пустого в порожнее, скажу вам серьезное слово. Вы, Даня, знаете, что я вас люблю?

Дарья Ивановна испуганно взглянула на него, потом потупилась:

— Знаю, — робко сказала она наконец.

— А... а замуж за меня пойдете?

— Пойду, — послышался тихий ответ после еще длиннейшей паузы.

Молодой человек радостно вскрикнул, схватил девушку в объятия, поднял на свою широкую грудь и начал целовать. У нее дух захватило, ей было и стыдно, и хорошо, а счастья так много нахлынуло в душу, что оно и улыбкой засияло на покрасневшем, как мак, лице, и слезами излилось из умиленных глаз. Началась та быстрая и живая болтовня — такая глупая и пустая для постороннего уха, такая многозначительная для самих влюбленных, — на которую способны только очень молодые люди с сильным, свежим, искренним и откровенным чувством. Дождь перестал. Но тучи по-прежнему висели на небе, хотя кое-где между переливами их темно-серого фона проступили румяные пятна — отблески пылавшей под облачным покровом невидимки-зари.

— Вот и напрасно ты говорил, что солнце не будет играть! — говорила Дарья Ивановна своему жениху. — Видишь, какая прелесть? видишь? Я такого чудного утра не запомню! Посмотри, что делается на небе: вон там, на облаке, словно красный зверь какой-нибудь протянул лапы, там совсем Аравия вышла, будто ее с карты сняли... Ах как хорошо! красиво! Весело!

Жених любовался ею.

— Это, Даня, не солнце играет... — улыбаясь, заметил он. — Это, фантазерка ты моя, в нас с тобой разгулялась молодая жизнь, любовь, наше счастье: оттого так и хорошо, и красиво, и весело.

Но она зажала ему рот рукою.

— Неправда! Солнце, солнце, солнце!.. — со смехом твердила она.

Дарья Ивановна вздохнула... Как, однако, давно это было, и как много воды утекло с того счастливого утра! Словно весь мир переменился: другой край, другие люди кругом, другие обстоятельства переживаются... И она совсем другая... Дарья Ивановна равнодушно посмотрела на свою увядшую грудь, на потемневшие плечи: где та Даня, хорошенькая, свежая, беззаботная, которую за смех и песни все знакомые звали «попрыгуньей-стрекозой»?..

«Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза!»

— с горькой улыбкой подумала Дарья Ивановна. Ах как резко и рано изменила ей жизнь и обратила ее в нуль! Ни молодости, ни здоровья, ни денег... Любовь была, — муж уже вот пять лет лежит в могиле там, возле белой церкви, на высокой длинной горе, похожей на тушу допотопного чудовища, которому поручено охранять своей богатырскою мощью сокровища расположенного у ног его города. С того-то времени и начались для Дарьи Ивановны эти бессонные ночи, эта жизнь ночного привидения; тогда-то и появился у нее загадочный притупленный взгляд, полный угрозою близкого безумия. А ведь странно: когда муж умер, Дарья Ивановна не казалась слишком пораженною, — довольно спокойно распоряжалась похоронами, почти не плакала и не то чтобы сдерживалась, — нет, просто не хотела плакать; только голова у нее все

время некрасиво тряслась, и отчего-то холодно ей было, несмотря на жаркую пору; и ее сильно смущало и раздражало, что она не в силах ни согреться, ни остановить этого непроизвольного дрожания головы. Впоследствии Дарья Ивановна не слишком часто вспоминала покойного мужа так, чтобы сосредоточить на его памяти все свои мысли; но ей не раз казалось, что со времени его смерти она чуть ли не совсем потеряла способность внимательно думать, подолгу останавливаться на одном и том же предмете, и очень плохо запоминает текущую жизнь. Все, по-видимому, идет в порядке. Дарья Ивановна — и мать образцовая, и хозяйка отличная, и женщина честная; семья ее растет, развивается, кругом ключом кипит детский юный быт; но ей как-то безынтересно все это: она и обязанности свои выполняет, и в семейных радостях и волнениях участвует поверхностно, по привычке, машинально и потому лишь, что так надо, — в тайне ко всему равнодушная, почти холодная.

«Мертвая среди живых!..» — сказала про себя Дарья Ивановна, покачала головой и, слабо махнув рукой, села на подоконник. Утро вставало великолепное. Небо позеленело, светлое и прозрачное, как аквамарин. За хребтом высокой восточной горы, откуда надо было ждать солнца, висело сизое облако, и на его поле ярко обозначились пять расходящихся толстых полос белого света — точно спицы колес в повозке Гелиоса, готового помчать в мировое пространство своих огнедышащих коней. Разбуженные светом, мелкие тучки сорвались с уступов, дававших им ночной приют, и то румяные, то золотые, быстро поплыли вразброд над долиною, где еще царили длинные черные тени, властно покрывая сонный город и мутную, строптивую реку. Но вот косой луч ударил откуда-то в высокую жестяную крышу большой церкви, разбился на ней в миллионы искр и, гигантским зайчиком перепрыгнув через широкую, обсаженную деревьями улицу, заиграл на окнах противоположных зданий. За этим лучом, как за первым солдатом, ворвавшимся в неприятельскую крепость, по-

сыпались в город другие лучи, улицы переполнились блеском выкатившегося на гору солнца и стали просыпаться под веселый птичий крик.

Дарья Ивановна смотрела на сияющее утро, дышала его воздухом, но как будто не видала его, не замечала, что творится в природе. Ей было не до утра и не до торжествующего солнца: мысль ее ушла в далекое прошлое и утонула в нем...

За дверью послышался топот детских ножек, и в комнату вбежали Соня и Лиза — босые, в одних рубашонках, с нерасчесанными головками. Они протирали кулачками слипающиеся глаза.

— Что ж это, мамочка?! — чуть не плача лепетали они, — мы проспали... Зачем же ты не разбудила нас смотреть, как солнышко играет? Мы так тебя просили... Какая ты недобрая!

Дарья Ивановна посмотрела на них с недоумением, словно тоже спросонья:

— Ах да... солнышко! — тихо сказала она с жалкой улыбкой, — оно не играло сегодня, дети... Да, кажется, и никогда уже больше не будет играть!

И, не слушая детской жалобной воркотни, понуро и медленно побрела на кухню сказать кухарке, чтобы та поскорее ставила самовар.

1889

МЕЧТА

Житейская сказка

(Посвящ<ается> графу Льву Николаевичу Толстому)

Конка медленно двигалась в гору по захолустной окраинной улице. Мы с приятелем, художником Краснецовым, еха-

ли в Богородское убивать наступающий летний вечер. Вдруг Краснецов воззрился и поспешно снял цилиндр.

— Смотри-ка, смотри! — сказал он, показывая глазами на бедно одетую, простую женщину, которую обгонял вагон.

Двое малюток, мальчик и девочка, лет четырех-пяти, держались за ее платье; на левой руке она несла грудного ребенка, а правою придерживала переброшенный за спину узел. Заметно было, что она опять на сносях.

— Кто это? — спросил я несколько изумленный знакомством Краснецова.

Краснецов отвечал мне слегка взволнованным голосом:

— Это — «Мечта».

— Мечта?.. какая мечта?

— Моя «Мечта»… за которую я получил в Мюнхене премию… Я ее лепил с этой женщины…

Я обернулся, чтобы разглядеть «Мечту». Этим барельефом Краснецов лет двадцать тому назад положил начало своей славе. Я хорошо знал и любил прелестную головку «Мечты». Решительно ничто не напомнило мне ее черт в желтолицей, худощавой бабе, которая понуро плелась позади нас со своею детворой, согбенная под узлом, тяжело раскачивая животом. На мой недоумелый взгляд Краснецов ответил горькою улыбкой:

— Что, брат, непохожа?

— Да уж так-то непохожа... И потом: значит, легенда о твоей «Мечте» — действительно, только легенда?

— А что она гласит?

— Будто ты вылепил «Мечту» с какой-то московской красавицы, умницы и богачки баснословной...

— Ну да: с Софии Артамоновны Следловской. Это она и есть.

— Эта?!

Я опять обернулся, но конка, взяв подъем, пошла быстрее, и баба с узлом осталась далеко назади... Краснецов задумчиво говорил:

— Помню зал дворянского собрания, мраморный, белый, блестящий... люстры огромные и отражаются в колоннах... бездна света... толпа... Рябов с оркестром на красной эстраде... Целый вихрь звуков и красок: это — вальс... И она промчалась мимо меня; ее головка почти лежала на плече какого-то офицера, и я — помню — благодарил его мысленно за то, что его темный мундир дал такой хороший фон ее профилю... На ней было платье цвета чайной розы, брильянты... Оживленная такая, глаза — как искорки, румянец... А в ту пору Тургенев только что выпустил «Стихотворения в прозе»... Помнишь: «Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда в моей памяти!.. Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности»! Тут, брат, я и задумал мою «Мечту»... а потом и сделал... Да: «стой! останься навсегда»! А она вместо того вон как... Ах-ах-ах!..

* * *

В 1880 году Софье Артамоновне Следловской минуло восемнадцать лет. Ее только что вывезли в свет, и она заблестела в нем яркою звездочкой. Красавица собой, умненькая, образованная, веселая, как птичка, она обратила на себя внимание «всей Москвы».

Тут Краснецов слепил с Сони свою «Мечту» — и сам прославился Сонею, и Соню прославил: за нею так и осталась в обществе кличка «Мечты».

Потом «Мечта» исчезла с столичного горизонта: в глухой самарской или тамбовской деревушке у нее была бабушка, эта бабушка смертельно заболела. Следловские ждали от нее наследства, а бабушка терпеть не могла всех Следловских, кроме внучки Сони. Следловские и отправили внучку Соню ухаживать за больною старухой и ее завещанием.

Бабушка умерла, и Соня возвратилась в Москву. Денег Следловские никаких не получили, потому что старуха заве-

щала все свое состояние на благотворительные дела. Между прочим, получили крупные пожертвования один столичный и два провинциальных университета.

Ходил слух, будто Соня Следловская сама уговорила бабушку разорвать первое завещание, составленное в ее пользу, и заменить его тем, которое теперь осуществилось. Следловские были этим значительно обездолены, а на Соню в обществе стали смотреть как на юродивую.

Она действительно вернулась из деревни сильно изменившись. Хороша она была по-прежнему, но былое оживление с нее сошло; она стала серьезна и задумчива; улыбалась нечасто, смеяться же не смеялась никогда; ласковые синие глаза приобрели особый взгляд — важный и проницательный взгляд внутрь себя.

— Два года тому назад, — сказал ей Краснецов, — я хотел лепить с вас «Птичку Божию», как она «гласу Бога внемлет и поет себе, поет»... Вы украли у меня модель!.. Но я вам отомщу тем, что слеплю с вас «Святую Екатерину, встречающую небесного Жениха»...

— Разве что небесного... — возразила Софья Артамоновна, — земного у меня не будет.

К весне старик Следловский расхворался, в два-три дня его свернуло: умер. Привели в порядок дела: актив оказался мизерный, а пассив — внушительный. К счастью, покойник выбрал душеприказчиком человека ловкого и преданного: он разобрался в наследстве, — по крайней мере, банкротство вышло хотя полное, но глухое, без скандала, и Соне остался небольшой капитал, тысяч в двадцать пять.

Но — месяц-другой спустя после того, как все это устроилось, — пришли слухи о новых чудачествах Софьи Артамоновны: она обратила в деньги все свои вещи, даже платья и книги, и платила мелкие долги покойного отца... Из капитала уцелела едва пятая часть. Душеприказчик пришел в ужас и отнял у Сони остальные пять тысяч, кроме расходных.

Затем Соня очутилась в глухой провинции, на хуторе у своей дальней родственницы, — небогатой старушки, весьма кроткой сердцем и весьма недалекой умом, из которого она, как сама рекомендовалась, уже выживала «по вдовьему своему положению». Душеприказчик Следловского поместил Сонины деньги в какое-то дело и выплачивал ей каждый месяц сорок рублей. Жить бы можно, но Соня навязала себе на шею нужды и болезни всей деревенской округи. Здесь учила, там лечила, утешала; обучилась хозяйничать — править всякую черную работу...

— При такой любви к бедным людям, — сказал ей местный священник, — вам бы следовало пойти в учительницы или фельдшерицы.

— К сожалению, батюшка, эти места все наперечет.

— Вы можете иметь протекцию: вам не откажут.

— Вы меня не поняли, я не в том смысле... Я хотела сказать, что мне пришлось бы заслонить такое место от кого-нибудь из нуждающихся более меня. У меня есть сытный кусок хлеба, а обыкновенно таких мест ищут люди, только что не умирающие от голода...

В околотке о Соне заговорили. Крестьянство видело в ней чуть не подвижницу. Становой сперва недоумевал было. Но годом позже, когда кто-то из местных охранителей намекнул, что поступки г-жи Следловской неспроста и не мешало бы полицейской власти иметь за нею глазок-смотрок, становой даже окрысился:

— А вот у нас неподалеку Пафнутий Боровский покоится. Вы бы уж заодно и к нему в раку слазили с обыском...

И лишь Соня — одна — была собою недовольна. Красноцов встретил ее на тульском вокзале: она ехала в Москву за покупками.

— Меня поразило грустное выражение ее глаз, недоумевающих, точно ждущих. Я высказал ей удивление к ее подвигу, о котором уже слышал раньше. Она покачала головою:

— Не то, все не то... разве это подвиг!

— Как же иначе-то?

Она задумалась.

— Подвиг — это, если кто возьмет на себя ради других великое страдание. А мне легко. Я наслаждаюсь.

— Ну, Софья Артамоновна, это уж аскетизм…

— Я не об аскетических подвигах говорю. Страдания в миру много больше, чем в пустыне... На полу валяется; стоит только нагнуться и подобрать. И вот на это-то надо много мужества. У меня не хватает... Вы читали «Юлиана Милостивого»?

— Знаю.

— Вот...

На хуторе она прожила около двух лет и к концу второго года совсем замолчала: одолели думы и деятельность. Ее плотно сложенные губы, неулыбающееся лицо, остановчивый, задумчивый взгляд смущали домашних: видно было, что Соня мучительною борьбой перерабатывает в себе какую-то новую мысль или затею. Однажды она уехала в Тулу к знакомым и загостилась у них на целые две недели. На хуторе начали уже тревожиться, как вдруг пришло письмо и не из Тулы, а из Орла; Соня просила у тетки прощения, что обманула ее, и извещала, что вышла замуж. Просила также не искать ее и о ней не беспокоиться, потому что «ни брак мой, ни муж мой вам не могут быть по сердцу»... Подписала письмо: «Софья Тырина». Тревогу и недоумение тетки легко себе представить. Наведя справки у душеприказчика, она узнала только, что Соня действительно вышла замуж и вытребовала у него из своего капитала тысячу рублей, которые он и переслал ей в Орел. Остальные же четыре тысячи он, по распоряжению ее, внес — частью в университет, частью передал одному московскому священнику, известному своей благотворительной деятельностью среди чернорабочей столичной бедноты. Послушался он приказа Софьи Артамоновны, потому, что в ее письме к нему были такие фразы: «Знаю,

что, жалея меня и боясь моего неблагоразумия, вы, пожалуй, не захотите исполнить моего желания; поэтому особенно прошу вас не смущаться: благодаря моему браку, я в своих личных средствах более не нуждаюсь...» Какой именно Тырин женился на Софье Артамоновне, душеприказчик не знал; но есть Тырины — крупные кукольных дел мастера; вероятно, из них...

Между тем, когда известие о свадьбе Сони огласилось, в околотке заговорили чудное. А именно: будто Соня вышла замуж не за кого другого, как за Прошку Тырина, вдового медника, лядащего пьяничку из пригородной рабочей слободки, той самой, с которой, говорят, Глеб Иванович Успенский написал Растеряеву улицу.

Вот как это случилось.

Как-то раз, посещая на слободе больную старуху, Соня услыхала отчаянные детские крики: два голоса вопили, точно с ребят заживо драли кожу.

— Что это? — с испугом спросила она.

— А это Прохор-медник опять наказывает своих девчонок.

— За что же он их наказывает?

— Есть просят, а дать нечего, — пропился, разбойник, до нагого тела... Ну слушать-то и невтерпеж... сердце не камень... родитель тоже...

— Часто он их так?

— А день-деньской... Покуль в питейном, потуль и молчат...

— Пьет?

— Первый на это Ирод.

— Нищие?

— И креста на шее не осталось...

Соня зашла в хатенку медника и ахнула, — где и как могут жить люди. Такого убожества ей еще не случалось видеть. Девочки — одной шесть, другой пять лет — были хорошенькие, несмотря на истощение, их съедавшее, и на грязь, облегавшую их личики, тельца и лохмотья. Сам Прошка — маленький

и тощий человечек в немецком платье, составленном из заплат, — был бледен пьяною, серо-зеленою бледностью человека, которому водка заменяет хлеб; его избитое лицо, со шрамом над бровью, его коричневые недружелюбные глазки, полные трусливой наглости...

— Ты видел его, что так подробно описываешь, — перебил я Краснецова, — или это ради трагичности?

— Видал, брат; если хочешь, и тебе покажу, порадуйся, — угрюмо проворчал художник.

Все это безобразие Соню не испугало. Она сделала Прошке выговор, а он стал оправдываться, и таково уже было обаяние этой любвеобильной девичьей души, что неожиданно для самого себя Прошка в первый раз вдумался, откуда берется его пьянство, и заговорил с Софьей Артамоновной горячо и искренно...

— Никакой подмоги-с! — выкликал он, — окончательно! А между тем они в два рта-с пить-есть хотят, и в омут их никак невозможно, потому — душу имею, и — опять же — в Сибирь! Работы не имею... Господин урядник самовар чинить в город повезли, а мне говорят: «Ты, пьяница, еще в кабак снесешь, пропьешь, хотя я и начальство». И так надо правду сказать, что они в своем праве: пропью-с. Потому, сударыня, не сообразишь. Что нонче, что завтра — одна судьба. Я сам-третьёй теперича живу; я и в работу, я и в пропой, а тут еще идолята... С горя пьешь, с горя бьешь... Было времечко: не хуже людей жили, сударыня, пока хозяйка не померла, да этих одров мне оставила. Без бабы — как без рук, потому — разорваться мне не предвидимо никакой возможности...

Выспросив Прошку, Софья Артамоновна сделала заключение: чтобы выбиться из семейного безобразия, ему надо вторично жениться, а чтобы выбраться из нужды, — начать свое рукомесло сызнова и лучше всего на новом месте, потому что в своей стороне он был уж чересчур скверно ос-

лавлен. Прошка — пьяница, Прошка — вор, Прошке поверить — двух дней не прожить…

Софья Артамоновна стала искать ему невесту. Напрасный труд!

Больше всего надеялась Софья Артамоновна на Марину, скотницу своей тетки, девку уже — на крестьянский взгляд — немолодую, то есть за двадцать лет, но честную, доброй души и ражую работницу. Марина обожала Софью Артамоновну и верила ей, как иконе. Однако выйти за Прошку Тырина она наотрез отказалась.

— Да и вряд ли вы такую дуру найдете, барышня, — откровенно сказала она.

— Почему? — строго спросила Соня.

— Да помилуйте... у нас невест немного... на каждую добрый жених найдется. За вдовца с детьми редкую отдадут — и за хорошего-то... А за такое стерво... Обидно даже. И пьяница, и вор, и бабник... ни одной пакости не обижает, — все в себя принял...

— Он такой от несчастья, а хорошая жена несчастье с него снимет.

— А как он ее до той поры в гроб вколотит? Первую вколотил же...

— Ты не забывай: три души человеческие спасти надо. Девчонок пожалеть следует. Ведь они пропадут. Такой, как сейчас, он и себя, и их загубит. А мы, кто видел и не помог, ответ за это дадим...

Марина уже с досадою перебила:

— Да что вы, барышня, все о чужих душах?.. Ту душу спаси, другую спаси... а мою-то, стало быть, вы уже ни во что ставите?

— Твоя душа тем и спасется, что ты спасешь три чужие души.

— Какое уж тут спасенье, коли каторга?..

И, рассердясь, отрезала вдобавок:

— Хорошо вам о душе, как вы барышня, и вас это дело не касающее. А будь вы нашего звания, к примеру, скажем, хоть как я, Маришка, и я стала бы вас сватать за этакую гнусь, — то-то бы вы меня по шеям погнали... даром, что сердобольница...

Мысль эта поразила Софью Артамоновну. «В самом деле, — подумала она, — как же это я убеждаю другую поднять подвиг, который не испытан мною самой».

— Ты права, — сказала она после долгого молчания, — прости меня... это мне в голову не приходило... ты права!

Неудачные сватовства не отбили Софью Артамоновну от мысли спасать ребятишек (их ей было особенно жаль) Прошки и его самого. В эту-то именно пору и встретились мы с нею на тульском вокзале и, разговорившись, дофилософствовались до Юлиана Милостивого и его легенды... Кстати, ты-то ее помнишь?

— Разумеется, помню общие черты... Это латинский апокриф, поэтизированный Флобером и так удивительно переведенный Тургеневым...

— Да. Я, брат, выучил его потом наизусть. Не поскучай, если я повторю тебе отрывок этой легенды... с того места, как Юлиан принял у себя таинственного прокаженного, накормил его последним куском хлеба, напоил последнею кружкой вина и развел для него костер среди своего шалаша... «Прокаженный стал греться. Но, сидя на корточках, он дрожал всем телом, он, видимо, ослабевал, глаза его перестали блестеть, сукровица потекла из ран, и почти угасшим голосом он прошептал: «На твою постель!» Юлиан осторожно помог ему добраться до нее и даже накрыл его парусом своей лодки. Прокаженный стонал. Приподнятые губы выказывали ряд темных зубов; учащенный хрип потрясал его грудь, и при каждом дыхании живот его подводило до спинных позвонков. Затем он закрыл веки. «Точно лед в моих костях! Ложись возле меня!» И Юлиан, отвернув парус, лег на сухие

листья рядом с ним бок о бок. Но прокаженный отвернул голову. «Разденься, дабы я почувствовал теплоту твоего тела!» Юлиан снял свою одежду, затем нагой, как в день своего рождения, снова лег на постель и почувствовал прикосновение кожи прокаженного к бедру своему; она была холоднее змеиной кожи и шероховата, как пила. Юлиан пытался ободрить его, но тот отвечал, задыхаясь: «Ах, я умираю! Приблизься! Отогрей меня не руками, а всем существом твоим!» И когда Юлиан согревал своего страшного гостя «ртом ко рту, грудью к груди», тогда «прокаженный сжал Юлиана в своих объятиях, и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды, волосы растянулись, как солнечные лучи, дыхание его ноздрей стало свежей и сладостней благовонья розы... крыша взвилась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь лицом к лицу с нашим Господом Иисусом Христом, уносившим его в небо».

Отчаявшись найти Тырину невесту, Соня решила изменить своему намерению — не выходить замуж и предложила ему в жены самое себя.

Надо отдать справедливость Прошке: сколько беспутен он ни был, однако, совсем ошеломленный этим предложением, он выставил Софье Артамоновне на вид все неудобства их союза, какие мог сам сообразить.

— Я все обдумала и готова идти за вас такого, как вы есть. Только обещайте мне, что вы бросите пить, займетесь делом, перестанете мучить детей и учить их худым делам.

Прохор отвечал ей на это с прямотою:

— Что делом своим я займусь, коли меня не будут тянуть за душу долги и найдутся деньги на новое обзаведение, в том готов хоть сейчас снять образ со стены. А в остальном, барышня, не властен присягать. Потому все, что вы говорили, во мне от водки. А совладаю ли я с водкой, того не знаю. Потому, что сейчас не я над нею, подлою, но она надо мною командир.

Софье Артамоновне очень понравилось, что Тырин говорит с нею так искренно, и она тоже сказала ему с полною откровенностью:

— Ну авось как-нибудь сладимся и уживемся. Сейчас, конечно, вы человек нестоящий, и я иду за вас замуж, коли желаете, не столько для вас самих, сколько для ваших деток. Им мать нужна, Прохор Иваныч, — они у вас пропадут без материнского призора и женской руки. Такой мачехи, как я, ручаюсь, им не найти другой; я выращу их девушками честными, такими, что все будут ими любоваться.

— Да-с, девочки... это прекрасно-с... но как же я-то? какое же промеж нас может быть супружество, ежели вы обо мне самых пропащих мыслей?

— Нет, Прохор Иваныч, это вы напрасно так говорите. Если бы я считала вас пропащим, то не пошла бы за вас замуж. Я вас почитаю несчастным: так вас запутала горемычная жизнь, горькая доля, слабая воля, что одному вам не выбраться... Вы в болоте по горло... Я же надеюсь сделать из вас человека, и если дозволит Бог сбыться моим надеждам, то даст нам и привычку друг к другу, и возможное счастье. Я, Прохор Иваныч, не ищу многого от жизни; и если сбудется, как я задумала, то ничего другого не пожелаю. А покуда обещаю одно: буду вам женою верною, покорною и терпеливою.

— Софья Артамоновна, — сказал Прохор, — хотя вы не имеете многих капиталов, однако приучены к хорошей жизни, а ведь ежели случится статься такому делу, чтобы нам впасть в супружество, придется вам отведать нашей грязноты и бедноты.

Соня возразила:

— Вы смущаетесь, что я барышня. Не бойтесь. Ведь это только имя, а на самом деле — какая же разница между мною и другими девушками? Я здоровая, сильная, работы не боюсь, управиться по дому — все могу и умею. А что

я родилась барышней, с тем и пойду за вас, чтобы вы забыли об этом, как теперь забываю я…

Не думаю, чтобы между людьми и повыше Прошкина уровня было много способных долго выдерживать такой убежденный и настойчивый искус. Что Софья Артамоновна губит себя, конечно, понимал Прошка. Но совесть у него была малая, а соблазн представлялся огромный. Соне тогда шел двадцать третий год. Она была в полном расцвете молодости и красоты. Пока она не прочила себя в брак с Прохором, он, разумеется, и не замечал ее красоты, потому что она была — не свой человек, из чужого высшего мира. Но теперь, когда красота сама давалась в руки, у Прохора разгорелись глаза. Недаром же Марина ругала его бабником.

Они обвенчались в Орле, где и поселились, открыв лудильное и паяльное заведение. Года два тому назад я проездом через Орел видел старуху-дворничиху, которая присутствовала при свадьбе и даже со своего двора отправила Соню к венцу. Эта благоразумная баба всячески убеждала Соню одуматься, пока не поздно, и не вступать в брак каторжный и бесполезный.

— Прошку я давно знаю, — говорила она. — Человек он спутанный. У него небось и крови-то в теле нет, а одна водка. А водка — водки же и просит. Ничего ты его не поправишь, а все, что ему принесешь, он пропьет; и придется тебе с ним мыкать довечное горе. И сам пропадет, и тебя погубит… вот какой это человек. Озверелый. Благодарности и нежности не разумеет, а изуверства — сколько хочешь. Первая жена у него сама была брех; смертным боем дрались с утра до ночи. Да и то не стерпела — надорвалась: заморил бабу, бесстыжая душа! А тебе — куда же сладить с ним, эзопом? Если уже хочешь непременно принять на себя в супружестве трудовой подвиг, так найди жениха хорошего, трезвого, работящего… а это — что?! Сказано: гнусь-человек, гнусь он и есть…

На уговоры старухи Соня не возражала, но принимала их — «что стене горох», и все твердила, что заплатить за три спасенные души удобствами и баловством (это она-то себя баловала!) своей жизни — цена недорогая; что, главное, ей бы вырастить девочек...

Старуха даже рассердилась.

— Какая тебе, мать, печаль чужих детей качать? Вот уж подлинно — «старица Софья по всему миру сохнет». Сироты, конечно, жалки; хорошо призреть сироту. Да ведь ты не в монастырь идешь, а замуж. Сама учнешь рожать — не до сирот станет. Чужую крышу не кроют, коли своя в дырах...

Соня побледнела и ничего не сказала.

Уговаривала старуха и Прохора.

— Эй, Прошка! не бери греха на душу: загубишь девку понапрасну, а себе не сыщешь ни пользы, ни радости. Неровня она тебе и не пара. Взыщется с тебя за нее.

Но он огрызнулся:

— Пустые ваши слова, тетушка, потому взыскивать с меня окончательно не за что. Я Софью Артамоновну не неволю. Мне и самому боязно, что она затеяла, но — ежели ее такое желание, чем я тому причинен? Она не маленькая, имеет свой разум, может рассудить, за кого идет и на какую жизнь. А я — дурак я, что ли, что счастье само плывет мне в руки, а я стану отказываться?

— Да какое счастье, глупый ты человек? Не будет тебе с нею счастья, не ужиться грачу с белой лебедью...

— Уж это, тетушка, как Бог даст. Я же вам скажу вот что: моя жизнь теперича такая, что, куда ты меня ни поверни, мне не может быть хуже, чем сейчас, потому — хуже уж не бывает.

В церкви, однако, Соня оплошала. Под венцом стояла белая как мел, священнику согласие сказала — точно в подушку, никто и не слыхал, и, когда сняли венцы и священник приказал молодым поцеловаться, пошатнулась. После вен-

чания справляли на новоселье свадебную вечеринку. Улучив минутку, старуха вызвала Соню в сени, и, пока она шептала обычные напутствия и наставления, какими награждают новобрачных посаженые матери, молодая билась у нее на плече, рыдая в истерическом припадке...

— Что я над собою сделала!.. что сделала!.. О, Боже! И вдруг все это — напрасно?!

— А я совсем потерялась. Не придумаю, что сказать, что делать. Топчусь возле нее, бормочу, что, мол, дело сделано — не разделывать стать; думала бы раньше, а, снявши голову, по волосам не плачут, стерпится — слюбится... все эти наши, знаешь, бабьи присловья! А самой так на нее горько, — ну вот точь-в-точь, — когда сын в солдаты уходил...

Так кончилась жизнь Сони Следловской, потому что дальше началось уже житие.

Может быть, расчет Сони покорить Прохора своему нравственному влиянию, стать руководительницею и наставницею своей новой семьи и удался бы. Прохор очень хорошо понимал ее превосходство и — в короткое свое жениховство — мало что совестился, даже побаивался невесты-барышни. Он сознавал, что судьба странно связывает его жизнь с существом особого высшего порядка, с существом мудреным и хрупким, с которым и обращаться надо по-особенному, но как именно — он не знает: выходит, барышнино дело будет приказать и научить, а его — слушаться и делать, что велено. Следовательно, Прохор тоже шел под венец, как на послух своего рода, и — не вовсе еще пропив свое мужское самолюбие — в тайне немножко смущался своею будущностью. Он размышлял: «Остепениться — что говорить? — хорошее дело: попито, погуляно, полежано на боку, нагоревано и набедовано — в достаточности; пора остепениться, — благо, экий клад упал с неба... Только что-то сердце щемит, — ровно я воли своей решаюсь... Сейчас я, хоть кабацкая затычка, живу сам себе голова; хоть жрать нечего, никому не уважаю. А ба-

рышня гнет на ту модель, чтобы меня — вроде как бы под начал. Как учнет она мною верховодить, да не стерплю я, растоскуюсь по прежней жизни...»

Будь Соня менее красива, не будь за нею тысячи рублей, Прохор, вероятно, поддался бы на старухины уговоры и сбежал бы от неравного брака, как новый Подколесин. Но пожива была слишком соблазнительна, и разыгравшиеся аппетиты заглушили в Тырине его слабые колебания... «Эх! — решил он, — была не была! куда не вывозит кривая? Авось — Бог милостив, не вовсе взнуздает меня барышня... Да коли и взнуздает, — говорю: хуже, чем сейчас мне, не может быть ни от какой перемены жизни».

Если бы Соня захотела поддержать в муже его конфуз и робость перед нею, сознание, что она, как некое полубожество, снизошла до него, чтобы его, недостойного, спасти и возвысить от образа свинского к образу человеческому, что он всегда и во всем должник жениной доброты и благодеяний, по гроб неоплатно ей обязанный, — игра ее была бы выиграна. Из Прохора мог бы выйти, если не хороший муж и человек, то послушный и опасливый раб, который в руках умной, честной и кроткой госпожи и сам толков, трезв, честен и работящ. Но в натуре Сони не было ни капли властности. Всякое нравственное насилие претило ей, благая цель не оправдывала в ее глазах грубых средств. Она надеялась влиять на Прохора, не возвышаясь над ним, не господствуя, но мягким равенством отношений и полным к нему доверием. Доброжелавшая Соне дворничиха советовала ей придержать у себя остаток от тысячи рублей, после того, как — в виде Сонина приданого — устроилась мастерская, были куплены ремесленные права, приобретено все обзаведение для будущего домашнего хозяйства молодых.

— Пока ты с деньгами, он, пьяница, всегда будет у тебя под башмаком, — убеждала старуха.

Соне не понравился и этот совет. Она вообще не любила денег, считала их злом, и господствовать над мужем их влас-

тью показалось ей противно. Если она вверяла Прохору самое себя, какой смысл был не поверить ему и денег? разве деньги дороже самой себя? И перед тем, как отправиться к венцу, — она передала жениху весь свой крошечный капитал.

Это была большая и наивная ошибка. Заполучив деньги, Прохор почувствовал себя на твердой почве и возомнил о себе чрезвычайно много. Для таких людей самостоятельность — опасное оружие. Они безобидны только, пока они под ярмом. Если они не рабы, они лезут в деспоты. Едва Сонины деньги перешли к Прохору, он заговорил и повел себя с невестою много развязнее.

Трусливое благоговение его перед Сонею значительно потускло: во-первых, главная основа благоговения, капитал, принадлежала теперь ему, а не Соне; во-вторых, Соня, на Прошкин взгляд, сделала глупость, и, стало быть, не так она мудра и властна, как он ее воображал... А в первые же дни брака Соня вторично проиграла игру — и уже окончательно и бесповоротно.

Как большинство очень чистых девушек, Соня имела явственный идеал брака как союза духовного, но не имела никакого представления о браке как семейном сожительстве. И, когда выступила вперед эта сторона супружества, Соня потерялась, и не выдержала характера, — не сумела скрыть брезгливого ужаса, физического отвращения к мужу. Прохор заметил; на отвращение он озлился, а ужасом воспользовался, чтобы овладеть положением. Как только он понял, что жена, которой он так конфузился и робел, еще больше боится его самого, — Прохор сразу осмелел и обнаглел. Суеверный культ его к «барышне» растаял без следа: необыкновенная жена трясется перед мужем осиновым листом, как и всякая обыкновенная баба, — значит, такова она и есть! А на обыкновенную бабу и закон обыкновенный: жена да боится своего мужа! И первая же неделя супружества показала Соне, что она — жена-раба в лапах мелкого, но властного деспотика.

Зажав в кулак покоренную, перепуганную женщину, Прохор был очень весел. А Соня стала как неживая, — исполнительная и покорная, она делала все, точно не своею волею и силою, но как машина, по заводу. Она имела вид спокойный, охотно и разумно разговаривала, но таилось в ней что-то новое, жуткое, от чего, — говорила старуха, — даже плакать хотелось: точно она закостенела в холодном ужасе.

— Покуда этот страх на ней лежал, я за нею, как тень, следила. Все боялась: не удавилась бы она. Ох, да и удавилась бы, — чем бес не шутит? силен лукавый: долго ли до греха? Да пожалел ее Господь: в скорости отвел мысли на другое, — послал дитя понести. Ну и ничего, Бог милостив, перешло. А уж так то ли было жутко! так жутко!

Тайна самоотречения созрела, и Соня справилась с собою: ей стало легче. Старуха напророчила правду: дело у Прохора не пошло. Он действительно слишком изленился и избражничался. Притом же, зачем гнаться за работой, когда в кармане звенят деньги?

— Потружено, слава те Господи! — рассуждал он, — холода, голода, всего принято предостаточно. Дай же ты человеку дух перевести.

Мастерская работала слабо. Заказы были, но Прохор модничал, важничал, дорожился, затягивал работу. Заказчики шли к другим мастерам.

— И прекрасно! и сделайте ваше великое одолжение! — шумел Прохор, распивая чаи в заведении «Нахал-Кэпе», как перекрестил темный околоток «Ахал-Теке». — Чтобы цену сбивать, нам, друзья, нет таких расчетов. Делателю, брат, довлеет мзда по делам его: так-то выходит справедливость от Писания. Работа моя, прямо скажу, питерская работа. Стало быть, и денежки пожалуйте стоящие. А не угодно — не неволим. Но чтобы за грош на рожон... нет! мы, хвала Создателю, при собственном капитале, не нуждаемся.

Соня находила мужа не совсем неправым; в самом деле, ему, намаявшемуся в долгой собачьей жизни, не грешно легкою передышкой восстановить силы, измотанные голодным горем и пьянством с голодного горя. Кругом их мелкий кустарь задыхался в каторжном труде и кабале долгов, как много лет задыхался раньше Прошка... Им незачем лезть в каторгу и кабалу, незачем бросаться в хищную погоню за каждым куском наперебой, которая превращает жизнь соседей в сплошной кошмар ненавистной грызни за существование. Им незачем перехватывать заказы у этих горемык.

— Они своей нужды переждать не могут, а мы можем. Они понижают цены поневоле, потому что только этим и могут привлечь к себе заказчика, а мы, если понизим, значит, прямо с расчетом разорить их, поморить с голода...

По таким соображениям Соня смущалась не столько безработицей, сколько копотностью, небрежностью, скукою, неаккуратностью мужа в работе, когда она перепадала. Она хотела помогать ему, но Прошка обругал ее:

— Слыханное ли дело, чтобы баба в мастерство лезла... этак ты и в солдаты полезешь... Знай свое дело у печки...

Да, правду сказать, этого дела у печки было по горло. Работницу Тырины держали только первые месяцы после свадьбы, пока Соня не втянулась в обиход своего хозяйства и не убедилась, что оно ей под силу и одной. Печь, корова, куры, нынче — хлебы, завтра — стирка, послезавтра — мытье полов, две девочки на руках, обшей их, обмой, учи грамоте, да сама — тяжелая. К вечеру Соня не чуяла под собой ног, и, когда куры садились на насест, слипались и ее глаза. Набирать еще работы — значило бы надрываться, а силы надо было беречь. Соня смутно чувствовала, что в одной своей надежде она уже обманулась — работником Прохор не будет, и, следовательно, когда приданые деньги выйдут, заработок их окажется ничтожным, и дом упадет всею тяжестью на ее плечи.

Личные отношения супругов были ладны на людской взгляд и дурны на самом деле. Какие бы покоры ни взводили на русскую крестьянскую, мещанскую, мелко-купеческую, сельскую поповскую семью, сколько бы недостатков там ни было, однако жена в ней редко почти теряет свою нравственную личность. Часто она — прежде всего рабочая и страдающая сила, часто — производящая и кормящая детей самка, но она почти никогда не наложница, не тварь, введенная в обиход лишь ради чувственной утехи: заурядный брачный порок городского культурного круга. Народ даже не любит, когда муж с женой чересчур нежничают между собою. Вон, как Кабаниха обрывает Катерину: «Что на шею лезешь, бесстыдница? Не с любовником прощаешься». Да и в песнях, и в сказках, и в летописях наших, и у попа Сильвестра, страсть, сентиментальность, чувственность — все любовникам и любовницам; супругам же — «закон», «благополучное и мирное житие», «брак честен и ложе не скверно». Словом, цель русского простонародного брака: прямая — упорядоченное рождение детей, и косвенная — приобретение в семью работницы. Я сам знал баб, искренно несчастных тем, что мужья (из разбалованных питерщиков) любили их «не для детей» — и мужья эти коренным деревенским людом считались пакостниками и развратниками, потому что:

— Коли ты затеял баловство, так ступай срамись по любовницам, а жены позорить не смей; она — навек, она — закон.

Такою несчастною бабой — не только для закона, но и для потехи — отчасти вышла Соня. Прохор был человечишко мстительный. Долгое пьяное вдовство, полное кабацкого тоскованья и кабацкого распутства, и обозлило его, и изгрязнило его. Он не забыл первого отвращения к нему Сони — под венцом; догадывался, что втайне он продолжает быть ей противен и презрителен, как ни искусно она притворяется; понимал, что иначе быть не может, не с чего быть иначе. За все это он

мстил Соне именно преувеличенною, без уважения, грубо-повелительною нежностью напоказ:

— Любуйтесь, мол, добрые люди, какой у нас с бабой лад. А ты, барышня, знай хозяина. Потому что ты — мое: хочу — люблю, хочу — убью.

Советов Сони Прохор не хотел знать. В каждом желании подозревал:

— Баба норовит зажать меня под пяту.

Он предпочитал поступить глупо, невыгодно, лишь бы по-своему, а не по бабьему разуму.

— Моя в доме воля! — тупо рубил он в ответ на все резоны и увещевания.

Слагался быт дикий, не одухотворенный ни любовью, ни дружбою, ни товариществом, ни взаимным уважением. Соне уважать Прохора было не за что. Для Прохора уважать — значило бояться. Когда Соня не сумела забрать его в руки и стать старшею в семье, он, в победном самодовольстве, запрезирал и жену, которую он так ловко скрутил, и положение, которое недавно их разделяло. Теперь он смотрел на Соню, как всякий серяк смотрит на свою бабу: существо небесполезное, но бесконечно низшее мужчины. Только в обыкновенном серяке этот взгляд прост и добродушен, — он не со зла, а «по старине». Прохор же, как маленький тиран, любил своею властностью оскорбить, огорчить, унизить.

Пока — все это только проскальзывало, а не было общим правилом. Чувствовалось, но не въявь, — таилось. Таилось, пока Прошку связывали две силы: купленная на Сонину тысячу рублей возможность работать спустя рукава и еще не приевшаяся красота Сони.

Деньги растаяли в три года. Тырин — опять лицом к лицу с повседневною работой или нищетой, на выбор. У него на руках трое малых детей, прижитых с Сонею, да еще две девчонки от первого брака, с которыми неустанно возится, точно со своими, жена, подурневшая, постаревшая на десять

лет от чрезмерного труда и частой беременности. Он озлобился и выбрал, что больше подходило ему, развращенному то безработицею, то ненадобностью работы: пьяную и праздную нищету. Словно уверился:

— Куда ни кинь, все клин, одна каторга. Проклят я и никакими силами прийти в благополучие мне нельзя.

Кабак победил. Дома не стало. Вместе с нищетою и пьянством пришли и побои. Соня нашла свое страдание и нашла его полностью... Если бы не она, если бы не ее сверхсильный и разнообразный труд, ребятам Прохора пришлось бы стучать под чужими окнами за куском хлеба Христа ради. Откуда только брала она энергию, и как ее Бог выручал!

Провалившись в Орле с своим мастерством, Тырины перебрались в Москву. Здесь, в передней у одной барыньки-заказчицы, я встретил Софью Артамоновну уже такою, как ты ее видел сейчас. Только художнический глаз мог признать в ней былую «Мечту». Потом она призналась мне, что очень мне обрадовалась, а между тем встретила меня сухо, почти с испугом. Я для нее был человеком из чужого мира, вне ее подвига, — значит, непонимающим и враждебным.

С тех пор я уже не упускал Софью Артамоновну из вида. Говорил с нею, узнал ее каторгу во всех подробностях. А общее — вот оно: вечно пьяный лентяй-муж, каждый день побои, каждый год дети и — работа не в подъем, с утра до ночи, — от печи к игле, от иглы к прачечному корыту, от корыта к вязальным коклюшкам... чего-чего только она не работала!

— Бросьте вы все! — убеждал я ее, — ведь ясно, что вы ошиблись, из вашей затеи ничего не вышло, и вы не на своем месте.

Она даже не поняла меня:

— Как бросить? Как не на месте?

И недоумевающий взор ее очей, — пожалуйста, не улыбайся, потому что у нее именно очи, а не глаза, — стал строг и светел. А мне сделалось стыдно, что я ее уговариваю, — стало ясно,

что счастье ее заключается именно в том, что я принимаю за ее несчастье. И я покраснел под ее взглядом, а она смягчилась и добро рассмеялась:

— Уйти, бросить... а куда же я дену свой муравейник? Тоже и его бросить? Ах, Василий Николаевич! как вы там — в своих умных кругах — легко и быстро думаете... У меня дети, голубчик, у меня муж — больной, слабый человек. А вы говорите — «я не на месте»! Что Бог соединил, человек не разлучает. Не на смех венчались.

— Полно, Софья Артамоновна, говорите, что хотите, только не это. Сами отлично знаете, что сгубили себя ни за что, ни про что... какой уж Прохор муж для вас!

Она опять потемнела и нахмурилась:

— Каков бы он ни был, — муж.

— Ну, Софья Артамоновна, с вашими строгими религиозными взглядами такое даже говорить стыдно... Брак без любви — не брак.

Она слегка покраснела, отвернулась и говорит, глядя в сторону:

— Без любви... без любви... да почему вы так уверены, что я не люблю Прохора?

— Софья Артамоновна! Хоть в этом-то будьте откровенны... Ну — за что вам его любить, можно ли любить? Что же? скажете, пожалуй, что вы и вышли за него по любви?

— Нет, я не позволяю себе лгать. Тогда я его не любила. Он был мне страшен...

— А теперь, когда вы все его безобразия испытали на своей собственной коже, стали любить? С какой же это стати?

— С такой, что брак — таинство. Он приносит любовь.

— Мистицизм все это. Напускаете вы на себя.

Она рассердилась и еще гуще покраснела.

— Что же? — сказала она прерывающимся голосом, — вы правы в том, что Прохор Иванович дурно ведет себя и жить

с ним не легко... А я, видите, десятый год живу... Захотела бы, так ушла.

— Сами же говорите: дети держат... ишь, их у вас, действительно, какой муравейник!

— Да ведь от него дети-то, Прохоровы... Что же? И это, стало быть, без любви? Что же вы меня — за животное считаете?

Я только руками развел.

— Ну не понимаю я вас.

— Нет, вы любви не понимаете. По-вашему, любить — значит наслаждаться да красоваться собою, а по-моему, любить — значит жалеть. И если мне никого на свете не жаль больше, чем этого несчастного, безвольного, порочного человека, — ну никого, никого!.. — так неужели же не значит это, что я люблю его, и, стало быть, неспроста Божья воля отдала ему меня в жены?

Я никогда не мог уговорить ее взять от меня денег.

— Зачем? Нам хватает, — отнекивалась она.

И, действительно, я видел, что хватает: ребята были чисты, грамотны, сыты; кабы не пьянствовал Прохор да не так часто рожались дети, дом был бы полною чашей; и все это создавалось исключительно руками Сони, потому что непостоянный, капризный, лихорадочный заработок мужа целиком уходил в такой же лихорадочный загул.

Пробовал я облегчить Соне заработок — отбить ее от грубых форм труда, нашел ей заказы на шитье, вязанье, вышиванье. Не тут-то было. Дошла до заработка рублей в тридцать пять на месяц и остановилась:

— Это уж, — говорит, — милостыня. Отдавайте другим. Другие больше меня нуждаются. Мы имеем довольно, а лишнего не хотим, — нечестно брать, отнимать у других.

Насилу уговорил, чтобы она брала на комиссию и передавала работу своим знакомым женщинам...

Теперь ей, разумеется, легче: старшие девочки, падчерицы, подросли, помогают; умненькие и славненькие; светлоглазые такие; видно, что любят мачеху без памяти...

Вот тебе и вся история Сони Следловской. Когда я говорил о ней с умными людьми, мне обыкновенно указывали, что она, как юродивая, бесплодно загубила свою жизнь, тогда как могла бы быть полезна многим, многим. Но — бесплодно ли? Эти две девушки, из которых должны были выйти воровки и проститутки, а, благодаря мачехе, вышли честные и грамотные работницы, какую взять за себя в почет любому мастеру-жениху; ее собственные дети, из которых опять-таки выйдут хорошие и полезные люди, разве это не плоды?

— Ну, знаешь, это еще бабушка надвое говорила: дети алкоголика...

— Ах, оставь ты, сделай милость, эту ломброзовщину! Видел я Сониных ребятишек: славные, давай Бог всякой матери. И иначе быть не может, потому что каков бы ни был их отец, а у такого мощного, благородного создания, как Софья Артамоновна, и дети должны быть мощные и благородные. Ее души, ее натуры не одолеет в них отцовская кровь, как и самое Соню не одолели мужнины безобразия...

Наконец видел я и Прошку и убедился, что и этот кремешок сломило-таки железное упорство кроткой Сониной натуры, что он уже понимает свое скотство и ему стыдно жены. Побои, разврат давно прекратились. Не пить он не может — будет пить до смерти — и подохнет от водки, но я сам слышал, как он, пьяный, рыдал истошным голосом:

— Святая! Святая!

И проклинал свое свинство. Стало быть, в звере зашевелился-таки человек, под щетиною заходила Божьею искрой живая душа... В конце концов, бесполезно погибла жизнь Сони Следловской... только для самой Сони Следловской. Да и то еще вопрос. Она глядит довольной и счастливой. Гораздо довольнее и счастливее, чем мы с тобою, чем вот эти раз-

ряженные люди, обгоняющие нас в своих ландо, как могла бы, если бы захотела, обогнать нас и Соня Следловская... И всякий раз, что я вижу ее ясные глаза, меня целый день преследует мысль: не лишнее ли все, чем мы добиваемся своего довольства и добиться не можем? не доступно ли оно лишь тому, кто постиг тайну самоотречения и смиренно идет по земле его тернистою тропой?

1893

ДВЕНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ

12 января мы, бывшие студенты М – ского университета выпуска 186* года, решились пообедать вместе в отдельном кабинете «Славянского базара». Нас собралось всего десять человек: присяжный поверенный Прогорелов, доктор Посиделкин, поэт Ураганов, редактор-издатель газеты «Шантаж» Грандиозов, железнодорожник Кусков, мировой судья Подполковницын и еще кое-кто. Все, как видите, тузы: Кусков, например, в пяти миллионах считался.

Пообедали и, надо сказать, отлично пообедали: с шампанским, ликерами, дорогими фруктами. Но, пообедав, мы очутились в довольно глупом положении — именно, мы решительно не знали, что нам дальше делать. За столом было сказано все, что могли сказать друг другу люди, которые лет двадцать тому назад сошлись под пьяную руку на «ты» и между которыми, кроме этого «ты», не осталось решительно никакой связи. Между супом и зеленью мы решили судьбу махди (он тогда волновал умы), за жарким обсуждали новый университетский устав и вспоминали доброе старое время, Рулье, Ешевского, Никиту Крылова. За десертом помянули добрым словом Васильевых, Садовского, Живокини и чуть не переругались в споре, кто выше — Барнай или

Поссарт; решили, что выше всех клоун Дуров; ликеры были сигналом к единодушной декламации выдержек из Баркова, маркиза де-Сад и Арман Сильвестра... Наконец истощилась и эта, по-видимому, неистощимая тема. Мы курили, молчали и начинали скучать...

Но Прогорелов не дремал. Он позвонил, и — через десять минут пред нами, в громадной пуншевой чаше, пылала на диво заваренная жженка...

— По-старому, господа! по-студенчески! — командовал Прогорелов, — помните? Эх, годы были!..

Наливай сосед соседу,
Сосед любит пить вино!

Мы несказанно обрадовались. Разговоры возобновились с пущей прежнего энергией. Липкая влага приятно жгла нам горло и отуманивала головы. Мы, что называется, разошлись и даже попытались спеть хором Gaudeamus, хотя — с прискорбием должен сознаться — один только Прогорелов стоял на высоте призвания; я невольно сбивался на мотив «Коль славен», а судья Подполковницын, держась в басу, пренаивно варьировал тему марша из «Боккачио». Я был в духе настолько, что уже начал было снимать с себя сюртук, но, к счастью, вовремя сообразил, что я не студент, а надворный советник и кавалер.

Мы выпили за Alma mater, за покойников-профессоров, за живущих и действующих товарищей, за университетского швейцара — выпили и совсем захмелели. А захмелевши, впали, как свойственно русским интеллигентам, в обличительный пафос, и весьма быстро пришли к тому убеждению, что все люди — пошляки и свиньи, живут только для карьеры и денег, чужды всяких моральных интересов, а мы, вкупе и влюбе собравшиеся в кабинетике «Славянского базара», представляем, так сказать, преисполненный солью земли

оазис в житейской пустыне. Ну и остановиться бы нам на этом решении, и успокоиться бы, — так нет: поэта Ураганова окончательно обуял бес обличения и, менее чем в пять минут, наговорил его устами каждому из нас кучу пренеприятных откровенностей, бросавших тень и на наши незапятнанные души. Сперва мы рассердились и хотели побить Ураганова, как пророка Иеремию, только не камнями, а подсвечниками. Но жженка делала свое: мы раскисли, размякли, из духа обличения перешли в покаянное настроение. Кусков рыдал: «Только святой устоял бы на моем месте от искушения ставить еловые шпалы вместо дубовых!» Прогорелов орал: «Попробуй-ка, поищи теперь честных клиентов! Черта с два найдешь! Теперешний клиент — подлец: ты его защищаешь, а он тем временем у тебя же платок из кармана тянет!»

Словом, пришлось нам убедиться, что и мы не того... и даже очень не того...

— Опошлели! освинели! шерстью обросли! — плакался Грандиозов, — ведь я когда-то Байроном мечтал быть, Тургенева хотел обогнать, а чем кончил? Издаю газету «Шантаж» или «Трепещи правда! — свинья идет!»

— Да еще по целому году должаешь своему передовику! А у него жена, дети! — язвил Ураганов — эх ты!

— Да, господа! — меланхолически заключил Подполковницын, — прошли прекрасные дни наших Аранхуэцов, и вряд ли кому-нибудь из нас пришлось хоть раз в жизни перечувствовать те светлые минуты, рядом которых было наше студенчество.

Мы поспешили согласиться, но доктор Посиделкин протестовал. Кстати сказать: пил он втрое больше всех, а один из всей компании был трезв.

— Не знаю, — сказал Посиделкин, — как прочие, а я пережил...

Мы так и накинулись на доктора: «Рассказывай!»

— Извольте. Это было... когда умерла одна моя старая знакомая... пассия студенческих времен.

— Кой черт? наследство, что ли, оставила она тебе?

— Не налазьте, а молчите и слушайте. Штука не в наследстве, а в том... в том... ну да просто в том, что она — слава Богу! — умерла. Любочка (так ее звали) теперь была бы неоригинальна: этот тип — студентки, курсистки — теперь на каждом шагу, а тогда еще был редкостью, вроде зубра Беловежской пущи. Была она бедна как церковная мышь, экзальтированна, честна до нищенства, верила в науку до фанатизма и хотя, по тогдашней моде, подсмеивалась над искусством, однако бегала тайком в Пашков дом посмотреть картины. Я тогда был тоже в этом вкусе — студентище этакий семинарского закала... Влюбились мы друг в друга... О браке, конечно, и не помышляли, да ничего особенного и не было между нами: так, книжки вместе читали да философствовали, как мы пользу родине принесем... Однажды беседуем с Любочкой. Она вздохнула и говорит мне: — Вот мы с вами толкуем — и все так хорошо, а кончите вы курс, выйдете из университета, вас и не узнаешь!

Я обиделся. Говорю:

— Любочка! дайте мне слово, что если я когда-нибудь изменюсь, вы меня накажете! Любочка! Если вы узнаете, что Посиделкин гонит от себя народ, дайте Посиделкину собственноручную пощечину! Если вы узнаете, что Посиделкин ездит в карете, дайте ему другую! Если вы узнаете, что у Посиделкина квартира больше, чем в три комнаты, плюйте Посиделкину в лицо!

— Хорошо. Запомню и исполню. Вы можете принять те же меры, если я изменю своим убеждениям.

Она говорила несколько книжно, но говорила, что чувствовала. И представьте себе: ведь не изменилась! Нищей была, нищей и умерла! Писала мне незадолго перед смертью: «Я свое слово сдержала. Хочу собраться в Москву (она в то время в Чернигове у родных жила), посмотреть, как вы свое держите».

Господа! Когда я прочитал письмо, я струсил... мне стало стыдно... посмотрелся в зеркало: красен как рак. Господа! у меня в это

время была такса: визит — 25 р., прием у меня на дому — 15 р. Я держал две сменные пары рысаков. Я только что купил шикарный дом в самой модной части Москвы. Судите сами — во что бы обратила Любочка мою симпатичную физиономию! А она исполнила бы обещание, непременно исполнила бы, я знаю...

И вдруг телеграмма: «Умерла».

Верите ли, я так обрадовался, что теперь самому смешно вспомнить. Как мальчишка. Словно с Любочкой и стыд умер!.. Просто одурел: даже двух бедных больных бесплатно принял... Э-эх, жизнь!

И доктор с ожесточением выпил.

— А что бы ты сделал, если бы Любочка в самом деле плюнула тебе в лицо? — спросил Прогорелов.

Посиделкин махнул рукой. Мы с любопытством обратили взоры на его физиономию: физиономия была мужественная и благообразная... Мы посмотрели друг на друга: у нас тоже были мужественные и благообразные физиономии...

Нам стало очень скучно.

1886

УМНИЦА

Международная история *)

I

В довольно тусклом зрительном зале х — ской оперы замечалось необычайное оживление. Шли «Гугеноты». Рауля пел любимый тенор; публики было много. Но вся эта публика или, по крайней мере, ее значительное большинство не

*) Этюд к роману «Москва». См. мой сборник «Сказания времени».

смотрела на сцену. Бинокли партера были прикованы к крайней ложе бельэтажа; туда же при аплодисментах посылал льстивые поклоны и любимый тенор — здоровенный детина с хищным висячим носом и глазами вроде чернослива. Он бросал в ложу сладкие взоры и рисовался в своем красивом костюме с кокетливыми ухватками опытного, умеющего заявить себя с казовой стороны альфонса. Но дама, сидевшая у барьера ложи, не обращала на артиста никакого внимания, да, кажется, даже и вовсе не слушала оперу, занятая разговором со своим кавалером. Седые усы на бритом лице и строгая выправка обличали в этом элегантном господине бывшего военного и, вернее всего, кавалериста, а умный, наблюдательный и неоткровенный взгляд — большого дельца. Звали его Владиславом Антоновичем Замойским; он был главным управляющим х – ских земель княгини Латвиной — скромное звание, дававшее, однако, Замойскому до тридцати тысяч рублей в год. Дама у барьера ложи и была сама княгиня Анастасия Романовна Латвина, только что прибывшая в Х. после пятилетнего отсутствия. Она почти всегда жила в Париже, и теперь, при первом ее выезде в х – ский свет, местные аристократки с завистливым замиранием сердца критически пожирали глазами ее вортовский туалет и бриллианты от Шомберга. Княгиня выносила общее внимание, как бы не замечая его, — свойство лиц, сделавших прочную привычку быть предметом постоянного любопытства праздной толпы. Княгиня была далеко еще не стара и весьма недурна собою, хотя — вовсе не аристократической красотой. Ее свежее русское лицо с пухлыми щеками, сочным маленьким ртом и неправильным — немножко на манер груши — носом, на первый взгляд, казалось почти вульгарным. Такие мещанские физиономии обыкновенно принадлежат женщинам не особенно умным, малообразованным, добродушным, мягкосердечным и слабохарактерным. Новички-знакомые часто принимали княгиню — благо ей это льстило почему-то! — именно за такую

ничтожную женщину, пока хорошенько не вглядывались в нее или не заставляли ее резким словом, неловкою шуткой поднять свои вечно опущенные ресницы и открыть глаза — громадные, серые, с жестким стальным блеском в глубине, и никогда, — даже если княгиня заливалась самым, по-видимому, задушевным смехом, — не улыбающиеся. «Лицо прачки, фигура Цереры, взгляд принцессы крови, мозг Бисмарка!» — так характеризовал свою супругу князь Ипполит Латвин, дотла прогоревший барин, полуразвалившийся, отживший, больной жуир. Его никогда не видали в Х. Он жил щедрыми подачками своей жены, всегда врозь с нею, и где-то очень далеко: не то на Хиосе, не то на Азорских островах. Так что многие даже не верили: уж точно ли есть на свете какой-то князь Латвин, муж Анастасии Романовны, урожденной Хромовой, дочери Романа Прохоровича Хромова, одного из богатейших волжских рыбников, а в начале сороковых годов простого нижегородского мужика внайме на второстепенном рыбном промысле.

Не совсем заурядную историю жизни, дел и богатства Анастасии Романовны придется начать издалека, ab ovo *.

В сороковых годах Нижний посетил князь М – в — высокопоставленное лицо, почти всемогущее в России того времени, личный друг императора Николая, человек с острым и саркастическим умом. В Нижнем, разумеется, его принимали с великими почестями и с еще большим страхом. Местные власти трепетали и до того перестарались в усердии оградить высокого гостя от докучливости посторонних лиц, а особенно всякого рода просителей, что князь по возвращении в Петербург юмористически воскликнул в ответ на вопрос одного придворного, каково ему жилось в Нижнем:

* От яйца; с самого начала (*лат.*).

— Благодарю вас, недурно — пил, ел и спал, как никогда. Но зачем все-таки я сам себя безвинно посадил на целую неделю в живой острог, — хоть убейте, не понимаю!

И вот сквозь стены этого-то «живого острога» однажды сумел пробраться к князю мужик, красавец собою — открытое смелое лицо, соколиные глаза, в плечах — косая сажень — и первым делом поклонился его сиятельству громаднейшим осетром: даже привычные нижегородские знатоки ахнули при виде этой рыбины!

— Ты что ж это — подарок или взятку мне даешь? — смеясь, спросил князь: он любил фамильярничать с низшими. — У тебя, наверно, есть какая-нибудь просьба?

— Есть, — спокойно сказал мужик.

— Ах ты, разбойник! Как же ты смел подумать, что я беру?

— Все нонче берут, ваше сиятельство! — лукаво возразил мужик. — Дети малые и то промаха не дают: вон у нашего городничего мальчонка — шестой год всего пошел пискляку, а как попадет с мамашенькой в Гостиный двор, так игрушечные лавки хоть запирай: беспременно ухитрится, пузырь, зацепить самую что ни есть лучшую штуку. А ваше сиятельство, кажись, из младенческого-то возраста уж вышли... Как не брать!

Князь покатился со смеха, — так по вкусу пришлась ему философия дерзкого мужика. Он уже заранее смаковал наслаждение рассказать этот случай в Петербурге... Какой славный выйдет анекдот, и как будет смеяться государь!

— Ну, мужичок, в чем же твое дело?

Мужик просил князя посодействовать, чтобы за ним остались небольшие ловли при устье какой-то маленький речонки.

— Известно, ваше сиятельство, что на ловли эти будут торги... Да торги — что? На торгах тот прав, у кого мошна

толще. Нам с толстосумами не тягаться: у нас всего имущества, что крест на шее... А пить-есть тоже не хуже других хочется!

— А кто ты такой?

— Я, ваше сиятельство, вольный... был господ Шершовых, но за родительские заслуги на волю вышел: теперь живу сам по себе здесь на промысле, в приказчиках у купца Тимофеева.

— Как звать?

— Роман Хромов, ваше сиятельство.

— Откуда же у тебя деньги, чтобы взять за себя ловли? Наворовал небось, а? — пошутил князь.

— Воровать не воровали, а что само в руки плыло, того не упускали — хладнокровно согласился Хромов и своим ответом окончательно распотешил сановника.

Одного слова князя было, конечно, довольно, чтобы провинциальные власти устроили Хромову искомую аренду. Хромов пошел в гору и начал богатеть. Его боялись в Поволжье: чуть что не по нем, юркий мужик, не долго думая, отправлялся в Петербург. Князь М. его не забывал и всегда с неизменной благосклонностью допускал к себе, а Хромов между балагурством и краснобайством умел вставить несколько слов едкой правды, — и над головами его ворогов собиралась жестокая гроза. Началась крымская кампания. Князь доставил Хромову выгодный подряд. Несмотря на все скандалы интендантской неурядицы того печального времени, Хромов вышел из своего предприятия чистым как стекло, с репутацией честнейшего из поставщиков и истинного патриота, а, вдобавок ко всему, с полумиллионом барышей в кармане. Владея крупным капиталом, он все шире и шире брал радиус своих коммерческих дел и, скончавшись в 1882 г., оставил своей дочери Анастасии Романовне ровно четыре миллиона рублей.

* * *

Анастасии Романовне тогда только что минуло двадцать два года. Она была старшей дочерью Хромова от брака его с бедной дворянкой Саратовой, заключенного еще в то время, когда звезда хромовского счастья только что начала разгораться. Многие из купечества предчувствовали будущий блеск этой звезды, и Роман Прохорович не знал отбоя от свах, но он верно рассчитал, что, связав себя с богатой, но «серой» невестой, сам навсегда останется серым, как туго ни набей мошну; а его честолюбие шло много дальше. Захудалые и забвенные в столице Саратовы были близкой родней оскудевающим и забываемым Стремголовским; эти были связаны по женской линии с баронами Эрнст-Траумфеттерами, фамилией аристократической, гордой и влиятельной, но вечно нуждающейся в деньгах, и наконец баронесса Траумфеттер приходилась родной племянницей князю М., покровителю Хромова.

Поэтому нечего удивляться, что зимой 1872 года в гостиной баронессы разыгралась весьма трогательная сцена. Роман Прохорович — во всегдашнем своем костюме: бархатной поддевке, голубой рубахе и шароварах в высокие сапоги, но с бриллиантами на пальцах и при золотой цепочке в мизинец толщины, — стоял пред баронессой на коленях и, держа за руки двух в пух и прах разряженных девочек, причитал в том «народном» стиле, который в то время вошел в моду:

— Матушка-барыня! твоя светлейшая милость! не осуди ты меня, мужика-дурака! Не я прошу — нужда просит: сними с моей души грех! призри сирот!.. Что я с ними буду делать? Я, матушка, сиволап, гужеед, в лесу вырос, пенью молился, а девочки мои, хотя по родительнице, — упокой, Господи, ее душу, дай ей царство небесное! — дворянские дети! Пригоже ли им, сиятельная ты моя, оставаться в нашей темноте? Успокой ты меня, матушка, твое высокопре-

восходительство: возьми к себе моих сирот, и пусть они у тебя всякую науку произойдут, а уж я в долгу не останусь. И князь Федор Федорович М. о том же тебя, матушка, просит...

Баронесса — дама весьма мечтательная и великая фантазерка — была тронута: коленопреклоненный миллионер показался ей чуть не «Антоном Горемыкой»; она плакала о покойной Хромовой искренними слезами, как будто та была ее ближайшим другом, хотя никогда в жизни не видала жену Романа Прохоровича в глаза и даже впоследствии не твердо помнила имя этой горько оплаканной quasi-подруги *. Нынче баронесса говорила Насте: «Votre mère, cette petite chèrie, ma toujours charmante Barbe...» **, а завтра другая сестра, маленькая Таня, слышала из уст благодетельницы, что мамашу ее звали Еленой, Анной, Eudoxie и т.д., смотря по первому имени, пришедшему на память г-же Траумфеттер. Воспитанницы были выгодны баронессе: Хромов кредитовал каждую дочь на десять тысяч в год и ни разу не спросил отчета у их воспитательницы!.. Дочерей он навещал довольно часто и в каждый свой приезд осыпал подарками чад и домочадцев траумфеттеровского семейства.

Девушки горячо любили отца. В петербургском большом свете долго ходил рассказ о том, как на одном из журфиксов баронессы внезапно показалась на пороге гостиной богатырская патриархальная фигура Хромова, экстренно прибывшего из Нижнего, и обе сестры, забыв лоск аристократического воспитания и своих изящных кавалеров из дипломатического корпуса, бросились на шею старика с самым искренним и увы! — отчаянно тривиальным восклицанием:

— Тятенька!

* Мнимая (*лат.*).

** Ваша мама такая милочка, всегда очаровательная Варвара... (*фр.*)

* * *

Когда Насте минуло восемнадцать лет, отец спросил ее:

— Ну, Настасья, хочешь замуж? Мигом тебя просватаем. Денег у нас много, а баронесса найдет тебе жениха... Да еще какого: Рюриковича, с четырьмя фамилиями!

Но Анастасия Романовна замуж не хотела.

— Видите ли, тятенька, — говорила она, — если я теперь пойду замуж, то непременно попаду в ежовые рукавицы, потому что я молода и еще мало что видела. За купца я, действительно, не хочу идти, а вся эта знать — народ не деловой, малопрактичный. Ну вдруг вы умрете? — останется нам с сестрой ваш капитал. Сама я не сумею с ним справиться — придется либо доверяться управляющим, либо благоверного припустить к делу. Неужто не жаль будет, что ваши денежки, нажитые потом и кровью, прахом пойдут в чужих — Бог знает каких — руках? Нет, вы сделайте вот что, тятенька: возьмите меня от Траумфеттерши да познакомьте со своим делом. Вы не смейтесь: я, хоть и женщина, а понимать могу — ваша дочь. А когда стану в курсе дела, тогда посмотрим, замуж ли идти, подождать ли: женихов у нас, при нашем капитале, не занимать стать... всегда успеем!

Восхищенный старик расцеловал дочь.

— Моя кровь! моя кровь! — самодовольно говорил он. — Спасибо! Утешила!

В Нижнем Анастасия Романовна с поразительной быстротой вошла в «курс дела», и Хромову оставалось только разводить руками и радоваться за коммерческие и административные способности дочки. Служащие боялись ее контроля больше, чем самого грозного Романа Прохоровича. Анастасия Романовна держала себя со всеми просто, товарищески, ласково, даже не без кокетства, а между тем часто после самого любезного, почти игривого разговора с нею какой-нибудь управляющий конторой или главный приказчик стремглав вылетал со службы. Ее финансовый талант и инстинктивное

понимание людей были поистине необыкновенные; вскоре Хромов настолько привык к руководству дочери, что смело брался за одобряемые ею операции, не колеблясь принимал на службу рекомендуемых ею людей и не имел случаев раскаиваться. Свой последний приобретенный миллион Хромов откровенно приписывал участию в своих делах Анастасии Романовны и часто говорил ей, глядя на нее умиленными глазами:

— Бисмарк ты у меня, Настя! Ух какой Бисмарк! Дальше меня пойдешь! Большой ты корабль — большое тебе будет и плавание!

В 82-м году Хромов поехал в Петербург навестить свою младшую дочь Таню, все еще проживавшую у Траумфеттеров; она на четыре года разнилась в летах с Настей. Вскоре из Питера пришла тревожная телеграмма: «Роман Прохорович разбит параличом, приезжай...» Анастасия Романовна застала отца умирающим. Причиной удара было семейное несчастие: Таня увлеклась одним оперным артистом и в один прекрасный день сбежала с ним вместе за границу...

— Послушай, Настя! — говорил умирающий. — Таня мне больше не дочь. Ты моя единственная наследница. Я не хочу, чтобы мои трудовые рубли переходили в развратные руки. Я не проклял Таню, потому что родительское проклятие вовсе губит человека, но требую от тебя, чтобы ты никогда, — слышишь ли? — никогда не видалась с ней и ни одним грошом ей не помогла... Обещаешь?

— Нет, тятенька! — спокойно возразила Настя.

Умирающий поднялся на постели.

— Как нет?

— Так. Я люблю Таню и не дам ей пропасть, а без денег она пропадет непременно. Франт этот — женатый, скоро ее бросит, да если бы и развод получил, так я не позволю Татьяне сгубить себя с мерзавцем, известным всему свету. Таня не развратная, — вы это напрасно говорите, — а только воли

не имеет. За ней нянька нужна, а Траумфеттерша не сумела держать ее в руках и на отчете.

— А если, — сурово сказал старик, — я за эти самые дерзкие слова самое тебя лишу наследства?

— Это как вам будет угодно.

— Что же ты думаешь делать с нею? — спросил Хромов, помолчав немного.

— Сперва вырву ее из лап этого скомороха, потом с годик подержу ее за границей или у нас в Нижнем, чтобы вся эта история улеглась и забылась, потом выдам замуж за дельного человека. Таня у нас красавица и умница — если ей дать тысяч сто приданого, так у меня ее с руками оторвут. А позор ее мы так затрем, что словно его и не было.

Хромов прослезился.

— Настя! — сказал он торжественным голосом, — я всегда любил и уважал тебя, но только теперь вполне знаю, какая ты! Знаешь, когда слушаться отца, когда ему перечить! Спасибо тебе! Как сказала, так и сделай... Да напиши той безумной, что я ее простил... не сержусь...

На другой день Романа Прохоровича не стало.

II

В 1888 году известная петербургская артистка Чуйкина, особа вполне приличная и принятая в обществе, но «до дерзости» самостоятельная и свободная от предрассудков, завела у себя вместо скучных казенных журфиксов веселые, почти исключительно мужские обеды по субботам. У Чуйкиной собиралась самая разношерстная публика: камергеры и гимназисты, козырные тузы литературы и провинциальные актерики на выходах, банкиры и балетмейстеры, присяжные поверенные и гостинодворские купчики. Дамы бывали редко, но если бывали, то обыкновенно молодые, не уроды собою и не чопорные. Вина подавалось к столу вдоволь, и пос-

ле каждого обеда тахта в кавказском кабинете Чуйкиной украшалась двумя-тремя распростертыми телами упившихся гостей. Между последними всенепременнейшим членом был князь Ипполит Яковлевич Латвин. Этот в лоск прогоревший барин до одурения скучал в Петербурге: его маленького дохода едва хватало на самую скромную жизнь во второстепенных меблированных комнатах, а он привык к широкому многотысячному размаху. Его гнело и старило существование вдали от общества титулованной золотой молодежи, равной ему происхождением, привычками и положением в свете, удручала жизнь без балета, итальянской оперы, Донона, тоней... Скука безденежья доводила порою пустую, словно выветренную душу князя до крайней степени отчаяния, и он сам не понимал, как у него еще хватает гордости не пойти, подобно многим, в добровольные шуты к тем самым счастливым виверам, чьим царьком он был еще так недавно, лишь бы, хоть ценой унижения, испытать еще раз непосильные, но искусительные блага. У Чуйкиной князь отдыхал. Здесь его любили и даже уважали: он был не глуп, остер на язык, мог говорить без умолку и потешать весь стол, ничуть не роняя своего достоинства, а, наоборот, твердо сохраняя внешний вид аристократического превосходства над окружающими. Князь являлся к Чуйкиной раньше всех, начинал свою болтовню еще в передней, а затем уже не переставал говорить до самого конца обеда. Ел и пил он изумительно много, но пьянел лишь после ликеров, прекрасно знал это и умел выдержать себя прилично: чуть, бывало, стукнет ему что-то в левый висок и глазам станет горячо, — князь уже понимал, что чрез минуту у него начнет заплетаться язык, незаметно удалялся от общества в кавказский кабинетик и пластом валился на мутаки, украшенные в честь его надписью собственноручной вышивки Чуйкиной: «Покойся, милый прах, до радостного утра!» Час спустя, князь просыпался здоровым и свежим, как новорожденный младенец.

* * *

В один из таких отдыхов Латвин только что собрался открыть глаза, как услыхал тихую беседу вблизи себя. Говорили мужчина и женщина. Князь сообразил, что воспрянуть от пьяного вида при даме еще конфузнее, чем пребывать во сне, и решил притвориться спящим, покуда парочка не уйдет.

— Итак, Анастасия Романовна, — говорил мужской голос с сильным иностранным акцентом, — вы мне отказываете?

«Это Таддей, — подумал князь, — к кому это он подъезжает, венгерская мышеловка? Неужто к этой московской богачихе Хромовой, что сидела нынче за обедом vis-á-vis со мной? Ишь! у него, однако, губа не дура!»

— Начисто, Ян! — смеясь, отвечала дама. — И что вам вздумалось?.. Не понимаю!.. Сколько лет мы знакомы, даже друзья, чуть не на «ты», — и вдруг прошу покорно, предложение! Ну какой вы мне муж?

— Конечно, — возразил Ян оскорбленным тоном, — я бедный музыкант...

— Слово «бедный» тут лишнее, — перебила Анастасия Романовна. — Я вам прямо скажу: если я выйду замуж, что должно скоро случиться, так как мне уж двадцать восемь лет и довольно собак понавешано на меня обществом за мое одинокое житье и дружбу с шалопаями... вроде вас, Ян, — так, если я выйду замуж, то непременно за голыша. Вы знаете мой нрав: могу ли я не то что подчиниться кому-нибудь, а хоть мысль в голове иметь, будто есть человек, кому я обязана отчетом? Нет, равный по состоянию или хоть просто богатый муж — слишком самостоятельное существо для меня. Мне нужна безличность — безденежная, обнищалая, голодная, но с громким именем — Рюрикович или Гедиминович. Я его обогрею, накормлю и напою, а он меня породнит с Рюриком и Гедимином и украсит мои родительские наследственные лапти своим гербом, — вот мы и будем квиты.

— Вы только Рюриков и Гедиминов признаете? А Гёте, Бетховены, Моцарты, Рафаэли — для вас не имена?

— Пожалуйста, не иронизируйте, мой милый! Не проймете!.. У меня на этот счет кожа толстая!.. Имена хорошие, да что мне в них прока? Я материалистка, мне полезное подавай, а эстетикой я только на досуге балуюсь. Гёте, Бетховен — все это вдохновение, звуки сладкие, молитва, а меня сам Штиглиц зовет Faust-Dirne...* Маленькая смесь немецкого с нижегородским, а ведь правда: я точно «кулак — девка»! Представьте-ка даму с фамилией Бетховен, Моцарт, Гуно или — уж так и быть, польщу вам! — Таддей, погруженною, покуда муж витает в мире звуковых фантазий, в расчеты хлопковые, нефтяные, солеваренные, рыбопромышленные? Ха-ха-ха! Что, небось, самому смешно?

— Ничуть не смешно. Нехорошая вы. Все у вас расчет и расчет.

— А по-вашему, как же жить прикажете? Сердцем, что ли, как другие бабенки? То-то вы их и водите всю жизнь на своей привязи, как дрессированных обезьян!

— Да любили же вы когда-нибудь?

— Никогда и никого. Бог миловал.

— Однако... — говорят, будто наоборот — очень часто и очень многих! — резко воскликнул Таддей.

— Мало ли что говорят! — невозмутимо ответила Анастасия Романовна. — Вон генеральша Фарсукова всем сообщает на ухо, que je suis une Méssaline**. Замечательно, что она произвела меня в это лестное звание аккуратно с тех пор, как заняла у меня три тысячи... Да если б, наконец, и так даже? Что же тут общего с любовью?

— Однако!.. — недоумело произнес артист, видимо пораженный откровенностью собеседницы.

---

* Фауст-девка (*нем.*).

** Что я Мессалина (*фр.*).

— Что «однако»?

— Да уж очень все у вас ясно и прямолинейно. Словно вы не человек, а машина какая-то. Ничего-то вы не боитесь, ничего-то не стыдитесь: все у вас — как заведенное... Помилуйте! Разве можно делать мужчине подобные признания?

— А вы, мой друг, сильно переменились ко мне после моих слов? — вкрадчиво спросила Хромова.

— Нет... я человек без предрассудков... но...

— А я вам на это вот что скажу, Ян: зачем вы со мной лукавите? И до признания, как и после него, вы все равно были твердо уверены, что я далеко не идеал нравственности, и все-таки сделали мне предложение. Это что значит?

— Я вас... люблю... — пробормотал сконфуженный Таддей.

— Да? чувствительно тронута!.. Ну-с, а кто два года тому назад был, по собственным своим словам, по уши влюблен в Нелли Эванс и сбежал от свадьбы потому лишь, что ему насплетничали, будто у бедной девочки был раньше какой-то роман? А? что скажете, Ян?.. Молчите? То-то вы, высоконравственный человек! Нелли, бесприданнице, простого слуха не простили, а миллионщице Насте Хромовой извиняете репутацию Мессалины! Ха-ха-ха! Постойте! Куда же вы?

— Прощайте, Анастасия Романовна! — взволнованно заговорил Таддей, — так нельзя! Всему есть свои границы: вы или решились вконец оскорбить меня, или сами не понимаете, что говорите!

— Ну уж этакой оказии, чтобы себя не понимать, со мной не бывало во всю мою жизнь... Что же касается до оскорбления, — так кто кого больше обидел? Не вы ли только что сами назвали меня развратною, а я всего лишь сказала вам...

— Вы меня считаете подлецом! — гневно прервал Таддей.

— Нет, — по-прежнему хладнокровно возразила Хромова, — не считаю. Вы — не подлец, а так... трутень, дармоед.

— Еще того лучше!

— Вы не горячитесь напрасно, Ян. Я не на одного вас только, а на всякого мужчину, кто сватается ко мне или вообще к богатой женщине, смотрю так. В этом отношении вы для меня ни лучше, ни хуже других. Но и из трутня надо извлекать пользу, а вы слишком неблагодарный для моих целей экземпляр: мне — повторяю вам — нужен муж шикарный, чтобы не стыдно было показать его где угодно. Так-то, милейший Ян!.. Согласны вы со мной? Ну говорите что-нибудь, а то ведь я вижу по вашему лицу, что вы приготовились сказать нечто ужасно ядовитое. Разрешаю и жду. Валяйте!

— Желаю вам счастья... До свидания, будущая княгиня! — почти крикнул артист.

—Только-то? Н-ну... что ж?! До свидания, вечный артист... без надежды на повышение!

* * *

Разговор стих. Князь открыл глаза, в комнате никого не было.

— Ну и баба! могу сказать! — воскликнул он, разводя руками. — Как она его отделала! И где только зародилось такое чудище?! Психопатка, что ли?

В этом недоумении застала князя вошедшая Чуйкина.

— Послушайте! обратился к ней Латвин, — я должен вам покаяться: сейчас я невольно подслушал чужой разговор и заинтересован им до последней возможности...

— Здесь были Таддей с Хромовой?

— Да. Он сделал ей предложение и получил отказ.

— Так я и знала.

— Но если бы вы слышали, как оригинально и... черт возьми! — дельно и умно!

— Хромова и не может поступить глупо. У нее каждое слово продумано, каждый шаг рассчитан.

— Да что ж это за феникс такой?

— Не феникс, а весьма милая и, как вы видели, довольно красивая особа, с шестью миллионами капитала...

— Шестью! — благоговейно воскликнул князь.

— Ни больше, ни меньше... Особа, наскучившая одиночеством и желающая выйти замуж. Скажу больше: она сегодня находится у меня в качестве невесты на смотринах.

— А жених?

— Жених — вы, князь.

— Что-о-о?

Латвин широко открыл глаза и посмотрел на Чуйкину как на безумную.

— Вы хотите меня на ней женить?!

— Очень хочу, князь, и советую вам не упускать случая. Вы видите, что барышня эта хоть куда — и умна, и воспитана, и образована, следовательно, фамилии вашей не сделает позора. Богата она, как Крез, и я знаю: будет богатеть с каждым годом все больше и больше, — ее сам Штиглиц считает чем-то вроде коммерческого гения, а он в этих делах знаток. Притом ей везет удивительное счастье: за какое предприятие ни возьмется, деньги так и плывут в руки. На что уж обманчивое дело — рулетка, а Хромова умудрилась и тут отличиться: два раза срывала банк в Монако. Она заплатит ваши долги, даст вам превосходное положение в обществе...

— Но позвольте, все это прекрасно, но что же из этого следует? Положим, я не прочь был бы жениться, да она-то пойдет ли за меня?

— Охотно. Вы ей понравились.

Князь в волнении прошелся взад и вперед по кабинету.

— Знаете ли, Чуйкина, — сказал он, остановившись пред своей собеседницей и глядя ей в глаза, — из разговора вашей Хромовой с Таддеем я вывел заключение, что ей нужен фиктивный брак... Прав ли я?

— Пожалуй. Так что же? Вам же лучше: получите за свое имя и деньги, и положение, и полную свободу... А сама Настя, насколько я могу судить, вам не особенно нравится.

— Не то что не нравится, а... я ее боюсь: она какая-то особенная, я таких чудных женщин не видал еще, — откровенно сознался Ипполит Яковлевич.

— Нет, не бойтесь. Настя незлая, и если вы будете вести себя в отношении ее хорошо, она никогда вас не обидит...

Несколько мгновений длилось молчание. Князь все ходил по кабинету.

— Так продаваться? — резко спросил он, наконец круто повернувшись к Чуйкиной.

Та пожала плечами.

— Зачем такие крупные слова? Вас никто не покупает. Вы понравились, — вам предлагают жениться: вот и все. Если не согласны, я так и передам Насте, а если согласны, говорите скорее, чтобы вам кто-нибудь из вашей же титулованной братии не перешел дорогу: если бы вы видели, какие тузы ухаживают за нею!

* * *

Месяц спустя после этого разговора князь Латвин уже стоял под венцом с Анастасией Романовной Хромовой. Молодые поселились в Петербурге. Кто знал Анастасию Романовну раньше, все утверждали, что жизнь ее нимало не изменилась в своем течении после брака. Она вставала в семь часов утра и прямо с постели бросалась в омут финансовых операций: счеты, кассовые книги, биржевые телеграммы были ее утренним чтением; конторщики, факторы, маклера, биржевые зайцы — ее утренним обществом. Обедала она поздно, по закрытии биржи. На ее семейных обедах никогда не появлялся ни один из членов коммерческого мира. Обед был ее отдыхом, и за столом говорить с Анастасией Романовной о чем-либо деловом значило потерять ее расположение.

По вечерам у Латвиных собиралось большое и весьма смешанное общество, вроде богемы Чуйкиной. Преобладали учащаяся молодежь и артисты. Анастасия Романовна любила слыть покровительницей наук и искусства и не щадила денег на пожертвования, пособия и стипендии в университетах, консерваториях и Академии художеств. Злые языки сплетничали, конечно, будто науки и искусства не причем в щедрости княгини, а гораздо более важную роль играют тут молодые студенты, скульпторы, музыканты и художники, составляющие ее постоянную свиту. Но если злые языки и были правы, то только отчасти: женщинам, посвящавшим себя искусству, Анастасия Романовна покровительствовала едва ли не больше, чем мужчинам.

Князь мало виделся со своей деловитой супругой. Анастасия Романовна достала ему почетную, безденежную, но дающую чины и ордена должность, назначила ему превосходное жалованье, не отказывалась платить его долги, когда он несколько выходил из рамок определенного бюджета. В первое время после свадьбы муж почти нравился Анастасии Романовне: так ловко вошел он в границы ее требований и, будучи фиктивным супругом, с замечательным уменьем сохранял, однако, свое достоинство и служил весьма красивой декорацией для дома. Ему было запрещено ревновать и интересоваться делами княгини — он смотрел сквозь пальцы на все ее увлечения и даже ни разу не заглянул в ее контору. В обществе он держал себя так тактично, что многие стали было сомневаться: уж точно ли правда, будто князь только Менелай, «муж своей жены»? не настоящий ли он ее глава и повелитель? Словом, князь сумел и жене угодить, и соблюсти свою амбицию. Но вдруг его, как говорится, прорвало.

К концу второго года брака у Анастасии Романовны родился сын. Незадолго перед тем князь имел крупный разговор с женой: он проиграл в клубе довольно солидный куш,

и Анастасия Романовна отказалась заплатить этот долг, предоставив Ипполиту Яковлевичу покрывать его из собственного кармана своим жалованьем. Князь страшно обиделся, и его неудовольствие совершенно неожиданно выразилось в форме крайне резкой и совсем уж неумной и непристойной. Кто-то в клубе поздравил его с рождением наследника.

— Благодарю вас, — ответил князь, — но, право, когда этого ребенка называют моей фамилией, мне всякий раз кажется, что вот-вот кто-нибудь обвинит меня в плагиате...

Сказал и спохватился, но поздно. Острота на другой же день дошла до княгини, а спустя неделю князь Ипполит Яковлевич уже сидел в вагоне варшавско-венской железной дороги, уволенный женою, — как он выражался, — «по третьему пункту», со строгим — под страхом лишения жалованья — наказом никогда не попадаться на глаза Анастасии Романовне.

III

...«О, повтори мне: тебя люблю!»...

Отчаянно выкрикнутая высокая нота тенора оторвала Латвину от разговора с Замойским. Княгиня взглянула на сцену, встретилась глазами с Раулем, усмехнулась и пожала плечами.

— Этот-то... все еще предполагается! — брезгливо сказала она.

Замойский тоже засмеялся.

— Что же вы хотите, княгиня? — возразил он, — этот Львов — «предмет» чуть ли не всех здешних дам и девиц. Одна психопатка даже отравилась из-за любви к нему...

— То-то он смотрит таким именинником! Любимчик, значит? Эка ломается... и рожа противная; с бонбоньерки сорвался.

Вы, Владислав Антонович, все-таки распорядитесь поднести ему что-нибудь завтра: пусть не думает, что даром кривлялся целый вечер и тратил свой огонь понапрасну...

— А вы даже и не слушали его! едва удостоили взглянуть на сцену! — продолжал смеяться Замойский.

— Не люблю я этих господ! — почти с досадой сказала Анастасия Романовна. — Сцена — гадкий мир! Все на ней показное, продажное — и мысли, и слова, и чувства, и поступки. И знаете ли? — как ни скверно думают у нас об актрисах, но между ними я еще встречала женщин с хорошей душой; актера не знаю ни одного!

— Ну это уж слишком...

— Право!.. Вы сами подумайте: может ли сохраниться в мужчине порядочность, раз он обрекает себя на вечный показ? Его лицо, фигура, голос, поза, каждый жест принадлежат публике. У него голова только над тем и работает, чтобы показаться зрительному залу мужчиной приятным во всех отношениях. Нам, женщинам, простительно интересничать: ты — с рождения показной товар! Многим ли нужно от нас что-либо, кроме красивого личика и глаз? Но мужчину постоянная публичная выставка опошляет до отвращения. Прежде я еще уважала более или менее кое-кого из актерской братии, но как-то раз зашла в Москве за оперные кулисы, и первой моей встречей был N., несомненно самый умный человек, какого мне приходилось видеть на сцене. И что же? Он — пожилой мужчина, почти старик, отец семейства — дрожал от бешенства и с пеною у рта кричал на портного за то, что бедняк мало вырезал ворот в костюме Дон Жуана: декольте ему, видите ли, полагается по штату... Это ли еще не верх пошлости?! С тех пор кончено, — не выношу! И чем знаменитее актер, тем он для меня хуже...

— А между тем вы, княгиня, почти всегда в их обществе...

— Искусство люблю. Да и нищих между ними немало: жаль!..

— Вы знаете... не так давно говорили даже...

Замойский запнулся. Анастасия Романовна внимательно посмотрела ему в лицо.

— Что ж вы остановились? Сплетню, что ли, какую-нибудь слышали? Говорите! я разрешаю!

— Прошел у нас такой слух, будто бы вы, Анастасия Романовна, разводитесь с князем и выходите замуж за какого-то не то актера, не то художника...

Княгиня побледнела. Лицо ее приняло тупое и злое выражение, между бровями легла складка, глаза засветились стальным отливом.

— А! так про это и здесь разговаривали! — медленно сказала она.

— Да. Вы извините меня, ваше сиятельство...

— Ничего... и с какой стати вы приплели это «сиятельство»? Терпеть не могу!.. Слух этот — ложь, Владислав Антонович, сплошная ложь, хотя... Да я вам ужо сама расскажу! Ну акт идет к концу, уедем отсюда!

И все с тем же злым лицом она порывисто поднялась с места.

Всю дорогу домой Анастасия Романовна молчала. Замойский не смел сам заговорить с ней. Дома они застали довольно многочисленное общество: многие знакомые из театра приехали ужинать к княгине, зная, что у нее стол всегда готов для званого и незваного. Но сегодня княгиня не была расположена сидеть с гостями; кто из них был умнее, тактичнее и больше знал хозяйку, догадались поскорее убраться. Ушел было и Замойский, но в передней его остановила камеристка княгини и передала ему приказание остаться...

Управляющему пришлось прождать полчаса, прежде чем княгиня потребовала его к себе в кабинет. Она уже успела переменить туалет, и Замойский нашел ее одетую в голубой пеньюар, задумчиво сидящею за маленьким, накрытым на

два прибора, столом. Перед нею стояли ваза с фруктами и небольшой графин с золотистым венгерским вином.

— Садитесь! — отрывисто приказала Анастасия Романовна. — Как видите, я верна своим привычкам: по-прежнему люблю поболтать после ужина с хорошим человеком... Налейте себе вина, возьмите вот эту гранату и говорите без утайки: вам известно имя того человека... которого... о котором вы намекнули мне в театре?

— Да... мне называли...

— Как? — резко спросила княгиня, не глядя на Замойского.

— Мориц Лега.

— Верно... И вам рассказывали, что он актер?

— Да. Актер или художник, не помню хорошо.

— Это неправда. Он — ни то, ни другое. Слушайте! Я разъясню вам эту историю, хоть и не следовало бы: я сильно скомпрометирована в ней и играла не слишком-то красивую роль... Вот в чем было дело.

* * *

Вы помните, что после краха знаменитого Бонту, когда разорились дотла тысячи семейств, а нажилась одна я, потому что, по какому-то тайному предчувствию, успела за несколько дней перед катастрофой, переместить свой капитал к Ротшильду, — я больше года прожила в Италии, преимущественно во Флоренции. Вы знаете, что я не жадная и не жалею тратить деньги, но крах Бонту меня перепугал; я не могла представить себе без содрогания, какой опасности подвергалась и счастливо избегла... Сами посудите: на что я годна без денег? с моим ли характером быть нищею?.. Когда я вспоминала, что снова богата, мной овладевало чувство безграничного счастья. Словно для того лишь, чтоб удостовериться в действительности этого богатства, я бросала деньги направо и налево как никогда, — в гордом сознании, что

их у меня неисчерпаемо много, что никакими подачками, никакими празднествами и вакханалиями не истощить мою кассу!.. Жизнь моя во Флоренции прошла, как безумный сон. Меня фетировали больше, чем когда-либо и где-либо. Я отвечала балами, поистине, царскими, особенно для голодных итальянцев... Разве они понимают, что такое настоящая роскошь! Однажды я послала приглашение некоему Люнди — молодому человеку почти без всяких средств, но — хоть этому и противоречат его дальнейшие поступки — неглупому, очень красивому и, как говорили, втайне в меня влюбленному. Люнди, получив приглашение, был на седьмом небе, но и немало смутился, как ему попасть на парадный вечер принчипессы Латвиной, когда у него, бедняги, фрака и в заводе не было, да и напрокат взять нельзя: в кармане всего две чинквелиры, а когда надо жить на них целую неделю, так до фраков ли тут? Пораздумав, мой Люнди отправляется к своему приятелю, врачу Рати, и просит фрака.

Рати отказал. Что делать бедному Люнди? Так хотелось ему на мой вечер, что он думал-думал, да ничего лучше и не выдумал, как украсть у Рати его фрак.

Хорошо. Идет мой франт по Via Calzaiuoli — самой модной флорентинской улице, — вдруг навстречу ему Рати и требует, чтоб он немедленно возвратил украденное платье, если не хочет познакомиться с полицией.

Слово за слово, — Люнди выхватил нож и зарезал Рати.

Люнди, конечно, схватили, посадили в тюрьму, — и не миновать бы ему пожизненного заключения, если бы в Италии не было продажно все от верха до низа: и суд, и совет... Мне стало жаль мальчишку: ведь вся эта штука разыгралась, собственно говоря, из-за меня. Во сколько стало мне освобождение Люнди уже не помню, но когда я приехала слушать дело, то уже прекрасно знала, что моего бедняка не осудят. Обвинитель громил, судьи священнодействовали,

а защитник произнес такую речь, что почтеннейший судейский конклав начал не без тревоги посматривать на меня, как бы я не обиделась — уж слишком много денег я передавала им, чтобы сверх того еще выслушивать подобные филиппики... Этот господин весьма мало говорил собственно о Люнди, но без конца распространялся о социальных язвах, о торжествующем капитализме, о растлении низших классов и интеллигентного пролетариата весьма понятной завистью к кучке богачей, эгоистически пользующихся всеми житейскими благами, о развращающем влиянии богатых самодуров-иностранцев на страну и так далее. Словом, — обвиняемою вместо Люнди оказалась ваша покорнейшая слуга. Я, конечно, сидела и слушала невозмутимо, как статуя. Оратор бросал на меня негодующие взоры, видимо, бесился на мое хладнокровие, выходил из себя, что никак не может пробрать меня, — это ужасно меня смешило, и я нарочно напустила на себя самый скучный вид; помнится, даже зевнула раза два. Я думала, что свирепый адвокат — так, из обыкновенных итальянских говорунишек, и надрывается для того лишь, чтобы произнести сенсационную речь, дать вечерним газетам материал для фельетона, а себе сделать репутацию либерала, очень выгодную при выборах. Поэтому мне и было все равно, что бы он ни говорил — пусть бы бедняк старался! Ему пить-есть хочется, а меня от болтовни не убудет. Это только в романе у Доде (кстати: вы любите эту кисло-сладкую размазню? я терпеть не могу?!) какой-то набоб умер, сделавшись жертвой общественного презрения, — а я в такие пустяки не верю. Какой бы шальной фортель я ни выкинула, я знаю, что общество не посмеет меня презирать и так же усердно будет ходить ко мне на поклон, как и теперь. Разве что мне придет шальная фантазия замешаться в какую-нибудь откровенную уголовщину! Ну да это в сторону! Дальше!.. Оказалось, однако, что адвокат-то не из каких-нибудь пустяковых, а — знаменитость, и, сверх того, замечательно бескорыстный, честный

и убежденный человек, демократ до мозга костей, кровный враг капитала и буржуазии, рьяный националист, председатель какого-то клуба с самой что ни есть красной окраской, — короче, никто другой, как названный вами Мориц Лега...

«А! — думаю, — если ты такой крупный гусь, то не грех несколько посбить с тебя спеси и проучить тебя за дерзость...»

Вскоре после отправления Люнди я собственноручной запиской пригласила Лега к себе. Явился, видимо смущенный и удивленный.

— Так и так, — говорю, — синьор! Мне очень понравилась ваша речь на суде в защиту этого несчастного Люнди. У вас хорошие, честные убеждения. Мне совестно благодарить вас за доставленное удовольствие личным подарком, да человек ваших правил и не может принять подарка от такой женщины, как я. Но, я думаю, вы не откажетесь передать маленькую сумму в школьный совет, — вы, кажется, там членом?

Подаю ему чек. Совсем сконфузился малый.

— Синьора... такая щедрость...

— Без всяких «но», пожалуйста! Вы были совершенно правы, говоря, что мы, иностранцы, тратим слишком много денег на удовольствия и портим нравственность населения... Я хочу быть исключением и бросить несколько тысяч франков на порядочное дело... Это будет второе за мое пребывание во Флоренции!

— А первое — не секрет, ваше сиятельство? — уже весьма почтительно спросил Лега, даже переменив «синьору» на «ваше сиятельство», — каково это для демократа!

— Нет, для вас не секрет, потому что вы ему содействовали: мало надеясь на справедливость флорентийского суда и его способность оценить ваше красноречие, я на всякий случай раздала несколько тысяч франков вашему ареопагу за освобождение Люнди...

— Так что, когда я говорил...

— Дело было уже решено заранее.

— И, следовательно, моя речь...

— О! она была превосходна!

— Но ее уже незачем было говорить!.. Боже мой! бедная, бедная моя родина! Как низко она пала!

Признаюсь, я испугалась. Никогда в жизни я не видала такого отчаяния у мужчины: Лега почти упал в кресло, уронил голову на стол и плакал, как женщина... Насилу я отпоила его водой.

— Послушайте, княгиня, — сказал он между извинений, — я должен быть с вами откровенным. Сейчас вы были так любезны и великодушны со мною, что я ничего не могу сказать против вас... я вас уважаю. Но, — признайтесь по совести, — разве я не прав? Я был опрометчиво невежлив к вам в своей речи, — но, согласитесь, тяжело гражданину видеть, как богатая иностранка держит у своих ног весь свет, всю силу и славу его отечества. Я имел честь быть приглашенным на один из ваших балов, — этого вы, конечно, не помните, — и видел в вашей свите лучших наших поэтов, ученых, певцов, художников... Все это преклонялось пред вами, ползало, льстило, а вы обращались с ними, как царица со своими рабами... нет, хуже, чем с рабами — как с лакеями! И вот теперь, вдобавок ко всем оскорблениям, оказывается, что ваши деньги выше даже нашего правосудия... У нас нет суда для вас! Бедная Италия!

Я отвечала, что, конечно, это весьма прискорбно, но я лично тут решительно не причем, и вольно же итальянцам до того распустить себя, что за чинквелиру они готовы зарезать родного отца!..

Весьма скоро мы стали с Лега большими друзьями, и мало-помалу он в меня влюбился. Сперва он, беседуя со мною, все как — говорят наши русские барышни — толковал об «умном»: о своей Италии, о будущей демократии, о социальной реформе, — словом, развивал меня и посвящал в свою веру. Мне все эти предметы были, конечно, малоинтересны, но под-

держивать разговор я могу, о чем угодно, а Лега, когда настраивался на патриотический лад, был очень красив: лицо побледнеет, глаза засверкают... картина, да и только! Потом он стал знакомить меня с итальянской литературой — начал с сатир Джусти, а кончил... сентиментальщиной Стеккетти!.. Отсюда уже не долго было до объяснения в любви. Мы сошлись. Я, как всегда во всех своих делах, мало скрывалась; стали сплетничать о разводе с князем, о браке с Лега. Он, чудак, кажется, и сам верил, что мы уже не расстанемся.

Он взял на себя заведовать моими делами, распоряжался деньгами, ни в чем не стеснял себя. Все мое — было его. Сперва Лега мне нравился, но потом, в один прекрасный день, вся эта любовная история мне надоела, и я объявила Морицу:

— До свидания, мой дорогой! Завтра я еду в Париж...

— Как в Париж?

— Так в Париж. Что делать? — дела, заботы...

— А я?!

— А ты останешься во Флоренции.

— Когда же ты вернешься?

— Никогда.

— Это что за шутка?

— Без всяких шуток — мы расстаемся навсегда.

— Ты изменяешь мне? разлюбила?

— Если хочешь, да... А впрочем, я никогда и не любила тебя...

— Что такое ?!

Стоит он, бедный, — потерянный, бледный, жалкий, — ничего не понимает... шепчет:

— Позволь, — а наши отношения, наша связь... что же они значили?

— А значили они, любезнейший мой, то, что вы уж чересчур много говорили в вашей речи за Люнди о бескорыстии, неподкупности, социальной честности. Вот мне и захотелось

испытать вас: каковы-то вы сами не на словах, а на деле? — и оказались вы тоже субъектом весьма удобопокупаемым и небрезгливым. По крайней мере, «черпать из грязного источника» — видите, как я помню вашу речь! — и деньги, и ласки вы нимало не стеснялись, не уступая в этом отношении никому из ваших соотечественников...

Я думала, что Лега убьет меня: таким зверем он кинулся ко мне, — но у меня был револьвер наготове. Слава Богу, не пришлось пускать его в ход... Лега опамятовался, схватился за голову и выбежал из комнаты... Больше я не видала его. Тем эта скверная история и кончилась. Что я отвратительно вела себя в ней, можете не говорить: знаю сама. У меня лично осталось от нее самое неприятное воспоминание, что-то вроде великопостной отрыжки в душе... Теперь, Владислав Антонович, идите спать; я вас не задерживаю.

— Одно слово, Анастасия Романовна: любили вы, хотя немного, этого Лега?

— Нет, если бы любила, вряд ли бы сумела так жестоко порвать с ним. Нет: где уж мне любить! Место любви — в сердцах мягких и — чтобы вы там ни говорили! — немножко глупых, а меня даже мой сиятельный супруг, хотя и терпеть не может, а все-таки зовет кремнием и умницей!..

«АЛЬФОНС»

I

Пишу эти строки под арестом, отчасти затем, чтоб убить казематную скуку, отчасти потому, что меня невыносимо тяготят воспоминания истекшего дня и есть потребность высказаться хоть самому себе, на бумаге...

Сегодня утром приятель мой Иван Юрьевич Волынский стрелялся с другим моим приятелем, поручиком Раскатовым;

я и барон Бруннов, юнец из золотой молодежи, были секундантами. Доктора не было. История разыгралась скверно: Раскатов уложил Волынского на месте.

Когда Волынский третьего дня спросил меня:«Владимир Павлович, не согласишься ли ты передать мой вызов Раскатову?» — я, не колеблясь, сказал «да». Я знал, что Волынский дерется за женщину, свою любовницу, что он оскорблен и прав, а Раскатов виноват: чего же еще? Да, наконец, мог ли я предположить, что дело дойдет до серьезного поединка? Столкновение между Волынским и Раскатовым было грубо и требовало пороха, но приключилось совершенно случайно, — мне казалось, что им не за что ненавидеть друг друга и, в самом деле, жаждать кровомщения. До ссоры Волынский и Раскатов были в очень хороших товарищеских отношениях: если не друзья, то во всяком случае приятели. Я ждал обычной водевильной дуэльки, с выстрелами на воздух, с шампанским по примирении, с брудершафтами и пр., и пр.

Участвуя в водевиле, я и вел себя по-водевильному. Доктор, тоже наш общий приятель, до того был уверен в примирении, что даже опоздал к дуэли: не стоит, мол, спешить, столкуются.

— Для чего нам доктор? — сухо возразил Волынский, когда я указал ему, что — по правилам — дуэль не может состояться. — Мы будем драться насмерть.

Я принял это как громкую фразу. Когда дуэлянты сошлись на барьере, я, с улыбкой, предложил им протянуть друг другу руки: дескать, подурачились, — и будет!

Раскатов был не прочь «выразить сожаление». Но Волынский оборвал меня на первом слове.

— Я не желаю никаких объяснений! никаких сожалений... даже извинений! — крикнул он, — оставь меня! Поди, скажи Раскатову, что я буду стрелять в него, как в мишень.

Я никогда не слыхал более страшного голоса, никогда не видал более бледного, исковерканного гневом лица, никогда не смотрел в такие сверкающие глаза.

Я извинил бы Раскатову смерть Волынского, — не мог же он, в самом деле, позволить убить себя! — если бы не видал, с каким ужасным — скажу — животным хладнокровием наводил он на противника дуло пистолета: «Для меня, мол, безразлично: убить тебя или оставить в живых, но так как ты сам на это напрашиваешься, — я тебя убью».

Раскатов выстрелил. Волынский упал навзничь и судорожно повел всем телом. Мы с Брунновым бросились к нему — он был мертв: пуля пробила ему сердце.

Раскатов приблизился к мертвецу, взглянул ему в лицо, поморщился, отвернулся и быстро зашагал за кусты, к своей коляске. Дорогою он вспомнил о пистолете, оставшемся у него в руках, и возвратился к нам; отдал оружие Бруннову, еще раз покосился на Волынского, дружески кивнул мне и затем удалился. Я посмотрел вслед Раскатову: он шел твердой поступью, с обычной молодцеватой выправкой, настоящим гвардейским львом.

Мы подняли труп. Лужа крови пятном чернела на желтой осенней траве. Тело Волынского тяжело повисло на моих руках окровавленными плечами; оно быстро холодело, и мне трудно было бороться с отвращением к этому остыванию. С помощью Бруннова я всунул кое-как труп в карету и сам сел с ним. Бруннов сробел и под предлогом, будто ему дурно, взобрался на козлы. Лошади, почуяв кровь, храпели, косили глазами, были готовы понести. Кучер Вавила машинально удержал их, но совсем потерялся и все твердил:

— Господи помилуй! Этакий хороший барин, и вдруг столь скоропостижно скончались!

Я спустил оконные шторы и остался в синем полумраке наедине с убитым. Дорога была тряская; тело, качаясь, подпрыгивало на подушках сиденья. У меня было скверно на

душе: дуэль действительно свершилась так «скоропостижно», что я не мог сообразить, за какую нить ухватиться мыслью, чтобы проследить ход событий... Мне было очень жаль Волынского, жалостливые мысли не слагались в уме: в голове с нахальным упорством вертелся опереточный мотив, с утра заброшенный в мои уши прохожим шарманщиком.

Мы привезли тело на квартиру покойного. Антонина Павловна Ридель, женщина, за которую стрелялся Волынский, не допустила меня приготовить ее к печальному известию: глаза мои выдали ей истину. Бруннов и Вавила внесли Волынского. Антонина Павловна подошла к трупу, опустилась на колени и смотрела в мертвое лицо молча, без слез, словно недоумение: как же могла совершиться такая напрасная смерть? — задавило в ней печаль. Мы тоже не смели говорить, да и что можно было сказать? Общее молчание тяжелым камнем легло на каждого из нас, и я почти обрадовался приходу полиции. Пока составляли акт, Антонина Павловна удалилась к окну и устремила пристальный взор на улицу; плечи ее вздрагивали; наконец она заплакала... Приехал плац-адъютант, объявил нам с Брунновым арест и увез к коменданту. Не знаю, что было — там, на квартире — дальше.

Интересно мне, как чувствует себя теперь Раскатов? О чем-то думает он, скучая на гауптвахте? Раскаяние ли его мучит? Жаль ли ему погибшей жертвы? Я думаю, — ни то ни другое, и живо представляю себе, как он сидит на жестком арестантском табурете в той самой непринужденной и бравой своей позе, что доставила ему в салонах прозвище «le beau» *, крутит усы и размышляет:

— Ah, bête qu'était ce miserable Wolynsky! ** — пропал теперь мой билет на бенефис Зембрих!

---

* «Красавец» (*фр.*).

** Ну и дурак этот жалкий Волынский! (*фр.*)

II

Волынский должен был драться, иначе выйти из положения было нельзя. По крайней мере, по понятиям нашего круга. Но — как подумаешь, что сыр бор загорелся из-за... испанского короля! Волынский говорил, что он — Альфонс XIII, а Раскатов — что Альфонс XII. Принесли календарь: Волынский оказался прав. Раскатов надулся. В чем-то опять он ошибся и запутался. Волынского черт дернул посмеяться:

— Ну это тоже из истории Альфонсов!

Раскатов посмотрел на него зверем и говорит, — чеканит каждый слог:

— Не всем же быть таким знатокам в альфонсах, как ты.

Волынский изменился в лице.

— Что ты хочешь сказать?

— То, что ты — когда и в зеркало-то смотришься — альфонса пред собой видишь...

Волынский на него бросился. Раскатов схватился за шашку. Но присутствующие успели стать между ними и не допустили скандала.

«Альфонс» — скверная кличка, и надо быть или образцом христианского незлобия, или медным, нет, — мало: никелированным лбом, чтобы равнодушно расписаться в ее получении. Да еще и кличка-то была не по шерсти, и получение не по адресу. Волынский был... чем хотите, только не альфонсом. Свет знал наружность дела: Волынский, полуразоренный вивер, вступил в открытую связь с Антониной Павловной Ридель, женщиной очень богатой, на пятнадцать лет его старше, — и устами Раскатова бросил позорное обвинение. Подкладку дела свет не знал, да, впрочем, как это всегда бывает, и не хотел знать.

Я был с Волынским в большой и хорошей дружбе. Это был человек с золотым сердцем, не сумевшим отупеть и зарасти мохом даже среди той воистину безобразной жизни,

в какую с самых ранних лет толкнули его дрянное воспитание, наше милое товарищество и независимое состояние. Характер у Волынского был восковой. Он годился решительно на все, дурное и хорошее. Попади он с самого начала в хорошие руки, развился бы дельным и полезным малым. Но его чуть не с пятнадцати лет окружил и засосал в свою тину омут богатой петербургской молодежи, сытой и бездельной... В этой растленной среде что могло из него выйти, кроме эгоиста-вивера, прожигателя жизни с двух концов? Как большинству молодых людей, рано начавших жить, Волынскому льстил его преждевременный успех в качестве Дон Жуана и mauvais sujet'a *. И вот он играл, не умея играть, — пил, хмелея с первой рюмки, — ухаживал за женщинами, которые ему не нравились, — выкидывал всяческие глупости, самому потом противные.

Но тому, у кого есть хоть какой-нибудь намек на внутреннее содержание, мудрено истратить без оглядки всю свою молодость на карикатуры Сарданапалова пира, отдаться в безвозвратное рабство еде, пьянству, продажным юбкам. Я помню время, когда Волынский, заскучав чуть не до душевной болезни, стремился обновить свою жизнь хоть каким-нибудь серьезным началом, и с лихорадочным интересом хватался то за одно новое дело, то за другое.

Но, к сожалению, он не имел ни подготовки, ни привычки к труду. Притом как очень состоятельный человек не мог искать в работе иной цели, кроме одной: убить докучное время. Он должен был сознаться, что не чувствует интереса к труду ради самого труда, что всякое серьезное занятие будет обращаться для него в игрушку от нечего делать, что, следовательно, он и впредь осужден на ту же хмельную до пресыщения бездеятельность.

---

* Шалопая, бездельника (*фр.*).

Кому легко сделать о себе такое открытие — и утвердиться в нем? Словно сам себе подписываешь приговор полной своей ненужности на земле. А что не нужно, зачем тому и быть? Не нужен, — и конец: убирайся прочь из жизни, очисти дорогу очередному из грядущего поколения... Много нас, богатеньких Гамлетиков, заключило развитие этого силлогизма револьверной пулей себе в лоб, а еще больше спилось с круга и совсем утонуло в грязи.

Волынский был из самых хрупких Гамлетиков и, наверное, уже давно кончил бы очень скверно, не подвернись ему как раз кстати, в самое благое время, спасительница-любовь.

Когда Волынский сошелся с Антониной Павловной, ему минуло двадцать четыре года, а ей — уже тридцать девять лет. Разница огромная. Но, познакомившись с Ридель, я нимало не удивился увлечению моего друга.

Антонина Павловна — женщина классической красоты, настоящая Юнона: высокая, довольно полная, однако не утратившая ни стройности талии, ни изящных очертаний бюста. У нее кроткие влажные глаза волоокой Геры и самые нежные и ласковые уста во всем Петербурге.

Она превосходно одевается. Я не знаю женщины с более изящными манерами.

История любви Волынского рассказана мне им самим. Я напишу ее, как помню, его собственными словами.

Если выйдет аффектированно, не в меру патетично, — не моя вина: он ведь и на самом деле был аффектированный и лихорадочно-патетический человек; простота и хладнокровие были ему незнакомы.

* * *

«...Я познакомился с Антониной у своей тетки Заневской. Случалось мне встречаться с нею и в других домах. Я художнически преклонялся пред красотой Антонины, чувствовал в ней умное и доброе существо, и меня тянуло видеть ее.

Ни в чьем ином обществе не дышалось мне так легко, ни с кем другим не бывал я более откровенным. Мы все, молодежь, не прочь порисоваться и подчас навязать себе, шику ради, черт знает какой характер. Но, когда Антонина говорила со мной, я, право, кажется, скорее вырвал бы свой язык, чем позволил бы себе сказать ей неправду. Было такое время, что я сам не подозревал своей любви к Антонине. Для влюбленных мы стояли в слишком различных условиях жизни. Я — беспутный мальчишка, ничего не имеющий за собою, кроме состояния и родового имени. Она — всем известная и всеми уважаемая femme d'esprit *, дама-патронесса, почти уже зачислившая себя в разряд старух. В Петербурге весьма скоро заговорили, будто я живу с Ридель. Сперва я смеялся, потом задумался: каковы, в самом деле, наши отношения? По годам Ридель почти могла быть мне матерью, но я не чувствовал в ней даже старшей сестры... Быть может, дружба? Но разве есть дружба вообще, а между мужчиной и женщиной в особенности? Притом, когда же и какие друзья занимали мое воображение так упорно, чтобы грезиться мне по ночам, чтоб их имена были моей первой мыслью поутру и последней на сон грядущий? Ни для кого на свете я ни на йоту не изменил бы своего образа жизни, а после знакомства с Антониной я почти отстал от кутежей и разошелся с Zizi, между тем как всего неделю назад едва не поссорился из-за нее с теткой Заневской. Это превращение сделалось както само собою, неприметно. Все качества, казавшиеся мне в женщине идеальными, я поочередно видел в своем воображении, представляя себе Антонину, и... Словом, пришлось-таки признать себя влюбленным.

В одно из наших свиданий Антонина приняла меня крайне сухо. Сплетни дошли до нее. Она высказала мне, что прожив на свете сорок лет с безупречной репутацией, ей поздно

* Дама-умница, интеллектуалка (*фр.*).

делаться игрушкой злословия: я, как это ей ни грустно, должен прекратить свои посещения.

Я стал защищаться и совсем неожиданно объяснился в любви. Говорю «неожиданно» потому, что за пять минут перед тем я не решался и подумать о таком смелом шаге... Я говорил долго, сильно, страстно, и, когда кончил, Антонина сидела бледная, дрожащая, а в глазах ее я прочитал, как сильно она меня любит и как боится любить.

— Вы также любите меня! Скажите мне: да! — резко сказал я.

— Это безумие! — прошептала Антонина, — вы сами не знаете, что говорите.

— Я знаю, что люблю вас!

— Вспомните, Иван Юрьевич, свои годы и мои!..

— Ваши годы!.. Вы моложе меня: вы чисты духом, вы мыслите, чувствуете, у вас есть любимые идеи, умные занятия, полезные цели, — жизнь ваша полна. Я пришел к вам — с испорченным холодным сердцем, с пустою душой, пресыщенной и отравленной удовольствиями... Что же делать, если жизнь одарила меня ими прежде, чем научила, как их принимать! Удовольствие с детства было моим миром. То был ничтожный мир, не стоило в нем существовать, и я проклинаю его ничтожество! Я искал ему замены, в разные окна глядел на свет, но отовсюду видел его чуждым себе и понял, что не мир ничтожен, а жалок и не нужен я, не умеющий приспособиться к нему и найти в нем свое место. И, значит, осталось мне одно: махнуть на себя рукой, превратиться в живого покойника, в буйное и беспутное, но мертвое привидение — вроде тех, как показывают в «Роберте». Явились вы, — и точно свет внесли в мою тьму! Ожил я с вами. Перестал чувствовать себя напрасным и глупым. Прикажите мне взяться за любое дело, — к стыду моему, какое бы вы не назвали, мне, лентяю и неучу, придется приниматься за него с азбуки, и все-таки верьте, оно будет по плечу мне, если я стану работать по вашему желанию, с вами, для вас. Не отталкивайте меня!

И я приблизился к Антонине. Она, со страхом, отступила.

— Не подходите! — услыхал я ее шепот.

— Антонина Павловна!

— Я не смею ничего сказать вам... я не в силах... Дайте мне собраться с мыслями! уйдите!

— Одно слово!..

— Я отвечу вам... но теперь, умоляю вас, идите!.. После, после...

Я поклонился и вышел.

Вечером я получил от Антонины письмо:

Долг запрещает мне писать вам, но я обещала ответить, и пишу. Извините, если выйдет несвязно Мысли мои разбрелись Я думала о вас Вы правы: я люблю вас, я еще настолько женщина, чтобы любить. Только доверяя вашей чести, решаюсь я на эти безумные строки. Я всегда презирала пожилых женщин, увлекающихся соблазнами поздней любви. Теперь я презираю себя. Я никогда не буду принадлежать вам: это позор Не подозревайте меня, будто я боюсь света, — о нет! за счастье быть вашей я перенесла бы его суд! Но я не в состоянии отдаться человеку, не веря в его любовь, а в вашу верить не могу вы чересчур молоды для меня. Оставьте меня, забудьте Ваше заблуждение скоро пройдет, и, даст Бог, вы найдете себе подругу по сердцу, достойную вас, молодую. Не будем больше видеться. Не пишите мне, — я не хочу. Я люблю вас и, повторяю, еще слишком женщина. Ваше присутствие, ваши слова, растерзают мне сердце, потому что я хотела бы верить вам, а верить нельзя. В мои годы, к несчастью, могут еще любить, но уже не быть любимыми.

Ваша А.Р.

Я немедленно набросал ответ и послал Антонине Павловне. С час не возвращался мой человек. Наконец мне подали конверт, надписанный знакомым женским почерком. Внутри оказалось мое нераспечатанное письмо... На другой день я встретил Антонину на Морской. Я собрал весь остаток воли, чтобы говорить, по возможности, спокойно, и подошел к Антонине:

— Ваше письмо — бред! — сказал я, — я хочу быть счастливым... я добьюсь!

Она ответила мне умоляющим взглядом и — ни слова. Я продолжал:

— Счастье в наших руках, зачем уступать его?

— Мы будем неправы...

— Перед кем?

— Я — перед вами, вы — предо мною, оба мы — перед самими собой.

— Вы пишете, что не боитесь света; не стыдитесь же нашей любви!

— Я гордилась бы ею, если бы могла верить.

— Узаконим ее и оправдаем себя перед обществом: будьте моею женою.

— Никогда! С моей стороны было бы нечестно налагать цепи на вашу молодость... Мне сорок лет, а у вас вся жизнь еще впереди.

— Антонина Павловна, вы губите меня!

— Я вас спасаю!

Она отвернулась от меня и знаком подозвала свой экипаж.

Целую неделю затем я беспутничал, как никогда. Пьяный, я плакал.

— Что за дурь нашла на тебя? — спрашивали меня приятели, напиваясь на мой счет.

Я ругался, но не проговаривался. Кутил же я затем, что, трезвого, меня невыносимо тянуло к Антонине, а, хмелея, я был уверен, что не пойду к ней: никакие силы не заставили бы меня показаться ей пьяным...

Однажды я, еще трезвый, бесцельно, с похмелья, бродил по Петербургу. На Николаевском мосту меня окликнул Раскатов.

— Ты слышал? — сообщил он, — из Москвы телеграфировали: Алеша Алябьев застрелился.

Алябьев! мой ближайший друг, один из учителей моей сожженной молодости!

Мне стало жутко... В своем тяжелом настроении я принял это самоубийство за указание самому себе и, расстав-

шись с Раскатовым, в раздумье оперся на перила... Нева плавно выкатывалась из-под моста массивной серой полосой. Уже темнело; накрапывал дождь; во мгле осенних сумерек легко было соскользнуть в реку... Я медлил, — и вдруг мне припомнился рассказ, будто однажды, по случаю большого празднества, на этом самом мосту была такая давка, что чугунная решетка не выдержала и рухнула в воду, увлекая за собой много народа. Я живо представил себе страшную сцену, — слишком живо: резкий крик погибавших так и зазвенел в моих ушах... Я испугался и ушел от Невы. Призрак смерти показался мне чересчур чудовищным... Я должен был спасаться от него, — и пошел искать спасения у Антонины.

Мне отказали, но горничная не устояла против взятки и за десять рублей согласилась доложить. Не обо мне, потому что принимать меня было ей строго запрещено, а о князе Батыеве, дальнем родственнике Антонины Павловны, который слегка похож на меня лицом, фигурою же, настолько, что издали и в сумерках нас трудно распознать. Говорят, будто он — сын старого князя Батыева только по паспорту, а действительный виновник дней его — мой покойный и не весьма почтенный родитель. Я не дал Антонине времени открыть обман и вошел в гостиную по пятам горничной, едва она начала докладывать. Антонина, одетая, как голубым облаком, в мягко-складчатый пеплум стояла среди комнаты, со свечой в руке; она хотела скрыться от меня, не успела и теперь не знала как быть. Ни я, ни она не приветствовали друг друга, словно мы не расставались с последней встречи. Антонина была сильно взволнована: щеки ее горели ярким румянцем...

Мы долго молчали.

— Вы опять пришли! — тихо сказала Антонина.

Я молчал. Она поставила свечу на камин и протянула ко мне руки:

— Зачем?!.

— Слушайте! — заговорил я и сам не узнал своего голоса: он звучал низко, хрипел и обрывался, — слушайте! я знаю... я поступил нехорошо, придя к вам. Но я пришел и приду опять, буду приходить к вам, пока есть во мне воля жить. Гоните меня, — я стану сторожить вас на улице. Перестанем говорить о любви, не будем вовсе говорить о любви, не будем вовсе говорить, если вы не хотите, но позвольте мне видеть вас: без вас мне смерть.

— А разве мне легче?!.

— Вам!.. Вы не любите!

— Нет, люблю, к несчастью! Стыжусь, а люблю! Видит Бог, три раза я была готова написать вам: «Придите. Я ваша!» Я плакала, разрывая начатые письма. Теперь я почти совладала с собой... Я!.. Говорят, последняя любовь опаснее первой. А моя любовь к вам и первая, и последняя любовь! Довольно же нам волновать друг друга... Овладейте собою и не смущайте меня!

— Антонина Павловна! я говорил вам, как много может дать мне наша любовь. Теперь я не стану повторять вам ни своих планов, ни своих надежд, ни своих идеалов. Да у меня и нет никаких своих идеалов, — первый явился мне вместе с вами. Что мое будущее?! Оставим его. Сжальтесь надо мною во имя настоящего — ради нас самих! За что мы, два независимых существа, как будто боимся кого-то и бесцельно вносим в свою жизнь горечь ненужной разлуки?

— О Боже мой!

— Антонина Павловна! не скрою от вас: я не доброй волей пришел к вам сегодня... Страх, да, страх выгнал меня из дома. Смерть стоит за вашими дверями и ждет меня. Глупая, ненужная, беспощадная. Не думайте, чтобы я унизился до пошлости пугать вас самоубийством. О нет! Я не пугаю, — я сам боюсь его, призрака смерти! Кровь леденеет в моих жилах, когда я думаю о конце... Во мне нет силы жить, — и хочется жить! нет воли умирать — и надо умирать!.. Пощади же меня! Ты

сильна, деятельна, полна жизни; я слаб, жалок, я сам себя стыжусь. Единственная моя сила в тебе, чистая! прекрасная! любимая!

Антонина, сложа руки на груди, быстро ходила взад и вперед по комнате, вздрагивая при каждом моем «ты». Как дивно хороша была она! Ни разу чувственное желание не рождалось во мне в ее присутствии. Не оттого ли я и полюбил ее так крепко? Но теперь кровь бросилась мне в голову. Не помню, что еще говорил я. Антонина прервала меня движением руки... Помню лицо ее с полузакрытыми глазами, с прикушенной нижней губой, между тем как верхняя вздрагивала, вздрагивала...

— Поклянись, что ты любишь меня! — с усилием выговорила она.

— Чем же клясться. Тобой?! Я ни во что не верю, кроме тебя!

Но Антонина уже не слушала меня и, заломив руки, восклицала:

— Господи! сделай, чтоб он говорил правду! сделай!.. И, если он лжет, покарай не его, но меня за то, что я ему верю!»

IV

Так страстно начала свою любовь странная чета...

Чуть не целую зиму толковали о ней в столичных кружках, — и, конечно, толковали скверно. Ни красота, ни личное обаяние Антонины Павловны никем не принимались в соображение, словно их и не было. Все считали только годы, вычитали 24 из 40 и издевались над остатком 16. В любовь Волынского никто не верил, — все искали какой-нибудь задней гнусной цели, не находили, потому что Волынский был очень богат, и сердились, что не находили. Наконец надоело, — притихли. Волынский и Ридель жили тем временем то в деревне, то за границей. Возвращение Волынского в Петербург и значитель-

ные потери, понесенные им в одном каменноугольном предприятии, подали повод к взрыву новых пикантных вариаций на игривую тему его связи с богатой пожилой вдовой.

— Нечего сказать, красивая история! хорош Волынский! — слышались голоса. — Так вот подкладка нашего романа: мы бросаемся в рискованные аферы и, на случай несостоятельности, подготовляем себе резерв, в виде капиталов старой развратницы. Недурно рассчитано!

Могуча в людях потребность «чужого скандала» и скорее Волга потечет от устья к истоку, нежели свет откажет себе в удовольствии затоптать в грязь любого из членов своего круга при первом же удобном предлоге и случае.

Волынский почти не бывал в обществе. Он мало беспокоился сплетнями. Он говорил:

— Когда-то свет восхищался разными моими амурными гадостями; пусть, для контраста, побранит теперь за первую честную любовь.

Но как-то раз, смеясь над одной из глупейших выдумок своих недоброжелателей, он заметил слезы в глазах Антонины Павловны. Беззаботность Волынского исчезла навсегда. Броня, не поддавшаяся ядовитым стрелам злословия, потеряла свою крепость пред скорбным взором любимой женщины, и стрелы начали достигать цели.

«Моя любовь причинила тебе позор!» — думали любовники, глядя друг на друга. Если Волынский был грустен, Антонина Павловна волновалась: «Какую новую подлость потерпел он за меня?» — и погружалась в глубокое уныние. Волынский видел ее печаль; видел — открытую, прозревал ее любящим взором под маской напускного спокойствия, и незачем было ему спрашивать о причинах печали, и ничего он не мог придумать, чтобы обессилить и обезвредить их. Против любовников была даже не видимость, потому что Антонина Павловна — прекрасна, против них восставало время, обиженное за законы, которыми оно ограничило влечение пола

к полу и торжество женской красоты. Не могли же Волынский и Антонина Павловна поменяться своими годами! Итак, Волынскому оставалось только сознавать тяжесть клеветы и свое совершенное бессилие придать делу другую окраску в глазах подлых и злобных людишек, упражнявших на нем свою мещанскую добродетель, да — приходить в ужас и бешенство от этих горьких итогов. Со дня на день он сильнее и сильнее тосковал и озлоблялся. Он не думал еще о мести, но уже чувствовал, что негодование, медленно накипая в душе, ревет и заглушает голос благоразумия, что гнев просится наружу...

Это было началом конца...

Зачем днем раньше я не дал себе труда вглядеться в дела Волынского, как вгляделся теперь! Никогда бы не допустил я его до дуэли с Раскатовым!

Но он после вызова был так спокоен, так весел! Он обманул и меня, и Антонину Павловну. Она совсем ничего не подозревала. Я думал: «А, право, для Волынского это будет недурным ресурсом — пугнуть в лице Раскатова наш поганый beau monde. Серьезных последствий дуэль, конечно, иметь не будет, а все-таки с человеком, который так просто способен потянуть ближнего своего к барьеру, шутки плохи. Подставлять свой лоб под пулю — охотников немного, и после дуэли любезнейшие наши сплетники поприкусят язычки!»

И вот — он... бедный! бедный!..

V

Что-то станется теперь с Антониной Павловной?..

Семнадцатилетнею девочкой выдали ее замуж за генерала Ридель, во время оно военную знаменитость, победителя врагов отечества и дамских сердец, а в эпоху женитьбы, дряхлого, грязного старикашку, оскверненного всеми пороками современного разврата. Девушка не понимала, кому ее отдают,

ужаснулась, когда поняла, но — раз отданная — безропотно понесла крест, посланный судьбой. Антонина Павловна прожила пятнадцать лет с человеком, чьи ласки могли быть только оскорблением ей, целомудренной, умной, развитой, — однако даже нахальное светское шпионство оказалось бессильным пред репутацией молодой женщины: Антонина Павловна была верна своему генералу, как пушкинская Татьяна, с тою лишь разницей, что память ее сердца не хранила в себе даже образа Онегина...

Генерал умер. Вдова на свободе. Она бездетна, богата и красива. Свет у ее ног. Блестящие партии предоставляются ей на выбор. Но Антонина Павловна не хочет партии: пятнадцать лет брака были для нее слишком горькой школой, чтоб отдаться новому супругу без любви.

Она присматривается к своим поклонникам... Нет! Эти люди знатны, богаты, иногда даже интересны и умны, — словом, может быть, и очень хорошие люди, но... не для нее! Одни ухаживают за молодой вдовой как за богатой невестой с влиятельными связями, другие влюбленно добиваются обладать ее пышной красотой. Не того ей надо! Она хочет любить и быть любимой. Проходит несколько лет. Сердце молчит, избранник не приходит. Антонина Павловна считает свои года:

— Мне тридцать шесть лет! — говорит она, — это почти старость! Поздно любить!

И она твердой рукой, без колебаний поставила крест на своих вдовьих мечтах.

Явился Волынский...

Антонина Павловна, привыкнув воображать себя старухой, сперва устыдилась и испугалась вспыхнувшего в ней чувства, а потом еще больше испугалась взаимности со стороны молодого человека, едва не юноши. Она долго не сдавалась Волынскому, упрямо боролась против природы... то был неравный бой!

Сойдясь с Волынским, Антонина Павловна достигла счастья любви, присужденного ей в юные годы вместе с дарами красоты, какими наделила ее природа. Долго, слишком долго жизнь с жестоким упорством попирала ее права на любовь, и тем полнее взяла она теперь ниспосланные ей судьбою восторги.

Волынский стал для нее источником целого мира неизведанных доселе мыслей, чувств, ощущений, стал ее властелином, богом, ребенком, мужем.

И вот разбит ее волшебный мир, низвержен ее бог, трупом лег муж и властелин!..

Так долго ждать счастья и, едва узнав опьяняющую прелесть его обаяния, лишиться счастья вновь и навсегда!.. Да! тут есть от чего прийти в отчаяние!

Не знаю, как перенесет Антонина Павловна горе, но, зная ее, не жду ничего хорошего...

БРАТ И СЕСТРА

Я подходил к Новому Иерусалиму *). Путь — однообразный, пыльный проселок, брошенный вместе с полдюжиной тихих деревушек, мелководною речонкой и несколькими лесистыми болотцами на скучной равнине между Крюковом и Воскресенским — давно надоел глазам и утомил ноги; ремни дорожного мешка резали плечи. Хотелось одного: поскорее очутиться за лесистою линией горизонта, откуда так заманчиво льется глухой, таинственный вечерний звон уже недалекой, но еще невидимой обители.

За селом Дарна, с высокого берега низкой речонки, путник впервые видит на темно-зеленом фоне широко разбежав-

---

*) Известный русский монастырь (Московской губернии, при посаде Воскресенском).

шегося вправо и влево лесного моря золотую звездочку — вершину креста на новоиерусалимском соборе. Отсюда до монастыря рукой подать. Построенный на возвышенности он с каждым вашим шагом точно плывет вам навстречу, как исполинская нарядная яхта.

На завтра было Вознесенье. В воскресенской жизни этот праздник отмечен двойным торжеством — крестным ходом и двухдневною ярмаркой. В посаде набрались поэтому не малые тысячи народа, и я с трудом нашел себе комнату для ночлега.

Было что поглядеть и послушать в живых, весело настроенных толпах, скопившихся у святых ворот монастыря. По пути в Воскресенск я удивлялся безлюдью сел, какие случилось мне проходить: идешь по иному, — ни души; только собаки бродят по тихим улицам, да и то такие смирные, молчаливые, словно от роду и не знали, что такое — лай. Оказывается, народ-то — вон он где!..

Под святыми воротами шла бойкая торговля образками, житиями святых, брошюрками с описанием монастыря, акафистами. Бабы сплошной стеной окружали прилавок, почти вырывая священный товар из рук продавцов-монахов. Один из них, пожилой, с умным насмешливым лицом, пытался действовать на своих ретивых покупательниц честью, — увещеваниями, укоризненными взглядами; другой — молодой послушник, взволнованный, раскрасневшийся, — «лаялся», очевидно, глубоко и искренно ненавидя в эту минуту безобразную, наседающую со всех сторон бабью орду. Из-под пролета ворот флегматически любовался этой свалкой иеромонах, раздаватель святой воды, большой красивый мужчина в ризах: его тоже осаждали, но он как-то сумел водворить порядок между своей паствою; толпа проходила мимо него строгою очередью, словно в турникете, и рука иеромонаха, вооруженная кропилом, поднималась и опускалась с машинальною мерностью.

Мужчины под святые ворота не лезли. Стоя и сидя поодаль, они смотрели на пеструю толчею желтых, красных, синих платочков, слушали бабий визг и руготню, смеялись и крепко острили. Ругани висело в воздухе более чем достаточно, но, если вырывалось на свет белый из чьего-нибудь широко распущенного горла уж чрезмерно крепкое словцо, мужики его немедленно закрещивали; в этом выражалось уважение к кануну праздника: назавтра, после обеден, ругались уже без крестов. Кучки деревенской молодежи рассыпались по монастырской роще; должно быть, им было не весело: берега местного Иордана — реки Истры гремели смехом, шутками, бойкими окриками; иной раз зачиналась песня, но тотчас же и обрывалась: надо полагать, певуны вспоминали про канун.

Когда стемнело, народ, переполнив и «странную», и гостиницы, и все ближайшие к обители частные дома, во множестве остался еще бесприютным. Лощина между городом и монастырем усеялась спящими. В роще стало еще звонче и веселей. Народ гулял, как умел, справляя редкий день отдыха грубо и не слишком чистоплотно, может быть, но зато с полным чистосердечием и увлечением. Пьяных вовсе не было.

Я почти всю ночь пробродил по окрестностям Нового Иерусалима и пришел к ранней обедне усталый, с тяжелою головой. Запахи ладана, кумача, пота, масляных голов, переливавшиеся под громадным голубым шатром битком набитого народом храма, совсем меня одурманили, и я поспешил выбраться на монастырское кладбище, не слишком обширное и бедное памятниками. Подивившись чугунной плите над прахом некоего гвардии вахмистра Карпова, — этому воину в момент его кончины было, по эпитафии, всего семь лет от рождения, — я ушел в самую глубь кладбища, где под сиренями, у старой могилы, покрытой двойной плитой, нашел себе неожиданно компаньона и собеседника. Это был

старый, степенный мещанин из Москвы. По кладбищу он бродил с практической, но довольно невеселою целью: возмечтав со временем упокоить в Новом Иерусалиме свои грешные кости, он присматривал на этот случай местечко...

— Вот этак хорошо похорониться, — указал он мне между разговором, — знатная плита, купецкая.

— Но ведь под нею две могилы, — заметил я.

— Мы тоже на два местечка метим: себе и супруге; помру я, — Анна Порфирьевна меня похоронит; помрет она, — я ее; а потом наследники пускай накроют нас такой плитой: мы с супругой сорок годов жили — не ссорились, так, значит, и на том свете, чтобы неподалечку друг от друга.

Я одобрил затею старика.

— Это кого же таких похоронили здесь? — говорил он, щуря старые глаза на плиту, — без очков-то я не очень...

Я прочитал. На плите была начерчена пространная эпитафия супружеской чете: интересного в ней ничего не было, кроме того, что жена пережила мужа всего тремя днями.

— Вероятно, померла какой-нибудь заразной болезнью, — предположил я.

— А может быть, от горя? — возразил мне мещанин.

— И то может быть. Впрочем, я, кроме самоубийц, не видал людей, умиравших от горя...

— А я, на грех свой, видал... наказал Господь...

— Вот как? это любопытно.

— Да, господин, чудное и странное это дело. А для меня в нем и то еще огорчительно, что в моем доме ему место было, и моя родная кровь в нем, хотя и не по своей воле, случаем, а все не без греха. Изволите ли видеть: мы московские мещане, приторговываем малость скобяным товаром, и, хоть времена теперь не такие, чтобы коммерческому человеку иметь большой профит, однако, благодаря Бога, на достатки не жалуемся. Имеем домик в Лефортовой; верхний этаж сдаем, внизу живем сами. Семья невеличка: я сам-друг со

старухой да племянница Гаша, — теперь уж на возрасте девка, а, когда приключилось все это, что я вам хочу рассказать, она была еще семи лет не дошедши. Детьми нас с Анной Порфирьевной Господь не благословил: вот мы себе эту Гашу от покойной своячены и приспособили — вроде как бы в дочки. Шустрая девчонка: года три еще, — и надо замуж выдавать... Да! так верхний-то этаж мы сдаем. Жили у нас все благородные лица и все подолгу; последний жилец, учитель из гимназии с Разгуляя, десять годов занимал фатеру; так был доволен. Перевели его куда-то в губернию директором, остались мы без жильца. Наклевываются разные, — да смерть неохота отдавать незнакомым! кто его знает, какой человек? Я по старине живу: в свой дом неприятного человека не пущу; что мне за радость себя неволить?.. Хорош-с. Ждем мы, пождем недельку-другую, — завертывает к нам участковый.

— У меня для тебя, — говорит, — Иван Самсоныч, жилица имеется. Хорошая: генеральская дочь... Желаешь?

— Зачем не желать, коли ваше высокоблагородие ручаетесь?

— За самого себя так не поручусь; я ее лет тридцать знаю, помню вот этакую от земли. Я, когда еще состоял в военной службе, был ординарцем у ее отца.

— Как фамилия-то?

— Пестрядева, Анфиса Даниловна Пестрядева...

Потолковали мы с господином участковым, водки выпили, а к вечеру он и самоё госпожу Пестрядеву привел смотреть фатеру. Видим: девица одинокая, немолодая, — коли не выжила еще бабьего веку, то скоро выживет, — тихая, скромная; цену дает настоящую, претензий этих жилецких: то переделай, это перекрась, — не предъявляет; что долго думать-то? Сдали квартиру.

Живет у нас барышня месяц-другой, как сурок в норе: ни она в гости, ни к ней гости. С прежними жильцами у нас и печки, и лавочки были заведены: то мы у них, то они у нас,

бывало, чаи разводим, а с этой и мы попервоначалу не сошлись. Не то чтоб Анфиса Даниловна была горда: куда там! а неумелая какая-то, застенчивая. Надо полагать, в малых летах часто ей попадало от папеньки по затылку, — старик-то, сказывал участковый, куда крут был, — вот ее и одурило немножко, люди-то ей вроде как бы страшны стали: не знай, что пожалеют, не знай, что обидят. Однако мы подружились вскорости, — и по такому смешному случаю-с.

Есть в нашем переулке лавочник Демьянов; характером — собака сущая, а торгует всяким старьем: железный лом — так железный лом, тряпье — так тряпье, книжонки — так книжонки, — чем приведется. Вот-с и купил он как-то партию книг по случаю, свалил их у прилавка в куче. Идет мимо наша барышня, — а она была люта читать; видит книги, полюбопытствовала: что, мол, это у вас?.. можно посмотреть?.. Демьянов как человек охальный, да на тот грех еще под хмелем маленько, на это ей с дерзостью:

— Смотри, коли грамотная.

Барышня поняла, что мужик не в себе, испугалась, хочет уйти из лавки, а Демьянов обрадовался, что на этакого Божьего младенца попал, и ну куражиться.

— Эх ты, — говорит, — дама из Амстердама! нешто так покупательницы, ежели которые хорошие, поступают? Это что же за модель? Книги ты у меня разворошила, а пользы я от тебя гроша не имею... Этак всякий с улицы будет в лавку лезть да товар ворочать, — на вас и не напасешься!

И пошел, и пошел.

Я тем временем стоял через улицу, приторговывал малину у разносчика. Слышу я, как Демьянов пуще и пуще приходит в азарт, а барышня совсем сробела и со всякой кротостью представляет ему резоны. Она ему «вы», да «что вы», да «пожалуйста», а этакого буйвола нешто образованными словами проберешь? Не стерпела моя душа, перешел я через улицу.

— Барышня, — говорю, — ступайте себе спокойно домой; а ты, Потап Демьяныч, что озорничаешь? И чтобы мою жилицу обижать, того я тебе никак не дозволю.

Крепко мы с Демьяновым побранились, но с той поры барышню и мою Анну Порфирьевну водой не разольешь.

Прихожу как-то домой, а жена ко мне с новостью.

— Анфиса Даниловна гостя ждет. Братец к ней едет на побывку.

— Это какой же такой братец?

— Иван Данилович. Они состоят в Варшаве, в полку, а сюда в отпуск едут. Уж и рада же Анфиса Даниловна! Господи!.. только и слов: Ваня едет, да Ваня едет...

Точно, что барышню стало и не узнать: веселая такая, даже как будто помолодела — глаза блестят, с щек желтизна сошла. Говорит без умолку, и все об этом самом Ване. Пречудные ее рассказы были: то как ей этот Ваня десяти лет глаз подбил, то — как он маменькины часы разбил, а она на себя вину приняла, и ее, неповинную, высекли. И все такого же сорта: Ваня что-нибудь набедокурит, а Анфиса в ответе. Порядочным баловнем растили малого.

Явился наконец и Ваня, только не на радость Анфисе Даниловне. Обещал он приехать, а на самом-то деле его привезли. В отделку был готов бедняга! хоть заживо панихиду ему петь. Барышня сама чуть жива осталась, как увидала брата в таком состоянии:

— Да как же я не знаю? да давно ли ты болен? да отчего не писал?.. Как же ты служил, если ты нездоров?..

— Я уже полгода, как не на службе, — отвечает Ваня.

И оказались тут, господин, для нашей барышни беда и позор немалые. Иван Данилович любил в картишки поиграть, это Анфиса Даниловна говорила нам и раньше, — ну наткнулся на какого-то шулера-немчика, тот его и обчистил. Иван Данилович отыгрываться да отыгрываться; глядь, дошла очередь и до казенного ящика; ухнули в карман жулика ка-

кие-то библиотечные, что ли, суммы... пустяковина, а пополнить-то их неоткуда; какой кредит у офицера, коли он одним жалованьем живет, да еще и от игры не прочь? Думал-думал Иван Данилович и додумался до греха: выпалил в себя из пистолета... Оставил записку товарищам, что, мол, так и так, не подумайте, друзья, что я подлец и вор, а одно мое несчастье, прошу простить мое увлечение, плачу за грех своей жизнью... Однако выходили его, не дали покончиться. Дело замяли, потому что — где уж наказывать человека, коли он сам себя наказал и, хоть не убился сразу, а все-таки жизнь свою сократил? Госпитальный доктор прямо сказал, что Пестрядеву и года не протянуть: легкие пуля ему попортила, видите ли. Убрался он из полка и поехал к сестре умирать.

Скажу вам, сударь, не слишком-то он мне нравился, покойник, не тем будь помянут. Первое, что хоть на кого грех да беда не живут, кто Богу не грешен, царю не виноват, а все как-то мнителен я насчет того, ежели кто под мораль попадет, а второе — уж больно он сестрицу свою пренебрегал: помыкал ею хуже, чем горничной... Недели две, пока он был еще на ногах, куда ни шло, не очень командировал; а как слег в постель, да пошли доктора и лекарства, — задурил хуже бабы. «Анфиса, подай! Анфиса, принеси! Анфиса, воды! Анфиса, лекарство! Анфиса, поди на кухню, сама сделай бульон: кухарка не умеет... Анфиса, не смей уходить: мне одному скучно...» Беда! Горемычная барышня совсем с ног сбилась. И жалко-то ей брата до крайности, и растерялась-то она. Даже и лицо у ней как-то изменилось за это время: все она, бывало, как будто ждет, что на нее крикнут или дадут ей подзатыльник, все спешит, торопится; сколько посуды она за болезнь брата перебила, — беда! потому что не было такой минуты, чтоб у ней руки не дрожали. Когда она спала, постичь не могу: Иван Данилович страдал бессонницей, и, бывало, как ни проснешься ночью,

звенит у них в квартире колокольчик, — значит, больной требует к себе сестру.

Видал я их вместе. Уродует эта чахотка человека: сам он не свой становится; и не хочет злиться, а злится из-за всякой малости; и не хочет обижаться, а обижается, слезы сами текут из глаз. Так вот и Иван Данилович был сам в себе не волен; ругал он сестру походя, при мне однажды пустил в нее чашкой... даже мне вчуже совестно стало. А Анфиса — как каменная, хоть бы глазом мигнула. Он лается, а она подушки поправляет; дерется, а она лекарство наливает. Вот ведь и робкая, и застенчивая какая была, а, когда надо стало, объявила свой настоящий характер.

Всегда она очень любила брата, но — чем он особенно ее растрогал, так это своей историей с полком. Когда она стала упрекать брата, что он не пожалел себя, что вместо того, чтобы стреляться, он бы лучше прислал ей депешу, а она бы ему выслала деньги, Иван Данилович сказал:

— Хорошо. Прислала бы ты деньги, выручила бы на этот раз, а завтра попался бы мне другой Феркель, и опять вышла бы та же штука. Я свою проклятую натуру знаю. Потому и не дал тебе знать. Я так решил, что теперь я вор по несчастию, а если у тебя начну деньги тянуть, так буду вор-подлец, с расчетом, да и брать-то у тебя, Фиса, деньги — все равно, что снимать суму с нищего.

Этими словами он ее и пронзил. Трогательно ей стало, как это брат жизни не пожалел, а ее не захотел обидеть.

Умер Иван Данилович. Что тут, сударь, с барышней делалось — не перескажешь! Поседела совсем, не плакала, а ревела-с... вот вроде, как коровы ревут, когда в поле кровь найдут! — и все без слезы, один крик. Больше всего она проклинала себя, что «проспала Ваню»: умер-то он, изволите видеть, ночью, никто и не слыхал... Вошла Анфиса Даниловна утром к нему в комнату, а он уже холодный. Она так и повалилась около постели. И совсем напрасно она себя

на этот счет тревожила: лицо у покойника было такое мирное, покойное, — должно быть, легко, пожалуй, даже, что и во сне умер.

Месяц-другой — не утешается Анфиса Даниловна. Комнату эту, где Иван Данилович умер, так и оставила, как при нем: стула в ней не переменила; сама ее и убирала, и подметала, и стирала пыль с вещей и книг; прислуге войти в «Ванин кабинет» Боже сохрани, — кротка-кротка барышня, а тут, ой-ой, как бушевала!.. Во время болезни покойного она взяла себе привычку сидеть у дверей его кабинета. Тут и кресло себе поставила, и рабочий столик. Сидит бывало, читает или шьет; брат позвонит — она тут как тут. Теперь звонить было некому, но она привычки своей не прекратила, и стало это кресло самым любимым ее местом в квартире. Моя Анна Порфирьевна часто заходила ее проведать. Заметила она, что барышня от тоски желтеет, тает день ото дня.

— Вы бы, — говорит, — Анфиса Даниловна, доктора позвали: вы больны.

— Нет, Анна Порфирьевна, я здорова всем, только сердце у меня неспокойное. Как ночь, так оно у меня и начнет дрожать, точно осиновый лист. Дрожит, дрожит... аж душно мне от этого станет и испарина по всему телу…

— Какое же это здоровье?! Нет, вы полечитесь...

Доктор назвал болезнь Анфисы Даниловны каким-то мудреным словом. А она в то время так извелась, что когда доктор вышел от нее, я потихоньку зазвал его к себе.

— Что, — говорю, — почтенный, очень плоха наша жилица? Насчет Ваганькова кладбища вы как полагаете?

— Нет, — отвечает, — с ее болезнью иной раз сто лет живут, а иной раз и не увидишь, как умирают. В сердце у ней большие неправильности. Вы ее берегите, чтоб она не волновалась, не пугалась... Вот брата она очень любила: хорошо бы ее развлечь, а то она только о покойнике и думает, а думы эти болезнь ее усиливают.

Стали мы барышню развлекать, однако она на наши развлечения не поддавалась; засела дома — и никуда ни ногой... Впрочем, на мои именины пришла к нам честь честью, поздравила меня, уселась чай пить. Сидим, беседуем, только вдруг над головою — топ! топ! топ!.. А наша столовая как раз приходится под покойниковой комнатой.

Как вскрикнет наша барышня, как затрепещется! чашку оттолкнула, сорвалась с места.

— Вот, кричит, вот... вы меня зовете из дому: видите, уйти нельзя, — уже кто-то вошел, распоряжается...

Лицо стало багровое, глаза выскочить хотят — совсем не Анфиса Даниловна, а точно покойный Иван Данилович, когда приходил в гнев.

Побежала она к себе наверх, а я за нею, так как вижу, что женщина вне себя, и если найдет прислугу в кабинете, не обойтись делу без скандала и мирового. Входит в квартиру — по черной лестнице: кухарки нет, и слышно, как она во дворе с соседским дворником ругается через забор. А тем временем в покойниковой комнате — трр!.. что-то грохнуло. Анфиса Даниловна побежала туда, как львица какая-нибудь... а я остался, — и только что она за дверью скрылась, как из кабинета, за ее хвостом, что называется, шмыг наша Гашка. Я так и обмер: «Ну, — думаю, — заметит Анфиса Даниловна, кто у нее там орудовал, вовеки не простит!.. Беги, — говорю, — скорей, постреленок, пока не поймали!» А Анфиса Даниловна в ту же минуту зовет меня.

— Иван Самсонович! пожалуйте сюда.

Вошел я в кабинет: чистота, порядок, портрет покойного на стене... любоваться можно! Анфиса Даниловна стоит среди комнаты бледная, руками разводит...

— Здесь, — говорит, — никого нет, Иван Самсонович.

— Точно так, — говорю, — Анфиса Даниловна.

— А между тем, Иван Самсонович, посмотрите: стул опрокинут, карандаш на полу, бумаги разбросаны... Я этого не понимаю...

— И я тоже-с.

Постояла она этак, постояла, покачала головой, пожевала губами, да вдруг — на колени перед образом, и давай класть поклоны. Я вижу, что человек молится, — зачем же ему мешать?.. Вышел тихонько.

Гашке я задал хорошую гонку.

— Зачем тебя туда, ненужная, занесло?

— Да мне, дяденька, любопытно было, отчего Анфиса Даниловна никого не пускает в Иван Данилычеву комнату. Я и забралась, а как услыхала, что вы идете, испугалась и спряталась за шкаф. Анфиса Даниловна меня не заметили, я у них за спиной выскочила за дверь, да вам и попалась...

И что же, сударь? Ведь вот, кажись, пустяки это сущие, — однако из-за пустяков этих пропала наша Анфиса Даниловна! Вообразилось ей, что это сам покойник приходил с того света в свой кабинет.

«Э, — думаю, — с такими мыслями в голове ты, матушка, пожалуй, еще и в Преображенскую больницу угодишь...»

— Анфиса Даниловна! — говорю, — голубушка! Статочное ли вы дело говорите? Иван Данилович ваш теперь со духи праведны скончавшеся, а вы его заставляете скитаться по земле, как стень какую-нибудь. Это только ежели кто в смертельном грехе помрет, или сам на себя руки наложит, или опойца — так точно, того земля не принимает, потому анафема проклят во веки веков, а братец отошли во всем аккуратно, благородно, по чину... Да уж коли у вас такое смятение чувств от этого случая произошло, так позвольте, я вам признаюсь, как было дело...

Рассказал. Она только улыбнулась.

— Спасибо вам, Иван Самсонович, что вы так обо мне заботитесь, хотите меня успокоить: даже Гашу свою не пожалели для меня, обидели... только вы напрасно наговарива-

ете на девочку... вам меня не обмануть. Мне сам брат сказал, что это он был... Я его теперь каждую ночь вижу во сне.

Жутковато мне стало.

— Как же это-с?.. — спрашиваю.

— Как засну, так он и встанет перед глазами. Сердитый он был в тот раз... «Ты, — говорит, — ушла, а я без тебя скучал... ты не думай, что если я помер, так уж и нет меня: я всегда около тебя...»

— Что насчет Гаши я вам сказал, — тому верьте-с, а вот что покойников вы видите во сне, — это нехорошо...

— Да, к смерти...

— Нет, не то что к смерти...

— Уж поверьте, что так, Иван Самсонович!.. У нас был с ним разговор. Я спрашиваю: «Ваня! Скоро я умру?..» А он мне в ответ язык показал... и потом уж другое начало сниться...

И так она внятно выговорила все эти слова, что я даже по углам озираться стал, — неравно Иван Данилович и мне язык откуда-нибудь покажет...

Пришла весна. Гашку нашу и не затащишь со двора в комнаты. Двор зеленый, мягкий; играет девчонка с соседской ребятежью по целым дням. Береза у меня во дворе растет, — несуразная да суковатая такая, Бог с ней! а ребятам утешение: лазят по ней, как бельчата. Я ее раза три рубить собирался, да то ребята упросят, то жена, то Анфиса Даниловна: покойник очень эту березу одобрял, — сучья-то прямо в окна ему упирались... Ну и то сказать, дерево при доме, ежели на случай пожара, куда хорошо!.. Пожалел я березу — на свою голову.

В конце мая присылает Анфиса Даниловна нам письмо с кухаркою. Добрые, мол, хозяева! навестите меня, потому что сегодня день моего рождения, и проводить его мне одной очень грустно. Приходите, пожалуйста, поэтому обедать...

Отправились мы с Анютой. Я с того разговора, как вам передал, не видался с Анфисой Даниловной. Переменилась-

таки она! И не то чтобы похудела или пожелтела, — уж больше худеть и желтеть, как после братниной смерти, ей было нельзя, — а как-то поглупело у ней лицо. Вот — видели у святых врат блаженненькие сидят, милостыни просят? Так на них стало похоже. Мы говорим с нею, а она — и не разберешь — слушает или не слушает... улыбается, глаза — то в одну точку уставит, как бык на прясло, то — и не догадаешься, куда она их правит: знай — перебегает без толку взглядом с вещи на вещь. У меня дядя запоем пил, так у него точно такой же взгляд бывал, когда ему черти начинали мерещиться!.. И никогда у нее прежде не было этой манеры рот разевать: а теперь, — чуть замолчит да задумается, — глядь, челюсть и отвисла... Смотрю я на нее — чуть не плачу: такая берет меня жалость! девица-то уж больно хорошего нрава была!

Пообедали мы честь честью, — потом перешли в гостиную, Анфиса Даниловна с Анной Порфирьевной плетут бабьи разговоры, а я по комнате хожу, делаю моцион; такая уж у меня привычка, чтобы прохаживаться, поевши. Пощупал я ручку на двери в распроклятый этот кабинет: заперто. «То-то! — думаю, — так-то лучше: сны снами, а запираться не мешает: тогда, пожалуй, не будут и стулья опрокидываться, и карандаши падать со стола...»

Но только что я это подумал, слышу, что за дверью как будто шорох какой-то, — не то шепчутся, не то смеются... Я и сообразить не успел в чем дело, как вдруг в кабинете — звонок, да порывистый такой, с раскатом, точь-в-точь, как покойник звонил... Меня, знаете, так и отшибло от двери, а Анфиса Даниловна вскочила с места:

— Что это? что это?..

Машет руками, глаза изо лба выпрыгнуть хотят — белые совсем, прозрачные, как стекло... Сколько, кажись, не было у нее крови в теле, вся прилила к лицу, и сделалось оно от того совсем синее; на шее жилы вздулись, как веревки.

А звонок вдругорядь... в третий раз... потом — бух о дверь! словно с сердцем бросили его; звякнул и замолчал.

Как вскрикнет наша барышня:

— Ваня!.. иду!.. сейчас!.. Ваня!..

Подбежала к двери, вынула ключ из кармана, а в замочную-то скважину попасть и не может... ткнула раза два мимо, застонала, да и упала прямо лицом на дверь... Тут ей и смерть приключилась. Анатомили ее потом: умерла, царство ей небесное, как раз тою самою мудреной болезнью, что доктор нас предупреждал...

Горько нам было потерять Анфису Даниловну, а особенно горько, что опять-таки не кто другой в ее смертном часе виноват, как наша Гашка. Забрались они с таким же сорванцом соседским мальчишкой по березе до самого покойникова окна. А Анфиса Даниловна, как проветривала с утра комнату, так и оставила окно открытым. Гашку и осенило: «Сёмка влезем!..» Влезли. Попался им на глаза колокольчик: «Давай, испугаем наших!» — и ну звонить. Точно, что испугали, — могу сказать!

Никогда я свою Гашку пальцем не трогал, но тут, надо признаться, выдрал. До сего времени помнит. Потому, помилуйте! она, конечно, дурного в уме не имела, — однако же, какой грех произошел через нее!.. Я свою Гашку люблю до страсти, и все беспокоюсь насчет этой ее истории, то есть в смыслах возмездия-с... И хоть приходский наш батюшка очень урезонивал меня: какое-де тебе возмездие, ежели тут — видимый перст Провидения? — однако, я как-то... того!.. и посейчас в сомнении. Поэтому я и охоч рассказывать свою беду добрым людям, кто не скучает слушать, хоть рассказывать-то ее, пожалуй, и не очень гоже: мало ль, что другой подумает? Что же делать, коли у меня душа говорит, и совесть ободрения просит?.. Мы люди темные: где нам в одиночку разобраться с собою? На миру-то оно виднее: что — перст, что — не перст...

УГОЛОВНАЯ ЧЕРНЬ

...Недавнее сенсационное убийство навело нашу беседу на тему об учащении в последнее десятилетие преступлений с амурно-психологической подкладкой...

— Вы, кажется, изволили сказать: «преступление»? — остановил меня мой собеседник — один из крупнейших представителей уголовной адвокатуры. — Вот уж напрасно. Никакого преступления в этих случаях не бывает... Неподходящий термин.

— Как же назвать иначе?

— Да как угодно: трагическое похождение, приключение с несчастным исходом, а лучше всего — бесхарактерная дурость, преследуемая такими-то и такими-то статьями уложения о наказаниях.

Он наморщил брови и сожалительно пожал плечами.

— Ну какие это преступники? Их и судить-то срамота: только отнимают золотое время у господ присяжных заседателей да представителю с членами дают развлечение — вроде как бы прочитать французский бульварный роман. Преступление предполагает злую волю. А тут не то что злой — никакой воли нет. Это не преступники, а так... *палилки*... Их не столько судить, сколько сечь требуется...

— Вот тебе раз! Нашел панацею, нечего сказать!

— Позвольте, позвольте! Вы меня не ловите на слове: я говорю не о карательном сечении во вкусе князя Мещерского, и не о сечении педагогическом во вкусе его достойного сподвижника Шперка, но о сечении лечебном.

— Да такого не бывает.

— Ну уж теперь моя очередь воскликнуть: вот тебе раз! А чем же мы все лечимся, когда у нас расшатываются нервы или шалит спинной мозг?

— По-вашему, значит, что вода и электричество, что розги, — одно и то же?

— Благороднее по наименованию и способу экзекуции, но эффект, разумеется, одинаковый... Вы душ Шарко пробовали?

— Ох, пробовал...

— Под этою водяною розгою вы не простоите так долго, как под древесною. А хороший электрический ток? У меня вот писцовая болезнь — так, бывало, когда NN пустит ток от локтя к кисти руки, кричу на крик, точно мужик, которого дерут по морскому приговору. Потому что нет никакой возможности терпеть: прямо истязание. Теперь лечусь массажем, и опять-таки выходит что-то вроде порки. А когда tabes * лечат — подвешивания эти? Дыба ведь, сущая дыба! Да я лучше и впрямь лягу под розги и с благодарностью приму сотню горячих на мое привилегированное тело. Тем более, что оно помогает. Есть же легенда, будто знаменитый «белый генерал» избавлялся от физического упадка тем, что приказывал себя драть не на живот, а на смерть... Ну-с, а большинство, как вы называете, преступлений наших палилок — именно преступления физического упадка. Это — преступления слабых, расстроенных организмов, преступления мозга, отравленного и скверною наследственностью, и благоприобретенными прелестями: алкоголизмом, всякими милыми болезнями и отроческими «пороками», привычкой нервировать, потому что это интересно (да-с! в нервирование люди втягиваются так же, как в запой), страстью к бульварному обществу — к бульварной праздности, бульварным шатунам-товарищам, бульварным девицам, бульварной газете с бульварным романом-фельетоном. Я насмотрелся на эту quasi-уголовную публику. Во-первых, подавляющий процент ее состава, — то, что вы называете — полуинтеллигенты: люди не с образованием, но и не без образования; дикари, хватившие верхушки культуры, и — увы, как всегда почти бывает, верхушки не добродетелей ее, но поро-

* Сухотка (*лат.*).

ков. Речи их на суде глубоко характерны. Они очень любят говорить и очень любят копаться в себе, анализировать — совсем во вкусе героев нового бульварного романа...

— Полно вам! Где же герои бульварных романов анализируют, копают в себе? Понсон дю Террайль, Монтепен, Габорио — сама прямолинейность. У них подлец — так уж подлец, добродетель — так уж добродетель: будь она своевременно на месте Евы, змий отполз бы от нашей праматери ни с чем, и мы по сие время благополучно жили бы да поживали в эдеме, слушая райские напевы... Вспомните-ка, что сказал о «Рокамболе» Глеб Успенский, как одобрил он именно его прямолинейность и ею объяснил успех романа во французском рабочем классе. Рабочему, говорит он, идеал нужен, но идеал, воплощенный в резких наглядных красках, чтобы можно было усвоить его быстро и цепко; вдумываться и анализировать ему некогда. Он читает какого-нибудь «Рокамболя» и рад: написано ловко, занятно и — как раз по пониманию и вкусу. Каждый злодей кричит: ненавидь меня! Каждая добродетель: симпатизируй мне!.. Когда Понсон дю Террайль писал «Рокамболя», рабочие и работницы засыпали его письмами: неужели он будет так жесток, что не сделает счастливою раскаявшуюся грешницу Баккара и т.п. Он и выдал ее за какого-то графа.

— Батюшка! Вы ужасно отстали, — перебил меня адвокат. — Это все было, но прошло и быльем поросло. Бульварный роман романтический, слагавшийся из сказок, небывало чудесных авантюр с попеременным чередованием крайностей добродетели и крайностей порока — миновал. Миновала и простодушная мода, чтобы в конце концов порок был наказан, — добродетель торжествовала, а читатель-интеллигент проливал слезы умиления. Современный бульварный романист о себе возмечтал. Он теперь и натуралист, и психолог, и идеолог. Он старается вглубь хватить и даже в самом слоге серьезничает, копирует, т.е., лучше сказать,

карикатурит писателей настоящих, — прячет шутовскую, украшенную ослиными ушами голову под берет Гамлета à la fin de siècle *. Прежний бульварный роман бесповоротно осуждал преступление или, по крайней мере, видел в нем явление безусловно отрицательное — объект общественной борьбы. Современный бульварный роман, — в погоне за теми же «человеческими документами», как и большая беллетристика, — не судит преступление, но видит в нем только факт наблюдения — факт, который надо объяснить и извинить теми или другими мотивами. Таким образом, бульварный роман доброго старого времени вводил в робкое сознание полупросвещенных масс типы идеального порока и идеальной добродетели, резко очерченные, точно разграниченные. Бульварный же роман новый внедряет в то же сумеречное, предрассветное сознание бестолковые типы Гамлетиков мелкой воды, до того потерявшихся на распутье между добром и злом, что и читателя они заставляют вместе с собою недоумевать: где добро, где зло, где истина, где ложь? Куда идти — направо или налево? Не есть ли преступление — подвиг, а подвиг при известных обстоятельствах не может ли обратиться в преступление? Все герои современного бульварного романа страдают роковым раздвоением духа и симпатий. Прежний классический подлец по натуре и профессии, подлец из любви к искусству, переродился в подлеца по неблагоприятному стечению обстоятельств, по наследственности, по зависимости от среды. Подлец современного бульварного романа — фигура почти демоническая: «Я подлец по отношению к тебе, для себя — прав», — как писал жене предсмертную записку некий палилка Васильев, намереваясь убить себя и свою любовницу... А демонические фигуры, как бы грубо их не рисовали, всегда привлекательны и заманчивы. Ах, мол, как все это хорошо, прекрасно и возвы-

* Канун века (*фр.*).

шенно! Ах, неужели мы сами так жалки и ничтожны, что не в состоянии будем того же проделать? А тут еще — на грех мастера нет — какой-нибудь револьверишко в кармане. Спрашивается: что же еще делать с револьвером человеку, насквозь пропитанному бульварной мелодрамой и бульварным романом, как не репетировать при помощи его уголовные операции героев этих романов и мелодрам: благородно карать измену и порок, «сводить расчет с судьбою и неблагоприятными житейскими обстоятельствами», «ставить кровавую точку в заключение долголетнего мучительного самоанализа» и т.п.?!

— Ну вот вы и увлеклись: теперь у вас во всем виноваты бульварные романисты.

— Вовсе нет. Ихняя вина — в полвины, и вовсе не была бы виною, кабы их семена падали на менее благодарную почву, а не в умы массы праздной, шатающейся мыслями и нездоровой телом. Для интеллигента и серяка бульварная литература — ничтожество: один ее психологию оставил позади, другой, слава Богу, до нее не дошел; обоим, стало быть, от нее будет скучно, и оба под ее влияние подпасть не могут. Но вот середина-то, злополучная полуинтеллигенция, это — мягкий воск: что задумал, — то из него и вылепил. Потому что, повторяю, мысль шатается, а тело нездоровое. Мыслью полуинтеллигент еще серяк, темный человек, а телом, т.е. костюмом, привычками, стремлениями к комфорту, — барин. И хочется, чтобы все по-барскому: и барские чувства, и барские поступки, и барские пороки... главное барские пороки! Знаете ли вы, какая среда в России дает наибольший процент анормальных нервно и психически людей? Мещане, живущие в больших городах. И процент психопатических преступлений между ними всего больше. Палилки, например, наполовину из мещан. Мне кажется, что есть люди, с которыми цивилизация проделывает в миниатюре тот же жестокий процесс уничтожения, что

en gros* проделала она с северо-американскими индейцами и австралийскими дикарями: эти злополучные жертвы культурного фатума сперва глупеют, потом вырождаются и вымирают... Коньяк, кафешантан, бульварная литература и бульварная женщина так быстро съедают малых сих, что иной и оглянуться не успеет, как догнал уже высшие классы на пути нервных расстройств и обусловленных ими физических и нравственных извращений, которыми, в свою очередь, необходимо обусловливаются глупые и возмутительные неопределенностью своею преступления. Вот почему я и сказал вам, что надо не наказывать, но лечить. А в данном случае — увы! — лечение жестокое, лечение — сечение душем Шарко, электричеством, руками массажиста, дыбою подвешиванья... Кроткая и гуманная невротерапия обратила свои кабинеты в настоящий застенок...

С одним из ярких по развинченности физической и нравственной представителей этого типа непреступных преступников, которых мой собеседник обрекал на лечение-сечение, встретился я недавно в театре.

— Здравствуйте! — окликает меня кто-то — дрянным, шепелявым голосом.

Оглядываюсь: юноша не юноша, старик не старик; маленький, хрупкий, тощий, белобрысенький; лицо словно посыпано серым пеплом; в глазах, тусклых и вялых, свинцовые точки «коньячного зарева».

— Здравствуйте... только — кто вы такой, извините, не припомню...

— Забыли? Я — N. Пятнадцать лет тому назад вы давали мне уроки.

Я припомнил, — признаюсь, без особенного удовольствия. Вообще, давать уроки я терпеть не мог, тем более, что насущной необходимости в этом я никогда не имел, а лишь следовал юношеской моде самостоятельного заработка. Все то-

---

* В большом масштабе (*фр.*).

варищи дают уроки, — как же, мол, я-то не буду давать? Маменькиным сынком, барчонком назовут. А тут сын самостоятельных родителей и вдруг дает уроки, своим трудом зарабатывает себе средства на... билеты в оперу и пиво в биргалках Тверского бульвара! И ничуть, бывало, не соображаешь, — а теперь-то как совестно вспомнить! — что, угождая без всякой надобности моде, лишаешь заработка настоящего бедняка, которому без урока — приходит мат, который ищет работы не для эффекта в среде «читающих» девиц, а потому, что пить-есть надо... Есть, в жизни каждого есть такие минуты «благородства», вспоминая которые лет через десяток — невольно краснеешь, и сердце сжимается. Словно в наказание за неискренность, не везло мне с учениками, хоть занимался я с ними, смею похвалиться, — добросовестно. Тупица на тупице ехал и тупицею погонял. Но господин, попавшийся мне навстречу в фойе, был воистину bête noire * моей педагогики. Черт знает, что это был за чудак-малый! Как будто и с хорошими способностями и задатками, а как будто и большая дрянь. По положенному в доме порядку для наших занятий отводилось три часа в день. Эти три часа мы проводили глаз на глаз. Ей-Богу, мне иногда делалось жутко от беспредельного, тупого, свирепо-покорного отчаяния, какое выражалось на личике «дитяти», едва затворялась за нами дверь классной, а исчезало с личика только тогда, когда мамаша дитяти являлась прекратить наши занятия и звать к завтраку. Эти три часа он так или иначе терпел, с ненавистью, но терпел, как каторжник отбывает в руднике свой дневной урок... Отвечал вяло, плел языком какие-то суконные кружева, но все-таки плел и отвечал. Но однажды ввиду близости предстоявшей ему переэкзаменовки, я затянул урок на полчаса. Когда я объявил об этом своему Телемаку, он пришел в неописуемый ужас, завозил-

* Страшилище, пугало, жупел (*фр.*).

ся на стуле и даже покраснел, что для него, по малокровию, было так же трудно, как для листа писчей бумаги... Затем сразу поблек и осунулся, сделал глаза, как у мороженого судака, и погрузился в угрюмое, безответное молчание, — точно сразу позабыл все, чему учили. Дескать: хоть кол теши на голове, ничего не отвечу! Ибо ты сделал мне подлость — длиною в целые полчаса... Бился я с ним, бился, наконец разозлился, дал ему какую-то задачу из алгебры: решай... В жизнь свою ни прежде, ни после не видал я, чтобы человек написал за один присест столько цифр и букв, как принялся он орудовать... «Ну, — думаю, — слава Богу, занялось сокровище!» Он решает задачу, а я хожу по комнате и смотрю в окно... И вдруг слышу голос моего питомца:

— Это — которая там на веревке белье развешивает — соседская Глашка. Пряничная форма!.. А сложена недурно. Если бы ее в корсет, бюст был бы хоть куда. Ну и плечи... Жаль, спина — дрянь: впалая и лопатки торчат...

И пошел, и пошел все в том же аматерски-наглом тоне ловеласа-спортсмена, который женщину разбирает, как лошадь, а лошадь уважает и ценит не в пример больше, чем женщину. Если бы в классную вошел каменный гость in persona* и произнес те же самые слова — я, кажется, изумился бы меньше. В первый момент я даже потерялся: так неожиданно и стремительно выпалил мой угрюмый алгебраист все эти неподходящие его возрасту познания. Недавнего уныния и оглупения — как не бывало: ожил отрок! И лицо как будто не вовсе бессмысленное, — веселая улыбка, глаза с искоркой...

— Вы вот Ферапонтовскую Зою посмотрели бы! — продолжал он скороговоркой, которой я от него не слыхивал даже в те оживленные моменты, когда он умолял меня не жаловаться маменьке на его безделъничество. — Это женщина!

* Лично, собственной персоной (*лат.*).

Фу ты, черт! Отдай все — и мало!.. Коса — золото... во! по этих пор! Спина какая!.. Бедра!.. Знаете карточку Линской, где она сидит верхом на стуле? Вылитая! Я ее уговариваю в хористки поступить: не хочет, дура! Чем в горничных мозолить пальцы за красненькую в месяц, ей бы Лентовский, без голоса, пятьдесят положил... Потому она для первого ряда: триковая... сейчас в пажи!

Но тут я уже опамятовался от первого изумления и оборвал прекрасного молодого человека... четырнадцати лет. Он посмотрел на меня с глубоким изумлением: как это, мол, возможно отказываться от беседы на столь вкусную и пикантную тему? А еще взрослый, студентом называешься! И опять впал в свое обычное состояние мрачной безнадежности... Раньше он меня ненавидел, а с этого момента, по всей вероятности, стал и презирать.

Расстались мы скверно. В один день Телемак мой был тупее обыкновенного, говорил самые несообразные дикости, отказывался понимать самые простые, обыденные вещи — и чуть не спал над тетрадью, даже носом посапывал. На какое-то мое замечание он ответил мне дерзостью... встал и швырнул тетрадь на пол.

— Вы с ума сошли, Алеша! — говорю ему.

Тогда он подбегает ко мне и в упор пускает совершенно непечатную фразу. И вижу я, что мальчик пьян, пьян — как Божья тварь... дохнул и окатил запахом спирта, как волною. Я отправился к маменьке отказываться от уроков. Маменька очень огорчилась.

— Что же я буду с ним теперь делать? — плакалась она. — Ведь этот мальчик мое наказание. Вас он, по крайней мере, боялся. А теперь он совсем распустится. Ведь это не первый случай, что он пьет. Ну, помилуйте, — что это за время такое? Когда же было видано и слыхано, чтобы четырнадцатилетние ребята кутили как взрослые?.. И... мне совестно сознаться, но у него уже завязался роман с нашей гор-

ничной. И я не смею мешать, потому что иначе он совсем отобьется от дома! Он уже и теперь, чуть вечер, исчезает невесть куда... Их, таких милых мальчиков, целая компания. Пробуешь уговаривать, — ничего не дождешься в ответ, кроме ругани. И ведь во всем путном он туп, дик, неразвит, а тут — откуда слова берутся. Я, видите, его не понимаю, я — рыба бескровная, у меня воля задушена, у меня все инстинкты заглохли, а он юноша с темпераментом!.. Это я-то бескровная! «Да, посмотри, — говорю, — на себя и на меня: ты как лист зеленый, а я печь печью, даром, что ты мальчик, а я за сорок перевалила... Безумный ты со своим темпераментом, вот что! Кто же в четырнадцать лет жить начинает?» — «Ничего! Раньше начал, раньше кончу. Известно, долго не выдержу... умру! Туда и дорога». — «Да разве я тебя затем родила, чтобы ты себя истратил ни за грош?» — «А разве я просил вас меня родить?» И откуда этот желторотый нахватался такой прыти и отчаянности? Я — смиренная, отец был нравом сущий теленок, а он так и режет, так и дерзит, так и хамит...

Итак, вот какого гусенка узнал я в подошедшем ко мне гусе.

— Очень рад вас видеть!.. — заговорил он, пожимая мою руку своею нездоровою, холодною рукою — точно лягушку положил мне на ладонь. — На радости свидания не выпьем ли коньячку?

Мне не хотелось пить с ним. Отказался.

— Жаль... очень жаль... — засоболезновал он, — я вас хотел бы расспросить... и вам бы хотелось рассказать... а без коньячку-то я не очень... пороху в голове не хватает... ха-ха! «Укатали сивку крутые горки».

Он не то засмеялся, не то закашлялся. Гляжу я на него: и жалок он, и смешон, и гадок, и... грустно как-то становится: ведь двадцати пяти лет нет малому, а уже калека.

— Что ж это горки так скоро вас укатали? — спрашиваю. — Что вы поделывали, чем занимаетесь?

— Чем? Живу!

— Да и я живу, и другой, и третий, и пятый-десятый — все живут... Занятия-то ваши какие?

— Жизнь — и баста. La vie. Ну и eau de vie * тоже... Мамаша моя померла. Сорок тысяч мне оставила. Ну... вот я и живу. Деньги-то есть. Есть еще порох в пороховнице. А вот спина болит и вижу плохо. Это уже скверно.

— Женаты или еще гуляете?

— Как вам сказать, — и да, и нет... Меня, видите ли, угораздило сделать огромную глупость. В девятнадцать лет меня окрутили... пошло окрутили!.. Простая женщина... вдова... за тридцать... ну мальчишество, дикость! Я ведь без удержа — человек с темпераментом. Когда темперамент заговорит, — все на карту!.. Влюбился — успеха никакого. «Женись, — тогда твоя навеки». Жениться? Ах, сделайте одолжение! Кто же в наш цивилизованный век стесняется этою формальностью?.. Погорячился — и «Исайя ликуй»! А? Каково? Мне — девятнадцать, а ей за тридцать... не дурно? Натурально, через неделю остыл. Расстались, плачу ей там сколько-то в месяц... Ну а теперь я опять немножко женат. Вне оного, но как бы в оном. Знакомить вас не стану. Она не из общества... даже очень не из общества — да что же! Ведь я и сам, в сущности, — какое я общество? Вы вот говорите со мною, а я чувствую, что вы меня презираете.

— Что вы! С какой стати? И не думаю.

— Ну так сожалеете. А что хуже — не знаю. И так всегда, когда я связываюсь с приличными людьми... И им со мною скучно, и мне с ними скучно... Я ведь нигде не бываю! Омон да буфет оперетки; оперетка да буфет омоновский. У Яра сидишь — кофе с финь-шампань пьешь, с знакомыми певицами о чувствах разговариваешь... Сюда меня

* Жизнь... оправдание жизни (*фр.*).

«моя» затащила. Надоел ей Омон, оперы захотела. Сидит — слушает, восторгается, а я вот коньяк в буфете пью. Ихняя сестра иной раз это любит — быть в приличном месте и воображать себя приличной женщиной. А мне что же? Пускай! От слова не станется! «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Знаете, когда женщина плачет — это несносно. Это мне нервы расстраивает и грудь сушит. Я человек впечатлительный. Ведь мы, декаденты... Вы не удивляетесь, что я себя декадентом зову?

— Нет, отчего же? Слово модное. Да и притом от него ведь тоже «не станется».

— Да-с... а кличка хорошая, со звуком... И затем: ежели человек без определенной стези в жизни, надо же ему как-нибудь называться?

— Совершенно справедливо. Так что же «вы, декаденты»?

— Мы, декаденты, не характером живем, а темпераментом: все на себе рефлексами переживаем... Ну здоровьишко-то, глядь, и трещит! А здоровьишко у меня подлое, — да бабы и fine champagne * еще сюда припутались... Сердце скверно работает... того гляди, капут, кранкен! **

Да оно и лучше, знаете, — заговорил он после некоторой паузы, — а то, что я вижу пред собой? Я живу широко, люблю жить. А долго ли такое житье может продолжаться? Сорок тысяч в наше время не деньги...

— Сорок-то тысяч не деньги?!

— Деньги, когда их тратят на дело. А для настоящий жизни — то есть, как я понимаю, — какая же это сумма?.. Я вот всего семь месяцев как вступил в права наследства, и уже одиннадцати тысяч нет... тю-тю!.. Одиннадцати тысяч! Это поскольку же выходит в месяц? А она недовольна,

---

* Высший сорт коньяка (*фр.*).

** Конец, болезнь! (*нем.*)

бранит меня скрягой, говорит, что у нас обстановка хамская, что она так не привыкла... Что же, — она права. Я ее у князя У. из-под носа выхватил, а раньше она при банкире одном состояла. А банкир-то убежал в Америку не с одним миллионом... а сколько их хапнул до бегства, о том история умалчивает и следователь не досчитался. Но сколько бы ни хапнул, растрачивать их помогла ему не кто другая, а моя. Это — школа. Вот разоряюсь... Завтра ставлю ей всю мебель новую. Нечего делать-то: любишь кататься, люби и санки возить. Все для нее! Все! Грр-рабь, но люби! Ну вас это интересовать не может... простите за болтовню... Имею честь кланяться!

— Как ты знаком с N.? — спросил подошедший приятель-репортер.

Я рассказал.

— Учил, брат, его когда-то...

— Могу сказать: выучил!

— А что?

— Известно что: кандидат на скамью подсудимых. Года не пройдет, как попадет в окружной суд на гастроли.

— Ты думаешь?

— Что там думать?.. Наверное знаю. Ты смотри: тельце у него слабенькое, а пьянство великое. Воли никакой, а распущенности — сколько хочешь. Характера нет, а темперамента достаточно. При этом влюблен в такую акулу...

Он назвал мне по имени общеизвестную звезду demimonde'а *.

— Она — денежное объедало. Сколько ей ни выложи, все съест и еще попросит. Самый скверный тип продажной женщины. Те, которые копят, хоть последовательно, понемножку грабят; от них человек хоть в рубашке уходит. А эта — бездонная бочка: одной рукой возьмет, другою вышвырнет за

* Полусвет (*фр.*).

форточку. Ей сорока тысяч мало на один зубок. Слопает она все, что может слопать, а затем в лучшем виде выставит этого молокососа от себя вон. А ведь он, идиот, воображает, что она в него тоже влюблена... Арман и Маргарита Готье этакие! Хоть бы с зеркалом посоветовался. В этом-то воображении и трагизм. Была влюблена и выставила, — значит, изменила... Измена? Га! Тысяча пушек и четыреста мортир! Крови, Яго, крови!.. Очень меня интересует одно сомнение: прямо ли он ее пырнет, без всяких предварительностей, или же сперва... за подлог будет судиться? А уж что так или иначе, с предварительным подлогом или без оного, но пырнет — это будь спокоен! Верь на совесть. Этакие-то вот мозгляки, с коньяком вместо крови в жилах, и пыряют! Потому что здоровый, крепкий человек, с основательным рассуждением, с характером, с нервами, не расстроенными как фортепьяно уездной барышни, — всегда сумеет разобраться в бабьем вопросе. Коли с ним случится любовное несчастие — он перенесет адскую муку, прежде чем покуситься на какую-нибудь кровавую пошлость. Помнит, что у него живая душа и у «нее» надо загубить живую душу. Ревность здоровых людей тем и ужасна, что им не хочется ей поддаваться, а приходится. Они всею душою рады уцепиться хоть за что-нибудь такое, что рассеивало бы их сомнения, давало бы логическое право не ревновать, а, следовательно, и не наказывать. Ты возьми Отелло и возьми Позднышева. Отелло — здоровый человек, а Позднышев — новый тип, выкидыш культуры, «человек темперамента». Ведь Отелло так ловко обставлен Яго, что у него не может и оставаться никаких сомнений. Да и то «жаль, Яго! О, Яго, страшно жаль»! Рассвирепел, резать пришел, секим башка делать... и плачет! Алебастровую кожу пожалел! Потому что убивал с сознанием, по праву и требованию всего своего характера и долга, а не наобум, не по первому клику ми-

нутного порыва. Потому что считал себя обязанным убить, а не потому, что убить хотелось — нутром хотелось, как Позднышеву. Знал, что делает страшное дело, а не трагические фарсы разыгрывает. Здоровый человек от природы не ревнив; напротив, он доверчив, — и ревность для него болезнь, несчастье, которого он больше всего на свете боится. Взять того же Отелло: «ревность он не скоро ощутил, но ощутив, не знал уже пределов». Пушкин прозорливо отметил эту черту и у Вольтерова Отелло Орозмана, с его глубоко-разумным стихом:

Je ne suis point jaloux;
Si je l'étais lamais! *

Эти же людишки quasi-темперамента, эти Позднышевы, Кувшинские, Васильевы, Богачевы, мальчишки Крейзманы, Ивановны, Краузе и tutti quanti ** «наши симпатичные убийцы» — разве когда-нибудь над чем-нибудь задумывались? Они все шкурой принимают и на все шкурой отвечают. А шкура-то ободранная — нервы-то гольем видать. И чуть что по этим нервам царапнуло, — шабаш! «Не взвидел я света — булат загремел, прервать поцелуя злодей не успел!..» Именно «света не взвидел» — от мгновенной, острой, физической... скорее, по крайней мере, физической, чем нравственной боли. Если бы он мог хоть сколько-нибудь думать, хоть немного повертел бы своими ограниченными и с детства попорченными алкоголем мозгами, то, может быть, и поостыл бы... Совершил бы преступление разве лишь тогда, когда, действительно, не остается другого выхода: пропадай ненужная жизнь! И моя,

---

* Я ничуть не ревнив;
Но если взревную! (*фр.*)

** Иже с ними (*ит.*).

и чужая! Но, ах, мозги-то не вертятся. Они привыкли думать медленно и поверхностно. Когда в них западает что-нибудь глубоко и всерьез, это для них так необычайно, что не мозги управляют этими глубоко запавшими идеями, а идеи покоряют себе их, переполняют собой все мышление, всю психику бедных недоумков. Идея — мстить за измену, за оскорбление. Ну и весь недоумок превращается в ходячую машину кровавой мести. И палит или пыряет. Одним преступником больше. Его громят прокуроры, а защитники молят извинить его как «продукт времени», не ответственный за грехи порочного конца века, как ответчика за пороки предков, плод вырождения которых-де он своею особою представляет. В ход идут среда, наследственность, социальные причины... Говорятся слова умные, слова громкие, слова кстати и полезные, слова некстати и лишние. Особенно много слов лишних. Характеристики, психологический анализ. Андреевские, Карабчиевские, Урусовы потеют над Ломброзо и Маньяном, роются в Крафт-Эбинге, приискивают цитаты у Зола, Гаршина, Достоевского... Охота же людям морочить самих себя, глядя на свет сквозь серьезные гляделки трагической маски! Какой там психологический анализ?! «У Васьки, милый, не душа, а пар», — поучала меня в детстве моя нянька, когда я интересовался, пойдет ли в рай душа моего любимца, серого кота. Так вот и эти Краузе, Васильевы, Крейзманы, Кувшинские и Ивановы, думается мне, выродили свою бедную душу до того состояния, когда она перестает быть душою и становится паром. Паром, над которым — бессильным, бессмысленным и безответным — самовластно царит тело, отравленное пьянством и развратом, избалованное потворством каждой своей прихоти, каждому своему пороку, изнеженное в своей нервной распущенности до того, что «декадент» криком кричит там, где здоровый человек и не поморщится.

ПЕРВАЯ ПОЩЕЧИНА

Рассказ мой начинается с того самого момента, как Марья Сергеевна дала пощечину своему супругу Алексею Трофимовичу. Вслед за тем она упала в кресло, взвизгнула, захохотала, заплакала, заболтала ногами и вообще проделала все то, что прилично проделать благовоспитанной даме, чувства которой оскорблены до необходимости впасть в истерику. Алексей Трофимович стоял с видом полного недоумения и, почесывая рукой ушибленное место, шептал:

— Но... но... однако... какие же прецеденты?!

Он припоминал: полчаса тому назад он вернулся из должности в самом благодушном настроении; Марья Сергеевна встретила его спокойно, хотя несколько надувшись. На всякое чиханье не наздравствуешься, а потому Алексей Трофимович, подарив настроению супруги улыбку сострадания и два-три прочувствованных слова — для приличия, а в сущности — нуль внимания, прошел к шкафчику, вонзил в себя две рюмки английской горькой, закусил белорыбицей с хреном и пришел в еще лучшее расположение духа. В ожидании обеда он журавлиным шагом промаршировал через всю свою небольшую квартирку, необыкновенно грациозно переступая на носках из одной паркетной клетки в другую и довольно похоже наигрывая на губах марш из «Кармен». Потом подошел к окну и на запотевшем стекле не без удовольствия расчеркнулся: Фазанов... А. Фазанов... Алексей Фазанов... Сим и заканчивается ряд «прецедентов», если не относить к нему «козу рогатую», которою счастливый Алексей Трофимович во внезапном приливе супружеской нежности угостил Марью Сергеевну. В ответ на козу и раздалась пресловутая пощечина... первая пощечина за три года супружества!

Марья Сергеевна была удивлена своим поступком не меньше самого Алексея Трофимовича и теперь, визжа и коверкаясь в креслах, думала про себя «за что, бишь, это его я» и никак не могла сообразить; одно только знала она твердо и ясно, что Алексей Трофимович, так или иначе, но виноват, ужасно виноват, и что, как скоро уже дана пощечина, то, значит, ее и следовало дать. Впрочем, начну со вчерашнего дня...

Марья Сергеевна проснулась довольно поздно. Вчера супруги были на вечеринке у Пуликовых, и на этой мерзкой толстухе Вавиловой было такое чудное платье из фая. Это платье всю ночь плясало перед взволнованными глазами Марьи Сергеевны: оно было как живое и то развивалось буфами и воланами, то съеживалось под скромной, но изящной отделкой плиссе, то величественно влачилось по полу, шурша саженным трэном, — то, теряя трэн, приобретало вид несколько куцый и легкомысленный, но до последней возможности модный... ах какой модный!

Благодаря ночным грезам, Марья Сергеевна, как только подняла с подушек отяжелевшую головку, так и сказала сейчас же:

— Господи! какая я несчастная!

И, бросив взгляд на ситцевую, уже потрепавшуюся обстановку своей спальни, и на окна, в которые во все свои серые глаза смотрел кислый туманный день, убедилась, что она точно несчастная, а вошедшая в это время кухарка Клавдия не менее справедливо заключила, что барыня встала с постели левой ногой, так как на невинный свой вопрос:

— Барыня, прикажете купить к обеду соленых огурцов? — получила довольно непоследовательный ответ:

— Ах, отстань, ради Бога! дайте мне хоть умереть спокойно!

Тогда Клавдия мысленно констатировала факт, что «нынче на барыне черти едут», и стала резонно докладывать, что смерть — сама по себе, а огурцы — сами по себе, потому барин из службы придут и ругаться будут. Барыня испустила глубокий вздох и, с видом Ниобеи, лишающейся последнего из чад своих, «дала Клавдии злато и прокляла ее».

Марья Сергеевна не слишком обременена занятиями: в кухню она не заглядывает, основательно находя, что там слишком дурно пахнет; детей у Фазановых нет, читать она не охотница... Играть на пианино? — инструмент расстроен до неприличия.

— Ведь говорила я противному Алешке, чтобы позвал настройщика!

Разговор об этом происходил с месяц тому назад, а вот и до сих пор не принес практических результатов. Ах, тяжело иметь неисполнительного супруга! Марья Сергеевна погрузилась в печальные размышления на эту привлекательную тему и, перечисляя ряд супружеских промахов, скоро пришла к вопросу: купил ли бы Алексей Трофимович, если бы она попросила, ей платье, как у Вавиловой? Она, конечно, не попросит, — она благоразумна, не мотовка и знает, что при полуторастах рублях месячного жалованья нельзя делать таких туалетов, да у ней еще и розовое сюра довольно сносно, — но... если бы! Да нет! не купит! ни за что не купит! Замахает руками и закричит, как в прошлом году из-за стеклярусного тюника:

— Что ты, матушка! В уме ли? при наших ли капиталах? Тут дай Бог обернуться: за квартиру заплатить, матери послать — а ты: фаевое платье!

«Тогда, — думала Марья Сергеевна, — я сказала ему: «Если вы не в состоянии сделать жене тюник, зачем же вы женились?..» И в самом деле: зачем он женился? Больше: как он, полутораста-рублевый труженик, смел жениться на

ней, у ног которой умирали князь Тугоуховский, барон Пимперле и концессионер Ландышев? Правда, князь Тугоуховский сильно смахивал своей наружностью на ходячие песочные часы, у барона Пимперле были какие-то странные нежины на красном лице и препротивно торчали уши, Ландышев даже ради объяснения в любви не мог вытрезвиться, а Алексей Трофимович щеголял тогда такой славной русой бородой и таким красивым сочным голосом декламировал стихи Надсона! Да ведь не с бородой и не с Надсоном жить, а с человеком!

Нет! как я пошла за него, а главное, как он, мелюзга, смел сделать мне предложение? У, противный! Какую бы карьеру я сделала без его глупого ухаживания! Свой дом... титул... Ницца... зимой ложа в итальянской опере... ах, Мазини! ах, Фигнер! Господи, какая я несчастная! Как скучно жить!

И хоть бы развлекал чем! А то ведь он ничего... ну совсем-таки ничего не умеет: дуется со своим приятелем Оглашенным в какие-то скучные шахматы, в которых конь так нескладно прыгает через клетку, что мне, бедной девочке, во век не понять его скачков — вот и все! Даже и Надсона забыл! Только и помнит еще: «Не говорите мне *он умер* — он живет», а уже следующий стих перевирает. Нет! несносный, несносный человек!.. У!..»

В это время Алексей Трофимович прошел под окнами и исчез в сенях подъезда.

«Боже мой! и одеться-то прилично ему лень! На что похоже? — шýба в грязи, воротник облезлый, а шапка! шапка! В кои-то веки отправился в магазин один, без меня, — так и тут не сумел себе купить вещь, хоть немножко к лицу!»

Звонок.

«Сейчас войдет, нежничать станет; думает, что очень приятно, удовольствие составляет. Нет — мерси покорно! Еще прежде он был ничего себе, куда ни шло, а теперь какие-то

баки завел, и, с тех пор, как начал пить водку пред обедом, у него вечно красные жилки в белках... фи!

Здоровается... ну так и есть: целоваться лезет!.. Здравствуй, здравствуй, только не мучь меня пожалуйста; мне нездоровится.

И с чего это он сегодня расторжествовался? Ишь шагает, ишь! Как неприятно, когда этакая дылда мелькает перед глазами! Зачем я только выбрала себе такого большого?.. Трубит! носом трубит! и туда же хочет казаться солидным человеком, отцом семейства!.. Это что еще? Мажет пальцем стекло! Тьфу!.. И как серьезно он все это проделывает; видимо — наслаждается, находит свои поступки необыкновенно умными и занимательными. Нет! мочи моей нет! видеть его не могу! У, животное самодовольное! Убить тебя, убить да уехать! Вот что!.. Лучше и не подходи ко мне, гадкий! Ах какая я несчастная!»

И вот — в ту минуту, когда Марья Сергеевна уже совсем расположилась расплакаться, Алексею Трофимовичу пришла в голову несчастная мысль познакомить жену «с рогатой козой»... Дать супругу пощечину стало для Марьи Сергеевны печальной, но необходимой потребностью!..

ЗОЭ

Зачем ты снова явилась мне в эту ночь — тяжкую и долгую, как дорога в ад, когда, спотыкаясь под ношей воспоминаний, бредет по ней обреченная мукам душа? Чем дальше ведет ее грозный путь, тем мельче становятся образы оставшейся позади жизни, тем глуше и тише ее незабвенные отзвуки. А дьяволы вечного отчаяния, ждущие добычу, все растут и растут впереди — и вырастают, как столетние дубы, и язвительный хохот их переходит в раскаты грома.

Да! я был близок к мысли, что гром — хохот дьявола в эту ночь, когда тучи черною медвежьей шкурою лежали над Римом, ливень хлестал Палатин и Капитолий, а Тибр вздувался в оковах набережной, пытаясь, как узник, вырваться на свободу и затопить Трастевере мутной волной.

Щели в ставнях вспыхивали голубыми огнями непрерывно струившихся молний. Я жмурил глаза. Я кутался в одеяло. Я прятал голову под подушки. Ничто не помогало: кто чувствует грозу, тому не надо видеть молнии, не надо слышать грома, чтобы страдать от нее.

Гроза затихла, но не прошла. Она висела в воздухе, как отдыхающая орлица. Ее дыхание отравило ночь — ночь, чернее Мамертинского подземелья и столько же полную призраков. О тоска тьмы, напитанной электричеством! Ты хуже кошмара: ты смелее его. Кошмар, как вор, подкрадывается к сонному. Ты же огромное приведение в траурной мантии — дерзко садишься на грудь человека в твердой памяти, со свободною волей и, положив на его горло тяжелые лапы, любуешься, когда он, задыхаясь, бьется в своей постели, точно рыба на песке.

В такую-то минуту — о, Зоэ! — ты пролетела предо мною... во сне или наяву?

Яркий луч нес тебя сквозь мрак, ничего не озаряя в нем, кроме тебя. Ты сверкнула, подобно осеннему метеору, и полоса света, как на небе после метеора, долго лежала пред моими глазами твоим следом, медленно выцветая.

Ах! и сейчас я вижу тебя в этом луче: белую и прозрачную, точно фарфор, окутанную в голубой шелк, венком серебряных колосьев на золотистом пепле волос, рассыпанных по полудетским плечам. Вижу тебя такою, как очаровала ты впервые мое воображение! ты — женщина севера, с стальными глазами! ты, дитя вечного горя и минутных торжеств!

Беломраморный зал сиял огнями. Ты пела. Тысячи глаз впивались в тебя. На красном сукне эстрады ты казалась светлым ангелом, слетевшим из рая в адский огонь, чтобы освежить каплею влаги запекшиеся уста грешника. Я не помню звуков, петых тобою. Что в них? Ты сама была живою симфонией молодой и богатой жизни, ты, как пташка, свободно и счастливо летела на крыльях торжественной гармонии, слагавшейся десятками инструментов, послушных жезлу седого капельмейстера.

И, когда я снова увидел тебя такою, долго потом сидел впотьмах на своей одинокой кровати, полный воспоминаний и волнений. Зачем ты явилась мне сейчас? Зачем являешься вообще? Кто был я тебе, кто была ты мне, что теперь твое загробное дыхание веет в мою жизнь, и никогда струны моей души не звучат звонче и грустнее, чем — если коснется их твоя мертвая рука?

Мы редко видались, когда ты была жива. Мы не были друзьями. Больше: мы не любили друг друга. Правда: я любовался тобой, — но вчуже, как любуются картиной, проникнутой духом могучей художественной силы.

Она дышала в тебе навстречу каждому и тянула к себе людей как магнит — железо. Казалось, богатство твоей души тяготило тебя самое. Демон, служащий чародею, если нет ему работы, начинает мучить самого чародея. Талант — тот же демон. Тебя волновала смутная жажда деятельности — могучей и великолепной. А я думал: «Эта девушка — не знаю, чем будет, но способна быть всем, чем захочет. Но, на свое горе, она сама не знает, чем ей быть... и, быть может, никогда не узнает».

Ты знала, что я так думаю, и не любила меня именно за это. Я гордился твоею нелюбовью: она выделяла меня из толпы поклонявшихся тебе друзей — рабов, которых ты и любила, и презирала.

Такова уже судьба человека: не уважать тех, кто любит нас слишком наивно, и не любить тех, кто понимает нас слиш-

ком хорошо. Потому что, раз человек понял другого, — между ними нет уже места поклонению; они осуждены на равенство, ненавистное гордому духу. Женскому — в особенности. Женщина должна быть или рабою, или царицею; в равенстве ей скучно и душно.

Наши встречи и беседы — дружеские на вид — были полны тайного недоброжелательства, заметного лишь для нас двоих. Наши шутки были слишком злы. Мы любили ловить друг друга на неловком слове, неловком обороте речи, на каждой недомолвке, каждой непоследовательности.

За глаза и в глаза мы трунили друг над другом, стараясь нанести как можно больше ударов и моему, и твоему самолюбию, и чтобы удары попадали как можно больнее и глубже. А самолюбия были огромные...

Часто наблюдал я, как твой взор — глубокий взор сероглазой королевы эльфов: мечтательный и властный, туманный и повелительный, — неподвижно застывал где-то вдали, на воображаемой точке, видной тебе одной. И мне хотелось спросить:

— Какой трон рисует вам гордый полет воображения? Какого сказочного принца, чтобы взвести вас на этот трон?

Пришел и принц. Ты полюбила и стала женою любимого человека. Я равнодушно приветствовал твое молодое счастье... короткое, жалкое счастье нескольких дней.

Королева фей! Ты на сцену смотрела, как на жизнь, а на жизнь, как на сцену... Когда спектакль любви кончился, когда упали пестро раскрашенные кулисы, когда очаровательный театральный принц снял с лица румяна и белила, а с плеч мишурный кафтан, — ты растерялась... смутилась... ужаснулась.

Вся юность твоя была поэтическим самообманом величия и красоты. И все рухнуло, нет ни трона, ни принца, —

есть красавец-муж в толстом пиджаке и широких штанах, который больше всего на свете боится, как бы твои фантазии не перешли в истерику.

Ты, как статуя, жила в пьедестале: гордою, уединенной богиней, выше мира и людей. Женщина одиночества отдалась человеку толпы. Жизнь звала. Пришлось сойти с пьедестала и смешаться с толпой. Ты оказалась в ней чужою, как голубка в стае черных воронов: робка, странна, неумна, неловка... всегда жалка, иногда смешна.

Сказки севера передали нам образы лебединых жен, которые увлекались любовью к смертным богатырям; тогда оставляла их сверхъестественная сила, и, прикованные к заботам земли, влача вялую жизнь жены-рабыни, они изнемогали в мятежной тоске по голубому небу и плавающим в его просторе сестрам — облакам. И, если не отрастали вновь их обрубленные лебединые крылья, они хирели, чахли, умирали, как зачахла и умерла ты: обманутая самой собою и людьми, с ненавистью к земле и без надежды на небо.

Бежали годы. Я встречал тебя чаще, чем прежде, раз от раза все более и более отцветающею; ты умирала телом, угасала душой. Твоя красота разрушилась. Твой талант увял. Неверующим глазом смотрела ты вперед. А когда озиралась на пройденный тобою путь, — о какою язвительною тоской звучали твои холодные металлические речи! То был хохот трагического демона иронии, вселенного в тебя отчаянием. Его острый, угрожающий взгляд сверкал в суровом блеске твоих, точно оледенелых глаз. Ты старательно избегала встречаться с моим взором, потому что знала, как ясно я читаю в душе твоей последнюю радость: скорее бы умереть!.. — и тебе не надо было чужого участья.

Ты умерла. Я не имел духа взглянуть на тебя в гробу — обезображенную смертью. Я счастлив этим: иначе твое имя

подсказывало бы теперь моей памяти не светлый голубой образ, мелькнувший предо мною в луче ночной молнии, но раздутый труп — отвратительный сарказм смерти и разложения.

Друзья несли на плечах к могиле твой обвитый венками, сверкающий белою парчою гроб и забросали его мокрою глиной. Монахи пели тебе вечную память, однако все тебя скоро забыли... все, — и я, быть может, скорее других.

Но однажды, зеленою весною, когда в окна моего кабинета задумчиво глядела таинственная луна, а я, сидя верхом на подоконнике открытого настежь окна, слушал мерный шум засыпающего города, какой-то звук в этом шуме внятно сказал мне:

— Зоэ!

И вдруг мне стало безмерно жаль твоей погибшей жизни и стыдно! стыдно!! Непонятно стыдно!!! что я забыл тебя... Я долго рассматривал твой портрет. На нем лежало яркое лунное пятно. Мне казалось, что ты улыбаешься длинною, печальною улыбкой, важною улыбкой смерти над бесполезным сном жизни. О бедная! бедная! Прекрасная, как цветок, увядшая, как цветок, и, как цветок, забвенная — цветок без завязи, не оставивший по себе ни плода, ни следа... Пустоцвет!..

Как горько звучит это опошленное слово, когда звучит оно про тебя!

Жалость росла, глаза были мокры, я впервые понял, что мы с тобой были друзьями больше, чем думали. Но ведь это была одна минута — только одна чувствительная минута, прогнанная стаканом вина за ужином и крепким семичасовым сном...

Но — зачем потом... через неделю, может быть, через две недели — не помню... потянуло меня в монастырь, где мы тебя зарыли в землю? Я удивился, как хорошо там. Падал

вечер; белое море цветущих яблонь и вишень монастырского сада, что позади кладбища, стало розовым. Колокол — маленький, будничный колокол — медленно звякал, призывая братию ко всенощной... и, когда отзвякал, грустный, дребезжащий звук долго тянулся и умирал в трепещущем воздухе. Я смотрел на твой черный мраморный крест, на дерн, которым затянуло твою могилу, и думал: это потому он такой зеленый и сочный, что она напитала его своим телом... На кресте налипли лепестки яблонного цвета... По заре тянуло тонким холодком, и дух яблонь тихою струею колыхался над могилами... Я как всегда не верил в смерть и мертвецов и чувствовал, что я — живой с живыми, хоть и незримыми. И ты, Зоэ, была тогда там! Была, разлитая в благоухании цветов, в розовом трепете вечера, в плаче отзвучавшего колокола...

Я помню раскаленную зноем синеву неба и силуэты ломбардского городка, прилепленного к скалам. Когда у маленькой проходной станции на минуту замер грохот нашего поезда, — высоко над нами звонили к Agnus Dei *, а в окно вагона пахнуло яблонным духом, и мне захотелось думать о твоей могиле — там, на мутном севере, в ограде старого монастыря.

— Pronti! ** — крикнул кондуктор.

Поезд рвался вперед. Но, когда он пробежал платформу, ты мелькнула от окна к окну моего купе! Я видел твою склоненную голову с развитым локоном на снежно-бледной щеке. Я едва не протянул руку, чтобы поймать порхнувший в окно дымчатый лоскут твоего длинного шарфа.

Была тоже странная ночь... Круглая и желтая луна щитом плыла мимо Колизея; с робкою поспешностью мигала под нею зеленая Вега. Амфитеатр на половину сиял го-

---

* Агнцу Божию (*лат.*).

** Поторопитесь! (*фр.*)

лубым светом, наполовину тонул в голубой мгле. Огромные, внимательные звезды глядели и в его просветы. Я сидел на арене, спустив ноги в черную бездну развалин водомоя, и думал о сотнях тысяч людей, что до меня топтали эту пропитанную кровью арену. Думал о том испанском художнике, который прославился «Видением в Колизее», но — сдав картину на выставку — сам был сдан в больницу для душевнобольных. Образы его картины безотвязно гнались за ним. Он видел белую девушку перед кровавою пастью голодного льва и видел, как падала к ногам мученицы алая роза — последний привет неведомого друга. Он видел, как — вон из той зияющей черной дыры направо — выходил зарезанный в подземном ходе Коммод. Он слышал рык зверей, крутящих смерчи песку на арене. Тяжелый, неповоротливый германец падал пред его глазами, охваченный рыбачьей сетью ретиария, и умирал под острым трезубцем, при оглушительных воплях толпы. Боевые колесницы стаптывали тяжело вооруженных, едва в состоянии двигаться, людей, пересекали встречным лошадям ноги косами, укрепленными в осях колес. А там, вверху, на уступах этого здания-горы, десятки тысяч злорадно-внимательных глаз впились — не оторвутся от длинной цепи меченосцев, строгим воинским строем движущихся вокруг арены. Вот по команде магистра, враз брякнуло их оружие, две сотни голосов враз рявкнули и оборвали по-солдатски последнее приветствие... «Ave Caesar Imperator, morituri te salutant!..» *

Я думал об этих красивых снах, но тщетно напрягал свое воображение, чтобы вызвать их из темных пещер Колизея: старые мертвецы крепко спали. Однако... я чувствовал, что недалеко от меня живет и волнуется другое существо; пришло нежданное и незванное... стоит, ходит,

* «Здравствуй Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!..» (*лат.*)

реет, веет, — не знаю, как сказать, что о нем подумать — где-то близко-близко. Оно трепещется, как бабочка под сеткой, и дышит яблонным цветом... И, смело глядя в угрюмые галереи цирка-призрака, я избегал взором лишь одного косого выступа налево, где играла узенькая полоска лунного света. Я знал, что эта полоска — ты, Зоэ! Что это ты повисла в воздухе струей светящегося тумана, качаясь на месячном луче...

Но там на кладбище, в поезде, в Колизее — ты все-таки была скорее предчувствием, чем видением. Теперь же я видел тебя... Как? Я не знаю. Что ты? Я не понимаю. Сновидение? Призрак? Галлюцинация? Или, наконец, просто непроизвольное воспоминание зрения? Давнее впечатление твоей красоты спало в моем мозгу, забытое и неподвижное; неведомый толчок разбудил его, и оно воскресло свежее, нарядное, полное блистающих красок, точно все это было только вчера!

Как бы то ни было: внешнее ли ты явление, или я вижу тебя только духовными глазами, внутри своего сознания, — все равно. Главное, что я тебя видел. И не смутился, не испугался, но был счастлив тем, что вижу. Я знаю: это было не в последний раз. Я чувствую: между мною, живым, и тобою, мертвою, внезапно установилась таинственная связь, которой никогда не проявиться бы, пока нас обоих одинаково грело земное солнце. Наши воли сроднились. Ты мне близка. Я хочу думать о тебе, хочу сладких и сильных волнений ожидания... хочу стоять на границе загадки, которую разгадать — и желанное, и боязное счастье.

Я стараюсь вспомнить каждое слово, каждый жест твой во время наших былых встреч. О как жаль, что их было так мало, что их не достает мне, когда я стараюсь дополнить воображением то, чего не подсказывает мне о тебе память. Я сочиняю тебя, как легенду, как миф, как бесплодную фантастическую поэму; ее звуки и аромат назойливо врываются

в каждую минуту моей жизни. Ты стоишь рядом с каждою мыслью, возбуждаемой в моем уме. И знаешь ли... это странно... но мне начинает представляться, будто это не теперь только, а и всегда так было... Только я этого не замечал...

Да! Не замечаешь воздуха, которым дышишь, не замечаешь закона тяжести, которым движется мир... Не замечаешь и великой духовной любви, которой власть узнаешь лишь тогда, когда ее фиал разбит, когда пролилось и в землю всосалось заключенное в нем вино...

Любовь!.. Страшное слово: *сильнее смерти*! Оно нечаянно сорвалось с моего языка... а *думалось* все время!.. Да неужели же его непременно надо здесь произнести?

Неужели... неужели я — твой равнодушный, насмешливый полудруг-полувраг — в самом деле любил тебя, Зоэ?.. Любил — и не знал?!.



МИФЫ ЖИЗНИ

ГОРНЫЕ ПИСЬМА

От автора

В этом томе соединено большинство этнографических рассказов, легенд и фантазий, построенных на легендах, которые входили в сборники «Сон и Явь» (1893), «Психопаты» (1893), «Грезы и Тени» (1895), «Святочная Книжка» (1901) и «Красивые Сказки» (1908). Всех этих изданий давно уже нет в продаже.

А.В.А.

1911.12.IV
Fezzano

ДИКИЙ ЦВЕТОК

Матико *) больна. Бог знает где и как схватила она два месяца тому назад кашель; по ночам ее бьет лихорадка, начинаясь всегда в один и тот же час, а потом до самой зари, переводя девушку из жара в озноб и из озноба в жар, испарина так ослабила Матико, что вот уже три недели как домашние махнули на нее рукой, даром, что время было горячее — снимали с поля вызревший ячмень; ну ее, девку, Бог с ней: не работница в поле, не хозяйка в доме! Только, перестав быть полезною семье, отказавшейся от нее как от рабочей силы, Матико сознала, что ей плохо, и стала готовиться к смерти. Раньше она не верила в опасность своей болезни, хотя еще в самом начале этой ужасной лихорадки знахарка Като из Бандзури **), бесполезно перепробовав на девушке все свои отвары и коренья, показала однажды, осердясь, матери Матико пальцем на небо, топнула ногой по земле, сказала: «Душу — туда, тело — сюда», — и отказалась продолжать леченье. Русский доктор Гудумакарского

---

*) Грузинские имена, встречающиеся в рассказе: Матико — Марфа, Като — Екатерина, Сандро — Александр, Вассо — Василий.

**) Ущелье и деревушка Бандзури, на левом берегу Арагвы, в глухой местности Душетского уезда, между станциями Ананур и Пасанаур Военно-Грузинской дороги.

госпиталя *), куда, по настоянию батюшки-священника, поборов с великим трудом свое отвращение к присяжным жрецам медицины, свел Матико ее отец, — тоже вместо всякого совета, только покачал головой и, протяжно свистнув, промолвил: «Ах вы черти, черти! когда приходите лечиться!» Этот доктор все-таки дал Матико какие-то капли: от них она спала, и ей казалось, что ей лучше и что она скоро выздоровеет, чего ей очень хотелось; и в самом деле, не бессмыслица ли умирать в шестнадцать лет!.. Но уж если домашние стали такие добрые — не тащат ее в поле, не заставляют прибирать саклю и варить лоби **), не мешают ей лежать целый день пластом на жарком солнце, — значит, конец.

— Что это у вас с девушкой? — спросил как-то раз прохожий.

— Не трогай ее! — сердито ответил ему Сандро, меньшой братишка Матико, — она у нас помирает.

Матико не боится умирать. Зачем? Она никогда не думала о жизни, не думает и о смерти. Цветком взошла она на суровой почве родных гор, цветком и увянет. Что будет дальше, ее не страшит. Батюшка зашел как-то к ней в саклю, и от него Матико узнала, что Христос, Кому она молится дома и в церкви, добр, милосерд и светел, что у Него есть прекрасный сад на небе, и там много места для честных девушек, умирающих молодыми. Об аде никто не говорил Матико... да и к чему было говорить? Разве справедливый Бог может послать шестнадцатилетнее дитя гор в ад? Кто не видит света, тот не думает; кто не думает, — не грешит... Матико же до сих пор видела только зеленые горы, серые

*) Этот госпиталь, ныне уже упраздненный, стоял в живописном Гудумакарском ущелье, из которого вырывается Черная Арагва, двумя верстами ниже, в Пасанауре, сливающаяся в одну реку с Белою Арагвой.

**) Лоби — фасоль; горцы питаются лоби круглый год; это их обычная пища в будни.

сакли, голубое небо да пыльную далекую дорогу, выбегающую из котловины, в зелени которой затонуло ее родное селенье, в грозное, мрачное ущелье, где всегда такой порывистый ветер и где льется такая шумная, черная река. Говорят, по этой дороге можно зайти далеко-далеко, даже в самый Тифлис. Матико никогда не стремилась увидать ее чудеса. Она — смирная, покорная, тихая девушка. Нет, скорее можно осудить геенне птиц и зверей пустыни, чем этого ребенка — такого же дикого, как они, но беззащитнее и кротче их.

Ответ брата прохожему запал в голову Матико. Теперь, когда она одна взрослая в селении, покинутом жителями, оттерпливающими страду, ей часто приходится разговаривать с прохожими. Ее расспрашивают чужие люди о дороге в соседние аулы, о том, где Арагва удобнее для купанья, богаты ли ее родители, и каждый-то непременно скажет под конец:

— А что же ты, девушка, не на пожне?.. Пора рабочая.

Тогда она спокойно и простодушно отвечает словами Сандро:

— Мне нельзя, добрый человек... Я умираю...

Чужие люди качают головой, щелкают потихоньку языком в знак сожаления и уходят. Иной в утешение прибавит:

— Да, вот что... Ну ничего, не робей, генацвали *), даст Бог поправишься...

Ор — свирепая белая овчарка, вместе с Матико и десятком малых ребят охраняющая деревню, привыкла к больной, лежит пред нею по целым часам, высунув длинный красный язык, и молчаливо смотрит в лицо Матико суровыми, честными глазами. Матико тоже любит Ора, иногда она тихо зовет его и манит исхудалою рукой, и Ор, хотя терпеть не может, чтобы его гладили, ползет к девушке с ласковым взглядом и покорно подставляет ее пальцам свою мохнатую голову: как добрый пес, он смекает, что нельзя отказывать

*) Генацвали — душа моя.

умирающей в некотором удовольствии и следует для нее пожертвовать отчасти своими привычками.

Однажды рука Матико что-то слишком долго застоялась на башке Ора; пес почуял недоброе, высвободился; от его движения девушка упала навзничь через порог, где сидела; голова и туловище ее легли в сакле, ноги на улице. Ор внимательно поглядел в лицо Матико, понюхал, лизнул ее руку и, коротко и грозно взвыв, бросился бежать из деревни. Прибежав на пожню, он сел пред отцом Матико на задние лапы и завыл.

— Он прибежал… видно, девка умерла... — сказала старику жена.

— Беги скорей, посмотри... да убери ее, коли в самом деле неладно... — глухо ответил старик, бледный как полотно, не отрываясь, однако, от работы; его громадный серп, который в России скорее сочли бы за кривую саблю какого-нибудь дикого богатыря, чем за мирное орудие жатвы, вдвое быстрее засверкал в воздухе.

— А ты?.. — нерешительно спросила старуха.

— Ты видишь: ячмень течет!.. — сказал он, и в голосе его задрожала такая неслыханная дотоле струна, что сосед его по серпу — рослый мрачный парень-бобыль, кого все в деревне звали «сердитым Вассо», вздрогнул, отвернулся и долго пристально смотрел зачем-то на вершину ближней горы, шепча втихомолку крупные слова — проклятие собачьей бедности, таким тесным рабством связавшей жизнь горца с его ячменным полем, что ни чувствовать, ни сожалеть, ни страдать, ни плакать, — словом, быть человеком некогда. Потом снова взялся за серп, но прежде чем возвратиться к работе, ласково потрепал дружескою рукой по спине согбенного над снопом старика. Тот даже и не почувствовал. Молча, не глядя друг на друга, не поднимая лиц, быстро, ловко и споро делали жнецы свое дело, но, несмотря на жаркий полдень, на падавшем

под их ударами ячмене порой сверкали бриллиантовые капли, похожие на росу.

В деревне толпа ребятишек, разиня рот, издали смотрела на распростертую на земле Матико. Мать пришла, села в стороне и заголосила. Ор выл.

Дикий цветок увял и осыпался.

СКИТАЛЕЦ

Я уже верст пять прошел в сторону от Военно-Грузинской дороги, легко подымаясь вверх по течению Чубурике, незначительного притока Арагвы. Это прелестная речонка: вода в ней светлая как хрусталь, очень холодная и мчится по ущелью с головокружительной быстротой; белая пена кусками оседает на громадных камнях, порогами низводящих русло к устью: на этих порогах Чубурике ревет, словно каждая капля ее несет в себе чью-то глубоко возмущенную и громко негодующую душу. Войдешь в воду — едва можно устоять на дне: ледяная струя так и валит с ног.

Продираясь сквозь прибрежные орешники, я набрел на узкую тропинку: она змейкой вилась вверх по правой стене ущелья Чубурике; я пошел по ней и вскоре очутился на каменистой проезжей дороге, когда-то недурной, теперь совершенно заброшенной, местами разрушенной дождевыми потоками, закиданной камнями мелких обвалов и оползней. Я брел по этому мертвому пути с полчаса, не встретив ни живой души, не имея у кого спросить: *«Садарис кза?..»* (куда дорога?..). Наконец с досадой решил остановиться и улегся на отдых под тень какого-то куста, наклонившего ко мне кисти совсем еще зеленых, узких и мелких ягод. На этом месте застал меня человек, весьма странно одетый по здешним местам. На Военно-Грузинской дороге при фургоне еще куда ни шло встретить такую фигуру, но в горах уже совсем нео-

быкновенно. Высокие сапоги, штаны в голенища, какая-то желтая куртка вроде кителя, парусинный картуз, ранец за плечами. Фигура поклонилась:

— Русские будете?..

— Да, русский.

— Присесть к вам позволите?

— Пожалуйста.

Фигура расположилась рядом со мной. По рыжей бороде, носу картошкой и ласковым голубым глазам, а главное, по певучему «аканью» в речи, я сразу узнал в пришельце своего брата, москвича.

— Откуда и куда идете? — спросил я.

— Издалека, господин... Про Каракуль слыхали?

— Позвольте, это... в Семиречинской области?..

— Теперь он Пржевальском называется, с той поры как Николая Михайловича Пржевальского там похоронили...

— Да ведь это ужасная даль. Каким же способом вы путешествовали оттуда?

— По образу пешего хождения, а потом до Узун-Ада по чугунке. Через Аму-Дарью чугунка идет. Чудная речка! Инженеры ее мостом прикроют, — вот какой мостище вытянут, не хуже Сызранского на Волге... видали? — а она возьмет да песками и перекатит выше... Инженеры ее опять мостом хлоп, а она от них опять в сторону верть!.. Потом в Баку на пароходе. От Тифлиса опять пешком...

— Что же вы делали в Каракуле?

— Как вам сказать?.. Я туда так пошел, без надобности... На Арале был, оттуда недалече... Поклонился могилке Николая Михайловича, да и ушел.

— Вы знали его, что ли?

— Пржевальского-то? Знал малость. В Питере, когда он собирался в последнюю экспедицию, я просился к нему... Не взял. Богатырь был мужчина, большого характера господин... Не взял он меня больше потому, что я к вину привержен: так

не пью, а по временам на меня запой находит... бесчувственно пью, ни к какому делу тогда не пригоден. А то сам говорил: «Кабы не твоя слабость, я, Сергей Иванович, с тобой не расстался бы, — ишь у тебя лапы какие: медведя задушишь, да и ходок». Точно что в экспедиции я ему пользу мог оказать. А странствие, господин, я возлюбил сызмалу... Я из мещан. Тятенька мой и посейчас имеет питейный под Подольском. Так я мальчишкой — щенком белогубым — убегу, бывало, на ближнее село, Дубровинцами называется. Место чудеснейшее: гора, река Пахра, лес столетний; лягу на обрыве, да так и лежу весь день, смотрю, как кругом прекрасно, и такая-то мне тоска: в даль меня так и тянет, так и тянет! Не мало меня тятенька порол, а охоты не выбил... Я что вам, господин, скажу! — засмеялся Сергей Иванович, — я от невесты убег!

— Как так?

— Очень просто. Сговорили меня с девушкой, хотя крестьянскою, но хорошего двора, с зажитком. И я ей полюбился, и она мне тоже ничего показалась. После Петровок собирались свадьбу играть. Только на неделе пред Петровым днем и зайди к ним странник — пробирался от Соловецких угодников к Киевским чудотворцам... Как порассказал он мне про свою путину — батюшки! что со мной сделалось!.. Лег спать... не могу: пред глазами золотые маковки, река большая, синяя... Жив быть не хочу, — хочу Киев видеть! Что ж бы вы думали, господин? До утра я проворочался с боку на бок, глаза не сомкнул, а как свет показался, я с этим самым странником взял да и ушел, никому не сказавшись... С тех пор и началось мое бродяжничество... Из Киева-то меня домой этапным порядком... беспаспортного. Батька со стены вожжи снял, учил-учил, инда со спины вся шкура слезла... Спрашиваю: «А что моя Варька?» — «Как же, — говорит, — станет она тебя, беспутного, дожидаться! за лавочника пошла». Что же! не судьба, значит, — давай ей Бог счастья!

— А немало, надо полагать, вы видали на своем веку?

— Привел-таки Господь. Здесь, на Кавказе, я всякую тропку знаю. По всем аулам у меня приятели. Еще здесь не так, а вот как Гудаур *) перемахну, пойду Хевским ущельем, в Гудашаури **) заверну, на Сионе ***) остановлюсь, — там меня Боже мой как любят! Чудной народ! бедны — аж смотреть жалко, земля, кроме ячменя, ничего не родит, лета нет, за дровами в Капкой ****) за шестьдесят верст с одной арбой ездят... Это вы рассудите только, господин: шестьдесят верст — день, назад — другой, скотина мореная, у самого брюхо от голодухи подтянуло, потому, кроме чурека, он другой пищи по неделям не видит, а дровишек привезет охапку, на четыре топки, больше не осилить карманом за один покуп. Скудный народ! А добрый! — придешь к какому из ихнего брата, — рад: чурек положит, мацони *****) поставит, вина раздобудет, пожалуй, и барана заколет... душу заложит, а угостит!.. Я, как в Сионе к Михо — охотник, кунак мой — заверну, так и говорю: «Уговор, Михо, — вино твое, баран мой...» Что их разорять! помилуйте!.. Довольно их беки душат: жирные черти, из духана не выходят...

— Куда же вы теперь пробираетесь?

— На Яик хочу пройти. Аккурат к осенним ловлям там буду...

— Вы бывали там раньше?

— Бывал. Хороший народ. Насчет табаку только строги, а то ничего, не гнушаются нашим братом... Другие старообрядцы есть такие, что компанию с тобой водить водят, но все-таки за стол с тобой не сядут, а коли сядут, так свою посуду поставят; когда же я жил у казака, на Урале, то мы из

---

*) Перевал через Большой Кавказский хребет на полпути из Тифлиса во Владикавказ.

) и *) Селения в Хевском ущелье. Сион, с церковью XI века, построенною царицей Тамарой, считается селением священным.

****) Владикавказ.

*****) Чурек — хлебная или ячменная лепешка, мацони — кислое молоко.

одного стаканчика водку пили. Но курева не любил; чуть увидит, что курю, не то что в горнице, а хоть во дворе, на заваленке — сейчас заругается. «Ты, — говорит, — Москва, чем небо коптить, шел бы лучше в горницу, да мы бы с тобой по черпушке выпили, благословясь...»

— Я думаю, в ваших странствиях вы имели немало приключений?

— То есть как это?

— Ну... например, нападали на вас разбойники, дикие звери?

— Мало... Злодей на меня с оглядкой лезть должен, вид у меня, как сами изволите замечать, сурьезный. Однако бывало. Давно, лет пятнадцать тому назад, верстах в двадцати пяти от Капкая заарканили меня ингуши. Обобрали. Денег на мне нашли двадцать пять копеек. Рассердились. «Сказывай, что ты за человек!» Говорю им по-татарски: «Известно какой. У вас Бог, у меня Бог, все мы Его дети». — «Мы тебя не отпустим: на тебе сапоги хорошие... у тебя в городе деньги есть! посылай в город за деньгами, — жив будешь, а не то — горло резать будем». — «Денег у меня нет, — говорю я, — а горло резать ваша воля...» Однако резать меня они не захотели, а выдумали такую штуку: разложили навзничь, один сел на грудь, другой на ноги, а третий наструган тонких колышков, да и ну шашкой забивать их мне под ногти... Боль, скажу вам, нестерпимая, — однако я молчал... три пальца мне разбойники испортили на левой ноге!

— Как же вы избавились?

— Из ихних один вступился... жалко, что ли, ему стало меня; молодой такой мальчишка!.. «Уж если, — говорит, — этот человек муку терпит и про деньги молчит, должно быть, и впрямь их у него нет!.. Отпустим его... он хороший человек, по-нашему умеет, про Бога говорит». Долго спорили, однако отпустили. «Только, — говорят, — смотри, начальству на нас не доказывай». — «А что мне доказывать? Ступайте с Богом!» Сели на коней, гикнули и уехали; сапогов, однако,

не отдали. Я колышки из-под ногтей повыдергал, пролежал ночку в кустах, чтобы нога отошла, да потихоньку на другой день поплелся дальше: в Екатеринодар мне было нужно...

— И вы не жаловались?

— Зачем же-с? Ведь их бы все равно не поймали, а если б и поймали, лучше разве стало бы мне от того, что их в тюрьму посадили? Большого вреда ведь они мне не нанесли, отца с матерью не лишили. Надо рассуждение и жалость иметь: эти горцы народ необразованный, воздух любят... иной на воле богатырь богатырем, а взаперти его через две недели и не узнаешь: муха крылом перешибет! Тюрьма ест ихнего брата. Я в Ставрополе арестантика одного навещал, татарина, — кунак мой, хороший человек, — так, по глупости попал: конокрада убил, да чем бы его, как водится, в балку куда-нибудь, в степь стащить, сам пошел и объявился по начальству. Так верите ли: на глазах моих истаял... Сидит желтый, худой, — одни глаза: «Скучно, — говорит, — кунак, горы не видать, солнца нет...» А подковы ломал!..

— Ну а звери?

— От зверя меня Господь хранил Своим промыслом даже до чрезвычайности. Я в Ферганской области джульбарса вот так, как вас, видел... Сытый, что ли, был, — прошел мимо меня в камыши через дорогу и не поглядел, не то что не тронул.

— Джульбарс — это тигр?

— Точно так, большой зверь-с. Мне со страстей он показался с доброго быка. А ступает тихо, словно кошка... Кисточки на ушах.

— Как кисточки?

— Так, торчат вверх беловатые пучочки волос. Мне эти кисточки очень запомнились. Когда он, джульбарс, вышел предо мной на дорогу из балки, я обомлел. Смотрю на него и не о том помышляю, что сейчас он начнет меня свежевать, а думаю: «Ишь уши-то... с кисточками!» Право-с! Такая глупость. Испугался, известно, — одурел.

— Скажите, пожалуйста, чем же вы живете?

— Да ведь я не все же без дела хожу. Вы не смотрите, что я праздный человек: я людям собой не скучаю... На Кубани в косцы нанимаюсь, на Урале на промысл становлюсь, в прошлом годе нанялся в Волыни у поляка лес валить, однако не стерпел, ушел.

— Что так?

— Вы, господин, смеяться станете: жалко сделалось! Лесище там... Господи! таких я до того и не видывал! Стволины — во: прямо в мачту теши! Макушки выше облака ходячего. На небе солнце, полдень, в поле жара, а низом по лесу идешь, — что твои сумерки, и прохладно. Жалко стало: плачет дерево под топором, — так руки сами и опускаются... Да впрочем, я нигде подолгу не засиживаюсь. Водка меня губит, господин!

Сергей Иванович вздохнул.

— Вот покуда идешь, все равно: хоть бы ее и не было, проклятой!.. А сел на место, — глядь, недели через две и засосало. Ну, конечно, сразу не поддаюсь: мучусь, зверем гляжу, кабак за версту обхожу... а выпил, и пошла писать недели на две, пока наг и бос не останусь. Очувствуюсь, и сейчас же станет мне противно, как это я себя осрамил и характера не выдержал... тут я поскорее в дорогу ударюсь, потому что, если останусь, непременно со стыда опять запью! Прежде я все по святым местам ходил, просил угодников избавить меня от пьяного беса, да не помогло, по грехам моим...

Сергей Иванович встал еще с более глубоким вздохом.

— Однако прощайте, господин. Мне надо до вечера в Койшауры дошагать. И то я с пути свернул; тут в горах есть деревушка, *сопели* по-ихнему, а имя ей Чквени, — заходил туда проведать приятеля... Пять лет не видал, хороший грузин!.. А в Койшаурах другой приятель ждет — тоже прекрасный человек! Прощенья просим. Благодарствуйте за компанию!

Скиталец скрылся за поворотом ущелья, а я смотрел ему вслед и думал:

«Каких только людей не родит русская почва и в какие углы не забрасывает и не прививает их! Не любит сидеть на месте русский человек; все-то тянет его от своего места, от насиженного, теплого гнезда в неведомый край, под чужое небо, к чужим людям, в чужедальнюю сторонку... И хоть бы добра ждал от нее, а то ведь сам же поет в песне:

Чужедальня сторона —
Полынь горькая трава!

Мы создали исключительно русский тип «Ивана, не помнящего родства», секты «бегунов» и «шатунов»; страницы истории нашей пестрят: ушкуйники, низовая вольница, казачество; народное творчество наше страстно тоскует с царевичем Иосафом по «прекрасной матери-пустыне», а величайшие русские поэты провели полжизни — кто на чужбине, кто, в буквальном смысле, «бродя за кибиткой кочевой...» Вот уж подлинно: «Скитальцы и странники мы в сей жизни!»

В ЦАРСТВЕ СНОВ

In die Traum- und Zaubersphäre
Sind wir, scheint es, eingegangen.

Goethe. Faust *

Арагва переливается из Млетской **) долины в Пасанаурскую длинным и довольно узким ущельем, похожим на коридор. Горы здесь теряют ту наивную веселую прелесть, какою так искренне восхищают млетские холмы всякого путника, спускающегося к ним с высот Гудаура, и вместе с тем еще

* Мы, кажется, вошли в сферу чар и сна. Фауст. Гёте (*нем.*).

**) Млеты, Пасанаур — станции Военно-Грузинской дороги — первые по направлению к Тифлису, после знаменитого Гудаурского перевала чрез Главный Кавказский хребет (между Коби и Гудауром).

не приобретают торжественного величия, свойственного зеленым громадам Пасанаура. Если последовать примеру горцев, населивших каждую норку, каждую ложбину своих высот демонами-покровителями, то духом Млет надо было бы назвать резвого Ариэля, Пасанаур сделать столицей царственных Оберона и Титании, а ущелье между первыми и вторым предоставить безалаберному услужнику Пуку. Он или какой-нибудь другой веселый черт сильно похозяйничал когда-то в этом коридоре: природа последнего — ряд скачков, непоследовательностей, контрастов. Линия берега Арагвы идет крайне неровно — то поднимается Бог знает на какую высоту, то спустится, чуть не в уровень с водой, и ползет над нею серою, едва заметною полосой; здесь грозно висит бесплодный каменный обрыв, там почти что от самой реки начинается пологий подъем в несколько верст длиной, сплошь покрытый желтыми нивами; здесь, на необозримом пространстве голых черных скал и серого булыжника, некстати прилепилась крошечная рощица из десятка замечательно зеленых и свежих деревьев; там, среди такого же необозримого пространства леса, еще более некстати, выставил свою плешивую голову скучный, кубышкообразный утес: его почва не поддается оплодотворению и упорно отвергает семена, которые щедро сыплет на нее молодой, здоровый лес. Падение Арагвы в ущелье весьма значительно; ее красивые волны, смешавшие в своей глубине все разнообразие оттенков белого, голубого и зеленого цветов, похожи в этом месте на миллионную толпу школьников, отпущенных из класса: одни играют, смеются, весело кричат, перекидываются снежною пеною, другие обиженно ворчат и сердито дуются, третьи лезут с дракой на встречные подводные камни и, потерпев поражение, ревут от стыда и боли, как недорезанные волки. И все это вместе сливается в общем стихийном шуме, нелепом, но могучем, беспорядочном, но бойком и бодрящем. Иные места посещаешь, чтобы любоваться ими: сюда хо-

дишь из любопытства, не без надежды открыть какой-нибудь новый курьез, отпущенный природой на веки вечные и в самых колоссальных размерах, в поучение мимо путь держащего человечества. Один из поворотов ущелья особенно странен. Коридор расширяется. Правая сторона его, где вьется белая лента Военно-Грузинской дороги, поднимается не очень крутыми, но высокими, округленными террасами; если бы засыпать неглубоким слоем земли громадное здание романского стиля, получилось бы что-нибудь вроде контуров этой горы. Насупротив, далеко за Арагвой, в конце многоверстной широкой балки, виден другой засыпанный замок, но уже готического стиля. Пространство между ними наполнено скалами, вылившимися в самые причудливые формы — иногда смешные, иногда страшные, всегда сильные, резкие, угловатые, никогда не изящные. К ним легко применимы слова Виктора Гюго об очертаниях облаков: «Вы легко найдете в них Калибана, но напрасно будете искать Венеру». В них много беспорядка и разрушения. Можно подумать, что вся эта орда каменных гигантов выбежала некогда из готического замка с тем, чтобы обрушиться войной на замок романский, а исполинские пушки с террас последнего рассеяли дикую толпу и лучших из нее уложили спать мертвым сном по ту сторону Арагвы. Над этою сумятицей скал царствует гора с вершиной в виде трех звериных клыков, похожая на ослиную челюсть, заброшенную в поднебесную высь Самсоном после боя с филистимлянами.

Здесь-то, в этой полусказочной обстановке, и пришлось мне познакомиться впервые с одним из самых красивых призраков грузинского эпоса, с какими только приходилось мне встречаться. Не знаю, распространенное ли это предание или нет; быть может, оно даже не больше как импровизация рассказчика: поэтический талант уделен небом жителям Грузии в редкостном изобилии, нигде не услышишь меньше преднамеренной лжи и больше безобидных фантазий. Но это не

важно: импровизация человека из народа — то же народное произведение; каждую сказку кто-нибудь сложил первый, каждую песню кто-нибудь первый пропел.

Дело было на Казбеке. Горец-грузин взобрался на значительную высоту, разыскивая горный хрусталь и медные самородки, почти единственный промысел вошедших в пословицу своею нищетой жителей подошвы Казбека. Разбив мотыкой большую шиферную глыбу, горец открыл вход в глубочайшую яму, а в ней обрел богатое месторождение металла. Углубившись в яму, горец с каждым шагом находил новые богатства. Гнезда горного хрусталя сверкали пред его глазами целым лесом граненых прозрачных башенок. Шаг еще, — и кругом засветились лиловые аметисты. Удар кирки, — и из-под почвы выглянула плита дымчатого топаза. Счастливый горец набил уже драгоценностями и мешок свой и пазуху, но все не может оторваться от работы и все глубже идет в землю. Яма сузилась и обратилась в тесную трубу, еще чаще усеянную самоцветными каменьями. Горец был не из трусливых, влез в этот опасный проход и, пробираясь по нему, внезапно очутился в огромной светлой пещере. Здесь ему представилось странное зрелище. Он увидал алтарь исполинских размеров, сделанный из белого камня и увенчанный крестом. Тысячи неподвижных воинов, в тяжелых старинных доспехах, стояли на коленях пред алтарем, между тем как священник в полном облачении, такой же неподвижный, как и воины, простирал к ним благословляющие руки. Глубокое молчание царило в пещере, и все эти люди казались мертвыми, хотя и не тронулись тлением. С ужасом и благоговением вглядывался горец в оцепенелые черты таинственных витязей, когда самый старший из них медленно повернул к смелому пришельцу свою седобородую голову и, с ожившим взором, спросил голосом, похожим на гром далекого обвала:

— *Гана дро арис?..* (Разве уже время?..)

Эхо загрохотало по подземелью, на тысячи голосов повторяя вопрос. Старик, опираясь на меч, стал потихоньку

подниматься с колен, руки священника дрогнули, а витязи пошевелились и забренчали оружием. При виде этих чудес, горец едва имел силы выговорить:

— *Джер ара...* (Нет еще!..)

Глубокий вздох вырвался из груди старика, священник и воины ответили ему таким же вздохом, и снова всякая жизнь угасла в их странном собрании. Обезумевший от ужаса горец чуть живой покинул загадочную пещеру и сам не помнил, как выбрался на свет Божий. Он хоть и растерял с перепуга много собранных драгоценностей, однако донес до аула довольно, чтобы разбогатеть самому и обогатить свою родню. Но когда он захотел однажды снова пошарить в чудесной яме, то напрасно проискал ее целый день и вернулся с пустыми руками.

Когда я спросил рассказчика: кто же были витязи — грузин недоумело посмотрел на меня и молча пожал плечами, очевидно, не зная, что отвечать.

У затворников-воинов грузинской легенды есть много братьев на Западе — романском, германском, славянском. Немцы прячут в Кифгейзере Фридриха Барбароссу, а в Оденберге — Карла Великого; сербы — где-то в герцеговинских кручах Марка Кралевича; мадьяры — в Карпатах короля Матьяса; чехи — в горе Бланик, близ Табора, воеводу Венцеля. Бретонцы и шотландцы рассказывают нечто подобное про короля Артура и рыцарей Круглого стола, швейцарцы — про трех основателей народного союза. Каталонцы не верят в смерть своего последнего властителя дона Хайме, черногорцы — Ивана Черноевича, норвежцы — Олафа Краснобородого, датчане — конунга Канута. Все эти живые мертвецы — любимцы народной фантазии — для нее вместе с тем и заступники своей страны. Они выступят из своих убежищ в тот решительный момент, когда отечеству их будет грозить последняя степень опасности от врагов внешних и внутренних, управят дела родины, водворят мир и порядок и затем, свершив свое предназначение, со спокойным духом отойдут к праотцам. Есть что-то несказанно возвы-

шенное и могучее в этой трогательной детской вере темных людей в справедливость, уклонившуюся от мира, но не исчезнувшую из него, закопанную в могиле, но неумирающую, спящую, но чуткую и готовую проснуться. Я не достаточно знаком с историей Грузии, чтобы осмелиться на предположение, кому мой рассказчик отвел могилу в безднах Казбека, — счастливому ли герою старины Давиду Возобновителю, несчастному ли представителю ближайшей к нашим дням эпохи — Ираклию II *), или еще другому какому-нибудь славному деятелю грузинского прошлого. Но люди сведущие, вероятно, не затруднятся осветить симпатичную легенду блеском подходящего к случаю исторического имени. Мое же дело — передать только то, что я слышал, и в том виде, как слышал **).

СТАРЫЙ МУЖ — ГРОЗНЫЙ МУЖ

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны,
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны;
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Пушкин

Тамара Дзнеладзе, крестьянская девушка из небольшого аула под Пасанауром, пошла с подругами на гору за орехами. Не прошло и часа, как подруги прибежали обратно в селение и с испугом объявили, что Тамара сорвалась со скалы

*) Давид Возобновитель — гениальный царь грузинский XI века, — причислен к лику святых; Ираклий II — предпоследний царь грузинский (1798); правление этого высокоталантливого и несчастного государя было рядом ударов судьбы.

**) Ср конец рассказа «Черный Всадник».

и теперь лежит полумертвая на старой гудамакарской дороге. Когда Тамару подняли, она еще была жива, узнала отца, мать, семилетнюю сестренку Нину и своего жениха Фидо, лучшего охотника пасанаурского околотка, богатого, хорошего крестьянина.

— Жизнь моя! душа моя! — плакал над невестой силач Фидо, — что же ты наделала? как же я теперь буду? на кого ты меня оставляешь?

Умирающая посмотрела на него и перевела уже останавливающийся взор на маленькую Нину:

— Вот на кого... — прошептала она, — женись на ней, когда она вырастет... Ты, Нина, выйди за него... Выйдешь?

— Выйду, — сказала Нина, которой Фидо всякий раз, как приходил в саклю Дзнеладзе, приносил либо пряник, либо игрушку; она его за это очень любила.

Тамара улыбнулась и закрыла глаза с тем, чтобы не открывать их больше.

Девушку похоронили. Фидо же взял ружье на плечи, запер свое хозяйство на замок, повесил ключ на крест, свистнул собаку и ушел в горы. Редко с тех пор показывался он в деревне и ненадолго: проживет день-два, а там и опять пропадет месяца на три. Приходя в деревню, он всегда приносил семье Дзнеладзе подарки, присылал их и издалека, через чужих людей.

День в день спустя семь лет после смерти Тамары, Фидо в праздничном наряде появился в сакле ее отца и потребовал, чтобы отдали за него Нину. Старый Дзнеладзе изумился:

— Бог с тобой, Фидо! Какой ты для нее жених? Уж и для Тамары ты был, если правду говорить, старенек, а с тех пор тебе прибавилось еще семь годов; Нина же теперь как раз в тамариных летах.

— Мне ее Тамара обещала, — угрюмо проворчал Фидо, — и она тогда согласилась, дала слово.

— Помилуй, Фидо! какое слово у семилетней?

— Что мне за дело? Я хочу ее в жены и возьму. Если ты откажешь мне, Михо, я буду врагом тебе на всю жизнь и назову семью твою клятвопреступной.

Дзнеладзе растерялся. Он не боялся вражды, но укор в клятвопреступничестве — тягчайшее обвинение, какое только может представить себе совесть грузина.

— По крайней мере, позволь мне подумать, Фидо, я посоветуюсь с батюшкой.

Получив такой ответ, Фидо тотчас же пошел во двор к священнику.

— Смотри, отец! — сурово сказал он, — если ты вздумаешь говорить против меня, когда к тебе придет Михо Дзнеладзе, то вспомни сперва, что у меня ружье хорошо стреляет. Ты человек бедный, и у тебя дети. Нехорошо им остаться сиротами.

Батюшка после этих слов, как только увидал Дзнеладзе, замахал на него руками, прежде чем тот успел открыть рот:

— Убирайся от меня и с Ниной своей, и с Фидо своим!.. Когда столкуетесь, приходите, — я их перевенчаю, а до тех пор знать не хочу ваших дел!

Все старухи селения тоже оказались на стороне Фидо: по их мнению, завет умирающей — дело ненарушимое, как сама судьба.

— А вот я ее обвенчаю завтра же с каким-нибудь молодцом, так и узнаете вы, какое оно ненарушимое!.. — озлился Михо.

— Венчай, но если она обещана Фидо, то рано или поздно рук его не минует: их судьба связала.

До самого Тифлиса ездил Дзнеладзе за советами, пытая старых, мудрых, сведущих в обычаях людей, и везде слышал одно и то же: судьба... судьба... судьба!

— Да что ты упрямишься? — убеждали его некоторые, — какого тебе жениха нужно? Мы Фидо знаем: немолод, но бо-

гат, честен, удалец. Чего еще хочешь? Разве девка уж так сильно не хочет идти за него?

— Нет, девка ничего, согласна... — смущался Михо, — задарил ее, шайтан, побрякушками да ленточками... Нам со старухой жалко ее молодости!

Кончилось, конечно, тем, что Фидо и Нину обвенчали. Четырнадцатилетний ребенок стал женщиной. Фидо души не чаял в жене, но, как у большинства людей, видевших горе, испытавших жестокие потери в жизни, любовь его была сдержанною, затаенною и немножко мрачною. Он не совсем верил своему счастью и часто по целым часам сидел с суровым лицом, обдумывая, довольно несвоевременно: хорошо ли поступил он, настояв на своем из упрямства и под обаянием поздним огнем вспыхнувшей старческой страсти? Может ли любить его Нина, будет ли ему верна?

Фидо поражался тем, что Нина, резвая и веселая в родной сакле, в его доме стала вялою, побледнела, посмирнела, никогда не веселится и слишком много спит.

«Скучно ей со мною!» — думал подозрительный старик и шел к тестю за советом, чем бы развеселить Нину? Но Михо, слушая зятя, только мычал неопределенно, сосал трубку да поплевывал перед собою. Не мог же он сказать Фидо, как хотел бы: «Поди, брат, вон на ту гору, где чернеют за церковью кресты, выкопай яму поглубже, ляг в нее и вели себя засыпать. Годика через два мы найдем твоей вдове хорошего молодого жениха, — с твоим состоянием ее кто хочешь возьмет! — и тогда она, ручаюсь, повеселеет!»

Когда у Нины родился сын, молодая мать возилась с ним, как с игрушкой. Пеленать его, баюкать было для нее большим удовольствием и развлечением. Однажды, вздумав позабавить малютку, она вытащила для него из сундука свои детские куклы и... Фидо, войдя в саклю, застал ребенка-жену с жаром и увлечением играющей в эти куклы, между тем

как некормленый младенец посинел от крика в своей позабытой люльке. Когда Фидо прикрикнул на Нину, она не поняла, за что на нее сердятся, и со страхом посмотрела на мужа своими большими кроткими глазами.

«Недостает только, чтоб она начала меня бояться...» — подумал Фидо.

Прошло года три. Нина подросла, поумнела, отчасти похорошела, выучилась держать себя замужней женщиной, хозяйничать, ходить за детьми. Она дружила с соседками, любила поболтать, посплетничать о том, что Вано любит Марико, и Марико — Гиго, и т.д. Иногда за сплетнями ей становилось досадно, что она не в пример красивее Марико, а прожила за старым мужем, не зная, как это любят молодые веселые Вано, так приятно бренчащие на своих чунгури *) и высоко заводящие свои пронзительные песни. На Нину многие исподтишка заглядывались, но для горца-грузина замужняя женщина — святыня; здесь не осетинские нравы.

Фидо чуял пробудившийся в Нине женский инстинкт и страдал глухо, но невыносимо. Он знал, что жена его невинна, но это мало его утешало; довольно мысли, что отныне Нина в состоянии каким-нибудь несчастным случаем стать виновной, чтобы довести ревнивого горца до полного отчаяния. Если б Фидо узнал, что кто-нибудь ухаживает за Ниной, он убил бы дерзкого, как собаку, если б узнал, что Нина кого-нибудь любит... но об этом старик и думать не хотел, а лишь скрипел зубами и, вращая страшными глазами, гладил дрожащею рукой свой дагестанский охотничий нож. Главным образом, Фидо тяготило сознание, что сам он лично слишком ничтожный оплот против опасности: любовь, если захочет, одним взмахом перенесет молодую женщину через обязанности к скучному, мрачному старику и бросит ее в объятия ка-

*) Грузинская балалайка.

кого-нибудь бравого удальца. Он стал следить за Ниной, как прежде следил за лисицей в горах. Каждое слово ее с мужчиной, каждая улыбка вызывали негодования Фидо. Начались сцены. Жена не понимала, чего хочет от нее муж, за что привязывается, бранит и, наконец, однажды даже ударил...

Когда это случилось, Фидо стал как безумный. Отняв руку от косы жены, он тяжело рухнул на пол сакли и долго лежал, закрыв руками красное от стыда и гнева лицо. Нина всхлипывала, не смея громко рыдать, и более от страха, чем от обиды и боли: муж поучил жену... что же тут особенно позорного? Ведь всех соседок бьют время от времени мужья... Фидо встал. На нем лица не было.

— Слушай, Нина, — сказал он тихим голосом, — во всю свою жизнь я никому не нанес оскорбления, а тебя ударил. Однако я тебя люблю больше всего на свете. Во мне должно быть джин *) сидит. Я тебя так люблю, что, как подумаю о том, что ты не можешь отвечать такой же любовью, — я тебя ненавижу. Я знаю: ты, спасибо тебе, не изменила мне еще для другого, но непременно изменишь. Я не хочу видеть этого. Мне надоело жить, Нина: я честный, прямой, добрый человек, а из-за тебя я стал шакалом — хитрю, подсматриваю, придумываю всякое зло, бью женщину — и уже не могу перемениться, потому что я тебя люблю и тебе не верю. Противно мне; все надо мной смеются. Я убил бы себя, но после моей смерти ты непременно выйдешь замуж, а этому не бывать. Звал я тебя своею на этом свете, моею будешь ты и на том: нас поп венчал...

Нина с криком бросилась к дверям, потому что рука Фидо протянулась к развешанному на стене оружию... Вслед ей грянул пистолетный выстрел, пуля оцарапала ей плечо. Фидо, дикий и страшный, выскочил на улицу и погнался за убегающей женой, целя в нее из другого, неразряженного кремнево-

*) Злой дух.

го пистолета... но вдруг выронил оружие из рук, зашатался и грянулся ничком в придорожную канаву.

Когда его подняли, он был уже мертв. Много любившее и много страдавшее сердце разорвалось, не выдержав напора нахлынувших в него волн любви и ревности... Смерть эта, как всякая скоропостижная смерть, разумеется, наделала немало хлопот смирным жителям селения...

Рассказала эту не очень давнюю историю мне та, кого я позволил себе назвать в ней ходячим грузинским именем Нины...

РАССКАЗЫ ДАТИКО *)

Взобравшись на вершину крутого обрыва, служащего левым берегом для быстрых вод мутной пасанаурской Арагвы, я лег на мшистые камни, под тень корявого приземистого дубка. Глубоко подо мною белели низенькие строения Пасанаура, кипела Арагва. И рев реки, и отголоски жизни затерянного в горной котловине тихого селения доходили ко мне слитным гулом, образуя для слуха как бы постоянный фон, на котором особенно резко выделялись случайные звуки, время от времени проносившиеся в воздухе. То пронзительно и дико закричит орел, падая с голубой небесной высоты на добычу, то где-нибудь в ущелье грянет выстрел, — эхо рявкнет в ответ во ста местах зараз, коротко и зычно, словно где-либо поблизости какой-нибудь сказочный богатырь, стоя на высокой скале, вытряхнул на битую сухую дорогу громадный мешок с камнями. Насупротив, через долину, зеленые лесистые горы стояли в синеватом прозрачном тумане, с каким в ясную погоду они не расстаются от утренней зари до вечерней; это их дневное дыхание, к ночи оно сгущается в сероватую облачную пелену и снова разрежается

*) Давид.

при первом луче восходящего солнца. В небе висело несколько мелких тучек; тени от них плыли по горам, то светлея, то темнея, сообразно с тем, на бугре ли, в балке ли принимала их на себя мягкая зелень кудрявых лесных верхов.

В то время как я занимался созерцанием горных красот, мимо, чуть не задев меня крыльями, пролетела маленькая пташка. Сбоку, из чащи, ударил на нее копчик, поймал и, усевшись на сук орешника, в каких-нибудь десяти шагах от меня, стал теребить свою жертву. Он испускал хриплые отрывистые крики и посматривал на меня круглыми блестящими глазами, с необыкновенным деловым и сердитым видом и без всякого страха. Я захотел проучить копчика за нахальство, прицелился в него из револьвера, выстрелил и... промахнулся! Копчик улетел, унося пойманную птичку, а сзади меня раздался грубый мужской хохот. Оглянувшись, я увидал охотника-грузина в поношенной черкеске из самодельного коричневого сукна, с кремневкой за плечами, с деревяшкой вместо левой ноги. Мой промах по сидячей птице так насмешил охотника, что он даже за бока ухватился, а пожилое безбородое лицо его, бурое от загара, покраснело, налившись кровью. Пока я припоминал, какое бы из двадцати известных мне в то время грузинских слов пустить в ход по случаю неожиданной встречи, охотник сам заговорил со мной по-русски, отлично произнося.

— Здравствуй! Зачем плохо стреляешь?

— Что же делать, не умею лучше, — глаза слабы.

— Ха-ха-ха! Я смотрю: целит, долго целит. Думаю: пропал теперь сокол, ни пера от него не будет. Бух! — ветка сломалась, а сокол в небо гулять пошел. Ха-ха-ха!..

Охотник сел рядом со мной.

— Откуда идешь? Из Пасанаура?.. Служишь там? А! на лето жить приехал!.. Из Тифлиса? Ва! Хороший город, только жарко там очень. А покажи-ка мне твой «риульвер».

Я подал ему револьвер. Охотник покачал головой:

— А ты совсем никуда не годишься! — угостил он меня внезапным комплиментом.

— Что так?

— Верно. Как же ты отдаешь в руки чужому незнакомому человеку свой револьвер? Тут гора и лес. Вот я выпалю в тебя, ты ляжешь, никто и не узнает. Ха-ха-ха!..

— Не такое у тебя лицо, чтобы ты выстрелил в человека.

Охотник ударил меня по плечу.

— Правда, кацо! *) Хромой Датико никому зла не сделал. А револьвера все-таки чужим людям не давай. У нас в Гудамакари так рассказывают. В старые годы, неподалеку отсюда, жил над Арагвой в сакле разбойник. Подстерег он однажды купца на дороге, ограбил, бешмет снял, рубашку снял. Купец сказал: «Господин, ты взял у меня все, кроме жизни, встречу я другого разбойника, увидит он, что у меня ничего нет, рассердится, захочет отнять и самую жизнь, а мне и защищать себя нечем. Подари мне хоть палку свою, чтобы дорогой подпираться!» Сжалился разбойник: «Возьми!» Передал он палку купцу из рук в руки, но, едва оставил свой конец палки, как купец этим концом сильно ударил его по носу. Разбойник упал замертво, а купец взял назад свое добро, да еще с разбойника снял все оружие и одежу, и оставил его лежать голым на дороге... Понял?.. Ты зачем на гору пришел?

— Посмотреть, что тут есть.

— Что есть? Ничего нет. Бедная гора. Камень есть, дерево есть, сокол есть, — больше ничего нет.

— На кого же ты здесь охотишься?

— Я на той стороне ходил... — Датико махнул рукой по направлению к Гудамакарскому ущелью, — там птицы много. Вижу: человек ходит по горе, одет не по-нашему, — пришел смотреть: кто ты. Ты — смелый.

---

*) Человек, малый, молодец.

— Спасибо. А что?

— Один в горы ходишь. К нашим горам привычка нужна. И сапоги у тебя городские: на гору в них нельзя, надо бандули *), как у меня. Подошва без ремня с камня ползет, с сухого листа ползет. Оборвешься, упадешь, — конец твоей голове!

— Тут убиться нельзя. Если и свалишься, кусты не дадут упасть глубоко: вон они какие частые на обрыве.

— На месте не убьешься, а руку или ногу сломаешь, — как потом домой пойдешь? Пропадешь здесь. Я тебе, сынок, расскажу про себя, как я добыл вот это...

Он кивнул на свою деревяшку.

— Я был еще совсем молодой человек, только что начал ходить с ружьем. Тогда в лесах было больше зверя, чем теперь. Раз поднялся я на ту гору, за Пасанауром, перешел за ее гребень, иду... Вдруг предо мной выскочила косуля. Я выпалил, ранил ее. Она побежала, я — за нею, по следу; в беге она ломала кусты и роняла кровь. Лес молодой; кусты цепкие, колючие, идти скользко и вязко, — мох и прелый лист под ногой. Дошел я до балки. Через балку перегнулась березка, с этого края держится только корнями, а на тот легла верхушкой. Березка дрожит вся, хоть ветра нет, кора на ней поцарапана, — значит, косуля по ней побежала. Я не задумался и сам пошел следом за зверем по березке, но, знать, я был тяжелее косули: березка согнулась, опустилась, и я упал на дно балки, ударился лицом о камни и потерял память. Очнулся, чувствую, что сильно разбился. Спина отшиблена, рука висит, точно свинцовая, нога тоже — как мертвая. Попробовал подняться — больно, опять потерял свет из глаз. Ну, Датико, пришла за тобой смерть, молись Богу и святому Давиду! Принялся кричать. Голос очень гулко пошел по балке. А это худо: внизу гудит, наверху, значит, не слыхать, весь крик остает-

*) Обувь с соломенною подошвой, перетянутою ремнями.

ся в балке, как в колодце. Решил я, что нечего делать: должно быть, судьба мне пропадать; закрыл глаза, лежу; а умирать сильно не хочу: я тогда здоровый был, красивый, отец меня женить думал.

Солнце зашло. Страшно мне стало. Сколько раз я ночевал в лесу — не боялся, а теперь от испуга даже зубами застучал... а, может быть, и от лихорадки. Ружье мое упало вместе со мной. Дуло согнулось, ложа изломалась; как мне быть, если придет медведь? Он летом смирный, человека не тронет, но, если почует кровь, пожалуй, разъярится, а крови возле меня целая лужа. Нашла на меня тоска, и я заплакал. Пускай идет медведь, пускай меня ест! все равно, коли не зверь загрызет, то от лихорадки подыхать надо или от голода.

Снизу балки поднялась сырость, подплыла ко мне, окутала холодным облаком, — лихорадка начала меня бить еще сильнее. Месяц засветил. Смотрю вверх — балки не вижу; лежу под туманом, как под саваном, трясусь и молчу. Чекалка где-то залаяла. В кустах треск пошел; должно быть, и впрямь медведь шатался. Однако защитил меня святой Давид: в балку проклятый зверь не спустился.

Полегчало мне немножко от лихорадки, стал я забываться, закрыл глаза, а через меня — как прыгнет что-то... хорек ли, заяц ли, кто его знает, а тогда в забытьи мне Бог весть что представилось, страшное, да большое, да сильное! Может быть, впрочем, и коза дикая бежала к водопою. Я совсем потерял голову, закричал так, что весь лес отозвался, забыл и про сломанную ногу, пополз из последних сил к берегу балки, а сам все кричу... Ухватился за какие-то корни, повис на них; ничего не думаю, не слышу, не вижу, а только кричу. Как взошла заря, не заметил за криком... Вижу: подходят ко мне люди, говорят что-то, а я смотрю на них, не узнаю, кто такие, ничего не понимаю и все кричу. Вытащили меня из балки, дали напиться, я замолчал, пришел в себя...

Кругом знакомые охотники из Пасанаура. Хотел заговорить с ними, спасибо сказать, а в горле голоса нет, — надорвался. Меня положили на ружья, понесли в долину; по дороге я заснул, а проснулся уже в госпитале, в Душете, когда лекарь мне ногу отрезал. Рука, слава Богу, поправилась, зажила...

Датико умолк.

— Долго ты лежал в госпитале? — спросил я.

— Долго. Полтора месяца. Там я и по-русски выучился. Хорошо говорю?

— Отлично.

— То-то. Меня все ваши хвалят... Ну прощай! Знаком будешь! — убью что, тебе в Пасанаур продавать принесу.

И, пожав мне руку, охотник скрылся за кустами. Долго еще я слышал стук его деревяшки и шум потревоженных им ветвей.

Этот Датико стал для меня со дня нашего знакомства истинным благодетелем. Благодаря ему Пасанаурский околоток сделался мне только что не своим краем. Не говоря уже о том, что он знал каждый куст, каждую рытвину своей дикой родины, что каждый встречный кланялся ему, как либо родному, либо другу, либо хорошему знакомому, и про каждого-то Датико мог рассказать всю его биографию от рождения и до сего дня; сверх всего этого, Датико был еще поистине живою сокровищницей местных преданий, сказок и легенд. Они у него, точно пословицы у Санчо Панса, сыпались с языка по всякому удобному и неудобному поводу. Старался ли он занимать ими меня, сам ли их любил, — не знаю, как сказать... вероятно, и то и другое.

Помню как-то раз, когда мы с Датико бродили по ущелью Ахоби, нас вымочил до нитки внезапно налетевший из-за горы дождь. До Пасанаура отсюда верст десять, до деревни Ахоби также не близко; обсушиться негде, а полагаться на сушку одежд, не снимая их с плеч, солнечными лучами — опасная штука; ветер ущелий всегда не замедлит подарить лихорад-

кой. Всего досаднее было, что дождь упал на нас чуть не с ясного неба; пока мы шли по Гудамакарскому ущелью, погода была хоть куда. Со стороны Пасанаура — безоблачная синева, по направлению к Гудамакари то же, и только развалистая Дзмашвиди-мта *), гора, похожая на колоссальную палатку добрых рыцарских времен, курилась серыми тучками; именно у ее подножья мы свернули в Ахоби и тотчас же наткнулись на сюрприз: глубь ущелья была застлана густым занавесом далекого дождя. Мы было решились переменить направление нашего странствия и, не сворачивая, продолжать путь к Гудамакари, но было поздно; если мы не пошли к горе, то гора сама пошла к нам; занавес погнался за нами с быстротой почтовой тройки, нагнал и, окатив ливнем, помчался дальше, оставив за собой, словно в насмешку, чистейшее голубое небо. Я не удержался, чтобы не послать обидевшей нас туче энергического «черта». Датико это не понравилось, и он прочел мне длинную и обстоятельную нотацию, что ругаться в горах вообще не след, а уж поминать черта в особенности не годится: горные духи этого терпеть не могут и в отместку за каждое крепкое словцо непременно сделают вам какую-нибудь мерзость. В заключение же подкрепил свои слова своеобразною сказкой о блуждающем осетине, заменяющем на Кавказе Вечного Жида и Летучего Голландца...

— Жил-был осетин, богатый и хороший человек, но вздорного характера и великий ругатель. В дороге, на работе, на охоте, — словом везде и всегда он ругался, как язычник, и выводил этим из терпения злого духа, обитающего в Трусовском ущелье, где стоял аул осетина. Злоба нечистого отличалась довольно деятельным характером: то баранта **) у осетина пропадет, то обвалом придавит его ячменное поле, то самого осетина угораздит сверзиться с горной тропинки и набить себе

*) Гора Семи Братьев. Одноименная, но совсем другая гора видна с Гудаурского спуска к Млетам. Их не следует смешивать.

**) Мелкий скот: овцы, козы.

синяков и шишек по всему телу, то лихорадкой его прохватит, то выйдет он на охоту, да и проходит целый день с неразряженным ружьем: кроме чекалок — хоть бы что навстречу!.. Надоела эта вражда осетину. Взял он двух баранов, пригнал их в Хевский Сион, заколол в церковной ограде и попросил батюшку отслужить молебен пророку Илье, чтоб этот особенно уважаемый осетинами святой, — в распоряжении которого находятся, по их общему в этом случае со славянским верованию, и громы, и молния, и которого злые духи поэтому как огня боятся, — запретил трусовскому бесу обижать его баранту, поля, семейство, мешать ему на охоте и вредить его здоровью. Словом, как водится, обставил жертвоприношение самым обстоятельным и подробным условием. Но именно на этой-то подробности и поймал его нечистый. После жертвоприношения беды, преследовавшие осетина прекратились мгновенно, на его голову вместо прежних несчастий посыпались всевозможные дары судьбы, и осетину оставалось только богатеть и благословлять своего заступника св. Илью. Однажды он продал в Коби знакомому пару буйволов, получил деньги, зашил бумажки для верности в папаху и пошел в Трусо. Переходя какой-то ручей, осетин вспомнил, как на этом самом месте он когда-то, по козням своего врага нечистого, чуть-чуть не сломал себе ногу, и, по старой памяти, загнул горному духу крепкую «мама-дзаглу» *). Дух вырос пред осетином, как лист перед травой.

— Ты опять ругаться! — грозно воскликнул он.

— Опять! — храбро огрызнулся осетин.

— Мало я тебя учил?

— Теперь, брат, больше учить меня тебе не придется, — с насмешкой возразил осетин, — что ты мне можешь сделать? Св. Илья защитит меня от тебя во всем. Я молился ему и о своем теле, и о своих детях, и о скоте, и о ячмене...

---

*) Мама — по-грузински отец, дзагла — собака.

— Но ты не молился о своей папахе! — заметил нечистый и с хохотом дунул на дерзкого осетина; папаха слетела с головы последнего и покатилась вдоль по ущелью... Бедный осетин бросился догонять свою шапку и спрятанные в ней рубли; вот-вот уже настиг, протянул руку, чтобы схватить папаху, а ее подняло новым вихрем и понесло дальше; то же повторилось и в другой, и в третий раз; измучился осетин, а перестать гнаться за папахой не может: еще бы! немалые деньги зашиты в ней!..

— Эй ты! — кричит он злому духу, — отдай папаху! пошутил, да и будет!

— Отдам, только попроси у меня прощения и поклянись, что больше не будешь меня бранить.

Озлился осетин.

— Ну уж этого ты не дождешься! Скорее я до скончания века прогоняюсь за этою папахой, чем буду просить прощения у такой донгуз *), как ты!

— Гоняйся! — коротко ответил дух и исчез.

А злополучный осетин и по сию пору мечется в горных ущельях, ловя свою драгоценную, вечно ускользающую от него папаху. Видали его и на Казбеке, и в Кайшаурах, и в Кабарде, и в Дагестане: носится бедняк, как вихорь, по всему Кавказу игрушкой оскорбленного беса, и не остановиться ему, согласно собственной своей клятве, до самого светопреставления.

ОБ ОДНОМ УЩЕЛЬЕ И ГРУЗИНСКОЙ УНДИНЕ

В полуверсте от Пасанаура, по направлению к Млетам, слева от Военно-Грузинской дороги, над старым кладбищем, между могилами которого мирно пасутся табунные матки с их резвыми сосунками, — видно узкое ущелье. Оно смот-

*) По-татарски — свинья.

рит издали очень красивым, и мне давно хотелось посетить его. Собрался и пошел.

Погода стояла неважная: над горами висела сплошная серая фата, впрочем довольно тонкая, — солнце просвечивало на ней явственным белым кругом без лучей, и в двух-трех местах виднелись пятна бледного, синего неба. Оторванные от облаков куски низко спустившихся паров пестрили горные скаты, ходя по ним, словно гигантские белые овцы по зеленому пастбищу.

У входа в ущелье я нагнал молодого грузина, направлявшегося туда же. Малый — оборванец на диво и уморительно некрасив собой: откуда только взялись в Грузии эти эскимосские нос и губы? Тем не менее лицо добродушное; взгляд честный и веселый. Видно, что смирный как овца и всем довольный паренек. Поздоровались и разговорились. По-русски он знает немногим больше, чем я по-грузински, т.е. дюжину-другую ходячих фраз, сотню именительных падежей существительных, прилагательных и два указательных местоимения. Однако понимаем друг друга отлично: в ход идут и мимика, и даже пластика. Узнаю, что парня зовут Майко, что он служит работником у духанщика *) в Пасанауре и послан на гору «бык смотрел». Бык целую неделю скитается в лесу на свободе, нагуливая жир на подножном корму: нынче хозяин надумал его бить и послал работника словить разъевшегося зверя.

— Как же вы оставляете скот в лесу без присмотра? — изумился я.

— Зачем нет?

— Украсть могут.

— Ара!.. **) У нас скот никогда не воруют.

— Ну зверь съест, волк или медведь.

---

*) Кабатчик, хозяин постоялого двора тоже.

**) Нет.

Курьезное лицо Майко съеживается от смеха, как будто я сказал Бог знает какую нелепость.

— Ха-ха-ха! Датви *) будет бык «съел был»! Ха-ха-ха! Бык сильный. У него рога.

В самом деле, как мне говорили многие хозяева, горные медведи никогда не нападают на крупную скотину, и страдает от них преимущественно баранта.

Внутренность ущелья оказалась тесною ложбиной не очень сильного, но чистого и прозрачного ручья.

— Раквиян цкаро?.. (Как зовется ручей?..)

Майко не знает. Безымянный ручей в дожди, должно быть, большой буян: вокруг его ложа наворочены весьма основательные каменные громады. Мое внимание привлекли древесные стволы, во множестве валяющиеся по ущелью и в большинстве совсем обтесанные, готовые в дело.

— Зачем они здесь лежат?

— Воды ждут. Вода с горы придет, дерево вниз пойдет.

Ручей мало-помалу принимает вид жидковатых каскадов: ущелье поднимается мелкими уступами аршина по два в вышину. Осенявшие до сих пор ручей ольха и орешник отступают здесь от берегов, и вода льется тонкими нитками живого серебра по голым серым камням. Майко прыгает по скалам, словно серна, — даже смотреть завидно! Я карабкаюсь за ним. Но вот мы оба становимся в тупик: ложе ручья превратилось в крутую лестницу; ступени ее высоки, влажны и покаты; схватишься рукой, чтобы притянуться на мускулах, — пальцы скользят, всползешь наконец как-нибудь, станешь, — нога не держится на гладком, косо срезанном камне; тычешь-тычешь палкой вокруг себя, пока не установишь равновесия. Берега — коридор с совершенно отвесными стенами; саженях в двух над нашими головами качаются десятки кустов белого болиголова, лепе-

*) Медведь.

стки обветренных цветов сыплются на нас как снег... В десять минут мы берем приступом пять таких уступов, и я собираюсь уже посягнуть на шестой, но... с треском, грохотом и плеском взбудораженного ручья лечу или, лучше сказать, стремительно ползу на животе вниз. Падение так быстро, что я не успеваю даже испугаться, — на языке и в уме у меня вертится лишь недоумелое: «Батюшки!.. батюшки!!. батюшки!!!» Прокатившись сажен пять, попадаю ногами на твердую почву и останавливаюсь. Вверху опять треск, грохот и плеск, и пред самым моим носом появляются две подошвы бандулей: Майко скатился следом за мной. Выбираемся из ручья — мокрые, как водяные крысы. У меня блуза в клочках, тело — чуть не сплошной синяк; из левой руки хлещет кровь: до кости разрезал острым камнем палец; всюду царапины, ссадины, порезы... Майко меня утешает:

— Левый рука разрезал, — ничего. Без правый рука не хорош, — левый можно!

Вот еще оптимиста Бог послал в товарищи!.. Сам оптимист усердно полощет рот водой и плюет кровью: он ухитрился так ловко удариться о какой-то камень, что разбил себе губы и вышиб зуб.

— Нехороший был, порченый! — резонирует он.

Смотрю: зубы у него — как жемчуг, ровные, белые, без щербинки... откуда тут быть порченому зубу?!

— Почему же ты знаешь, что зуб был дурной?

— Если бы был хороший, не сломался бы...

Довольно своеобразная логика! Решительно, случай свел меня с каким-то грузинским Панглосом: «Все к лучшему в этом лучшем из миров!»

Падение вторично привело нас к началу лестницы, одолеть ступени которой стоило нам такого труда. Починив кое-как свои раны, продолжаем путь.

Кусты опять придвинулась к ручью и купают в нем свои длинные ветви. Между ними, куда ни взглянешь, лег ковер

мягкой зелени и разнообразных цветов. Эта картина открывается так неожиданно, что с невольным недоумением оборачиваешься назад: как же это? — сейчас еще вокруг ничего не было, кроме угрюмых камней да бледно-зеленого моха, а тут, всего двумя саженями выше, такая богатая растительность? Все здесь сочно, жирно, крепко, массивно. Лопух — так уж лопух, словно его Собакевич садил. Белая как снег павилика, — какая-то особенная, без обычных розовых жилок и чуть не в кофейную чашку величиной, — опутала громадные, дикие подсолнечники и мешает с их теплым ароматом свой миндальный запах. Особенно много белых колокольчиков, похожих на лилии, с какими рисуют архангела Гавриила на образах Благовещения, и каких-то крохотных розеток, формой вроде земляничного цвета, кучками сидящих на высоких гибких стеблях.

По этому благоуханному ковру мы пробираемся на вершину горы и проникаем в дремучий, чуть не девственный лес.

Шум Арагвы, давно уже потерявшийся из нашего слуха (мы отстаем от нее версты на четыре с лишком), вдруг становится снова слышен с полною силой и ясностью, как будто река саженях в двух — не больше. Такое странное эхо я наблюдал раньше только в некоторых итальянских соборах, где оно — дело рук человеческих: вы стоите около исповедальни и ничего не слышите, что там говорится и делается, а в другую исповедальню, саженях в пятнадцати расстояния, доносится из первой слабейший шепот ясным говором. Патеры обходили этим фокусом, заимствованным у Дионисия Сиракузского, закон ненарушаемости тайн исповеди; природа передразнила их штуку в грандиозных размерах. Таких мест, говорят, много в горах. Во время своего пешего странствия из Владикавказа в Тифлис я слышал от духанщика в Млетах следующую сказку насчет этого случайного эха.

— Некогда в горах жил злой див, питавшийся человеческим мясом. Однажды он напал на детей некоего доброде-

тельного осетина, мальчика и девочку. Дети бросились от дива в большую горную реку и были ею милостиво приняты. Но див не хотел уступить добычи и вырастил на пути реки громадную гору; река повернула в сторону, — див опять перегородил ее горой. Долго длилась борьба реки с дивом; убегая от врага, река в своих поворотах нарыла множество балок и ущелий и наконец приведенная в отчаяние неутомимостью дива, ушла в земные недра, куда див не посмел за нею последовать. Ее подземное течение и производит необъяснимый водный шум, какой часто ни с того ни с сего слышится в горах, хотя поблизости нет реки.

В основе этой легенды, вероятно, лежит иносказательное предание о каком-нибудь геологическом перевороте.

У меня сильно кружилась голова от потери крови, но принявший нас в свои зеленые объятия лес был так хорош, что я забыл и про ушибы, и про больную руку. Деревья кудрявые, большие, белоствольные, — иное не в обхват человеку. Корни прочно впились в землю, змеями проползая между камнями и крепко обвивая их своею надежною сеткой. Могучая, здоровая чаща! Заметно, что дерево не болеет на этой заоблачной высоте; гладкие, словно лощеные стволы нескольких поверженных гигантов — прямое противопоказание всяким недугам; свалил их топор или ураган, а не преждевременная дряхлость и не жучки-паразиты.

Майко долго кричал и аукал по лесу, пока бык ответил ему протяжным мычанием. Мы нашли животное в дальних кустах,.версты за полторы от ущелья. Бык был небольшой, черный, бока — как бочонок, рога прямые, острые, глазами он косил достаточно свирепо, чтобы дать понять, что действительно в игре с ним любому медведю неминуемо придется зарычать: «Пас». Жалко мне стало этого предназначенного к убою богатыря, уже освоившегося с лесною волей.

Обратно в долину мы спустились без всяких приключений.

Дома меня ждал хромой Датико.

— Ра-гинда, кацо? *) — ругался он, увидав мою руку, — чего ты хочешь? руку испортил, — всего себя потеряешь, коли будешь ходить в гору без старого Датико... Ну что я теперь буду с тобой делать? Хотел вести тебя смотреть, где бывает весной туровье пастбище... да с больною рукой ты туда не взберешься!

Пораскинув умом, мы решили отправиться ловить форелей в великолепном горном ручье, по ту сторону Черной речки, разрезающей своими мутными волнами пополам Гудамакарское ущелье. Но уж видно для меня выдался несчастный день! Напрасно бродили мы битых два часа по устью могучего источника, с размаха бросавшего кипучий жемчуг своих вспененных вод в агатовую реку, напрасно прыгали с камня на камень над ревущими каскадами, напрасно боролись — далеко не без труда — с дикою силой их буйного стремления и шарили лопатами по неглубокому дну, пытая добычу под скользкими булыжниками. Мы ничего не поймали и наконец, усталые, раздосадованные, уселись отдыхать в тени прилепившегося к берегу потока орешника.

— Сильная эта Черная речка, очень сильная... — говорил Датико, — гляди, как она глотает ручей: только вошел он в ее воды, — и его уже нет. А ручей полноводный и могучий. В Пасанауре она сливается с Белою Арагвой. Та еще гремучее и сильнее, и все-таки Черная речка сдается ей только после долгой борьбы: даже на версту, а то и на две ниже слияния ты различишь еще, где идет вода из Черной, где из Белой речки, так что Арагва бежит на две полосы: с левого берега — вода черная, с правого — белая... Арагва — речка веселая, резвая, что малый ребенок, и вода в ней святая, от многих болезней помогает, если в ней купаться; оттого

*) Собственно говоря: «Чего ты хочешь?» Грузины пускают в ход это восклицание и к делу и не к делу.

она и не принимает в себя Черную речку, — что ей за охота мешаться с проклятыми волнами?

Я навострил уши, предчувствуя, что теперь Датико не обойдется, по своему обыкновению, без какой-нибудь побасенки, — и точно, приличная случаю легенда не замедлила воспоследовать.

— Давным-давно, задолго до того, как в горы пришли русские, в глубине Гудамакарского ущелья стоял аул. В этом ауле жил старый грузин — одинокий с приемышем-девочкой, найденною им в лесу. Кто ее, двухмесячную, бросил там, — грузин, сколько ни искал, не допытался. Девочка выросла красавицей и умницей. К ней стали свататься женихи. Между ними было много хороших женихов и добрых молодцев, но девушка не хотела замуж, а старик, любивший свою воспитанницу, не понуждал ее. Девушка, когда бывала свободна от домашних хлопот, любила уходить в горы — к шумному светлому ручью, падавшему в ущелье с большой высоты из широкой горной расщелины. Там проводила она целые часы, бросая в воду камешки и распевая песни. Однажды она пришла с ручья испуганная и бледная и рассказала, что ей явился горный дух и хотел увлечь ее в пещеру, откуда начинается источник, но ей удалось убежать на девять сажен от берега ручья, а дальше дух идти не посмел и со смехом бросился в воду, где и растаял. Прошло несколько времени. Девушка забыла о случившемся с нею приключении и как-то раз, когда подруги пригласили ее идти за водой к источнику, охотно взяла свой кувшин и присоединилась к ним. Но едва, шутя и смеясь, красавицы приблизились к ручью, как из воды вышел громадного роста человек с кудрявою седою головой и зеленою бородой по пояс. Он взял воспитанницу старого грузина на руки, на глазах растерявшихся подруг, понес ее вверх по течению ручья и скрылся за скалами...

Старый грузин не мог утешиться в потере своей любимицы, приемной дочки, и все плакал.

Минуло несколько лет. Одним вечером в саклю грузина пришел незнакомый мальчик, красавец собой, назвал старика дедом и рассказал ему, что дочь его жива, помнит о нем, жалеет об его горе и, чтобы отереть его слезы, посылает ему в утешение сына, рожденного ею в заоблачной пещере — дворце горного духа. Мальчик поселился у грузина и стал его радостью и отрадой. Он вынимал рыб из воды голыми руками, сваливал быка ударом кулака, привел из леса на аркане медведя и барса. Чем больше он рос, тем становился красивее, а когда пел в долине свои охотничьи песни, то голос его был слышен высоко в горах. Девушки ближних и дальних селений только о нем и думали, а в родном ауле его полюбила красавица-вдова — великая чародейка. Сколько ни старалась она, однако не могла заставить сурового юношу платить ей взаимностью и, в гневе, решилась отомстить. Она подстерегла юношу, — когда тот возвращался с охоты, неся на плече убитого тура, — у слияния таинственного источника с большою и светлою рекой и произнесла заклятие. Юноша почувствовал, что силы его оставили, уронил тура на землю, упал и умер, но перед смертью сам успел сказать против колдуньи такие волшебные слова, что берег, где она стояла, обрушился в реку. Тем временем вода в источнике закипела, и над его устьем показалась белая женщина, в которой сбежавшиеся селяне узнали давно пропадающую дочь старого грузина. Простирая руки к утопающей колдунье, она воскликнула:

— Ты, жившая на земле, а теперь плывущая по воде! Ты знаешь всякие травы и чары, и я не могу казнить тебя смертью за убийство моего любимого сына. Но клянусь ручьем моим! — ты никогда не увидишь больше дневного света: сквозь волны этой реки к тебе не проникнет ни солнечный луч, ни лунный, ни звездный.

Она исчезла; чародейка погрузилась на дно, а воды поглотившей ее реки вдруг почернели, как будто приняли в себя темную ночь.

С тех пор так и живет злая колдунья, изнывая во мраке и холоде подводных стремнин, а светлую и чистую прежде реку люди зовут Черною речкой.

Вот что рассказал мне хромой охотник Датико, когда в жаркий полдень мы сидели с ним под орешником у быстрого горного ручья. Солнце, давно уже разорявшее своим огненным взором утреннюю хмурую мглу, играло по воде, сквозь листья, веселым лучом. Ручей шумел, — и его белая пена, и просвечивающая сквозь прозрачные струйки длинная, колеблемая течением тина казались исседа-зеленою бородою горного духа, о котором только что говорил старый охотник...

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

(История одной секунды)

Место действия — вершина Куросцери, высокой горы, господствующей над аулом Казбек. Снежный шатер горы Казбек — как раз насупротив, через Терек, зубчатой стены Куросцери. Она бросается в глаза благодаря двум бешеным речонкам — Куро и Каташуа, которые, зародившись на высоте с лишком 8000 футов над уровнем моря, двумя почти что отвесными полосами белой пены летят по скатам и обрывам Куросцери и сливаются у ее подножья в знаменитой Бешеной балке, этой кормилице и поилице инженеров Военно-Грузинского шоссе. Поднимаются на Куросцери только охотники за турами да искатели горного хрусталя; гора богата его гнездами. Есть и медная руда. Казбекцы делают домашнюю утварь из своей меди.

Гостя в Казбеке, я узнал, что лучшие охотники аула — Сюмон, Фидо, Датико, Эстате и другой Эстате, торговец хрусталем, — отправляются в долгую горную экспедицию. Я увязался за ними.

Сперва мы шли по руслам горных речонок, потом перешли на какую-то тропу, скорей похожую на звериную, чем на человечью, проложенную по каменистому выступу — карнизу горы. Тропа поднималась зигзагами и, что ни поворот, то делалась уже. Туземцы — даром что в бурках — шли по ней как ни в чем не бывало; но я, хотя и одетый легче их, в удобную альпийскую куртку, сильно запыхался. Наконец футах в двухстах от вершины карниз превратился в едва заметную ленту беловатого камня: обе ноги, сапог к сапогу, с трудом устанавливались на нем. Грузины, перед тем как вступить на карниз, сняли свои бурки и привязали их на спины трубками. Не сделал этого один лишь из них, — и пола его бурки болталась над пропастью как черный парус. Отвес кверху, отвес вниз. В скале, немного выше человеческого роста, сделаны выбоины. Их вырубил когда-то отец того самого Сюмона, что ведет нас теперь, — такой же туробойца, как и сын; каждая вырубка стоила ему нескольких дней нечеловеческого труда, — буквально вися над пропастью, старик рисковал в эти трудные дни жизнью столько раз, что с подвигом его не сравнится самый отчаянный подвиг военной храбрости. Цепляясь за выбоины, мы кое-как проталкиваемся по карнизу гуськом, держась на расстоянии сажени друг от друга. Я иду вторым, следом за Сюмоном, вождем и лучшим ходоком компании, взявшей меня под свое покровительство. От трения о голый камень куртка моя, обновленная в долине, что называется, горит на теле: на вершину я взошел совсем оборванцем. Я не подвержен головокружениям, пропасть не пугает меня, но тем не менее чувствую себя отвратительно: сердце так бьется, словно хочет разломать грудную клетку; кровь колотит в виски, шум в ушах, пред глазами — нет-нет, и полетят черные и зеленые мушки. Страстно хочется вернуться с высоты назад, в долину, но на тропинке нельзя повернуться, и я мучительно думаю: «Когда же будет конец этому!» Мы крадемся по карнизу всего пять-шесть минут, а мне

кажется, будто мы идем уже целые часы и прошли целые версты, и десятки верст еще пред нами. Ни один из нас не говорит ни слова, только Сюмон иногда шепчет: «Чкара! чкара!» *)

Шепчет — потому что звук опасен на этом обрыве: он обрушивает выветренный шифер. При всей своей любви к сильным ощущениям, я начинаю находить, что сыт ими по горло: довольно! До конца карниза, а вместе с тем и до плоской вершины Куросцери, осталось еще порядочно. Сюмон намного опередил меня; он уже у цели: как я ему завидую! Вот он уже схватился за край обрыва, хочет притянуться на руках...

Тут-то и случилась было большая беда.

Я видел, как рука охотника сорвалась с захваченного им камня, как взвился столб пыли, и куча земли и кремней с грохотом покатилась в долину. Я не успел еще ни вскрикнуть, ни разглядеть, что сталось с Сюмоном, как крик хрустальщика Эстате, самого заднего в нашем шествии: «Хабарда!» **) — коснулся моего слуха, и я увидел, что по карнизу катится ко мне один из камней, оторванных Сюмоном. Камень был не из больших, так, с ядро средней величины, но, прыгая рикошетами, он и летел с силой ядра. Я не мог ни дать ему дорогу, ни остановить его, ни перепрыгнуть через него, ни сбросить его ударом ноги в пропасть: каждое из этих движений влекло бы за собой потерю равновесия и падение в бездну... Оставалось выдержать удар камня. Но — если, уцепившись за выбоину, я и смогу выстоять на карнизе, то камень все же расшибет мне ноги, и так или иначе, а мне придется пропасть на этой неприступной вершине, откуда трудно выбраться и здоровому, а где уже спастись безногому калеке!

---

*) Скорей!

**) Берегись!

Весь полет камня не мог продолжаться больше секунды, но чего только не вспомнил я за это время! Все, что было дорогого и хорошего в моей жизни, так и встало пред глазами...

Вдруг один за другим прокатились в горах три револьверные выстрела, и проклятый камень завертелся, как волчок, у моих ног, разорвал мне бандули, больно зашиб пальцы и остановился. Я сбросил его в пропасть.

Стрелял Фидо, грузин, следовавший за мною. Видя неминуемую гибель, грозившую мне, он, по вдохновению отчаяния, решил — рискуя собственным равновесием — попробовать, не удастся ли ему если не остановить камень выстрелом, то хоть ослабить силу его стремления. Чтобы понять самоотверженность этого подвига, надо было сообразить, что Фидо надо было стрелять несколько сбоку, иначе бы он зацепил пулей меня, — и, стало быть, ему пришлось совершенно наклониться над бездной. Впоследствии он говорил мне, что, стреляя, он держался на скале только левою рукой и ногой; туловище и правая нога были занесены в воздушную пустоту.

Подняв глаза кверху, я увидал Сюмона. Он висел на каких-то корнях, высунувшихся из обрыва, левой рукой, а правою искал другой точки опоры! Но камни все осыпались из-под его пальцев. Наконец ему удалось попасть на крепкий грунт. Он напрягся и выбрался на платформу Куросцери.

Вскоре мы присоединились к Сюмону и все вместе были в безопасности. Нервы мои не выдержали: в изнеможении я сел на землю и — не стыжусь признаться — заплакал. Да и грузины — на что уж привычный ко всяким охотничьим передрягам народ! — были взволнованы. Один только Фидо, мой находчивый спаситель, остался спокоен и весело заметил:

— Дорожка обломился... Это нехорош!

АРИМАН

Усталые, продрогшие, брели мы, злополучные туробойцы, по гребню Куросцери — самому проклятому гребню на всем Кавказе! Снизу, от станции Казбек, он представляется чем-то вроде зубчиков валансьенского кружева, но в действительности от зубчиков-то этих и горе. О Боже мой! Во сколько балок пришлось нам нырнуть! на сколько обрывов вскарабкаться! Влево от нас была пропасть, вправо, — минуя голую, обвеянную ветрами каменистую гряду, — тянулась снежная равнина, еще недавнее пастбище туров; теперь им не под силу стало пробивать копытами крепкий наст, и умные звери перекочевали... куда? — Бог их знает! По крайней мере, напрасно проблуждав по вершине Куросцери двое суток, мы возвращались как горе-охотники, не видав ни шерсти, ни пера.

Свечерело. Небесная синева зажглась звездами — такими крупными, яркими и близкими, что казалось: вот-вот еще саженей пятьдесят подъема, и мы будем уже в царстве звезд. Белая папаха Казбека мерцала тем таинственным самосветом, понятие о котором могут составить лишь те, кому случалось наблюдать снеговые вершины в безлунную, но сильно звездную ночь. Внизу, под туманами, неистовствовали, как две озлившихся шавки, Куро и Каташуа — отец и мать знаменитой Бешеной балки. Им в ответ глухо рычал из неизмеримой глубины Терек.

Нам было очень невесело, особенно когда случалось переходить горные ручьи. Встречный ветер, и без того уже леденивший наши кости, швырял нам тогда в лица водяную пыль, коловшую нас точно иглами. У меня растрескались губы, болели глаза. Было невозможно перекинуться словом с товарищами-грузинами из Казбека: ветром захватывало дыхание. Он выл, свистал, гайгайкал, мяукал, домового хоронил и ведьму выдавал замуж... О, кой черт понес меня на эту галеру!

Была бутылка коньяку — распили. Начать другую, захваченную про запас, не дал вожатый нашей компании Сюмон А – дзе, истинный оракул горных экспедиций, малый умный и толковый, наметавшийся в обращении с русскими и даже не без некоторого образования:

— Не пейте: до сакли недалеко. Выпьем, что останется, когда придем в тепло. Вина не найдем: хозяин — бедный осетин. А когда попадем в тепло, нельзя не выпить: иначе привяжется лихорадка, будут болеть руки и ноги, кости ломить...

Досаднее всего было сознание, что аул Казбек лежал как раз под нами. Если бы не тучи да туман, мы видели бы его огни. Если бы не ветер да не рев потоков, мы, вероятно, слышали бы звяканье бубенчиков и стук колес по Военно-Грузинскому шоссе. Но короткая тропинка с Куросцери к Казбеку была с третьего дня испорчена нашею же неосторожностью *), и теперь нам приходилось делать обход верст в десять по дебрям и кручам — чуть не к самому Дарьяльскому посту.

Как мы добрели к обещанному Сюмоном ночлегу, уж и не знаю. Помню только, что от устали ни есть не могли, ни сон не брал. В сакле осетина было бедно, грязно, душно, тесно, но — все же тепло и не под открытым небом. Ночь давно померкла; небо заплыло тучами; ветер вырос в бурю; первобытно сваленные на-авось и небось стены сакли дрожмя дрожали под его бешеным напором.

Наша хозяйка — молодая, но совершенно истощенная работой, лихорадкой и бескормицей женщина — укачивала дочку, самую чахлую и крикливую девчонку из всех ребят Большого и Малого Кавказа. Мелодия ее колыбельной песни была заунывна и однообразна, а слова — странны дикою загадочностью. Они походили на заклинания. Мать не то

*) См. «Между жизнью и смертью».

благословляла свое дитя, не то ворожила над ним. Сюмон, как умел, перевел мне этот оригинальный текст, а я впоследствии — тоже как умел — попробовал переложить его стихами:

Спи, красавица моя,
Будь счастливою всегда!
За тебя — пророк Илья
И падучая звезда

Пал над Тереком туман,
Под скалой сверчок запел...
На Казбеке Ариман
Снежной бурей зашумел.

Небесам грозит войной
Гордый ада исполин:
«Вам тягаться ли со мной?
Я — вселенной властелин!»

Но за дерзостную речь
Воздадут ему свое
Михаила грозный меч
И Георгия копье!

И погибнет сила зла,
И — улыбкою горя —
Благотворна и светла,
Встанет красная заря.

Спи, красавица моя,
Будь счастливою всегда!
За тебя — пророк Илья
И падучая звезда.

Что осетинка поминала в своей песне св. Илью, Георгия Победоносца и архангела Михаила, удивляться нечего. Религия осетин, даже определенно настаивающих на своем магометанстве или христианстве, поражает путаностью

верований и понятий. Магометане чтут многих христианских святых; христиане не прочь послушать наставление из Корана; те и другие с полной искренностью проделывают многие обряды совершенно языческого характера, идолопоклонствуя, когда того требует обычай, с редкою наивностью. Св. Илья — молниеносец и громовник — почитается одинаково всеми осетинами... Но при чем же «падучая звезда»?

Я спросил Сюмона. Он отвечал:

— О! падучая звезда великая сила. Она — меч Божий. Когда она сверкает на небе, нечистая сила отступается от человека, теряя над ним всякую власть. Она глупеет, смущается, из шакала обращается в ишака. Слыхал ли ты про Аримана — великого падишаха джиннов, что векует свою проклятую жизнь в изгнании на Шат-горе?

— Слыхал что-то...

— Он огромный, белый, весь в седой шерсти от старости; глаза — красные как огонь, и весь он опутан золотыми цепями. Сидит Ариман в хрустальном дворце, между верными джиннами и не смеет двинуться с места. И все они — как невольники. Тяжко им. Тоскуют джинны, бранятся, плачут, молят своего падишаха:

— Разбей свои цепи! освободи и нас, и себя! Отмсти и властвуй!

Но он молчит. Он умную голову имеет: зачем ему плакать? Он мужчина. Зачем ему говорить пустые слова? Он знает, что судьбы не изменить. Посажен он на цепь до конца света, — так тому и быть.

Но по осени, когда ледники дохнут холодом в долины, падишах джиннов получает свободу на три часа каждую ночь — от петуха до петуха. Срывается нечистая сила с цепей. С громом и воплем поднимается на воздух белый старик, а за ним летит вся его злая челядь.

Что тогда беды в горах! Дунет Ариман на речку — вздуется речка, балки заливает, баранту топит, дороги размыва-

ет. Схватится за гору — уже грохочет обвал, рушатся вековые скалы, хороня под своими громадами сакли и людей. Махнет рукой — и засыплет снегом запоздалый караван в ущелье. Летит шайтан, ветер обгоняет и сам своей злобе радуется:

— Чую прежнюю силу! еще поборемся!

— Поборемся! — воет в ответ властелину страшная свита, аж гул идет по горам, и Терек вдвое громче ревет от страха.

Вот уже и Дарьял миновали, вот уже и Казбек недалеко...

Казбек — великая гора; на ней добрые ангелы живут. Старые люди сказывают, будто на шатре Казбека, там, где нет уже ни камня, ни снега, а один только чистый лед, есть церковь. Не Мта-Стефан-Цминда — другая. Ее нельзя видеть простому человеку. Лишь праведник — может быть, один во сто лет — находит к ней дорогу и доступ. Ничего внутри той церкви нету. Только люлька висит, в люльке лежит неведомый прекрасный младенец, а над ним, как верный сторож, сидит на шестке голубь — живой, но весь, перышко к перышку, из червонного золота.

Затем и летит на Казбек нечистая сила, чтобы захватить младенца и уничтожить голубя. Потому что, если бы это случилось, наступила бы власть джиннов на земле и был бы конец миру.

Налетит дьявольская орда на церковь, шаркает крылами по стенам, зубами и когтями скрежещет, в окна и двери ломится... вот-вот уже у колыбели, вот и лапы протянули...

Но встрепенется голубь, распустит над младенцем золотые крылья — и посыпятся с неба падучие звезды и попалят злого Аримана с его неистовым воинством.

Худо им! — бегут, охают, проклинают, пощады просят... А звезды все падают и падают, пока не загонят падишаха в его заоблачный хрустальный дворец, пока — сами собою — не наденутся на него вековечные золотые оковы.

И так-то каждый вечер во всю позднюю осень и зиму, вплоть до самого Рождества, бушует нечистая сила; каждый вечер мчится она в вихре и вьюгах войною на Казбек, и каждый вечер гонят ее через Дарьял на Эльбрус святые звезды.

А таинственный младенец в люльке все спит, не просыпаясь. Только три раза в год — в полночь под Рождество, под Крещенье и в Светлую ночь он пробуждается. Едва он откроет светлые глазки, спускается с неба цепь из самоцветных камней и ложится по воздуху между незримой церковью и собором в древней столице Грузии, в Мцхете. И поднимаются по той цепи в незримую церковь избранные Богом мцхетские священнослужители, повинуясь зову неведомого голоса. Ангелы хранят их путь и не дают им упасть или оступиться. Придут, поклонятся младенцу и его голубю, споют им божественные службы, а к рассвету возвращаются домой так же чудесно, как ушли. И, пока творятся эти непостижимые тайны, пока свершает свое течение великая ночь, молчат на свете всякий грех и злоба: на земле мир и в человеках благоволение.

СИОН

Большая серая деревушка высоко взмостилась по желтой горе, одной из самых красивых по изящным очертаниям вершины на всем протяжении Военно-Грузинской дороги. Эту гору точно не земля родила, а люди для забавы обтесали в стройный киоск — легкий и воздушный, даром что облака ходят по его вершине, и надо сутки убить, чтобы обойти кругом его подошву. В боках киоска, высоко над деревушкою, чернеют пещеры, остатки древних каменоломен. Из сионского камня построены почти все церкви между Млетами и Владикавказом; еще при царице Тамаре, — этой грузинской Семирамиде (XI век), — брали здесь камень. Есть на

Казбеке Стефан-Цминда — та самая заоблачная келья, о которой мечтал Пушкин и у стен которой похоронил свою Тамару Лермонтов. Построил ее богатырь-разбойник с Сионской горы. За восемь верст от Казбека ломал он камень и носил на плечах на заоблачную вышку, нечеловеческим трудом искупая свое кровавое прошлое. Долго это дело делалось; по одному камню в день едва одолевал грешник, при всей своей богатырской силе! Наконец стала из того камня на Казбеке церковь, простились разбойнику его грехи, и он умер в мире с людьми и Богом. Так рассказывают в аулах Сиона и Казбека. В настоящее время пещеры каменоломен служат хлевами для баранты. В одну из них входит тысяча восемьсот баранов; другие менее уемисты.

Я приближался к Сиону пеший. Время было полуденное. В горах шла косьба; аулы стояли пустые, точно мертвые. Великан-овчарка, единственный страж покинутого жителями селения, уныло бродила по вверенному ей району; я издали видел, как она перепрыгивала по плоским крышам саклей с улицы на улицу или, вернее сказать, с одного яруса Сиона в другой. Она почуяла меня по ветру, бросилась мне навстречу, стала на границе своих владений и зарычала, щетиня белую шерсть. Пройти, значит, нельзя. Горные овчарки имеют характер серьезный. Еще вопрос, с кем опаснее схватиться — с мелким ли казбекским медведем, увальнем и порядочным трусом, или с грузинскою овчаркой — могучей, быстрой, бесстрашной. В Коби овчарки, среди белого дня, трепали меня не на живот, а на смерть; напрасно рубил я их своей тяжелой дорожной дубинкой с железным топориком вместо набалдашника, — проклятые только больше свирепели; не помог и револьвер... Если бы на мои выстрелы не прибежали пастухи, хозяева овчарок, мне не уйти бы живому. А и стрелять-то опасно: горцы своими собаками дорожат как родными детьми, и за убитого пса легко поплатиться если не жизнью, то увечьем.

Ввиду такого опыта, я философически уселся на камне, саженях в пяти от овчарки, распаковал свой дорожный ранец и принялся завтракать, а овчарка не менее философически улеглась на солнечном припеке, не спуская с меня внимательных глаз. Горцы собак совсем не кормят: чем кормить? самим есть нечего! Тем не менее от чужого человека верные звери ни за что не возьмут пищи. Отчего? — принцип ли у них такой собачий или по многократному опыту псов — сродичей и знакомцев — они боятся отравления, — кто их знает. Я пробовал бросать своему стражу кусочки холодного ростбифа, но страж только косил на них налитыми кровью глазами и рычал — и гневно, и жалобно вместе. Должно быть, в эти минуты искушения он глубоко меня ненавидел.

Подошли сионцы — косцы с горы Ахалциха — и освободили меня из-под караула. Овчарка мгновенно превратилась из врага в друга, завертела хвостом и с голодным проворством подобрала разбросанную мною говядину.

Сион — селение священное; его чтут и мусульмане. Его церковь — как бы отделение тифлисского Сионского собора, этой «Божьей крепости», твердыни христианства в Закавказье. Церковь Хевского Сиона, говорят, построена еще царицей Тамарой. Впрочем, здесь всякое здание, если ему за сотню лет, ложится на совесть этой многотерпеливой Тамары. В церкви бедно и скромно. Показали мне два-три складня старинной чеканки, древний серебряный крест и паникадила, пожертвованные одним из второстепенных героев последней турецкой войны, — и все тут. В древностях я ничего не понимаю, паникадила плохи, а архитектура церкви ничем не отличается от архитектуры других грузинских церквей: все они — на один лад, все — кубышками, и красивы бывают только тогда, когда они громадны. Лишь весьма большие размеры — как у храма Мцхета, например, — придают им величие и внушительность.

При Сионе есть священная роща. Это чудесная чаща дуба, тополя, рябины, акации — чаще заповедная и запретная.

— Мы из этой рощи даже сучка на палку не берем, — объяснял мне церковный староста, — Божья роща. А позволь отсюда дрова возить, завтра бы стало голое место. У нас леса нет. В Капкай *) за дровами ездим.

— А охотиться здесь позволяется?

— Как же нет? Без охоты нас зверь одолел бы.

— Чекалки?

— Чекалки — какой зверь! У нас большие волки водятся. Казаки из форта сказывают, — как у вас в России. На днях один у нас убил рысь, а прошлою ночью самка подходила к деревне, кружила около баранты. Наш Димитри палил по ней, ранил... пошел теперь по крови искать следа... Вот он сам идет...

Подошел Димитри — молодой стройный парень, оборванец с очень недурною двухстволкою за плечами. Завязался быстрый разговор по-грузински, да еще на горном наречии; я мало что понимал.

— Нашел Димитри рысь, — обратился ко мне староста по-русски, — сдохла. Под лопатку пуля пошла. Диво как ушла она в лес живая.

— У рыси шкура такая, — возразил Димитри, — она не дает крови сильно течь, затягивает рану. Если рысь сразу не упала, у нее всегда хватит силы добраться до своего места.

— Шкуру драл? — спросил староста. — Вот господин купит.

— Нет. Что драть? гнилой зверь. Полдня на солнце пролежал, — никуда не годен. Мех — как пух — лезет и к рукам пристает... Батоно **), — обратился ко мне Димитри, — я и котят нашел... купи котят!

---

*) Владикавказ.

**) Барин.

— Где же они?

— В норе. Вместе брать их пойдем.

— Много?

— Почем знаю? один зверь, два зверь... Сколько зверь, столько абаз *).

Отправились. Идя рощею, я удивлялся свежести этого заповедного леса: тут бы вековым дубам стоять, а не молодяку.

— У нас дерево недолго растет, — объяснил Димитри, — дереву земля нужна. У нас земли — аршин вниз, а дальше — камень. Корень найдет на камень и завянет или прочь, на сторону, ползет. Встретит другой корень: либо сам пропадет, либо встречное древо засохнет.

Мы пришли в глухой уголок. В нос шибнул спиртуозный запах зверинца. Логовище рыси помещалось в углублении, под навесом мшистой серой скалы. Кабы не запах, — и не найти бы этого жилья: так хорошо прикрыли его частые ветки прислонившейся к скале молодой рябины.

Димитри ткнул шомполом в углубление. Раздалось ворчанье — гневное, но пресмешное: каким-то ломаным, кадетским басом пополам с хриплым дискантом; Димитри надел на руку папаху, сунул в гнездо и быстро вытянул, точно рыбу на удочке, маленького котенка, уцепившегося за папаху когтями. Недоумение, гнев, испуг зверька — не подлежат описанию: эту уморительную мордочку надо видеть, чтобы постичь ее и оценить... За первым котенком тем же самым способом был выужен второй и последний.

От зверьков я, конечно, отказался: куда мне было их тащить пешему? Но скромную цену их я заплатил Димитри с удовольствием: спектакль диких зверят в родной им обстановке, на свободе, стоил побольше двух двугривенных.

Мы вернулись в деревню. Димитри сел на коня и помчался в Гудушаури:

---

*) Двугривенный.

— Там бек живет, — он у меня моих зверят купит... А ты, прохожий, пожди, не уходи, — гость будешь. Вернусь — барана резать будем, вина достану...

Я достаточно понаметался в обхождении с горцами, чтобы знать, что по этикету их гостеприимства позволительно внести чужому человеку в хозяйское меню, что — нет. Поэтому в вопрос о баране я и мешаться не стал, но, когда Димитри выехал из Сиона, спросил себе другую лошадь и потихоньку съездил в духан, на полдороге от Казбека, откуда и привез бурдюк вина — свою долю в предстоящем пиршестве.

Поили и кормили всю деревню, — по крайней мере, всех, кто не заночевал на ахалцихской косьбе. Веселились и мужчины, и женщины: грузинки — а в особенности горянки — не дики и не чуждаются мужского общества, тем более, что, благодаря истинно-рыцарским нравам патриархальных горных захолустий, они в этом обществе настоящие царицы. Пали сумерки. Угасший дневной свет мы заменили кострами. Дух кизяка отравлял несколько обоняние, но — «маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию» — сказал философ. И долго еще у красных огоньков хлопали ладони в такт лезгинке — медленной горной лезгинке, с дробной выступью и бараньим топотом носков, долго раздавались песни, похожие на завывания, и завывания, похожие на песни. Староста и Димитри переводили мне, чего я не понимал сам. Одна песня удивила меня своей отвлеченностью. К сожалению, я потерял ее дословный прозаический перевод, а в стихотворном, который я попытался сделать впоследствии в Тифлисе, мне пришлось все-таки немножко «модернировать» подлинник. Тем не менее я предлагаю этот текст читателю: общее понятие об оригинальной, в особенности для полудикого грузина, песне он получит. Тема — тоска по родине горца, попавшего на юг, в счастливые сады Персии:

Здесь звезды ласковые светят,
Не умирает здесь весна,
Здесь — полюби: тебе ответят!
Здесь — царство солнца и вина!

Здесь блещут молниями очи,
Полуприкрытые чадрой...
Здесь многопесенные ночи
Проходят дивной чередой.

Но дев прекрасных Гюлистана
Не веселит меня напев:
Мне снится горный край тумана,
Потока плач, метели гнев...

Сквозь песни юга — звуки рая —
Иные песни слышны мне:
Их пела женщина другая
Там, в этой дикой стороне.

О, сколько в них тоски и муки —
Что в чашу яду налито...
Не позабыть мне эти звуки,
Не променять их ни на что!

Полночь, подсказанная появлением Большой Медведицы над предгорьем Казбека, развела нас по саклям. Я ночевал у Димитри... Не спалось. Душно было и вонюче. От храпа доброго десятка обитателей этого тесного приюта можно было сойти с ума... Я выбрался из сакли и до рассвета просидел на крыше сакли, начинавшейся ярусом ниже, почти от самого нашего порога, выжидая, когда позолотятся гребни убегающих вдаль от Сиона хребтов. Верхушка Сиона стала розовая... Утро пришло в горы. Осел где-то далеко, в ущелье, приветствовал новорожденный день оглушительным криком...

Часом позже, я — освеженный после бессонной ночи и вчерашней пирушки мискою мацони (кислое молоко) — уже

бодро шагал в Коби. Солнце пекло, кузнечики трещали. Ветер из ущелий дул порывистый, но теплый: точно неуклюжая ласка слишком сильного человека. Впереди грозно хмурились под шапками сизых туч горы Цихэ, как зовут их грузины: башни-горы главного хребта... Весело и хорошо становилось.

В душу просился восторг, ум охватывало очарование пустыни — то настроение, каким полон был поэт-странник, когда хотелось ему благословить от полноты сердечной:

И одинокую тропинку,
По коей нищий я бреду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду[1]..

КОНОКРАДЫ

Тифлисский дилижанс заночевал в Пасанауре вместо Млет, — и мы, пассажиры, все были рады-радехоньки, потому что вот уже ровно час, как навстречу нам, вдоль по ущелью Арагвы, дул резкий, леденящий кровь в жилах ветер, а сама Арагва металась и клокотала вдвое сильнее обыкновенного. Это значило, что в Чертовой долине свирепствует буря, а на Гудауре, пожалуй, даже и буря снежная. Ведь Гудаур на переходе от осени к зиме становится настоящим престолом Борея с белыми власами и с седою бородой. От Гудаура к Млетам падает отвесный спуск. Человеку, чтобы сойти по этому отвесу, надо сделать, если он смелый и привычный к горной ходьбе путник, девять верст; на лошадях же, по шоссе, — двадцать две версты крутыми зигзагами и перебегами. Но Борею с белыми власами до людских путей и троп нет дела и, когда он машет своим косматым рукавом на Гудауре, — внизу, в Млетах, у подножия его престола, обывате-

лям житья нет... А Пасанаур все-таки от этого ледяного безобразника подальше — на целые восемнадцать верст, что в горном климате не шутка.

В душной общей комнате почтовой пасанаурской станции усталость и жилое тепло после дорожного холода скоро сморили сном всех пассажиров. Не спали только я да мой сосед по империалу дилижанса, отец Мелетий — диакон из какой-то терской станицы, возвращавшийся домой из Тифлиса, куда ездил по церковным делам. Это был человек огромного роста, широкоплечий, осанистый, солидный и степенный. Родом он был из терских же казаков, вел у себя в станице большое хозяйство, край свой знал превосходно и по дороге рассказал мне много любопытного. Я лежал на жестком станционном диване навзничь, следя за путешествиями тараканов по белому потолку. Диакон тяжелыми шагами разгуливал по комнате, то и дело заглядывая в темные окна, — в холодную ночь, смешавшую в своем грозном гуле вой и стоны ветра с грохотом и плачем Арагвы.

— Ну погодка, — обратился Мелетий ко мне, заметив, что я лежу с открытыми глазами. — Как подумаю, что, пожалуй, и за горами — там, у нас в степи, — пурга ходит, так, верите ли, сердце и упадет... Вот даже спать не могу. Притомился, а сон не берет.

— А что, собственно, вас тревожит?

— Да уж больно воровская ночь. Обе руки злодею распутывает: бери что плохо положено, — небось никто не увидит! В нашей стороне — проснешься после этакой ночки, так к коням-то пока дойдешь, трясешься, как в лихорадке: целы аль нет?

— Уводят?

— И не говорите. Эта наша оголтелая татарна — самый что ни есть вредный народ по лошадиной части. Деньги, вещь какую-нибудь золотую или брильянтовую — не стянет; а коня, баранту, да вот еще оружие, если хорошее, у родного отца

уволочет, не пожалеет... Меня, бесовы дети, два раза дочиста разоряли. И ведь как, бестии, — Господи, прости мое согрешение, — свое дело ловко налаживают! Целая наука у них. Шайками ходят и все это мошенство свое точно на гуслях, по струнам, разыгрывают.

И он подробно рассказал мне, как был обокраден сам и как вообще в терских и кубанских станицах попадают подчас в руки лихих людей добрые казацкие кони.

* * *

...Представьте себе, что вы зажиточный станичник. В степи у вас гуляет порядочная отара овец, а во дворе стоит пять-шесть добрых коней: и рабочих, и под верх, и в разъезд. Особенно дорог вам какой-нибудь Гнедой или Серый, — вы привели его из Ставрополя; он ваша гордость; вся станица завидует вашему коню и хвалит его. Хвалят и заезжие кабардинцы, но от их похвал вас бросает и в жар, и в холод. Не то чтобы вы боялись, что коня сглазят, — сглазить могут и свои, — но вам все-таки делается как-то не по себе, и, возвратясь домой, вы говорите своему брату, сыну, работнику:

— За Серым в оба глаза смотри... Его Мехмед Рыжий облюбовал, — он спуска не даст.

Проходит несколько дней. Вы забыли и думать о Мехмеде, тем более, что вашего Серого успели после того похвалить и Магома Косой, и Абдулка с Сердитой Балки, и еще добрая дюжина удальцов, обычаями и свычаями своими ничуть не уступающих Мехмеду. В один вечер вы с тревогой смотрите на выползающие из-за степного горизонта тучи. Ветер их несет прямо на станицу, и ветер сильный: если бы под таким ветром в ближней за станицею балке из пушек стреляли, то в станице ничего не слыхать было бы, а весь звук пошел бы к горам, хоть до них два десятка верст, а то и больше, до станицы же и двух не будет. Накрапывает дождь. Вы креститесь, качаете головой и за ужином говорите сыну:

— Ты, Степан, поди ляг нынче во дворе, под навес. Больно неладная ночь. Да Серого-то навещай.

В другое время Степан заворчал бы на вас за такое решение, но теперь видит, что резон на вашей стороне, говорит: «Ладно!» — и вместе с работником покорно отправляется под навес, где и заваливается спать на армяк, разостланный под опрокинутой арбою. Вы тоже ложитесь, но ваш сон неспокоен. То и дело вы поднимаете голову от подушки и прислушиваетесь к мерному шуму дождя на дворе... И вот в одно из таких пробуждений вы ясно слышите взвизг собаки на дворе, жалобное ржание и слабый стук копыт. Вы вскакиваете, хватаете шашку, бросаетесь к двери, — ваша жена валится вам в ноги и молит: «Не ходи — убьют!» Впрочем, выйти и невозможно. Едва вы зашумели, три мерные удара прикладом снаружи в выходную дверь возвестили вам, что к вам приставлен часовой, который, при первой вашей попытке вырваться из западни, выпалит в вас в упор без дальних разговоров и рассуждений и, уж конечно, положит на месте: кабардинцы промахов не дают. Вам приходит в голову мысль сшибить сторожа дверью и все-таки пробиться к своим коням, но, на случай такой попытки, в окно вашей мазанки глядят два ствола ружья другого часового; вы его не видите, а между тем стволы правильно меняют свое направление, согласно всем вашим перемещениям. Вы хотели бы закричать, но вспоминаете, что у вас во дворе спит сын, ему еще пока не сделали худа (если только не зарезали сонного, что, впрочем, в таких случаях редкость), а с первым вашим криком его непременно прикончат. Вам остается, словом, покориться судьбе, сесть под образа, спокойно слушать, как всхлипывает ваша жена, укачивая разбуженного ночною суматохой грудного ребенка; размышлять о том, кому собственно вы будете обязаны разорением — Мехмеду, Абдулке или Магоме, и кто из ваших ближайших соседей помогал им, так как, по станичной пословице, «кабардинец без казака

во двор не войдет»; недоумевать, почему не залаял ваш исполин-овчар Полкан и т.д. Как вас грабят, — вы не слышите. Лошади не ржут, — очевидно, им затянули морды ремнями, не топают, — на них надели соломенные чулки. Грозные стволы в окне пропадают. Это значит, — дело кончено: ваши кони не только выведены со двора, но уже и угнаны версты за две. Вы бросаетесь к дверям, распахиваете их настежь, — никого! Только слышите дальний топот двух несущихся во весь опор коней: это мчатся ваши часовые и, наверное, оба в разные стороны. Можете теперь кричать «караул» на всех известных вам языках, шуметь сколько угодно и сзывать хоть всю станицу. Первое, на что вы натыкаетесь на дворе, — труп вашего Полкана. Вы вспоминаете, что весь день вчера он ходил скучный, а к вечеру так забился под крыльцо, что и вызвать его нельзя было: должно быть, злоумышленники заранее окормили собаку. Когда воры из-под ветра подобрались к вашему двору, честный пес был верен до конца: как ни скверно было ему, а перемогся и бросился защищать хозяйское добро, да лишился сил и свалился с ног; тут его и прикончили прикладами.

— Степан! Степан! — зовете вы.

В ответ раздается невнятное мычание. Вы видите у ног своих два скрученных по рукам и ногам существа; вместо голов у них какие-то безобразные остроконечные рыла. Вы освещаете их фонарем; оказывается, что на лица несчастных нахлобучены их же собственные папахи, а последние окручены башлыками; лучше и проще обезвредить свидетеля невозможно, — все заклепано: глаза, уши, рот, нос... Как это случилось? Когда развязанный Степан очнется от ужаса, изумления, а может быть, и от хорошей тукманки по голове, какою все-таки угостили его для верности, он расскажет следующее:

— Проснулся я, — дождь; вспомнил, как ты, батька, говорил насчет Серого. «Иван! — кричу, — ходил смотреть

коней?» А Иван не отзывается... только хрипит как-то... Встал я сам, — батюшки! как с навеса прыгнет мне на плечи кто-то, словно кошка! — я упал, а меня в тот же миг прикладом по голове хвать. Очнулся: связан, а на морде узел наворочен.

Иван же не откликался Степану по самой простой причине. Во сне его давил домовой, но, когда он, уже задыхаясь, открыл глаза, то домовой оказался здоровым парнем; усевшись у него на груди, вор одной рукой держал его за горло, а другой уставил пистолет ему в лоб.

В изгороди вашего двора дыра. Через нее-то и увели ваших коней. Со светом вы «сбиваете» соседей, садитесь на коня (увы! чужого, занятого у кунака) и едете по свежему следу. Конечно, он запутан похитителями донельзя, но станичнику надо уметь разбираться в хитрых узорах, чертимых по степи конскими копытами. Вы добрались до балки. Тут задача ваша осложняется. Следы разбежались. Одних коней воры направили налево, других направо. Ваши спутники, кроме того, показывают на какие-то «возвратные».

— Направо поехали! — кричат они.

— Неправда, налево. Направо они только круг сделали до ручья (имярек), а потом обскакали степью назад, и с этих пор побежали налево.

Едете налево. Проезжая аулы, кочевья, селения, вы наводите справки, но вам отвечают так же неохотно, как отвечали бы вы сами чужой погоне за конокрадами: если и знаешь что о них, лучше держать язык за зубами, — что за охота в один прекрасный день получить из-за угла пулю в ухо? Не сам преступник, так родственники его постараются. Конечно, при теперешних порядках за это ссылают на каторгу, но каторга убийцы — плохое утешение для убитого.

У какого-нибудь аула след теряется. Задача ваша кончена. Вам остается теперь не искать своих лошадей, а требовать от старшин этого аула, чтоб они *приняли* след. Если

это вам удастся, — дело в шляпе: в силу круговой поруки, общество обязано или заплатить вам стоимость пропавших коней, или найти и выдать вора. Если нет, то вам приходится либо продолжать самостоятельно поиски, либо предоставить их полиции. И то, и другое, по местным условиям, довольно бесполезно, и только счастливая случайность может возвратить вам пропажу...

МУРАД-РАЗБОЙНИК

Тихая безлунная ночь — немая и холодная. Огромные зеленые звезды дрожат над узорчатым карнизом ущелья, глубокого и узкого, как колодец. Рычит, ворочая камни, сердитый поток. Тоскливо воет вдали голодная чекалка... Зима! еще бесснежная, но уже студеная горная зима.

Мурад лежит и дрогнет под дырявою буркою, на дне ущелья. Он смотрит на небо и по Большой Медведице, точно падающей к нему с неба сверкающим дышлом вперед, соображает: «Дело к полночи. Наши теперь спят; хорошо им в сакле, согретой огнем очага и дыханием многолюдной семьи... С вечера небось набили животы и пшеном, и варевом из сухих бобов... А вот как второй день крохи во рту не было, а вместо очага должна тебя греть впадина обледенелого утеса, — тут не разоспишься!..»

Костер развести Мурад не смеет. В полуверсте от его логовища — проезжий тракт: потянет дымом в ту сторону, — у казаков-объездчиков нос чуткий: пропала Мурадова голова!.. Не быть ему тогда к утру в родной сакле, у красавицы жены. Скрутят ему, сердечному, руки к лопаткам и отведут на аркане в город. А там — тюрьма, суд и Сибирь, коли еще не виселица, потому что не баба же Мурад и не на то у него берданка за плечами, кинжал и револьвер у пояса, чтобы сдаться первому окрику объездчиков. Нет, он не таковский!

Он сперва двух-трех уложит, сам получит две-три раны и если уж попадет в руки правосудия живым, то не иначе как исстрелянный, изрубленный, исколотый в решето.

Мурад вчера лишь в сумерки перешел русскую границу. Три месяца назад, затравленный полицией, с двумя убийствами и дюжиной грабежей на шее, он, бросив жену и дом, бежал на родину, в Персию. Там у него не было ни кола ни двора, но, пока стояло тепло, — что за беда? Скитался по рынкам оборванным, но вольным байгушем; кормился, как птица Божия, — чем угощала щедрая южная природа. Когда приходилось уж очень туго, нанимался на поденную работу. Его никто не трогал, и он никого не трогал. В первые дни, как появился он в пограничном персидском городке, купцы на рынке зашептались было между собою... Пришел сарбаз, хлопнул Мурада по плечу и сказал:

— Иди, малый, за мною: тебя хочет видеть судья.

Услышь Мурад такие слова по сю сторону Аракса, в России, он бы не раздумывал долго: солдату — кинжал в брюхо, два выстрела в окружающую толпу, чтобы шарахнулась подальше, прыг на первую попавшуюся лошадь и — поминай как звали! Но тут он весьма покорно поклонился, сказал:

— Рад служить господину моему!

И последовал за своим вожатым.

Судья, худой, длинный старик, с крашеною бородою, долго пронизывал Мурада спокойным взглядом, насквозь видящим душу человеческую.

— Ты Мурад? — спросил он наконец.

— Да, господин.

— Ты пришел к нам из-за Аракса. Зачем пришел?

— Вы сами знаете, господин.

Судья усмехнулся, погладил бороду и сказал:

— Знаю. От нас за Аракс идут за богатством, а к нам из-за Аракса бегут от казацкой пули и сибирских снегов. Ты таков же, как все. Но об этом не надо говорить.

— Русские меня ищут, господин.

Судья закрыл глаза и долго молчал.

— Они всегда ищут, — возразил он. — Нам будут о тебе писать.

Он пытливо воззрился в лицо Мурада, а тот при слове «писать» почувствовал себя на дне пропасти: для него, безграмотного удальца-налета, перо и бумага были оружием — куда! и не сравнить! — страшнее казачьих берданок. Судья все с тем же вопросительным взглядом провел рукою по своему горлу: было, дескать? Мурад виновато опустил голову.

— Сколько? — спросил судья.

— Двух всего... — был сокрушенный ответ.

— Гм... однако!

Во взоре судьи засветилось нечто похожее на уважение.

— Русские были?

— Нет, господин, армяне...

Опять долгое молчание, опять сухая рука с крашеными ногтями ласкает огненную бороду.

— Нам о тебе будут очень много писать.

Дно пропасти под ногами Мурада углубляется на целую сотню саженей.

— Господин! — кричит он и валится в ноги, — неужели вы меня выдадите неверным?

— Гм...

Мурад колотится лбом о каменные ступени крыльца, целует ковер, на котором сидит судья, тянется к его туфле.

— Гм...

Мурад вспоминает, что у него за пазухою есть мешочек с десятком русских золотых и парою дорогих перстней, снятых с убитого купца-армянина. Он вынимает свои сокровища и, — с полною готовностью претерпеть, в твердой уверенности, что так и следует, что иначе быть не может, — повергает их к стопам судьи.

— Гм... — слышит он уже более ласковое, почти отеческое мычание, — видишь ли, сын мой: не в обычае нашем выдавать неверным своих единоплеменников; к тому же ты щедр, вежлив, понимаешь, как надо обходиться с людьми высокопоставленными. Но, сын мой, эти проклятые неверные собаки в делах, подобных твоему, бывают ужасно настойчивы. Поэтому — чтобы не подвергать себя опасности, а нас неприятности тебя выдать — сделай, сын мой, милость: пропади куда-нибудь в тартарары... Открыто твоего присутствия в городе мы не желаем, но живи сколько хочешь! А если будут нам писать из Эривани, отписаться будет наше дело. Не знаем, мол, такого, не видали, не слыхали, не понимаем, о ком вы говорите, — ищите, коли можете, у себя, а у нас нету...

— Господин! Бог помянет доброе дело твое на последнем суде!

— Но! — лицо и голос судьи делаются строгими. — Если ты вздумаешь продолжать здесь свои шалости... знаешь?

— Очень хорошо знаю, господин.

— Я велю обрезать тебе нос и уши, потом тебя засекут плетьми до полусмерти, а наконец уже полумертвого повесят.

— И твой суд будет прав, господин. Потому что — так мне и надо, если я в ответ на гостеприимство подниму руку против братьев моих, как поднимал ее на неверных.

— Не о том речь, — перебивает судья. — Дело не о верных и неверных. Вообще не смей шалить в нашем околотке. Армянина — и того не моги тронуть! Понял? А не то — уши, нос, плети и секим-башка!

Но заметив, что при воспрещении посягать даже на армянское благополучие лицо Мурада исполнилось самого тоскливого недоумения, судья прибавил:

— Ну а уж если тебе не терпится, — ступай на турецкую границу... Там это можно.

«Можно-то можно, — размышлял Мурад, уходя от судьи нищим пролетарием, — но за то ведь там, на турецкой границе, не одни овцы, а и волки живут: шайтаны-курды! Они смотрят на армян как на свою законную собственность. Ограбить ихнего армянина — это значит залезть к ним в карман, чего они терпеть не могут. У них одно курдское племя с другими дерется насмерть за право, кому из двух ограбить армянскую деревушку. Так чужой туда лучше уж и не суйся... Ухлопают вернее казаков и с пущею охотою, чем армянина! И чего жадничают? Как будто Бог мало армян поселил на свете? На всех бы добрых мусульман хватило!»

В конце концов, Мурад прожил целое лето мирным гражданином. Иной раз в нем разгорались привычные вожделения, рука сама ползла к горлу какого-нибудь купца, у которого на поясе болтался богато нагруженный денежный кошель, но... раза два-три в неделю он встречал на рынке или у входа в мечеть судью, видел его черные колючие глаза с желтыми белками — и, хотя судья как будто даже не замечал его, Мурад почему-то невольно читал в черно-желтых глазах этих: нос, уши, плети, виселица. И он бросал свои мечты об армянских поясах с золотыми монетами, об оправленном в серебро оружии и — с глубоким вздохом — шел копать канавы для орошения полей, снимать виноград, жать спелый хлеб. Разбойник притворялся работником, ибо — нос, уши, плети до полусмерти и виселица для полумертвого, — с такими перспективами не шутят...

Но вот пали холода, дело шло к зиме. Пролетарий вспомнил, что у него за Араксом есть дом и семья; разбойника потянуло к своему углу, к теплому очагу, к красивой жене, к ребенку.

— Иду в Россию! — говорит Мурад приятелям-поденщикам.

— Стало быть, жизнь и воля надоели? Ступай, дурак! тебя там давно уже поджидают. Заждались!

— Будто уж так, едва я ступлю за Аракс, тут меня и поймают?

— А почему тебя не поймать?

— Я знаю в горах такие закоулки, где не ступала русская нога.

— Так неужели ты возвращаешься в Россию затем, чтобы прятаться по горным закоулкам?

— Нет, — я хочу видеть свою жену, сына, тестя, тещу...

— Ну, смотри, брат!

— А что?

— Да — чтобы свои-то и не выдали тебя, как выдали многих, многих... Не тот теперь народ пошел. Это старики были крепки на расправу. А теперь — народ жидкий: пригрозит начальство, — и выдадут.

— Какой вздор! Чтобы моя Буль-Буль меня выдала!

— Сама еще и ремень принесет — руки связать.

— Она? Да вы знаете ли, из-за чего я на разбой-то пошел?

Мурад — персидский выходец, родом татарин. Пришел в Россию на заработки, нажил денег, влюбился, женился. Жена оказалась из зажиточной семьи, балованная, капризная, хорошенькая, с прихотливыми требованиями от влюбленного без памяти мужа. Хочет и кусок есть послаще и одеться получше. Характера подтянуть бабу у Мурада не хватило. Что было накоплено раньше, прожили. Пошли дома истории, сцены, плач, попреки. Подай денег, подай нарядов, подай ожерелье на шею, перстни на пальцы! И вместе с тем то и дело указывают с укором — и жена, и теща, и тесть.

— Вон, посмотри-ка, как живет Гассан-бек: сам в серебре, жена в золоте, у всей родни шелковые бешметы.

— Но ведь Гассанка, говорят, грабитель! — отвечал Мурад, — он обирает людей по большим дорогам.

— Каких же это людей? — возражают ему.

— Назарианца, мсерианца, базарджианца — слухом земля полнится.

— Да разве это люди?

— Как же нет?

— Это наши враги, армяне, торгаши, ростовщики. Они сосут кровь из нас, они выживают нас с наших земель. Их Аллах велел грабить!

Как почти всякий восточный человек, Мурад — строгий хранитель законности. Не спешите приходить в недоумение от столь парадоксального сочетания понятий — «восточный человек» и «законность». Не верьте, что на Востоке люди не сознают прав своих. Напротив. Правда, они довольствуются minimumом прав, каким может удовольствоваться человек, по понятиям европейца, но за этот minimum они держатся с такою энергиею, с такою убежденною последовательностью, каких не найти у самого развитого конституционалиста. Слова «здесь такой порядок! так велит закон!» для восточного человека святыня; но в то же время он требует, чтобы этот закон равнял его и в льготах, и в строгостях своих с каждым из его соседей. В Персии режут носы, уши, дерут плетьми, пытают, казнят по подозрению и т.д. Туземец, несогласный переносить всю эту муку, — извращенную изнанку гражданственности, — уходит к нам, потому что он слыхал о гуманности русских порядков, о мягкости русского закона. Но в отношении последних он настолько же требователен, насколько был согласен, пока жил в Персии, чтобы закон резал ему нос и обрубал уши. Его ничуть не смущает, если персидский судья отрежет ему нос и уши, потому что он знает, что этот судья вправе поступить с ним таким образом. Но если бы судье этому пришла фантазия наказать мусульманина, созвав армян и приказав им оплевать подсудимого (что, увы! случалось на нашей территории), то оскорбленный мусульманин может быть твердо уверен, что на завтра будут обрезаны уши и нос у неправедного обидчика-судьи, потому что такого издевательства персидский судья наложить на мусульманина не властен. К нам в край бегут, пока веруют, что

у нас есть твердый, всех защищающий закон. Закон туземец знает гораздо лучше, чем воображают многие его исполнители, поминутно превышающие свою власть в отношениях мирно-юридических и не умеющие защитить ее престиж, когда на нее нападают разные Мурсакуловы, Наби и Шах-Гуссейны с оружием в руках. Туземец протестует против злоупотребления властью какого-нибудь мелкого полицейского чина.

— Что? — ты смеешь разговаривать?

— Да позвольте: это не по закону.

— Не по закону? Тебе, азиатской каналье, законы стали известны? Законов тебе надобно? А когда тебе в Персии за кражу кочана капусты секим-башка хотели делать, тогда ты тоже о законе разговаривал?

— Да позвольте! — от этого-то я и ушел к вам.

Не внемлют!

Эта злополучная, архаическая Персия, что лежит у нас под самым боком, — обоюдоострое несчастие.

Закавказский мусульманин говорит:

— Персидские законы ужасны, казни страшны, но я знаю, чего и за что я могу ждать от персидских властей. Поэтому на персидской территории я не позволю себе разбойничать, ибо — самому дороже. Но как мне вести себя на территории русской, я не имею точных представлений.

Ибо одна вещь — русское законодательство, а другая — уездный начальник, пристав, помощник пристава.

— Своему брату-персюку, судье неправедному я скажу стих из Корана, и он, будь насильник семи пядей во лбу, не возразит мне, ибо слово Корана для него рожон, против которого не попрешь. Русский же закон не спасет меня своим авторитетом: напротив, я то и дело, стоя на совершенно законной почве подвергаюсь неожиданностям, которых над моим нравственным «я» не смели оказать на персидском берегу Аракса, где с моим телесным «я» — что хотят, то и сделают.

Мурад очень живо помнит, как вышел он впервые на разбой. Татарин и мусульманин, он не имел права носить оружия, — и у него ничего не было про запас, кроме суковатой палки из «железного» дерева. Но, когда татарину надо найти оружие, он знает, где его искать. На то есть целая нация даровых, невольных поставщиков. Мурад отправился в горное ущелье и... когда выехал на тропу, пролегавшую мимо ущелья этого, первый купец-армянин — с целым арсеналом ружей, револьверов и кинжалов, на случай нападения, — новоиспеченный разбойник заступил ему дорогу с решительным и грозным видом. Храбрый коммерсант совершенно забыл преимущества своего вооружения и самым смиренным образом отдал палочнику-татарину и ружья свои, и револьверы, и кинжалы, и кошелек. А затем Буль-Буль стала ходить в шелку и в атласе, а перед Мурадом все стали гнуть шапки... и в то же время писать на него доносы, как на вновь объявившегося разбойника... Затем история короткая: облава... погоня... два выстрела — два покойника... перспектива виселицы... Персия...

Тоска по любимой жене вернула Мурада на старое пепелище — в Россию. Под пулями перешел он Аракс, увернулся от кордона и исчез в горах. По волчьим и лисьим тропам добрался он до своей деревни. И видит он: большая с тех пор, как ушел он из нее, во всем перемена. Дико смотрят на него односельчане:

— Да неужели это ты, Мурад? Мы думали, тебя уже нету на свете.

Жена отчего-то вскрикнула при его появлении не криком радости, а — точно кто сердце ей оледенил ужасом. Тесть двусмысленно улыбается и не смотрит в глаза.

— Что же ты будешь теперь делать, Мурад? — спрашивают его, — ведь ты у нас не жилец, сам понимаешь... Ловят вашего брата, ах как шибко ловят...

— Я знаю, — говорит Мурад, — и не хочу у вас оставаться. За себя я не боюсь, да не желаю, чтобы из-за меня попала в ответ вся деревня...

— Да, Мурад, ответ — очень большой ответ... В Сибирь пойдем.

— Я ведь только за женою пришел; возьму ее — и айда назад в Персию!

Точно туча налетела на все лица. Персия! да ведь это рабство! это голод! И туда отпустить любимую дочь? Но муж — полновластный владыка своей жены: молчат, не возражают. Лег Мурад спать. Жена и теща его шепчутся.

— Неужели ты согласна идти в Персию на голодовку с этим головорезом?

— Ни за что!

— Но он убьет тебя, если ты откажешь.

— Что же делать? что же делать? — ломает руки Буль-Буль.

— А вот что: сейчас же дадим знать в Н., что разбойник Мурад, убийца двух армян, находится в нашем доме. Начальство схватит его, отправит в Сибирь, а ты свободна...

В Н. известию обрадовались. Был там в это время урядник — человек беззаветной храбрости. Незадолго перед тем обнесли его перед начальством — наклеветали, будто в одном деле с разбойниками он растерялся, струсил и не сумел схватить злодеев, уже попавших в западню. Уряднику подобные слухи казались, дело понятное, невыносимо оскорбительными, тем более, что распускали их о нем люди, — как вояки, — гроша медного не стоившие. Он сам вызвался:

— Позвольте мне пойти, взять и привести в Н. разбойника Мурада.

И едет он с своею командою в аул Мурада, окружает саклю его, стучит в дверь:

— Выходи, Мурад!

Мурад в то время сидел с женою, тещею, тестем... Услыхал он грозный оклик, — посмотрел на родных:

— Так вот вы каковы!

Схватил свое оружие — выскочил на крыльцо.

— Стой, Мурад! Попался! Сдавайся без бою! уйти некуда! — кричит урядник и хвать его за шиворот. А Мурад в ответ бух в упор из револьвера... Урядник повалился бездыханный, а храбрая команда его брызнула врассыпную, кто куда глядел.

Когда же опомнились:

— Братцы! а как же разбойник-то? Надо же его ловить! — Мурадов и след простыл. Точно сквозь землю провалился.

Урядника подобрали. Команда осталась в ауле охранять жителей. Доносчики ходят ни живы, ни мертвы: что теперь будет с ними от Мурада и возможных его сообщников по разбою. А о нем ни слуха ни духа. Пропал, как шайтан, — словно расплылся в воздухе.

Ночь. Деревня спит. Спит и команда. Вдруг Буль-Буль сквозь дремоту слышит: кто-то стоит у ее постели...

— Что это? кто такой?

— Не бойся, это я, твой муж, Мурад, выданный тобою русским.

— Мурад!

Вскочила: видит, — и впрямь он! Страшный, бледный... Проснулись и другие семьяне, не понимают: откуда он взялся? Молят:

— Пощади, прости, не убивай нас!

— Я никого не убью, — сказал Мурад, — но Буль-Буль с вами, предателями, не оставлю: пусть идет за мною...

— Как? в Персию?

— Да... Брод через Аракс всего в одной версте, — идем! нечего мешкать!

— Не пойду я! не пойду! — вопит Буль-Буль, — ты меня там с голоду уморишь! работать заставишь!

— Не пойдешь? Ну так умирай!

Мурад вынул свой отточенный, сверкающий кинжал. При блеске его у Буль-Буль высохли все слезы, замолкли все жалобы.

— Иди вперед! — велел он, и — полураздетая — она пошла, как телка, которую гонят на пастбище. И если находили на нее нерешимость и упрямство и замедляла она свои шаги, Мурад колол ее острием кинжала в плечи, и бедная женщина с криком бежала вперед. Всполошенные односельчане смотрели, качали головами и говорили между собою:

— Ай-ай, больно сердит разбойник Мурад! крепко учит жену свою!

Тем временем родители Буль-Буль тормошили сонную команду.

— Вставайте! Мурад объявился!

— Ну вот еще! какой там Мурад? откуда ему взяться? — раздавалось в ответ недовольное ворчанье заспавших людей.

— Да проснитесь же! Поверьте нам!

— Отстаньте! никакого Мурада нет... это вам приснилось! у страха глаза велики...

— Как приснилось? Он в Персию бежит и дочь нашу увел за собою...

— В Персию? дочь?

Схватились за ружья, бросились в погоню. Но было уже поздно: Аракс шумно нес в темноте свои волны... между преследователями и беглецами легли ночь и пограничная река...

Мурад и Буль-Буль были вне выстрелов и права погони.

ИТАЛИЯ

КАТАКОМБЫ

Этому около двадцати лет. В жаркий сентябрьский полдень две англичанки, родные сестры, спустились в сырой каменный погреб — начало знаменитых катакомб св. Каллиста. Проводник-монах за ними следовал. Сестры посещали катакомбы ежедневно уже с месяц времени. Они были

художницы-акварелистки и, с разрешения аббата де Росси, копировали фрески и надписи, еще не перенесенные усердием археологов в Кирхнеров музей христианских древностей.

Монахи привыкли к сестрами и, когда убедились, что они не заражены обычными пороками англо-саксонского племени, т.е. не воруют античных лампочек, не отбивают углов от саркофагов, не обламывают фигурок с барельефов, не расписываются тушью или синим карандашом на фресках, — они перестали следить за барышнями.

Работали сестры в ближних галереях, куда еще проникали смутными отсветами дневные лучи. Следовательно, англичанкам не представлялось опасности заблудиться в лабиринтах подземных ходов, соединяющих три этажа катакомб. Они обязались монахам честным словом, что не будут заходить далеко вглубь подземелий и заглядывать под своды, еще не реставрированные и не укрепленные. Надо знать, что подземная паутина катакомб исследована не более как на одну треть своей площади, а доступна для туристов вряд ли и в сотой своей доле.

Сегодня англичанки слова своего не сдержали. Третьего дня они завтракали в артистическом ресторане Корадетти, и знакомые художники рассказали им об удивительных открытиях, сделанных русским археологом-живописцем Рейманом в катакомбах св. Присцилы. Рассказ задел самолюбие сестер. Им не удалось еще найти в катакомбах ничего нового, оригинального: все — давным-давно известные пастыри, с агнцем на плечах, рыбы, пальмы, pax tecum *, иногда кит, изрыгающий Иону, — обыденные мотивы христианского искусства первых веков. Сестры решили попробовать счастья и, обманув бдительность монахов, проникнуть в катакомбы за дозволенные им границы. Они приглядывались два

* Мир с тобой (*лат.*).

дня к запретным, полуразрушенным и заставленным козлами ходам, что примыкали к главным галереям, и, — как взяли бы лотерейный билет, — наудачу наметили из них один во втором этаже, недалеко от могилы св. Цецилии. Понимай, святой Цецилии монахов св. Каллиста, потому что в катакомбах св. Себастиана показывают другой гроб св. Цецилии, и между иноками обоих монастырей идет давняя распря из-за сомнения, — где же в самом деле была похоронена святая покровительница музыки — под сенью св. Каллиста или св. Себастиана? Англичанки понимали, что они рискуют заплутаться, и застраховали себя на случаи такой беды старинным средством царевны Ариадны — клубком снурков. Они прикрепили снурок у лаза в новую галерею и разматывали клубок, по мере того как удалялись вглубь катакомб. Они имели при себе два фонарика-рефлектора вроде полицейского oeuil de boeuf* — вещь, необходимую для исследователя тайн, похороненных в непроглядном мраке тысячелетних склепов. Фонарики эти сестры и раньше приносили в катакомбы, чтобы их сильным, сосредоточенным светом озарять по частям фрески, которые копировали. Так как температура катакомб всегда обратна температуре надземной: зимою в них душно, а летом прохватывает холодом, то англичанки позаботились захватить с собою пледы. Твердо надеясь на снурок, сестры шли одна следом за другою, бодро и самоуверенно. Ход был довольно широк, но не представлял ничего интересного: стены были ободраны дочиста так же, как и в главных галереях, в знакомые извилины которых выводила иногда англичанок избранная ими дорога. Тогда они ныряли в первый ближний лаз — из запретных, какой представлялся их глазам, — и так уходили все дальше и дальше. Наконец по тесноте лаза, по высоким завалам на полу, по низко осунувшимся сводам сестры убедились, что они вышли из круга иссле-

---

* Бычьий глаз (*фр.*); название фонарика.

дованных катакомб и проникли в область, куда до них — весьма может быть в течение пятнадцати веков — не ступала человеческая нога. В стенах стали попадаться плиты — правда, без надписей и рисунков, но цельные, свежие, точно сейчас вытесанные: таких нет в исследованных катакомбах, — все давным-давно вынесены и занумерованы в каталогах музеев Кирхнера и Латеранского. Сестер невольно объял священный трепет. Древность глядела им в лицо из зияющих провалов, манила и звала к себе.

В гордости, что они, две слабые женщины, сумели пробраться во мрак могильного царства до порога новых вероятных открытий, они обменялись веселыми взглядами и крепким рукопожатием.

— Ты не устала, Кэт?

— Ничуть. Я готова идти вперед хоть целый день. А ты, Мэг?

— Тоже.

— Мы можем идти, пока не истощится наша путеводная нить.

— Что клубок?

— Размотан едва наполовину.

Сестры присели на груду осыпавшейся земли. Стая мышей брызнула от них врозь, скрываясь в щели стенных гробниц.

— Позавтракаем.

Мэг вынула из сумки сандвичи... Кэт наблюдала убегающих мышей.

— Интересно, чем питаются здесь эти зверки? — изумлялась она.

— Вероятно, они делают отсюда экскурсии наверх...

— Однако заметь: вблизи входа в катакомбы мыши не водятся. Они начали встречаться нам только в этом лазу.

— Зачем же мышам ютиться у входов, сделанных человеческими руками, когда у них тысячи своих норок и лазеек?

Двинулись дальше.

— Странно, Кэт, что здесь так сухо. Раньше было много сырее.

Кэт осветила стенку прохода — грубую, шероховатую.

— Это потому, что мы в туннеле, высеченном в целой скале. Смотри: голый камень.

— Какого страшного труда это стоило!

— Работали рабские руки...

— А не руки христиан?

— Не думаю. Это — прямо рубка в скале. Проделать подобный туннель без пороха и динамита можно разве лет в десять, при условии, что рабочие смены трудятся беспрерывно, одна за другою, и день и ночь. Первым христианам среди преследований некогда было предпринимать такие сложные работы, да и не к чему: если им нужны были новые ходы, в их власти было выбрать более мягкую и спорую к рытью породу. Вообще доказано, что христиане не рыли новых катакомб, но лишь приспособляли к своим нуждам старые каменоломни...

— Так что мы в доисторической шахте?

— Всего вероятнее. Смотри: здесь уже и могил нет.

— Тогда стоит ли продолжать путь?

— Отчего нет? Может быть, этот коридор соединяет катакомбы св. Каллиста с какими-нибудь другими? Или он приведет нас к другому выходу на свет.

— Пожалуй. Здесь гораздо больше кислорода, чем можно бы ожидать по расстоянию от входа. Ведь мы прошли уже не менее двух километров.

— О! гораздо больше! и по каким еще извилинам и зигзагам.

— Между тем дышать здесь совсем не трудно, и лампочки светят ярко, без синего огонька. Я предлагаю: дойдем до конца этого коридора и, если он не откроет нам ничего замечательного, возвратимся назад. А завтра повторим экскурсию; наш снурок покажет нам дорогу, и мы сделаем ее

гораздо скорее, чем сегодня, — следовательно, будем иметь время пройти дальше.

— А много еще у нас клубка?

— Много. Он какой-то неистощимый.

— Allora avanti, sorella! *

Голоса и смех англичанок гулко раздавались в мертвой тишине подземелья, и легкие шаги их отзывались под сводами топотом богатырских ног.

Мэг сказала:

— Будь мы суеверны, могли бы подумать, что вместе с нами шагает целая рота привидений.

— Да, это местечко вообще — не для слабонервных.

— Ты замечаешь, я была права — коридор привел нас в другие катакомбы; мы опять на кладбище и в земле, а не в камне.

— Обитатели этих могил, вероятно, очень удивлены нашим визитом.

— И, конечно, удивлены не особенно приятно: я думаю, товарищи из первых галерей порассказали им, как туристы и археологи ограбили их гробницы.

Минут пять спустя Кэт кликнула сестру голосом, полным удивления и испуга:

— Мэг! с клубком творится что-то странное.

— Ну?

— Да он ничуть не уменьшается.

— А снурок?

— Перестал разматываться.

— Вот неприятность! Надо немедленно идти назад.

— А что?

— Это значит снурок где-нибудь, на угле, при повороте из коридора в коридор, перетерся. Хорошо, что ты заметила вовремя. Иначе мы могли протащить снурок бесполезным

* Тогда вперед, сестра! (*ит.*)

хвостом еще километра полтора и затем даже вовсе потерять своего путеводителя.

Сестры повернули обратно. Отмерили они шагов тысячу, на добрую четверть часа ходьбы, но оборванного конца снурка их яркие фонари сестрам не показали. Путницы смущенно переглянулись.

Кэт сказала:

— Должно быть, я не сразу заметила, что снурок оборвался и действительно как ты говоришь, протащила его некоторое время хвостом. Надо найти другой конец снурка. Я помню, что прежде чем войти в этот коридор, — мы шли широкою галерееею и повернули сюда с левой руки; значит, чтобы искать снурок, теперь надо будет идти направо.

Девушки нисколько не трусили. Им казалось, что они хорошо помнят дорогу и, в крайнем случае, обойдутся и без снурка. Но для верности следовало поискать его. Искали долго, но не нашли. Очевидно, снурок оборвался уж очень давно. Положение становилось серьезно. Недавние улыбки сбежали с уст девушек, брови сдвинулись... Сестры вышли на площадку — неправильный пятиугольник. Каждая грань его зияла черным отверстием, и все пять дверей были похожи одна на другую, все представлялись сестрам равно знакомыми.

— Как будто мы шли через эту, — нерешительно сказала Кэт, повертывая направо.

Мэг, не отвечая, послушно зашагала за нею. Она вовсе не была уверена, что Кэт ведет настоящею дверью, какою надо, но и сама не знала, которая из пяти настоящая. Про себя, она уже не сомневалась, что они заблудились, но не хотела выдать свою тревогу, чтобы не лишить сестру душевной бодрости. Она пробовала даже шутить над своим приключением, но остроты ее звучали натянуто и не встречали ответа. Кэт оробела. Сестры скрывали одна от другой охвативший

их страх. Новая площадка и новые ходы в стенах: точно пасти, алчущие поглотить неосторожных пришелиц...

— Нет, это не то! — с отчаянием воскликнула Мэг.

— Не то!

Кэт, совсем растерянная, опустила фонарь.

— Мы Бог знает куда зашли... Мы здесь никогда не были! Это совсем новая площадка!

— Ты права.

— Вернемся, попробуем счастья через другую дверь.

— А ты уверена, что теперь угадаешь правильно?

— Нет, но... попробуем!

— Попробуем... Ведь это — единственное, что нам остается делать, — согласилась Мэг, с искусственным спокойствием.

Опять бесконечные извилины узких ходов, примыкающих к обманчивым платформам. Мрак, в котором движутся двумя пятнами тусклого красного тумана огненные круги рефлекторов... Тишина, среди которой вслед за шагами девушек топают шаги эха, и опять сестрам кажется, что рядом с ними выступает вот-вот готовое явиться привидение. Но теперь им уже не смешно от этого представления — теперь мороз бежит по их коже, когда они вслушиваются в таинственные шаги.

Им страшно остановиться хоть на минутку — от мысли, что они знают, кто этот невидимый ходок. Имя ему — смерть... голодная смерть, испокон веков царящая здесь, на подземных каменных кладбищах. Они проникли в ее чертог и навсегда останутся в нем, жизнью заплатив за свое безрассудство.

— У меня ноги подкашиваются: я не в силах идти более, — простонала Кэт, опускаясь на пол.

— Отдохни, но недолго, — угрюмо возразила Мэг. — У нас мало света в запасе.

— Загаси свой фонарь, — сказала она после нескольких минут молчания.

— Зачем?

— С нас довольно и моего. А твой мы засветим, когда в моем выгорит свеча.

— Боже мой, неужели ты думаешь, что мы еще долго не выберемся из этих норок?

— Ах, почему я знаю!

— Это ужасно, это ужасно! — шептала Кэт.

Мэг повелительно прикрикнула:

— Не трусь, не распускайся! Струсим — пропадем.

— Не сердись! — умоляющим голосом возразила Кэт, — можно ли ссориться в такие минуты?

— Вот что, — предложила Мэг, успокаивая сестру ласковым рукопожатием, — давай кричать! Как знать? Быть может, мы уже кружим около посещаемых галерей, и нас услышат...

Голоса у сестер были громкие, легкие, могучие, и они подняли целую бурю звуков под низкими сводами подземелья.

Кричали, пока не осипли. Замолкли последние перекаты эха... Опять — мертвая тишь... слышно, как стучат смятенные сердца девушек... Никого! ничего!.. Похоронены заживо.

— Мне пить хочется, — пролепетала Кэт.

— Напейся: там в сумке есть еще бутылка аполлинарис... но... будь экономна.

— Я только один глоток...

— Что же теперь? Идти дальше? — предложила Мэг.

— Конечно.

— Куда?

— Не знаю.

— Все равно! — лишь бы не сидеть на месте. Здесь мы ничего не высидим. Никто не догадается искать нас...

Кэт ломала руки.

— Хоть бы кому-нибудь рассказали мы о своем намерении! Нас хватились бы, снарядили бы поиски, а теперь...

Мэг энергично остановила ее жалобы:

— Идем, авось Бог поможет нам выбраться.

— Идем! движение отнимает страх.

— Боже мой! Боже мой!

Мэг взглянула на часы и ахнула, не веря глазам:

— Знаешь ли, сколько уже времени мы в катакомбах?

— Ах, мне кажется, целую вечность.

— Я говорю не о «кажется», а сколько на самом деле...

— Ну?

— Шесть часов и двадцать три минуты.

— Значит, теперь уже вечер?

— Да. Если и найдем выход, то придется ночевать у дверей; катакомбы заперты, и монахи не услышат наших криков, — их кельи далеко.

— Ах, я готова ночевать хоть в саркофаге, лишь бы знать, что мы у выхода.

Опять ходьба до изнеможения, двойной топот шагов, безвестные могилы в стенах, камень под ногами, камень над головою, — холодный, мертвый, безответный. Ходы вьются, как змеи, то вверх, то вниз, то влево, то направо, и все грознее и грознее опутывают и сжимают англичанок своими роковыми звеньями.

— Не могу я дальше идти... не могу!

Кэт облилась слезами, бессильно прислонясь спиною к холодной стене.

— Да и некуда, — с холодным ожесточением согласилась Мэг.

Она села рядом с сестрою у ее ног.

— Нечего обманывать себя и утешать: мы погибли. Это — паутина. Мы задохнемся в ней, как две мухи.

— Не говори таких ужасных слов, Мэг! Мы не должны, не можем умереть... Господи! и как только пришла нам в голову проклятая мысль — пуститься в эту несчастную экскурсию!

— Ты же предложила, Кэт.

— А ты старшая, ты сильнее, меня умнее... Тебе следовало остановить меня, отговорить... А ты вместо того... Ах, Мэг! Мэг!

— Что спорить, кто виноват! — сурово возразила Мэг. — Обе виноваты. Поздно спорить, когда мы умираем.

— Голодная смерть... Господи!.. Мэг! я не хочу умирать так страшно...

— Об этом тебя не спросят, дитя. Умрешь, как Бог послал.

— Бог послал?! да за что же? за что? чем мы оскорбили Его? Чем я оскорбила? Ведь мне же всего-то, всего двадцать лет — и умирать?! А-а-а-ах! Мэг! Мэг! Мэг! спаси меня! не отдавай! я не хочу умирать, не стану умирать...

Она рыдала, выкрикивая бессмыслицу, как малый ребенок. Мэг молчала и только гладила ее по голове: больше ей нечего было сделать в утешение обезумевшей сестры.

— Может быть, — шептала Кэт, притихнув, — мы оскорбили Бога тем, что пришли сюда. Может быть, люди, спящие во всех этих гробах, — святые, и Он наказывает нас за то, что мы потревожили их смертный сон? Ведь они — мученики, они умерли за Него...

— Оставь эти мысли! — строго приказала Мэг. — Ты христианка. Наш Бог — Бог живых, а не Бог мертвых.

— Бог живых, Бог живых! помилуй нас, помоги нам, — бессознательно лепетала Кэт...

* * *

Часы летели...

Далеко-далеко от места, где остались было сестры, в подземной тьме чиркнула восковая спичка, и вслед затем засветился рефлектор. Это — Мэг проснулась... Она опустила фонарь: огненный круг озарил чье-то старое-старое лицо с закрытыми, впалыми глазами, склоненное к ее коленам.

— Спит, — пробормотала она и опять загасила свет.

Из-за фонаря у нее шли недавно долгие и гневные пререкания с сестрою.

Вынужденная экономить свет, она настаивала, чтобы свеча горела только, пока они будут на ходу, а отдыхать можно и в потемках. Кэт не хотела и слышать, чтобы расстаться с огнем.

— Я сойду с ума, — кричала она. — Когда погаснет этот огонек, погаснет и мой разум.

— Дитя, — уговаривала ее сестра, — пойми же, что именно ради того мы и должны как можно дольше сберегать наш огонь... Пока у нас есть свеча и вода, мы можем бороться, надеяться... А во тьме — все будет кончено... в несколько часов!..

Кэт убеждалась, позволяла погасить свечу, но, едва мрак окружал ее, начинала метаться и кричать...

— Я не хочу! я не могу! мои мысли мешаются. Дай мне видеть свет, или я разобью себе голову о камни.

— Эта тьма — живая, — лепетала она, вся трепещущая, прижимаясь к сестре, — в ней что-то ходит, летает... оно съест нас, уничтожит, милая Мэг...

— Полно, полно, — сдерживая рыдания, успокаивала ее сестра. — Ну можно ли так теряться, Кэт?

— Я слышу шаги, слышу шепот... — галлюцинировала девушка, — оно надвигается на нас, Мэг... оно над нами... я чувствую его холодные лапы, его мертвое дыхание...

— Чье дыхание? кто «оно»? о чем ты говоришь? — терзалась Мэг.

— Оно... привидение, что шагало за нами от самого входа... ты помнишь? — мы слышали шаги и смеялись, а оно шло, все шло...

— Кэт, опомнись! Не позволяй себе бредить! Иначе воображение окружит тебя такими страхами, что ты не в силах будешь справиться с ними и в самом деле сойдешь с ума.

Но Кэт твердила ясно и убежденно:

— Это оно оборвало снурок и завело нас сюда, чтобы выпить нашу кровь и съесть наше тело.

Мэг зажала уши и гневно кричала:

— Стыдно! ты — христианка, образованная девушка, а тебе мерещатся какие-то вампиры, точно мужичке.

— Ах, в этом царстве мертвых всему поверишь! — с отчаянием возражала Кэт.

— Здесь никого нет, кроме нас! слышишь ты? Никого, никого!

— Да, — упорствовала младшая сестра, — никого, пока светит рефлектор. Должно быть, оно боится света. Но, когда ты гасишь огонь, оно приближается, и я начинаю умирать: мне душно, мой мозг леденеет... Бежим отсюда, Мэг, бежим!

В беспорядочном бегстве от овладевшего Кэт панического ужаса сестры метались под сводами своей огромной гробницы, как летучие мыши. Они бросались наудачу в первые попавшиеся ходы лабиринта, пробегая по ним километр за километром, пока не сваливало их на землю изнеможение или не упирались они в глухую стену. Или же, — оглупевшие, потеряв энергию и волю, — они прилеплялись к камням какой-нибудь могилы и сидели без мыслей и без надежд, подавленные усталостью тела и духа до состояния, когда и к самой смерти человек безразличен, потому что ему кажется, — все равно: он уже заживо умер!

Закрыть рефлектор Мэг удалось только, когда Кэт задремала. Вслед за нею сонное оцепенение охватило почти мгновенно и старшую сестру. Теперь, проснувшись, Мэг чувствовала сильный голод, и все тело болело, будто избитое палками. Который-то час? Хронометр показал Мэг странную цифру. Она с недоверием поднесла часы к уху: нет, они шли правильно, маятник тикал четко и мерно. «Одиннадцать! Но одиннадцать было и когда мы засыпали?! Что же

это? Неужели мы проспали подряд двенадцать часов?» Сандвичей оставалось еще штучки три-четыре. Мэг отломила кусочек хлеба и ела его крошка за крошкою, стараясь протянуть время и обмануть голод этою призрачною едою... Ей пришло в голову: «Через час все наши сойдутся завтракать у Корадетти — Смит, Риццони, Сведомские, будут поминать нас, удивляться, что нас нет. Быть может, Корадетти сейчас — как раз над нашею головою... ведь катакомбы тянутся под целым Римом, и Бог знает, как далеко и в какую сторону мы зашли. Смит ухаживает за Кэт и непременно предложит brindisi * в ее честь. А она, бедная, задыхается в агонии голодной смерти — на сорок футов в земле под его ногами...»

Кэт проснулась.

— Долго я спала? — был ее первый вопрос. Мэг не решилась напугать ее ответом, что они в катакомбах уже целые сутки.

— Минут сорок, — солгала она.

— И ничуть не отдохнула все-таки... Голова болит, колена дрожат, спину ломит... А ты что делала?

— Мне не хотелось спать, я стерегла тебя.

— Я есть хочу, — сказала Кэт после некоторого молчания робко и жалобно. — Можно?

Сердце Мэг сжалось:

— Деточка моя, конечно можно.

Она дала сестре сандвич. Та съела и попросила еще. По обстоятельствам, это была непозволительная расточительность, но Мэг не могла отказать. Она думала: «Часом раньше, часом позже — не один ли конец? А ведь это последнее баловство, какое я могу оказать Кэт, последняя моя услуга ей...»

Часы летели.

---

* Тост (*ит.*).

Последний сандвич разделен и съеден. Последняя капля воды выпита. Последняя искра света погасла. Мрак и смерть! Клекот агонии в двух пересохших горлах да изредка слабый, безумный стон:

— Мне двадцать лет... Только двадцать лет!..

* * *

Работник Николо Бартоломе, нанятый на поденщину чистить сад Монте-Пинчио, только что взялся за метлу, чтобы утреннею порою, пока сад закрыт для публики, убрать осенние листья, облетевшие за ночь с деревьев на дорожки любимого гулянья римлян.

Он курил и пел:

Addio, Roma,
Bella citta! —
La-ra-li-le-ra.
Bella citta! *

И вдруг замолк: ему почудился стон.

— Diavolo! ** откуда это?

Стон повторился.

«Уж не придушили ли здесь кого-нибудь ночью? — подумал Николо. — Или, может быть, сохрани Бог, самоубийца? Римляне любят-таки кончать с собою на Монте-Пинчио».

Он обшарил кусты, прислушиваясь к стону, и наконец остановился в глубочайшем изумлении: стонала — теперь он различал это совершенно определенно — груда прелого листа, которую, вот уже около недели, сметал он стогом к решетке старой водопроводной отдушины. Груда не только

---

* Прощай, Рим, / Прекрасный город! — / Ла-ра-ли-ле-ра. / Прекрасный город! (*um.*)

** Дьявол! (*um*)

стонала, но трепетала, — что-то рвалось из нее на волю, точно цыпленок из яйца.

— Sangue di Cristo! * — воскликнул Николо, — воры зарезали человека и бросили его в мою кучу. Если этот бедняга задохнется, меня отправят в тюрьму на всю жизнь.

Он разбросал листья метлою до самой решетки, взглянул и уронил метлу, чувствуя, что волосы поднимают колпак на его лохматой голове.

— Befana! ** — мелькнуло в его суеверном умишке. Из недр земли, сквозь решетку, глядело на него страшилище: костлявая ведьма, в седых космах, с лицом такого же земляного цвета, как и листья, его облепившие, вся в ссадинах, царапинах, синяках, с глазами, пылавшими как два угля по сторонам носа, похожего на заостренное копье. Ведьма совала сквозь решетку тощие руки — точно цыплячьи лапки — и, делая Николо знаки, неясно мычала синим ртом... Возле нее ворочался какой-то живой мешок, потерявший под слоем земли и листьев всякое человеческое подобие.

— Befana!.. Vade retro, Satanas! ***

Но страшилище овладело наконец своею речью. Николо услыхал:

— Salvate noi, amico... siamo due inglese... tre giorni senza pane... morriamo da fame... ****

Это была Мэг.

* * *

Кто посещал купанья Ривьеры и Тосканского побережья, наверное, встречал либо в Нерви, либо в Санта-Маргарите, либо в Виареджио двух пожилых англичанок, очень схожих

* Христова кровь! (*ит.*)

** Ведьма! (*ит.*, *разг.*)

*** Ведьма!.. Отойди от меня, сатана! (*ит.*)

**** Спасите нас, друг... мы две сестры англичанки... три дня без хлеба... умираем от голода... (*ит.*)

между собою. С лица обе совсем не дряхлы, но у обеих волосы седы как лунь, у обеих головы трясутся, точно у восьмидесятилетних. С младшею разговаривать бесполезно. Она помнит только, что ее зовут Кэт, что у нее есть сестра Мэг, которая очень добра к ней, и что, когда солнце уходит спать в море, надо зажигать как можно больше свечей, потому что в потемках живут свирепые привидения, готовые высосать у человека кровь и съесть его тело.

— Это было со мною, синьор, — все было, когда мы сидели там, под землею, — уверяет безумная. — Оно не успело сожрать меня, потому что Мэг боролась за меня — она очень храбрая, моя сестра Мэг! Но оно выпило мою кровь и теперь я — никуда не годная старуха. А между тем мне только двадцать лет, синьор... всего двадцать лет.

Этот унылый припев неизменно вторит ее болтовне, как звон похоронного колокола:

— Мне двадцать лет... всего лишь двадцать лет!

И двадцать лет эти идут ей вот уже двадцатый год. Но от Мэг турист может узнать все подробности их заключения в подземельях св. Каллиста. Как Бог помог им спастись, она не отдает себе отчета. Счастливый выход к отдушине на Monte-Pincio достался ей — именно вроде неожиданно выхваченного, удачного билета лото, одного выигрышного на сто тысяч аллегри.

— Голод, жажда и тьма совершенно обессилили нас. Кэт лежала у моих ног без чувств и без движения, не в силах даже стонать и плакать. Я, в припадке последнего отчаяния, то молилась, то богохульствовала, то каялась в своих грехах, то проклинала... Протяну руку к Кэт — вот ее изменившиеся, заостренные черты; чувствую, что она умирает, что она — вот-вот сейчас умрет. Знаю, что и сама умру вслед за нею. Но своя смерть меня пугала меньше, чем мысль, что Кэт умрет раньше меня, на моих руках... Меня объяли ужас и тоска, каких не только вы не можете вообразить вчу-

же, но даже я не имею сил вспомнить отчетливо. Думаю: «Сяду подальше от Кэт...» Мне будет не так жаль ее, не так жутко. Поцеловала ее — она и не почувствовала — и отошла, ощупью, держась за стенку. Вдруг чувствую: рука стала влажная. Родник? Боже мой! да ведь это жизнь! Это спасение! С водою человек выдерживает недели голода... Освежилась сама, нашла Кэт, притащила ее к воде, освежила... Тогда я стала рассуждать: «Нет, это не родник. Будь родник, вода текла бы по полу, а тут стена влажная лишь на высоте моей руки, а снизу совершенно сухая. Следовательно, это не она испускает воду, а вода оседает на ней: стена потеет... Это — атмосферная влага. Значит, сюда есть приток свободного воздуха. Откуда? Конечно сверху, — иначе, почему бы роса отлагалась только на верхней части стены?..» И мне пало на мысль попытать последнего счастья: пойти вверх, придерживаясь влажной стены... Кэт не могла идти; я обвязала ее вокруг талии платком и тащила за собою волоком... Много ли мы шли, сколько времени, — не могу сказать... Знаю только, что, — когда на одном повороте вечная тьма, в какую мы были погружены, вдруг будто дрогнула и перешла в серый сумрак, — я едва не выпустила из рук своих Кэт: и от внезапного волнения радости, и оттого, что переход этот ослепил меня, — настолько показался мне ярким... А затем мы увязли в рыхлой массе прелого листа и по ней скорее докатились, чем дошли до решетки, за которою открыл нас Николо Бартоломе.

Монте-Пинчио и катакомбы св. Каллиста отстоят друг от друга километров на десять. Сестры провели в земле трое суток: сколько километров сделали они по извилистым ходам катакомб, конечно, мудрено сосчитать даже предположительно. Но — чтобы пройти от св. Каллиста к спасительной отдушине на Монте-Пинчио — им пришлось пересечь по подземному диаметру весь Вечный город, спускаясь ниже ложа Тибра... Таковы подземелья древнего Рима, — таково шутить с ними!

МЕРТВЫЕ БОГИ

(Тосканская легенда)

На небе стояла хвостатая звезда. Кровавый блеск ее огромного ядра спорил со светом луны, и набожные люди, с трепетом встречая ее еженочное появление, ждали от нее больших бед христианскому миру. Когда комета в урочный час медленно поднималась над горизонтом, влача за собой длинным хвостом круглый столб красного тумана, в ее мощном движении было нечто сверхъестественно-грозное. Казалось, будто в синий простор Божьего мира ползет из первобытного мрака свирепый царь его, огненный дракон Апокалипсиса, готовый пожрать месяц и звезды и раздавить землю обломками небесного свода. Комета смущала воображение не только людей, но и животных. Сторожевые псы выли по целым ночам, с тоскливым испугом вглядываясь в нависший над землею пламенный меч и словно пытая: правду ли говорят их хозяева о чудном явлении? точно ли оно — предвестник близкой кончины мира? Светопреставления ждала вся Европа. Булла Папы и эдикты королей приглашали верующих к молитве, посту и покаянию, ибо наступающий год, последний в первом тысячелетии по Рождестве Христовом, должен был, по предположению астрологов, быть и последним годом земли и тверди: годом, когда явится предсказанный апостолом ангел и, став одною стопою на суше, другою — на море, поклянется Живущим во веки, что времени уже не будет.

Без числа ходили слухи о чудесах и знамениях. В Кремоне видели на закате в облаках двух огненных воинов, по виду сарацинов, в бою между собою. В Нанте овца растерзала волка. Жители Авиньона в течение трех часов слышали великий воздушный шум — ярые голоса невидимых ратей и звон оружия. В самом Риме прекрасная принцесса Джеронима Альдобранди, скончавшаяся от изнурительной лихорадки,

очнулась, к радости родных, на третий день от смертного сна, встала из гроба и пошла, славя Бога, слушать мессу, заказанную за ее упокой. К страхам вымышленным присоединялись страхи действительные. Землетрясение неутомимою волною перекатывалось по трем полуостровам Средиземного моря, чума бродила по Ломбардии и Провансу, норманы неистовствовали на западе, мусульмане напирали на Европу с востока и юга. На северо-востоке нарождались славянские государства, еще неведомые, но слышно, что могучие, страшные, грозные. От Атлантического океана до Волги все бродило, как в мехе с молодым вином. Что-то зрело в воздухе, и народам, удрученным переживанием этого брожения, думалось, что зреет недоброе. Для людей, суеверных и утомленных тяжелыми временами, весть о светопреставлении была сигналом потерять голову и превратиться в пораженное паникой стадо.

Одни готовили себя к переходу в лучший мир молитвами, вступали в монастыри, бежали в пустыни, горные пещеры и в аскетических трудах, под власяницами, ждали судной трубы архангела. Другие, хотя уверенные в непременном разрушении вселенной, все-таки находили нужным зачем-то составить духовные завещания. Третьи, наконец, впадали в свирепое отчаяние и убивали остаток жизни на пьянство, разврат, преступления. Никогда еще Европа не молилась и не грешила с большим усердием. Боязнь ожидаемого переворота была так велика, что многие предпочитали кончить жизнь самоубийством, лишь бы не быть свидетелями наступающих ужасов Божьего гнева. Равнодушных было очень мало, неверующих презирали и ненавидели. За сомнение в состоявшемся уже пришествии антихриста побивали камнями. Фанатики клятвенно уверяли, будто антихрист не только народился, но и воцарился и сидит на римском престоле под видом Папы — безбожника, ученого-чернокнижника Герберта-Сильвестра.

В такое-то время случилось на диком горном пустыре, недалеко от города Пизы, странное происшествие, записанное в монастырских мемориалах под названием: «Дивные и пречудные приключения Николая Флореаса, уроженца славного города Камайоре, оружейных дел мастера и некогда доброго христианина».

Николай Флореас был молод и красив собою. Оружейное ремесло закалило его силы, развило ловкость; частое общение с людьми благородного происхождения усвоило Флореасу привычки, вид и обращение его знатных заказчиков и покупателей. Женщины говорили, что нет в Камайоре мужчины, более достойного любви, чем Николай Флореас, даже и между рыцарями герцогского двора. Если бы Флореас жил во Флоренции, Пизе или Сьенне, он, по талантам своим, наверное, сделался бы одним из народных вождей, каких так много создавали гражданские междоусобия средневековой Италии. Они выходили из низших общественных слоев, как Сфорца и Медичи, чтобы потом лет на пятьсот протянуть свою родословную, полную блистательных имен и громких подвигов. Но Николай Флореас был обывателем Камайоре, глухого горного городка, где горожане жили мирно, не делясь на политические партии. Сверх того, он был человек скромный, хотя решительный и способный. Как большинство оружейников, он знал грамоту. Он сочинял сонеты и играл на лютне.

В один летний день Николай Флореас окончил кольчатую броню, заказанную ему начальником наемников пизанской цитадели, длинноусым норманом Гвальтье. Взвалив свою ношу на осла, мастер, в сопровождении двух вооруженных подмастерьев, направился из Камайоре горами в Пизу. Летняя ночь застала Флореаса в дороге. Она упала сразу, черная и глухая; на аспидном небе зажглись громадные звезды и огненный столп кометы. Напрасно было бы в то дикое, разбойничье время трубить ночью у ворот какого-либо города

или замка. Ответом пришельцу свистнула бы туча стрел. Средневековое гостеприимство кончалось с закатом солнца. Пришелец был другом, когда приходил при солнечном сиянии, и врагом после того, как замыкались рогатки и поднимались мосты со рвов, наполненных водою. Флореас и его спутники заночевали на перепутье, у костра, разложенного у ног каменной Мадонны. Боясь ночного нападения, путники решили спать по очереди. Двое, по жребию, спали с оружием в руках, а один бодрствовал на страже. Первый жребий не спать выпал самому Флореасу. Прислонясь к обломку скалы, он беспечно наблюдал медленный ток светил по небесным кругам. Пламя костра играло красными лучами. Развьюченный осел бродил, не отходя далеко от стана, на подножном корму. Флореас слушал звуки горной ночи. Им овладело трогательное настроение, в какое повергает всех впечатлительных людей торжественная тишь спящей пустыни.

Но вот внезапно среди величественного безмолвия раздался странный звук. Словно кто-нибудь коротко взял аккорд на церковном органе, — взял и бросил. Звук рванулся в воздух и сейчас же заглох. Точно кто-то зарыдал было, но, устыдившись своей слабости, задавил рыдание. Николай Флореас осмотрелся. Он не понимал, ни что это за звук, ни откуда он прилетел. Так как звук не повторялся, Флореас решил, что, вероятно, он задремал, и в дреме обманутые чувства создали этот загадочный аккорд из обычных звуков ночи. Но когда он, совсем успокоенный, опять прилег к костру, звук снова задрожал в воздухе и — уже яснее и более продолжительно, чем в первый раз: как будто сразу запело несколько арф под перстами искусных менестрелей. Флореас вскочил в волнении. Он знал, что поблизости нет ни одного значительного селения, откуда мог бы примчаться таинственный звук. Трудно было предположить, чтобы по соседству ночевал путевой караван какого-либо синьора со свитою и челядью, среди

которой могли случиться игрецы на арфе. Ночлег Флореаса был расположен на высоте холма: окрестности были видны на далекое пространство, но хоть бы где-нибудь костру оружейника ответил другой костер. Флореас с легкой дрожью подумал единственное, что ему оставалось подумать: что он слышал звуки нездешнего мира. Как человек набожный и мужественный, он не потерялся, а разбудил своих спутников и рассказал, что с ним было. Они не поверили.

— Просто ты спал, мастер, и тебе показалось это во сне, — сказали они.

Но звук снова налетел из безвестной дали, как волна, и так же быстро, как волна о песок, разбился и растаял в воздухе.

— Это скалы поют, — в испуге сказал один подмастерье.

— Или дьявол справляет свою свадьбу, — крестясь прибавил второй.

— Друзья мои, — сказал Флореас, — все это может быть; но я не буду спокоен до тех пор, пока не узнаю, откуда эти звуки и зачем они. Поэтому пойдем в ту сторону, откуда они звенят.

Но подмастерья наотрез отказались.

— Если нам судьба попасть в когти дьявола, — говорили они, — то успеем еще попасть после смерти, а зачем будем лезть к нему живьем?

— Тогда я пойду один, — сказал Флореас, — потому что мое желание узнать тайну сильнее меня и я не могу быть спокоен, пока ее не разрешу. Ждите же на этом месте моего возвращения, а я пойду, куда зовет меня музыка.

Подмастерья пришли в ужас и умоляли Флореаса не подвергать себя опасностям ночного пути невесть куда и зачем, но он остался непреклонным. Тогда они пытались удержать его силой. Но Николай Флореас обнажил кинжал и грозил поразить первого, кто осмелится до него коснуться. Подмастерья в страхе отступили; он же воспользовался их замешательством, чтобы исчезнуть в темноте ночи.

Флореас долго блуждал во мраке по пустым равнинам и неглубоким оврагам. На небо взбежали тучи. И комета, и звезды изменили Флореасу. Он шел, сам не зная куда идет: на север, на запад или на юг, так что если бы он и хотел вернуться к своим подмастерьям, то уже не мог бы. При том всякий раз, как только мысль о возвращении приходила в голову Флореаса, таинственный аккорд, непостижимо увлекший его во тьму пустыни, снова звучал — и с такою силою страсти и страдания, как будто все хрустальное небо разрушалось, со звоном рассыпая осколки на грудь матери-земли. Наконец Флореас заметил вдали мерцание красной точки — далекого костра или окна в хижине.

«Я пойду на этот свет, — подумал Флореас, — я достаточно сделал, чтобы удовлетворить своему желанию; но тайна упорно не дается мне в руки, и я не в силах бороться с невозможным — должен возвратиться. Если это мои спутники, тем лучше; если нет, то авось эти люди не откажут мне в ночлеге и укажут дорогу в Пизу...»

Он шел на огонь до тех пор, пока нога его не оступилась с ровной почвы в провал. Путник едва успел откинуться назад, чтобы не сорваться в глубь пропасти. Он уселся на краю обрыва, едва не втянувшего его в свои недра, и стал ждать рассвета. Глядя пред собой, Флореас заметил, что огонек, на который он шел, как будто растет силою пламени... дробится на многие светящиеся точки... Флореас не мог дать себе отчета, что это за огни. Не может быть, чтобы Пиза! Но — если нет — куда же он попал? Видно было, что под ним в глубокой котловине лежит большой город... Выступили из мрака очертания горных вершин; восток побелел; огромная голубая звезда проплыла на горизонте и растаяла в потоке румяного света. Три широких белых луча, разбегаясь, как спицы колеса, высоко брызнули из гор в простор неба... Птицы пустыни тысячами голосов приветствовали утро; пестрые ящерицы

проворно скользили по серым камням в радостной жажде солнечного тепла.

Внизу, в долине, еще клубился туман. Но так как теперь Флореас знал, что под его белым покровом спит какое-то жилье, то решил спуститься. Он увидел тропинку-лестницу, вырубленную в скале... Давно никто не ходил по ней: растреснутые, иззубренные временем ступеньки поросли репейником и мареною; длинные ужи, шипя, уползали из-под ног Флореаса; он раздавил своим кованым сапогом не одну семью скорпионов.

Солнце встало над горами; туман растаял. Флореас одиноко стоял среди желтой песчаной лощины, сдавленной зелеными горами, и удивлялся: не только города, ни одной хижины не было поблизости... Ветер уныло качал высокие сорные травы... Песок блестел под солнцем... Серело ложе широкой, но совершенно высохшей от летнего зноя реки... Вот и все.

В досаде разочарования бродил Флореас по лощине. Он чувствовал себя страшно усталым: о возвращении нечего было и думать. Из шнурка, стягивавшего сборки его кафтана, он сделал пращу и, набрав гладких голышей, убил ими с дюжину мелких пташек пустыни. Обед его был обеспечен. Надо было найти воды. Она журчала неподалеку. Флореас пошел на звук... Ручей тек обильною волною из-под низко нависших ореховых кустов. Флореасу показалось странным слишком правильное ложе потока. Нагнувшись к воде, он увидал, что когда-то ручей был заключен в мраморные плиты: желтоватый гладкий камень еще проглядывал кое-где сквозь густой мох, темным бархатом облепивший дно и стенки источника. Раздвигая цепкие ветви орешника, Флореас пошел вверх по течению и скоро добрался до обширной лесной поляны. На ней в беспорядке громоздились серые громадные камни. Флореас узнавал ступени, обломки карнизов; толстая колонна с отбитою капителью лежала поперек дороги... По-

среди поляны возвышалась груда камней в полроста человеческого, похожая на очаг и на надгробный памятник. Осколки мраморного щебня валялись кругом. Ручей тек прямо из-под этой груды, которая, как и его русло, была когда-то обделана в мрамор. Еще виднелись кое-где следы обшивки испещренной бурыми буквами, давно разрушенной и утратившей смысл надписи. Флореас прочитал.

Оружейник оглядел местность и подумал, что расположиться для обеда здесь, на поляне, между зелеными стенами узкого ущелья, приятнее, чем в песчаной пустыне, только что им оставленной. Он устроил костер на древнем памятнике-очаге и, нанизав убитых птиц на гибкий прут, изжарил их над огнем. Синий дым весело поднялся к небу зыбким столбом. Голодный Флореас наскоро съел свой скудный обед, запил водой из ручья... Его сморило сном.

Флореас проснулся впотьмах, поздним вечером. Ему очень не хотелось вставать с земли, но он сделал над собою усилие... И, вместе с тем как он поднимал свою еще отягченную сном голову, он видел, как поднимается из праха поверженная колонна. Он бросился к ней, — на ней не оставалось ни мхов, ни ракушек, ни плесени: блестящий и гладкий столб красного порфира, гордо увенчанный беломраморным узором капители. Флореас осязал воскресшую колонну, чувствовал ее холод... Десятки таких же колонн с глухим рокотом выходили из-под земли, слагаясь в длинные портики. Дымный и грязный очаг превратился в великолепный жертвенник. Костер Флореаса разгорелся на нем с такою силою, что розовое пламя, казалось, лизало своими острыми языками темное небо, и зарево играло на далеких скалах. Цветочные гирлянды змеями взвивались неведомо откуда, прицеплялись к колоннам и, чуть качаемые ветром, тепло и мягко обвевали Флореаса благоуханиями.

Молодой человек понял, что стоит у разгадки тайны, в которую вовлекли его прошлою ночью неведомые звуки. А они,

как нарочно, снова задрожали в воздухе, но уже не рыдающие, как вчера, а весело торжествующие. Ущелье сверкало тысячами огней, гудело праздничным гулом тысячеголовой толпы. И голоса, и огни близились к храму. Пред изумленным Флореасом медленно проходили важные седобородые мужи в длинных белых одеждах, украшенные дубовыми венками, и становились рядом налево от пылающего жертвенника, а направо сбирались резвою толпою прекрасные полуобнаженные девы. Их тела были как молоко. Флореасу казалось, что они светятся и прозрачны, как туман, летающий в лунную ночь над водами Арно. Каждая потрясала дротиком или луком; у иных за плечами висели колчаны, полные стрел; многие — сверх коротких, едва закрывших колена туник — были покрыты пестрыми шкурами зверей, неизвестных Флореасу. Нем и недвижим стоял оружейник в широком промежутке между рядами таинственных мужей и дев... Он начинал думать, что попал на шабаш бесов, но никогда не предположил бы он, что бесы могли быть так величавы и прекрасны.

Новые огни, новые голоса наполняли храм. Девять жен чудной красоты поднимались по мраморной лестнице, сплетаясь хороводом вокруг мощного юноши, который сиял, как солнце, и блеск, исходивший от его лица, затмевал блеск лампад храма. В руках юноши сверкала золотая лира, и со струн ее летели те самые звуки, что приманили Флореаса. И мужи в белых одеждах, и вооруженные девы упали в прах пред лицом юноши. Остался на ногах только Флореас, но его как будто никто не замечал в странном сборище, хотя стоял он ближе всех к жертвенному огню. Юноша гордо стал пред жертвенником и, радостно простирая руки к огню, воскликнул голосом, подобным удару грома:

— Проснись, сестра! Твое царство возвратилось.

Радостно зазвенели золотые струны его лиры, и он запел гимн, от которого потряслись скалы, зашатались деревья в ущелье и, как испуганные очи, замигали звезды на небе.

Он пел, а вокруг него с криком неслись в пляске его прекрасные спутницы. Мужи в белых одеждах и вооруженные девы подхватили гимн. Схватившись за руки, они оплели жертвенник целым рядом хороводов. У Флореаса кружилась голова от мелькания пляски, звенело в ушах от пения, вопля и грома лиры. Он позабыл все молитвы, какие знал, рука его не хотела подняться для крестного знамения.

— Проснись, сестра! — звал юноша.

— Встань, царица! проснись, богиня! — вторила толпа.

Вооруженные девы выхватывали из колчанов стрелы и проводили ими глубокие борозды на своих белоснежных челах. Кровь струями текла по их ланитам, они собирали ее в горсть и бросали капли в жертвенный огонь.

Пламя раздвоилось, как широко распахнувшийся полог, над жертвенником встало облако белого пара. Когда же оно поредело и тусклым свитком уплыло из храма к дальним горам, на жертвеннике, между двух стен огня, осталась женщина, мертвенно-бледная, с закрытыми глазами. Она была одета в такую же короткую тунику, как и все девы храма, так же имела лук в руках и колчан за плечами, но была прекраснее всех. Строгим холодом веяло от ее неподвижного лица. Мольбы, крики, песни и пляски росли, как буря на море. Пламя сверкало, напрягая свою мощь, чтобы согреть и разбудить мертвую красавицу. Синие жилки, точно по мрамору, побежали под ее тонкою кожей; грудь дрогнула; губы покраснели и зашевелились... и, — с глубоким вздохом, будто сбросив с плеч тяжесть надгробного памятника, — она пробудилась от сна. Оглушительный вопль приветствовал ее... Все упали ниц; даже юноша с золотою лирою склонил свою прекрасную голову. Огонь на жертвеннике угас сам собою, а над челом красавицы вспыхнул яркий полумесяц. Он рос и заострял свои рога, и в свете его купалось тело богини, точно в расплавленном серебре. Она водила по толпе огромными черными глазами, мрачными, как сама ночь, под бархатным пухом

длинных ресниц. Взгляд ее встретился с взглядом Флореаса, и оружейник почувствовал, что она смотрит ему прямо в душу и что не преклониться пред нею и не обожать ее может разве лишь тот, у кого вовсе не гнутся колена, у кого в сердце не осталось ни искры тепла, а в жилах — ни капли крови. Кто-то дал ему в руки стрелу, и он в восторженном упоении сделал то же, что раньше делали все вокруг: глубоко изранил ее острием свой лоб и, когда заструилась кровь, собрал капли в горсть и бросил к ногам богини с громким воплем:

— Радуйся, царица!

И в ответ его воплю среди внезапной тишины раздался мощный голос, глухо и торжественно вещавший медлительную речь:

— Здравствуй, мой светлый бог и брат, царь лиры и солнца! Здравствуйте, мои верные спутницы и слуги! Здравствуй и ты, чужой юноша, будь желанным гостем между нами. Семь веков прошло, как закатилось солнце богов, и я, владычица ночей, умерла, покинутая людьми, нашедшими себе новых богов в новой вере. Здесь был мой храм — здесь моя могила. Вымерли мои слуги, прахом рассыпались мои алтари, сорными травами заросли мои храмы, мои кумиры стали забавою людей чужой веры. Жертвенный огонь не возгорался на моей могиле, я не обоняла сладкого дыма всесожжений. Не могут боги жить без жертв; безжертвенный бог засыпает сном смерти. Я спала в земле, как спят человеческие трупы, как спите все вы, мои спутницы и слуги; я — мертвая богиня побежденной веры, царица призраков и мертвецов! Юноша разбудил меня. Он пришел на таинственный зов, он оживил мой храм и согрел огнем мой жертвенник. Клянусь отцом моим, спящим на вершине Олимпа, — велик его подвиг и велика будет его награда. Николай Флореас! хочешь ли ты забыть мир живых и здесь в пустыне стать полубогом среди забытых богов? Хочешь ли ты свободно коротать с нами веселые и торжественные ночи и в вихрях носиться над зем-

лею, от льдин великого моря блаженных Гипербореев к слонам и черным пигмеям лесистой Африки? Хочешь ли ты назвать своим братом бога звуков и света? Скажи: хочу! — отрекись от своего мира, и я отдам тебе свою любовь, которой не знал еще никто из богов и смертных.

И небо, и земля молчали, и ветер не дышал, когда Флореас тихо ответил:

— Хочу. Я твой раб, и жизнь моя принадлежит тебе.

Пламенем вспыхнули очи богини, радостно дрогнули ее ноздри, громкий крик, похожий на охотничий призыв, вырвался из ее груди. Она сошла с жертвенника и, прямая и трепещущая, как стрела, только что сорвавшаяся с тетивы, приблизилась к Флореасу. Теплые уста с дыханием, пропитанным ароматом животворящей амброзии, коснулись его губ; теплая рука обвила его шею и закрыла ему глаза. Флореас слышал, как богиня отделила его от земли... как они медленно и плавно поднялись в воздух, сырой и прохладный... С шумом, песнями и смехом взвилась за ними вся толпа, наполнявшая храм, ее движение рождало в воздухе волны, как в море... Богиня сняла руку с глаз Флореаса; он увидал себя на страшной высоте; огни храма меркли глубоко внизу. Закрыв глаза, он почти без чувств склонился на плечо богини, пропитанное светом осенявшего ее полумесяца... Как сквозь сон, слышал он охотничьи крики и свист вихря, помчавшего воздушный поезд в безвестную даль. Волосы богини, подхваченные ветром, хлестали его по лицу.

— Не бойся! — слышал ее голос Флореас, — не бойся, супруг мой. Тот, кого я держу в своих объятиях, не должен ничего бояться. Он сильнее природы, она его слуга...

Они мчались над широкими реками в плоских берегах, над темными городами с стрелкообразными колокольнями, над тихо шепчущими маисовыми полями, изрезанными сетью мутных каналов, над болотами, окутанными в густую пелену опасных туманов, — направляясь на далекий север, к неприступной

стене суровых Альпов. Снежная метель захватила воздушный поезд, потащила его по узким ущельям к сверкающим льдинам глетчера и долго крутила охоту богини по снежным полям. Стадо серн пронеслось так далеко, что Флореасу оно показалось стадом каких-то рогатых мышей. Но богиня бросила стрелу, и стадо рухнуло в внезапно открывшуюся пред ним бездну.

— Галло — э! добыча! добыча! — закричала богиня.

И хохотом, и воплями отвечала ей дикая охота. Гремели рога, выли псы, звенела арфа прекрасного светлого бога.

Они спускались к тихим озерам, чтобы поражать проворных выдр, когда они выныривали из-под воды, держа в зубах карпа или щуку. Богиня опрокидывала постройки умных бобров и, когда зверьки темными пятнами ускользали в разные стороны, сыпала в них убийственные стрелы. Потянулись лесистые равнины Германии. Лиственное море шумело и волновалось от веяния волшебного полета. Ноги Флореаса скользили по вершинам столетних дубов. Мохнатые зубры, ветворогие лоси, лани с кроткими глазами, привлеченные блеском полумесяца на челе великой охотницы, выбегали на лесные прогалины и метались, оглашая ночную тишь мычанием и блеянием. Им отвечали в кустарниках голодные волки, испуганные медведи жалобно рыкали в глубоких берлогах. Но стрелы богини падали, как дождь, и, когда поезд дикой охоты улетал, рев и вой животных сменялся зловещею тишиною кладбища. Запах крови поднимался от леса. Богиня жадно впивала его, раздувая ноздри, привычные к жертвенным ароматам. Глаза ее сверкали, как у тигрицы, впускающей когти в оленя. Она казалась двуногим зверем, но зверем сверхъестественным, в котором соединялись и самое возвышенное, и самое ужасное существа животного мира: зверь — самый хищный и самый красивый, самый кровожадный и самый величественный, самый жестокий и самый обаятельный. Пред нею надо было трепетать, но нельзя

было не восторгаться ею и не поработиться ей всей душой. Под обаянием ее взгляда Флореас кричал так же, как она, вместе с нею рассыпал смертоносные стрелы, с тем же наслаждением впивал одуряющий запах потоков крови, обозначавших страшный путь дикой охоты по северным лесам.

Они мчались над Рейном, великою рекою чудес. Флореас видел, как в его волнах сверкали золотые клады, хранимые лебедиными девами, слышал, как грохотали водопады, как в медных замках храпели их глупые властелины, свирепые великаны. Из щелей в береговых скалах выползали рудокопы-гномы и дивились дикой охоте, задирая головы до тех пор, пока красные шапочки сваливались с макушек. Ушей Флореаса коснулся грозный шум морского прибоя. Морские валы рвались в устье, побеждая силу течения реки-великана. На сотни миль кругом кипело седыми валами Северное море — угрюмое, холодное, с бурою водою под белесоватым небом, море-враг, море-чудовище. Восток бледнел, звезды меркли и уходили за водную равнину.

— Домой! домой! — звала богиня.

Голос ее звучал резко и печально, как голос ночной птицы, зачуявшей близость утра. У Флореаса заняло дыхание от усиленной быстроты полета. В промежутках головокружения он едва успел заметить, как длинною вереницею вились за поездом тени убитых зверей. Но, чем больше белел восток, тем бледнее становились эти тени: то один, то другой призрак из свиты богини исчезал, сливаясь с утренними облаками. Тише раздавались охотничьи крики и хохот, замолк звон золотой лиры, потускнел венчавший богиню полумесяц. И только она сама оставалась неизменно прекрасною и сильною. Так же мощно, но еще нежнее и доверчивее прежнего, обнимала ее рука плечи Флореаса; то огнем восторженного возбуждения, то туманом неги покрывались ее обращенные к нему глаза... Они опустились в таинственный храм, откуда несколько часов тому назад унес их поезд ди-

кой охоты. Флореас остался один с богинею — пред ее опустелым жертвенником-могилой. Беспокойным взором обвела она окрестные вершины: в сизых облаках уже дрожали золото и румянец близкой зари... И Флореас в последний раз услыхал голос богини:

— Мой день кончен... теперь — любовь и сон. Когда весь мир спит, встаем и царствуем мы, старые, побежденные боги, и умираем, когда живете вы... Мой день кончен... теперь — любовь и сон. Приди же ко мне и будь моим господином!..

Солнце роняло на землю отвесные лучи полудня. Флореас в задумчивом оцепенении сидел среди безобразных груд разрушенного храма. Он не разбирал, что было с ним ночью: сон ли ясный, как действительность, или действительность, похожая на сон. Да и не хотел разбирать. Он понимал одно: что судьба его решена, что никогда уже не оторваться ему от этого пустынного места, одарившего его такими страшными и очаровательными тайнами... Если даже это были только грезы, то стоило забыть для них весь мир и жить в них одних. Только бы снова мчаться сквозь сумрак ночи в вихре дикой охоты, припав головою к плечу богини, и на рассвете снова замирать в ее объятиях сном, полным видений любви и смерти.

Так, полный сладких воспоминаний, в близком предчувствии бурных наслаждений новой ночи, сидел он и не замечал медленно текущего жаркого дня, уставив неподвижный взор на остатки жертвенника, где явилась вчера богиня.

И загадочные буквы, растерянные по обломкам разрушенной надписи, теперь открывали ему свой ясный смысл, — радостный смысл верного обетования:

Hic jacet Diana Dea
Inter mortuos viva
Inter vivos mortua.

«Здесь покоится богиня Диана, живая между мертвыми, мертвая между живыми».

Подмастерья Флореаса, добравшись до Пизы, рассказали, как таинственно пропал их хозяин. Не только Камайоре, но и все соседние городки приняли участие в поисках за без вести исчезнувшим оружейником, но их труд был напрасен. Тогда судьи доброго города Камайоре решили, что Флореас и не думал пропадать, а просто его убили подмастерья и зарыли где-нибудь в пустыне. Бедняков бросили в подземную темницу с тем, чтобы, если Флореас не явится в годовой срок со дня своего исчезновения, повесить подозреваемых убийц на каменной виселице у городских ворот. К счастью для невинных, незадолго до конца этого срока синьор Авеллано да Виареджио, гоняясь за диким вепрем, попал вместе со всею своею свитой в ту же трущобу, что поглотила молодую жизнь Николая Флореаса. Пробиваясь сквозь бурелом, кустарники и скалы, охотники наткнулись на одичалого человека в рубище, обросшего волосами, с когтями дикого зверя. Он бросился от людей, как от чумы; однако его догнали и схватили. Напрасно рычал он, боролся и кусался, напрасно хватался за каждый камень, за каждое дерево, когда понял, что его хотят увлечь из пустыни. Дикаря привезли в Виареджио, насильно остригли и вымыли, и знакомые с ужасом узнали в нем Николая Флореаса.

Приор нагорной обители босоногих капуцинов в Камайоре дал приют несчастному оружейнику в тюремной келье, приставив к нему двух дюжих служек. Но в первую же ночь стражи караульщики убежали от кельи, перепуганные бурным вихрем и странными голосами. Неведомо откуда налетели они в монастырскую тишь и, то рыдая, то смеясь, звали к себе Флореаса. А он между тем безумно бился в своей келье, как птица в клетке, и отвечал на призывы незримых друзей такими воплями, как будто с него с живого сдирали кожу. В следующую ночь сам приор был свидетелем этого

чуда, против которого оказались бессильными заклинательные молитвы и святая вода. Тогда стало ясно, что Флореас чародей, и решено было, пока не наделал он беды и соблазна христианскому миру, сжечь его, во славу Божию, по законам страны и церковному уставу, огнем на торговой площади доброго города Камайоре, в праздник Святой Троицы, после обедни. До самого праздника Святой Троицы жил Флореас в монастыре, ночью буйствуя и пугая братию дьявольским наваждением, а днем тихий, кроткий и молчаливый. Он снова выучился понимать человеческую речь и изредка обменивался словами со своими стражами. Когда ему объявили его участь, он равнодушно выслушал приговор и даже улыбнулся: такова была его вера в могущество помогавшего ему беса. Разум его не всегда был затемнен, и монастырскому врачу, кроткому брату Эджицио из Фиэзоле, удалось выпытать у грешника, как вступил он в союз с обольстившим его бесом. Каковой рассказ Фра Эджицио и записал смиренно-мудро в монастырский мемориал на страх и поучение всем добрым христианам о коварных кознях и обольщениях неустанного отца всякого греха и лжи, вечно зло деющего сатаны. Совершив откровенное признание, колдун Флореас стал хиреть и чахнуть и умер в канун дня Святой Троицы, назначенного ему милосердием властей, дабы он мог очистить огненною смертью тяжкий грех союза с адом, взятый им на свою погибшую душу. Но дьявол, коварный враг всякого доброго начинания, не допустил своей жертвы до спасительного костра и задушил Флореаса в ночи. Так что поутру стражи, пришедшие за колдуном, нашли в келье только холодный труп его, который, по благому рассуждению приора и городских судей, был возложен на костер пред очами вполне благочестивых граждан города Камайоре. Когда же тело колдуна обратилось в пепел, внезапно, при тихой погоде и солнечном дне, налетел жестокий вихрь и, разметав костер, умчался в горы, к ужасу всех присутствующих господ, дам и всякого звания народа,

которые не усомнились, что в оном вихре незримо прилетал за душою покойного Флореаса погубивший его своими обольщениями дьявол.

ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК

Вот что рассказал мне старый, одетый в белую мантию монах в долгую бессонную ночь, когда мы вдвоем с ним сидели на мшистой стене флорентийской Чертозы и смотрели на синий мрак долин и большие звезды темного безлунного неба.

I

Было племя, был город, — великое племя, Золотой город.

Венд был вождем города.

Народ, которым он правил, — теперь забытый даже по имени, — жил здесь, между двумя теплыми морями, у подножья невысоких гор, под синим шатром ласкового неба. То был кроткий народ пастухов и земледельцев, не ведавший ни войны, ни междоусобий. Люди мирно обрабатывали поля, выгоняли стада на пастбища и чтили богов. Таинственные незримые существа возвещали мудрым из народа свою волю шелестом дубравы, грохотом горных потоков и течением небесных светил.

Было время, когда в этот благословенный край пришло и осело в нем, как саранча, дикое воинственное племя. Одетые в звериные шкуры, покрытые вместо шлемов ужасными мордами волков и медведей, бородатые и длинноволосые дикари упали с гор на долины, подобно снегу из заблудившейся в небе тучи. Они избили треть населения, а остальной народ обратили в рабство.

Они заставили побежденных выстроить по ущельям и на вершинах холмов крепкие замки и заперлись за их стенами,

поделившись на мелкие дружины. В то время как порабощенные туземцы гнули спину над черными пашнями или водили стада по зеленым горным скатам, дикари-победители следили за ними с своих вышек, как ястребы, всегда готовые слететь в дол на добычу. И, когда они слетали, худо было стране: поля утучнялись кровью и мертвыми телами, сотни юношей и дев увозили горные мулы пленниками в замки чужеземцев, а победители справляли празднества в честь новой удачи.

Но в среде покоренного народа было немало людей мужественных и гордых. Они не захотели покориться игу чужеземцев и бежали из родного края в далекие юго-восточные горы. Там беглецы жили нищенским бытом звероловов и пчелинцев: один день сыты, два дня голодая. Тем не менее число их с каждым днем возрастало, и наконец их собрались многие тысячи. Тогда они решили восстать и сказали своим старейшинам:

— Выберите из своей среды вождя, чтобы мы могли идти за ним с мечом и огнем.

Но старейшины отвечали:

— Вот мы спрашивали богов и в шуме вод, и в полете птиц, и в звездных путях, но боги безмолвствуют. Знать, избранника нет между нами. Подождите, пока боги укажут его!

В одну ночь, когда верховный жрец беглецов крепко спал пред очагом в своей пещере, некто шепнул ему на ухо:

— Встань, близится избранник, иди ему навстречу!

А когда жрец в испуге сорвался со своего жесткого ложа, отряхая сон от зениц, в отверстие пещеры заглянул косматый зверолов — начальник стражей ущелья, восклицая:

— Проснись, отец, потому что над горами видно великое чудо!

Большая, невиданная дотоле звезда воссияла на далекой восточной черте, где синее небо сходилось с черными горами. Она была — как рубин в рукоятке царского меча, а под

нею висела широкая полоса светящегося тумана. Звезда блистала так ярко, что освещала весь небесный простор, как смоляной факел осветил бы тесную хижину. Жрец долго стоял на обрыве пред своею пещерой, вперив взор в дивное явление и измеряя мыслями его тайну. Потом сказал стражу-звероловy:

— Возьми головню с очага и иди предо мною. Мы пойдем, куда зовет нас звезда.

И в трепетном молчании они вышли из горного гнезда беглецов и погрузились во мрак спящих ущелий. Облака покрыли влагой их плащи, колючие травы раздирали их обувь, утесы торчали поперек их дороги, как ночные великаны-грабители, неизмеримые пропасти развевали вокруг них черные бездны, полные шумом диких водопадов. Не раз вскакивали с их пути хищные звери и, стоя в стороне, жалобно выли, дивясь из темноты на красное трескучее пламя головни, которою размахивал пред собою страж-зверолов. И когда из глубины ущелий от потоков потянуло предрассветным ветром, когда изумрудное созвездие Воза, перевернувшись к зениту дышлом, покатилось за горы, а новая звезда в предчувствии денницы стала быстро бледнеть и таять на просветлевшем бирюзовом небе, — жрец и зверолов вышли из гор на отлогий берег шумного моря. Запылала заря и — в пене буйного прибоя — показала им юношу, без чувств распростертого на груде камней и раковин. На челе юноши сияла золотая повязка, и меч с золотою рукояткой сверкал у его бедра. Увидев это, жрец и зверолов исполнились страха и благоговейно преклонились пред юношей; он же, открыв большие глаза, синие, как небо, смотрел на них с изумлением и не понимал, что они говорили ему, а они не понимали, что говорил он. Но так как юноша, ударяя руками себя в грудь, много раз повторял одно слово — «Венд», то жрец сказал:

— Кто бы ты ни был, о Венд! следуй за нами, ибо звезды послали нам тебя, чтобы ты поразил наших врагов и правил нами!

II

Шесть лун родилось и умерло; родилась и созревала седьмая. Тогда жрец сказал стражу-зверолову:

— Ударь в щит, чтобы собрались люди и слышали, что скажет им Венд.

И когда на звук щита сошлись горцы-беглецы, жрец вывел к ним Венда из пещеры и сказал:

— Вот вождь, которого вы просили у богов. Мы со стражем-звероловом нашли его в первую ночь таинственной звезды, озаряющей восток. Шесть лун он был моим гостем, и я скрывал его в своей пещере. Теперь возьмите его: он ваш! — но преклонитесь пред ним, ибо он избранник светил, в ночи блуждающих над нами по неизменным небесным путям.

Так как горцы очень изумились и молчали, то Венд выступил вперед и сказал:

— Не для того скрывался я шесть лун в жилище мудрейшего из вас, о люди гор, не для того учился вашему языку, чтобы теперь молчать пред вами, кто я и как попал к вам. Моя страна далеко — к югу от вашей. У вас тепло — у нас жарко. У вас растет пиния и магнолия — у нас пальмы и бананы. У ваших гор снег серебрит только чубы на макушках, наши уперлись головами в небо и по пояс опустили седые бороды. Имя этим горам — Небесные; у подножия их жил мой народ — такие же русые люди, с белым телом и светлыми глазами, как я, кого вы видите пред собою. Вы называете меня Вендом. Это имя не мое, а моего народа, но так как я один между вами и мне не быть уже на родимой стороне, то пусть отныне Венд станет моим именем! Я князь и сын князя своего племени. Мой пращур населил долины Небесных гор, — цветущие долины, где розы благоухают над жемчужными ручьями, где по вечнозеленым пастбищам бродят козы с шерстью белою как молоко, блестящею как серебро, мягкою как пух, что осенью рождается в воздухе

и летает по ветру. Сильный враждебный народ стал напирать на нас с юга. Мы не захотели отдать ему свои розы, ручьи и коз. Мы бились с ним острыми мечами, но пришельцы задавили нас, как лавина давит караван в ущелье, смыли нас с лица земли, как наводнение уносит хижину с речного берега. Неудержимо стремясь на север, они остановились в нашем краю лишь на одну зиму и потекли дальше; но и этого было достаточно: позади их остались кровь, трупы и пепел. Когда минуло это великое несчастие, мой отец с немногими уцелевшими от бойни выступил из заоблачной пещеры, куда удалился он после нашего поражения, и сказал: «Я дряхл и сед: мне уже не вкусен мед, и дротик колеблется в моей руке. Пала моя дружина, — дожди моют ее кости на дне долин. Мне в пору только сожигать трупы и плакать у их костров: умерла душа моя, не мне мстить врагам и восстановлять величие Вендов. Ты, сын мой, — юноша; мышцы твои крепки, и ум полон смелыми помыслами. Иди на север! Там найдешь ты пустынный край — границу земли и снега. На полноводных реках, прорезывающих дремучие леса и необозримые степи, живет там обильный, одноплеменный нам народ. Пади к ногам его старейшин, и пусть они, великие Ваны, примут на себя обиду, которою поразили нас, их братьев, жестокие Азы!»

При имени Азов затрепетали горцы, потому что так назывался народ, угнетавший и их страну. Но Венд продолжал:

— И я вышел в путь, и мир открылся моим очам. Я спустился с великих гор в желтую пустыню, где только ветер был мне товарищем, обгоняя песчаными вихрями бег моего верблюда. Марево реяло предо мною в душном воздухе, солнце красным шаром ходило в вышине, а по ночам звезды загорались над моею головой такие большие и яркие, что казалось, будто я еду в их области, и холодный ветер полуночи, развевая мой бурнус, несет меня прямо к неподвижной звезде севера, которой держаться велел мне отец, чтобы

достигнуть страны великих Ванов. Так доехал я до большой реки, катящейся по пескам. Здесь меня взяли в плен чернобородые воины с пиками, украшенными хвостами коней, и, ограбив, продали как раба халдеям — в храм великих магов, поклонявшихся золотому солнцу — огню вселенной. Но когда маги узнали, что я — Венд и происхожу из страны солнца, они возвратили мне свободу, наградили меня и, поклонившись до земли, указали путь к западному лукоморью, где имеют дома люди-корабельщики, чтящие жестокого медного бога, пожирателя младенцев, и добывающие из раковин темно-синий пурпур. Им известна страна великих Ванов, и я сел на корабль, чтобы достигнуть ее, но буря унесла нас от берегов в открытое море. Три дня и три ночи она влачила нас по волнам, передавая с рук одного разъяренного ветра на руки другому, еще более ожесточенному, пока, наскучив нами, не ударила корабль о подводные камни. Море поглотило моих спутников, а меня, слугу таинственного жребия, выбросило на ваш берег. И вот я здесь, и ваш жрец, мудрейший из людей, стал мне вторым отцом и открыл мне очи на божественную волю, начертавшую мою судьбу. Звезда взошла над моей головой. Люди гор! если вы доверяете ее выбору, я ваш. Я поведу вас на ваших притеснителей, потому что если я не нашел великих Ванов, то нашел тех, кому я обязался мстить: ваши враги — мои враги. Идите же за мною, люди гор, и возвратите своим братьям свободу, а себе — отчизну!

Так сказал Венд, и горцы подняли его на щиты с радостными кликами:

— Живи, Венд! живи, наш вождь, избранник звезды, и да погибнут Азы!

III

Венд победил Азов и вытеснил их далеко за пределы освобожденного края. Аз-Тор, рыжебородый предводитель

притеснителей, негодуя на свое поражение, сам пронзил себя мечом и был похоронен в русле отведенной реки, по обычаю великих богатырей своего племени.

Венд правил долгий, счастливый век, о котором до сих пор сокрушаются люди, называя его золотым. Венд не вел войн, чтобы расширять свои владения, но никто не дерзал нападать на его область: так грозно смотрела в очи иноземцам мощная власть внутри страны, многолюдной, богатой, текущей молоком и медом. Ко двору Венда стекались богатыри, мудрецы и художники. Он воздвигал великолепные здания и наполнял их изображениями богов, почитаемых его народом. Сам Венд не верил во многих богов. Когда еще в стране убежища верховный жрец вывел его, юношу, на темя горы и сказал ему:

— Поклонись солнцу, ходящему в небе, потому что оно — Зевс.

Венд покачал головой и возразил:

— Нет, отец. Хотя ты очень мудр, но ошибаешься. Солнце не Зевс, а разве одно из жилищ Зевса.

Жрец взглянул на него с удивлением и воскликнул:

— Разве ты один из посвященных, что тебе известно таинство, передаваемое в нашем сословии из рода в род и от отца — на смертном одре — сыну?

Венд сказал:

— Так веровал весь мой народ, живший у подножия Небесных гор.

Жрец еще более изумился, но, качая головой, ответил:

— Счастлив народ, озаренный светом истины, но — сын мой! наш народ прост и дик; ему мудрено постигнуть великую тайну. Не оскорбляй его божеств, чтобы он не возненавидел тебя и не отказался видеть в тебе избранника.

Венд сказал:

— Я никого не хочу оскорблять. Я не могу поклоняться солнцу, как Зевсу; но разве оно — прекраснейшее из жилищ

Зевса — не достойно того, чтобы пред ним благоговел простой смертный?..

Суд Венда, справедливый и нелицеприятный, славился в самых дальних пределах земли. Народ его был велик и мног числом, но вождь сам вникал во все тяжбы своей страны. Придворные говорили ему:

— Зачем ты утруждаешь себя, вождь? Суд могли бы справить за тебя и мы, твои ближние мужи!

Венд возражал:

— Я не веду войн, жертвы и храмы отдал жрецам; если и суд вам отдам, — что же оставлю себе? Справедливость — дело вождя. Оставьте меня делать свое дело: от этого не будет хуже ни мне, ни вам.

Венд был человек ученый, знал травы, камни и слова, исцелявшие недуги, читал звездную книгу и, глядя в лицо человека, узнавал его мысли. Звери засыпали от его блестящего взора. Он не делал золота, потому что презирал его, но мудрые книги научили его тайне долгой жизни, и, посещая больных, он восстановлял их силы, так что нигде на всей земле смерть не имела так мало жертв, как в стране Венда.

Так жил Венд и дожил до восьмидесяти лет, когда седая голова его пожелтела, а борода опустилась до самого пояса и стала похожею на пену, что после волнения качается на зеленых морских волнах.

IV

Пришла в Золотой город весть из соседнего царства:

— Неспокойно у нас в царстве. Невидимкой ходит между людьми неведомая болезнь, и многие умирают напрасною смертью. Берегитесь, чтоб и у вас не было того же.

Вскоре после того как Венд получил эту весть, прибегает к нему начальник стражи, которую держал он в пограничных ущельях, и говорит в испуге:

— Тридцать лет стою я стражем на рубеже нашей земли, как раньше стояли мой отец и дед. Мимо меня не прорыскивал зверь, не пролетывала птица без того, чтобы я не знал и не мог отвечать о них твоему могуществу. Сегодня проник в страну какой-то витязь на вороном коне, в черном доспехе. Мы окликнули его, — он не отозвался нам; мы требовали, чтобы он остановился и сказал свое имя, — он молча переехал границу; мы скрестили перед ним копья, но он дунул, — и копья распались прахом, а многие из моих воинов упали замертво, и теперь часть их уже умерла, а остальным так худо, что, я полагаю, недалек и для них час кончины. Пока мы, пораженные страхом, стояли в онемении, витязь скрылся из вида. Боюсь, Венд: не из тех ли он злых волшебников, которые, как слышно, сеют болезнь и смерть в соседней стране.

Смутился Венд, — стал смотреть в мудрые книги, но ничего не сказали ему мудрые книги. В волнении ходил он по открытым террасам своего дворца, и так билось у него сердце, и так мутились мысли в голове, что он подумал: «Стар я стал и скоро умру!»

Ветер колыхал платаны сада, придвинувшие к террасам свои могучие сучья, фонтаны шумели в их тени, птицы чирикали в их ветвях, радуясь солнечному дню и голубому небу, но и в шуме платанов, и в плеске фонтанов, и в пташьем крике звучало Венду: «Ты скоро умрешь, друг Венд! ты скоро умрешь, друг Венд!»

И задумался старый вождь, взявшись руками за перила террасы. Но дух воспрянул в нем, и, тряхнув седыми кудрями, он воскликнул:

— Да будет так! я прожил довольный век и сделал, что мог в своей жизни. Умирать — так умирать! — я готов, не боюсь. У меня есть сын: он займет мое место и, как я, будет блюсти и любить мой народ.

С просветленным лицом и спокойным духом, Венд вошел в палату своего совета. Но здесь предстал ему вестник и сказал:

— Государь, в пограничных селах, где проехал черный витязь, вымерли тысячи жителей. Испуганный народ бежит толпами в город, чтобы ты защитил их от лютого волшебника, а он медленно едет следом за беглецами и губит их...

И не кончил еще рассказа этот вестник, как вбежал другой, растерзал свою одежду, упал ниц перед вождем и воскликнул, рыдая:

— Горе нам, Венд, во веки неутешное горе! У тебя не стало сына!.. Ратуя за свой народ, он, мужественный, как ты, пытался загородить путь черному всаднику и вышел против него с мечом и щитом. Но чудовище коснулось его копьем, и вот он лежит мертвый на дороге, и хищные птицы кружат над ним...

Глухо застонал Венд и схватился за палатный столб, чтобы не упасть.

— Поведите меня к моему сыну! — сказал он потом, но услышал ответ:

— Нельзя, потому что между местом, где лежит его труп, и городскими воротами — несметная толпа беглецов, а в тылу у них черный всадник.

Грозно нахмурил Венд косматые брови, и вопль, похожий на рычание льва в пустыне, вырвался из его груди. Молча вышел он из дворца и крепким шагом пошел через Золотой город, по смятенным площадям и улицам, к крепостным воротам, где, как бараны, толпились в тесной давке обезумевшие беглецы. Они бросались к ногам вождя, целовали края его одежд и вопили:

— Защити нас, могучий Венд!

Венд взошел на крепостную стену и увидел с нее на многое пространство ту же несчастную толпу трусов. Он видел искаженные ужасом лица, полные заячьего страха глаза, простертые с мольбой руки, слезы, текущие по бледным щекам, слышал рыдания, стоны, возгласы единой надежды на него, их вождя, защиту и друга, — и крупные слезы полились

из его омраченных глаз и, как алмазы, засверкали на белой бороде.

Последние беглецы, вздымая клубы серой пыли, сбежали с высот и еще ломились в ворота, когда в тылу их, над бесплодным, песчаным холмом, блеснула искра булатного копья, и следом за искрой черный гигант на черном коне вырос над холмом...

Затрясся старый Венд, увидав губителя своего народа, и слезы высохли на его глазах. Мощною ногою ступил он на зубец крепостной стены и — словно вырос на локоть — сделался велик и страшен.

— Стой! — крикнул он, потрясая руками, простертыми к черному всаднику, и голос его гремел как гром, когда разбивает утес в горах, а взор сверкал как зарница. — Стой, кто бы ты ни был! Я, Венд, глава Золотого города, запрещаю тебе следовать за этими людьми: они мои! Моя любовь и воля стоят между тобой и нами!

И рос, и крепчал его голос, и ярче, и острее становился пристальный взгляд светлых очей, и грознее напрягались простертые в воздухе руки, а ветер раздувал пурпурный плащ вождя и космы седой бороды... Черный всадник смутился: сдержал коня и несколько мгновений стоял как бы в нерешимости. Потом повернул коня и, медленно поднявшись на вершину холма, стал на ней — безмолвный и неподвижный, подобно изваянию одного из суровых богов жестокой древности. Вождя же оставила внедрившаяся в него сила, и он упал на руки сопровождавших его воинов, как дитя, внезапно застигнутое сном.

V

Весь день до позднего вечера не показывался Венд из своих покоев. Только когда мгла совсем уже насела на Золотой город и в большой палате дворца зажглись розовые лам-

пады, наполненные благовонным маслом, вышел он к своей дружине, ожидавшей его с большою тревогой. Мрачным взором окинул вождь мужей брани и совета, сел к золотому столу и спросил:

— Что делает тот... черный воин... наш враг?

— До сумерек, о государь, он недвижимо, как каменный, стоял над холмом, пугая своим видом смятенный народ. Теперь же мрак покрыл его, и продолжает ли он сторожить город, уехал ли, — мы не знаем.

Венд опустил голову на грудь, так что лицо его было в тени, и никому нельзя было прочитать его мыслей. Он молчал — и дружина молчала.

— Есть ли между вами храбрые люди? — сказал он наконец.

— Мы все не трусы! не обижай нас, государь! — отвечали дружинники в волнении.

— Но дерзнет ли кто-нибудь из вас поехать сейчас к черному всаднику и говорить с ним?

Дружинники смутились, и старейший из них возразил:

— Ты требуешь невозможного, вождь. Когда человек идет на зверя, он знает, что у зверя есть клыки, когти и стальные мышцы; когда он идет на человека, знает, что у человека есть оружие; знает, чего надо страшиться от своих врагов и в чем надо стать выше их, чтобы не быть пораженным или убитым. Это знание дает человеку храбрость. А ты посылаешь нас к волшебнику, поражающему людей насмерть неведомо каким оружием или чарами, от которых нет защиты. Всякую храбрость убивает неведение.

Венд молчал, так как ему казалось, что дружинник говорит правду. Но выступил вперед муж — богатырь ростом и с широкими плечами; он показал Венду бугры мышц на своих обнаженных руках и сказал:

— Венд! Год тому назад в горной пещере напал на меня зверь. Такого я никогда не видал раньше и не увижу более, потому что,

должно быть, это был последний в нашей стране. Боролись мы в темноте, я не видал ни когтей его, ни зубастой пасти, и чувствовал только, что он силен и громаден. Когда же он захрипел под моею рукою и издох, я с великим трудом вытащил его из пещеры и изумился: то был лев из той могучей породы, что, как говорят старики, некогда во множестве жила в пещерах наших гор, но была истреблена и вымерла. Теперь только громадные скелеты львов белеют у входов в горные гроты и на дне ущелий. Таким образом, я сражался с неведомым, не боялся и победил. Думаю, что я не струшу и черного всадника.

Возвысил голос другой муж.

— Я моряк, — сказал он. — Море — могучий титан, а суда мои — ничтожные щепки. Море хитро и обманчиво, вздымает внезапные бури и выдвигает сегодня подводные скалы там, где вчера была бездонная глубина. Однако, назло его коварству, я полжизни провел на его поверхности, плавая наудачу то к Сикулам, то к Иберам, то к жителям далекого Тира. Я привык бороться с неведомым и не боюсь черного всадника.

Третий муж просто сказал:

— Пошли меня, вождь: я поеду.

Венд подумал и сказал:

— Вы поедете все трое.

И он встал с седалища, распрямил свою старую спину, расправил широкие плечи и повелел:

— Скажите ему, скажите злодею: старый Венд, который поразил Азов и шестьдесят лет правит Золотым городом, зовет тебя к престолу Зевса судиться за безвинно погубленный тобою народ! Завтра на рассвете Венд будет ждать тебя у городских ворот и сразится с тобою на жизнь и смерть, копьем и мечом, на коне и пеший, со щитом и без щита!

Так как борода Венда сильно тряслась, когда он говорил эти слова, то дружина окружила его, умоляя:

— Вождь! Успокойся!

Но Венд дал им знак молчать и вышел из палаты.

VI

Безмолвно ехали три богатыря сквозь темную ночь к холму черного всадника. Круглая луна уже выставила из-за гор большой свой отрезок, но была еще красна и не давала света. Ночь молчала. Только копыта коней позвякивали о кремнистую дорогу. Было душно: казалось, будто небо стало ближе к земле и, как низкий потолок, придавило и сгустило воздух над нею. Ветра не было; неподвижные тучи лежали кое-где на небе, точно спящие чудища, и закрывали своими черными тушами звезды.

Кони стали. Три рога загремели в ночной тишине. Эхо загрохотало по холмам. Звуки его домчались и в Золотой город. У тысяч жителей дрогнули сердца, потому что молва о вызове Венда разошлась уже между народом, и все поняли, что значит этот грозный призыв.

Еще... и еще... Трижды трубили богатыри, но трижды им не было ответа с вершины холма.

— Явное дело, братья, враг ушел, и мы ждем отклика от пустого места, — воскликнул богатырь — убийца льва, и товарищи согласились с ним.

Но когда луна поднялась и побледнела, ночь из черной сделалась синею, и черный всадник предстал глазам послов Венда, такой же угрюмый и застылый, как видели они его днем. Тогда богатырь-моряк закричал ему своим густым голосом, привычным к борьбе с ревом ветра и стоном седого моря:

— Витязь! Мы трое — послы к тебе от Венда, царя Золотого города. Дозволь нам говорить с тобою. Коней и оружие мы оставим у подножия холма по посольскому обычаю нашей страны, и верь, что мы не нападем на тебя изменой. Можем ли мы приблизиться к тебе без боязни, что ты поразишь нас?

Моряк замолк... Месяц доплыл до облака и нырнул в его глубь; небо потускло; ветер нежданным порывом коротко

свистнул в ущелье, ночная птица где-то крикнула... Наконец послышался ответ — как будто издалека, глухой, сиплый, но такой могучий, словно весь холм вздохнул глубиною своей песчаной груди:

— Идите!

Богатыри поднялись на холм, поклонились всаднику и подивились его росту, коню и тяжелому оружию. Они хотели взглянуть ему в лицо, но черная стальная сетка висела у него с шелома на грудь, спину и плечи. Кольчатая рубаха, кольчатые рукавицы, кольчатая обувь: весь всадник был — как выкованный из стали. Напрасно приветствовали его богатыри: он не ответил им ни словом, ни наклонением головы. Богатыри сели на песок, и так заговорил первый из них — убийца льва:

— Мы привезли тебе вызов на смертный поединок от нашего вождя, старца Венда. Будь на рассвете у городских ворот. Вождь встретит тебя и сразится с тобой за обиженный тобою народ, как некогда сразился он с Азами и уничтожил их. Если же ты силой чар или оружия победишь нашего государя, то не один он богатырь в своем народе! Я первый...

Но — на этом слове — затрепетал богатырь; голос его прервался, и он впился безумными от испуга очами в ночную тьму, которая за спиной всадника была как будто и гуще и туманнее, чем всюду. Слыша, что товарищ умолк, не скончав речи, богатырь-моряк подумал: «Верно, оробел!» — и продолжал за него:

— Наш вождь и все мы в Золотом городе — дружина и народ — одно тело. Не знаем, одолеешь ли ты нас, но, если и одолеешь, дорого станет тебе победа. Грудью пойдет дружина Венда на твои чары, и вот эта привычная к битвам с людьми и морем грудь будет первою, которую ты встретишь в бою...

Но тут и моряк оборвался на слове: очи его расширились, волосы на голове зашевелились, колена задрожали, и зубы

застучали, как у лихорадочного. Заметив это, третий богатырь встал с земли и, закрыв глаза рукой, чтобы подобно товарищам, как предположил он, не увидать чего-нибудь страшного, спросил:

— Что же прикажешь ты передать Венду?

И опять раздался голос, подобный вздоху песчаного холма:

— Буду!

На обратном пути к Золотому городу третий богатырь спросил:

— Братья! что было с вами? отчего вы так странно замолкли?

Убийца льва сказал:

— У меня открылись очи на невидимое. Знай, брат: всадник не один на холме. За ним видел я великое полчище образов, бледных, страшных, искаженных судорогами смертельной муки. И в полчище этом был... мой покойный отец. Он рыдал, ломал руки и делал мне знаки, чтобы я замолчал... О брат! слово само застыло у меня на устах!

Моряк сказал:

— Я видел то же самое... и своего старшего брата Арна. Лицо его было бело, как известь, а на лбу краснела рана, что привела его к погребальному костру. Далеко, на счастливых островах великого моря, за столбами Мелькарта, убили брата черные люди; а вот в эту ночь он предстал предо мною здесь на горе и, рыдая, молил меня взглядом и движениями, чтобы я не раздражал черного всадника.

— Братья! — воскликнул третий богатырь, — у кого же были мы, кого видели, если он творит такие чудеса?

— Это волшебник! — сказал убийца льва.

— Это злой дух! — сказал моряк.

«Это сама смерть!» — подумал третий богатырь.

Венд ждал возвращения богатырей в своей опочивальне. Бессонный лежал он на ложе, блуждая в темноте открытыми глазами, и думал об умершем сыне и о своем народе, но

не плакал и крепко сдерживал накипевшие в сердце слезы, потому что боялся ослабить рыданиями силу своих мышц пред утренним поединком. Молча выслушал он послов и отвернулся от них лицом к стене. Пред рассветом оруженосец вошел в опочивальню, чтобы разбудить Венда, но нашел его уже вооруженным: со шлемом на голове и с мечом у бедра.

— Вождь! — заметил он, — разве нет у тебя лучшего меча? Ты препоясал свой старинный меч, выкованный из плохой стали неискусными руками грубых горных кузнецов.

— Да? — возразил он. — Но не бойся: его не съела ржа, и он по руке мне, как в дни юности. Им когда-то поразил я Азов; им сослужу я последнюю службу своему народу. Дух живет в моем старом мече, — вещий дух любви, чести и свободы, и горе тому, против кого восстает этот дух! Верую в него, и не надо мне лучшего меча!.. Седлай мне коня, и — смело на врага!

VII

Белый туман лежал на горах, долине и стенах Золотого города. Все зубцы на стенах были усеяны людьми, пришедшими видеть поединок, но напрасно они искали своего царя в молочной мгле рассвета. Только его серебряный рог звучал где-то под стеной, в бездне тумана, вызывая ответные трубные звуки на песчаном холме. На дальней вершине загорелась золотая точка; к ней, как стрелы к цели, полетели луч за лучом еще не видного в долине, но уже взошедшего за ее крутыми границами солнца. Горные скаты и обрывы расцветились румяными пятнами. В зыбкие клубы тумана посыпались розы, серебро, золото и драгоценные камни. Молочная мгла заволновалась и стала таять, оседая росою к земле или всплывая паром к легким облакам лазурного поднебесья.

Горожане увидели Венда. В белой одежде, сверкая золотом на панцире и шлеме, возвышался он, верхом на белом коне, на бугре у большого пути из гор в Золотой город. Он был светел лицом, и булатное копье не дрожало в его руке. Он смотрел навстречу солнцу, выплывающему большим шаром из-за высот востока, и, казалось, читал молитвы. Единодушный вопль привета вырвался, как из одних уст и одной груди, у всех горожан, когда они увидели своего героя; а он наклонил свое копье — приветствуя их и прощаясь с ними...

Как грозовая туча, спускался с песчаного холма черный всадник; земля гудела под копытами его коня; он казался еще громаднее и грознее, чем вчера. Во ста шагах не доезжая Венда он остановился. Так как народ на стенах очень смутился и все мертво молчали, то далеко разнеслось и было слышно мощное слово всадника к Венду:

— Старик! дай мне дорогу. Я хочу войти в твой город.

И слышно было слово Венда:

— Ты не войдешь!

— Венд, любимец Зевса! Я, имеющий власть надо всем на свете, хотел бы пощадить тебя... Дай дорогу.

Венд сказал:

— Я и мой старый конь — вот твоя дорога. Растопчи наши тела копытами твоего коня. Но, пока я жив и сижу на седле, ты не поедешь далее.

— Венд, — возразил черный всадник, — я знаю, что ты этою ночью вопрошал светила, и они сказали тебе, кто я.

— Да, я знаю, кто ты.

— И все-таки противишься мне?

— Да.

— Берегись, Венд! Я — неодолимая сила.

— А во мне живет бесстрашная любовь.

— Ты — безумец, Венд.

— Нет, я — вождь. Когда мой народ был рабом, я его освободил. Когда он был бесправен, я его судил. Когда он голодал, я его кормил. Когда нападали на него болезни, я его лечил. Когда врывались к нему враги, я спасал его победой. Теперь я могу умереть за него.

Черный всадник покачал шеломом.

— Ты стоишь предо мною, о Венд, как слабая соломинка пред бурей пустыни. На каких же условиях будем мы биться?

— Что может предписывать слабейший сильнейшему? — возразил Венд.

— Венд, клянусь тебе, если б я умел и мог смеяться, я смеялся бы над твоею безумною отвагой. Чего ты потребуешь от меня, если победишь?

— Ты оставишь меня и мой народ жить и умирать так же, как вела нас воля Зевса до твоего прихода, — спокойно сказал Венд.

— Клянусь тебе в этом самим собою, клянусь! — воскликнул всадник, поднимаясь на стременах, и доспехи на нем затряслись и зазвенели.

— Дай бою!

— Дай бою!

Всадник пронзительно свистнул и ринулся на Венда с поднятым копьем. Бойцы сшиблись. Облако пыли взвилось из-под конских копыт и скрыло битву от глаз толпы. Вот раздался тяжкий удар... что-то охнуло, зазвенело, затрещало, — и горы звякнули в ответ гулким эхом... Осколки копий высоко брызнули в воздух... земля загрохотала от грузного падения... и горожане увидали, что вождь их победил! Как светлый дух, стоял он над простертым на земле врагом, давя его грудь коленом и сверкая у его горла мечом, восклицал:

— Ты побежден!.. Вспомни, вспомни! ты клялся!

А невдалеке бешено грызлись и лягали друг друга их разъяренные кони...

Небесным громом прокатились по Золотому городу клики спасенного народа.

— Победа! славьте вождя! он жив и поразил черного всадника!

Но черный всадник встал с земли и, мрачно глядя на городские стены, сказал:

— Венд! я клялся и сдержу клятву. Ты спас свой народ. Вы будете жить, но никому из живущих на земле не видать больше Золотого города. Да позабудет мир, что рукой смертного была побеждена здесь сама великая Смерть!..

Так сказал он и вырос до облаков и заслонил собой солнце. Простертые руки его коснулись западных и восточных гор. И горы — недвижимые от века — застонали, оторвались от своих гранитных корней и со звериным рыком покатились на Золотой город. Они накрыли его каменным сводом и навеки схоронили от людского зрения и слуха. По земле прошла весть, что землетрясение в один день уничтожило царство Венда. А когда пришли в этот край римляне, то самое имя Венда оставалось жить только в темных старинных сказках этрусков, населивших его землю. Но Венд жив даже до сего дня: не старясь, царит он в глубоких подземных недрах над своим неумирающим народом; как прежде, учит его правде и творит над ним мудрый суд и расправу.

ИЗМЕНА

(*Сицилийская легенда*)

Еще солнце и земля не родились, а Измена жила уже на свете.

Дымною струей ползла она во мраке хаоса, скрываясь от Духа, когда Он благотворным ураганом носился над буйным смешением стихий.

Дух мыслил, и мысль Его становилась мирами.

Огонь пробивал жаркими языками воду. Вода боролась с огнем. Из паров рождались каменные громады. Облитые реками расплавленных металлов рушились они в неведомые бездны и, таинственно повиснув в безвоздушном просторе, покорно ждали, — когда творческое слово обратит их в яркие светила.

«И был свет».

Первый день озарил небо небес: первозданный престол Творца и тьмы тем ангелов, смиренно склоненных пред ним.

А внизу, в неизмеримых глубинах, трепетала и таяла побежденная тьма, волновалось и пенилось огненное море. Подобно островам, чернели в нем мертвые, еще не зажженные солнца; как огромные киты, плавали вокруг них остовы будущих планет.

Величественный дух стоял на земной скале, любуясь, как пламенные волны разбивались у ног его снопами искр и брызгами лавы.

Этот дух был любимым созданием Творца, ближайшим отражением Его света. Когда Творец воззвал его из ничтожества, он заблистал, как тысяча солнц, и Создатель, довольный плодом Своей мысли, сказал:

— Живи и будь вторым по Мне во вселенной!

Дух был могуч, свободен и счастлив. На его глазах зиждились миры. Он был лучшим работником, вернейшим исполнителем и помощником воли Творца. Величие Владыки внушало ему благоговейный трепет, а собственная сила и власть — радостное довольство.

Творец повелел духу лететь на землю и вещим словом превратить голые скалы и черные пропасти в лучший из миров.

Дух спустился на планету, — и величие открывшейся очам его огненной бездны очаровало его. Недвижно стоял он, испытывая взорами пестрые переливы паров и пламени, слушая грохот незримых молотов, вылетавший из огненной хляби.

Ревя и качаясь, поднялся над пучиною темно-багровый вал. Как язык в колокол, ударился он о кручу горы, где стоял могучий дух, и рассыпался грудою угля и пепла. Тонкая струя смрадного дыма протянулась снизу вверх, сквозь трещины гранита, подползла к стопам духа и лизнула его колена.

Дух затрепетал, внезапно исполнившись неведомых доселе чувств и мыслей. Он точно впервые увидал и мир, и Бога, и самого себя. И все нашел он мрачным и враждебным, а свою долю — презренною и безрадостною. Гордые мечты охватили его. Он не мог понять, что с ним делается, но ясно чувствовал, как любовь и благодарное самодовольство навеки уходят из его сердца, как на место их громко стучатся властолюбивая зависть и гневная ненависть.

Он был так смущен, что позабыл вверенное ему вещее слово. Когда быстрые крылья унесли его в небо небес, печальная планета оставалась такою же нагою и скудною, огненное море так же бешено клокотало вокруг нее, как прежде. А на вершине горы, покинутой омраченным духом, легла тяжелая серая туча, и в ней, свернувшись, как змея, спала и ждала новой жертвы Измена.

И снова прилетел на землю могучий дух, и другой дух — такой же прекрасный и блистательный — был с ним. Обнявшись, сидели они на камне, и первый шептал:

— Азраил! брат мой! друг мой! товарищ! Вверяю тебе мою тайну, вверяю тебе мою судьбу. Знай: я устал быть слугою, когда могу быть господином. Я наделен могуществом без границ. Неужели оно дано мне лишь для того, чтобы я рабски творил чужую волю, когда в уме моем так много своих мыслей и желаний? Сила не может быть обречена на жизнь себе наперекор. Гордость и могущество — родные братья. Я проклинаю свой жребий, я презираю себя, когда вспоминаю, что я — безвольное ничто: орудие и только орудие! — такое же, как вот эти пламенные волны и каменные

глыбы, из которых мы, служебные духи, извлекаем, сами не зная зачем, звезды, планеты и луны. Мы бессмертны, но меня приводит в ужас мое бессмертие... вечность безответной покорности и бессознательного труда! Если так сильно страдаю я — любимец Творца, больше всех жителей неба посвященный в Его тайны, — что же должны чувствовать вы, безгласные духи низших ступеней? Азраил! я решил сбросить с плеч тяготящее нас иго. Будем братьями! заменим свободным союзом дружбы невольный союз подчинения. Нас много. Повелитель — один. Он могуч, но разве Он не распределил между нами большую часть Своего могущества? Тысячи братьев обещают мне помощь. Будь же и ты, друг Азраил, моим союзником в брани и победе! И, — клянусь этим огненным морем, — когда я стану главою вселенной, ты получишь в обладание отдельный мир, где будешь царем и богом.

Слова изменника тронули Азраила. Он воскликнул:

— Ты прав, Сатана. Пора нам трудиться на самих себя и самим пожинать плоды и славу своих подвигов. Я твой и буду помогать тебе всею властью, которою неосторожно наделил меня Повелитель.

Сатана обнял друга и, сверкая одеждами, сотканными из молний, улетел с земли. Азраил же, глядя вслед ему, думал: «Ты очень силен, Сатана; твои крылья покрывают полмира. Но Творец сильнее тебя: Он наполняет мир. Твои замыслы — вздор. Ты погибнешь со всеми своими соумышленниками. Не пойду за тобою, сколько бы миров ты мне ни сулил. И я честолюбив, но знаю свои силы. Сатане мало быть вторым в мире, с меня же — в избытке довольно. Что — если я припаду к ступеням трона Творца и расскажу Ему о происках, быть может успевших укрыться от Его всеведения? Как знать? Не отдаст ли Он мне, в награду за услугу, всю власть и милость, которыми обречен Сатана?..»

Грозною тучею падал с небес предводитель мятежных духов — черный, как уголь, от опаливших его громов. Он падал вниз головой, и пылающие волосы его висели, качаемые вихрем, как хвост заблудившейся в небе кометы. Он падал — и смотрел в небо. Мрачно пробегая взором ряды торжествующих ангелов, он еще грозил, еще проклинал. И вот в этих светлых рядах он увидел Азраила: того, кому, как другу и товарищу, поведал он свою тайну; кто лицемерно славословил его замысел, отдавал в его распоряжение свою власть и волю, и... предал его, — вместе с сонмами увлеченных Сатаною и теперь, как он, проклятых духов!

Увидал — и уже не отводил взора. Через тысячи тысяч миль почувствовал Азраил этот взор на лице своем. Его щеки поблекли и выцвели, сожженные презрением обманутого друга. Тщетно хотел он бежать: крылья бессильно, как подшибленные, висели за его спиной. Он старался отвратить лицо и не мог, оцепененный проклятием, которое, без слов, посылали ему полумертвые очи погибшего духа. Все ниже и ниже падал Сатана — и, чем глубже он падал, тем грознее становился его страшный взгляд, и тем бледнее становился его предатель. И только когда Сатана, умалившись, как ласточка, исчез в слое надземных облаков, Азраил осмелился поднять свое лицо, белое, как эти облака. И румянец никогда уже не возвратился на его ланиты...

Сатана упал на ту самую гору, где настигла его первая отрава Измены. Как труп, лежал он на горе, изнывая от боли, злобы, тоски и страха одиночества. Тогда пришла к нему Измена и поклонилась ему, говоря:

— Радуйся, сын мой и господин! встань, обопрись на мою руку и — будь князем мира сего! Земля даст тебе все, в чем отказало небо.

Воспламененный коварными словами, падший ангел воспрянул с новой дерзостью в уме, с новыми гордыми мечта-

ми, снова готовый строить хитрые ковы новой борьбы. Он воскликнул:

— Пусть же эта планета будет моей столицей, эта гора — моим дворцом. Отсюда — в пламени и громе — буду я править вселенною.

Он топнул. Огненная пропасть открылась под его ногами и поглотила его.

В той горе живет он и поныне среди послушных ему духов. Когда на земле появились люди, они назвали гору Этною. Далеко на все четыре стороны света виден великолепный дворец злого духа, одетый, как малахитом, зеленью сочных виноградников, венчанный серебряною кровлею вечно снежных вершин. Днем, как черное знамя, веет над Этною дымное облако; ночью — небо рдеет заревом огней на подземных пиршествах Сатаны.

Азраилу же Творец, Который читает мысли людей и ангелов как раскрытую книгу, сказал:

— Ты был Мне верен, но — не от чистого сердца. Ты открыл Мне злой умысел Сатаны не по долгу и любви ко Мне, но ради выгоды. Ты изменил Сатане, как Сатана — Мне. Им Измена вошла в мир, а тобою продолжилась. Я должен наградить тебя, но награда твоя да будет тебе и наказанием. Ты жаждал могущества Сатаны. Я дам тебе страшную власть, но она будет ужасом и для тебя самого. Ты останешься ангелом, но мир будет ненавидеть тебя, как злого духа. Твои речи пробудили Мой первый гнев, — будь же отныне и до века носителем и орудием Моего гнева! Ты последуешь за Сатаной и разделишь с ним власть над землею. Он понес на землю грех и преступление, ты понесешь наказание за грех: смерть! Пусть каждый, кто увидит твой бледный от стыда и страха образ, знает, что земной век его кончен и спешит примириться со Мною — своей Вечной Совестью... Лети же на землю, серп Моей жатвы! Лети в мир, ангел смерти!

БОЛОТНАЯ ЦАРИЦА

(*Сказка мареммы*) *)

Три водяных царя задумали жениться.

Первый царь владел рекою Нилом в Африке; ему были покорны все реки на земле.

Другой жил в вертячем морском омуте близ Реджио. Он управлял морем от Сицилии до Корсики и вдоль по всему западному берегу Италии до самого Монако.

Третий царь был болотник: ему подчинялись все стоячие воды, трясины, топи, грязи, зыбучие пески на все четыре стороны от его жилья. А жил он — где теперь Гаэта, только немного дальше от моря, в глубоком провале зеленой маремми.

Царь Нила женился на дочери эфиопского царя, прекраснейшей из черных девушек, опаленных полуденным солнцем.

Морской царь явился рыцарем в зеленой броне ко двору сицилийского короля и, победив на турнире дюжину соперников, завоевал руку и сердце принцессы с изумрудными глазами и рыжими волосами до пят.

Но третий — болотный царь — был так уродлив, что ему не удалось найти жены ни между земными девушками, ни между воздушными феями. Черный и влажный, слепленный из болотного ила, опутанный водорослями, он ходил на лягушечьих лапах. Глаза его чуть светились, как гнилушки, вместо ушей висели пустые раковины.

Женатые цари стали смеяться над своим безобразным товарищем и сулили, что прожить ему весь век холостяком.

Болотный царь был горд и обидчив.

Он приказал подвластным ему чертенятам:

— Ступайте по всей земле — узнайте, кто теперь самая красивая девушка в подлунном мире.

*) Записана близ Battipaglia.

Чертенята, возвратясь, сказали в один голос:

— Конечно, это золотоволосая Мелинда, дочь графини Примулы. Она живет в замке на границе гор и твоей маремы. Вся она — как лепесток алой розы, плавающий в самых лучших сливках. Бирюза и василек поссорились из-за глаз ее, споря, на кого из двух они больше похожи.

Однажды служанки сказали прекрасной Мелинде:

— Графиня, на маремме показались чудесные желтые кувшинки; таких еще не видано в нашем краю.

Мелинда спустилась с высот своего замка к зеленым болотам, и точно: на изумрудной трясине сверкают, как маленькие солнца, золотые чашечки сочных водяных цветов, но цветы росли далеко от твердого берега, и Мелинда не могла дотянуться к ним руками.

В трясине — вблизи цветов — лежал и гнил старый, черный пень погрязшей ивы.

«Где держится дерево, там возможно удержаться и мне, — подумала Мелинда, — не много тяжести прибавлю я этому чурбану...»

Легче стрекозы прыгнула она с земли на ивовый пень и весело наполнила свой передник желтыми цветами. Тогда мертвый чурбан ожил — и, крепко обняв свою добычу, болотный царь вместе с Мелиндою погрузился в жидкую тину.

Служанки, видя, что госпожу их засосала трясина, с плачем понесли горькую весть графине Примуле. Графиня оделась в траур и отслужила панихиду по умершей дочери.

Она каждый день приходила к месту погибели Мелинды и плакала так горько, что вместе с нею плакали все птицы над болотом. Но, боясь царя маремы, ни одна не смела рассказать несчастной матери, что сталось с ее Мелиндою.

Наконец один старый аист, улетая осенью в Африку на зимовку, сказал Примуле:

— Не убивайся так ужасно. Дочь твоя жива. Ее похитил и держит в плену болотный царь, владыка этой мареммы.

— Могу ли я возвратить ее? — спросила Примула.

— Этого я не знаю. Но в маремме живут три колдуна, знакомые с болотным царем. Они могут объяснить тебе все, что ты желаешь.

Примула отправилась к колдуну и дала ему много золота, чтобы он научил ее как спасти Мелинду.

— Ничего нет проще, — отвечал колдун. — Болотный царь не имеет права задерживать у себя твою дочь, если...

Но он не успел договорить, потому что чары болотного царя мгновенно превратили его в лягушку, и, убегая от пролетавшего журавля, колдун проворно прыгнул в камыш.

— Сущие пустяки, — сказал другой колдун. — Зови свою дочь с того берега, где она погибла, девять зорь утренних и девять вечерних по девяти раз каждую зорю, и болотный царь потеряет над нею власть, если...

Но на этом слове чары болотного царя скрутили колдуна в пестрого ужа, и он, зашипев, обвился вокруг золота, подаренного ему графинею.

Придя к третьему колдуну, графиня скрыла от него несчастия двух его товарищей и сказала так:

— Болотный царь украл мою дочь. Но мудрые люди говорят, будто я могу возвратить ее себе. Стоит только девять зорь утренних и девять вечерних звать ее по девяти раз на том месте, где она потонула, и болотный царь должен будет отпустить ее, если...

— Если она еще девушка, — договорил колдун.

И, обращенный в кулика, жалобно застонал над ближнею лужей.

Девять утр и восемь вечеров болото безмолвно внимало материнскому призыву. Когда же догорела последняя вечерняя заря, графиня Примула — вместе с туманом, побежавшим по маремме, — услыхала из трясины голос Мелинды:

— Поздно зовешь меня, мать моя. Болотный царь овладел мною, и я осуждена остаться его рабою, на дне болота.

Прощай, мать! Я в последний раз говорю с тобою. Близка зима, и скоро мы, с царем-супругом, задремлем на тинистом ложе, пока солнце не возвратит земле тепла. Новым же летом я дам тебе знак, что я жива и помню о тебе.

Прошла зима. Отшумели весенние дожди, отпели соловьи, вытянулся в метелку зеленый маис, зачервонел баклажан, надулся в золотое ядро толстокожий лимон, пролетели и умерли светящиеся мухи, загрохотали по горам ночные грозы, — и вот, с первою зарею, поворотившею солнце от снежной весны к палящему лету, на поверхность трясины поднялся из глубины, на скользком коленчатом стебле, новый цветок: водяная лилия.

Вглядываясь в ее молочно-белые лепестки, зарумяненные лучом розовой зари, Примула узнала цвет лица своей дочери, а сердцевина цветка была золотая, как волосы Мелинды. И Примула поняла, что перед нею — внучка, дитя союза Мелинды с болотным царем.

Примула прожила много лет, и каждый год Мелинда покрывала трясину ковром белых лилий, в знак того, что она жива и, вечно-юная и прекрасная, царит над болотною державой. Но однажды слуги, сопровождавшие графиню в ее обычную прогулку к болоту, сказали друг другу:

— Долго ли таскаться нам изо дня в день следом за сумасшедшею старухою? На ней драгоценное ожерелье, каждая жемчужина которого стоит больше, чем все мы вместе можем заработать за целую жизнь, если даже не будем разгибать спины от солнечного восхода до заката. Убьем старуху и бросим труп в болото. Все поверят, что она сама свалилась в трясину — в объятия своей любезной Мелинды.

Злодеи поступили, как говорили, и скрыли убийство так хитро, что остались ненаказанными. Но с тех пор осиротелая Мелинда возненавидела людей. В справедливом гневе она отреклась от своей прежней кроткой природы и сделалась угрюмою и жестокою, подобно своему страшному супругу. Вместо нежных лилий она стала рождать чудовищ, ги-

бельных для человеческого рода. Она произвела свирепую моровую деву, малярию, опустошительницу маремм. Она родила блуждающих огненных духов, что втягивают в топи ночного странника, показываясь ему издали лампою в деревенской хижине, маяком на скале, костром пастуха или факелом путешественника. От Мелинды произошли столбообразные белые призраки, качаемые полуночным ветром над провалами болот, когда в стоячие воды глядится полная луна. Они вползают по месячному лучу в жилища людей и поражают их лихорадкою. Дочери Мелинды — прекрасные голубоглазые чертовки, завлекающие в болота береговых прохожих. По пояс в трясине — потому что лишь до пояса они женщины, а ниже — гадкие лягушки, — они молят спасти их от верной погибели, но, когда прохожий разжалобится и протянет им руку помощи, они с хохотом топят его самого в зыбучей бездне. От Мелинды родились феи, низводящие медвяную росу на плодовые деревья и поражающие человека горловыми болезнями. Она родила однополую ехидну, которой взгляд ядовит для людей, и толстую жабу с свиным голосом и человечьим смехом, которую ищут колдуны, чтобы ее печенью и кровью окармливать беременных женщин, — и тогда они выкидывают плод или рождают безобразных кобольдов.

СТРЕЛКИ В ТОСКАНЕ

В Духов день тосканские горцы, сменив свои обычные овчины на нарядные суконные и бархатные куртки, лихо заломив набекрень украшенные яркими лентами колпаки, сияя серьгами, кольцами, цепочками и булавками с фальшивыми камнями, спускаются с своих высот к городу Пистойе, где какой-то в бозе почивающий подеста установил лет триста тому назад в этот день праздник стрелков. Что год, то хороших стрелков все меньше, и вот уж несколько лет, как ни

один молодец не попал в самую трудную цель и не взял первого приза. Цель эта такая: на высокий шест прикреплен вертящийся шарик, а самый шест вделан в ступицу колеса, тоже вращающегося, но в обратную шарику сторону. И шарик, и шест, и колесо выкрашены в желтый мутный цвет и в пятидесяти шагах едва видны человеку с плохим зрением; а — кто видит хорошо, у того в глазах рябит от мелькания шарика, и все выстрелы по нем пропадают даром.

В последний раз шарик быт сбит в 1882 году знаменитым стрелком Витторио Каварра, так трагически кончившим в тот же день свою старую жизнь.

Витторио был человеком минувшего века; теперь таких уже мало. Он умер семидесяти лет. В юности он занимался контрабандой на Ливорнском побережье и чуть не каждый день имел стычки с таможенными — в одной ему прострелили плечо, в другой сломали ногу, а в третьей чуть не забили насмерть прикладами, скрутили полуживого по рукам и ногам и отвезли в тюрьму. Суд отправил Витторио на галеры, — это было милостью, потому что сперва его хотели повесить. С галер он бежал, пробрался в Америку и совсем там обжился, как вдруг началось гарибальдийское движение, и Каварра потянуло на далекую родину. Он дрался в знаменитой «тысяче». Объединение Италии и правление Виктора-Эммануила доставили старику возможность спокойно дожить свой век в родном селении — в разбросанной горной деревушке, растерявшей свои белые домики на скате крутой, сверху донизу покрытой зеленью скалы.

Хижина Витторио — как скворешник — торчала всех выше. Хозяин почти всегда сидел на ее пороге, грея на солнце свои старые кости и глазея в полную голубым горным туманом даль. Когда бывало необлачно, он прекрасно видел со своей вышки горы Каррары, а купол флорентийского собора темнел у его ног, рукой подать. Гостей старик не любил, разговорчивых соседей тоже. Пройдет мимо односель-

чанин, Витторио кивнет головой и опять уставится в даль своими орлиными глазами, как угли сверкающими из-под седых бровей. Покажется вдали капеллан или сакристьян, Витторио лукаво ухмыльнется в щетинистые усы, приосанится и — будто не видит, кто идет — примется насвистывать гарибальдийский марш. Капеллан страх как не любил за это Каварра и даже в проповедях звал его чадом антихриста, сосудом дьявольским, вместилищем всякой скверны. Но прихожане плохо верили своему пастырю: как же Витторио мог быть сосудом дьявольским, когда на шляпе у него была нацеплена чуть ли не целая дюжина образков, на груди зашита ладанка с молитвой от злых духов, а с левой руки он никогда не снимал амулета с мощами?.. Единственным спутником одинокой жизни старика был его племянник Изидоро Бальфи, сын сестры Витторио, — она была тосканка, но вышла замуж за чужака-ломбардца, да так и умерла на берегах По, среди маисовых полей, от тамошнего бича — пелагры *). Витторио, когда получил амнистию и поселился на родине, узнав, что зять его Бальфи в жестокой бедности, хотел ему помочь, да уже поздно: вскоре бедняга отправился за женой, а сироту Изидоро Витторио взял себе. Мальчик вырос молодцом на славу: красивый, статный, ловкий. Фактор-еврей из Флоренции, что рыщет по тосканским захолустьям, выискивая натурщиц и натурщиков для приезжих художников, соблазнял его ехать с собой, предлагал по червонцу за сеанс, но гордый юноша едва не убил еврея, — так ему обидно показалось это предложение. Вспыльчив он был страшно, а разъяренный — лез в драку, как бык. А так как он и силой не уступал быку, то с Изидоро шутить не любили. Чуть бывало он после фиаски молодого chianti ** опустит глаза в землю и побледнеет, — все от него врассыпную, потому что это

*) Пелагра — местная ломбардская болезнь, происходящая от дурного питания, преимущественно же от употребления в пищу испорченного маиса.

** Вино.

значило, что Изидоро считает себя обиженным и начнет сейчас крушить всякого, кто попадет под руку. Его любили, потому и берегли, а не то давно бы ему гнить в окружной тюрьме. Витторио души не чаял в племяннике.

— Моя кровь! точь-в-точь таким и я был молодой! — говорил он.

— А вот, дядя Витторио, — сплетничали ему, — рассказывают, будто ваш Изидоро с пятью такими же сорви-головами пронесли на прошлой неделе во Флоренцию каждый по двадцати кило табаку...

— Неправда! — обижался старик. — Изидоро нес сорок!

— Тем хуже, дядя!

— Э! у правительства денег много... Не станет беднее оттого, что в догану (таможню) попадет сотней лир меньше, а молодым людям надо позабавиться и достать денег на удовольствия.

Лесничий смежного с деревушкой имения графа Кавальканти, самого важного нобиля Тосканы, ненавидел Изидоро и ставил ему на счет каждую дикую козу, исчезнувшую из лесов его светлости, каждый капкан, каждый силок, найденный в чаще, но уличить молодого браконьера не мог — юноша был хитер и ловок, как дикарь, притом дружил с объездчиками, и те держали его руку. Не самому же лесничему было ловить этого богатыря: вернуться без греха с охоты на него было трудно, — живым Изидоро не сдался бы; пришлось бы либо ему всадить пулю в лоб, либо от него получить. А последнее было возможнее, так как, за исключением своего дяди, понаметавшегося в этом искусстве в саваннах Южной Америки, Изидоро, бесспорно, был лучшим стрелком околотка. Он уже взял несколько призов на празднике Духова дня в Пистойе, но на вертящийся шарик еще не посягал и первой награды не брал. Она всегда доставалась самому Витторио. В 1882 году Изидоро решился попробовать счастья и на первый приз.

— Смотри, сынок! — толковал дядя племяннику, — не осрамись. Человек из рода Каварра не должен браться за

цель, если не уверен в успехе. Мы — триста лет лучшие стрелки Тосканы. Я десятилетним мальчиком бил ласточек на лету. Ты должен поддержать репутацию нашего рода, и я надеюсь, что поддержишь! Глаз у тебя верный, рука твердая... что же касается оружия...

Витторио открыл старый платяной шкаф и вынул из него превосходный штуцер, хотя и не новой системы.

— Вот, возьми это, Изидоро. Такого оружия нет ни у кого из тех, кто придет на праздник. Но помни, мальчик: если ты дашь из него промах, я тебе не прощу такой обиды. Это ружье подарено мне самим великим Джузеппе, когда мы встретились с ним в Америке. Честью тебе клянусь: я никогда не промахнулся, стреляя из него, — никогда его не обидел. У меня орденов нет, — это ружье мой орден. Его обидишь — меня обидишь!

— Ладно, дядя, не беспокойся! — сказал Изидоро, пожал старику руку и с благоговением поцеловал драгоценное ружье.

Несколько дней практики, и, пристрелявшись, он овладел великолепным подарком Гарибальди не хуже самого Витторио.

В День Св. Духа дядя и племянник проснулись спозаранок, до петухов, надели коричневые бархатные куртки и голубые шелковые пояса, прицепили к шляпам по два тонких орлиных пера, Изидоро вскинул штуцер на плечо, и пошли в Пистойю, вниз по извилистой горной тропинке, залитой розовым светом утренней зари.

— Эге, дядя Витторио! — кричали старику встречные знакомые, — вы на праздник? А что же вы сегодня без ружья?

— Я нынче стрелять не буду. Баста! Моя пора прошла, надо дать дорогу молодым. Вот племянника веду...

— Изидоро? О, он у нас молодец! Bravo, ragazzo! *

* Браво, малыш! (*ит.*)

После мессы синдако открыл праздник, и выстрелы загремели. От привязанных к шестам петухов только клочья полетели; голуби, заготовленные для садки, не успевали взлетать, как уже падали мертвыми; синдако швырял в воздух голубиные и вороньи яйца, а два удалые фьезолинца *) почти без промаха били их на лету. Изидоро тоже отличился: на большом куске полотна, натянутом на раму, он пулями наметил правильный круг и пересек его диаметром. Наконец дошло дело и до шарика. Фьезолинцы — оба спасовали, Микеле Сбольджи, флорентинец, тоже, два стрелка из Сьенны промахнулись один за другим, при громком смехе толпы. Наконец, прицелился Изидоро. Он был серьезен и бледен, а глаза так и сверкали.

Грянул выстрел, — пуля пошла гулять в пространстве, а шарик крутился как ни в чем не бывало. Изидоро даже шеста не зацепил, что удалось его предшественнику Сбольджи. Смех публики озлил Изидоро. Он повел вокруг себя свирепым взором и гневно кинул наземь свой гарибальдийский штуцер.

— Дрянное ружьишко! — завопил он.

— Ты лжешь, щенок! — громовым голосом ответил ему из толпы старый Витторио и, растолкав локтями соседей, в два прыжка очутился возле племянника. Губы его дрожали, глаза сыпали молнии, усы встопорщились, — он был страшен. Подняв с земли свое так жестоко оскорбленное ружье, он быстро зарядил штуцер, приложился и выстрелил, почти не целя: шарика — как не бывало.

Толпа разразилась неистовыми рукоплесканиями и криками восторга. Старика потащили было под руки к судейской трибуне за призом, но он вырвался.

— Отдайте ему! — презрительно указал он на уничтоженного племянника и, вскинув штуцер на плечи, скрылся в толпе.

---

*) Fiesole — городок близ Флоренции.

Но Изидоро тоже отказался от приза.

Мрачный и гневный возвращался Витторио домой узким горным ущельем, поросшим буками и молодым дубом. До деревушки оставалось не больше мили, когда старик заметил шагах во ста впереди себя какую-то тень, юркнувшую за толстый ствол старого орешника. Вслед за тем его окликнули:

— Дядя!

— Что надо? — сурово отозвался старик.

Изидоро вышел на тропинку и загородил дорогу Витторио. В руках у него было ружье — какое-то новое, незнакомое Витторио.

— Вы меня очень оскорбили, дядя! — начал Изидоро после некоторого молчания.

— А ты меня еще больше... Лучше бы тебе не родиться на свет, чем так опозориться!..

Изидоро прервал его.

— Оставим это, дядя! Я, может быть, хуже вас стреляю, но обид прощать не умею и привык за них расплачиваться.

— Это хорошо, — спокойно одобрил Витторио, — я сам такой. Откуда у тебя это ружье?

— Я украл его у Сбольджи, когда он пошел с товарищами в трактир выпить за свою победу, — ведь второй-то приз присудили ему.

— Украл, чтоб убить меня, не так ли?

— Да, дядя. Нам теперь нельзя жить вдвоем на свете.

— Гм... Отчего же ты не выстрелил в меня, когда спрятался за орешником?

— Мне показалось нечестным, если я нападу на вас врасплох.

— Это хорошо! — опять одобрил старик.

— Спасибо на слове, дядя... Теперь я вас предупредил, дядя! Берегитесь!

— Берегись и ты, Изидоро!

Оба взяли ружья на прицел, и оба их опустили.

— Изидоро!

— Что, дядя?

— Я думаю, что пред таким делом нам не мешало бы помолиться.

— Я уже молился, дядя, пред статуей Мадонны на фонтане у железнодорожного моста... Но вы молитесь, я мешать не буду.

Витторио стал на колени, прочитал «Pater noster» * и «Credo» ** , поцеловал образки на своей шляпе и поднялся.

— Я кончил, Изидоро.

— Как вам угодно, дядя.

Изидоро отступил за свой орешник. Витторио укрылся за пнем разбитого молнией дуба. Воцарилась мертвая тишина, только дятел стукал носом в дубовую кору над самою головою Витторио, да иволга аукала где-то в стороне. Зеленый зимородок сел на тропинку, повертел любопытною головкой с черными глазками и упорхнул.

Опять молчание. Опять стукотня дятла и крик иволги. Но вот у букового дерева расплылось серое пороховое облако, и лес затрещал отголосками выстрела. Изидоро, держа ружье над головой, бросился к упавшему дяде и с ужасом отступил: Витторио был безоружен... Штуцер его валялся, отброшенный, по крайней мере, на пятнадцать шагов...

— Дядя! что вы сделали?.. — вскричал молодой человек, склоняясь на пробитую его пулей грудь старика.

Витторио открыл глаза.

— Ничего, мой мальчик... — прошептал он, задыхаясь и захлебываясь кровью, — ничего... Что же делать! Я не в силах был стрелять в тебя, а жить после того, как ты хотел меня убить, было бы для меня... несколько тяжело...

Изидоро зарыдал, ломая руки.

---

* «Отче наш» (*лат.*).

** «Верую» (*лат.*).

— Не плачь, мальчик... Я тебе прощаю... — шептал раненый, — только ты все-таки ошибся: надо было взять на дюйм левее, тогда ты кончил бы сразу, а теперь... теперь я еще часа два промучусь...

1888

ПАДРЕ АГОСТИНО

Я жил уже около месяца во Флоренции, «все видел-высмотрел» и в одно прекрасное утро встал с сознанием, что мне смертельно прискучила Firenze la bella с ее Cascine *, с ее ушедшими под облака Fiesole и Certosa d'Ema, с ее живописными мостами на Арно, этой реке-хамелеоне, раза по три в день меняющей цвет своих быстрых вод. Loggia d'Orcagna перестала изумлять меня своим Персеем, Palazzo Uffizi — Медицейской Венерой, Palazzo Pitti — рафаэлевскими «Видением Иезекииля» и «Мадонной della seggiola». В виду этого я вытащил из-под кровати чемодан и принялся укладывать вещи, намереваясь вечером уехать в Сьенну. Так и объявил своему хозяину — синьору Alfredo Sbolgi — превосходнейшему малому, на свой, флорентинский манер. Он, правда, не мог совершенно расстаться с привычкой видеть в иностранце вола с семью удобосдираемыми шкурами, но лично довольствовался всего одною, великодушно оставляя форестьеру остальные шесть для прокормления будущих его padroni **.

— Господи! так ли я слышал? Да разве это возможно — уехать сегодня? — воскликнул Альфредо с жестом, достойным Томмазо Сальвини в «Гладиаторе».

— Почему же невозможно? — поинтересовался я.

---

* Прекрасная Флоренция с ее парком (*ит.*).

** Отцы (*ит.*).

— А потому, что безумно уезжать из Флоренции, когда в нее только что прибыл великий Монтефельтро.

Известие это произвело на меня очень малое впечатление. Имя Монтефельтро было мне неизвестно, а s-r Sbolgi был великим театралом и играл не последнюю роль в клаке флорентинских театров. Он знал по именам всех оперных певцов и каждое утро сообщал мне с таинственно-восторженным видом: сегодня прибыл в город il celebre Manfredi *, сегодня дебютирует в Pergola — il distinissimo Sylla Carobbi **, сегодня — в Pagliano бенефис (serata d'onore) della bellissima Bulycioff *** — нашей соотечественницы, удивлявшей тогда Флоренцию столько же своим голосом, сколько и наружностью: grande, grossa, blonda — большая, толстая, блондинка — три самые драгоценные требования флорентинского вкуса; г-жа Булычева удовлетворяла всем трем, и добрые флорентийцы, не стесняясь, вопияли, слушая ее в «Лоэнгрине»: «Это больше, чем женщина! Статуя, Венера Медицейская!»

— Нет уж, s-r Альфредо! — отвечал я, — баста! — не удивите вы меня никаким Монтефельтро... Хоть сам Котоньи приезжай, не останусь: надоела мне ваша Pergola...

— Но, синьор! — возразил Альфредо, — вы заблуждаетесь, Монтефельтро — не артист... он — монах, проповедник...

— И вы, s-r Sbolgi, не нашли для меня приманки лучше монашеской проповеди? А еще либерал! Еще над постелью повесил портрет Гарибальди!..

— S-r! Падре Агостино — необыкновенный монах. Вы знаете: у меня был брат в «тысяче», и его расстреляла папская сволочь... но пред падре Агостино я преклоняюсь: он патриот, и когда он говорит... вы понимаете... я не фанатик — мое

---

* Знаменитый Манфред (*ит.*).

** Утонченнейший Силла Каробби (*ит.*).

*** Бенефис прекраснейшей Булычевой (*ит.*).

убеждение: религия — вещь прекрасная, но нам, беднякам, она слишком дорого обходится. Однако, когда падре Агостино говорит, я плачу...

Из-за такой диковинки, как патер-патриот, заставляющий плакать легкомысленных флорентинцев, во время оно спаливших на своей Piazza della Signoria Джироламо Савонаролу, а потом построивших на месте ужасного костра нецензурный фонтан Нептуна — ужас чопорных англичанок-пуристок, — стоило остаться. На другой день я слушал Монтефельтро в Cattedrale * и, должен признаться, никогда не выносил более сильного впечатления от живой речи. Cattedrale (Santa Maria del Fiore) ** — одно из громаднейших зданий Италии — совместная работа Флоренции, Каррары и Сьенны — здание, в обыкновенное время пустынное. Обычное число богомольцев — хотя и довольно почтенное: Флоренция город все-таки боле религиозный, чем, например, Милан или Турин, — теряется в величественном просторе этого храма Медичей. Теперь же в нем, что называется, яблоку некуда упасть. По протекции одного из членов русской колонии, г. Б. — это странный, совсем обытальянившийся господин, полукатолик-полусведенборгианец, лицо очень уважаемое во Флоренции — я получил место у самой кафедры. Послушали вытье плохих певчих и рокот органа, величественно разносившийся под грандиозным куполом Брунеллески. Равного этому куполу по смелости свода нет в целом мире, пред ним преклонялся, как пред чудом, даже не знавший пределов своей фантазии Микеланджело Буонаротти. Наконец, на кафедре появился монах, — то был сам падре Агостино.

Он из тех людей, к кому сразу тянет. Представьте себе человека в сутане, среднего роста, худощавого, с бледным длинным лицом, очень тонко и изящно очерченным, с боль-

---

* В кафедральном соборе (*um.*).

** Кафедральный собор Святой Девы Марии с цветком (*um.*).

шими темными глазами, окруженными синими венчиками. Взгляд невдохновенный, но глубокий и вдумчивый. Монтефельтро проникновенно смотрит не на толпу, а куда-то дальше ее и там черпает материал для своей речи.

Он заговорил очень тихим, но внятным голосом, и не по-латыни, а по-итальянски. Я не расслышал текста, но мне потом сказали, что Монтефельтро говорил на тему стиха пророка Иеремии: *кажется ленивому, что лев среди улицы — выйду, и пожрет он меня.* Начал он намеком на благотворительную цель, с которой приехал во Флоренцию: его пригласил проповедовать комитет реставрации знаменитой Facciata del Duomo * и башни Джотто. Эта кропотливая реставрация продолжалась чуть не полвека и кончена только в 87 году. Она стоила миллион франков, и для завершения ее колоссальных работ комитет выдумывал самые разнообразные средства. Помимо щедрой всенародной подписки, — Мазини и Котоньи пели в пользу Facciata в Pergola; Ториджани, один из воротил комитета, предлагал даже устроить первый на итальянской почве бой быков с Мазантини — prima spada d'Espagna **) — во главе. Вышло в свет несколько литературных сборников, в которые даже атеисты Стеккетти и Кардуччи вложили свою лепту на восстановление художественного памятника великой старины. И, наконец, — падре Агостино был приглашен проповедовать и вызвать своими речами народ на щедрую милостыню. Сборщики с кружками то и дело шмыгали в толпе. Падре Агостино коснулся истории фасада — имена Джотто, Брунеллески, Донателло приятно пощекотали национальное самолюбие публики — и истории собора. Монтефельтро отличный рассказчик: у него есть талант двумя словами набрасывать яркую картину. Когда он напомнил о покушении на жизнь братьев Медичи в стенах этого самого священного

---

* Фасад собора (*ит.*).

**) Первый тореадор в Испании.

здания и протянул белую узкую руку к резной двери капеллы, куда прятался Пьетро Медичи от убийц, — воображение, подстрекаемое вековыми декорациями места действия, невольно переносило меня в этот ужасный век крови и железа, так и захотелось услыхать стук оружия и «Медичей воинственный набат»...

Из мечтаний, навеянных красивой декламацией падре Агостино, было почти неприятно перейти к неприглядной картине современного флорентинского строя, на который Агостино не пожалел темных красок... Тихий голос его крепчал-крепчал и вдруг загремел такими могучими и страстными нотами, что всю толпу всколыхнуло, у слушателей мороз прошел по коже. Только у Поссарта в «Лире» слыхал я такие изумительные голосовые переходы! Наши русские ораторы и декламаторы всю свою жизнь вертятся на двух-трех нотах, — оттого-то и пасуют они перед своими западными собратьями, воспитывающими свою речь по Легуве и Лаблашу.

Оратор беспощадно бичевал флорентинскую распущенность: бесстыдство нобилей, роняющих древние честные имена торговлей герцогскими и графскими гербами, под маскою фиктивных браков с первой встречной богатою форестьеркой, будь она раньше хоть проституткой; леность мещанства; безучастное отношение флорентийца к судьбам отечества: лучшие люди не оценены во Флоренции и встречают в ней дурной прием.

— Я слышал, — говорил он, — что флорентинцы много молятся и горды своей религиозностью. Но религия не мешает, однако, Беппо, осенив себя крестным знамением, подстеречь и зарезать из-за угла беспечного форестьера, а Альфонзо — guardio di publica sicurezza * (городовой) — тем временем бьет поклоны перед Мадонной вместо того, чтобы задержать улепетывающего Беппо. По статистическим данным, во Фло-

* Полицейский агент (*ит.*).

ренции больше преступлений, чем где-либо на полуострове. Нигде не встретишь такой ненаказуемости порока, такого равнодушия к благу и жизни ближнего.

И падре с неподражаемым юмором рассказал несколько известных всей Флоренции фактов той зимы: как, например, на Piazza della Signoria *, в глазах городовых, зарезали человека, а стражи, чем бы ловить убийцу и помочь раненому, принялись рукоплескать: bravo! bravo, ragazzo! ha dato una bella coltellata! **); как обворованный иностранец не мог в течение целых трех месяцев добиться правосудия и чуть сам не угодил в тюрьму по подозрению, что украл свои же собственные вещи...

Толпа с изумлением слушала, как с церковной кафедры, с которой она привыкла слышать проклятия еретическому северу, раздались похвалы порядкам безбожной Ломбардии. Агостино ни разу не упомянул имени Папы и весьма политично обходил в речи савойскую династию, но с языка его не сходили слова «Italia unita», «nostra bella cara patria» *** — и сколько разнообразных оттенков вливал он в эти простые слова!.. Глаза его заблистали, бледное лицо вспыхнуло румянцем, когда он произносил последнюю фразу своей проповеди: «Почтение и молитвы — церкви, всю жизнь — за отечество. Так-то!» — и, ударив рукою по пюпитру, он отрывисто сказал обычное заключительное: «Amen...» ****

Б. был недоволен проповедью: ему хотелось чего-нибудь высокого, отвлеченного, мистического, а Агостино взял да и вывел его на шумный практический рынок, вроде того, где с давних лет сидит и льет воду из клыкатой пасти гений-покровитель Флоренции, медный кабан, с мордой, отполированной поцелуями уличных мальчишек.

---

* Площадь Синьории (*ит.*).

** Браво, молодец! Вот так хватил! (*ит.*)

*** «Единая Италия», «наше прекрасное дорогое отечество» (*ит.*).

**** «Конец...» (*ит.*)

— Это — не проповедь, а простая «светская речь», — говорил он, — он не вставил в свои слова ни одного текста, а цитировал Стеккетти и Джусти, упоминал о Ломброзо... Что же это за проповедь? Но, сознаюсь, что после Гамбетты я не слыхал такого увлекательного оратора. Этот скромный приступ, этот величавый эпический тон, — и вдруг, как из жерла Везувия, — громовый взрыв пламеннейшего лиризма, ракеты жгучих сарказмов... чисто гамбеттовский прием. Притом, — что за дивный голос!

Зато, вернувшись домой, я застал синьора Альфредо с красными глазами.

Рядом с портретом Гарибальди добряк повесил уже портрет Монтефельтро.

— Ну что? — спросил я его, — как?

— Morir per quest'uomo!!! * — получил я короткий ответ.

Но через минуту Сбольджи, что называется, прорвало: начались возгласы изумления, восхищения и, в заключение, даже слезы.

— Однако он вас не похвалил! — возразил я Альфредо.

— Не стоим того — вот и не похвалил, — возразил, в свою очередь, Альфредо, очень серьезным тоном. — Он имеет право судить о пороках; он святой человек. Вы знаете, отчего он пошел в монахи? У него умерли в два дня жена и трое детей... милые бедные малютки!.. Он заперся в монастырь, но скоро увидал, что наши монахи — дармоеды, и не захотел сидеть на народной шее, стал служить стране словом и делом. Вы слышали, какие загвоздки подпускал он нашим клерикалам? И он хоть бранится, а любит нас. Как он восставал сегодня на наши порядки, — а первый подписался на петиции о помиловании Изидоро Стаджи и сам повез ее королю.

Изидоро был отличный, только чересчур уже вспыльчивый малый, водовоз, имевший несчастие спьяну подраться в таверне из-за какой-то девчонки и зарезать своего товарища.

---

* Можно умереть за этого человека!!! (*ит.*)

— Теперь в квартире у padre не пройти от простого народа — все к нему кто за советом, кто за помощью. И он со всеми беседует, никому нет отказа... Он мог бы разбогатеть от своих проповедей — ему платят, как тенору, а у него никогда ни гроша нет; зато ни один бедняк не уйдет от него без подаяния.

На другой день я, выезжая из Флоренции, встретил padre Agostino на людной Via Calzaiuoli * с одним из Tortogna — членом важнейшей флорентинской фамилии нобилей... Какой-то носильщик вежливо поклонился патеру и остался с непокрытой головой, т.е. сделал знак, что желает говорить.

Монтефельтро остановился, и между ними завязался живой и фамильярный разговор. Тортонья терпеливо дожидался... Фаэтон мой повернул на Palazzo Vecchio **, и интересная группа исчезла из моих глаз. Так Агостино и остался в моей памяти — между аристократом и оборванцем — как истый представитель религии Того, Чье учение пыталось сблизить между собою во имя любви и грядущего классы, разъединенные правом и историей прошлого.

1888

РУСЬ

НАПОЛЕОНДЕР

(*Солдатская легенда о старой гвардии*)

Давно недавно, а деды наши запомнят, — захотел Господь Бог покарать людей за нечестие. И стал Он думать, как и чем их покарать, и держал о том совет со ангелы и архангелы.

---

* Улице чулочников (*ит.*).

** Палаццо Веккьо (Старый дворец; *ит.*).

Говорит Господу Богу архангел Михаил:

— Тряхни-ка их, Господи, трусом.

Отвечал Господь Бог:

— Это дело пробованное. Кое время мы Содом-Гоморру растрясли, а человеки от того умнее не стали: Содом-то-Гоморра теперь, почитай что, по всем городам пошла.

Говорит Гавриил-архангел:

— А ежели глад?

Отвечал Господь Бог:

— Младенцев бессловесных жалостно, — за что младенцы погибать будут? Опять же и скотина кормов решиться должна, а ведь неповинная она, скотинка-то.

— Потопом их потопи! — Рафаил советует.

— Никак невозможно, — Господь Бог в ответ, — потому что, первым делом, сам я клялся людям, что потопа больше не будет, а радугу в уверение давал. А второе дело — грешник теперь, шельма, — хитрый пошел: на пароход сядет, через потоп уплывет.

Смутились тут архангелы, приуныли, стали думать-гадать, головы ломать, каким злом-бедою можно грешный народ образумить и в совесть привести. Но как с испокон веку только на добро Господу Богу служивши, о всяком зле земном позабыли, то и ничего придумать не могли.

В эту самую минуту выходит вперед Иван-ангел, из простых, нашего русского звания, которого Господь Бог поставил мужицкие души ведать. Преклоняется с учтивостью и докладывает:

— Господи! Там Вас Шайтан-чумичка спрашивает. В рай не дерзает, потому от него дух нехорош, — так в сенях дожидается.

Обрадовался Господь Бог:

— Позвать сюда Шайтана-чумичку. Этот плут Мне весьма известный. Очень он сейчас ко времени. Кто-кто, а уж эта бестия придумает.

Вошел Шайтан-чумичка: рожа черная, опойковая, — из-под полушубка хвост торчит, — голос сипкий.

— Коли прикажете, — сказывает, — я всю Вашу беду — руками разведу.

— Разведи, братец, — оставлен не будешь.

— Дозвольте, — говорит, — чтобы нашествие иноплеменников.

Господь Бог ручкою на него махнул:

— Только-то от тебя и будет? А еще умный!

— Позвольте, — Шайтан ему насупротив, — в чем же, однако, мое отсутствие ума?

— А в том, что советуешь наказывать людей войною, когда они только того и ищут как бы подраться между собою, народ на народ, и за это-то самое Я их теперь и казнить хочу.

— Это, — отвечает Шайтан-чумичка, — потому они войн ищут, что еще настоящего воителя не видали, а — как пошлете Вы им настоящего воителя — они хвосты весьма поприжмут, — взмолятся к Вам: помилуй и спаси от мужа кровей и Ареда.

Удивился Господь Бог.

— Как, — спрашивает, — братец, не видали воителей? И Ирод-царь воевал, Александр-царь дивии народы покорял, и Иван-царь Казань разорил, и Мамай-царь неистовый с ордою приходил, и Петра-царь, и Аника-воин... какого же им еще воителя-богатыря нужно?

Шайтан-чумичка говорит:

— Нужен Наполеондер.

— Наполеондер? Откуда взял? Какой такой?

— А такой, — говорит Шайтан, — мужичонко — не то чтобы больно мудрящий, только очненно нравом лютой.

Господь Бог — к архангелу Гавриилу:

— Почитай в книгу живота: где у нас записан Наполеондер?

Читал-читал архангел, ничего не вычитал.

— Никакого Наполеондера в книге живота нету. Все врет Шайтан-чумичка. Нигде у нас не записан.

А Шайтан-чумичка — вразрез:

— Ничего нет удивительного, что Наполеондер у вас в книге живота не записан. Потому в книгу живота тех пишут, которые от отца-матери родились и пупок имеют, а у Наполеондера ни отца, ни матери не было, и пупка у него нет. Так что это довольно даже удивительно, и можно показывать его за деньги.

Очень изумился Господь Бог:

— Как же он, твой Наполеондер, в таком разе на свет произошел?

Шайтан отвечает:

— А так и произошел, что свил я его себе на забаву куклою из песку морского. А Ты, Господи, в те поры личико Свое святое умывал, да не остерегся, водицею брызнул, — прямо с небеси Наполеондеру в мурло попал: он от того и стал человеком и ожил *). И обитает он теперича ни близко, ни далеко — на Буян-острову, посередь окиян-моря. Земли на том острову верста без сажени, и живет по ней Наполеондер, морских гусей сторожит. За гусями ходит, а сам не ест, не пьет, не спит, не курит — одно в мыслях держит — как бы ему весь свет покорить.

Подумал Господь Бог, приказал:

— Веди его ко Мне.

Доставил Шайтан Наполеондера в рай. Посмотрел на него Господь Бог: видит, — человек военный, со светлою пуговицей.

— Слышал Я, — спрашивает, — что ты, Наполеондер, весь свет завоевать хочешь?

Наполеондер отвечает:

— Точно так. Оченно как хочу.

*) Таков миф о сотворении человека у чувашей, черемисов, мордвы и всех обруселых поволжских и заволжских инородцев.

— А думал ли ты, Наполеондер, о том, что, когда воевать будешь, то много народа побьешь, реки крови прольешь?

— Это, — говорит Наполеондер, — мне, Господи, все единственно. Потому — мне главное дело, чтобы весь свет покорить.

— И не жаль тебе, Наполеондер, будет убитых, раненых, сожженных, разоренных, голодающих?

— Никак нет, — говорит Наполеондер, — чего жаль? Я это не люблю, чтобы жалеть. Как себя помню, никого не жалел и вперед не стану.

Обернулся тогда Господь ко ангелам и сказал:

— Господа ангелы! Парень этот к делу весьма подходящий.

А — к Наполеондеру:

— Прав был Шайтан-чумичка: достоин ты быть казнью гнева Моего. Потому что воитель безжалостный хуже труса, глада, мора и потопа. Ступай на землю, Наполеондер, — отдаю тебе весь свет, тобою весь свет наказую.

Наполеондер говорит:

— Мне бы только войско да счастье, а уж я рад стараться.

А Господь и положил на него заклятие:

— Будет тебе и войско, будет и счастье, — непобедим ты будешь в боях. Но — памятуй: покуда ты безжалостен и лют сердцем, — до тех пор тебе и победы. А как только возжалеешь ты крови человеческой, своих ли, чужих ли, тут тебе и предел положен. Сейчас тебя враги твои одолеют, полонят, в кандалы забьют и пошлют тебя, Наполеондера, назад на Буян-остров гусей пасти. Понял?

— Так точно, — говорит Наполеондер. — Понял. Слушаю. Не буду жалеть.

Стали спрашивать Бога ангелы и архангелы:

— Господи, для чего Ты Наполеондеру такое страшное заклятье положил? Ведь этак-то, не жалеючи, он всех людей на земле переколотит, не оставит и на семена.

— Молчите! — отвечал Господь, — не долго навоюет. Храбер больно: ни людей не бойся, ни себя самого. Думает от жалости уберечься, а не знает того, что жалость в сердце человеческом всего сильнее, и нет человека, который бы ее в себе хоть крошечку не имел.

Архангелы говорят:

— Да ведь он песочный.

А Господь им наперекорку:

— А что он от живой воды Моей Дух получил, это вы ни во что почитаете?

Набрал Наполеондер несметное войско, дванадесять язык, и пошел воевать. Немца повоевал, турку повоевал, шведа, поляка, — так и косит: где ни пройдет, — гладко. И уговор помнит крепко: жалости — ни к кому. Головы рубит, села жжет, баб насилует, младенцев копытами коней топчет. Разорил-погубил все басурманские царства, — все не сыт: пошел на крещеный край, на святую Русь.

На Руси тогда был царь Александр Благословенный, что теперь в Петербурге-городе на Александровской колонне стоит и крестом благословляет, — оттого Благословенный и имя ему. Как напер на него Наполеондер с дванадесять язык, увидал Благословенный, что всей Рассее конец приходит, и стал спрашивать своих генералов-фельдмаршалов:

— Господа генералы-фельдмаршалы! Что я с Наполеондером могу возражать? Потому что он несносно напирает.

Генералы-фельдмаршалы отвечают:

— Ничего мы, Ваше Величество, с Наполеондером возражать не можем, потому что ему от Бога дано слово.

— Какое слово?

— А такое: «Бонапартий».

— Почему же оное слово, господа генералы-фельдмаршалы, столь ужасно, и что оно обозначает?

— Ужасно оно тем, что — как, скажем, видит он в сражении, что неприятель очень храбрый и его сила не берет, и все

евоное воинство костьми ложится — сейчас он этим самым словом — Бонапартием — себя и проклянет. А едва проклянет, тотчас все солдатики, которые когда ему служили и живот свой на полях брани за него оставили, приходят с того света. И ведет он их на неприятеля снова, как живых, и никто не в силах устоять пред ними: потому что — рать волшебная, нездешняя. Означает же слово Бонапартий — шестьсот шестьдесят шесть, число звериное.

Опечалился Александр Благословенный. Однако, подумавши, сказал:

— Господа генералы-фельдмаршалы! Мы, русские, народ чрезвычайно какой храбрый! Со всеми мы народами воевали — ни супротив кого себя в грязь лицом не ударили. Коли привел теперь Бог с упокойниками воевать, — Его святая воля: постоим и супротив упокойников.

И повел он войско-армию на Куликово поле и стал ждать здесь Наполеондера. А Наполеондер-злодей шлет ему посла с бумагою:

— Покорись, Александр Благословенный, я тебя за то, не в пример прочим, пожалую!

Но Александр Благословенный, как был государь гордый и амбицию свою соблюдал, с послом Наполеондеровым говорить не стал, а взял тое самую бумагу, что посол привез, нарисовал на ней кукиш да Наполеондеру в отместку и отослал.

— Этого не хочешь ли?

И дрались они, рубились на Куликовом поле и, долго ли коротко ли, начали наши Наполеондера одолевать. Поприрубили, попристреляли всех его генералов-фельдмаршалов, на самого наседают:

— Конец тебе, изверг Наполеондер! Сдавайся! — кричат.

А он, Наполеондер, на коне, как сыч, сидит, буркалами ворочает да ухмыляется:

— Погоди, — говорит, — не торопись. Скоро сказка сказывается, дело творится мешкотно.

И крикнул свое вещее слово:

— Бонапартий! Шестьсот шестьдесят шесть, число звериное!

Потряслась земля, загудело славное Куликово поле. Глянули наши, да — все и руки врозь: со всех-то краев поля — грозные полки идут, штыки на солнце горят, — знамена рваные над шапками страшными, мохнатыми треплются, — идут, трах-тах, трах-тах, шаг отбивают, — молча идут, а рожи у всех, как пупавка, желтые, а глаз-то подо лбом и в помине нет...

Ужаснулся Александр, Благословенный царь. Ужаснулись его генералы-фельдмаршалы. Ужаснулась вся российская сила-армия. И дрогнули они, не выдержали покойницкой силы, пустились бежать куда глаза глядят. А вор Наполеондер, на коню сидя, за бока держится, хохочет-заливается:

— Что, — кричит, — не по зубам вам мои старички пришлись? То-то! Это не с мальчишками в бабки играть. Ну-ка, господа честные упокойнички! Я никогда никого не жалел, так и вы врагов моих не жалейте; задайте им по-свойскому.

Покойники говорят:

— Покуда так, мы твои слуги довечные.

Бежали наши с Куликова поля на Полтав-поле, с Полтав-поля на славный тихий Дон, с тихого Дона на Бородино-поле, под самое Москву-матушку. И — как до какого поля добегут — сейчас к Наполеондеру лицом обернутся и идут на него в рукопашь. Так что сам Наполеондер, на что злодей, очень ими восхищался.

— Помилуй Бог, какой храбрый русский солдат! В чужих краях я таких не видывал.

Но при всей большой нашей храбрости, никак мы с Наполеондером возражать не могли, — потому на слово его слова не знали. Во всех сражениях бьем его, гоним, вот-вот на аркан зацепим, в полон возьмем, — ан тут-то он, плут-идол беспутный, и спохватится. Крикнет-гикнет Бонапартия: упокойнички и лезут из могилок во всей амуниции, зубом скри-

пят, начальство взором едят — где прошли, трава не растет, камень лопается. И так наши напугались этой силы нечистой, что уже и воевать с нею не могли. Как только заслышут проклятого Бонапартия, как завидят мохнатые шапки да желтые рожи, все ружья побросают, бегут в леса прятаться.

— Как хошь, — говорят, — Александр Благословенный, а под упокойника мы не согласны.

Александр же Благословенный плакался:

— Братцы, повременим бежать! Понатужимся еще чуточку. Не все же ему, собаке, над нами кружиться. Положен же ему последний предел от Господа. Ноне его, завтра его, а там, даст Бог, и наша авоська вывезет.

И поехал он ко старцам-схимникам, в пещеры киевские, на острова валаамские — митрополитам-архимандритам в ножки кланялся:

— Молитесь, святые отцы, чтобы перестал на нас гнев Господень, потому что нету нашей силы-мочи отстоять вас от Наполеондера.

И молились старцы-схимники, митрополиты-архимандриты со слезами и коленопреклонением, так что на лобиках синяки набили, а на коленках мозоли вырастили. И молился со слезами весь народ русский, от царя до последнего нищего. И заступницу Скорбящих, Божию Мать Смоленскую, во слезах, подняли, и понесли на славное Бородино-поле, и вопили:

— Пресвятая Богородица! Ты еси упование и живот! Заступи и скоро помилуй!

И у самой свет-Пресвятой Богородицы из-под серебряной ризы, из-под жемчужного поднизa, по темному лику — слезы закапали. Весь народ Божий, вся сила-армия видела, как святая икона плакала, — и ужасно это было всем, и умильно.

Внял Господь Бог русскому воплю и молитве Пресвятой Богородицы, Смоленской Божией Матери, и вскричал ко ангелам и архангелам:

— Миновал час гнева Моего. Довольно претерпели человеки за грехи свои и все в скверных своих предо Мною покаялись. Довольно Наполеондеру народ губить, — пора узнать и милосердие. Кто из вас, слуги Мои, на землю сойдет, кто примет труд велик — умягчить сердце воительское?

Вызвался Иван-ангел:

— Я пойду.

А Наполеондер на ту пору большую победу одержал. Едет он по бранному полю на борзом коне, копытами конскими мертвецов давит, — и никого ему не жаль, одну думу в голове держит: «С Рассеей порешу, на китайского царя и беларапа пойду, — тогда уж, как есть, до остатка весь свет покорю!»

Только слышит он, вдруг зовет его некто:

— Наполеондер, а Наполеондер!

Оглянулся Наполеондер: ан поблизости, на пригорке, под кусточком, русский солдатик лежит — раненый — и рукою ему машет. Удивился Наполеондер: что русскому солдатику от него надобно. Поворотил коня, подъехал.

— Чего тебе?

— Ничего мне, — солдатик отвечает, — от тебя не надобно, только одно слово спросить. Скажи, мне, пожалуйста, за что ты меня убил?

Еще больше удивился Наполеондер: сколько лет он воевал, сколько людей убил-ранил, а никто его никогда ни о чем таком не спрашивал. А и солдатик-то не мудрый: молоденький, белобрысенький, — видать, что новобранчик, из деревни, от сошки взят.

— Как за что, братец? — говорит Наполеондер. — Не мог я тебя не убить. Присяга твоя такая, чтобы убиту быть.

— Я, Наполеондер, присягу знаю и убиту быть не супротивничаю. Но ты-то за что меня убил?

— Как же мне тебя не убить, коли ты мне неприятель — сиречь, враг: воевать со мною на Бородино-поле вышел.

— Окрестись, Наполеондер, какой я могу быть тебе враг? Никаких промеж нас с тобой спора-ссоры никогда не было. Покуда ты в нашу землю не пришел да в солдаты меня не забрали, — я о тебе отродясь не слыхивал. А ты меня, кто я есмь человек, и посейчас не знаешь. И все-таки ты меня убил. И сколько других таких же убил.

— Убил, — говорит Наполеондер, — потому что мне надо весь свет покорить.

— А мне-то что до этого, что надо тебе свет покорить? Покоряй, коли охота есть, — я в том тебе не препятствую. Но меня-то за что ты убил? Нешто от того, что ты меня убил, свету тебе прибавилось? Нешто он мой, свет-то? А ты меня убил! Нерассудительный ты Наполеондер, братец. И неужели думаешь ты, чрез то, что народ бьешь и увечишь, в самом деле свет покорить.

— Очень даже думаю.

Улыбнулся солдатик.

— Совсем ты глупый, Наполеондер. Жаль мне тебя. Разве весь свет покорить можно?

— Все царства завоюю, все народы в цепи закую, один на всей земле царем буду.

Покачал головою солдатик.

— А Бога завоюешь?

Смутился Наполеондер:

— Нет, Божья воля над всеми нами, все мы в Божьей деснице живем.

— Так что же и пользы тебе весь свет завоевать? Все он — значит — не твой будет, а Божий. И покуда Бог тебя терпит, потуда только ты и цел.

— Это я и без тебя знаю.

— А коли знаешь, зачем же ты с Богом не считаешься? Разве дозволил Он человеку неповинную кровь лить? За что ты меня убил?

Нахмурился Наполеондер.

— Ты, брат, мне этих слов не говори. Я таких ханжей слыхивал. Напрасно. Не проведешь. Я жалеть не умею.

— Ой ли? — спрашивает солдат. — Смотри: много ты форсу на себя напускаешь. Без жалости человеку, — врешь: прожить нельзя! Что жалость, что душа, — все едино. Душа-то есть у тебя аль нету?

— Известно, есть. Нельзя без души.

— Ну вот видишь: душу имеешь, в Бога веришь, — как же тебе жалости не узнать? Узнаешь. И я так даже думаю, что вот и сейчас ты стоишь надо мною — только вида показать не хочешь, а про себя, в душе, смерть как меня жалеешь: за что ты меня убил?

Рассвирепел Наполеондер:

— А, такой-сякой, типун тебе на язык! Вот я тебе покажу, как тебя жалею.

Вынул пистолет и прострелил раненому голову. Обернулся к своим упокойникам, говорит:

— Видели?

— Видели. Покуда так, мы твои слуги довечные.

Поехал Наполеондер дальше по бранному полю...

Ночь прошла — сидит Наполеондер в шатре золоченом, один-одинешенек, и больно ему не по себе. И — что ему сердце грызет — сам понять не может. Который год воюет, а — впервой это дело: никогда такой жути на душе не было. А назавтра утром — бой ему начинать, последний, самый страшный бой с Александром, Благословенным царем, на Бородине-поле.

«Эх, — думает Наполеондер, — покажу я себя завтра, каков я есть молодец. Православную силу-армию кое копьем приколю, кое конем стопчу, Александра-царя в полон возьму, весь русский люд убью-расшибу».

Но на ухо ему — кто-то опять будто:

— А за что?

Потряс головою Наполеондер:

— Знаю, чья штука. Опять солдат давешний. Ладно! Не поддамся ему. За что? За что? Эка — пристал. Почем я знаю за что? Кабы знал за что, — так, может быть, и не воевал бы.

В постелю лег. Едва заведет глаза под лоб, — стоит перед Наполеондером вчерашний солдат. Молоденький, кволенький, волосы русые, а усы еще не выросли, — только белым пухом губа обозначилась. Лоб бледный, губы синие,— глаза голубые меркнут... а на виске дырка черная, куда евоная — Наполеондера — пуля прошла...

— За что ты меня убил?

Ворочался-ворочался в постели Наполеондер. Видит: плохо дело, — нет, не избыть ему солдата. И сам на себя дивуется:

— Что за оказия? Сколько миллионов всякого войска перебил, — всегда в мыслях свободен был, — тут вдруг один какой-то паршивый солдат, а какую мне завязку в голове делает.

Встал, — и нестерпимо ему в золоченом шатре. Вышел на вольный воздух, сел на коня и поехал к тому пригорку, где он досадного солдата из собственных рук пристрелил.

«Слыхал я, — думает Наполеондер, — что — коли мертвец мерещится — надо ему засыпать глаза землею: тогда отстанет».

Едет. Месяц светит. Тела мертвые грудами лежат. Синий свет по ним бродит. Едет Наполеондер, тлен смотрит, тлен нюхает.

— Все это — я побил!

И дивно! кажется ему, будто все они, побитые, на одно лицо — русые да безусые, молодые, голубоглазые — и смотрят все на него жалостно и ласково, как тот солдат смотрел, и шевелят бескровными губами, и лепечат укор беззлобный:

— За что?

Стеснилось у Наполеондера воительское сердце. Не имел он духа доехать до пригорка, где тот солдат лежал, повернул коня, поехал к шатру... И — что ни покойник на пути — снова слышит он:

— За что?

И уже не стало у него азарта-прыти как прежде пускать коня — скакать по мертвым ратникам, но объезжал он каждого упокойника, на поле брани живот свой честно положившего, с доброю учтивостью, а — на иного взглянет, да еще и перекрестится:

— Эх — мол, этому жить бы да жить... Молодец-то какой бравый! А я его убил. За что?..

И сам не заметил воитель Наполеондер, как растопилось и умилилось его сердце, и возжалел он убитых врагов — а вместе с тем заклятье его отошло от него, и стал он такой же, как все люди.

А назавтра бой.

Выехал Наполеондер на Бородино-поле к ратям своим, туча тучею — все семьдесят сестер лихорадок его треплют. Посмотрели на него генералы-фельдмаршалы, — ужаснулись:

— Ты бы, Наполеондер, водки, что ли, выпил. На тебе лица нет.

Как двинулись русские на Бородине-поле супротив Наполеондеровской орды, она — сразу и врассыпную пошла. Стали генералы-фельдмаршалы Наполеондеру советовать:

— Плохо дело, Наполеондер: больно сердито бьются сегодня русские. Говори свое слово. Зови упокойников.

Начал Наполеондер кричать Бонапартия, шестьсот шестьдесят шесть, число звериное. Однако — сколько ни кричал, только галок вспугал, а упокойники на зов не пришли — не откликнулись. И остался Наполеондер посередь Бородина-поля — как перст — один, потому что все генералы-фельдмаршалы бежали от него, как от чумового. И сидел он на коне один, и орал один, а покуда орал, — откуда ни возьмись, встал пред ним вчерашний убитый солдат...

— Не надсажай себя, Наполеондер: никто не придет. Потому что возжалел ты вчера меня и побитых братьев

моих, — и за жалость твою не послушают тебя упокойники: вся твоя сила над ними отошла от тебя.

Заплакал тогда Наполеондер:

— Погубил ты меня, солдатище несчастный!

Но солдатик — а был это не солдатик, но Иван-ангел — отвечал:

— Не погубил я тебя, но спас. Потому что — если бы продолжал ты свой путь беспощадный, безжалостный — не было бы тебе прощения ни в сей жизни, ни в будущей. Теперь же Господь дает тебе срок покаяния: на сем свете тебя казнит, но на том — коли грехи замолишь — помилует.

И стал невидим.

А на Наполеондера наскочили наши донские казачки, сняли его с коня, отвели к Александру Благословенному. Кто говорит: Наполеондера убить-расстрелять; кто говорит: Наполеондера в Сибирь сослать. Но Александру Благословенному укротил Господь сердце милостью. Не позволил он Наполеондера убить-расстрелять, не позволил в Сибирь сослать, а велел посадить его в железную клетку и возить-показывать по ярмаркам. И возили Наполеондера по ярмаркам тридцать лет и три года, покуда не состарился. А как состарился, отослали его на Буян-остров — гусей пасти.

СПб., 1901

СЫЩИК

Посвящается
Антону Павловичу Чехову

Вечером в Сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым.

Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда, бывало, он — неподвижный и задумчивый — стоит в своей любимой позе, прислонившись спиною к стене и сложив руки на груди, мне всякий раз так и вспомнится статуя Командора: этакая громадная, словно из камня вытесанная могучая фигура. Думаешь: вот тронется с места этот гигант, — то-то стук пойдет от его ножищ, непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожною походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно: я никогда не видал, чтоб он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе как вьюн, и в то время как мне приходилось раз десять сказать и самому выслушать: «Виноват», Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент — «Геркулес» из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из пяти человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией; вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери, и оторопевший от неожиданности силач кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович как ни в чем не бывало возвратился к своим занятиям.

— Как же это, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь? — воскликнул я.

— Что ж хвастаться-то! — спокойно ответил Петров.

Андрей Иванович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика, но на этот счет он был крайне скрытен: на прямые вопросы давал уклончивые ответы, при косвенных намеках вилял речью, как Талейран и Меттерних

вместе взятые. Я обратился с расспросами к приятелю, рекомендовавшему мне Петрова. Тот сердито поморщился.

— Охота тебе лезть не в свое дело?! Андрей Иванович хорошо тебе служит?

— Лучше не надо.

— Так чего ж тебе еще?

— Но послушай, братец, согласись сам: что за странная таинственность? Может быть, на нем... того... в некотором роде, пятно?

— А хоть бы и пятно? Что, тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого.

— По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки... Он — храни Бог! — не социалист?

Мой приятель оглушительно захохотал.

— Ой, пощади! уморил! убил! — кричал он, захлебываясь от смеха. — Андрей Иванович — социалист! Попал же ты пальцем в небо!

Любопытство мое было напряжено в высшей степени, и наконец я не выдержал — прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе «таинственных незнакомцев» крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза, — замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, — и спокойно сказал:

— Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу, и я часто имел из-за этого большие неприятности. Но раз вы требуете, так извольте: я был *сыщиком*... А затем — если вам это не нравится — можете меня уволить; претендовать на вас я, конечно, не вправе...

Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но... вот тебе и социалист!

* * *

Мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконнике и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всенощной. Петров перекрестился. Раньше я не замечал за ним особенной набожности, а потому немного удивился. Он заметил:

— Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился? Оно, знаете, точно: к религии я не очень привержен, — жизнь-то тебя треплет-треплет, за куском-то гонишься-гонишься... поневоле озвереешь душой! А все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь... особенно вот — благовест... Эх, если бы вы знали, как он выручил меня из беды десять лет тому назад! Хотите, расскажу?

— Пожалуйста!

...Извольте слушать. В 187* году я был причислен к м – скому полицейскому составу. Заведовал нами полковник Z. Я был у него на отличном замечании, и мне поручались только крупные и трудные поимки. Появился в М. один громила. Звали его Федором, а по острожной кличке — Чеченцем, так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туляком, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий, и был необыкновенно быстр на руку. В М. он работал не один, а с компанией таких же молодцов, как он сам, и работал чисто: нынче взлом здесь, завтра грабеж там... ужас что творилось! Убивать, однако, не убивали. Мало-помалу вся честная компания была перехвачена; остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне.

У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера: первым делом — не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой — следить за городскими окраинами, значит, ничего не стоило. Вторым делом — я принимался допекать знакомых преступника, и так, бывало, надоем им

обысками, что, оберегаючи свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму да и оставлю как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда — везде ему отказ, нет приюта; придет в мое намеченное местечко —, «милости просим! прячься сколько хочешь! здесь тебя и не думали искать!» А я и — тут как тут с городовыми.

Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его вконец. Ловок он был прятаться, но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище, и с отчаяния он совсем одурел — показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но Чеченец не сробел, хватил Фролова закладкой по темени и — поминай как звали! — словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый Сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти: уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда Чеченцу деваться, кроме как — к Евгении: жила поблизости одна такая старуха, имела собственный домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а «не пойман — не вор». Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли: однако мое убеждение не поколебалось, — так вот и говорит мне тайный голос: «Здесь Чеченец! здесь!» Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из своих молодцов исподволь следить за торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мною Фролов.

— Андрей Иванович! штука! Помните караулку у евгеньевых ворот?

— Ну?

— Старуха говорила, будто там никто не живет, что она и развалившаяся, и такая-сякая...

— Да ведь и правда, что развалюга. Мы ее осматривали. Где там спрятаться человеку?

— А вот подите же: я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек... словно кто-нибудь спичку зажег...

— Ты не врешь?

— Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым, а сам побег донести вам.

Я повторил обыск. В караулке никого не было, но — уж и не знаю, как вам это объяснить... как-то пахло живым человеком! Здесь Федька, непременно здесь... а где? четыре стены да печка — вот вам и вся караулка. В сверчка, что ли, оборотился он, разбойник? И вдруг вспала мне на ум одна мысль...

Я оставил Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу: позади караулки — помойка, между помойкой и соседским брандмауэром валяются две доски. Меня взяло сомнение: зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею — яма. Эге!.. Пощупал ногой — глубоко. Так и есть: из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто у ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупывая, — велика ли, где ход в караулку, — вдруг земля подо мной осыпалась, и я полетел вниз.

Встал на ноги и вижу — погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разостлано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двухствольного ружья. Да чего там целит, когда между нами едва сажень расстояния, и ружье чуть не упирает мне в грудь! В кармане у меня был револьвер — отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман, это — момент, направить дуло на разбойника — другой, а у него уж прицел сделан, и курки

взведены, остается только палить при первом моем движении. Думаю: закричать разве? Ну хорошо, закричу я; а он сейчас же и ухлопает меня, да, взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще шесть выстрелов: на всю мою команду хватит!.. Словом, как ни верть, все в черепочке смерть! Шабаш! умирать надо!

Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове зараз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало, до злости горько: чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет? А всего-то — понятное дело — много-много секунды две-три промелькнулось с тех пор, что я провалился в подкоп.

Чеченец молчит — я молчу. Ни молиться, ни просить, ни хоть обругать его, каналью, перед смертью — ни на что нет охоты. Так, одно только в уме: «Сейчас он меня пришибет! пришибет! пришибет!»

И вдруг, в это самое мгновение, что-то загудело над нами... Колокол! — стало быть, началась всенощная. У меня рука сама поднялась на крестное знаменье...

Смотрю на Чеченца, а у него вдруг как задрожат руки... Другой удар... третий... Я глазам не верю: побелел Федька, как полотно, губы трясутся, на глазах слезы...

— Христос, — шепчет, — Христос родился! — да с этим словом как швырнет ружье на пол!..

— Вяжи! — говорит.

А у меня револьвер, будто сам собою, очутился в руке, и Федька стал совсем в моей власти...

Андрей Иванович замолчал и задумался.

— Что ж? вы, конечно, арестовали его? — поинтересовался я.

Андрей Иванович встрепенулся и, как мне показалось, взглянул на меня с некоторым негодованием:

— Ну уж, Ипполит Яковлевич, — сказал он недовольным голосом, — каков я ни есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне... Как же так?! помилуйте!.. Человек мог меня пристрелить и помилосердовал, а я ему сейчас же и руки за лопатки?! Что греха таить! Было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку, повалить и позвать своих молодцов. Но вижу, — стоит он и крестится, а слезы так и бегут по щекам; бормочет:

— Христос родился... а мы-то, мы-то, что делаем!.. Господи! в такой праздник чуть не убил человека!..

Что-то стиснуло мне сердце. Себя не помню, показываю Чеченцу на его лаз и шепчу:

— Уходи, пока цел! Сзади караулки цепь не расставлена...

Он, было, широко открыл глаза, шагнул ко мне, а я рукою машу, все показываю ему на лаз. Как бросится он из погреба, только я его и видел.

Вышел я на свет Божий, зову Фролова:

— Смотри-ка, — говорю, — какова яма?

Он так и обомлел; шепчет мне:

— Непременно тут, под караулкой, есть подполье. Это Федькина нора...

— А ну! зови наших! Посмотрим!

Спустились мы в погреб уже вчетвером, нашли ружье, лампу, рядно... Только Федьки не было!

— Эх! — говорю, — ребята! Видно, не наше счастье! Была здесь птица, да улетела!

Тем временем подоспел участковый. Составили протокол. Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело...

— А что сталось с Федькой? — спросил я.

— Не могу вам сказать... — задумчиво ответил Петров, разводя руками. — В М. он больше не показывался... Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку с лица, с пере-

резанным горлом. Но он ли это был или другой, и от кого он погиб, ничего не знаю; я в это время уже собирался оставить службу и мало ею интересовался... Да, — наверное, он: ихний брат всегда этак кончает!

1894

ДЕРЕВЕНСКИЙ ГИПНОТИЗМ

I

Лето 188* года я провел на Оке, в имении Хомутовке, в гостях у приятеля-помещика. Звали его Василием Пантелеичем Мерезовым. Он был много старше меня годами и опытом. Когда-то предполагал иметь порядочное состояние. Но половина последнего погибла, потому что Мерезов не занимался хозяйством, а другая половина — потому что Мерезов стал заниматься хозяйством.

— Милый Саша, — говорил он мне, — когда я умру, начертай над моею могилою: «Здесь покоится прах дворянина Мерезова, погибшего жертвою многопольной системы и усовершенствованного молочного хозяйства; он вышел невредим из лап парижских кокоток, но пал под бременем агрономических улучшений. О нем плачет Россия и фирма «Работник», напрасно ожидающая уплаты за молотилку, веялку, три плуга латкинские и один Сакка. Прохожий! если ты кредитор, почти вздохом прах его и разорви свой исполнительный лист: описывать у Мерезова нечего».

Не имея средств жить в Москве, Мерезов безвыездно сидел в своем углу, спасенном для него от общего разгрома милейшим старичком-родственником, который с тем и купил на аукционе дом и клочок земли, чтобы предоставить их в пожизненное пользование Василию Пантелеичу. Угол был поистине

медвежий. Я нашел Мерезова сильно одичалым и в хронически удрученном настроении какого-то мрачного шутовства.

— Как же ты, Василий Пантелеич, поживаешь? Что поделываешь?

— Обыкновенно, голубчик, что делают на дне колодца: захлебываюсь.

— Скучно?

— Гм... то-то и скверно, что не скучно.

Мерезов значительно посмотрел на меня и продолжал, приложив палец к носу:

— Царь Навуходоносор не скучал в своей жизни ровно семь лет. Однако в эти семь лет он был не царем на престоле, но в качестве убойной скотины пасся на подножном корму. Sapienti sat *.

Перестреляли мы с Василием Пантелеичем сотни две куликов, выудили сотню окуней. Да! здесь не скука — хуже: одурь.

— Давай, Вася, выпишем хоть «Русские ведомости».

— Зачем?

— Будем следить за Европой.

— Вона! это — из Хомутовки-то?!

— Когда я уезжал из Москвы, Бисмарк ладил тройственный союз. Интересно, осуществится или нет?

— А тебе не все равно... в Хомутовке?!

Дом у Мерезова был огромный; мы терялись в нем, как в пустыне. Обветшал он страшно. Полы тряслись и стонали под ногами; мыши, крысы; с потолков сыпалась штукатурка, обои облохматились, у половины дверей не хватало замков и скобок, — кем скраденных — Мерезов не доискивался.

— Весьма может быть, — объяснял он, — что мои министры в одну из безденежных полос, чтобы меня же накормить обедом.

* Для мудрого достаточно (сказанного; *лат.*).

Министрами Мерезов звал стряпку Федору, горничную Анюту и кучера Савку, — он же егерь, рассыльный, камердинер... чего хочешь, того просишь: молодец на все руки. Кроме их трех, при доме проживал, неизвестно по какому праву и на каком положении, «государственный совет»: две увечные старухи и три старика. Один величал себя садовником, хотя у Мерезова не было сада; другой — скотником, хотя из трех мерезовских коров ни одна не подпускала его к своему вымени, третий — сторожем, хотя, — говорил Мерезов:

— Кроме добродетели, и в рубище почтенной, у нас сторожить нечего!..

Все три старца хорошо помнили, как через Хомутовку везли в Москву из Таганрога тело императора Александра Павловича. Старухи были еще любопытнее. Хромая Ульяна уверяла, будто она выкормила и вынянчила Мерезова, который, однако, отлично помнил, что няньку его звали Василисою, а кормилицы у него не было вовсе. Лизавета, неизлечимо скрюченная мышечным ревматизмом, не приписывала себе никаких чинов, но просто заявляла:

— Не околевать же мне, больному человеку, под забором: не пес я.

— Желал бы я знать, — недоумевал Мерезов, — чем кормится эта босая команда? Я не даю им ни денег, ни пайка. Враны с небеси хлебов им не носят. Тем не менее старики не мрут, скрипят и даже, по-видимому, сыты, потому что не бегут со двора, и намедни скотник Антип выражался весьма презрительно о дармоедах, которые побираются под окном... Кстати: есть у тебя рубль? Дай мне, потому что по двору шествует Федора, и я предчувствую, что у нее опять черви съели говядину.

Министры Мерезова вели себя конституционно до отчаяния. Порою мы почти недоумевали: кто у кого служит — они у нас или мы у них? Барина любили, были ему преданы, но в грош не ставили его приказаний, вольничали, фамильярни-

чали. Мерезов примирялся с этою распущенностью очень хладнокровно:

— Делать выговоры Савке бесполезно, ибо он по натуре коммунар, а по привычкам бродяга. Вступать в прения с Федорою еще бесполезнее, ибо она — Дионисий, тиран сиракузский. Анютка же имеет слабость мнить себя подругою моей холостой жизни, и я не смею поражать ее чувствительное сердце жестокими словами. Тем более, что на каждое мое слово у нее двадцать своих, и потом она ходит по трое суток с физиономией надутою, как воздушный шар.

Анютка страдала манией уборки комнат; она с утра до вечера топотала по дому босыми ногами, носясь, как ураган, с веником и мокрою тряпкою, — и все-таки всюду оставалось грязно и сорно.

— Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas! * — одобрял Мерезов.

Я решительно не мог взять в толк его любовного приключения с этою девицею, правда, статною и, должно быть, до оспы недурною с лица, но теперь рябою, как решето. На высказанное мною однажды недоумение, Мерезов возразил довольно мрачно:

— Ты пьешь водку?

— Прежде не пил; здесь у тебя научился.

— Ага! А между тем теперь лето. Запереть бы тебя в Хомутовке на зиму, когда сугробы нарастают вровень с окнами и волки приходят к воротам петь Лазаря... понял бы и не такое!

Несчастием Анюткиной жизни были юбки, обладавшие волшебным свойством сползать с бедер своей злополучной владелицы как раз в самые ответственные моменты ее служебной деятельности. Подает Анютка обед, — предатель-

* Пусть не хватает сил, но желание все же похвально! (Овидий. Послание с Понта; *лат.*)

ница-юбка уже расстегнулась и лезет вниз. Анютка взволнованно дергает локтями, в тщетном старании привести в порядок свои одежды. Котелок со щами катится по полу. Мерезов оптимистически замечает:

— Хорошо, что у меня описали столовый сервиз, и это не фаянсовая ваза.

Кухнею деспотически управляла стряпка Федора, из солдатских вдов, — «мирской человек», румяная баба, еще молодая, но чудовищной толстоты; Мерезов звал ее «вторым спутником земли в своей собственной атмосфере». От Федоры на пять шагов пыхало жаром кухонной печи. Когда в духе, — хохотуха и скромница, под сердитую руку — брёх. Почти каждое утро она делала нашествие к нашему чайному столу и звонко орала:

— Пожалуйте денег!

— Федора, — морщился Мерезов, — когда приедет доктор, я попрошу освидетельствовать тебя, не переодетый ли ты протодьякон.

Федора фыркала и вылетала бомбою за дверь, чтобы отхохотаться на свободе, но по возвращении настаивала:

— Денег пожалуйте. Говядины ни синь-пороха.

— Но еще нет недели как Савка привез из города полтора пуда?

— А льду он привез ли? — азартно прикрикивала Федора. — Гляньте в погреб: одна вода. Говорила по зиме, чтобы поправить крышу, — не послухали. Нешто у нас — как у людей? А теперича, что покупай убоину, что нет, — одна корысть: червей кормить. Благодарите Бога, что Галактион привез нонче тушу с ярмонки из Спасского, не то насиделись бы голодом до городского базара. Пожалуйте денег.

— Спроси у Анютки. На днях я субсидировал ее пятью рублями.

— Когда это было? — отзывалась Анютка, — под Вознесеньев день, а у нас завтра Троица. Да сами же, оном-

нясь, взяли у меня рупь семь гривен — продули доктору в стуколку.

— Анюта, ты меня убиваешь, хотя точная отчетность твоей кассы достойна уважения. Остается одно — совершить заем у дружественной державы. Саша, раскошеливайся.

Если у меня не было денег, Мерезов трагически восклицал:

— Министры! убирайтесь к черту! Государство — банкрут. Кормите вашего повелителя плодами собственной изобретательности.

Тогда Федора поднимала на ноги всех домочадцев: «государственный совет» in corpore * ползал в Оке, выдирая из береговых подмоин тощих раков; Анютка металась по двору, в крапиве, пытая сонных наседок, не снесла ли которая яйца, на наше счастье; сама Федора копала в огороде какие-то сомнительные корни и травы или с подойником на плече летела в стадо; а Савка являлся ко мне с ружьем и ягдташем.

— Гуляем, что ль, Лексан Лентиныч? Приказывает Федора, чтобы беспременно раздобыть ей к обеду болотного быка.

Калеб сира Эдгарда Равенсвуда вряд ли равнялся Савке в находчивости, когда ему предстояла задача напитать какнибудь и безденежных господ, и себя. Однажды в такую тощую пору приводит он к обеду гостя, великовозрастного гимназиста из недальней усадьбы. У Мерезова вытянулось лицо: чем мы накормим этакого парнищу? Я набросился на Савку:

— Ты с ума спятил?!

— Очень даже в уме, Лексан Лентиныч. Потому шагал я по болоту три часа, не вышагал ни бекаса, — вот оно, ружье: неразряженное. А навстречу — этот долгоногий, полон ягдташ. А мне намедни сказывал ихний кучер: «Очень, — говорит, — желательно нашему барчуку свести компанию

* В полном составе (*лат.*).

с вашими господами». Я сию минуту картуз долой: «Ах, — говорю, — сударь! а я было правил к вам в усадьбу: Василь Пантелеич и Лексан Лентиныч приказывали беспременно звать вас к обеду». Он — на большом удовольствии — и высыпал мне, в презент, всю свою сумку полностью. Мне того и надо. Я — дичь в ягдташ да к Федоре.

Мерезов был мастер на карточные фокусы. Савка это знал. Заночевал у нас молодой гуртовщик, проезжий в губернию. Перед ужином уселись играть в рамс. Савка нет-нет заглянет в двери и все делает мне знаки. Я вышел:

— Что надо?

Савка зашептал:

— Вы скажите барину, чтобы того... не робел...

Он показал рукою, как делают вольты.

— Парень слепыш и ослица двукопытая: ничего не заметит. А денег с него огрести можно, сколько угодно.

Когда я крепко обругал Савку за его проекты, он не понял — за что? Он своим господам желает добра, и ему же достается!

Мерезов определял этого хитроумца то цитатою из «Сорочинской ярмарки»: «На лице его читались способности великие, но которым на земле одна награда — виселица», то некрасовскими стишками:

Гитарист и соблазнитель
Деревенских дур,
Он же тайный похититель
Индюков и кур

— Ты бы, Савка, хоть с нами делился, — зубоскалил Мерезов. — Знаешь, Саша: этот ферт заполонил всех баб на деревне.

— Уж и всех! — самодовольно огрызался Савка, — куда мне их столько, добра такого?

— Глаза у тебя завидущие.

— Ничего не завидущие: я отобрал себе только какие с лица получше, а рябых — всех, как есть, вам оставил.

— Хвастунишка ты, Савка.

— Быль молодцу не в укор, Василь Пантелеич.

— Забыл, видно, как проучила тебя Галактионова Левантина? Представь, Александр: девка, обидевшись савкиным ухаживаньем, пожаловалась братьям, а те залучили нашего Дон Жуана к себе во двор, сняли с него одежду, да и прогнали его через всю деревню до самой усадьбы вожжами по голому телу.

— Нашли кого поминать — Левантину! — равнодушно возражал Савка. — Левантина — разве девка? Идол; прямо сказать, статуй, стоерос бесчувственный. Пока ее из дуба обтесали, десять топоров сломано.

— Слыхал ли ты, Савка, про лисицу и зеленый виноград?

— Слыхивали. Насчет винограду кому-нибудь, ровно бы, надо погодить дразниться. К Левантине примазывались иные и почище нас, одначе и им пиковый антирес указан.

— Молчи, животное!

Из соседей-дворян Мерезов ни с кем не знался.

— Что за радость, — объяснял он, — смотреть на оскуделую голь? Кругом на сто верст ни одного порядочного землевладельца. Нищие с кокардами. Мне надоела и своя нищета — до чужой ли?

— Неужели не найдется интересных живых людей?

— То есть образованных, что ли? Вероятно, есть. Да мне-то что в них? Я сам образованный.

— Все же... общение мыслей, интересов...

— Это у нищих-то?!

Мерезов качал головою:

— У нищих, друг, не общение, но разобщение интересов, потому что у каждого смотрит из глаз свой голод, каждый зарится на кусок соседа. А у образованных и совестливых прибавь к этому еще тяжелую подозрительность: ах, не заме-

тил бы гость, сохрани Боже, что мы не принцы, но санкюлоты, что мы щеголяем не в парче, но в ситцевых лохмотьях... Тоска!.. При том — того гляди — женят. Невест в уезде несть числа, и за каждою приданого — частый гребень, да веник, да алтын денег, было бы с чем в баню сходить. Есть хорошенькие. В здешней скуке — долго ли до греха? Я человек чувственный, слабый. И не заметишь, как Исайя возликует.

— Но почему бы тебе, в самом деле, не жениться?

— На ком? на образованной нищей — с попурри из «Цыганского барона», с платьями по модам из «Нивы», с восторгами к господину Бурже в русском переводе, с мигренью, истериками, с еженедельными поездками в город к докторишкам и аптекаришкам? Покорнейше благодарю. Уж лучше, если приспичит жениться, я, впрямь, осчастливлю своею рукою и сердцем Галактионову Левантину, Анютку, Федору, любую девку с Хомутовки.

— Такая будет тебя бить, — засмеялся я.

— А я ее. По крайней мере, обоюдное удовольствие: род домашнего спорта. Образованная же нищая меня тоже побьет, — у нас в околотке все благородные супруги дерутся между собою, — а я не посмею побить ее. Ибо я воспитан в рыцарских преданиях, а она предполагается дамою, и всякое семейное безобразие извиняется ей по праву деликатной натуры, нежного воспитания, возвышенной души и расстроенных нервов. С Левантиною я хоть буду уверен, что после какой угодно драки мне все-таки сварят щи и что мои дети родятся без английской болезни. Ты только вообрази, какая пошлость — английская болезнь в русском захолустном ребенке! Очень может быть, что Левантина года через два после брака завопит, что я — распостылый, и загубил ее, молоду; но она не будет требовать от меня с ножом у горла отдельного вида на жительство, а получив таковой, не потащит мою фамилию на подмостки столичного кафешантана.

Тем не менее будем надеяться, что и сия брачная чаша, — то есть в образ Левантины, — меня минет!

Родитель этой Левантины — Галактион Комолый — держал в руках всю Хомутовку, посредничая между местными кустарями-токарями и губернскими скупщиками. В околотке звали его «купцом». Мы с Мерезовым часто ходили к Галактиону пить чай: он это любил — похвастать перед господами своей новою избою, с чистою горницею, под обоями, с царскими портретами по стенам и огромным киотом, полным темных ликов в серебряных венчиках, в красном углу. И самовар у Галактиона был господский — пузырем, красной меди, и чай — с цветочком, и ром — из губернии, а не от Федулки Пихры. Сам Галактион был еще кулаком-патриархом, на деревенский лад, но сыновья его, — их было четверо, — уже тянули к городу во всем: в платье, разговоре, в подборе компании, в манерах и взглядах. Деревню презирали, в мужике видели батрака, повинного работать в ихней кабале до конца дней своих, и глубоко огорчались, что старик Галактион, по старине, не хотел торговать ни землею, — грех, потому что Божья, ни водкою, — грех, потому что сатанинская. Все — словно ястреба: сухие, жилистые, востроносые, лица худые, скуластые, с красным подтенком, глаза серые, пристальные, быстрые. Силачи — на подбор. Старший, Виктор, играючись, взваливал на спину десятипудовый куль муки — и несет, бывало, через всю деревню к нам в усадьбу... добрых три четверти версты по косогору! Воображаю, как сладко пришлось Савке, когда эти парни приняли его в четыре вожжи. Молодых Комолых на деревне побаивались.

— Строгие ребята! — говорили о них.

Имена Галактионова потомства были — по крестьянству — удивительно громкие: Виктор, Валериан, Аврелий, Евгений, а дочери — Валентина, Маргарита и Юлия.

— Что это, Галактион Игнатьевич, вздумалось тебе накрестить их так чудно? — спросил я как-то.

Он отвечал с досадою:

— Кабы я? Мисайловский поп начудачил. Опосля Вихторки, как родила старуха Левантину, я было молил его: «Назови, батя, девку по бабушке, Лепестиньей». А он — не в добрый час — как затопает на меня: «Господи! — говорит, — Ты один видишь, сколь я от ихняго невежества страдаю... Даже и называться-то по-людски не хотят! Не Лепестинья, дурак! — такого имени и в святцах нет, язычник ты этакий! — но Епистимия, мученица, память же ее празднуется новембрия в шестый день, в канун кануна Михайлова дня... рассуди же, — говорит, — сам: как я возьму на душу такой грех — нарещи дочери твоей имя, которого ты, по сероте своей, и выговорить путем не умеешь?..» И назвал девку Левантиной: «Это, — говорит, — имя благородное, означает «сильная духом», и во всех книгах о том пропись прописана». Ну — что ж? Мне с попом не спорить: у попа книга. Левантина так Левантина! Оно — ничего: имя ситцевое, для девки живет...

Впоследствии я познакомился и сдружился с мисайловским батюшкою — отцом Аркадием Дилигентовым. Он оказался превосходнейшим человеком и действительно чудаком, единственным в своем роде. Кончая семинарию, он увлекся театром и чуть было не ушел в актеры. Родители пришли в ужас и поклонились владыке — поскорее дать молодому человеку место и невесту.

— Да ведь он первым кончил, — изумился владыко, — ему бы в академию...

Но, узнав, какая блажь влезла в голову Дилигентова, внял — и положил резолюцию:

— Ничем нелепствовать, послужи-ка честному алтарю.

Поп из Аркадия вышел хороший — смирный и бескорыстный, но со «слабостью». Мужики его хвалили: «Просвещенный поп». В свободные от «слабости» промежутки о. Аркадий по целым дням лежал у пруда, с удочкою, уткнув нос в книгу. Читал он массу — и все помнил, точно фотографировал в мозгу.

Подвыпив, чудесно играл на скрипке старинные полонезы Огинского. Расстроив себя до слез их меланхолическими звуками, Аркадий усаживался на крыльце своего домика и взывал на все село:

Из-за Гекубы!!!
Что ему Гекуба?
Что он Гекубе?!

Эти декламационные экстазы дали непочтительной пастве повод прозвать самого о. Аркадия — Якубою.

Чем питался Якуба, оставалось загадкою, не легче способов прокормления нашего хомутовского «государственного совета». В хозяйстве он был лентяй, в пастырстве бессребреник. К счастью, он был вдов и бездетен. Бог знает, как и когда этот беззаботный человек успел, однако, обучить грамоте почти все Мисайлово. Как, бывало, заметишь парня или девку посмышленее, — так и знай, что из Мисайловки, — выученики о. Аркадия. Служил «просвещенный поп» трогательно, часто в слезах. Меня изумляла его память: он знал наизусть все драмы Шекспира, все трагедии Шиллера, всего Пушкина, свободно цитируя стихов по триста подряд. Поэтическая начитанность развила в нем несколько комическую слабость к красивому звуку; скитаясь по околотку, я убедился, что о. Аркадий облагородил имена не в одной семье Галактиона: в каждом доме — Лидии, Клавдии, Зинаиды, Зои, Антонины... нашлась даже Цецилия, из которой — увы! — деревенское неведение выкроило-таки довольно конфузное уменьшительное...

Галактион держал дочерей строго. Мать не спускала с них глаз ни в поле на работе, ни в гулянку на улице. Девка во дворе под навесом доит корову, а материнский глаз следит за нею из окна, не зубоскалит ли она через плетень с парнями... Впрочем, девушки и сами были не из приветных: чванные славою богатых невест, надутые, недотроги. Левантину,

которая считалась в семье и на деревне красавицею, Савка недаром обзывал бесчувственным стоеросом. Лишь в замоскворецких купеческих теремах да между левантинками Босфора встречал я потом женщин, настолько полных тупой, животно-скучной надменности, самодовольства и самообожания. Диво, что зародилась такая в крестьянстве, хоть и в кулаческой семье, лезущей в купцы и на купеческий лад настроенной.

— Чуден вид Левантины, — декламировал Мерезов, — в воскресное утро, когда, пышная, она несет себя на мисайловский базар, подобно драгоценному и хрупкому сосуду.

Прослыть красавицей Левантина могла лишь в невзыскательной приокской деревне. Так — рослая, белотелая, раскормленная девка, с желтою косою до пояса и бледными глазами «по ложке» на круглом лице. Но было-таки что-то влекущее в этой сытой двуногой телке: молодежь по ней убивалась, Савка из-за нее допустил отодрать себя вожжами... Зато женщины ненавидели Левантину. Каждый раз, что мы пили чай у Галактиона, — а что грех таить? охота поглазеть на Левантину была главною приманкою этих чаепитий, — на другой день Анютка топотала пятками и швыряла дверьми особенно громко, мела полы особенно пыльно и сорно, юбки отказывались ей повиноваться с учащенною бесцеремонностью, а наплаканные глаза окружались красною опухолью.

На Петров день Хомутовка здорово гуляла. Мы с Мерезовым ехали в беговых дрожках, на утичий перелет, сквозь совершенно пьяную деревню. К нам привязался Артем Крысин, бобыль с Подшиваловских выселков, версты за две от нас. Вино повергло этого парня в весьма горделивый припадок mania grandiosa *.

— Великий я человек! — голосил он, — первый по уезду! И бабы меня любят! Ваши благородия! честь имею поздра-

* Мания величия (*лат.*).

вить, каков я человек! Пожалуйте на двадцатку, — вот я каков человек!

Улица в Хомутовке сыпучая, косогор. Дрожки вязли, наш мерин ступал шагом. Крысин — длинный и тощий, с маленькою головкою, точно скворешницею на шесту, — бежал рядом с дрожками.

— Пожалуйте на двадцаточку, — трещал он, мигая желтыми глазами так проворно, что казалось, будто они прыгают по его бесцветному лицу. — Господа премудры: могут понимать Крысина. А мужик дурак. Мужик водит к Крысину овцу — червя сводить. Крысин слово знает. Мы под Плевною, за генералом Ганецким, в землянках животами болели. Сорок товарищев померло, а я — вот он. Потому положил на себя такой урок, чтобы не помирать. Я слово знаю. Отчего, опять говори, меня бабы предпочитают? Теперича, скажем, полюбилась Крысину отецкая дочь: наша будет и на гостинцы не потратимся. Я слово знаю. Ваши превосходительства! извольте приказать Крысину, какую девку в Хомутовке он добывать должен?

— Вон — попробуй: добудь эту! — расхохотался Мерезов.

Мы ехали как раз мимо Галактионовой избы. Нарядная Левантина сидела у ворот с Маргаритою, Юлькою и тремя подружками.

Крысин воззрился:

— Которую? — толстую-то? белоглазую?

И вдруг, нелепо раскинув руки, ринулся к девушкам неверным, пьяным бегом, вопя:

— А-х! кого ж девки любят? кого красные голубят? Артемия Крысина... и со чады его!

Девушки с хохотом и визгом пустились наутек. Крысин споткнулся, упал на живот и не смог подняться. Он долго что-то бормотал, поминая Левантину, которая между тем, стоя в калитке, не удостаивала поверженного пьяницу даже взглядом. Она лущила подсолнухи, доставая их из передника, розо-

вого, как рукава ее рубахи, как ее волосы и шея, в румяных лучах вечерней зари... Мерезов инда языком щелкнул:

— Экий кусок — девка!

Мол, — женись, мол, — женись,
А то лучше отвяжись! —

запел я ему из «Вражьей силы». Каюсь: по тогдашней юности лет моих, я наблюдал флирт, которым мой друг преследовал Левантину, не без тайной зависти и довольно ехидно утешался полною безуспешностью его ухаживанья.

Когда к нам в усадьбу наехал наш частый гость и неизменный обыгрыватель, земский врач, Галактионова старуха привела Левантину попросить средствица: девка мается гнеткою.

— Ты красавица, видно, студено напилась на сенокосе? — спросил доктор. — В сенокос у меня все такие больные. Хватит, сгоряча, потная, родниковой водицы, — и готова.

— Не... — протянула Левантина. — Я воды не пила. Кваску точно хлебнула намедни, как дометывали копны. Одначе теплый был, квасок-от...

— Ну, верно, квас у тебя нехороший.

— Не: наш, на погребу, дюжо удался... Я чужой пила... Артемка подшиваловский у соседей в помочи работал; увидал, что мы с Маргаритой запарились, угостил из бурака. Маргарита попробовала, ей не по вкусу пришлось, выплюнула. А мне больно пить хотелось, — одолела полбурака. Точно, что кислый, ровно бы с мутью.

Доктор дал Левантине опийной настойки, велел пить мяту, и девушка быстро оправилась.

Выхожу одним утром к чаю — на великий спор.

— Вообрази, — встретил меня Мерезов, — министры уверяют, будто notre belle et toujours charmante Levantine болела — passons le mot! * — пузом неспроста.

---

* Наша прекрасная и всегда прелестная Левантина... — пропустим слово! (*фр.*)

— Знамо, неспроста, — горячо подхватила Федора, — с чего ей болеть, кабы не лихой человек? Все пьют квас в поле, и Левантина сколько разов пила, а ничего, не болела! Девка — печь: от кваса ли ей подеется? Нет, ты, Василь Пантелеич, не спорь: тут не без наговора. Мы тоже на миру живем — не глухие; слыхали от людей, что Артем на Левантину намерялся... Да и мудреное ли дело? Нешто ему, коновальской совести, первую девку портить?

— Стало быть, он у вас колдун? — спросил я.

— Колдун не колдун, а знает.

— Что знает?

— Уж это ты его спроси: я с ним вместе не ворожила.

— Так-то, — вступилась Анютка, — он третьим летом обвел дьячиху в Мисайловке. Тоже спервоначала заболела, а потом, глядь, и скрутилась... Срамота! Средь белого дня к нему бегала.

— Дьячок-от Артемке в ноги кланялся, — гласила Федора, — помилосердствуй, Артем Филипыч, отпусти бабу на волю, развяжи от греха. Три рубля слущил с него Артемка в ту пору, чтобы снять свою порчу с дьячихи: вот оно как было крепко завязано.

Я заметил:

— Если бы дьячок проучил хорошенько и жену, и Артема, дело, пожалуй, обошлось бы и без трех рублей.

— Ишь, тебя не спросили — сами не догадались! — огрызнулась Федора. — Ты спроси дьячиху, чего не приняло ее белое тело. Муж ее в кадку сажал да в кадке по всей Мисайловке катал: вот как она мало учена! Убил бы, пес, бабу, кабы отец Аркадий не заступился.

Мерезов обратился ко мне:

— Ты скучал, что в деревне мало романического элемента. Бог посылает тебе на шапку Демона, который сводит червя с овец, и Тамару, которую катают по селу в кадке. И как тебе нравится таксирование супружеской верности

в три рубля... в *целых* три рубля? Федора говорит о них с благоговением.

Вскоре все бабы на Хомутовке шептались, что «Артем намеряется», и предупреждали о том самое Левантину. Но «стоерос бесчувственный» и тут не изменил природной гордыне и, на слова доброжелательниц, только презрительно отплевывался.

А затем произошло вот что.

Старший Галактионов сын Виктор ставил на Оке вершу; возвратясь к ужину, он рассказал, что рыбаки из Введенского, ближней деревни, крепко побили Артемку Крысина.

— Вишь ты, подглядели они, как он правил на Оке свою ворожбу. Разделся в лозняке, будто купаться, взял краюху хлеба и трет себя краюхою по голому телу, а сам причитает. Введенцам это не показалось. Зазвали они Артемку в кабаке, — стаканчик, другой, стали выспрашивать: «Видели мы, Артемий Филипыч, твои чудеса; скажи, сделай милость, зачем ты уродуешь такое над собой?» А он, с пьяных глаз, и хвастни: «Я, — говорит, — стану тот хлеб в квасу мочить, а квасом девок поить, и, которая выпьет, та будет любить меня пуще отца-матери». Тут введенцы и приложили к нему руки: диво, как он, прыткий нехристь, цел ушел.

Пока Виктор говорил, вся сидевшая за ужином семья уставилась на Левантину, пораженная одною и тою же жуткою мыслью. Все сразу поверили, что Левантина испорчена, и она сама поверила. Она сидела белая, как плат, с бессмысленными глазами. Потом бросила ложку, схватилась за грудь, порывисто встала из-за стола, опять села и опять встала.

— Я... квас-то... пила, — прохрипела она, и с нею сделались корчи.

Целую ночь она билась в истерическом припадке, не унимаясь ни от воды с уголька и громовой стрелки, ни от раствора четверговой соли, ни даже от свяченой вербы, которою, в усердии, сильно исхлестали плечи, спину и живот больной.

II

Поутру мы, оповещенные молвою, зашли к Галактиону взглянуть на порченую. Старик встретил нас очень встревоженный; рябоватое лицо его было красно, потно и пестро от постоянного утирания рукавом. Левантина, успокоившаяся лишь засветло, проснулась незадолго до нашего прихода и сидела еще в сонной одури. Остальная семья, кроме старухи-матери, была в поле.

— Что с тобою, Валентина?

Она подняла глаза.

— Ничего-с...

— Как ничего? А припадок? Да ты погоди, не хнычь!.. Болит у тебя что?

Она потерла рукою около сердца.

— Тут сосет... и ровно бы подкатывает.

Очевидно, Левантину душил globe hysterique *.

— Вот и верь наружности! — заметил Мерезов, — кто бы мог думать, что ты нервная.

— Чего-с?

— Пуглива очень.

— Как не пужаться, батюшка? — застонала старуха-мать, пустив обильные потоки слез по морщинистым щекам, — экое, злодей, горе навел на девку... срам в люди выйти.

— Полно врать, Анна Матвеевна, — перебил Мерезов. — Никто ничего на нее не наводил; эта болезнь самая обыкновенная, называется истерией. Если вы все, а в особенности ты сама, Валентина, не будете уверять себя в глупостях, так она пройдет без всяких лекарств.

Старуха слушала и качала головою, с откровенным недоверием. Галактионов поддакивал:

— Так-с... вот оно что-с...

---

* Истерический комок, приступ удушья (*фр.*).

Но уже по конфузливой суетливости, с какою он обдергивал на себе рубаху, я видел, что он поддакивает только из вежливости, не верит ни в одно слово Мерезова, и барин, по его мнению, говорит великие глупости. Левантина сидела в отупении, точно речь шла не о ней. Я сбегал в усадьбу за гофманскими каплями. Левантина проглотила лекарство с неохотою: зачем, мол? все равно не поможет...

— Прошло?

— Нет, сосет.

А у самой глаза все больше и больше выцветают под серым налетом суеверного ужаса. Так мы ее и оставили, в предчувствии нового припадка и в молчаливой, но твердой вере в свою порчу. Повстречали Виктора: едет зверь зверем на сенном возу. Скатился на землю.

— Что, господа, слыхали наши дела хорошие? Я, Василь Пантелеич, теперь в одной надежде — переломать подлецу-Артему ноги колом.

— А я, Виктор Галактионыч, посоветую тебе — не горячись. Изуродовать человека и попасть за это в острог недолго. Я было думал, что ты, как парень грамотный, бывалый, не веришь пустякам. Но уж если и ты поддаешься этой дури, постарайся покончить дело миром, без насилия. Если ты считаешь Артема способным посадить болезнь в женщину, то он должен уметь и снять ее обратно. Поговори с ним.

— Барин хороший! как я буду с ним говорить, коли у меня сердце кипит? Я было уже искал его сегодня... с колом-то... Догадлив, треклятый: ударился в лес, будто за дровами... Да нет, брат, шалишь! у нас не отбегаешься! найдем! Девок портить... это что же такое?

— Ну, если ты не можешь спокойно перетолковать с ним, давай, я поговорю.

— Благодарствуйте, — подумав, сказал Виктор. — Известно: вас он лучше послушает. А ваша, Василь Пантелеич, правда: хоть мы много обижены, худой мир лучше доброй ссоры.

Если ему, собаке, надо сорвать с нас денег, вы, барин, обещайте, не скупитесь: тятенька для Левантины не пожалеет...

— Хорошо... Хотя — вместо денег, не пообещать ли ему лучше урядника?

— Урядником ли, за деньги ли — только, чтобы он нашу девку освободил. А не то — не быть ему, смердюку, живу. Так и скажите. Я, брат, шутков-то не очень уважаю.

— Ишь какой Валентин своей собственной Маргариты! — засмеялся Мерезов, провожая Виктора глазами. — Ты посмотри, как он сидит на возу: даже в спине чувствуется угроза. Конечно, я говорил очень благоразумно, но, сказать откровенно, было бы превесело стравить его с Артемкою.

— Черт знает что лезет тебе в голову, Василий Пантелеич! убийства захотелось!

Мерезов покраснел.

— И представь: совершенно искренно, — проворчал он. — Вот оно одичание-то. У людей горе, а ты пуще всего боишься, чтобы оно не разошлось пустяками и не пропал для тебя трагический анекдот.

Мы отправили Савку на поиски Артема. Пришел Галактион: Левантине опять было нехорошо. Он просил у Мерезова лошади — доехать девке с матерью до Мисайловки.

— Хочешь свести к фельдшеру? Хорошее дело.

— Я так полагаю: не лучше ли к батюшке? — замялся Галактион.

— Покажи и фельдшеру, и батюшке; в один конец коня-то гонять. Но как же Левантине ехать вдвоем со старухою? Твоя Матвеевна — тоже сосуд скудельный; я думаю, сама не помнит, когда была здорова. Если с больною случится в дороге припадок, она и помочь не сумеет.

— Что поделаешь, Василь Пантелеич! Горячая пора: больше спосылать некого. Сено свозим. Все: и люди, и лошади — в лугах. У меня своих четыре коня, а вот пришел кучиться твоей милости на счет меренка. Жарынья парит... не дай Бог

скорого дождика: сгноит весь сенокос. Вот и поспешаем, как в котле кипим. И то горе, сударь, что Левантина занедужила: две руки вон из поля... как других-то отнимешь от работы?

— Саша, — сказал Мерезов, — мы давно не были у отца Аркадия. Не проехаться ли за компанию?

Я не имел ничего против. На прощанье Мерезов долго внушал Галактиону, чтобы он присматривал за Виктором и не допустил сына до какой-нибудь мстительной дикости.

— Слушаю, батюшка, — печально согласился старик.

До Мисайловки считалось верст восемь. Больную с матерью усадили в телегу на сено. Мерезов правил. Я сел на облучок. Едва телега тронулась, Левантина почти тотчас же задремала. Я следил за нею. Она заметно грезила. Мало-помалу ее сонное и при сомкнутых глазах грубоватое лицо оживилось улыбкою — чувственною и самодовольною. Губы раскрылись, на щеках разыгрался тяжелый румянец. Сон забирал ее глубже и глубже. Она начала бормотать. Мерезов оглянулся и головой тряхнул: очень уж привлекательною показалась ему Левантина с этим новым для нее страстным выражением в лице, с таинственным лепетом на губах... Вдруг она вскрикнула, взметнулась и, — сразу все лицо и шея в поту, как в бусах, — села в телеге, дико озираясь мутными глазами.

— Привиделось что-нибудь страшное? — спросил я.

Она прошептала:

— Не...

Но потом, утирая лицо передником, прибавила:

— Так... мерезжит...

— Что мерезжит? — не понял я.

— Нечто... маячит...

— Коротко и неясно! — проворчал Мерезов, постегивая кнутом меренка.

— Ты не бойся: это от дурноты, — утешал я Левантину.

Она молчала.

— Под ложечкой все томит?

— Томит.

Мы огибали хомутовский крестьянский лес. Левантина шепталась с матерью, вероятно, рассказывая ей свой сон и, должно быть, очень страшный, потому что худое лицо Матвеевны вытянулось выражением мертвого ужаса; она охала и крестилась. Глядя на встревоженную мать, Левантина распустила губы и захныкала без слез, но с ревом, словно блажной ребенок. Она завывала до самой Мисайловки, но, въезжая в околицу, сразу оборвала свою волчью музыку и утерла кулаком сухие глаза.

Мы издалека заслышали широкий разлив скрипичных звуков. О. Аркадий встретил нас уже слегка в настроении Гекубы.

— Откуда вы, эфира жители? — завопил он и не хотел ничего слушать о деле, пока не угостил нас водкою и таранью.

Мы объяснили, зачем приехали. О. Аркадий слушал на ходу, бегая по своему маленькому зальцу из угла в угол, широко вея полами парусинного полукафтанья и рыжею бородищею, которую он сам называл «небесною метлою». Потом стал в позицию, таинственно сощурил зеленоватые глазки и зачитал:

Но слушай: в родине моей
Среди пустынных рыбарей
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.
И я, любви искатель жадный,
Решился в грусти безотрадной
Наину чарами привлечь
И в гордом сердце девы хладной
Любовь волшебствами зажечь.

Он окинул нас торжествующим взглядом, щелкнул языком и подбоченился.

— Каково прочитано, ребята?

— Отлично, батя: хоть бы Александру Павловичу Ленскому.

— Ага! меня Николай Карлович Милославский, Василий Васильевич Самойлов, Иван Васильевич Самарин, Николай Хрисанфович Рыбаков слушали и одобряли... А я сижу, как пень, в Мисайловке, и ко мне возят отчитывать порченых девок! «Я царь, я раб, я червь, я бог!» Слушайте, братцы!

Он схватил скрипку и запилил по струнам с диким воодушевлением. Мерезов нахмурился:

— Ты, Александр, недавно попрекнул меня, что я ничего не читаю, — заговорил он. — Вон — ответ тебе, полюбуйся: хорош наш Гекуба?

— Чтение-то при чем?

— При том, что я глупостей не чтец, а умная животворная книга порождает волнения, опасные для нашего брата, слабохарактерного человека, заброшенного на дно колодца. Помнишь, как у Щедрина меринос захирел и издох от того, что увидел во сне вольного барана? Мы, брат, тут тоже мериносы в своем роде. Прозябаем и так и сяк, пока спит мысль, пока чужая далекая жизнь не видна и не завидна. А чуть растормошил себя — и окружат тебя насмешливые и укоризненные призраки, и... и сам не заметишь, как либо сопьешься, либо удавишься.

Мерезов спохватился, что говорит с чрезмерным волнением, и перешел в свой обычный равнодушно-насмешливый тон.

— А мне жизнь дорога, и водка здешняя не нравится. Поэтому — черт с ним, с вольным бараном! Пускай его Гекуба видит... Хочешь, я покажу тебе, откуда его «слабость»? Вон он лежит, корень-то зла.

Мерезов кивнул на толстую книгу, забытую на подоконнике. «Шопенгауэр. Мир как воля и представление», — прочитал я на корешке.

— Это ты верно! — торжественно возгласил о. Аркадий, опуская скрипку. — С него началось, с Шопенгауэра. Ибо он меня сперва огорчил, а потом вознес.

— Всякий раз запивает, когда проглотит книгу себе по сердцу, — объяснил Мерезов.

Аркадий мотнул своею сверкающей бородою:

— Верно! Потому что тогда дух мой жаждет парить, а мысль расшириться, — горизонт же мой низок и узок, и вмещаться под него, без этого напитка, весьма огорчительно.

— Хорошо парение духом — к выпивке!

— Врешь, киник! подтасовываешь! Я не парю к выпивке, но выпиваю, скорбя, что парить бессилен.

— Ну и не пари, семинария несчастная! кому надо?

— Мне надо, ибо я не самоотчаянный киник и не эгоист, подобно тебе, погрязший в животном самосохранении, но любопытный и доброжелательный человеколюбивец, алчущий знания и надежд... «Духа не унижайте!» — сказал апостол.

— Пришибет тебя кондрашка — вот тебе и будет знание, — с досадою сказал Мерезов.

— Эк чем испугал! — равнодушно сказал Аркадий, набивая рот таранью.

— Смерть, стало быть, не страшна?

— Чего ее бояться? Я не троглодит, мню себя бессмертным быти. У Бога, брат, все на счету. Блажен раб, его же обрящет бдяща. Позовет Он мою грешную душу, — вот он я, Господи, весь, каков есть... со всем моим удовольствием.

— В таком-то неглиже, пожалуй, и неудобно явиться, — поддразнил Мерезов.

О. Аркадий невозмутимо отразил насмешку:

— Уж это — Его воля: каким позовет, таким и предстану. Грех мой со мною и вера моя, упование жизни моей, при мне. А Он, брат, благой — не нам чета, людишкам зложелательным, насмешливым и брезгунам... Он вникнет и разберет...

— Ты и мужикам это внушаешь?

Аркадий мотнул головою.

— И мужикам.

— То-то твоя Мисайловка вовсе с пути спилась!

Аркадий не смутился:

— Да ведь и ты вовсе с пути спился, а тебе я никогда ничего не внушал.

Мерезов не нашелся, что ответить.

Я напомнил о Левантине и Матвеевне, ожидавших на крыльце. Мерезов поднялся с места:

— В самом деле, пойдем-ка, поп.

Я остался в комнате, убоясь солнечного пекла. На полочке под образами я заметил черную книжку, календарь-поминанье никольского издания. От нечего делать я стал просматривать длинный список друзей, сродников и излюбленных прихожан, записанных о. Аркадием за здравие и за упокой.

Мерезов возвратился: бабы пожелали говорить с о. Аркадием наедине.

— Что ты нашел? — спросил он, заметив улыбку на моем лице.

— Взгляни.

Под 7 апреля отец Аркадий записал: «Упокой Господи душу раба Твоего болярина Георгия (он же Гордей) из англиканских иноисповеданцев». Под 27 января был помянут болярин Александр, от супостата неправедно убиенный. Иноверец-англичанин Василий предназначался к поминовению во все дни.

Мерезов расхохотался.

— Экий чудище! Ведь это он поминает своих любимцев лорда Байрона, Пушкина и Шекспира. Совсем дитя этот поп! даже трогателен. Батька! — обратился он к входящему Аркадию, — что ты чудишь? Вздумал молиться за упокой шекспировской души!

— Коли я его люблю?! — пробормотал Аркадий, опускаясь на стул.

— Смотри: дойдет до благочинного — будет тебе ужо «иноверец Василий»!

Аркадий махнул рукою:

— Доходило... Сосед донес... Знаешь, емельяновский Вениамин, что в воротничках ходит и таксу за требы завел...

— Что же?

— Ничего. Благочинный вызвал в город. «Правда ли, — говорит, — будто вы молитесь за упокой иностранного писателя Вильяма Шекспира, именуя его иноверцем Василием?» — «Сущая правда, ваше высокоблагословение». — «Зачем же это?» — «Затем, что ежели я, любя сего писателя и желая ему небесного царствия, не помяну его, кто же другой догадается его помянуть? Молитва же и Шекспиру нужна, как всякому покойнику...» Ну, благочинный — он у нас академик — принял мой резон... опять же каноническими правилами оно не запрещено... отпустил меня с миром. А Вениаминке — нос.

Мы возвратились в Хомутовку вдвоем с Мерезовым, без галактионовых баб, потому что о. Аркадий приказал Левантине остаться до другого дня, на обедню и молебен об исцелении болящей. Ехали мы довольно мрачно. От жары и вина у Василья Пантелеича разболелась голова и разгулялись нервы.

— Проклятая судьба! — твердил он, — проклятое безденежье! Не угодно ли медленно издыхать в безвинной ссылке, в медвежьем углу, где еще привораживают девок и сентиментальный поп записывает в поминанье Василия Шекспира!

— Кто тебя держит здесь? Поезжай в Москву, возьми службу.

— На пятьдесят целковых в месяц? Спасибо.

— А тебе — чтобы прямо в рот летели жареные рябчики?

— Так воспитан — не перевоспитываться стать на тридцать третьем году. Разве определиться учителем хороших

манер к коммерции советнику из бывых свиней? Говорят, недурно платят и хорошо обращаются: даже метрдотелем не зовут. Но ведь я все-таки Мерезов. Одного моего предка царь Петр повесил за ребро, другого Борис Годунов за шею, а третьего царь Иван посадил на кол. Как же мне после кола, ребра и шеи в прихлебатели к бывой свинье-то? Еще эти висельники-предки начнут сниться по ночам... А пятьдесят рублей в Москве — одна игра ума, на голодный желудок. Здесь я, по крайней мере, сыт и — каков ни на есть — барин, а не пролетарий.

Артем поджидал нас. От перепуга, со злости, с недавних ли введенских побоев, он был желт, как пупавка.

— Изволили спрашивать? — хрипло спросил он, отвесив поклон и прыгая глазами то на меня, то на Мерезова.

— Изволили. Что ты, братец, наделал? А?

Артем воодушевился.

— Барин! ваше высокоблагородие! Сами судите — вы господин, разум имеете, наукам обучались — статочное ли дело взводят на меня наши сиволапы? Кабы я знал бабий приворот, нешто бы я был Артемка-бобыль? Ступай бы прямо в губернию да полони самую богатейшую купчиху, со всем мужниным сундуком. Эка недаль их Левантина, — глаза его блеснули враскос, — стану я из-за нее, белоглазой, губить душу, вязаться с нечистым! А Вихтарь Глахтионыч, между прочим, обещает меня извести... Господи! где же правда-то? Правда-то где, я говорю, Василь Пантелеич?

— Погоди, не трещи. Значит, ты не колдовал над Валентиною?

— Василь Пантелеич! Мудрый вы господин, наукам обучались: какое колдовство есть-живет на свете? Я — за генералом Ганецким — прошел наскрозь всее Турещину; одначе и там видел колдунов не гораздо много, а больше ни одного. А они тут, идолы, в лесу сидя, до колдунов додумались. Коновал я хороший — это точно. Лечу лошадей, коров, знаю

такую молитву против овец, чтобы сгонять с них червя. А больше — хоть присягу принять — ничего мне неведомо.

— Я, братец, и сам, без тебя, знаю, что колдунов не бывает на свете. Но видишь ли: кто, по суеверию своему, верит в колдовство и думает, что он околдован, тому может сделаться нехорошо, без всяких снадобий и наговоров, от одного воображения. Так, по моему мнению, заболела Валентина. У тебя скверная слава, что ты привораживаешь женщин... квасом ли каким-то...

— Лопни глаза мои, напраслина, Василь Пантелеич.

— А, помнишь, на Троицу ты сам похвалялся над этим?

Артем досадливо передернул плечами.

— Запамятовал, ваше высокоблагородие. Хмелен был. Мало ли что у пьяного язык болтает — голова не знает. Кабацкая хмелина сильна: захочет — головою о тын ударит.

— А за что побили тебя введенские мужики?

— Опять глупость ихняя, ваше высокоблагородие. У мужика с наших выселков — Мокеем зовут — захромал конь: насекся в болоте на остролист. Я мастерил коню пластырь, а введенские дуроломы выдумали, будто я готовлю питье для девок. Необразованность!

— Объяснение правдоподобно, — заметил мне Мерезов по-французски. — Однако он что-то лжет.

Мне тоже сдавалось, что Артем, хотя издевается над колдовством, сам верит в него глубоко — и только заигрывает вольнодумством с неверами-господами.

— Что меня произвели в колдуны, тут, ваше высокоблагородие, я должен сказать спасибо мисайловской дьячихе, с нее пошло... что она, выходит, была со мною в грехе. Но я тому ничем не причинен: она сама повесилась мне на шею. Не дубьем же было отбиваться от нее — не монах я. Народ видит, что баба дурит не путем, и загалдел: колдун Артемка, приколдовал дьячиху. А чего было колдовать? Вы, ваше высокоблагородие, видали ли дьячка-то? Мразь несуразная! От этакого

мужа сбежишь и к водяному деду, не то что к Артемке... Насчет же колдуна я на народ не обижался; потому полагал так: пусть лаются, от слова не станется, а по коновальской части мне от этой славы, будто я колдун, даже большой фарт — верят крепче... Да вот и наконовалил себе беду!

— Надо ее поправлять, Артем. Девка болеет от того, что убеждена, будто ты ее околдовал. Значит, ты должен расколдовать ее, то есть выгнать из нее это убеждение. А сделать это очень просто. Завтра я приглашу сюда Галактиона, Виктора, самое Валентину. Ты при них поцелуешь икону, что не имел, не имеешь и не будешь иметь злого умысла на Валентину и желаешь ей впредь доброго здоровья. Согласен?

Артем переминался с ноги на ногу — угрюмый, сутулый — и молчал, не поднимая глаз.

— Увольте, ваше высокоблагородие, — глухо пробормотал он наконец.

— Не хочешь? почему?

— Так... неподходящее дело...

— Странно, Артем, очень странно. Ты понимаешь ли, что своим отказом ты подтверждаешь подозрение галактионовой семьи?

— Точно так-с.

— Ты подвергаешь себя большой ответственности и опасности.

Артем сделал плаксивое лицо.

— Я, ваше высокоблагородие, коли что, побегу к уряднику жалиться.

— А урядник, когда узнает, из-за какого дела галактионовы ребята злобятся на тебя, отправит тебя к судебному следователю.

— Стало быть, погибать надо? — горько усмехнулся Артем. — Не в бессудной стороне живем, барин.

— Разумеется. Только мне сдается, что лучше бы тебе с Комолыми честью, без суда. Ты так опорочен, что на суде

тебе придется плохо. Я не неволю тебя, поступай, как знаешь, но мое дело предупредить.

Долго длилось молчание.

— Нет, не могу я этого! — решительно воскликнул Артем. — Обидно очень.

— Твоя печаль.

— Хоть вы-то, Василь Пантелеич, не отступайтесь от меня, дайте сколько-нибудь защиты!

— Ну, брат, извини: я тебе указываю средство помочь делу, ты не согласен. Больше я ничего не могу придумать чем тебя выручить. Будь что будет. Я умываю руки.

— Так-с...

Артем повесил голову.

— Больше я не надобен вашему высокоблагородию?

— Нет. Ступай.

Он шагнул к двери, почесал затылок и опять вернулся.

— Вот что, барин. Икону целовать я не стану. Дело не стоит того, чтобы беспокоить угодников. А — просто — скажите вы Вихтарю Глахтионычу, что — пес, мол, с ихней девкой! — я о ней и думать забуду, какая она. И он бы тоже свои дурачества оставил — насчет, то есть, дубья. Ну, и дары бы они мне прислали: должен же я, за свой срам, профит иметь; за многим не гонюсь, но чтобы честь честью.

На том покончили. Наши министры, узнав, что Артем обещал оставить Левантину в покое, решили хором:

— Врет.

— Время волочит, — объяснила Анютка, — либо выпить хочется: надумал сорвать с Комолых мало-что на кабак.

— Не таковский парень, — трубила Федора, — чтобы отступаться от своего. Тоже непутные-то, которых он держит на послушании, не очень любят, коли хозяин заставляет их работать понапрасну, — сперва испорти, а потом поправь.

Савка поддерживал.

— Да и девка больно зазнобила его. Энта — как поджидал он вас — разговорились мы по душам. Так у него, чуть помянешь Левантину, глаза светятся, ровно у волка. Плевать, говорит, я хотел на Вихтаря! Уволоку девку из-под носа у Комолых: моя будет. Не то что бить меня, — сами придут ко мне кланяться в ноги, чтобы взял Левантину замуж, снял срам с семьи. А дубье, говорит, нам не диво: не на одних девок — и на дубье бывают заговоры. Иной бы, говорит, и не встал после введенского бойла, а я — хоть пощупай — жив человек.

Однако Комолые поверили Артему. Анна Матвеевна послала ему кушак, шапку и рубль денег. Левантина успокоилась; истерики ее прекратились, как только она освободилась из-под гнета суеверного страха. Дары Артем, как предсказала Анютка, немедленно пропил у Федулы Пихры.

— Что мало носил? — посмеялся кабатчик.

— Наносимся и других, почище, — хвастливо возразил Артем. — Теперь, брат, Комолые сидят у меня в кулаке: чего хочу, того прошу.

— Ты же, сказывают, снял наговор с девки?

— Ничего не скидывал, и невозможно его снять, потому — слово мое прибито крепко-накрепко... прямо сказать, прогвозжено. Так — даю девке прохладу: пущай отдохнет, пока ко мне с уважением. Опять же и господа с усадьбы просили: «Артемий Филиппович! сильный ты человек! пожалей, не позорь Комолых!..» Я что же? Я, брат, добер: коли ко мне с уважением, я ничего, прощаю. Но ежели заместо уважения гордыбачат, сейчас произведу все действо назад. Вихторка у меня еще попляшет!

Эти пьяные похвальбишки дошли до Левантины: целительный эффект нашего вмешательства был убит ими наповал; девушка снова загипнотизировала себя страхом порчи.

Не прошло недели, как до нас дошли слухи, будто Левантина «ходит по ночам» и намедни совсем было ушла из избы,

да, на счастье, проснулся Виктор и поймал сестру уже в сенях, когда она шарила дверную щеколду, чтобы выбраться на крыльцо. Окликнутая братом, Левантина закричала, упала и сильно расшиблась лицом о порог. Семья всполошилась. Левантина произвела на всех странное впечатление: она осматривалась, точно со сна, и, по-видимому, сама не понимала, как, когда и зачем она забрела в сени. На вопросы молчит — и лишь с усилием припоминает что с нею было. Потом стала было нескладно вывираться, будто на улице больно опасно лаяли собаки, и она, тревожась за овец, шла проведать, нет ли какого лиха. За эту ложь — во всю ночь хоть бы одна дворняжка тявкнула — Галактион и Виктор сильно избили Левантину. Они предположили, что вся история с порчею, стоившая им стольких волнений, была надувательством, и просто Левантина сама слюбилась с Артемкою и, столковавшись с ним, теперь бежала к нему на свидание.

— К Артемке шла, подлая? Сказывай!

Под братним кулаком Левантина упала на колени и простонала:

— Взмануло...

Разъяренный Галактион сшиб дочь на пол и истоптал ногами. Он убил бы ее до смерти, если бы Матвеевна не бросилась между озверелыми мужчинами и их жертвою:

— Что вы делаете, ироды? за что увечите девку? Посмотрите на нее: нешто она в себе властная?

Левантина, голося, ползала у ног матери:

— Мамынька-голубонька! кабы я своею волею! Так вот весь день-деньской и тянет, и сосет. И во сне видится... манит, зовет: поди да поди!.. Стыдовая моя головушка! Убейте меня лучше, братцы родные, чем отдавать на этакое надругание! Не уйти мне, видно, от своей судьбы: достанется моя девичья краса постылому...

Если в этот раз у Виктора и Галактиона остались еще некоторые сомнения относительно искренности и болезнен-

ного состояния Левантины, то следующая ночь убедила их вполне, что девка в себе не вольна. Она разбудила семью глухими стонами. Зажгли огонь и увидали в окне не Левантину, но лишь половину Левантины: она высунулась до пояса во двор, но застряла в окне бедрами и, придавленная подъемною рамою, не могла двинуться ни взад, ни вперед. Виктор и Маргарита забежали со двора, чтобы протолкнуть Левантину назад в избу — и, заглянув в ее лицо, ярко озаренное месячным светом, ахнули: глаза Левантины были закрыты. Она продиралась сквозь окно и тянулась вперед руками — в глубоком сне и, лишь когда Виктор громко окликнул ее, она, как в прошедшую ночь, жалобно закричала и не упала только потому, что не могла упасть. При пробуждении сердце у нее билось, как перепел в сетке, и все ее грузное тело ходило ходенем от частого и тяжелого дыхания...

Я, наслышавшись этих чудес, звал было Мерезова полюбоваться Левантиною «в фазисе сомнамбулизма», но он махнул рукою:

— Будет, повозились — и довольно... Там, брат, начинает сильно пахнуть уголовщиной... Того гляди влопаемся свидетелями в скверную историю.

Действительно, Виктор ходил с нехорошими, зловещими глазами, Галактион — тоже, и оба были как-то неестественно спокойны. Мы слышали, что они побывали с жалобою на Артемку в волости и в стану и были жестоко осмеяны за невежество просвещенным волостным писарем и еще более просвещенным письмоводителем станового... Артем поднял голову и, пользуясь паническим ужасом к нему Анны Матвеевны, шантажировал старуху грабительски. Левантина — исхудавшая, подурневшая, полубезумная — ждала каждой ночи как казни.

— Ништо, дочка, — шептала ей старуха, — ноне уснешь. Я-таки ему, подлецу, снесла полтинничек в клубке ниток: обещал два дни не мучить... Только мужикам не сказывай: ругать станут, что деньги бросаю.

Однажды я стоял с Виктором, и он рассказывал мне, как они с отцом были в стану.

— «Дураки вы, дураки, а еще умные люди! — сказал нам письмоводитель, — это не порча, а *липносиз*... Супротив же липносизу законов еще не написано, да и суд ему не верует, потому дело темное, внове». Так мы и пошли назад с липносизом!

В это время Артем прошел мимо нас с нахальною усмешкою. На лице Виктора хоть бы одна черточка дрогнула; он даже не взглянул на своего врага. Для такого гордого и гневного человека это было странное поведение. Очевидно, Виктор что-то удумал — и крепко... Я заметил, что вся Хомутовка смотрит на Комолых с тем же боязливым предчувствием скорой и неизбежной беды над этим домом, как и Мерезов; от них заметно сторонились.

А между тем нервная атмосфера, внесенная в семью болезнью Левантины, оказывала свое действие на впечатлительную и суеверную среду: припадки Левантины отразились, хотя в слабейшей степени, на Маргарите и Юльке...

Днями тремя позже того, как завыкликала Юлька, введенские рыбаки, ведя невод под Кувшинным Яром, выволокли из Оки свежий труп Артема Крысина. Полчерепа было снесено.

Виктора арестовали и выпустили: он, как все Комолые, доказал свое alibi в ночь смерти Крысина. Не имея других подозрений, следствие признало Артема жертвою несчастного случая. Кроме разбитой головы, тело не носило боевых знаков. А голову Артем, очевидно, разбил о сваю, близ которой был найден. Кувшинный Яр такое местечко, что сорваться с него в Оку не мудрено даже трезвому и днем, — только зазевайся; а в последний раз Артемку видели сильно навеселе, и уже в глубокие сумерки. Он собрался идти домой, на Подшиваловские выселки, и именно береговою тропой, Федул Пихра даже предупреждал его, что тропа на Кувшинном Яру, пожалуй, неладна, так как днем была сильная гроза и размочила глину, — не случилось бы оползня.

Все эти подробности писали мне уже в Москву Мерезов и о. Аркадий. Последний прибавлял: «А все-таки она вертится!» — как сказал судьям своим премудрый и неправедно обвиненный философ и астроном Галилей. Артемий не утонул, но утоплен, — и, разумеется, никем другим, как Виктором Комолым. Такова общая молва, и мое личное убеждение. Но утоплен не самовольно, а с тайного разрешения хомутовского мира, которому Комолые поклонились о суде, когда не нашли его в других местах. Они указали старикам, что Артемий — враг не только их семьи, но и общественный; что теперь он позорит и разоряет их двор, а потом разлакомится и начнет шастать, как коровья чума, по всей деревне. Мир принял резоны Комолых, выдал им Артема головою и покрыл убийство, как не Викторов, но мирской грех. Любопытно, хотя и неистово, что трое суток спустя по предании земле Артемкина праха найден был на могиле осиновый кол, вколоченный столь глубоко, что не могли его извлечь, должны мы были лишь подрубить древко сего знамени невежества вровень с землею. И кто же оказался виновником оного святотатства? Дурачок мой, псаломщик Евдоким, возмечтавший, что покойник, как колдун, будет вставать из могилы, дабы мучить его и жену его, находившуюся когда-то с Артемом в непозволительных отношениях. Таково-то жестоки наши нравы».

Из кратких записок Мерезова и из пространных философствований отца Аркадия я последовательно узнавал, что Галактион женил Виктора, Левантину выдал замуж за писаря — того самого, который отрицал старинную порчу в пользу модного «липносиза», — и чрез это забрал еще большую силу в округе; что Савка с ноября — солдат; что рябую Анютку о Святках в два дня убрал дифтерит, и что Мерезов, сверх всякого ожидания, был очень поражен ее смертью: струсил, заскучал и с той самой поры частенько запивает. Потом письма стали приходить реже, и наконец деревня вовсе замолкла. Год спустя, зимою, проезжая в Киев, я не поленился сделать двести верст крюка, чтобы

проведать Василия Пантелеича. Увы! он встретил меня хмельной и проводил хмельной; опух, обрюзг и... поглупел. Прежний мрачный юмор его оставил; шуточки выходили плоские, натянутые либо тошнотворно-сальные. Вместо Анютки и Савки по хозяйству тормошились какие-то грязные и ленивые сморчки. «Государственный совет» частью вымер, частью вовсе обессилел — и валялся в голодном полузабытьи по плохо топленным печкам и лежанкам, ожидая, скоро ли Господь пошлет смертного ангела по их стариковские души и избавит их от собачьего житья.

Зато Федора потолстела чуть не вдвое, рядилась, жила уже не в людской, а в комнатах, имела вид гордый и повелительный, кричала на прислугу. Разве слепой не заметил бы, что она полная хозяйка в доме, и Мерезов попал под ее тяжеловесный башмак. Я прожил в Хомутовке два дня.

— Заезжай как-нибудь еще, — угрюмо проводил меня Мерезов. — На подножный корм... попаси Навуходоносора...

Но нам не суждено было свидеться снова. Осенью следующего года о. Аркадий телеграфировал мне, что Василий Пантелеич застрелился, оставив в объяснение своего самоубийства всего три слова: «Сыт по горло».

1897

ТАТЬ В НОЩИ

(Давний случай)

Сельцо Мартыновщину, Овечью Топь тож, совсем замела и схоронила под сугробами двухсуточная метель. Она свирепствует в морозном просторе новогодней ночи, переполняя угрюмую муть между небом и землею порывистыми перелетами снежных вихрей.

Облака снежной, колючей, точно толченое стекло, пыли мечутся в неутомимой суетне, то взвиваясь, то приседая, то худея, то тучнея, то крутящимся столбом, то прямо напролом прущею невесть куда и откуда тучей.

Овечьетопский помещик Антип Егорович Савросеев провел, по милости метели, взаперти целых три дня и успел за это время заскучать до унылого бешенства, какое по-настоящему, во всю свою сласть только захолустным людям и знакомо. На Рождестве он уговорился кое с кем из соседей, чтобы Новый год встречать у него в усадьбе. Метель эти праздничные планы разрушила, и теперь Савросеев, почти с ужасом предвкушая возможность провести в одиночестве новогоднюю ночь — да еще такую жуткую, мутную, с визгом и ревом непогоды! — не без волнения ожидает, не едут ли к нему хоть ближайшие закадычные друзья — помещик Аристов из ближнего села Алешки и тамошний же батюшка о. Викторин.

И Аристов, и о. Викторин такие же одинокие бобыли, как Савросеев: один — старый холостяк, другой — бездетный вдовец. Все трое — люди с достатком, не обремененные занятиями, неглупые, веселые, не дураки выпить и перекинуться в картишки.

Савросеев назло своим пятидесяти годам, брюшку и лысыне еще и немалый Дон Жуан. Мужики уже не раз сулили барину за последнее его качество хорошую встрепку, но он неисправим. При старых крепостных порядках Савросеев непременно завел бы сераль у себя в доме... теперь он под башмаком у своей экономки Фаины.

— Не приедут... как Бог свят, не приедут, — бормочет Антип Егорович, расхаживая по просторным покоям своего жилья, прислушиваясь к вою бури и ежеминутно поглядывая на часы. — Вона: уж девятый... Прохор! Про-о-хор!

Но Прохор не отзывался. Барин уже замучил его, посылая на крыльцо смотреть, какова погода, не перестало ли

мести. Савросеев, — нечего делать! — натягивает на плечи обиходный волчий тулуп и, ворча, сам выходит на крыльцо.

Ночь и плачет, и рычит, и поет, и смеется, и лешим воет, и колокольчиком заливается...

«Эка чертов шабаш, — подумал Савросеев, плюнул и пошел в комнаты, с досадой ворча под усы: — Нечего и ждать... в такой сумбур никто не поедет... Вот-те и с Новым годом, с новым счастьем!»

* * *

А гости все-таки ехали. Как ни протестовал о. Викторин, человек солидный и рассудительный, против путешествия в метель, как ни молил аристовский кучер Феофил своего барина милосердствовать, старый кутила настоял на своем и даже прицепил к компании еще заезжего в Алешки акцизного. О. Викторин, едва влез в кибитку, сейчас же зарылся в сено и, согретый тяжелой меховой рясой, крепко заснул; акцизный и Аристов, сидя за кожаным фартуком, курили, изредка перекидываясь короткими фразами. Вой вьюги, звон бубенцов, уханье кибитки на раскатах и последовательные нырки ее из сугроба в сугроб скоро надоели обоим.

— От Алешек до Мартыновщины, — сказал акцизный, — по хорошей путине меньше часа езды; мы выехали в шесть, а вот уже восемь без пяти, но еще, кажется, не близко... Феофил! где мы? — спросил он, открывая фартук.

Кучер повернул к барину голову, повязанную сверх шапки платком, и прокричал что-то.

— А? У Никитинских кустов, ты говоришь?

— Надо полагать, что у них самых...

— Надо полагать! — недовольно заворчал акцизный, — ты, братец, наверное знай, без «надо полагать». Этак — с вашими авоськой и небоськой — пропадешь здесь... в метель долго ли потерять дорогу?

— Тпру!.. — раздалось с козел.

— Что там, Феофил?

— Наворотило, вашескородие!..

Конские морды уперлись в громадный снежный бугор, Феофил слез с козел и, кряхтя, стал щупать кнутом дорогу.

— В объезд, что ли, Феофил? — спросил Аристов.

Кучер долго молчал. Потом влез на козлы и взял вожжи.

— Слева объедем, — сказал он.

Кони тронулись шагом. Кибитку сильно тряхнуло, кузов застонал и глубоко опустился в снег.

— Куда ты заехал, мошенник? куда? — закричал Аристов.

— А почем я знаю? — равнодушно возразил Феофил.

— А! каков? «Почем знаю?!» — какой же ты, бестия, кучер после этого.

— Кучер! нешто кучеру с попущеньем естества равняться возможно? Говорил: не надо ехать, пути нет, — так не послушали, а я чем виноват? я человек подневольный...

— Поговори, поговори у меня! завтра же расчет получишь!

— Вся ваша воля!..

— До завтра-то нас еще, может быть, и на свете не будет, — проворчал акцизный.

— Типун бы вам на язык! каркает же человек Бог знает что, да еще в такую минуту! — сердито прикрикнул Аристов и стал будить о. Викторина. — Батя, а батя! полно вам, вставайте!

— А? что? приехали?.. — забормотал священник.

— Приехали! как же! в сугробе сидим... да проснитесь же вы!

О. Викторин поднял голову, осмотрелся.

— Ну а я-то что ж тут поделаю? — развел руками он, фаталистически глядя в серую даль, пожал плечами, крепче завернулся в рясу и опять лег.

— Эка флегма ходячая! Сказал бы я тебе теплое словцо, не будь ты духовным лицом...

— Замерзнем! — со слезами в голосе пролепетал акцизный.

— Как есть! — невозмутимо отозвался с козел Феофил.

— Нет... у меня ряса теплая... — глухо прозвучало со дна кибитки.

Феофил три раза ходил искать дорогу и возвращался ни с чем, Аристов пил водку из дорожной фляжки и ругался, акцизный уныло молчал, о. Викторин храпел.

Так прошло минут десять. Вдруг со стороны долетели слабые, звенящие звуки... Кони подняли головы.

— Колокольчик, — живо сказал Феофил, зашевелив вожжами. — И кибитка, слышно, ухает... Но, милые! вывози на устреток!

— А, может, они тоже плутают, как и мы?..

— Все с людьми веселее.

Аристовский и дальний колокольчик стали перекликаться, словно аукаясь. Неизвестные ездоки тоже искали мартыновщинских гостей, но чужой колокольчик звучал ровнее, быстрее, увереннее: очевидно, незнакомцы ехали по твердой полосе. Свистом, гиканьем, перекликами, путники помогали звонкам, и наконец нашли друг друга, съехались.

— Кто такие? — раздался зычный окрик из чужой кибитки.

— А вы кто?

— Мы Сидорюки, мещане.

— Из города?

— В Мартыновщину, — не расслышав вопроса, дали ответ чужаки.

— Вот и мы туда же... попутчики, значит.

— Чудесное дело!

— Путь-то у вас есть ли?

— Есть. Езжайте за нами. До Мартыновщины четырех верст не осталось — дорога гладкая.

— Вот и выбрались! — засмеялся Аристов, хлопая озябшими руками в шерстяных варежках, — а вы уж и заныли! баба! — попрекнул он акцизного.

— И все-таки глупо, что мы поехали.

— Э! снявши голову, по волосам не плачут. Да и что мы потеряли? Дома мы сидели бы, скучали, дулись в шашки, нарезались бы рябиновки, а она у меня прескверная. У Антипа же повар отличный, вишневка изумительная, сам он сыграет нам на гитаре, а Фаинку... вы его Фаинку видали?

— Знаю. Тумба.

— А вам в курской деревне Венеру Медицейскую подай? Эх вы, баловники!.. Фаинку плясать заставим: мастер-баба на это. Что ж? не интересно, — скажете?

— Вот кабы мы замерзли или волки нас съели, был бы вам интерес!

— Если бы да кабы росли во рту грибы! Слушать тошно. Что за молодежь нынче стала! кисляй на кисляе!

— Что ж вы ругаетесь?

— Я не про вас, а так, вообще, факт констатирую. Возьмите меня или Савросеева: чем не молодцы? Крепыши!.. Страха не страшусь, смерти не боюсь!.. а мне за пятьдесят. В ваши годы я в прорубях купался, а о метелишках и волчишках и разговаривать бы постыдился.

— Я, признаться, о волках так только, к слову сказал. Я другого потрухивал. Говорят, Беглец по околотку бродит.

— Вот еще, куда его черт понесет в такую вьюгу? Он, хоть и каторжник, а все небось свою шкуру жалеет.

— Какие это Сидорюки с нами едут? — круто повернул разговор акцизный. — Я что-то не помню...

— Скупщики. У меня с ними дел не бывает, а слыхал про них; ездят по мужикам, по средним помещикам, маклачат. Хорошие люди, ничего, хвалят их. Да! так о Беглеце-то. Нечего сказать: наградил наш Антип Егорович округу этим сокровищем! сослужил службу!

— Право, даже странно: такое воплощенное добродушие, как Савросеев, и вдруг — довести человека до разбоя!

— Что ж делать, батенька? Тут любовь на сцене, а «любовь — она жестокая для сердец», — сказал какой-то писатель. Вы вот Фаинку тумбой величаете, и, точно, кроме пляски и жиру за ней заслуг не имеется, а Антип из-за нее наделал пошлостей и подлостей, а Матюшка-Беглец пошел из-за нее на каторгу.

— Он, говорят, был ее женихом?

— Нет, так женихались. Я даже полагаю, что и любить-то его она не любила. Любящая крестьянская девушка без крайней нужды своего парня не бросит и в экономки к старому холостяку не пойдет. А Фаина не из бедной семьи. Сам Беглец тогда на стену лез: отняли, опутали девчонку!.. А чего там отняли, опутали? Просто: «Не искал он, не страдал он, — серебром лишь побряцал он» — и готово! Возмечтала о себе, захотелось быть барыней, — ну, значит, и баста: «В дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди!»

— Чего вы сегодня в стихи пустились?

— Нельзя иначе: предмет такой... Хорошо-с... Совершился этот роман или, вернее сказать, первый том романа. Беглец ходит на деревне, как чумной, ругается, пьянствует, а Антип заперся в усадьбе со своей Еленой Прекрасной и тоже по адресу Беглеца немалую злобу пускает. Ибо, во-первых, боится, как бы Матюшка спьяну да со зла не пустил ему красного петуха, а во-вторых, ревнует свое золото, Фаиночку эту необыкновенную, к прежнему возлюбленному до умоисступления. Вдруг, мол, Фаина найдет, что у меня и нос красен, и белки с жилками, и под глазами мешки, как у Абдул-Азиса, плюнет на меня да — к старому дружку?.. А Беглец, скажу вам, малый хоть куда: цыганская этакая рожа, взгляд прямой, бойкий, плечища, грудища, силища!.. Думал-думал Савросеев, да и надумался перетолковать с овечьетопскими мироедами. Вот что, говорит, старички, давно вы подбирае-

тесь к моим заливным лужкам, а денег у вас нет; так я, радея вашей бедности, куда ни шло, подарю вам лужки. Но и вы меня потешьте: как хотите, а упраздните Матюшку из Мартыновщины. Старичков наших — мир этот прелестный — вы знаете: обрадовались! Матюшку, кстати, все они и сами недолюбливали: дерзкий малый был! — и принялись его допекать. А он что ни день, то больше дурит. Пришел как-то раз домой пьянее вина, стал бушевать. Дядя — его унимать, а он из этого дяди сгоряча только что котлет не наделал. Дядя — в волость. Вызывают Матюшку. «Ставь ведро!» — «Облопаетесь!» — «А? облопаемся? драть!» — «Не дамся!..» Пошла свалка, и... Матюшку угораздило как-то вырвать у волостного старшины ровно половину бороды... Сидя в холодной, Матюшка надумался, что дело его скверно, выломал решетку и бежал, на прощанье с Мартыновщиной подпалив свою собственную избу: полдеревни тогда выхватило пожаром. Недели через две преступника поймали в соседнем уезде, свезли в острог, судили и отправили в каторгу: по-чистому «виновен». Лет пять о нем не было ни слуха ни духа, а теперь он, «из дальних странствий возвратясь», опять объявился в наших краях уже не просто Матюшкой, а Матюшкой-Беглецом...

— На месте Савросеева я не мог бы спать спокойно, — заметил акцизный, зевая.

— Беглец в Мартыновщину не пойдет, если ему жизнь дорога, — возразил Аристов, — мартыновщиновцы помнят его красного петуха и пришибут его как собаку, только покажись он поблизости: с конокрадами и поджигателями у мира расправа короткая.

— Так-то так... А все-таки знаете... На грех мастера нет: подкрадется, как тать в нощи, да и того...

— Эх, не так страшен черт, как его малюют! Да, кроме того, и вообще, вряд ли Беглецу долго гулять. Вся полиция на ногах, травят его, как волка, совсем загнали: вот уже с месяц как ничего не слышно про его подвиги...

— Жесток он, говорят, режет...

— Да, не церемонится...

— Эге! слышите?

В перебое между двумя взвизгами метели в тылу у путников звякнул еще колокольчик, — яркого серебряного звона с тем характерным, немножко гнусавым плачем, какой услышишь лишь едучи на очень лихой тройке с очень лихим ямщиком...

— Кусковы, надо полагать, — отозвался акцизный, — больше с той стороны некому.

— Кусковы! где им... у них одры, им за нашими кониками не угнаться, особливо в такую кутерьму...

— А не Кусковы, — так уж не знаю кому и быть... добрых коней по дворянству сейчас в околотке больше ни у кого не осталось. Надо полагать, кабатчик какой опоздниился, тоже к Новому году домой спешит...

Задняя тройка догоняла. Слышно было уже, как фыркали, прибавляя бегу, кони и пели полозья... И вдруг — ух! Ни Аристов, ни акцизный ахнуть не успели, как кибитка их завалилась набок, сшибленная ударом перегнавшей их задней кибитки. А кони опять провалились выше колена в снег.

— Черти! — ругался Аристов, барахтаясь под свалившимся на него акцизным и неистово топча коленами сонного Викторина, который — спросонья не в силах разобрать, в чем дело — только испуганно мычал и бормотал...

Тройку Сидорюков проезжие тоже зацепили, но Сидорюки отделались счастливее — их не свалило. Они поворотили коней и выправили сбитых с пути компаньонов.

— Какие это идолы? какие подлецы? — кричал Аристов на всю степь с пеной у рта.

— Да мы окликали их, а им ништо! — говорил Сидорюк, — хохочут да гонят!..

— Ни люди, ни черти, прости Господи мое согрешение, — уныло ворчал Феофил, тщетно бродя вокруг кибитки в поисках за потерянным кнутом.

Всем стало как-то не по себе среди этой мутной ночи, таинственной, дикой и чудесной, после встречи с кем-то — не разберешь, с кем именно, но с грубым, сильным, нахальным...

— А это уж не... — начал было акцизный и осекся.

«А это уж не Беглец ли», — хотел он сказать, но вовремя догадался, что пугать сейчас народ не годится.

Вскоре из снежной мглы на путников тускло глянуло издалека что-то вроде красного глаза; это было итальянское окно мезонина в барском доме Мартыновщины.

Собаки глухо лаяли во дворах, чуя приближающиеся тройки.

* * *

Ужин кончился, на столе остались только вино, пиво и наливка. Застольники сдерживались, пока о. Викторин был между ними, но батюшка скоро ослабел, ушел в кабинет хозяина и заснул на диване; с его уходом новогодний пир быстро превратился в оргию. Аристов бренчал что-то на расстроенных дедовских клавикордах, Савросеев как попало щипал струны гитары и сиплым голосом выводил «Барыню», скупщик Сидорюк — испитой рыжий мещанин с робкими манерами и растерянным выражением лица, плясал с экономкой Фаиной «русскую». Акцизный, сильно «на взводе», был в восторге и совершенно разошелся: топал ногами, крутил, точно конь, головой, щелкал пальцами, гикал...

— А вы ехать не хотели! — поминутно попрекал его Аристов.

— Ах, не поминайте, пожалуйста... глупости... — отмахивался акцизный, влюбленно вглядываясь в Фаину — большую пышную женщину, в шелковом платье, с грубоватым и не особенно красивым, но задорным лицом.

Меньшой брат Сидорюка, широкоплечий гигант, спал за столом, опустив могучую голову на тарелку с ореховой скорлупой. Неподалеку от него сидел попутчик, взятый Сидорюками из города, чужак, васильсурский мещанин, приехавший в курскую глушь разыскивать родных — крепкий мужчина с простоватым лицом; ему было лет за сорок: русая голова и рыжая борода же сильно серебрились. Он был не пьян и смотрел на подгулявшую компанию робко и конфузливо.

— Онисим... или как тебя там? Вукол... Карп... черт-дьявол! — кричал Савросеев. — Что ты, братец, совой сидишь? пей!

— Пью-с, Антип Егорович; не извольте беспокоиться, много довольны вашей лаской... — поспешно возражал мещанин, застенчиво срываясь с места.

— Сиди, сиди!.. — благосклонно увещевал Савросеев, — я, брат, не гнушаюсь, я со всеми как с ровней. Ты меня в первый раз видишь, так не знаешь моих привычек, а вот Сидорюк подтвердит. Сидорюк! горд я?

— Ни в жизнь! — отвечал Сидорюк, яростно выделывая па.

— Жги-жги-жги!.. плавай! — командовал Фаине Аристов.

— Пре-е-лестно! бе-е-сподобно! фея... фея! — коснеющим языком бормотал умиленный акцизный.

Через полчаса он был пьян до галлюцинаций. Внезапно вытаращил глаза и стал неверною рукою в воздухе совать по направлению к окну.

— Ро... рожа... посмотрите: там... какая рожа, — лепетал он, указывая на прорезь ставни...

Но его уже никто не слушал.

* * *

Сонная тишь. Кто из гостей был в состоянии добраться до отведенных на ночлег комнат, покоятся на постелях; васильсурский мещанин лег трупом на самом поле битвы с Бахусом. Савросеев не спит: когда он пьет много вина, то долго

не засыпает; он лежит навзничь в постели, тупо смотрит на пламя ночника, слушает шорох мышей за обоями, треск запечного сверчка, стон болтов и скрип ставен под напором метели. Слушает, — и чудится ему, что в доме у него завелось что-то чужое, неладное... какие-то подозрительные скрипы, взвизги и шорохи, не то мебель двигают, не то болт в ставне вынимают... ходит кто-то быстрой и легкой походкой, словно домовой танцует по половицам...

— Фаина! Фаина! — вскрикивает он.

А в ответ — в столовой вздох, бормотанье, падение чего-то тяжелого.

— Да что ж это за чертовщина, наконец?

Савросеев садится на постели и долго ищет туфли. Из щели под дверью на него тянет, как со двора, морозным ветром, пламя ночника мигает, дрожит и делает страшные тени на обоях...

Дверь спальни тихо приотворилась, и на пороге выросла богатырская фигура васильсурского мещанина.

— Что тебе, Вукол? Чего не спишь?

Но Вукол делает шаг вперед. Странная улыбка расплывается у него на лице... Савросееву делается жутко: черты смирного мещанина кажутся ему не такими добрыми и глупыми, как недавно — в столовой.

И... что ж это? Не сон ли? Вукол отстраняется от двери, равнодушно прислонившись к косяку, а в полумраке из-за него выдвигается кто-то другой, весь в снегу и инее, с сосульками на усах и бороде. На Антипа Егоровича точно плывет по воздуху давно знакомое ненавистное цыганское лицо, красивое, грозное, злобно-насмешливое.

— С Новым годом, с новым здоровьем, барин! — слышит Савросеев глумливый привет.

Слышит, хочет понять — и не понимает...

— Что, сударь? Не ушел от Матюши? Достал я тебя?..

Савросеев молчит и трясется. Ни силы защищаться, ни голоса звать на помощь: слишком неожиданно явилась к нему

смерть. А что это — смерть, неминучая и беспощадная, старику ясно по каждой черточке в холодном и спокойном лице разбойника, по острому блеску его цыганских глаз, по жестокой улыбке, играющей на его губах, по той кошачьей небрежности, с какою Матюшка облокотился на спинку дубовой кровати и в упор рассматривает свою жертву — так близко, что Антип Егорович чувствует его дыхание на своем лице... Савросеев хочет перекреститься, но к рукам у него как будто приросли десятипудовые гири, и, против воли неподвижный, он мутно и бессмысленно, словно приведенное на убой животное, глядит в пространство, издавая искривленными губами беззвучный и бессвязный лепет... С лица Матюшки сбежала улыбка, губы его побелели и задрожали, он стал как будто и выше ростом, и шире в плечах.

— Ну, Антип Егорович, господин Савросеев, — медленно сказал он, тяжело и глубоко дыша, — первым делом теперича подай мне свои ключики, а вторым делом — стану я с тобой, злодеем, про обиду мою разговаривать. С любушкой твоей мы уже поговорили... Довольна... Вукол! бери его! приступай!..

* * *

Утром, когда Аристов поднял от подушки тяжелую голову, яркий свет ударил ему в глаза. Метели как не бывало, за окном далеко кругом лежала необозримая снежная равнина, сплошь розовая в лучах раннего солнца. Розовый свет на белых обоях мезонина, розовые узоры на обледеневших окнах. Избушки курились, и дым прямым столбом тянуло к безоблачному небу. Безветрие и холод. В доме мертвая тишь.

Аристов сунул ноги в туфли и спустился из мезонина во второй этаж, где была спальня Савросеева. Резким холодом потянуло ему навстречу из столовой, где вчера совершалась попойка. Он вошел и обомлел перед вывороченным окном, у которого ночная метель успела набросать громадный, в уро-

вень с подоконником, сугроб.

— Разбой! — заорал он не своим голосом и переполошил весь дом.

Вошли в спальню Савросеева. Помещик лежал поперек кровати навзничь, касаясь пола запрокинутой, почти что напрочь отрезанной головой... Выражение мертвого лица было ужасно. Видно было, что над стариком долго и мучительно потешались, прежде чем покончили мстительную игру!.. Бросились искать Фаину и нашли — под тем сугробом, что намела за ночь в открытое окно вьюга.

Чьею работою было это преступление, всем было ясно, но — как оно совершилось? Напрасно переглядывались все, в ужасе и недоумении... И куда пропали убийцы? Розовая степь кругом лежала мирная, улыбающаяся, безответная.

С дикою ночною метелью прокралась смерть в Мартыновщину и с дикою ночною метелью умчалась из нее. Умчалась и все следы за собой, как помелом, замела...

СИБИРСКАЯ БЫЛИНА О ГЕНЕРАЛЕ ПЕСТЕЛЕ И МЕЩАНИНЕ САЛАМАТОВЕ

(1818 г.)

События, воспеваемые этою былиною, не вымышлены. Генерал-губернатор Пестель, последний «вицерой» Сибири, управлял ею 14 лет (сменен в 1819 году). Он жил в Петербурге, а краем фактически управлял иркутский губернатор Трескин, которому Пестель слепо верил. Это был человек весьма энергичный, но страшно и ненужно жестокий, грубый, нечистый на руку. Таковых же подбирал он и служащих. Между последними в особенности прославился свирепостью и взяточничеством исправник Лоскутов. Эта

камарилья превратила Сибирь в ад для обывателей, особенно для богатого купечества. Административный террор, созданный Пестелем и Трескиным, был тем ужаснее, что, пользуясь покровительством Аракчеева, Пестель сумел обезопасить себя от жалоб в Петербурге. Челобитья перехватывались агентами Трескина в Сибири или Пестеля в Петербурге, а челобитчиков постигало жестокое мщение. Так пострадали за попытки жаловаться на Пестеля и Трескина генерал Куткин, губернаторы Хвостов (тобольский) и Корнилов (томский), купцы Сибиряковы, Передовщиков, Мыльников, Дуборовский, Киселев, Полуянов, титулярный советник Петухов, председатель и прокуратор уголовной палаты Гарновский и Петров, монголист Игумнов. «Енисейский городничий катался по городу на чиновниках за то, что они осмелились написать просьбу об его смене» (Корф). «Лоскутов дошел до такой необузданности и смелости, что высек нижнеудинского протоиерея Орлова плетьми» (Ядринцев). Все эти ужасы создали наконец самоотверженного героя-избавителя, в лице скромного иркутского мещанина Саламатова, который в 1818 году отправился через Китай, сибирскую тайгу и киргизские степи в Россию, добился в Петербурге личной аудиенции у императора Александра I и объяснил ему тяжкое положение сибирских дел. Подав донос, Саламатов вместо награды просил государя: «Прикажите меня убить, чтобы избавить от тиранства Пестеля». Александр был потрясен. По его личному повелению, Саламатов был отдан на особую ответственность петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу. Дальнейшая судьба Саламатова неизвестна. Бескорыстный гражданский подвиг его дал сильный толчок вопросу о ревизии Сибири и реформе ее управления. В 1819 году Пестель отставлен от должности, и начинается знаменитая ревизия Сперанского, уничтожившая Трескина, его систему, его любимцев Лоскутовых, хотя все эти господа очень дешево поплатились за свои неистовства. Подвиг скромного Саламатова не умер в памяти сибирских старожилов.

* * *

О Боже, Спас Милостивый,
Пресвятая Богородица Алабацкая!
До сю пору жили, беды не ведали, —
Теперя беда на воротях висит,
До сю пору с горем не знавалися, —
Теперя горе во штях едим.
Господь на Сибирь прогневался,
Опалил на Сибирь сердце царское,
Послал на Сибирь злого начальника
Генерала Пестелева.
Он Божьим храмам не крестится,
Царскому имени не чествует *),
Цареву казну в разор зорит,
Соромит люди почетны,
Мещанов, купцов в щеку бьет,
В щеку бьет, в кандалы кует.
Сходились люди почестные,
Собирались купцы сибирские,
Иркутские, томские, тобольские:
Сибиряковы, Передовщиковы,
Петуховы, Киселевы, Трапезниковы,
Они сходились купцы во единый круг,
Они думу думали за единый дух.
— То ли нам, купцам, на свете не жить,
То ли нам, купцам, до веку тужить
От злого начальника
Генерала Пестелева?
А вольно купцам на свете жить,
А негоже купцам до веку тужить.
Гнали купцы мальца в Гостиный двор,
Брали бумагу золотой обрез,
Ярлык скорописчатый,
Писали слезную грамоту,
По-нашему, сибирскому, кляузу,
На злого начальника
Генерала Пестелева.
Созывали купцы бойцов-гонцов **).
Бойцов-гонцов со всиех концов, —
Везли бы гонцы грамоту,
Ярлык скорописчатый,

*) Зерцалу.
**) Боец-домохозяин, глава семьи, плательщик податей.

От славного города Иркутскова
До славного города Питера,
В саморуки его царскому величеству
Государю императору
Александру Павловичу.
— Не вели казнить, вели челом бить,
Челом бить, слово вымолвить!
А мы, твои купцы сибирские,
Иркутские, томские, тобольские,
Твоему царскому величеству слуги верные,
Головы поклонные,
Речи не супротивные...
А все мы на твоей воле живем,
Твоего царского величества.
За что на нас прогневался,
Опалил сердце царское,
Послал нам злого начальника
Генерала Пестелева?
Он Божьим храмам не крестится,
Царскому имени не чествует,
Цареву казну в разор зорит,
Соромит люди почестные,
Мещанов, купцов в щеку бьет,
В щеку бьет, в кандалы кует,
В кандалы кует, правеж правит
По базарам, майданам, ярмонкам.
А горя купцам навек продано,
А слез купцами навек куплено!
А еще генерал Пестелев,
С Трескиным-губернатором,
Скурлатом немилостивым,
Да с лютым исправником Лóскутовым,
Остыдили дома купецкие,
Осрамили дочери отецкие,
Сняли с девок закон родительский.
Которая девка в возрасте,
Которая девка на выданье,
Велят девку в набор верстать,
В набор верстать — замуж венчать,
Не спрося отца-матери.
А кому купцам чада отдать?
А кому купцам зяти звать?
Отдать чада в люди навозные *),

*) Навозный — ссыльный, привезенный из России.

Звать зятьями воры-посельщики,
Варнаки, шпанцы приблудные.
А того дела от веку не слыхано,
У святых отцов не благословлено,
В царском законе не показано.
Горюшком девки ряжены,
Бедою обуваются,
Стыдобою русы косы чешут *).
А еще генерал Пестелев,
С Трескиным-губернатором,
Скурлатом немилостивым,
Да с лютым исправником Лóскутовым
Хитят твою царскую худóбицу:
Которо золото — на себя пишут,
Которы руды — на себя роют,
Который соболь — себе шубу шьют,
Которо вино — на свой хабар берут,
Убытчат кабаки государевы,
Кабалят люди вольные,
Ямские, трактовые **).
Как слышит-прослышит генерал Пестелев,
Что собирались купцы сибирские,
Иркутские, томские, тобольские,
Писали слезную грамоту,
Посылали гонцов-бойцов
До славного города Питера
В саморуки его царскому величеству
Государю императору
Александру Павловичу.
Возгрянет-возгаркнет генерал Пестелев
К Трескину-губернатору,
Скурлату немилостивому,
Да к лютому исправнику Лóскутову:
— Ой вы мои слуги верные!
До сю пору мы страха не видывали,
А ноне страх в глаза глядит.
Коли царь сибирския правды дознается,
Сказнить-срубить — будет, — нам буйны головы.
А было нам гонцов-бойцов поймать-словить,

*) Слух о насильственной выдаче вольных сибирячек за ссыльных был пущен самим Трескиным или его ближайшими сотрудниками с целями вымогательства.

**) Обвинения эти действительно содержатся в жалобах на Пестеля, Трескина и др.

А было купцов в острог посадить,
Ковать в кандалы крепкие,
За решетки железные.
Губернатор Трескин, скурлат немилостивый,
Со лютым исправником Лóскутовым,
В те поры были догадливы:
Скакали-метались на Енисей-реку,
Поймали-словили гонцов-бойцов,
Схватили-связали отцов-купцов,
Ковали в кандалы крепкие,
Сажали за решетки железные
С ворами, разбойниками,
Варнаками, шпанцами *).
Гонцы-бойцы по острогам сидят,
Отцы-купцы кандалами гремят,
А генерал Пестелев
С Трескиным-губернатором,
Скурлатом немилостивым,
Да лютым исправником Лóскутовым,
Плюют купцам в бороды,
В глаза надсмехаются:
— Вам ли купцам на меня ятися?
Вам ли супротивничать?
Хочу, — купцом вошей кормлю,
Хочу, — купца в прорубь сажу!
Вас, купцов, Бог забыл,
Бог забыл, царь не милует.
А все вы, купцы, мошенники,
Сутяжники, злые ябедники.
Снаряжу я, генерал Пестелев,
Караулы-команды строгие,
Поставлю заставы крепкие,
Рогатки железные
Круг-покруг Иркутскова, Нерчинскова,
Красноярскова, Томскова, Тобольскова,
Енисейскова, Барнаул-города.
А не станет вам, купцам, хода-выхода,
А не будет вам писать ябеды,
А не будет посылать гонцы-бойцы
До славного города Питера
В саморуки его царскому величеству
Государю императору

*) Острожниками.

Александру Павловичу.
Не видать свиньям солнца на небе,
Не дойти купцам в палаты царские.
В те поры купцы сибирские,
Иркутские, томские, тобольские:
Сибиряковы, Передовщиковы,
Киселевы, Петуховы, Трапезниковы, —
Они были догадливы:
Сходились во един круг,
Думали думу за един дух,
Новили слезную грамоту,
Выкликали охотника:
— А и кто у нас гонец-боец —
Пройдтит караулы строгие,
Заставы-шланбомы крепкие,
Рогатки железные?
Отвезти слезную грамоту,
Челобитье сибирское,
До славного города Питера
В саморуки его царскому величеству
Государю императору
Александру Павловичу?
Все бойцы-гонцы призадумались,
Призадумались, приужахнулись,
Друг за дружку прячутся.
Один боец слово вымолвил:
— Не бывать удалому охотнику
Супротив Михайлы Саламатова.
А родом Михайло — мещанский сын,
Из Иркутскова города,
Слободы Заречные.
— Ой ты Михайло Саламатов, мещанский сын!
А и чем нам, купцам, тебя, Михайлу, жаловать,
Прошел бы ты, Михайло, караулы строгие,
Заставы-шланбомы крепкие,
Рогатки железные?
Отвез бы, Михайло, слезную грамоту
Его царскому величеству
На злого начальника
Генерала Пестелева,
С Трескиным-губернатором,
Скурлатом немилостивым,
Да с лютым исправником Ло́скутовым?
Мы-те, Михайле Саламатову,
Сошьем шубу соболиную,

Шапку бобровую,
Еще дадим меру золота,
Меру серебра,
Меру скатного жемчуга,
Цветного каменья по душе бери.
Не труба золотая грянула,
Не звоны серебряные звякнули,
Не варганы взварганили, —
Возговорил Михайло Саламатов, мещанский сын:
— Не хочу каменья-жемчуга,
Не возьму меру золота,
Не приму меру серебра,
Не надоть Мишуте шубы соболиныя,
Шапки бобровыя, —
А то мне, Мишуте, надобе:
Помогли бы Спас Милостивый,
Пресвятая Богородица Абалацкая!
А мы от миру не отказчики,
А мы за мир стояльщики:
Ехать мне, Мишуте, гонцом-бойцом
К его царскому величеству
Государю императору
Александру Павловичу!
Хоть и не жить — беду доложить
Про злого начальника
Генерала Пестелева,
Трескина-губернатора,
Скурлата немилостива,
Про лютова исправника Лóскутова.
На обед Саламатов коня кормил,
В полуночь Саламатов коня седлал,
В глухую ночь со двора съехал.
Уздечка у Мишуты в пятьдесят рублей,
Седельцо под Мишуткою в пятьсот рублей,
Коню под Мишутою цены нет:
Плачены многие тысячи.
Проехал Мишута караулы строгие,
Заставы-шланбомы крепкие,
Рогатки железные:
Команды Мишуту не учуяли,
Заставы Мишуту продремили,
Рогатные казаки глазами прохлопали.
Скочил Мишута на Свято-море,
На славный Байкал-озеро,
Со Свята-моря на Шилку-реку,

С Шилки-реки на Амур-реку,
С Амур-реки в Китай-пески.
Ехал Мишута три года,
Три года, три месяца,
Три месяца да три дня,
Три дня да три часа,
Три часа с тремя минутами.
Он ехал, с седельца не слазивал,
На мать сыру-землю не прилягивал.
Ехал Мишута песками китайскими,
Ехал Мишута лесами сибирскими.
Ему частыя звездочки посвечивали,
Его дикие звери не трогали,
Киргиз-народ не обидели.
Приехал Мишута на Яик-реку,
С Яик-реки на Волгу-реку,
С Волги-реки на Москву-реку (sic!).
Ко славному городу Питеру, —
Бил челом его царскому величеству
Государю императору
Александру Павловичу
На злого начальника
Генерала Пестелева
С Трескиным-губернатором,
Скурлатом немилостивым,
Да с лютым исправником Ло́скутовым.
Как принял его царское величество
Государь император Александр Павлович
Бумагу золотой обрез,
Ярлык скорописчатый,
Челобитье сибирское —
Опечалился государь, затуманился,
Повесил на правое плечо головушку,
Уронил слезу жемчужную
На шелковую бороду (sic!).
— Ахти мне, купцы сибирские,
Иркутские, томские, тобольские!
А вы мне, царю, до сердца дошли!
Досюль я правды сибирския не видывал,
А ноне правда — жива — в глазах стоит,
В глазах стоит, слезу точит,
Кулаком утирается.
Исполать тебе, Михайло, Саламатов сын,
Что довез ты слезную грамоту,
Таё ли правду сибирскую.

Еще чем тебя, Михайлу, жаловать?
Дам тебе, Михайле, шубу соболиную,
Шапку бобровую,
Меру красна золота,
Меру чиста серебра,
Меру скатного жемчуга,
Цветного каменья по душе бери.
Еще тебя, Михайлу, пожалую:
Садись, Михайло, со мною за один стол,
Ешь со мною с одного блюда,
Пей вино из одного стаканчика! —
Чтобы знали все люди русские,
Каково царь правду чествует!
Отвечал Михайло, Саламатов сын:
— Я на жалованье благодарствую,
На почестье поклон кладу,
Целую руку царскую.
Не надоть мне шубы соболиныя,
Шапки бобровыя,
Красного золота,
Чистого серебра,
Цветного каменья, скатного жемчуга.
Я на жалованье благодарствую,
На почестье поклон кладу,
Целую руку царскую.
Не сумею, мужик, за царским столом сидеть,
Оробею, мужик, есть с блюда царского,
Пить вино из стакана государева.
Я на жалованье благодарствую,
На почестье поклон кладу,
Целую руку царскую.
Ты пожалуй меня, православный царь,
Твое царское величество
Государь Александр Павлович!

ПРОКОПИЙ

I

Жил был в стародавние времена некий человек, по имени Прокопий.

Жил он в новгородской земле — в лесной глуши, на краю обширного болота. От леса к болоту падал невысокий глинистый яр; в яру Прокопий вырыл пещеру и укрылся в ней на подвиг.

Прошло десять лет, и во все десять лет Прокопий не видал человеческого лица. Людей на Руси было в то время немного, а лес окружал отшельника великий. Болотная топь была непроходима от ранней весны до поздней осени, зимою же, — хотя и можно бы перебежать на лыжах замерзшую трясину, да было некому — и незачем.

Тяжелы были зимы в лесу. Зверье донимало отшельника. Морозными ночами в яру и над яром выли тысячи голодных голосов, иногда таких ужасных и унылых, что Прокопий слушал и крестился, недоумевая: отощалые ли волки это стонут, или злобятся и неистовствуют нечистые духи дремучего леса, выживая из матери-пустыни его, смиренного служителя Вышнего Бога. Каждый вечер чуть падали сумерки, Прокопий спешил задвинуть дверцу своей землянки тяжелыми засовами, да еще приваливал к ней огромные камни и дубовые чурбаны. Потому что не раз в то время как он, стоя на правиле, коленопреклоненный, в власянице и веригах, читал покаянный канон Андрея Критского, за стенами землянки фыркал, рычал и царапался в дверь матерый медведь. И Прокопий со вздохом оставлял четки, поднимался с рассыпанных перед аналоем мелких голышей, на которые, читая молитвы, становился он голыми коленами, и брал в руки топор или дубину.

Бес искушал Прокопия: пугал его воплем, дикими видениями, представлялся ему то змеем, то эфиопом. Не раз пустынник слышал, как леший хохотал и плескал руками над яром; не раз и видал, как он — головою вровень с высокими дубами — бродил по своему зеленому царству. Когда туман вставал от болота и расползался по лесу, серебримый луною, из-под его прозрачной дымки улыбались пустыннику и сверкали на него изумрудными очами русалки — бледные

девы с молочным телом, зелеными волосами и томным взором изумрудных очей. Однажды бес явился к Прокопию у самой землянки его в самом пагубном своем виде — во образе красивой молодицы. Дьяволица притворялась, будто она вне себя от страха, стонала и плакала: грибов, вишь ты, вышла она искать с утра, да потеряла дорогу, леший ее обошел, куда идти не знает, — всюду лесище.

Но Прокопий прозрел дьявольское искушение, — перекрестился и ударом наотмашь столкнул бесовскую прелестницу с вершины яра в болото, где нечистый и утоп, застонав, как человек в беде смертной.

Еще больше, чем призраками и видениями, смущал Прокопия бес суетными мыслями. Иной раз отшельника начинало тянуть в мир. Воображение разгоралось огнем, и вот вставало в памяти Прокопия шумное новгородское вече, Волхов, Святая София, тысячи народа, брань, звон оружия, распаленные задором лица, гул набата, трупы, брошенные с высоких мостов в никогда не замерзающие волховские волны. Вставало в памяти и море, покрытое кораблями; пестрые вымпелы, пузатые паруса, кладовки, полные кадками с жемчугом, кипами парчи и аксамита. Припоминались буйные ушкуйничьи набеги молодых лет: Поволжье в пламени, кровь озером, вино рекою, пленные толстоногие мордовки и чувашенки в расшитых красною шерстью рубахах, невольничьи базары в басурманском Низовье... Память дразнила и соблазняла, душа тосковала, возмущалась, злобствовала, бунтовалась, воля слабела. Сомнения нападали. До того одолевал хитрый бес, что иногда Прокопий даже думал: «А что если молодица эта, которую я в трясине утопил, была не сатана, а и впрямь — живая молодица?»

И от мысли этой нападал на него страх такой, что даже до трясения тела. Но подвижник знал, как надо бороться с опасными отголосками мирской суеты. Если стояло летнее время, он уходил в болото и отдавал свою плоть на съе-

дение комарам и мошкам до тех пор, пока не умолкал голос плоти. Зимою же он открывал дверь своей кельи, ложился голым телом в сугроб, подставлял спину метели и морозу.

Летом Прокопий собирал грибы и ягоды и, подобно векше, делал на зиму запасы орехов, желудей, сушеной кислицы. Хлеба он не имел и давно уже забыл вкус мяса. Не раз приходилось ему спорить с медведем за соты диких пчел. Воду Прокопий брал из болота. Вода была стоячая, ржавела в летние жары, и Прокопий болел от ее употребления. Зимою он утолял жажду талым снегом.

Как-то раз Прокопию случилось найти в лесу большое городище: широкий майдан, с валом, буграми, ямами. Посмотрел пустынник на майдан, на деревья, которые его зарастили, и подумал: «Дубы в два обхвата, каждому сто, двести лет... а ведь вот — когда-то здесь жили люди!.. Теперь же даже памяти не осталось, кто они были, откуда пришли, что с ними сталось, — и люди думают, что этот лес — вековечный и что никогда не было в его дебрях человеческой ноги. Так пройдет когда-нибудь и Великий Новгород, и слава о нем тоже исчезнет из мира, лес оденет его развалины, земля их прикроет и затянет зеленым дерном. И вот на его кладбище, как и здесь, звери пустыни будут встречаться с дикими кошками и лешие будут перекликаться один с другим; будет отдыхать ночное привидение, гнездиться летучий змей с детеньшами, коршуны повьют гнезда... Придет на это запустение человек и тоже будет удивляться: что это за остатки такие? какого они народа, какого забытого стародавнего века?»

Подумал тоже Прокопий: «Там, где жили люди, должна быть хорошая вода».

И, сделав щуп из орешника, стал пытать землю: воды не нашел, зато открыл клад — великую кучу золота и серебра в кожаном мехе. Нашел и оставил лежать в земле, потому что, считая золото и всякое богатство грехом и злом, не хотел к нему даже прикоснуться.

II

Зимним ранним утром Прокопий вышел из кельи, посмотрел на снег, испещренный следами зверей, и стал на молитву... Утро стояло ясное, морозное; с высоты яра далеко было видно по гладкому, как скатерть, болоту. И вот в его белой и блестящей, как серебро, дали показалась черная точка — стала расти и выросла в громадного человека, охотника, с луком и колчаном. Прямо на Прокопия бежал он на узорчатых лыжах...

Встретились они — и изумились оба до того, что как бы онемели: Прокопий удивился, что видит человека в глуши, куда десять лет никто не заглядывал, кроме медведей и леших, охотник изумился странному виду одичалого отшельника, его волосам и бороде, рубищу и веригам.

— Не бес ли ты? — спросил Прокопий.

— Нет, — говорит охотник и перекрестился.

— Если не бес, так кто же ты и зачем пожаловал в мою пустыньку?

Говорит охотник:

— Зовут меня Мстиславом. Я князь на Торопце. А ныне призвала меня Святая София в Новгород чинить суд и расправу и оборонять ее от врагов... А попал я в твою пустыньку тем случаем, что вышел на звериный лов, промышляя сохатого, был в немалой кручине, задумался, да за печалью и мыслями и потерял тропу... Обступил меня бор, и обошел леший; целые сутки блуждал я по чащам, пока не вышел к поляне и издали не зазрил тебя. Пропасть бы мне в лесу без покаяния, кабы не Божья милость да не теплый кожух...

Прокопий накормил, обогрел, успокоил князя, а когда тот поотдохнул, указал ему путь-дорогу, как выйти из леса. Говорил князь по пути:

— Хорошо тебе в пустыне, старче! Живешь ты в труде и молитве, со спокойной душой; Бог над тобою, ты под Богом — вот и весь твой ответ! Ни мир к тебе, ни ты к миру! А мы в миру,

как в котле, кипим... Куда уж до святой жизни — хоть бы греха-то поменьше! тянут нас суетные дела и заботы на адское дно, как гири, привязанные к ногам! И на том свете похвалы нам не будет, и на сем радость невеликая!..

Прокопий ему на это сказал:

— Разве ты такой грешный человек?

— Не знаю, — возразил князь, — очень ли я грешный человек, а вот что я огорченный человек, это я знаю.

— Чем же ты огорчен?

— Тем, что я взял за себя Великий Новгород — тягу страшную, а силы мои слабы, и боюсь я, что не совладеть мне, не управить Святую Софию...

— Ты человек нестарый, сильный и бодрый, — заметил Прокопий, — грех тебе унывать...

— Когда мне приходится бороться с силою человеческой, я и не унываю, — смиренно ответствовал князь, — выйди-ка, святой отец, из леса да послушай: по всей Руси идет слава, как я, во славу Святой Софии, разгромил суздальцев... А теперь забрался к нам враг без костей и мяса, — ничего с ним не поделаешь.

— Какой же это враг?

— Голод. По всей новгородской земле недород. Хлеба нету; была война, — людишки поистратили животы; а после войны, известное дело, ребят родится много... матери по селам воймя-воют: сами сидят не евши, груди повысохли, — чем ребят кормить?..

— Это за грехи, — сказал Прокопий.

— Известно, за грехи, да все жаль...

— Терпеть надо.

— И это верно ты говоришь, а жаль... И мне, князю, горше всех: болеет мой народушко, пухнет, мрет, а гляди на эту напасть сложа руки! Я князь небогатый, — последнюю сорочку рад снять с себя и отдать своим огнищанам, но на сорочку много не искупишь и весь край не накормишь, а оп-

ричь сорочки, что есть у меня? Я всю жизнь езжу по русской земле из края в край, из города в город, куда зовут меня, для суда и порядка... где уж было мне собирать казну? Сколько мог, поддержал новгородцев своим зажитком, только он в их-нюю беду канул как капля воды на пожар... а на большее нету моей силы...

В таких разговорах прошли они дремучий лес. На опушке Прокопий благословил князя и расстался с ним. Князь побежал на лыжах к людям, к жилью, а пустынник поплелся обратно в свою одинокую келью, в глушь, к зверям и злым духам пустыни...

III

Прокопий был человек бывалый. В миру он много видел и пережил вместе с Господином Великим Новгородом: междоусобия, войны, моровую язву, несколько голодовок, — в те времена они были часты на Руси. Рассказал ему князь Мстислав про голодную беду, и вот застонало у него сердце от воспоминаний, и душа его стала не спокойна и не способна к тихой мысли, бесстрастию и молитве. Огляделся Прокопий в своей келье: бедно, убого, а все у него есть, — и грибы сушеные, и мед, и орехи, — с голоду нельзя пропасть! А там — за лесною опушкою, пропадают: князь говорит, — болеет народушко, пухнет, помирает...

Раздумался Прокопий; все пуще и пуще — точно сумерками — окружали его сердобольные мысли печалью за новгородцев, и вскоре ему сделалось и стыдно, и нестерпимо сидеть в глуши, не разделяя участи своих погибающих земляков, не стараясь помочь им хоть добрым словом, коли нечем больше.

Подумал Прокопий: нечем больше, и вдруг память его прояснилась, и он вспомнил о кладе, который нашел он по весне на лесном городище.

Обрадовался Прокопий, достал из земли сокровище, наполнил золотом дорожную торбу и ушел из леса — искать в Новгороде князя Мстислава Торопецкого, чтобы заодно с ним порадеть родной земле в ее несчастье.

Князь Мстислав очень изумился, когда увидал перед собою Прокопия, растрогался его даром и поклонился ему до земли.

— Что я могу сделать для тебя в отплату за это?

— Ничего мне не надо. Прощай! — сказал Прокопий и хотел уйти, но Мстислав удержал его.

— Ты, святой человек, достоин великой чести, и худо будет мне, если я тебе не воздам ее перед всеми новгородскими людьми... Завтра, после обеден, я велю созвонить вече и буду кланяться тебе на твоем добре!

Прокопий возразил:

— Завтра великий праздник — Рождество Христа Спаса... Ему и кланяйся, а не мне, рабу, смердящему грехами. И молю тебя — пусть никто не узнает вовеки, зачем я был у тебя и что тебе передал. Тайно пришел я в Новгород, тайно и уйду из него. Ты мирской человек и лучше меня употребишь это золото, покупая хлеб у иноземных купцов и наделяя им голодных, а я, в пустыне, буду молиться за тебя, как могу и верую...

Князь сказал:

— Отче, ты не хочешь остаться с нами?

— Не могу. Отвык я от мира: дико и жутко мне в нем. И я людям страшен, и мне люди страшны.

— Останься, по крайней мере, до завтра, чтобы встретить с нами великий праздник. Как проживешь ты такой день без божественной службы?

Прокопий омрачился и сказал:

— Знай, князь, что я великий грешник, и на мне лежит эпитимья... недостоин я стоять ниже́ на паперти Святой Софии...

И, сколько ни останавливал его князь Мстислав, ушел. Когда он выходил из Новгорода, уже падали сумерки, и гул колоколов возвещал во все концы города славу рождающегося Христа.

Прошло довольно времени прежде, чем Прокопий, оставя за собой новгородские предместья, добрел до первого после них людского поселка — тихой, придорожной деревушки. Прокопий устал и прозяб. Ночь лежала черная, как сажа: небо — без луны, с одними звездами, холодное и угрюмое. Прокопий не жалел, что, глядя на ночь, ушел из Новгорода от княжеской ласки, но невольно думал, что если не найдет себе скорого ночлега, то ночь грозит ему большой бедой, а, пожалуй, и смертью: и мороз, и волк, и лютый человек страшнее и сильнее в ночную пору, чем при свете дня. Деревушка спала. Ни блестки света не было в затянутых бычачьим пузырем отдушинах, заменявших черным избам окна. Прокопий стучался в избы, но напрасно.

— Конный или пеший? — спрашивали его неприветливые хозяева.

— Пеший.

— Как же случилось, что ты в такой день опоздился в дороге? — недоверчиво возражали ему, — должно быть, не с добром ты пришел к нам... ступай — постучись к соседям, а мы тебе не отворим.

Соседи спрашивали Прокопия:

— Что ты дашь нам, если мы впустим тебя на ночлег?

— У меня нет ничего кроме рубища, что на мне надето.

— Значит, ты бродяга и нищий. Проходи. Мы сами нищие... нас и без тебя довольно в избе!

В других избах Прокопий не добился и такого ответа: хозяева спали крепким сном и не слыхали стука и молений бесприютного путника. Высмотрев у одной избы высокое крыльцо с навесом, Прокопий решил переночевать под его ступеньками, чтобы хоть сколько-нибудь оградить себя от ночной стужи. Но

под крыльцом, на соломе, спала громадная овчарка с щенятами. Она грозно зарычала на незваного гостя и, напав на Прокопия, лаяла на него, рвала его рубище, кусала его икры до тех пор, пока не прогнала его далеко от деревушки, в мрак и холод святочной ночи. Большая Медведица с семью яркими, точно прозрачными звездами своими указала Прокопию, что еще много часов будет царить над землею холодная, неприветная тьма, и далеко-далеко до света. А мороз крепчал. Ветер, тихий до полуночи, вырос и переменил направление: задул с севера.

— Пропаду! — решил Прокопий, — да будет воля Божия!

И он лег на снег, закрыл глаза и стал читать себе отходную...

IV

Когда Прокопий открыл глаза, небо, недавно еще такое темное и угрюмое, было полно блеска. На севере пылало огненное пятно, и, как лучи от солнца, бежали от него к зениту белые, красные, зеленые столбы. Небо, казалось, трепетало от их быстрого бега, гнулось под их бесконечными переливами. Лучи менялись в них, набегая друг на друга, как волны в море, такие же спешные, зыбкие, непостоянные. Хотелось думать, что там, где совершается это явление, небо так же грохочет и стонет под световым буруном, как воет и ревет море, когда разгуляются в нем, под ветром, седые волны...

«Сполохи играют!» — подумал Прокопий, — но в то время, как он посмотрел на небесное диво, ему почудилось, будто весь этот свет стал ближе к нему, будто столбы пламени, вращаясь, летят долу, с высоты зенита, как громадные огненные птицы, — и вот они уже близко, и уже слепят его своим сиянием, и ему тепло от них... жарко даже...

И то уже не столбы и не огненные птицы: то врата — дивные врата, каких нету ни в Киеве, ни в Новгородской Святой

Софии. Некие светоносные мужи стоят во вратах и манят к себе Прокопия ласковыми очами, и кто-то, на незримых крылах, несет его к ним.

А там за вратами, в пучине розовых лучей стоит Некто — ни великий, ни малый, но все наполняющий собою: солнце сияет над Его головой, звезды горят в Его очах, месяц плывет под Его стопами, и весь Он, таинственный, — любовь, жизнь и свет.

Все вокруг Него гремело хвалою, тьмы тем лиц, тьмы тем крыл купались в розовой пучине, тьмы тем голосов вопияли:

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

И с воплем этим слился радостный вопль души, быстро полетевший к небу из тела, что — жалкое, темное, окоченелое — лежало и стыло на снегу у большой новгородской дороги...

1890

СТИХ О ВОСКРЕСШЕМ ХРИСТЕ

(По сибирской легенде)

Когда Господь наш Исус Христос был три дня во гробе,
Красное солнце затмилось, не светило,
Ясен месяц с небеси скатился,
Часты звезды пали в окиян-море.
Кривда на Правду наступила,
Кривда Правду победила,
Окрутила Правду в лентие-саван,
Зарыла Правду в сырую землю,
Навалила на Правду бел-горюч камень,
А на камени — казенные печати,
А при камени — грозная стража.
Ходила Кривда по базару,
Пила Кривда чай-кофей, сладкую водку,
Похвалялась Анне-Каиафе,
Похвалялась Понтию Пилату:
— Баяла Правда, что воскреснет,
А едят Правду в земи черви!

Когда Господь наш Исус Христос восстал тридневен от гроба,
Среди ночи солнце воссияло,
Ангельские трубы вострубили,
Господни громы взрокотали,
Окиян-море всколыхнулось,
Казенные печати растопились,
Бел-горюч камень отвалился,
Мать сыра земля расступилась,
Грозная стража устрашилась,
Поползла окарачь за ворота.
А никто того не видел, не слышал,
Видела-слышала Мария Магдалина.
— А ты, святая Мария Магдалина!
А дай ты Мне красное яичко!
А пойду Я к Понтию Пилату,
А пойду Я к Анне-Каиафе,
А пойду Я к Предателю Иуде,
А скажу им Христос воскресе!
— Не ходи, Господи, к Анне-Каиафе,
Не ходи к Понтию Пилату,
Не ходи к Предателю Иуде:
Увидят они Тебя, — вострепещут,
Вострепещут, — веры Тебе не имут,
Призовут на Тебя грозную стражу,
Ввергнут Тебя в темницу!
Пошел Господь наш Исус Христос к Понтию Пилату.
А где Его ножки ступали,
Лазоревы цветы вырастали,
Целючие ключи проступали,
Миндальные дерева расцветали.
На тех деревах — птица Сирен,
Глас ее в пении весьма силен:
Когда Господа воспевает,
Сама себя птица забывает!
Сидел Понтий Пилат на высоком стуле,
Ел Понтий Пилат дырявчаты вафли.
Увидел Господа Исуса, —
Глаза выпучил,
Усы ощетинил.
Опустились его белые руки,
Подкосились его быстрые ноги.
Зубом на зуб не попадает,
Потому что лихорадка трясет.
— Ох ты Пилате! Ох ты Понтие!
Что ты, Пилате, мечешься,

Что ты, Понтие, трепещешься?
Думал ты, Пилате, — Правда в земле лежит,
А Правда перед тобою в глазах стоит!
В глазах стоит, в глаза глядит —
Не зажмуришься, не отворотишься...
Ох ты Пилате! Ох ты Понтие!
Почто предал Правду на пропятие?
Почто руки мыл — с рук совесть смыл?
Отдал Правду воинам к столбу привязать,
Приказал воинам Правду бичми бичевать,
Напослях одел Правду в терновый венец,
В терновый венец, в багряницу?
Со разбойниками Правду причислил,
Между двух разбойников Правду распял?
Почто Правду на древян крест возносили,
Руки-ноги Правде гвоздем пробивали,
Оцетом Правду поили,
Копием Правду кололи,
Лентием-саваном связали,
Зарыли Правду в сырую землю,
Навалили на Правду бел-горюч камень?
Обманула тебя, Пилате, Кривда —
Похвалялась, что Правда не воскреснет,
Что едят Правду в земле черви!
А не верить бы тебе было Кривде,
А и все слова ее лукавы!
Не бояться бы тебе, Пилате, архиреев,
Лицемеров, книжников, фарисеев, —
Бояться бы тебе, Пилате, Бога,
Не давать бы Правду распинати:
Воскрес Христос — и Правда воскресла!
Говорил Понтий Пилат Господу Исусу:
— Помилуй, Господи!
Прости, Исусе!
Вижу я, Господи, свою неправду:
Кривда меня в глаза обманула,
Кривда мне глаза ослепила...
Возжалел я своего белого тела,
Возжалел я своего цветного платья,
Сладкого ядствия,
Пьяного пития,
Прохладного жития —
Убоялся я, Понтий, архиреев,
Устрашился я, Пилат, фарисеев.
Руки мыл — совесть смыл!

Невинного предал на пропятье...
Воистину Христос воскресе!
Воистину Правда воскресла!
Тебе, Правде, сиять во светлом рае,
А мне с Кривдою кипеть во аде!
Помилуй, Господи!
Прости, Исусе!
Я сниму свое цветное платье,
Светлы пуговицы, кресты, медали,
Царю чин верну — о душе вздохну,
Дом продам — нищим раздам,
Жену отпущу — Бога сыщу.
Уйду во глубокие пещеры
Замаливать грех — спасти душу...
Помилуй, Господи!
Спаси, Исусе!

Отвечал Господь Исус Христос Понтию Пилату:
— Бог с тобой, Понтие Пилате!
Не снимай ты свово цветного платья,
Светлы пуговицы, кресты, медали,
Не иди во глубокие пещеры!
Сиди на высоком стуле,
Суди народ по Божьей правде, —
Человеков паче Бога не бойся,
На Правду Кривде не веруй!
Не обидь людей, не обидь Правду!
Никогда того не бывает,
Чтобы Правду Кривда загубила:
На кресте Правда помирает —
Во гробе Правда не истлевает...
Мать сыра земля Правду не укроет...
Бел-горюч камень Правды не удержит:
Воскрес Христос — и Правда воскресла!
А Я на тебя не в обиде:
Вот тебе красное яичко!

Пришел Господь наш Исус Христос ко Анне-Каиафе
— Ох вы Анна-Каиафа! прегордые архиреи!
Книжники-фарисеи!
К Кривде вы прилепились,
От Правды вы отступились,
Каково хорошо вам Правде в глаза глядеть?
Думали вы: Правду черви едят,
А Правда идет — земля цветет,

Звонят звоны малиновые,
Трубят трубы ангельские,
Поют птицы райские,
Средь ночи солнце зажигается!
Ох вы прегордые архиреи,
Книжники-фарисеи!
Почто вы Иуду на Правду соблазнили?
Тридцать сребреников платили?
Со дреколием на Правду выходили?
Связали Правде руки,
Повели Правду в судилище?
По щеке Правду били?
В глаза Правде плевали?
Предавали Правду игемону?
На Варавву Правду променяли?
На кресте Правде покивали?
Поставили грозную стражу,
Чтобы Правда из гроба не вышла,
Чтобы Правда в земле истлела?..
Горе вам, книжники-фарисеи!
Воскрес Христос — и Правда воскресла!

Отвечали Анна-Каиафа, прегордые архиреи,
Книжники-фарисеи:
— Помилуй, Господи!
Прости, Исусе!
Видим мы, Христе, свою неправду.
Кабы мы свою неправду раньше знали!
Никогда еще того не бывало,
Чтобы Правда из могилы вставала!
А как ныне Правде в глаза глядеть?
А куда от Правды глаза деть?
А жили мы, Анна-Каиафа, не по чести,
Любили земные похоти и лести,
Сладко ели, пьяно пили, мягко спали,
Золоту казну копили, считали,
Собирали дани и доходы,
Были у нас колесницы и скороходы:
За то мы Тя, Христе, гнали от первого начала,
Чтобы Правда Твоя нас не обличала!
А шапки-то у нас рогаты,
А карманы-то у нас богаты, —
Кривда нам глаза ослепила,
Кривда нас в глаза обманула...
Воистину Христос воскресе!

Воистину Правда воскресла!
Тебе, Правде, сиять в светлом рае,
А нам, с Кривдою, кипеть в аде!
Помилуй, Господи!
Спаси, Исусе!
Мы рогатые шапки поскидаем,
Мы богатые карманы распорем;
Дома продадим — на мир раздадим,
Уйдем в глубокие пещеры,
Замаливать грех — спасти душу...
Тело убить — себя оживить!
Помилуй, Господи!
Спаси, Исусе!

Отвечал Господь Исус Христос Анне-Каиафе
— Бог с вами, Анна-Каиафа!
Были вы прегордые архиреи,
Книжники-фарисеи, —
Будете чернцы-старцы!
Снимайте рогатые шапки,
Распорите богатые карманы —
Идите во глубокие пещеры
Псалтырь читать, во гроб смотреть,
Смерти ждать, слезою душу мыть,
Чаять суда Господнего!
Под землею вы Правду схоронили —
Под землею в себе Правды ищите!
А когда в себе Правду найдете,
Идите в мир, к добрым людям —
Говорите им Правду, не скрывайте!
Чтобы люди слышали-знали:
Никогда того не бывает,
Чтобы Правду Кривда загубила.
На кресте Правда помирает, —
Во гробе Правда не истлевает,
На третий день воскресает!
Мать сыра земля Правды не укроет,
Бел-горюч камень Правды не удержит...
Воскрес Христос — и Правда воскресла
А Я на вас не в обиде!
Вот вам по красному яичку!

Вошел наш Господь Исус Христос в зеленую рощу:
Как вошел Он в зеленую рощу,
На всех древах цветы заалели,

На всех древах веселые пташки запели:
На одном древе цветы не заалели,
На одном древе пташки не запели!
Средь рощи — белая поляна,
Средь поляны — дрожит проклятое древо,
Проклятое древо — осина,
На осине — гниючее тело,
Повешенник, Иуда-Предатель...
Зубы выщерил,
Глаза вытаращил,
Повесил язык на бороду.
На макушке сидит черный ворон,
Когти когтит, клюв острит,
Хочет Иуде темя склевать...
Воззрел Господь наш Исус Христос на проклятого Иуду,
Вздохнул, из очей слезу выронил.
Упала слеза на Алатырь-камень,
И прожгла слеза Алатырь-камень
На тысячу верст и на сто саженей,
Аж теперя в камне путь видать:
От Ерусалима-града путь — на земной пуп,
От земного пупа на Царьград,
От Царьграда на каменну Москву,
К чудотворцам Сергию-Троице,
От Москвы на Большой камень, —
А где пути конец,
И миру конец:
Живет самоядь,
Линная и долинная,
Живут дивии народы,
Гоги и магоги,
Их же заключил в гору Александра, македонский царь,
А выйти им из горы — к светопреставлению.

Вздохнул Господь наш Исус Христос,
Молвил Он Иуде-Предателю:
— Ох ты Иуда-Предатель, чадо неразумное!
Чадо строптивое!
Чадо неверное, обманчивое!
Легко ли Мне, чадо, тебя зрети?
Легко ли Мне, чадо, о тебе промыслити?
Доселе ты, чадо, с кисою ходил,
А ныне, чадо, на древе висишь!
Как Мне тебя теперь судить?
Куда Мне тебя определить?

Обступила тебя Кривда лукавая,
Всего обошла, в тебя вошла!
Похвалялась Кривда Правду червям скормить,
А ныне Кривду самое черви едят!
Ты скажи, Кривда, почто душу сгубил?
Почто продал Правду за сребреники?
Почто продал Правду целованием?
От тебя, Иуды, Правда в землю легла!
Думал ты, Иуда: Правду тлен истлит,
А Правда пред тобою жива стоит,
Жива стоит, слезу ронит,
Твоего греха сожалея,
Неразумное, строптивое чадо!..
А Я на тебя не в обиде!
Вот тебе красное яичко!

Черный ворон вскаркал, взлетался,
Горькая осина встрепеталась,
Проклятый Иуда закачался,
Мертвые уста провещали:
— Помилуй, Господи!
Прости, Исусе!
Не мучь меня после смерти!
Благость Твоя мне не под силу...

Господь наш Исус Христос промолвил:
— Слушай Меня, Иуда-Предатель!
На тебя Я гнева не имею,
Отпускаю, что Меня ты предал,
Только помню, что был ты Мой апостол.
Говори, неразумное чадо:
Готова ли душа к покаянию?
Если душа к покаянию готова,
Сниму Я тебя, Иуда, с осины,
Воздвигну Я тебя, Иуда, от смерти,
Чтобы ты опять ходил за Мною
Воскрес Христос — и Правда воскресла!
Смертию смерть она попрала!
В смерти бывшим живот даровала!

Отвечал проклятый Иуда:
— Воистину Христос воскресе!
Воистину Правда воскресла!
Помилуй, Господи!
Прости, Исусе!

Готова душа к покаянью, —
Но не мучь меня после смерти:
Благость Твоя мне не под силу...
Оставь меня висеть на осине!
Когда Твоя кровь проливалась,
Все грехи на земле она омыла, —
Одного греха она не омыла, —
Что я Тебя целованием предал.
Если Ты меня с осины снимешь,
Если Ты меня воздвигнешь от смерти,
Не могу я ходить за Тобою,
Не буду я Тебе апостол!
Побегу я в страхе, как Каин,
Побегу я в стыде, как Адам и Ева,
Побегу я в злобе, как дьявол,
Побегу я в степи-пустыни,
Укроюсь я в темные гробы,
Зароюсь в песок сыпучий,
Чтобы люди меня не увидали,
Дети б на меня не плевали,
Камнями не швыряли,
Пальцем на меня не показывали,
Иудою не назвали...
Все грехи Твоя кровь омыла —
От моего греха отступила!
Если кто Кривде Правду предал,
Нет тому милости на свете,
И будет отныне и до века
Нарекаться ему имя — Иуда!
И кому наречено то имя,
Не ужиться ему живым с живыми!..
Родная мать Иуду проклянет,
Дворовый пес от Иуды отпрянет!..
Нет Иуде места на свете —
Кроме как на горькой осине!
Не мучь меня, Исусе!
Благость Твоя мне не под силу!

И сказал Господь наш Исус Христос Иуде:
— Мир тебе, несчастное чадо!
Оставайся в том, что сам ты выбрал...

Так Иуда на осине остался.

1902

УКРАЙНА

ВЕТЛА *)

Давно это было.

Встал от Черного моря сердитый ветер, и почал он дуть в широкие лиманы. Ни быстрому Днестру, ни светлому Бугу, ни самому батьку старому Днепру не стало прежней воли изливать в глубокое море могучие, полные воды, и попятили реки свое течение и, осерчав, высоко подняли над берегами мутные, буйные валы. Днестр слился с Бугом, Буг — с Днепром, меньшие реки пошли за старшими братьями, и — гой-гой! — где степь была, разлилось другое море. Где ходили с скрипучими возами круторогие волы, где добрые молодцы чумаковали, по тем шляхам поплыли нынче осетр да белуга, хлопая глазами на невиданные земные чуда, что потопили собой полые воды: на хаты и церкви, на стада и пашни, на вишневые садочки и бахчи с гарбузами, на млины **) и ветряки, на казака с люлькой, на бабу в запаске, на младенца в зыбке, на жида в корчме.

Много людей потонуло, а много и живыми унесло в свой простор сердитое море. Не чернь видна над водою — виден малый плот портомойный, а на том плоту — баба. Как стала вода подниматься, была баба на реке; мыла, вальком колотила мужнину сорочку; ударила сизая волна и оторвала плот... Поплыла баба, как была, с вальком и сорочкой, далеко-далеко, невесть куда, — аж в те земли, где солнышко домует, где оно, красное, после жаркого дня, ложится отдыхать на зеленую мураву под бирюзовое небо. Солнце спит, а месяц вокруг его постели дозором ходит — смотрит, чтобы частые

*) Отдаленный вариант этой наивной легенды представляет собой литовское предание о Блинде — вербе.

**) Мельница, ветряк — ветряная мельница; люлька — трубка; запаска — часть старинного женского костюма в Малороссии.

звездочки, что малые ребята, не игрались, свет-солнышко своим баловством не будили.

Как попала баба в неведомое солнечное царство, обомлела и чуть жива осталась; такие чудеса увидала! Но потом опамятовалась, осмотрелась, пораздумалась, и стал ей не мил белый свет; дитыну она загубила, чоловика потеряла, батько с маткой далеко, а кругом — хоть бы жив человек! Только месяц по небу ходит и косится на бабу желтыми глазами.

— Доселе у нас человечьего духа было ни нюхом учуять, ни слухом услышать, ни очами узрить, а теперь — на-поди! живьем взялась к нам откуда-то бисова баба.

Ходит месяц, думает эту думу и молчит. И все молчит. Деревья не шумят, вода не плещет. Ударилась баба грудью о мать сыру землю и завыла:

— Горькая ты моя доля! зачем я, дура-баба, жива осталась? Лучше бы мне — сироте — прыгнуть с плота к рыбам в синее море... Ой, лишечко!.. Где дитына моя, где дружина моя?

Воет баба не час, не два, а целую ночь; воет так, что звездочки мигают с перепуга и шепчут одна другой:

— Ах, ребятки, разбудит она нам светлое солнце!

Потянулось солнышко на своей муравчатой постели, и брызнули по миру золотые лучи; приподнялось оно, оперлось подбородком о землю, строго глянуло по небу ясными очами, — и месяц потускнел и побледнел, как виноватый, звездочки трусливым стадом побежали с неба, а облака на дальнем востоке покраснели, точно застыдились: как же это вышло, что не дали солнышку покоя? в какую рань заставили его начать красный день!

Обробела баба. Еще бы! — стоит пред нею само светлое солнце, что добрый казак, и во все глаза на нее дивуется — смотрит.

— Зачем ты, дурная баба, кричишь? разве не нравится тебе здесь? боишься, что плохая жизнь будет? Э, нет!

твоя Украйна пред моим царством — что зима пред летом. У меня здесь ни голода, ни холода, ни нужды, ни работы, ни сева, ни неурожая, ни податей, ни рекрутчины: живи, как у Христа за пазухой! А ты плачешь и разбиваешь мне сон! Подумай: хорошо ли мне, солнцу, ходить по твоей милости заспанному, точно парубку с похмелья? Путь мой над землей великий, и всякие меня народы видят, а у меня очи липнут веко к веку, словно мне их кто-нибудь медом смазал!

— Ой как же мне не кричать, светлое солнце? — отвечает баба, — нема у меня дружины моей, ни дитыны моей, нема батьки, нема матки, ни белесенькой хатки! Осталась я, одинокая, сиротой на свете.

Задумалось солнышко и, подумавши, говорит:

— Тронь-ка левою рукой вон то дерево...

Тронула баба дерево рукой, эге! дерева как не бывало, а вместо его — высокий воз; на возу дите сидит, бублик грызет; за возом чумак бредет; смоляная рубаха, дегтевые шаровары, в зубах люлька... идет да на волов покрикивает: «Цоб! цоб! — сивы-крутороги!..»

— Та то ж мий Опанас! — вскричала баба, а чумак крикнул волам: «Цоб! тпру!.. тю вам, скаженные!» *) — воткнул кнут в землю и говорит:

— Ото добре, жинко, что ты не утопла, бо я вышел в дорогу не поснидавши и есть хочу, як наш Рябко, бисов цюцик. Топи, моя ластовка, печь, да корми чоловика борщом.

Зажил Опанас с жинкой и дитыной на краю света, как в царстве небесном. Только долго ли, коротко ли, заскучал он без людей:

— Что то за край? — жалуется, — ни базара, ни соседей, ни шинка нет... Здесь помрешь от скуки и помянуть тебя будет некому!

---

*) Скаженный — шальной, сумасшедший.

И принялся он, чтобы не скучно было, колотить свою жинку. Жинка — в слезы, и так как вышла у них тамаша ночью, то солнышко опять переполошилось.

— Ну в чем дело? — закричало оно с муравчатой постели на Опанасову жинку, — или мне опять подниматься с первыми петухами? Чоловик у тебя есть, дитына есть, — кого еще надо?

— Никого мне не надо, светлое солнце, — разве что не будет ли твоя милость подарить мне пару молодиц-соседок, чтобы было мне, горемычной, с кем слово перекинуть, кому пожаловаться на разбойника-мужа. Бо чоловик мой — как на родине был шибеник *) и пьяница, так и здесь остался: встосковался он, катовой души вира **) по своей висельной компании, а мои ребра в ответ.

— Дурная! — сказало солнце, — разве я не показало тебе дерева, из которого можно сделать какую хочешь компанию? Ступай, уйми своего Опанаса, и — чтобы я вас не слыхало больше! — не то худо будет.

Опанас, побив жинку, уснул. Проснулся: глазам не поверил: народу кругом — целый табор! Да все знакомые, да все камрады-приятели! Вот и пан-голова, и пан-староста, и сосед Охрим Козолуп с жинкой и молодым Козолупенкой, и кум Остап, и старый корчмарь Иосель Бен-Дувид со своею балабуштой ***) и жиденятами: стоит на ковре, таласом накрылся, заповеди на лоб навязал, — молится... Ге-ге-ге! то-то славно! все село, что потонуло там, за синим морем, воскресло и стоит на ногах, как живое...

И начали те люди все вместе жить-поживать и добра наживать. Что день, то больше их в солнечном царстве: растут как грибы. Понадобится казаку наймит, хозяйке — наймичка, — бьют челом Опанасовой жинке:

---

*) Безобразник.

**) Катовой души вира — брань; кат — палач.

***) Балабушта — хозяйка; талас — молитвенная мантия у евреев.

— Пани-матко! будьте ласковы — дайте доброго парубка или добрую девку к нам во двор!

Пойдет Опанасова жинка в лес, дотронется до дерева, что ей солнышко показало: «Вот вам и наймит с наймичкой, добрые люди!»

Сады развели, копанку *) вырыли, церкву выстроили, млин поставили, Иосель шинок открыл... Не житье, а Масленица!

Пришел большой праздник Святая Троица. Разрядилась Опанасова жинка: запаска клетчатая, кирсетка **) лучшего зеленого сукна, вся красными цветами расшитая, квартух и белые рукава — в шелку, всеми колерами отливают, коралловое намисто с дукачем, — король, а не баба! Идет она в церковь, выступает червонными чоботами на серебряных подковках, — все ей дорогу дают, шапку пред ней ломают, кланяются ей в пояс, потому что как же детям не почитать мать родную? А ведь, ежели рассудить по правде, то Опанасова жинка была всему селу заместо матери.

И вот входит баба в храм Божий и видит: на ее месте — самом почетном, первом от амвона — стоит незнаемая молодица, такая видная из себя, большая да тучная, а лицо темное, как у волошки, и суровое; брови над переносьем срослись.

— Посторонись! — сказала Опанасова жинка.

Молчит молодица, будто в рот воды набрала, и ни с места. Разгорелось сердце в Опанасовой жинке.

— Кто ты такая, молодица? — говорит она, — откуда ты взялась, что вздумала ставить мне ногу на чоботы? Знать бы сверчку свой шесток, так оно, пожалуй, и лучше было бы!..

— Оставь меня, баба! — угрюмо ответила молодица, — и тебе, и мне оттого лучше будет...

— Как не оставить! Поди прочь с моего места! Я постарше тебя.

---

*) Пруд.

**) Безрукавка; квартух — фартук; намисто — ожерелье с крупною монетой.

— Неправда твоя, Опанасова жинка! — все так же важно возражала суровая молодица, — и старше я тебя, и большего почета стою.

Засмеялась Опанасова жинка.

— Горазда ты шутить, красавица, да шутки-то твои некстати! — видишь, сколько здесь народу? Все это мои дети, и все они, как одна душа, почитают меня за мать, а ты можешь ли похвалиться по-моему?

— И детей у меня побольше твоего, Опанасова жинка! Не простую молодицу ты видишь пред собою, а самое Мать Сыру Землю.

Испугалась Опанасова жинка, отступила было... но бабье сердце взяло верх над разумом.

— А мне-то какое дело? — вскричала она со злом, — хоть бы ты и вправду была Мать Сыра Земля? Не я к тебе, а ты ко мне пришла, незваная, непрошеная, да еще меня, хозяйку, с места сгоняешь! Ступай прочь! Я здесь пани, а тебя мы не знаем и знать не хотим!

И столкнула Мать Сыру Землю с первого места. Посмотрела на нее Мать Сыра Земля глубокими, темными очами, и — точно железные брусья покатились с каменной горы — зарокотал ее голос:

— Неразумная ты, кичливая баба! не умела ты почтить меня у себя, так я же по-своему почту тебя в своем дому, и не вырваться тебе из моих рук во вечные веки!

Бросилась Опанасова жинка бежать, — не тут-то было: ноги — как приросли. Смотрит она вокруг себя мутными от страха очами: ни церкви, ни народа. И вдаль, и вширь тянется зеленая равнина; кулики перелетают с одной кочки на другую; небо серое да кислое — точно на Литве. Глянула баба на себя: ноги погрузли по колено в мягкое болото, серая кора ползет от земли вверх по белому телу... доползла уже до пояса... Еще немножко, — и будет Опанасова жинка не баба, а дерево: то самое, из какого она воскресила в неведомом краю всю деревню.

Взмолилась бедная баба:

— Мать Сыра Земля, прости: не губи меня безумную!

И снова пророкотал железный голос:

— Не я тебя гублю — губит тебя похвальба твоя. Не хвалиться бы тебе своими детьми, взятыми из *ветлы,* не была бы теперь сама *ветлою.*

И одела серая, серебристая кора Опанасову жинку: тело стало стволом, ноги — корнями, поднятые к небу руки — двумя толстыми вилками, волосы, что в предсмертный час дыбом стали, — тысячью молодых побегов. Вместо бабы, поникла над болотом седая раскидистая ветла.

От той ветлы и пошли ветлы по всему Божьему миру; сколько детей было у Опанасовой жинки, столько и деревьев родилось от того дерева; и, как легко Опанасова жинка переделывала ветлы в людей, так же легко принимаются всюду ветловые побеги.

Воткни осенью в землю на берегу става *) или у криницы ветловый киек: он зазеленеет к весне. Год, другой, третий, — глядь, над твоим тихим ставом уже наклонилась круглым шатром красивая, развесистая ветла. Наклонилась, стоит, как из серебра вылитая, и, трепетно шумя под ветром своею бледно-зеленою, с проседью, листвой, словно поминает далекое прошлое, плачется на свою горе-горькую судьбу.

ЛЕТАВИЦА

Синяя ночь...

Такие ночи только в Украйне и бывают. Небо — точно оно живое и дышит — тихо трепещет от мерцания звезд, под

*) Пруд; криница — колодезь.

ними важно плывет огромный золотой месяц, с его круглого лица падает в бездну ночи поток молочного света, и вся воздушная пропасть как будто насквозь пропиталась жидким серебром.

Наплыла синяя ночь на старую Корсунь *), нежит ее, лелеет и клонит ко сну. Корсунский замок, что еще Понятовских помнит, купает свои высокие башни в свете луны, а зубчатую браму **) — в прохладе туманов, и его белые стены позеленели под месяцем, все равно как и мазанные мелом хатки — там за шумною Росью, на церковной горе.

Спят хатки, спит замок, спит дремучая дубрава — сад вокруг него, — хмурое, неподвижное море кудрявых деревьев. Остроголовые тополя стоят — как монахи на молитве — черные, строгие, величавые. Одна Рось не спит — плачет и грохочет седою волной по каменным порогам.

Мало ль простора на Украйне? Широко разлеглись ее зеленые степи, есть где разгуляться реке. И хорошо текут они, реки, степями: тихие, прозрачные, рыбные; бархатное дно, шелковые берега!.. Одна буйная Рось поссорилась с матерью-степью и ушла от нее в чертово гнездище — в каменные кручи и красные, точно казацкою кровью мытые, скалы: и откуда только выплыли они по-над украинскою ширью и гладью? Живет Рось в гнездище и жизни своей не рада: давит ее каменный берег, поперек горла становятся ей пороги, и она грызет их и точит волнами, как острыми зубами, а сама ревет от тоски и боли, словно девка, у которой жениха взяли в солдаты. И так — до тех пор, пока не осилит она гнездища, не вырвется из каторжной муки и не разольется пониже Корсуни гладким и быстрым потоком.

---

*) Корсунь — имение графов Лопухиных в Киевской губернии, когда-то принадлежавшее Понятовским. Корсунь играла важную роль в истории Малороссии. По дикому местоположению на скалистых берегах Роси, Корсунь — едва ли не самое красивое местечко Киевской губернии.

**) Ворота.

Рада Рось воле и простору: бодро бежит между казацкими могилами и сторожевыми курганами, что насыпали на степи в незапамятные времена неведомые люди, и шепчется с ними, зелеными, про старые и новые дни — про татарщину, про старого Хмеля, как он, батько казацкий, побил в Корсуни вражьих ляхов, про полковника Золотаренку, что спит в Корсунском храме, сраженный не простою — серебряной пулей, потому что был он характерник *), и не могли достать его ляхи ни свинцом, ни железом; про Железняка и его колиев... про москалей и новый мирный век...

Шепчет Рось... Слушают ее могилы; качаются в ней изумрудными пятнами небесные звезды; дрожат по волнам красным отблеском костры на прибрежных заливных баштанах **).

Старый баштанник Охрим тоже слушает Рось. Стар он... Господи Боже, как стар! Когда француз приходил на Москву, Охрим уже жениться думал, да на место того угодил под красную шапку. Как-то раз приезжал в Корсунь один панок из москалей, разговорился с дедом про стародавние были и насчитал Охриму все сто семь годов. А ничего еще — держится старик, крепкий дидусь! Мясо, конечно, Охриму уже не по зубам, и ходит он — попирается на клюку, спина дугой, но годов на десяток еще хватит места душе в теле!.. Только вот сон съела старость у деда. По целым ночам он зевает, охает и ворочается в своем курене. Скучно ему и боязно. Известное дело: ночью, во тьме, по земле ходит враг и сеет тоску, смуту и страхи. Обвеет деда предутренним ветерком, заря выглянет из-за дальних могил, выкрасит господский палац в розовую краску и, что дивчина в новом монисте, залюбуется собою в Роси, — разве-разве тогда сморит Охрима короткая дрема.

*) Колдун.

**) Огородах, бахчах.

Нынче деду повеселее, чем всегда. Правнук ночует у него на баштане — Марко, славный хлопец. Прибежал с Корсуни к деду за кавунами *), да и опозднился, — не заметил за мовой и байками **), как упали сумерки. Не идти же мальцу одному темною степью, где, коли верить людям, то и дело вспыхивают на могилах разными огнями свечи над скрытыми кладами, да еще Бог весть кто и лежит в этих могилах! Может быть, такие злодеи и характерники, что и земля-то их не принимает и выбрасывает каждую ночь из своих недр бродить по свету жадными упырями... Оставил дед хлопца у себя и рад: любит старый Марку! Сказки ему рассказывает, кормит его кавунами, дынями, семечками, огурцами с медом до тех пор, аж потом хлопца хоть веди к корсунскому фельдшеру; майстровать Марке дудки, луки и самострелы — самое охочее для деда Охрима дело.

Тихо. Выползли старый и малый из куреня, развели костер, постелили рядно и лежат — дид под свитой, хлопец под кожухом. Охрим задумался, в огонь глядит, ворошит уголья клюшкой, а Марко лежит на спине, ручонки под голову, широко открыл карие очи и ищет в глубоком небе: где та зирочка ***), что ему счастье ворожит? Много их, много ходит вокруг месяца, и все ласковые, все улыбаются и быстро-быстро мигают... А иная возьмет сорвется с места да и перекатится на другое: только никак невозможно уследить, откуда она сорвалась и куда покатилась...

— Диду!

— А що, хлопче?

— Для чего зирки падают?

---

*) Арбузами.

**) За разговором и россказнями.

***) Звездочка.

— Хиба ж упала?

— Много упало. Для чего?

— Осень скоро, Марко, для того и падают. Святые ангелы Божии лампады гасят. Осенние-то ночи пойдут мутные да черные, холодные да зябкие.

— Нынче тоже зябко, диду.

— А ты кожух на себя покрепче тяни: угреешься. Хочешь, кулеш сварю? поешь, — тепло станет.

— Я сыт, Дедуню!..

Старик замолчал и, подняв голову, тоже уставил взор в осыпанную зелеными искрами синеву.

— Звезды падают... ге! — задумчиво сказал он, — а кто знает, что оно такое? Разное говорят люди — чи брешут, чи ни... Один скажет, что это ангел летает со свечой, чтобы зажечь новую душеньку в христианстве. Другой — что коли звезда упала, то, значит, Бог прибрал кого-нибудь с грешной земли в свой светлый рай. Разное говорят... Ты, хлопче, не смотри много на звезды, — нехорошо. Еще покойный батько, — пером земля над ним! — учил меня: когда увидишь, Охрим, что звезда падает, крестись и — очи в землю! Бо бачь *), хлопче: и звезда от звезды разнствует... да!.. это, голубь мой, в Писании значится. Какую звезду и впрямь ангел Божий зажигает на радость и на пользу людям, а другая — хоть и светит ярко — только кажет звездой, на самом же деле и не звезда совсем, а так... проклятая летавица.

— Что, диду?

— Летавица, голубь, летавица.

— А что оно такое?

— Да... не к ночи сказать, не то чтобы вовсе нечисть, а недалеко от того...

— С рогами?

---

*) Потому что, видишь ли.

— Ни, хлопче! — протянул дед, — с рогами бесы... А о летавице мне москаль один говорил, — тому лет уже полсотни, когда царь Микола замирял венгерца...

— Это которые с мышеловками?

— Так, так, хлопче!.. с мышеловками и всяким коробьём. Как мы их замирили, тут они с коробьём и пошли... Так вот и говорил мне москаль о летавице: есть такие звезды, что живут на них проклятые души. Заскучает проклятая душа, захочет на землю, — она и покатит с неба свою звезду, скинется дивчиной или парубком и бродит в народе, по злому нраву своему, сея грех между добрыми людьми. То и есть летавица.

— Диду, как же то может быть, чтобы на звездах жили проклятые души?

— А подивись на месяц, хлопче: що бачишь?

— Не знаю, диду.

— Каин Авеля на вилы подымает, Марко. Брат брата убил. Вот Господь и посадил его, бисову виру, на месяц, чтобы люди видели его во веки веков и ужасались такого злодейства. И ты поверти разумом, Марко: если Каину можно жить на месяце, отчего летавицам на звездах не жить? Тому и на Литве *) тоже веруют. Знаешь лопацонов — белые колпаки, что приходят к нам работать на заводы? Так когда мы стояли в ихней земле, то и у них я про летавицу много слыхивал... все жалкое такое да сумное...

Дед примолк... Еще звездочка побежала по небу, оставляя за собой белый, быстро тающий след.

— Ишь какая красавица полетела, — сказал Охрим. — Кому-то навстречу, где-то упадет, кого-то погубит? Вот, хлопче, сказывают люди, что жил в старые годы на Волыни паробок, звали его Дайнас. Веселый был и работящий. С зарей

*) Поверье о летавице распространено у малороссов, литовцев и карпатских славян.

выедет с плугом новь поднимать, — поет. Полдень, жарко, как в пекле, другие плугари еле плетутся по пашне, согнулись, как столетние деды, а Дайнасу хоть бы что. Идет прямой, как осокорь, утирает лицо рукавом и песни поет... Голос у него, хлопче, был звонкий да сильный, аж солнышку были слышны его песни... Вечером другие плугари с великой устали норовят как бы поскорее — на сено да под кожух, а Дайнас танцует с дивчатами и поет им думки про чумаков, да про пана Швачку, да про молодицю, що качура *) за копийку продала...

— Добрый ты паробок, Дайнас! — говорят ему люди, — пора бы тебе и жениться...

— Ге! — смеется Дайнас, — моя суженая еще в колыци **) лежит!..

— Что же ты загордился? Чем тебе наши дивчаты не хороши?

— Как не хороши? Хороши, только не по сердцу.

— А кто же тебе, козаче, по сердцу?

Задумался Дайнас — ничего не сказал... Грустно ему стало, и что впрямь — который он год живет на свете, всем друг и товарищ, со всеми дивчатами тоже как брат родной, а нет между ними ни одной, что пришлась бы ему по душе так крепко, что не грешно с ею и под венец стать, и закон принять, и век вековать. Лег он под тополем, — вот, к примеру сказать, как ты сейчас лежишь, хлопче, — и затянул сумную песню. Далеко пошла она по свету и взвилась до самых звездочек, что в ту пору по вечернему часу уже высыпали пастись в небе, как стадо белых ярок. Поет Дайнас — слушают звезды, и чудится Дайнасу, словно одна звезда, самая светлая и большая на всем небе, стала ближе к нему, растет, растет, да вдруг как сверкнет!.. и — пропала: только след

*) Селезня.

**) Колыбели.

от нее засветился на небе. А вместо звезды стоит пред Дайнасом дивчина такой красоты, что и не видано на этом свете: очи большие, синие, как вот это небо над нами, хлопче, и блестят, как звезды; была она простоволосая, а волосы... ге! то были волосы! — чистое золото! так ручьем и катились с головы до пят, так и горели под месяцем. И вся она сияла и сверкала, как самый дорогой самоцветный камень, и была такая белая, бледная и нежная, что показалось Дайнасу, будто она вся светится.

— Кто ты? — спросил Дайнас.

— Чи не бачишь! дивчина... своей матери дочь! — сказала она, и тихий голос ее прозвенел по степи, как колокольчик на графской упряжке.

— А для чего сюда пожаловала?

— Твоих песен послушать. Пой, Дайнас, пой поскорее да позвонче! Я из дома не на долгий срок отпросилась, дом мой и далеко, и высоко...

Запел Дайнас — слушает девица, улыбается, а у Дайнаса от ее улыбки сердце прыгает. Кончил Дайнас песню и сказал:

— Вот, дивчино! люди на селе смеются надо мной, что я не хочу жениться, а как было жениться, когда никого не было по сердцу? Теперь же смотрю я на тебя, и думается мне, что краше тебя уж не найти мне никого на свете. И если бы ты пошла за меня — не было бы счастливей меня человека. Часу нет, как я тебя зазнал, а вот все готов тебе отдать, только будь моею женой. Мабуть то чары, но мне все равно, потому что очень ты мне люба! И если твой батька не согласится отпустить тебя в чужое село, я, даром что богатый хозяин, пойду к вам приймаком... *)

Дивчина усмехнулась и ответила:

— У тебя хороший голос, Дайнас, и ты знаешь много песен. Если ты к этому еще так же хорошо танцуешь, как по-

*) Приймак — зять, взятый из бедной семьи в дом богатого тестя.

ешь, — я пойду за тебя замуж. Я — веселая, и ты будешь как раз по моему нраву!

И запела она сама песню.

Не слыхивал Дайнас таких песен: тяжелая, долгая, смутная, она, точно на медленном огне, припекала его душу, и он сам не знал, что с ним творится, — так от этой песни переполнилось его сердце печалью и жалостью. Казалось ему, что его дивчина, хоть и хвалится, что веселая, а нет ее несчастнее никого на свете... Поет девка, а тополь над нею чубом кивает, что зажурившийся казак, а звезды мигают, — подумаешь, стряхивают слезы с ресниц. Совсем зажурился Дайнас... но, едва он повесил чубатую голову на грудь, дивчина запела другую песню, да такую живую, быструю, веселую и громкую, что у Дайнаса в ушах зазвенело и душа привскочила, как с переляку *). Летела та песня — быстрая, как птица, неудержимая и буйная, как вода, прорвавшая запруду, горячая и жгучая, точно раскаленное железо в домне; летела и била Дайнаса по слуху и сердцу, как ковали колотят молотами по наковальне. Видел и слышал Дайнас: вся сонная степь стала оживать на голос дивчины. Светляки засветили в траве и сделались большие и яркие, как звезды, трава без ветра качалась, как пьяная, и гудела, как народ на сходе; ни одной тучи не было на небе, и зирочки перебегали на нем с места на место, словно хлопцы, когда играют в пятнашки; старый тополь над головой чаровницы весь дрожал и топорщил свои длинные ветви, как будто напруживал всю их силу, чтобы выдрать из черной земли свои корни-змеи и пуститься в пляс, следом за Дайнасом и дивчиной, а они-то давно уже кружились по степи, так что — гоп, гоп! — земля стонала от топота Дайнасовых подковок.

Крикнул петух на селе. Ярче прежнего засияла дивчина, и — бачь, Дайнасе! она уже не по степи пляшет, а поднялась на локоть над травой и реет крылатым мотыльком, — сейчас, сейчас улетит!

*) С перепуга.

— Летит?! — закричал Дайнас, — куда? стой! я тебя не пущу!

И прыгнул, как рысь, ухватился за одежду дивчины и повис так.

— Пусти меня, человек! — рвется дивчина, — меня дома ждут, мое время пришло, моя очередь всходить...

— Не пущу, — кричит Дайнас, — ты обещала выйти за меня замуж!

— Эй пусти, Дайнас! — худо будет! не своя воля зовет меня.

Но паробок кошкой вцепился в дивчину, летает вместе с нею по-над степью, точно ястреб с белою чайкой.

— Я тебя с собою унесу! — грозит дивчина.

— Неси, того только и хочу! — говорит Дайнас.

— Дурень! Ты не знаешь, кто я и где живу: ведь я — Денница-летавица.

— Мне все равно!

— Пропадешь ты, как осенняя трава!

— Нехай так! Что за важность пропасть, если я без тебя и жить-то не хочу? Неси меня, куда хочешь, а я тебя не выпущу!

Во второй раз пропели петухи на селе. Как крикнет летавица, как рванется, — и разом, точно турман, взмыла в позеленевшее от рассвета небо и засияла звездою, высоко-высоко... Вон, хлопче, и посейчас она, синеокая, мерцает там, над белыми облаками, об утреннюю пору... А Дайнас, что взвился было с нею, оторвался от ее одежды и ударился, как мешок, оземь, — верст, може, за тысячу от своего села.

Ударился, а жив остался, даром что полетел из-под самых облаков. Встал на ноги — и боли не чует. Ах, казаче! лететь бы тебе снова следом за нею, за красавицей звездою-летавицей, кабы только крылья были!.. Ге! да они есть!.. Рванулся Дайнас в воздух, — есть крылья! Ма-

лые, правда, но ведь и сам-то Дайнас стал невеличек — точь-в-точь как жаворонок, ранняя пташка, что поутру степь будит. Слышишь, хлопче, как заливаются? скоро солнце выглянет.

— Воротись! воротись! воротись! — кричал Дайнас, когда поднимался кругами к своей желанной звезде, что его зачаровала и погубила: из человека сделала птицей, — и совсем было уже добрался он до нее, но заря протекла между ними красною рекой, и звезда утонула в ней и стала невидимкой. И напрасно Дайнас с той поры и до нашего века от утренней зари до вечерней мечется по поднебесью, хлопочет-ищет звезду-летавицу, — не найти ее: не дано! Только, когда, усталый, упадает он на поле в свое гнездо под колосьями, выплывает та звезда на небо и, пока спит Дайнас, сияет ярко; когда же он проснется, увидит ее и полетит к ней, — загораживается от него румяною зарей и тает в ней, как воск в пламени... Так-то, хлопче!.. Эге! Да ты спишь, хлопче?

И точно: убаюканный рассказом Марко давно спал крепким сном, не чувствуя ни утренней прохлады, ни того, как алое зарево, наполнившее собою небо, степь, Рось, Корсунь и баштан, сделало и его, и деда из смуглых хохлов медно-красными индейцами; не слыша даже, как десятки жаворонков-Дайнасов щебетали в розовой пучине неба, высоко-высоко кружа в нем на вечных поисках прекрасной обманщицы — звезды-летавицы.

ЧЕРТ

Курьерский поезд мчал меня из Вены в Россию. Я взял путь на Краков, Львов и Волочиск. Сверх обыкновения, пассажиров ехало немного. Я оставался в купе один до самого Прэрау, где северная дорога императора Франца-

Иосифа сходится с линией на Прагу. В Прэрау ко мне подсел попутчик; лица его я не мог хорошо разглядеть, — в вагоне стемнело, а когда в потолке купе вспыхнул белый полушар электрического фонаря, спутник мой уже вытянулся во всю свою длину на свободном диване и громко храпел, укрытый с головою куньею шубкою. По шубке этой я решил, что мой дорожный компаньон — поляк из Галиции; немцы и чехи таких не носят. В Прэрау «поляка» провожала целая свита молодых людей, весьма почтительно обнаживших головы, когда поезд тронулся. Значит, особа не простая.

Под Краковым незнакомец проснулся и минут пять зевал так громко и широко, что я начал было серьезно опасаться за целость его челюстей. А тут еще навернулся в память старинный стишок на зеваку:

Во время оно
Кит проглотил Иону;
Не ты ль, Никита,
Проглотил кита?

Чтобы скрыть невольную улыбку, я прильнул лицом к окну и внимательно вглядывался в предрассветные сумерки, пока не привел себя в достаточно серьезное настроение. Оборачиваюсь наконец, — попутчик мой сидит, опершись по-кавалерийски, руками на колена, и любопытно смотрит на меня яркими глазами. Необычайная острота его взгляда поразила меня. Незнакомцу было на вид лет сорок пять, пожалуй, даже с лишком; лицо — очень измятое жизнью, некрасивое и малосимпатичное, но запечатленное умом необыкновенным. В толпе вы заметили бы и выделили это лицо из десятков тысяч: настолько характерны были выпуклости лба у висков и крепкий хищный рот с выдавшимися вперед челюстями. Незнакомец улыбнулся: ни у кого ни раньше, ни позже не видал я более зубатого рта — со-

всем волчья пасть, полная острыми резцами и клыками. Да и весь-то мой попутчик, когда оскалился в улыбку, походил на лобастого матерого волка, как изображен он Густавом Дорэ в иллюстрациях к сказкам Перро, когда облизывается на Красную Шапочку. За Краковом мы разговорились.

— Гдзе пан едзе, проше пана? — начал ликантропический спутник, учтиво наклоняя голову. Голос его был довольно мягок, но с хрипотцой, а манера говорить престранная: он точно лаял.

— В Киев.

Попутчик тотчас же перешел с польского языка на русский или, вернее сказать, на русинское наречие. Когда я не понимал или он сам затруднялся найти подходящее к разговору слово, он переходил то на польский, то на немецкий язык.

— Вы галичанин? — спросил я.

— Н-нет... я живу в Германии... но Галиция — моя родина, по крайней мере, нравственная... мой любимый край...

Он опять оскалился, словно хотел проглотить свою излюбленную Галицию, и, замяв разговор о себе, принялся выспрашивать меня очень быстро и очень тонко, с манерою ловкого и наблюдательного интервьюера, кто я такой, чем занимаюсь, выгодно ли литературное «ремесло» (он так и выразился) в России, какие газеты у нас в ходу, кого из иностранных писателей больше переводят, и кто из литературной молодежи входит в моду. С старою русскою литературою, кончая Тургеневым, он был знаком в совершенстве. О Чехове знал, хотя и не читал его. Об Альбове, Баранцевиче, Станюковиче, Потапенке, Мамине-Сибиряке и не слыхивал. От писателей разговор незаметно перескочил к литературным веяниям, к декадентам и символистам, а через них и к общему мистическому настроению последней четверти XIX века, который, наскучив тьмами низких

истин, бросил в нас возвышающие обманы бредней теософических, спиритических, сатанических, родил Блаватскую и Пеладана, выдвинул вперед Данте Россетти и прерафаэлитов и воцарил над сливками парижского и лондонского общества — здесь буддийского ламу, там — Вельзевула средневековых шабашей, тут — бичующего себя четками трапписта... В России тогда эти веяния были еще внове, чуть зарождались, на западе же фантастическая эпидемия свирепствовала уже широко и настойчиво.

— Наклонность современного общества к необыкновенному, — сказал незнакомец, нагибаясь ко мне и светя мне прямо в глаза своими глазами-огоньками (при этом меня обдало тонкими английскими духами), — наклонность к необыкновенному смущает многих. Друзья государственного прогресса, работники практической цивилизации видят в европейской эпидемии супернатурализма зловещий признак реакции, поворота чуть не к средним векам. Я, конечно, не решусь оспаривать реакционного характера всех этих учений и увлечений. Папство и полицейское государство всегда ехали на черте и на чуде, как на своих боевых конях. Но я не придаю современному супернатурализму серьезного влиятельного значения. Двести лет реалистического мышления нельзя заслонить ни козлиным хвостом сатаны с брокенского шабаша «в первый раз по возобновлении», ни медными божками с Тибета. Просто: мы немножко пересолили с реалистическою рассудочною последовательностью, устали, засохли, и так как человек, даже самый прозаический, всегда эстетик по натуре — ему захотелось, наконец, сверхъестественного дивертисмента... В наше время массы и личности, их составляющие, сделались удивительно похожими друг на друга. Прежде как-то было, что масса — одно, личность — другое, а теперь они одно и то же. Я говорю про их психологию. И вот, сколько я ни наблюдал отдельные экземпляры увлечения сверхъестественным, ни разу я не видал

такого увлечения в чистом виде, без скептической примеси: два века реалистической дисциплины сказываются, как видите! И, в общем, человек, — пока не сошел с ума, — гораздо легче разуверяется в необыкновенном, чем решается ему поверить... У меня близ Черновиц есть приятель — помещик, который под особо фантастическим настроением вообразил себя своего рода Пигмалионом и готов был клясться, что его любит мраморная статуя... описывал даже свои свидания с нею... и статуя эта была вовсе не невинная и добродушная Галатея, но вампир какой-то... он весь иссох во время этой дикой иллюзорной любви, стал кашлять кровью... И что же? Год тому назад встречаю его в Берлине: здоров как бык, женат на толстейшей немке, спорит о табачной монополии и ругает все необыкновенное, как прусский фельдфебель... Ха-ха-ха!..

— На эту тему есть, помнится, красивый рассказ у Захер-Мазоха, — заметил я.

Мой собеседник внимательно взглянул на меня.

— Может быть... не помню... А у вас читают Захер-Мазоха?

— Очень любят. И его, и Эмиля Францоза.

— Кто вам больше нравится?

— Разумеется, Захер-Мазох.

Незнакомец одобрительно закивал головою:

— И мне тоже. У вас есть вкус. И мне тоже...

Он задумался.

— Скажите, — возобновил он разговор, — не замечали вы, что у каждой необыкновенной истории есть непременно два оборота, как у медали? Так — трагедия, так — водевиль. Так — величаво, так — глупо и пошло. Впрочем, — улыбнулся он, — иначе и быть не может: таков и сам отец всей сверхъестественной лжи — дьявол: то Сатана Байрона и Мильтона, то смешной чертик уличного Петрушки... Вы любите истории с чертями?

— Как вам сказать? Равнодушен к ним.

— Я расскажу вам случай, где черт играл весьма трагическую роль и вел себя чертовски, хоть и горько поплатился за это...

Место действия здесь — на невысоких галицийских холмах, между которыми несет нас поезд.

Время — лет сорок, много пятьдесят тому назад. Я мог бы представить вам живых свидетелей происшествия.

Недалеко от Коломыи есть фольварк Цехинец. В ту пору он принадлежал пану... ну, положим, хоть Вистовскому, помещику не из самых крупных, но с хорошим достатком и большим весом в округе. Жил и правил хозяйством Висловский по-старинному — настоящим польским патриархом-феодалом, но человек был добрый, с хлопами ладил и даже роковой 1840 год, когда столько галицийских панов погибло под ножами и в пожарах народного восстания, Висловскому не отозвался лихом. Память его и до сих пор в почете и между поляками, и между русскими. Висловский давно уже вдовел. Жил он в своем фольварке вдвоем с дочерью Стефою — шестнадцатилетнею красавицей, пышною и дикою, как лесной шиповник. Панну Стефу только что посватали за молодого графа, скажем, к примеру, Стембровского, в горы, верст за двести от Цехинца.

В один прекрасный полдень, знойный и мглистый, какие часто томят галичан в июле, когда курятся болота и выгорают подземными пожарами леса, — Вавжинец *) Клюга, сын дьячка из униатского поселка под самым Цехинцем, отправился в сад пана Висловского за очень привычным ему, но не совсем похвальным делом — красть яблоки.

Этот Вавжинец был оригинальный мальчишка — из поэтических уродцев, каких так любят описывать... — рассказчик усмехнулся, останавливая на мне со странною веселостью свои

*) Лаврентий.

блестящие глаза, — так любят описывать помянутые вами сейчас Захер-Мазох и Францоз...

Природа наградила Вавжинца личиком ангела и телом дьяволенка, укоротив ему левую ногу против правой: хромота повлекла за собою кривобокость, и мальчик вырос горбуном. Как все уродцы, если они не злы и не идиоты, он отличался редкою музыкальностью и был большой мечтатель — охотник считать звезды и улетать мыслями за тридевять земель в тридесятое царство. Что касается его умственных способностей... их размер, я думаю, достаточно определен уже тою подробностью, что ему было восемнадцать лет, а он лазил по чужим садам воровать яблоки с тем, чтобы ввечеру проигрывать их ребятишкам в бабки.

Вавжинец благополучно перебрался через каменную ограду сада пана Висловского — с полным пренебрежением к битому стеклу на ее гребешке: на подошвах, коленках и ладонях у него была верблюжья кожа. Он облюбовал два дерева и раздумывал, за какое приняться раньше, когда его окликнул голос «с неба»:

— Вот это хорошо! Пан Вавжинец Клюга изволит красть господские яблоки. Не заболела бы за то у мосьпана потылица.

У Вавжинца душа раздвоилась и ушла в пятки. Он закрыл глаза, чтобы не видеть, по крайней мере, света в ту страшную минуту, как садовник схватил его за шиворот и поволочет пред грозные очи самого пана Висловского; а там расправа короткая: лозаны, да какие! Но шиворот оставался свободным, садовник не появлялся, все было тихо и... Вавжинец струсил еще больше. Он был готов думать, что голос раздался и впрямь с неба, — именно тот голос, о котором рассказывал ребятам в школе ксендз Игнац, будто он предостерегает людей, когда они замыслят дурное дело, о Всевидящем Оке. Вавжинец со страха накинул себе на голову мешок, в два прыжка очутился у стены и перемахнул бы через

нее, если бы его не остановил смех — тоже с неба, но чересчур задорный, чтобы быть небесным. Он взглянул по направлению смеха и мигом успокоился: его дразнила с ветвей старой густолиственной груши панна Стефа.

Панны Стефы Вавжинец ничуть не боялся, потому что она была девушка-озорница, скорее способная помочь ему ограбить отцовский сад, чем выдать вора. В глухом Цехинце она росла, как трава, свободная, своевластная и буйная. Вавжинец в ранние детские годы игрывал с нею, и она колотила его, как всех своих сверстников. Однажды, на рожденье, он принес в подарок одиннадцатилетней Стефе пару перепелов. Девочка спутала пташкам ножки, потом выколола булавкою глаза и смеялась, глядя, как *слепые* птички скачут наобум, бессильные найти друг друга.

— А ты-таки трусишка, — сказала панна Стефа, когда вдоволь насмеялась над Вавжинцем.

— Я было думал, что идет старый Януш, — оправдывался юный воришка. — А вы, панночка, дай вам Бог здоровья, что там делаете на груше?

— Учусь летать, — серьезно ответила панна Стефа.

Вавжинец разинул рот:

— Гм... вот она какая штука!.. а зачем бы я летал на вашем месте?

— Мне завидно твоей матери. Она, сказывают, каждую субботу летает верхом на помеле на шабаш...

Ничем нельзя было больнее уколоть Вавжинца, как назвать мать его ведьмою. А она действительно знахарила и слыла хорошею лекаркою на весь околоток. Кумушки давно породнили бабу Эльжбету с сатаною, и самое уродство Вавжинца, — странное на их взгляд, потому что и Эльжбета славилась в свое время писаною красавицею, и муж ее, дьячок Базыль, был молодец мужчина, — приписывали тихомолком бесовскому вмешательству в семейный союз Клюги. Вавжинец сам немножко верил, что мать его не без греха по кол-

довской части; он утешал себя только тем, что она, если и ведьма, то добрая — не как другие, и только лечит людей и скот, но никого не портит, не завязывает заломов на ржи, не выдаивает молока из чужих коров, не крадет ни росы с лугов, ни младенцев из беременных женщин. Он ничего не ответил на насмешку панны Стефы, насупился и глядел в землю.

— Правда, что ты чертов сын? — продолжала безжалостная девушка, наслаждаясь смущением юноши.

— Бог знает что вы говорите, панночка, — с досадой отозвался Вавжинец. — Ну как я могу быть чертовым сыном, когда я крещеный? Вот и крест на шее.

— Это ничего не значит. Хоть ты и крещеный, а отец у тебя все-таки не Базыль, но черт... И, когда тебя крестили, он рассердился и так толкнул попа под руку, что тот уронил тебя на костельный пол. Оттого у тебя и ноги хромые, и горб на спине, и весь ты такой урод.

У Вавжинца стояли слезы в глазах.

— Уж лучше я уйду, чем слышать этакое, — сказал он, забрасывая мешок за спину. — Разве я виноват, что родился калекою? За что тут издеваться? Прощайте, панна Стефа, счастливо оставаться — на вашей груше.

— Куда же ты бежишь? — а яблоки, которые пришел воровать?

— Пускай их пекельные бесы воруют!

— И отец твой с ними?!

Совсем обозленный Вавжинец бросился к стене, но панна Стефа громко крикнула ему:

— Ни с места, дрянь! Стой, когда велят. Не то сейчас закричу: ловите вора... Распишут тебе спину...

Она смягчила голос:

— Больно некстати обидчив, пане Вавжинец Клюга. Экая важность, что я пошутила и назвала тебя чертовым сыном, а мать твою ведьмою. Да хоть бы и в самом деле ведьма... гм!.. может быть, я и сама ведьма.

— И хвост у вас есть? — язвительно спросил Вавжинец, уже несколько примиренный с барышнею, но все-таки мстя этим вопросом за свою обиду.

Панна Стефа хладнокровно возразила:

— Нет. Да я еще молода. Авось, вырастет.

Она захохотала, прибавив:

— Ну как же не ведьма? Вот видишь, летать учусь.

— И скоро вы, панна Стефа, полетите?

— А вот, как ты отцепишь меня от груши, так я и полечу.

И видя, что Вавжинец опять разинул рот, продолжала с сердитым взором и густым румянцем на щеках:

— Дурак! Слушаешь, развесив уши, мои небылицы, а не догадаешься, зачем я сижу на груше точно кукушка, альбо бес, закоханный в вербу *). Меня пришпилило суком за платье, и я не могу двинуться, потому что боюсь располосовать целое полотнище. И занесла же меня нелегкая на дерево в новом платье, только что из Львова... Помоги мне сойти.

Вавжинец вскарабкался на грушу и освободил новую Андромеду, так комически прикованную к сухому суку. Вдобавок к неловкости своего положения, Андромеда была нагружена несколькими десятками спелых грушек-малгужаток и не смела отнять руки от фартука, чтобы не рассыпать плодов. Но, соскакивая на землю, панна Стефа поскользнулась и едва не упала; груши дождем посыпались на траву. Стефа подумала, что это шутки Вавжинца, и вспыхнула:

— Вот тебе за это! — крикнула она и ударила горбуна по лицу.

Вавжинец и не думал уронить барышню. Получив ни за что ни про что пощечину, он остолбенел, потом рассвирепел...

*) Местная пословица.

— Драться? Ладно же! Коли так, ешьте ваши груши! ешьте ваши груши!

И он пустился скакать по рассыпанным плодам, втаптывая их в землю. Теперь он действительно походил на дьяволенка.

Панна Стефа была рослая, могучая девушка, с розовым лицом и с голубыми глазами, странно мутными под поволокою. Но, опомнившись от первого изумления, она раскраснелась, как кумач, поволока сплыла с ее глаз, и они засверкали, как звезды.

— Ах, гаман! лайдак! поплатишься ты мне за это! — крикнула она.

Вавжинец очень хорошо помнил по детским годам тяжесть рук панны Стефы. Поэтому, когда она кинулась на него, он, не рассуждая, бросился наутек. Стефа мчалась за ним, стараясь отрезать ему перебег к стене. Тогда он повернул в глубь сада. Она долго не могла настичь Вавжинца и порою нагибалась, чтобы схватить с земли палое яблоко или кусок кирпича, и швыряла их в спину горбуна... Раза три она попала метко, и Вавжинец вскрикивал от боли. Это рассмешило панну Стефу, и ярость ее унялась; теперь она гналась за Вавжинцем, толкаемая уже не столько жаждою отплатить за дерзость, сколько увлечением самой погони, разгулявшимся инстинктом борьбы.

Панна Стефа бегала быстрее Вавжинца, но он был босиком, а она — в тяжелых башмаках. Долго кружили они по саду. Наконец Вавжинцу удалось проюркнуть к стене. Он думал перемахнуть ее одним скачком, но сорвался, и в то же мгновение панна Стефа набежала на него и схватила его за плечи... Теперь они стояли лицом к лицу, задыхающиеся, красные, потные, сердито нахмуренные.

— Пустите меня: я не дам себя бить! — прошептал Вавжинец, глядя прямо в глаза барышни.

— Увидим, — тоже шепотом сказала панна Стефа и замахнулась.

Он перехватил ее руку, и между ними, одинаково сильными, завязалась немая борьба, как между двумя злыми зверятами. Панна Стефа подставила Вавжинцу ногу, он повалился, но вместе с собою уронил и ее. Они покатились по траве, грудь к груди и глаза к глазам. Озлобление у обоих прошло. Оба казались друг другу странными, и странною самая борьба, так непонятно приятная в мутном зное этого полдня, напитанного ароматами сырой земли, травы и созревших плодов...

Прошло три дня. Вавжинец ходил совсем шальной. До сих пор детский ум его внезапно просветился; он чувствовал себя взрослым и несчастным. С тех пор, как панна Стефа вырвалась из его объятий и, закрыв лицо руками, убежала в густой вишенник, жизнь горбуна потеряла всякий смысл: он не понимал себя и боялся людей. Боялся пана Висловского, боялся графа Стембровского, боялся и самой панны Стефы, которая, он был уверен, так оскорблена, что непременно погубит его... Три дня с утра до вечера он чувствовал себя то в петле, то под плетьми, то пан Висловский, привязав к дереву, — к той самой проклятой груше, — расстреливал его из ружья мелкою бекасиною дробью, то грабя Стембровский привязывал его к конскому хвосту, между тем как Стефа хлопает в ладони и злобно хохочет. И всех казней ему казалось еще мало для себя.

Однако в фольварке все было спокойно... Мало-помалу успокоился и Вавжинец. Происшедшее начало воображаться ему сном, таким страшным и опасным, что лучше бы о нем забыть.

Но однажды, когда он, устав полоть гряды, спал у себя на огороде, его разбудила метко брошенная ему в голову картофелина. Оглянувшись, он увидал над плетнем розовое

лицо Стефы с такими же ярко-звездистыми глазами, как тогда, в саду...

— Здравствуй, — сказала она.

Он молчал. Сердце его заколотилось, сделалось трудно дышать, и он забоялся, что умрет на месте.

— Что же ты не приходишь больше в сад? — спросила Стефа.

Он опять не ответил и только, не отрываясь, глядел на нее, точно кролик на гремучую змею.

Стефа позвала:

— Поди сюда.

Когда Вавжинец приблизился, она, быстро осмотревшись, положила ему на плечи свои белые руки и прильнула к его губам медлительным и крепким поцелуем. У Вавжинца пошла кругом голова, мир повернулся вверх дном перед глазами, и он потерял память, давно ли тянется и опьяняет его этот поцелуй. И вдруг он охнул от острой жгучей боли... Стефа оторвала свои губы от его глубоко укушенных губ; струя крови бежала по его подбородку, две-три алые капли остались на ее губах. Она смотрела на Вавжинца торжествующим взглядом — властным и жестоким: она видела, что он покорен ею, сломан, растоптан, что он раб ее на всю жизнь. Она сняла руки с его плеч, перешла от плетня через тропинку к чужому плетню, соседскому и, не глядя более на Вавжинца, ощипывала бело-розовую павилику... И опять между ними не было сказано ни одного слова. Наконец она сухо приказала:

— Ты проводишь меня в Цехинец.

С этого вечера жизнь Вавжинца и Стефы полетела вихрем в чаду потайных свиданий; роман их не мог тянуться долго: в сентябре ожидали графа Стембровского, который облаживал свои кредитные делишки с жидами в Вене, и вслед за его приездом должна была состояться свадьба Стефы. Ни Стефа, ни Вавжинец не думали о том, чтобы противодей-

ствовать этой свадьбе: как для всего Цехинца, так и для них она была делом роковым и неизменимым, для всех желательным и решенным бесповоротно. «Abgemacht» *, — как говорят немцы.

— Когда ты выйдешь за графа, я утоплюсь, — спокойно говорил Вавжинец.

Стефа презрительно пожимала плечами.

— Ну вот еще!..

— Ты не веришь?

— Нет, верю... только это будет глупо.

— Почему глупо?

— Не стоит.

— Ты думаешь?

— Я думаю, что я не стала бы топиться, если бы ты женился, — с какой же стати топиться тебе, когда я выйду замуж?

Под угрозою короткого срока они наполняли свою любовь всем разнообразием, какое способно породить это чувство, всем счастьем и всеми муками страсти. Между ними происходили ужасные ссоры, кончавшиеся безумными объятиями, — насмешки, брань и драка, которые разменивались на поцелуи.

— За что ты меня полюбила? — спрашивал Вавжинец.

Стефа презрительно отвечала:

— За то, что дурак, а дуракам счастье.

— Я вовсе не дурак, — обиделся Вавжинец.

Стефа смерила его долгим, любопытным взглядом.

— Не дурак?.. Тем хуже для тебя...

— Ну нет: мне больше нравится быть умным.

— Чем ты будешь умнее, тем больнее будет тебе, когда я тебя брошу. Желай лучше вовсе одуреть, пока я еще с тобою и могу помочь тебе... потерять разум.

* Решено (*нем.*).

Но в другой раз она сама сказала ему, лежа на его коленях своею прекрасною головою:

— Я люблю тебя за то, что я красавица, а ты зверь. За то, что ты нищий горбун, за то, что ты ходишь босиком, за то, что ты груб со мною, как хлоп со своею хлопкою, — я люблю тебя за то, что тебя не за что любить. А еще я люблю тебя за то, что если бы мой отец подозревал, что я с тобой здесь, на этом сеновале, он запер бы двери сюда вон тем тяжелым замком и своею рукою зажег бы сарай со всех четырех углов. И вот бы когда, вот бы когда ты узнал, как я умею любить и целовать... Ты не пожалел бы жизни и умер бы счастливый...

Глаза ее дико блестели:

— Я люблю тебя за то, что унижаю себя, отдаваясь тебе, за то, что мы обкрадываем моего жениха, которого я заранее ненавижу, — зачем он на мне женится, и мне прочитают в костеле, что я должна его бояться... Как я буду смеяться его чванству и важности, когда буду вспоминать тебя... Ха-ха-ха! то-то рога торчат у ясновельможного пана графа под его короною. У твоего отца — черта — не длиннее! Я люблю тебя за то, что я сумасшедшая, и часто сама не знаю, чего больше хочу — целовать тебя или зарезать... чтобы текла кровь... много-много крови... И... ах, зачем ты в самом деле не чертов сын? Тогда я любила бы тебя еще больше...

Стембровский приехал. Перед свадьбою — на последнем свидании с Вавжинцем — Стефа сухо и холодно приказала ему раз навсегда выкинуть ее из памяти, никогда не попадаться ей на глаза и в особенности, — Боже сохрани, — когда-либо хоть намеком обмолвиться о прошлых их отношениях.

— Я достану тебя везде, всегда, — говорила она, стиснув свои острые белые зубы, — и ты знаешь меня, знаешь и то, что я всегда добуду себе людей, которые за одну мою улыбку с радостью пойдут на эшафот... Я прикажу содрать с тебя с живого кожу, — и сдерут.

Вавжинец — синий, как мертвец — почти не слыхал ее угроз. Он бессмысленно повторял:

— Не беспокойтесь, панна Стефа... я знаю свое место... я знаю свое место.

Когда панну Стефу обвенчали и борзые кони уносили молодых Стембровских из Цехинца в их далекий замок, Вавжинец замешался в толпу челяди, собравшейся во дворе фольварка. В воротах лошади чего-то испугались, и вышла сумятица, давка, и один человек попал под колеса. Этот человек был Вавжинец. Графиня Стефа сидела в карете бледная, как полотно, но даже не взглянула на раненого, когда его, бесчувственного, с разбитою головою и переломанными руками проносили мимо.

Говорят, что битая посуда и гнилая верба живут два века. Как ни тяжело был изранен Вавжинец, он выжил: лекаркамать его выходила... А затем он пропал из Цехинца — и след его простыл.

Молодая графиня жила с мужем согласно. Семь месяцев спустя после свадьбы она оступилась и упала с невысокой лестницы как раз вовремя, чтобы вслед затем преждевременно разрешиться от бремени мальчиком, — с заметно искривленным позвоночным хребтом. Доктора сказали, что ребенок жизнеспособен, но обещает быть хромым и горбатым. Граф был очень огорчен, графиня — равнодушна. Новорожденного назвали Феликсом и пририсовали новый кружок к родословному древу: граф Феликс-Алоиз Стембровский, anno domini 185...* Затем в палаце графа совершились чудеса.

В один весьма скверный апрельский вечер, холодный и дождливый, в детской, где спал маленький граф, надо было затопить камин. Пламя весело разгоралось и собрало к себе весь женский штат, приставленный к надежде рода Стемб-

* В лето Господне... (лат.); т.е. в ...году от Рождества Христова.

ровских: няньку, мамку и двух поднянек-девчонок. Камин отпылал... тлели одни красные уголья, медленно покрываясь белою золою. Прислуга болтала... Вдруг одна из поднянек завизжала нечеловеческим голосом и — вытаращенными глазами и трясущимся пальцем — указала на камин: из трубы медленно спускались чьи-то безобразные, синие ноги... Ноги эти безбоязненно ступили на угли, и — на глазах онемевшего от ужаса женского собрания — из камина вылез черт.

Не обращая внимания на баб, черт проковылял к колыбели графчика.

— Это мое! — сказал он осиплым голосом, взял спеленатого ребенка в торбу, висевшую у него на шее, и исчез в трубе: как пришел, так и ушел.

Мамка повалилась в обморок; нянька впала в истерику; из девчонок одна забилась в угол за шкафом и, будучи не в силах сказать хоть слово, тряслась всем телом, не попадая зубом на зуб; другая, наоборот, металась по детской, с отчаянным бестолковым криком... Прошло не менее четверти часа прежде, чем добились от них, в чем дело. Графа-отца, как нарочно, не было дома. Что касается графини, она казалась скорее разгневанною, чем изумленною... Прислуга смотрела на нее с ужасом и за спиною госпожи открещивалась: уродство графчика, появление черта и его властное «это мое» были приведены суеверною дворнею в систему, — и графиня Стефания, в общем мнении — равно и крестьян, и панов-соседей, — превратилась в злобную ведьму... о ней пошли те же сплетни, что о бабе Эльжбете, матери горемычного Вавжинца...

Нечего говорить, что исчезнувшего в объятиях черта графчика принялись разыскивать, как только опомнились от возбуждения первой суматохи... Напрасно, — дьявол не оставил по себе ни одного следа.

Приехал граф-отец. Он далеко не был вольнодумцем, верил в черта, как истинный католик, — однако, верил отвле-

ченно, то есть: что есть где-то он, анафема, на свете — с хвостом, рогами и копытами, и пакостит исподтишка добрым людям, но чтобы черт, in persona *, мог явиться в замок его, графа Стембровского, и утащить его собственного графского ребенка, — этому он решительно не поверил. Не поверил и тому, что жена его ведьма, и прикрикнул на добродушного старика-ксендза, когда тот вздумал было советовать ему — попытать, твердо ли ясновельможная пани привержена к христианской вере.

— Бог знает что вы мелете, отец! Не у вас ли она исповедуется каждую неделю? И не вы ли сами допускали ее до святых тайн? Коли она ведьма, так и вы колдун... Нет, нет, тут какие-то шашни! и я выведу их на свежую воду!..

Он сделал жене резкую сцену. Но голубые глаза Стефы совсем помутились и оглупели под поволокою, когда граф накинулся на нее с требованием объяснений. Недоумело слушая вопли и ругательства супруга, она только пожимала плечами да повторяла:

— Я-то здесь при чем? Я-то что могу знать?

Граф почувствовал, что он смешон, и оставил графиню в покое...

Кто хорошо ищет, в конце концов свое находит. Граф напал на след «черта»: кое-кто из хлопов встретили в ночь, как пропал графчик Феликс, на большой дороге уродливую фигурку с ношею под армяком... Сведя несколько таких показаний вместе, граф определил направление, куда удалился черт, и энергично взялся за розыск...

Рассказывать, как он искал черта, я вам не буду: долго, да и не в том суть, как он искал, — важно, что нашел. Нашел при избушке на курьих ножках, одиноко брошенной среди забытого смолокуреного майдана, каких многое-множество в галицийских лесах, тогда почти девственных.

* Собственной персоной (*лат.*).

Граф был один — с ружьем и собакою. Чутье пса и вывело его к лесной хижине, где поселился черт. Сквозь ветви граф отлично разглядел нечистого своим охотничьим глазом: то был горбунчик, с запачканною рожею; он в прихромку скакал перед избушкою, напевая:

Лыковые лапотки,
Суконные покромочки...

Он держал на руках и тетешкал ребенка. Граф признал шелковое одеяло своего сына. Взяв ружье на прицел, он двинулся на черта. Черт все еще пел свои:

Лыковые лапотки,
Суконные покромочки... —

но, заслышав шорох ветвей, обернулся... и увидал графа. Он страшно выпучил глаза. Секунды две-три враги молча смотрели друг на друга, словно удивляясь один другому. Потом черт положил ребенка на траву и, подняв с земли ружье, тоже прицелился... Тогда граф выстрелил. Черт повалился на траву: пуля хлопнула его прямо в сердце. Граф подошел к убитому; черты трупа показались ему знакомыми.

— Где я видел этого мерзавца? и чем его обидел, что он вздумал красть моего сына? — ломал он себе голову, пока на звук его рога не сошлись рассыпанные по лесу егеря.

— Да это горбун Вавжинец Клюга из-под Цехинца! — воскликнул один из егерей, бывший с графом на его свадьбе в фольварке пана Висловского…

В самом деле это был он...

Граф взял найденного Феликса на руки, хотел его поцеловать, но... вдруг страшно побледнел и, передав мальчика ближнему егерю, приказал с отвращением:

— Возьми его, неси домой! У меня руки не тверды... после этого!

Он указал на труп.

Всю дорогу, пока добрели до замка, у графа тряслась нижняя челюсть и ходили судорогою руки. Он вспомнил Вавжинца, вспомнил, как уродец ни с того ни сего бросился под колеса его свадебной кареты, прикинул в уме преждевременное рождение Феликса, сравнил искривленное тельце ребенка с трупом убитого горбуна и понял необъяснимую охоту черта стащить младенца-графчика... В замке он прежде всего снял со стены тяжелую казацкую нагайку и, не сказав никому ни одного слова, прошел к графине. Получасом позже он вышел из ее спальни, багровый, шатаясь... сорванным голосом приказал закладывать лошадей и ускакал в город к судье заявить о совершенном им убийстве Вавжинца...

Графиню Стефу нашли в спальне едва живою. Графская нагайка превратила тело ее в сплошной синяк; губы были расплющены в лепешку, левый глаз мотался мертвым студнем на щеке... Оскорбленный муж оказался в расправе своей настоящим татарином. Обвинять ли его за жестокость? Не знаю. Кто поручится, что при подобных обстоятельствах мы с вами не поступили бы так же или даже еще хуже? По суду граф был оправдан как убийца невольный, — признали, что он застрелил Вавжинца по необходимости, чтобы самому не погибнуть от разбойника, убитого с оружием в руках. Эпизод похищения чертом графского ребенка замяли во избежание громкого скандала: теперь он был уже слишком объясним и прозрачен. Немедленно, по оправдании своем, граф развелся с Стефою, взяв на себя вину и обещаясь платить графине крупную ежегодную пенсию, с тем, чтобы Стефа убиралась из Галиции навсегда и куда хочет, только подальше. Она переселилась в русскую Польшу, в Варшаву и, говорят, пустилась там во все тяжкие.

Вот вам самая сверхъестественная история из действительной жизни, какую я знаю. И... не правда ли, что, несмот-

ря на трагический конец, она все-таки похожа на водевиль с переодеванием?

— А что сталось с Феликсом?

— Право, не знаю... кажется, умер — и хорошо сделал. Нынешнего графа Стембровского зовут не Феликсом, но Альфредом...

Поезд приближался к Львову. Попутчик мой ехал на Черновицы, и ему надо было ждать во Львове Personen-Zug * на свою линию... Любезно простясь со мною последним оскалом своих волчьих зубов, незнакомец не успел вылезти из купе, как уже попал в объятия каких-то молодых людей... и удалился, сопровождаемый ими, как король свитою. Кондуктор и железнодорожное начальство смотрели на эту встречу с почтительным любопытством...

— Кто это такой? — спросил я нашего обер-кондуктора.

Он даже глаза на меня вытаращил.

— Как, сударь? Вы ехали в одном купе — и не познакомились? Это — знаменитый писатель Леопольд Захер-Мазох... sehr berühmt... sehr berühmt... **

1897

КАЗНЬ

I

Вечером 17 сентября 187* года судебный следователь города У., Валериан Антонович Лаврухин, был в гостях у своего ближайшего соседа, доктора Арсеньева, справлявшего именины своей племянницы, Веры Михайловны. Молодая

---

* Пассажирский поезд (*нем.*).

** Очень знаменитый... очень знаменитый... (*нем.*)

жена Лаврухина, Евгения Николаевна, чувствуя себя не совсем хорошо, осталась дома. В десять часов она приняла бромистого кали и легла в постель, наказав горничной наведаться в спальню часам к двенадцати и, — в случае, если б Евгения Николаевна уже заснула, — потушить лампу. До назначенного срока горничная сидела в людской, играя в карты с кухаркой и дворником; кроме их троих, барыни да спавшего на кухонной печи вестового в доме никого не было. В полночь горничная отправилась взглянуть на больную. К своему ужасу, она увидела окно спальни раскрытым настежь, а пол испещренным чьими-то темными следами. Бросились к барыне — и нашли ее всю в крови и уже холодною. Поднялся шум, явилась полиция.

Следствие по этому делу дало такие результаты: Лаврухина была зарезана тремя безусловно смертельными ударами колющего орудия в горло, живот и левый пах. Ссадин, царапин и боевых знаков на теле не оказалось, а спокойное выражение лица умершей и положение трупа давали основание думать, что убийца подкрался к своей жертве во время сна и поразил ее внезапно. Из ушей покойной были вынуты серьги, с пальцев сняты кольца, с ножного столика пропал драгоценный складень — благословение матери Евгении Николаевны.

Спальня помещалась во втором этаже и выходила своим единственным широким — венецианским — окном в сад; от окна спускалась вниз железная пожарная лестница. Ее ступени и подоконник были в нескольких местах запачканы кровью. У окна не было задвижки; только утром в день убийства в него вставили новое стекло вместо разбитого накануне самим барином. От лестницы следы, такие же, как в комнате убийства, вели к забору, отделявшему лаврухинский сад от обширного пустыря, круто спускавшегося к реке Тве. Здесь следы исчезали.

В убийстве был заподозрен стекольщик Вавила Тимофеев — горький пьяница, истый бич города, полный без-

домник. Против него говорили весьма веские улики. В одной из клумб лаврухинского цветника нашлась отлично отточенная окровавленная стамеска; своими размерами она пришлась как раз по ранам Евгении Николаевны. Стамеска принадлежала Вавиле. Утром, пред убийством, Вавила вставлял стекло в окно спальни и сильно побранился с Лаврухиной из-за платы. Вечером его видели, мертвецки-пьяного, бродящим по пустырю вдоль садового забора. Наконец, в дополнение всего, Вавила в ночь на 18 сентября скрылся из У. Неделю спустя его арестовали в соседнем уезде по доносу трактирщика, которому он предложил в залог похищенные вещи. Сапоги Вавилы аккуратно подошли к следам убийцы.

Несмотря на столь очевидную виновность, преступник упорно запирался и рассказывал в свое оправдание, будто он действительно 17 сентября был сильно выпивши и не помнит, где заснул; на другой день очнулся на берегу по ту сторону Твы, рядом с собой нашел свои сапоги, а у себя за пазухой драгоценные вещи; очень испугался, что его за такую находку засудят, и бросился в бега. Кто подложил ему вещи, и как он попал на другой берег Твы, — ему неизвестно. Понятно, что суд не удовлетворился таким нелепым лганьем, и Вавила пошел на каторгу.

Смерть горячо любимой жены едва не убила Лаврухина; он потерял рассудок и, помещенный в лечебницу душевнобольных, провел около года в самой мрачной меланхолии. Потом он поправился, пришел в память, оставил больницу, начал гулять, бывать в обществе, ходить в гости, и особенно часто к Арсеньевым. В У. заговорили, что Лаврухин женится на Вере Арсеньевой, и скоро слухи оправдались.

Молодые супруги зажили отлично. Замечали только, что Лаврухин как будто опять начал хандрить, находится в большом подчинении своей жены и, пожалуй, даже побаивается ее. Так прошел еще год.

Память смерти Евгении Николаевны, как уже сказано, совпадала со днем ангела Веры Михайловны. 17 сентября у Лаврухиных было много гостей. Хозяин весь вечер казался очень не в духе и довольно неудачно притворялся веселым. Вера Михайловна делала приготовления по хозяйству и наконец пригласила гостей закусить. За ужином она обратилась к мужу с каким-то вопросом, и тогда произошло нечто неожиданное и ужасное. Едва несчастная женщина произнесла: «Валя!» — Лаврухин, как тигр, вскочил с места с пеной у рта и с ножом в руке, которым только что резал ростбиф, бросился на жену. Безумного схватили, но уж слишком поздно: Вера Михайловна упала на пол бездыханною...

— Что вы сделали, несчастный?! — в отчаянии спросил убийцу Арсеньев.

— Теперь она не будет больше сводить меня с ума! — отвечал Лаврухин и лишился чувств.

Через три недели он умер в больнице, ни разу не приходя в себя: буйные припадки следовали один за другим. По смерти Лаврухина между его бумагами были найдены записки, где он рассказал странную историю своей жизни. Вот что он писал.

II

Я получил назначение в У. семь лет тому назад. Тогда я только что женился на Евгении Николаевне Рогаткиной. Моя первая жена была, как все помнят, маленьким совершенством: хороша собой, добра, как ангел, не глупа, прекрасно воспитана и с порядочным состоянием. Она меня обожала; мне казалось, что и я ее люблю. Вскоре моя страсть остыла, но мне было совестно показать охлаждение женщине, достойной вечного и непрерывного поклонения, и я стал играть роль нежного супруга, каким еще недавно был на самом деле. Порою мне удавалось заигрываться до того, что я сам себя обманывал и снова верил в действительность

уже не существующей любви. Но гораздо чаще ложь моих отношений к жене уязвляла меня горьким стыдом; тем не менее, показать себя в настоящем свете у меня никогда не хватало духа, и целые четыре года я громоздил пред Евгенией обман на обман в словах, чувствах, поступках. Стыд своей трусости тяжело отзывался на мне, и из человека полного жизненных сил и более или менее довольного судьбою я сделался мрачным, унылым брюзгой. Презирая себя за слабоволие, я все надеялся, что авось как-нибудь, если уж я сам безвластен над собою, так хоть счастливый случай переменит и направит мой скучный быт по новому руслу.

В это время к доктору Арсеньеву приехала на житье его племянница Вера Михайловна — отслужившая срок пепиньерка одного из провинциальных институтов. Эта оригинальная девушка, не особенно красивая, с холодными руками и тусклым взором, произвела на меня весьма смутное впечатление. Я сразу ощутил тоскливое предчувствие, что она не пройдет бесследной тенью в моей жизни, в душе моей шевельнулась безотчетная боязнь ее, и, несмотря на то, меня все-таки потянуло к ней. Покойной жене моей Вера Михайловна была глубоко антипатична. Ее мертвенная бледность, ее странный взгляд, ее холодные руки почти пугали Евгению. А когда однажды обе женщины разговорились наедине, то Вера, оставив обычную молчаливость, высказала столько цинизма в своих убеждениях, столько сухого бессердечия и безверия, что Евгения совсем растерялась и искренно пожалела об институте, где Арсеньева была надзирательницей. Я лично, справясь с первым впечатлением, заинтересовался Верою как новым лицом, как умною и развитою — совсем не похожею на барышень уездного городишка — девушкой. Потом я начал находить, что она далеко не дурна собою и очень изящна, и кончил тем, что влюбился в нее. Не знаю, угадывала ли Вера мои чувства, — в ее загадочных глазах никогда нельзя было ничего прочитать. Она не кокетничала со мною,

но и не избегала меня. Я, стыдясь своего увлечения, никогда не говорил с ней о любви.

Однажды, в июле, жены не было дома. Я лежал в своем кабинете на кушетке, закинув руки за голову, и думал о скуке своей жизни и о Вере. Легкий шорох в гостиной заставил меня подняться, и, отворив дверь, я увидал ту, о которой только что мечтал.

— Вы обещали мне, — сказала Вера своим ровным, тихим голосом, — вы обещали мне позволить разобраться в старых портретах: их у вас, вы говорили, много валяется где-то. У меня выдалось свободное время, — вот я и пришла.

Портреты были сложены на чердаке, и мы с Верой взобрались туда. День был жаркий и знойный, под раскаленной крышей было душно. Вера внимательно вглядывалась в пыльные полотна, по-видимому совсем не замечая волнения, овладевшего мною, едва мы остались вдвоем. А оно все росло, росло... и вдруг безумное влечение к этой женщине, как пламя, охватило всего меня, — и я овладел ею насильно.

Когда затем Вера взглянула в мои глаза, я задрожал. Я увидел белое как полотно лицо, синие искривленные губы, широкие черные глаза с нестерпимым враждебным блеском. Ни стыда, ни страха, ни отчаяния, — одна злоба, и даже не гневная, но холодная, свирепая злоба легла на ее черты. Мне стало страшно. Вера приблизилась ко мне и, не отрывая от меня своего ненавистного взора, сказала внятным и грозным шепотом:

— Теперь ты женишься на мне, или... ты пропал!

Потом отвернулась и спокойно начала спускаться по лестнице. Когда я — опомнившись — собрался последовать за нею, она уже оставила мой дом.

III

Раньше я был неискренним, но честным человеком, и первое преступление легло тяжелым камнем мне на душу. Я не

смел поднять глаз на жену, стыдился видеть себя в зеркале. Позор сознания, что я — представитель правосудия, счастливый семьянин, развитой человек — оказался способным на гнусный зверский поступок, заедал мое существование, и позор был тем более велик, что меня сильнее, чем когда-либо, тянуло к Вере. Единственным возможным оправданием была для меня упорная мысль: должно быть, я действительно горячо люблю, если не мог справиться со своею страстью... Грозное лицо, дикие слова Веры стояли в моей памяти, и мучительное любопытство, какого мужчина не может не чувствовать к женщине, заставившей его бояться ее, влекло меня посмотреть на странную девушку и разгадать ее. Странное дело! Я не помню — я не умею вспоминать, была ли она девушка, когда я ее там — на чердаке — взял... И тогда не мог вспомнить. Иногда мне казалось — да, иногда — нет, но стыдно, мучительно стыдно было одинаково всегда. Стыдно и страстно.

Мы увиделись, и судьба моя была решена. Я стал рабом Веры и весь ушел в идею: обладать ею на всю жизнь, назвать ее своею женою.

Между мною и Верою стояла Евгения.

В один темный вечер, когда в беседку арсеньевского сада, — приют наших свиданий, — теплый южный ветер дышал благоуханиями цветника, когда с черного неба смотрели на нас большие звезды, — я, задыхаясь от страсти, между двумя поцелуями, ответил любовнице согласием на страшный приказ убить жену.

С тех пор я жил словно в полусне, будто пьяный. Мой подавленный ум сроднился с идеей необходимости убить. Не понимаю, как я удержался от простого, грубого нападения на жену, как мог зародиться и вызреть в моей голове дьявольски-тонкий план, которым я отправил на каторгу невинного человека, сам оставшись вне всяких подозрений. Я действовал как бы под внушением... О Боже мой! если б я мог забыть эти безумные ночи в арсеньевском саду, робкий свет

сквозь шумящую листву тополей, бледное женское лицо с сверкающими глазами, цепкие руки на моих плечах и тихий ровный голос, нашептывающий мне кровные слова!

В ночь на 17 сентября я хотел освежить свою душную спальню, встал с постели, попробовал отворить окно, и вдруг — будто нечаянным движением локтя — выбил стекло в раме. Утром жена проснулась с легким хрипцом и уже заранее решила, что не пойдет на вечер к Арсеньевым. Пришел стекольщик Вавила и поправил раму. Он запросил лишнее, и жена с ним побранилась.

— Избавь меня от шума! — с досадою сказал я, — заплати ему, сколько он просит!

Евгения повиновалась, но, отдавая деньги, не утерпела, чтобы не обозвать Вавилу мошенником и вором. Стекольщик ушел ворча и очень недовольный.

Вавила был давно указан мне Верою, как человек пригодный, чтобы свалить на него подозрение. Помимо своей отвратительной репутации, он был драгоценен для меня еще вот чем: каждый вечер он напивался до бесчувствия и принимался буянить в своем доме; дело обыкновенно кончалось тем, что жена Вавилы сзывала соседей и выталкивала мужа из хаты на улицу, после чего стекольщик, покричав и поругавшись малую толику, отправлялся спать всегда в одно и то же место — на пустырь под забором нашего сада.

Оставив жену дома, я посоветовал ей лечь в постель. Я был совершенно спокоен, хотя знал, что вернусь домой лишь затем, чтобы убить Евгению. Видите ли. У меня чересчур много *совестливости*, но я не знаю, не вовсе ли умерла во мне *совесть*; я из тех, кто лжет, притворяется, насилует свою натуру, лишь бы не нанести постороннему человеку *явного*, хотя бы маленького нравственного укола, чтобы потом не слышать упреков за это, — но во имя своего личного спокойствия или удовлетворения господствующей страсти легко решается на *тайное* преступление над ближайшим другом.

Я нервен. Сызмальства я боялся одиночества, потемок, крови. Годы и судебная практика закалили меня, но и ожесточили. Я присмотрелся ко всяким страхам и научился дешево ценить человеческую жизнь — слабую искру, погасающую от первой несчастной случайности. В самом преступлении я боялся одного: что застану Евгению еще не спящей и тогда не посмею напасть на нее. Евгения должна была умереть, не ведая, что я негодяй, продолжая верить в меня, как при жизни: один взгляд разочарования в ее честных глазах, — и моя рука не поднялась бы на нее, я почувствовал бы себя ее рабом.

IV

Я кончил роббер за почетным столом и передал место мировому судье Сабурову, а сам присоединился к кружку молодежи. В комнатах было жарко; темный осенний вечер заманчиво глядел из сада в окно. Вера предложила гостям прогуляться немного. Сад у Арсеньевых громадный, тенистый и темный. Я шел сзади всей компании под руку с Верой; она весело болтала со мной и еще одним молодым человеком, нотариусом Динашевым. Он остался без пары и шел рядом. Так мы добрались до крайней аллеи сада, протянутой вдоль берега Твы; здесь, у купальни, качался на волнах маленький ялик — забава Веры. Я почувствовал легкий толчок... сердце мое забилось: Вера дала мне сигнал действовать. Я нарочно споткнулся.

— Какой вы неловкий, Валерьян Антонович! — досадливо заметила Вера, — с вами невозможно идти... M-r Динашев! дайте мне вашу руку!

Я понемногу отстал. Вот они повернули внутрь сада к цветнику и исчезли за кустами. Я быстро сел в ялик и оттолкнул его от купальни. Преступление началось. Теперь у меня не было ни сомнения, ни боязни. Лишь бы скорее! скорее! скорее!.. В два взмаха весел я достиг своего пустыря. Было

очень темно, но я не сделал и десяти шагов, как наткнулся на храпевшего Вавилу. Пьяница спал как убитый. Я снял с него сапоги, переобулся и разделся, оставив на себе одну фуфайку. Затем поднял бесчувственного Вавилу за плечи и перетащил его в ялик, где и оставил вместе со своею одеждой. Проникнуть незаметно в свой дом мне ничего не стоило: вспомните пожарную лестницу и отвинченную задвижку венецианского окна.

Евгения приняла на ночь бромистый кали — я сам советовал ей это. На ее здоровую, непривычную к лекарствам натуру бром подействовал сильно; отворяя окно, я немного нашумел, но Евгения и не пошевельнулась. Тогда я подкрался к кровати... Я недаром изучал когда-то судебную медицину и присутствовал при десятках вскрытий: Евгения умерла моментально, без мучений; от сна она прямо перешла в объятия смерти. Я стоял над ее телом, пока не убедился, что она мертва. Потом я забрал ценные вещи с ночного столика, снял с покойницы серьги и кольца и вылез обратно в окно. Орудие убийства — стамеску — я по дороге бросил в цветник.

Следствие напрасно сочло эту стамеску собственностью Вавилы: я получил ее, — блестящую и наточенную, как бритва, — за два часа перед тем из рук Веры, а где достала ее Вера, — не знаю. Вавилу я перевез на другой берег Твы, — рассказ его на суде совершенно правдив. Проходя по арсеньевскому саду, я зажег спичку и посмотрел на часы. Все мое отсутствие продолжалось сорок минут. Я направился в кабинет Арсеньева, к винтерам; зеркало в передней показало мне, что я, несмотря на спех и темноту, оделся как следует.

— Нагулялись? — спросил меня хозяин.

— Да, — ответил я беззаботно, — сыро, знаете... Молодежи хорошо рисковать, а у меня ревматизм.

Сабуров вышел из игры, и я сел за него. Играл я отлично, не хуже, чем всегда, а между тем делал ходы совсем маши-

нально. Скоро ли откроется? Скоро ли прибегут из дома с известием об убийстве?.. Вошла Вера. На ее вопросительный взгляд я чуть кивнул головой. Она равнодушно отвернулась. Почему-то меня покоробило ее хладнокровие; я рассердился, и вдруг во мне что-то словно сорвалось с места, всколыхнулось и задрожало; мои колени невольно застучали одно о другое, а карты заплясали в руках. Могучим напряжением воли я сдержал этот нервный припадок, — тогда он принял другую форму. Истерическое удушье шаром поднялось от диафрагмы к горлу, и я, едва дыша, чувствовал, что если не проглочу этого шара, то он меня задушит, а чтобы проглотить его, я непременно должен сперва заплакать...

Наконец зашумела соседняя комната, двери наполнились бледными лицами в искажениях страха и любопытства, — убийство обнаружилось. Опрометью добежав домой, я упал на тело своей жертвы в непритворном обмороке.

V

Рассказывать свою жизнь в лечебнице я не буду. Я не жалел Евгении и не страдал муками совести: я не верю в бессмертие, а раз его нет, — так чего же стоит жизнь, что ужасного в ее потере? И самоубийство не страшно, и убийство не жестокое дело, не преступление. Свои больничные дни я проводил лежа на кровати и устремив глаза на медный отдушник печки. Меня занимало, как под моим пристальным наблюдением он мало-помалу расплывался в большое светлое пятно, и на фоне его я видел разные странные фигуры, лица знакомых, а чаще всего Веру. Сторожа утверждали, будто я часто разговаривал сам с собою, но я не замечал этого. Вообще, не решусь сказать, был ли я вполне нормальным умственно в то время. Скорее нет: уж слишком апатично жилось мне и думалось в лечебнице. Сколько помню, я тогда с удовольствием сосредоточивался лишь на двух мыслях — что

мне надо притворяться сумасшедшим и что скоро женюсь на Вере. Арсеньевы изредка навещали меня.

Наконец я выздоровел. Женился.

Тут-то и ждало меня возмездие. В день свадьбы я был сильно взволнован; у меня как-то особенно болела голова — боль, вроде мигрени, шла от затылка двумя ветвями к вискам — и все летали мушки перед глазами. Помню так же, что в тот день я несколько раз ошибался в распознавании цветов, хотя раньше никогда не страдал дальтонизмом. Под венцом я, совсем больной и расстроенный, едва крепился, чтобы выдержать церемонию до конца прилично, с достоинством. Священник предложил нам поцеловаться. Я взглянул на Веру, — и кровь застыла в моих жилах, голова закружилась, я чуть не закричал от испуга, едва устоял на ногах: из-под венчального вуаля на меня смотрело не Верочкино лицо — предо мной стояла Евгения! Она выглядела здоровой, румяной, кроткой, веселой, как при жизни: она улыбалась... И это лицо я должен был поцеловать! Я сознавал, что брежу, галлюцинирую, но — какая страшная галлюцинация! Призвав на помощь всю силу духа, я быстро дотронулся до своего левого глаза, — давление на сетчатку — лучшее средство прогонять обманы зрения: видение исчезло. Я снова узнал Веру; она смотрела на меня с выражением изумления и беспокойства: так изменился я в лице!

Когда я рассказал Вере, что случилось со мной, она расхохоталась. Эта женщина никогда ничего не боится, ничем не волнуется и над всем смеется! Прошло несколько дней; мне стало лучше, голова меньше болела, настроение было спокойнее. Вдруг, в один вечер, когда мы с Верой сели за ужин, галлюцинация повторилась с прежней отвратительной и беспощадной ясностью. Я оттолкнул тарелку и встал из-за стола, задрожав, как лист. Вера догадалась.

— Тебе опять причудилось? — спросила она со своим обычным сухим смехом, но и слова ее, и глумливый тон, вме-

сто того, чтобы ободрить, привели меня в еще больший страх: я слышал голос Веры, а продолжал видеть Евгению. Так длилось несколько секунд.

С того вечера приговор моей жалкой участи был определен. Галлюцинация посещала меня все чаще и чаще; Вера по нескольку раз на день превращалась для меня в Евгению. Просыпаясь ночью, я то и дело узнавал рядом с собой на подушке голову своей погибшей жертвы, не выносил этого зрелища и будил Веру, а она злилась, что я не даю ей спать, и ругала меня сумасшедшим. Ни хлоралгидрат, ни морфий не помогали мне. Я принужден был бояться присутствия своей жены; заслышав ее шаги, я всякий раз с невольной дрожью думал: «А вдруг она сейчас войдет, и снова повторится проклятое видение?» — и мои опасения почти всегда оправдывались. Я стал дичиться Веры, запираться от нее, но ведь мы — муж и жена, у нас не проходит часа без невольной встречи, а встречаться так жутко, так нестерпимо!.. Расстаться бы, разлучиться совсем, — так воли нет: я люблю Веру, да и не пустит она меня от себя! И кто мне поручится, что в другом месте другая женщина не сделается для меня предметом такой же, а может быть, и еще худшей галлюцинации? Мозг мой поражен и не способен на правильные отправления, — я слишком много видел чужого безумия, чтобы притворяться теперь, будто не сознаю своего. И если оставить Веру, за что же тогда погибла Евгения? Я человеческую жизнь отдал за право владеть ею и скорей погибну, чем уступлю взятую с бою, омытую кровью добычу!..

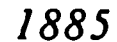
Но как утомили и ожесточили мой бедный ум эта жизнь, под вечным страхом, эта постоянная пытка зрения, эти бесконечные сомнения! Что делать, как быть, как жить дальше? Я преступен, я злодей, но казнь моя выше меры, и я проклинаю мстительный призрак моего воображения! Когда он является ко мне, я ненавижу его и, вопреки своему страху, готов броситься на него и истерзать его образ, как он сам

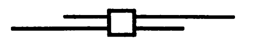
терзает мою душу, и только убеждение, что я болен, что меня пугает ложная мечта, что под оболочкой призрака скрытая моя любимая Вера, — только это убеждение, еще присущее моей отуманенной мысли, сдерживает меня, и я в бессильной злобе кусаю себе руки, но молчу и терплю. Но что если все это так и продолжится? Если мой ум еще больше ослабнет под тяжестью ежедневных грозных впечатлений? Если последнее спасительное убеждение погаснет? Мне страшно... я не хочу...

А голова все болит и болит, день ото дня все сильнее, резче, назойливее, и черные мысли стучатся в нее громко, самоуверенно, как полновластные хозяева. И откуда взялись они — мои злые мысли? Неужели они — голос совести, пробудившейся от долгой спячки? Если — да, почему же я один изнемогаю под бременем ее проклятия? Отчего Вера спокойно спит, сладко ест и пьет, а я сам не свой мыкаюсь по свету, как Каин, отвергнутый Богом? А ведь она больше виновата, чем я: она была злою волей моего преступления, я — только орудием...

Жена идет. Я слышу шелест ее платья. Вот в моем настольном зеркале отразилась ее фигура... Опять Евгения! опять!..

Боже мой! да когда же и чем кончится этот ужас?!


1885





ПТИЧКИ ПЕВЧИЕ

ПТИЧКИ ПЕВЧИЕ

(Московские нравы)

Motto *
Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Гибельных последствий.

— И вот, братец, когда мы напились, то поехали к Яру...

— Позволь! — перебил приятеля приятель, — ты не верно выражаешься, не литературно: к Яру не ездят, к Яру попадают.

В самом деле: какой же здравомыслящий москвич, даже в загуле, вознамерившись провести вечер в свое удовольствие и на самую широкую ногу, выезжает из дома с определенно намеченным планом: «Сегодня я еду к Яру». Для современного москвича подобное заявление было бы равносильно тому, как если бы древний грек или римлянин обещал во всеуслышание: «Сегодня я брошусь с Левкадского утеса». После такой откровенности свидетелям остается один священный долг: связать заявителя по рукам и ногам и послать за полициею: «Берите его, — это сумасшедший и самоубийца...»

Нет, об Яре никто не мечтает вслух, никто не собирается туда с заранее обдуманным намерением. Напротив, мысль, что: «Чем черт не шутит — пожалуй, придется кончить вечер у Яра», — веселящийся москвич старательно скрывает даже от самого себя. Люди энергичные и склонные к самонадеянности клянутся и бранятся: «Чтобы я и сегодня по-

* Эпиграф (*ит.*).

ехал к вашему подлому Яру? Да ни за что! Боже меня сохрани! Я еще с ума не сошел и не собираюсь в Черемушки. И деньги у меня не бешеные, но трудом достаются, — да-с!.. Лучше я их на свечке сожгу, чем выброшу в эту бездонную бочку пьяных Данаид! Мне и о прошлом-то вечере стыдно и тошно вспомнить».

Люди поопытнее, гамлетовски изверившиеся в силу своего характера, памятуя многочисленные печальные прецеденты, сокрушенно вздыхают: «Эх, хоть бы сегодня-то Бог был милостив — не дал мне попасть к проклятому Яру. Да нет уж... Где уж! Что уж — Fatalité!» *

Ясный — весенний, летний, осенний — вечер. Резиновые шины развозят «веселящуюся Москву» по садам. «Веселящаяся Москва» аплодирует девице Отеро, аплодирует девице Раисовой, слушает «Пару гнедых» от г. Давыдова и «Нищую» от г. Форесто:

Она была м-мечтой поэта...
Подайте Христа ради ей!

— Браво! Бис! — и даже слезы и истерики...

Замечали ли вы, что публика наших развратных садов и кафешантанов — очень сентиментальная публика? Точно, наглядевшись на голые плечи, на вызывающие глаза, одурев от блеска бриллиантов, от сальных фраз и намеков, — она чувствует потребность в реакции, хочет, чтобы в ее свиноватом веселье прозвучала хоть какая-нибудь человеческая нота. Если вы прислушаетесь к тексту самых излюбленных номеров нашей кафешантанной толпы, сюжеты их покажутся вам истинным memento mori ** на пире ликующих, праздно болтающих. Тихим туманным утром по столичной улице пара гнедых

* Судьба! (*фр.*)
** Помни о смерти (*лат.*).

кляч тащит похоронные дроги. «В гробе сосновом — останки блудницы». Покойница когда-то была шикарною кокоткою, а клячи — великолепными рысаками. Но состарилась блудница, состарились и рысаки. Она умерла...

Кто ж провожает ее на кладбище?
Нет у нее ни друзей, ни родных...
Несколько только оборванных нищих...
Пара гнедых! Пара гнедых!..

Я не раз был свидетелем, как эти четыре довольно нескладные апухтинские стиха, пропетые или, вернее, сказанные нараспев «Сашею Давыдовым», заставляли рыдать не только женщин, но и мужчин. Барнай, Мунэ Сюлли, Сара Бернар, Дузе, Ермолова лишь в самых высоких трагических вдохновениях поднимают свою публику до таких бешеных восторгов, какие вызывает в кафешантанной среде баритон или тенор, слезливо взывающий с эстрады к полупьяной толпе:

Плачь! плачь! плачь!
Не таи рыданья!
Плачь! плачь! плачь!
Облегчи страданья!

«Нищая» — старинная песня Беранже в превосходном переводе известного актера-водевилиста сороковых годов Д.Т. Ленского: история знаменитой певицы, которую оспа «лишила голоса и зрения», и бывшая дива протягивает теперь на паперти руку за милостыней... «Подайте Христа ради ей!..» Раньше «Нищей» и «Пары гнедых» была в моде тоскливая мелодия, написанная на общеизвестные, мучительно-страстные некрасовские стихи: «Не говори, что молодость сгубила»; не сходят с репертуара грустно-разочарованные «Ночи безумные». Эта сантиментальность распутной и невежественной толпы — черта едва ли не исключительно рус-

ская. В кафешантанах Парижа, Вены, Берлина, Неаполя никакому «артисту» и в голову не придет, что публику, пришедшую веселиться, можно забавлять плачем о блуднице в сосновом гробу, предсмертными стонами влюбленного и придирчиво-мелочного ревнивца или рассказом о том, как:

Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу.
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили...

Когда европейский полуинтеллигент чувствует потребность в такого рода настроениях, он удовлетворяет ей в театрах бульварной трагедии и мелодрамы, имеющих на Западе широкое распространение. У нас нет их вовсе. За границею мне случалось видать, как публика кафе-концертов, однородных с нашими «Омонами» и «Тулонами», тоже возбуждалась исполнением «серьезных» номеров до неистовства, кричала, стучала, бисировала. Но слез я никогда не замечал, да и «серьезность» номеров была совсем другого сорта. Француз беснуется, когда поют ему о реванше, о статуе Страсбурга, о матери солдата, о маленьком барабанщике, вздернутом на прусские штыки. Чтобы пробрать немца, пойте ему «Die Wacht am Rhein» *, «Deutschland, Deutchland, ueber Alles» **. Чтобы довести до fanatismo *** итальянца, достаточно просто хорошо петь. А русскому для полного восторга подавай, среди пиршества, египетскую мумию — образ смерти и печали: пой о гробе, больнице, нищете... Хорошая эта черта нашей толпы или дурная, не берусь решать. Аль-

* «Стража на Рейне» (*нем.*).
** «Германия, Германия превыше всего» (*нем.*).
*** Восторга (*ит.*).

фонс Додэ, строго осудивший Достоевского за Соню Мармеладову, а русских писателей вообще за «сантиментальную» страсть откапывать положительные черты в отрицательных явлениях жизни, вероятно, был бы немало сконфужен и возмущен, если бы показать ему воочию самобичующие, отравленные примесью неведомой, но тяжелой тоски удовольствия российских пшютов и падших или почти что падших женщин. У английского юмориста Джерома К. Джерома пономарь захолустного аббатства, где нет ровно никаких достопримечательностей, соблазняет проезжего юношу-туриста: «Я покажу вам могильные плиты... Одна немножко треснула, но это ничего: она все-таки очень хорошая могильная плита, и под нею хорошо похоронен настоящий покойник... А потом я покажу вам три черепа... Посмотрите на черепа! Вы молодой человек, вам надо повеселиться: ах, посмотрите на черепа!»

Турист убежал от пономаря опрометью. Любой русский кафешантан мог бы доставить этому пономарю сотни молодых людей, способных веселиться, созерцая могильные плиты и черепа.

От исполнителей чувствительных номеров не требуется ни голоса, ни умения петь. Нужна «слеза» в звуке, нужна «душа» в декламации. Я знавал многих, которые сами искренно и до слез волновались передаваемыми в их пении мрачными картинами и настроениями, и публика ценила их исполнение, дурное, грубое, полное безвкусной аффектации, выше самого изящного, самого законченного. Точно в этих убогих чувством и скудных разумом, выветренных до полной нравственной пустоты массах живет бессознательная тоска по утраченной душе — дыхании Божием; точно потребность хоть на миг почуять, какова она, эта душа, становится порою так велика, что человек, — из той же кафешантанной среды, но еще с душою, еще способный воспринимать и воспроизводить общечеловеческие чувства, — невольно становится для одичалых носителем и героем какой-то забытой правды, лю-

бимцем, полубогом. Хорошо это или дурно, опять-таки оставляю в стороне: психология толпы — дело сложное. Смотреть, как вслед за поголовным плачем о блуднице в сосновом гробу выскакивает на эстраду полунагая блудница, еще благоденствующая, и публика, только что рыдавшая, даже не хохочет, а прямо ржет на ее разухабистые цинические коленца, — довольно отвратительно. Но вместе с тем минутка мимолетной грусти как будто немного дезинфицирует удушливую нравственную атмосферу вертепов, где сцена и зрительный зал спорят между собою, — кто хуже. Я уверен, что если бы какому-нибудь Давыдову или Форесто пришла в голову мысль, спев «Пару гнедых» или «Нищую», обратиться к публике с воззванием: «Милостивые государи, в столице имеются так называемые магдалининские приюты для несчастных падших женщин, но средства приютов очень ограничены... Не дадите ли вы в их пользу, сколько кто может?» — я уверен, что посыпался бы дождь пожертвований, ни за минуту пред тем, ни минутою позже того, немыслимый и невозможный.

* * *

Час ночи. Сады кончили свою работу. В кафешантанах прошли «отделения»: сцена опустила занавес, и шато-кабак стал просто кабаком, где человеку, неохочему попасть в герои и свидетели скандала, дальнейшее пребывание неудобно. «Что ж нам делать? Не хочется спать», — и, сверх того, как будто еще и не всем успели насладиться... И вот — alea jacta est! * «Веселящаяся Москва» собирается под яровскую сень, как наполеоновская гвардия на ночной смотр. Все очутились у Яра: и клявшиеся не быть, и неклявшиеся, и храбрые на словах стоики, и робкие Гамлеты.

— Петр Михайлович! Вы-то здесь какими судьбами? Вы же дали зарок — не ездить к Яру?

---

* Жребий брошен! (*лат.*)

— А черт меня знает какими! Попал. Присаживайтесь к крюшону.

— Ах, чтобы вам ни дна ни покрышки! Ну сел... наливайте! Что с вами делать!

Яр, таким образом, своего рода проклятие бесснежных сезонов Москвы. Зимою он только довольно частое бедствие, в остальные времена года — фатальное проклятие. Он напоминает ту магнитную гору, о которой рассказ Синдбада-Морехода сохранили нам арабские сказки. В этой горе не было ничего особенного, но, чуть плыл мимо нее корабль, из него тотчас же выскакивали вон все гвозди, и судно шло ко дну. Нет ничего особенно и в Яру. Как ресторан, это даже посредственный ресторан. Москва — старинная столица обжорства и обладает такими блистательными кулинарными капищами, как — кроме разве Парижа — ни один город в мире. И, с точки зрения опытного московского вивёра, человек, способный после завтраков Славянского базара, после обедов Эрмитажа и Тестова, ужинать у Яра — либо круглый невежда в гастрономии, либо ненасытный Гаргантюа. Кухня неважная, даже «по особому заказу», для своей публики; мало же знакомые гости едят совсем плохо. Половые принимают заказы кушаний даже как бы с некоторым недоумением: вот, мол, охота есть у нас! — подают чуть не с часовыми промежутками от блюда к блюду, и случается, что вы велели дать себе филэ-сотэ, а вам приносят судака-о-гратэн и еще божатся, что вы как раз это именно и приказали подать. Словом, приехав к Яру, гость предполагается сытым до отвала, но не пьяным, по крайней мере не вдребезги пьяным. Напаивать публику до положения риз, в компании певичек разных хоров, и есть назначение этого удивительного и воистину единственного в своем роде учреждения. Нигде в России не выпивается... я хотел сказать: виноградного сока, но вспомнил, что его-то именно здесь и не достать... не выпивается больше хмельных микстур, чем у Яра, хотя опять-таки погреб его далеко не первоклассный.

— Отчего у вас такие дрянные vins ordinaires? * — спросил я как-то распорядителей. — Русские от второстепенных фирм, иностранные — месиво самого скверного качества.

Мне отвечали:

— Нам нечего беспокоиться о вине. У нас не в нем суть. Вина у нас почти не пьют. Наш гость истребляет либо шампанское, либо коньяк. Это у нас на совесть: лучше нигде не найдете. А вино идет лишь так — между прочим, для «промежуточной публики»... А сами знаете: случайным посетителем мы не дорожим. Что в нем? Приехал из любопытства, чтобы лишь посмотреть, каков таков Яр, прожил красненькую и уехал — только и было с него прока. Нам, сударь, важен гость постоянный, завсегдатай наш, habitué **, как выражаются господа французы...

Трудно, даже почти невозможно, по здравому смыслу, вообразить себе существование целого класса людей, убивающих изо дня в день и свое время, и свои деньги на то, чтобы поддерживать жизнь скучного, хотя и шумного, однообразного, хотя и пестрого, кабака с казенным весельем, с казенным пьянством, с казенным развратом. Однако такой класс есть — и даже многочисленный. И это далеко не сплошь очень богатые люди с бешеными деньгами. Между коренными, хроническими яровцами немало лиц, добывающих средства к жизни тяжелым упорным трудом. Московская ежедневная пресса, например, чуть не сплошь заражена недугом «яромании», а жизнь газетного сотрудника в Москве — каторжно-рабочая жизнь, и доходы его — не ахти какие великие доходы.

— Пора бы вашему издателю увеличить ваш гонорар, — сказал я однажды своему приятелю, молодому фельетонисту, имевшему в Москве большой успех. — Вас сильно читают.

Фельетонист рассмеялся.

— Я говорил ему.

---

* Заурядные вина (*фр.*).

** Завсегдатаи (*фр.*).

— И что же?

— Он отказал — и не без остроумия, разбойник. «Видите ли, — говорит, — Яков Иванович, если бы вопрос был только о том, чтобы вам прибавить жалованья, я не возразил бы ни слова. Но ведь дело обстоит так, что не вы, собственно, получаете с меня жалованье, а ресторан Яр: оно только проходит через ваши руки. Яру же — я нахожу — вы платите более чем достаточно, и прибавлять ему решительно не за что». И он совершенно прав, если хотите. Ведь, действительно, — благо, я бессемейный, — как-то выходит так, точно я работаю не на себя, а на этот проклятый Яр...

Есть разряд посетителей, называемых на местном яровском жаргоне «горе-кофейщиками». Очень плачевный разряд. Это — пропащая молодежь малого достатка: конторщики, нотариальные писцы, приказчики. Денег нет, а про блестящий, дорогой яровский разврат наслышаны. И вот — так и манит, так и тянет хоть глазком взглянуть, «как это бывает». Часов до одиннадцати ночи это многообещающее юношество утаптывает бульвары, гоняясь за уличными женщинами, а когда запрут портерные, идут пешком к Яру — версты четыре, если не все пять. У Яра — чашка кофе, рюмка коньяку, двугривенный на чай половому — всего рубль денег; а сколько удовольствия-то за этот рубль: и электричество, и музыка, и сверкающие бриллиантами женщины, и возможность рассказать завтра в приятельском кружке, прихвастнув немного, что «кутил» в одном зале с актером X., экс-миллионерами Y. и Z., писателями U. и W., издателем N. — словом, со всеми премьерами московского вивёрства. А если «тузы» хорошенько подопьют и разойдутся до якшанья со всяким встречным, то и возможность в самом деле познакомиться с ними, быть приглашенным к их столу и напиться за их счет. Из горе-кофейщиков вырабатываются весьма скверные типы: и подлые, и опасные. Отсюда выходят лизоблюды, потешники богатых компаний, охотники — шутовством и, в стремлении угодить, не различающим ни задач, ни средств,

услужничеством — втираться в общество «золотой молодежи» — к даровому шампанскому. Отсюда выходят «интересные подсудимые»: человеческая шушера, которая очаровывает невежественных, но охочих до сильных ощущений певичек болтовнею, заимствованною из театральных фарсов, и громкими фразами — из романов «Московского листка» и «Новостей дня»; влюбляет и влюбляется; геройствует на словах и сутенерствует на деле; года три вытягивает у женщины ее гроши, добытые подарками от щедрых habitués ресторана и любовников-содержателей, а затем, в один глупый день, вдруг ни с того ни с сего, возьмет и пырнет свою даму сердца ножом или сам наглотается нашатырю — в дозе, достаточной для того, чтобы в газетах написали о попытке на самоубийство из ревности или из-за несчастной любви, но отнюдь — Боже сохрани! — не опасной для жизни.

Легонькие самоотравления — прямо какой-то спорт кафешантанного мирка. Певицы хоров травятся походя. Каждая из них травилась хоть разок в жизни: «Едва-едва меня тогда спасли!..» Но «спасли» непременно: они любят играть со смертью и притворяться, будто умирают, но умирать боятся, даже до суеверного ужаса ко всему, что напоминает о смерти — к кладбищу, к трем свечам на столе, к встрече с монахом и т.д. «От хорошей жизни не полетишь», — говорит горбуновский портной. От счастья в хор не пойдешь! У редкой из певичек не осталось в прошлом тяжелой семейной или личной драмы. Интеллигентные классы, конечно, представлены в составе «певичек» сравнительно малым процентом. Но все-таки среди бывших горничных и швеек далеко не редкость встретить девушку, прошедшую несколько классов гимназии, сбившуюся с пути гувернантку, разводку из порядочной семьи, бросившую мужа, и — по тщетном поиски более симпатичных занятий — очутившуюся в хоре. Еще недавно среди певиц московской Стрельны приютилась, поссорясь с семьею, княжна N. — с родословным деревом чуть

не от Рюрика... *) Таким образом, в душах этих птичек, ходящих весело по тропинке бедствий, — говоря словами поэта Минского, — «спят драконы»... Недаром же их любимая героиня — Маргарита Готье: редкая не ставит ее себе за идеал (по местному произношению «идеял»; когда я поправил одну певицу, она обиженно возразила мне: «Извините-с... Саша Давыдов завсегда поет:

Где же теперь, в какой новой богине
Ищут они идеялов своих.

Что же, по-вашему, он хуже вас знает, как надо произносить?!»). Редкая не «обожает» грациозный образ чахоточной, благородной грешницы, как пригрезился он Дюма. В Арманах Дювалях, к сожалению, никогда не бывает недостатка в окружающей певиц кабацкой толпе, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. В огромном большинстве случаев доморощенные Арманы Дювали эксплуатируют своих Маргарит с наглостью и ловкостью профессиональных сутенеров...

— Влюбиться для нашей сестры — одно разорение! — откровенно жаловалась мне на Нижегородской ярмарке солистка лучшего московского хора, рассказывая свой печальный роман с некоторым начинающим, но подающим большие надежды помощником присяжного поверенного: юнец, можно сказать, из молодых, но ранний **). — И разорение, и кабала, и унижение! Разве нас любят? Нами тешатся. И всегда — свысока, точно честь нам делают. Помни — мол, кто ты и кто я! Нам каждую минуту показывают: смотри, как я великодушен, — не брезгаю тобою, хотя ты тварь, а я порядочный человек!.. Понимай, что ты меня не стоишь, и трепещи, чтобы я тебя не бросил, не

*) Однофамилица, но не родственница «Княжны», выведенной в «Марье Лусьевой» (1904).

**) Уже давно исключен из сословия! (1904)

променял на первую встречную... Ну и не жалеешь ничего, лишь бы угодить: ни самолюбия, ни денег.

— Охота же вам любить такую дрянь?

— А что мне делать, если любится?

Наша беллетристика много занималась цыганскими хорами, но русская певичка — явление, еще почти вовсе нетронутое литературным описанием. Сталкиваясь с нею по ходу своих романов и повестей, авторы спешат отделаться от певицы короткими, небрежными набросками, точно от проститутки. Брезгливость несправедливая и малонаблюдательная. Певица — далеко не всегда проститутка; наоборот — разве лишь в виде редкого исключения. Разумеется, встречаются между ними большие развратницы и негодяйки, но большинство вовсе не так страшно, как их малюют. Опасный разряд — иностранки: немки, венгерки и являющиеся со всех сторон света под разными псевдонимами чужеземные еврейки. Эти действительно с тем лишь и приезжают в Россию, чтобы выгодно продаться и ограбить какого-нибудь влюбленного простака («карася» — на яровском жаргоне), — ограбить дочиста, до последнего гроша. У этих пришелиц всегда есть и деньги, и бриллианты, а у иных и свои лошади. Они недоступны лишь тому, у кого нет денег. Русская певичка, — кровная ли русачка, хохлушка ли, русская ли полька, русская ли еврейка, — даже из торгующих собою — редко опускается до такого откровенного превращения в живой товар. Скажу больше: для иных служба в хоре — последнее убежище от холодной и голодной нужды, а, следовательно, от искушения сделаться продажною женщиною. Многие смотрят на свое пребывание в хоре как на состояние временное и переходное к чему-то лучшему, более светлому, — и берегут себя в этой надежде. Многие просто находят, что жалованья, частых подарков от знакомых, почти всегда дарового ужина — достаточно, чтобы жить безбедно, не унижая себя самопродажею. Вообще, русские женщины падают довольно легко, но до проституции доходят лишь в крайности. Наконец, я сам знал нескольких певичек, которые

жили скромно и даже целомудренно, потому что заключались в верность одному, любимому человеку, — и отношения эти тянулись целыми годами, не прерываемые даже соблазнами разлуки, при переезде хора из города в город. Что касается жадности, русская певичка тоже оклеветана больше, чем заслуживает. Между ними большая редкость — женщина хоть с маленькими деньгами. Как только у певицы завелись сбережения, она спешит уволиться из хора, выходит замуж и т.п. Так, если певица нашла себе богатого обожателя, то он уже из одной ревности не оставит ее в хоре. Мне рассказывали случаи, когда, чтобы убрать певицу из хора и в то же время не оставить ее скучать без занятия, влюбленные покровители открывали для них кондитерские, модные магазины. Далеко не редки случаи женитьбы «порядочных людей» на певицах, и — нельзя сказать, чтобы выходили неудачные браки. Конечно, нет правила без исключения, но — в общем — два-три таких супружества, известных мне лично, надо отнести к разряду счастливых. Правда, что во всех этих случаях свадьбе предшествовало многолетнее внебрачное сожительство, — maritalement *, как определяют французы, — и супружество было здесь как бы официальною наградою за долгую и непоколебимую верность.

В общем, за очень редкими и наперечет, по именам, известными исключениями певицы живут более чем скромно. Московские хоры, например, ютятся в грязных меблированных комнатах Тверской-Ямской, где номер в пятнадцать-двадцать рублей уже считается чуть не аристократическим помещением. Вот разговор с натуры.

— Как тебе, Поля, не стыдно? У тебя не из чего чаю напиться: бегаешь занимать чашки к соседям...

— А если не нравится, так чем стыдить, привез бы в подарок хоть плохонький сервиз! — с азартом возражает Поля. — У Кузнецова есть дешевые: фаянсовый брак... знаешь?

---

* Как супруги (*фр.*).

— Да такой подарок и привозить совестно: ему пять рублей цена... неужели у тебя, солистки, нету своих пяти рублей?

— Конечно нету!.. Откуда они будут? Я, чай, в хоре служу, а не фальшивые бумажки делаю. Слава Богу, сыта, одета и обута, — и за это скажи спасибо. А уже привередничать нашей сестре не приходится... Из чего Бог дал, из того и напьешься!

Описывая Соню Мармеладову, Достоевский подробно остановился на чистоте, которую этой девушке приходится соблюдать в одежде и убранстве, и — «денег она стоит, чистота-то эта особая, понимаете». Соблюдать особую чистоту певицы обязаны больше, чем даже Сони Мармеладовы. Характерные, т.е. национальные костюмы: сарафаны малороссийские, венгерские и т.п. делают для них хозяйки хоров, но «городские» туалеты они обязаны иметь свои, и это требование съедает почти весь их небогатый достаток. У иной певицы, если заглянуть в ее гардероб, можно найти десять-пятнадцать шелковых туалетов от Войткевич, а в буфете ее — изо дня в день колбаса, булка — и больше ничего.

Зная, что общественное мнение считает их женщинами сомнительной профессии, певицы принимают у себя дома гостей очень редко, осторожно и с большим выбором. Надо съесть с певицею два пуда соли, прежде чем она позовет к себе в гости. Из ста посетителей ресторана, которые на «ты» с разными Полями, Наташами, Юлиями etc., вряд ли один видел когда-нибудь домашнюю обстановку этих Поль, Наташ, Юлий, да дома они не Поли и Наташи, а Пелагеи Павловны, Натальи Николаевны. Мне случалось бывать в таких гостях, — и, право, это было презанимательно и до строгости прилично. Чувствуя себя поставленной вне общества, певица высоко ценит тех, кто обращается с нею как с порядочною женщиною. Ни одна из них не обидится, если частый гость, встретив певицу на улице, не поклонится ей, особенно, если он не один, а с дамою. Но раскланяться с певицею при таких обстоятельствах, значит — приобрести друга.

— За что тебя так любят здесь? — спрашивал я известного московского певца-яромана. — Ты не богат, тратишься довольно скупо; между тем, тебя принимают как принца крови.

— За вежливость, голубчик.

— Да мы все здесь не невежи, однако к нам совсем не то отношение, что к тебе. За какую именно вежливость?

— А вот за какую. Завтра, скажем, Натальин день. Именинниц бездна. Ты, наверное, поздравишь баронессу Наталью Сергеевну, коммерции советницу Наталью Архиповну, примадонну Наталью Андреевну, но я готов хоть пари держать, — и не вспомнишь, что и эта ведь Наташа К., которая с нами сидела сейчас, тоже Наталья — именинница. А я помню. И завтра утром я отправлю поздравительные телеграммы и баронессе Наталье Сергеевне, и Наташе К. Ужасно ихняя сестра любит всякое внимание. В Новый год я не делаю визитов, но рассылаю карточки, и всем знакомым певицам обязательно тоже по карточке. Если бы ты знал, как они гордятся: точно я их орденом жалую! И заметь деликатность: ни одна не позволит себе выставить мою карточку в гостиной на зеркале, напоказ, а спрячет в какой-нибудь сокровенный ящичек и лишь при случае похвалится подругам или хорошему знакомому: вон, мол, какие люди меня знают. Я уверен: если бы вот эту самую Наташу спросить на выбор, чего она хочет, — получить от меня в подарок сто рублей или мою фотографию с почтительною надписью, как пишут дамам из «общества», она предпочтет фотографию.

К друзьям своим, то есть к людям, которые относятся к ним, живым игрушкам, по-человечески, дочери хоровой богемы привязываются трогательно, задушевно. В Москве необычайно популярен журналист Д. В молодости он широко жил, весело писал: богема на него молилась. Его ежедневные фельетоны заучивались чуть не наизусть, всюду повторялись. Когда он довольно сильно заболел, швейцар гостиницы, где квартировал писатель, приходил в отчаяние от постоянных расспросов о состоянии здоровья интересного больного, с утра до ночи осаждали его пе-

вицы кафешантанных и ресторанных хоров. Участие было совершенно бескорыстное: Д. был совсем не богат, — а просто — по симпатии.

Яровская красавица сошлась по любви с блестящим «прожигателем жизни», когда-то богачом, теперь только что не бедняком, одним из тех «золотых нищих», кого кормят кое-как тотализатор, карты, пари, ловкие займы, распродажа старых вещей — остатков прежнего величия. У возлюбленной этого льва ci-devant * были знаменитые по всей Москве бриллиантовые серьги, подаренные ей прежним ее содержателем.

— А дела NN (фамилия экс-миллионера), должно быть, очень плохи, — сказал мне однажды у Яра только что помянутый Д.

— Почему?

— Разве вы не знаете приметы? Посмотрите на серьги Аглаи.

— Ну?

— Видите: бриллианты не голубой воды, как обыкновенно, а желтой? Это — просто хорошие стразы. Она, когда сошлась с NN, заказала себе стразовые серьги — точь-в-точь, как ее настоящие. Если NN в выигрыше, она щеголяет в голубых бриллиантах, но чуть он проигрался, голубые бриллианты идут в заклад, а денежки — NN на отыгрыш... Аглая же в это время довольствуется стразами...

Согласитесь, что для женщины — это жертва, в особенности для женщины, живущей тем, что себя показывает...

Как-то раз в Москве съехалось несколько писателей-петербуржцев. Москвичи устроили товарищеский обед. Вечером петербуржцы пожелали:

— Покажите, пожалуйста, что за штука ваш Яр.

И вот сидим огромною компанией в зале Яра. Один, сейчас уже покойный критик, роется в незнакомом ему прейскуранте, не зная, на какой марке хереса ему остановиться.

* Раньше (*фр.*).

— Позвольте, я вам выберу, — предлагает певица.

Критик очень грубо ответил:

— Спасибо! Знаем мы, как вы выбираете. Ведь вы, небось, имеете процент с буфета? Стало быть, выберете хоть дрянь, да втридорога...

Певица даже побледнела от обиды.

— Вы меня, конечно, не знаете, — возразила она, — но вот они, — она указала на некоторых москвичей, — меня знают хорошо... Если бы я сидела с саврасом, я непременно сделала бы, как вы говорите. Если бы пригласили меня к столу вы, незнакомый человек, я, может быть, тоже поступила бы так. Но когда я сижу со своими знакомыми, я считаю за подлость вводить их в лишние расходы.

Красавиц в русских хорах мало, хотя дурнушку с лицом, наводящим на публику уныние, редко примут в хор даже за хороший голос: разве уж талант необыкновенный. Но талант недолго засиживается в хоре: либо переманят цыгане, либо найдется эксплуататор из проезжих провинциальных антрепренеров или мелких актериков и уведет за собою женщину с голосом и «искрою Божьею» как бы ни была она некрасива, на опереточные или водевильные подмостки. Можно назвать целый ряд актериков, которые, — сами по себе закулисная тля, — вышли в люди, держась за шлейф своих талантливых жен, бывших хористок. В подобных случаях, обыкновенно, не сходятся maritalement, но женятся наизаконнейшим образом: церковный брак прочнее привязывает доходную крепостную к ее эксплуататору. Сманить во имя искусства певицу из хора альфонсу тем легче, что успех певицы в хоре создают все-таки не голос и не талант, но более или менее приятная наружность и, главным образом, умение разговаривать с публикою: поэтому голосистая и талантливая дурнушка остается в тени за видными и бойкими подругами и, следовательно, всегда немножко оскорблена. Затем, сцена — прямо безумная какая-то страсть этих женщин. Когда они не поют и не спят,

можно быть уверенным, что они либо в театре, либо собираются в театр. Актер для них полубог. Очень часто они сами устраивают любительские спектакли, обязательно с благотворительною целью и по самой высокой расценке мест в зрительном зале. Сбор всегда обеспечен: редкий из habitués ресторана не купит двух-трех билетов. Как курьез, спектакли эти небезынтересны. Я видел в яровском исполнении «На пороге к делу», известную пьесу Соловьева, поправленную А.Н. Островским. Когда-то она была в большой моде в Москве, благодаря вдохновенному исполнению М.Н. Ермоловою симпатичной роли учительницы Лониной. На спектакле любительниц-хористок Лонина мерзла в нетопленой школе, сверкая бриллиантами в ушах и на пальцах, но, право же, хотя она и говорила «хучь» вместо «хоть», и «одначе» вместо «однако», в игре ее была заметна симпатичная искренность, нотка наивного восторга и любви к той, кого она изображает; и все благородные, светлые слова говорились с живою теплотою, как не всякая профессиональная артистка их скажет... Ах, надо много наскучить тьмою и настрадаться в ней, чтобы как следует оценить прелесть света и приветствовать его с настоящим одушевлением!

Я сказал сейчас, что в хорах ценятся женщины, ловкие разговаривать с гостями — то есть, прежде всего угадать, о чем и в каком тоне надо вести беседу... Приглашенная к столу кем бы то ни было певица, собственно, не имеет права отказаться от приглашения: отказом она наносит прямой ущерб буфету, лишая его прироста в consommation *. Часто женщины — в прямой стачке с ресторатором и, подседая к столам, начинают выклянчивать у посетителей совершенно не нужные кушанья, шампанское, дорого расцененные вина, звать в кабинет слушать хоры или новую солистку и т.д. В нижегородских ярмарочных ресторанах я постоянно наблюдал такие сцены. Певица пристает к купцу:

* Потребление, расход (*фр.*).

— Закажите порцию цыпленка и полбутылки лафиту!

— Зачем? Ведь я заказал полный ужин и тебе, и себе?

— А это вы позвольте мне отослать моей подруге Мане... Она, бедная, сегодня больна и не выходит в зал!..

Купец заказывает. Тем временем, мнимая больная подруга Маня преспокойно сидит за соседним столом и обрабатывает своего пригласителя в том же духе. Такие заказы на «отсыл», разумеется, ставятся лишь в счет, но ни кухнею, ни погребом не исполняются; процентов двадцать пять из оплаченного гостем псевдозаказа получает певица, остальное — чистый доход ресторатора. Искушенные опытом гости не желая ни отказать певице, ни дать себя в обман, требуют, чтобы им показали исполненный заказ. Мера эта, однако, довольно наивная и ни к чему не ведущая: певицы заказывают обыкновенно так называемые plats du jour *, постоянно имеющиеся на кухне, и, следовательно, за ресторатором остается полная возможность показать вам чужого цыпленка за вашего, тем более, что пробовать кушанье вы не станете: это считается неприличным, и, если вы отрежете от огромного цыпленка микроскопическую часть крылышка для себя, ваша собеседница не преминет приказать человеку:

— Оставьте это здесь на столе, а для Мани приготовьте другого.

— Зачем же другого? — протестует изумленный гость. — Я ведь только крылышко.

— Не посылать же женщине надрезанного цыпленка? Маня объедков не ест... Если вам жалко, я прикажу записать на свой счет.

Гость или конфузится и платит, или оскорбляется и начинает ругаться. Но при первом же резком выражении его стол пустеет: певицы разом срываются с мест, как испуганная стая воробьев, и удаляются с оскорбленными лицами, с полными негодования взглядами. Разыгрывать «невинно оби-

* Дежурное блюдо (*фр.*).

женных» они — великие мастерицы; иная сделает такую «немую сцену», что твоя Дузе! Довольно возмутительная манера некоторых промышленниц на пользу буфета — притворяться крепко пьяными, и — будто не владея уже своими движениями — опрокинуть на скатерть блюдо с кушаньем, разлить дорогое вино, — так что гость волей-неволею должен спросить новую порцию, новую бутылку... Есть великие мастерицы спаивать целые компании, делая вид, будто пьют со всеми наравне: они незаметно, среди разговора, выливают свои стаканы под стол или в кадки с цветами. Если гость заметит и рассердится, — следует либо извинение, что «нечаянно», либо наглый хохот:

— Ну и вылила... а тебе жалко?

— Еще бы не жалко: ведь ты рублей двадцать пять расплескала по полу.

— Эка важность! Нешто это деньги? Зато я с тобою сидела целый вечер...

Ссориться с гостями, т.е. возражать им, певицам строго запрещено: за это можно заплатить большой штраф и даже быть удаленною из хора. Поэтому на ссору с посетителем певица, как бы скотски он ни вел себя, решается лишь в том случае, если она уверена, что ее ответная брань не только не оскорбит ругателя, но даже понравится ему, как своеобразная удаль. Как ни странно, но есть охотники-спортсмены и по этой части.

— Где вы были вчера вечером? — спрашиваю как-то раз знакомого художника, замечая, что у него взоры бессонные, речи несвязные и ланиты помятые.

— В Эльдорадо... я теперь там постоянно...

— Вот! Что же вы делаете?

— Знаете Лину? Шатенка, курносая... Так я при ней нашел постоянное занятие: дразню ее, пока не переругаемся. Ну уж, батюшка, и ругается же, я вам доложу: этакой виртуозности я и не слыхивал! Музыка — просто музыка!

Любопытно, что виртуозка по части ругани, способная мгновенно наполнить зал неистощимым потоком сквернословия, была девица, и очень строгая девица. Вообще, в этом темном мирке встречаются удивительные контрасты. Подсаживается к столу женщина: нахальный взгляд, манеры уличной женщины, распущенная речь, полная цинических прибауток, усыпанная гнуснейшими анекдотами...

— Как вы держите такую? — делает возмущенный гость замечание хозяйке хора. — Она компрометирует весь хор.

— Кто? Леля? Бог с вами: это первая наша скромница...

— Хороша скромница! Вы бы послушали, что она сейчас нам плела: уши вяли!

— Так это она вам понравиться хотела, вот и распустила язык.

— Нашла — чем!

— Да ведь — кому что нравится: большая часть гостей только такой разговор и любит. А я вам слово даю: кабы все вели себя так честно и скромно, как Леля, можно бы за хор Бога благодарить. Она только и знает, что свой дом да ресторан. Никого не принимает, ни у кого не бывает, никаких любвей и романов... точно монашенка! А вон мое несчастье, мой яд-то сидит!

Ядом и несчастьем, к удивлению гостя, оказывается первая на вид смиренница хора: «Мадонны лик, взор херувима», — как определял Жюдик Некрасов.

— Что вы, голубушка? Да с нею даже скучно, с вашим ядом: такая она щепетильная. Намедни NN позволил себе сказать какую-то невинную двусмысленность, — она так и зарделась.

— То-то и есть, что в тихом омуте черти водятся.

С посетителями, если они уже не «гости», но свои люди и, следовательно, их «занимать» нечего, певица ведет, конечно, и особый, не показной, не ремесленный разговор. Между ними есть неглупые женщины. Читают они, хотя страшные

глупости, но очень много, и потому у большинства есть в разговоре некоторый лоск. Я знал двух-трех, с которыми можно было говорить о чем угодно, кроме математики, философии и тому подобных бездн премудрости, и говорить очень приятно; в излюбленном дамском разговоре «о чувствах», они довольно строго критиковали Бурже и ссылались на широко пущенные было одно время в русский оборот брошюрки Мантегаццы... А вот афоризм, написанный пожилою певицею на портрете, подаренном подруге, когда та, выходя замуж, оставила хор: «Прощай, Лидия! я очень рада за тебя, но не завидую. Будь счастлива, но, вспоминая меня, не жалей, не думай, что я несчастна. Наша сестра-певица — цыганка. Она живет между небом и землей, между вчерашним и завтрашним днем. У нее нет сегодня, потому что ее день начинается тогда, когда он у других людей кончается, и кончается тогда, когда он у других людей начинается...»

Уголовные романы «Новостей дня», «Московского листка», «Русского листка» и прочих органов малой прессы поглощаются в Яру, Стрельне, за кулисами Омона и Малого Эрмитажа, взасос. Легко встретить певицу, не слыхавшую про Тургенева, Гончарова, Писемского, но редкая не знает гг. Ракшанина, Пазухина, Апраксина, Хлопова, «Синее Домино» и других постоянных поставщиков кровавой мелодраматической беллетристики на нижние этажи изданий указанного типа. Первые три: Ракшанин *), Пазухин и Апраксин пользуются особенным вниманием и прочными симпатиями: вероятно, за то, что произведения их — все-таки не шаблонный фабрикат «бульварного романа с приключениями», а не лишены и некоторой общественной подкладки и попыток к психологическому анализу.

Почти все страстно любят стихи. Из поэтов в этой среде распространены: Апухтин, Суриков, Надсон и Некрасов — нервные лирики. Некоторые женщины, начитавшись поэтов, сами начина-

*) Умер в 1903 г.

ют понемножку, исподтишка, грешить стихами. Когда знаменитый «диктатор Москвы», городской голова Н.А. Алексеев, щедро отдавший долг яромании, умер застреленный сумасшедшим Адриановым, яровские певицы облеклись в траур, яровская поэтесса сложила в память убитого элегию, а яровский концертмейстер Пригожий положил эту элегию на музыку. К сожалению, у меня нет под руками образчиков кафешантанной поэзии. Стихи, обыкновенно, довольно нескладны и наивны, но между мусором попадаются блестки недурных мыслей, настроений и чувств. Темы, по большей части, мрачно-амурные: измена... несчастная любовь... самоубийство... покушение на убийство из ревности... Впрочем, эти невинные темы — не единственные. Среди устной и письменной «поэзии» Яра, Стрельны, Мавритании etc. очень популярны творения некой Ю.А.: нечто совершенно неприличное. Даже трудно поверить, чтобы эти стихи были созданы женским воображением, написаны женскою рукою. Такой вакханалии рифмованного безобразия не услышишь ни в каком другом месте. Ни одна певица, разумеется, не позволит себе обмолвиться «Юлькиными рифмами» в трезвом виде и под лицемерными сводами ресторана. Система Яров и К° разгул во всю, но по-благородному; одна казовая, завлекательная сторона вакхических забав, никаких скандалов и отталкивающих сцен. Гость засыпает за столом, — его вежливо выпроваживают вон. Певицу напоили до того, что бедняжка во всеуслышание декламирует «Юлькины рифмы», — ее сажают на пролетку и отправляют с артельщиком домой впредь до вытрезвления, а назавтра — крупный штраф.

Частые штрафы — тяжелое бремя небогатого бюджета певиц: штрафы берутся с них по девизу «всякая вина виновата»... Певица приехала в ресторан четвертью часа позже обычного, — штраф, хотя бы ресторан был пуст, как Сахара; уехала, вместо четырех утра в три часа и пятьдесят пять минут — штраф; надела черное платье, тогда как приказано

было всем быть в желтых, — штраф; ушла от богатого гостя к другому, менее выгодному, и не послушалась приказа хозяйки или распорядителя возвратиться, — штраф; села в коляску знакомого у подъезда ресторана, — штраф, и т.п. Хозяйки хороших хоров, впрочем, больше пугают свое женское стадо штрафами, редко приводя в исполнение угрозу, или — вычитают штрафы, но к Новому году либо в конце сезона возвращают их вместо наградных денег. Но есть негодяйки, превращающие системою штрафов жизнь певицы в рабскую кабалу. Певица — особенно если она неопытна, что называется «рохля» и не умеет вступиться за себя — у подобной хозяйки живет только что не даром, не получая почти ни гроша. В таких хорах, — обыкновенно, мелких, третьеразборных, — естественно, — быстро и сильно развивается тайная проституция.

Между собою певицы уживаются довольно ладно. Как во всякой полуобразованной среде, у них — правда — то и дело вспыхивают бешеные ссоры из-за пустяков, но ссоры эти улегаются так же быстро, как начались, — и, не успели подруги всласть переругаться, как, глядь, уже помирились и ходят по залу под руку, разговаривая самым дружелюбным манером, пересмеиваясь, секретничая. Правду сказать, бедным созданиям нечего делить между собою, — следовательно, не из-за чего и крепко ссориться. К тому же за слишком бурную — до заметности ее гостям — ссору тоже штрафуют. Тихие, но упорные ссоры — когда две женщины дуются одна на другую, не разговаривая друг с другом по целым неделям и даже месяцам — вызываются лишь какими-либо из ряда вон выходящими неприятностями: если певица наябедничает на подругу хозяйке, подведет ее под штраф, пустит про нее скверную сплетню, поссорит ее с другою подругою. Большим оскорблением товарищеских отношений считается отбить у подруги даже невольно, а тем более умышленно ее любовника, не только денежного, но и по сердцу... последнее, пожалуй, еще позорнее. Охотницы до такого спорта à la Carmen

попадают в немилость не только у обиженных товарок, но и всего хора. Обиженные же в ревности доходят до безумных поступков. Тут-то и является на сцену излюбленный российским полусветом нашатырь, а бывали случаи, что прежде чем отравиться, влюбленная мстительница прыснет в лицо изменнику или разлучнице карболовою кислотою. Еще стыднее, чем отбить любовника, наушничать ему на его возлюбленную, рассказывать о ее кокетливом флирте с кем-либо из гостей, с распорядителем, солистом своего или чужого хора. Такие наушницы во всеобщем презрении и часто, объявленные в некотором роде вне закона, бывают принуждены выйти из хора: столько им делают маленьких, булавочных неприятностей.

В хорах чрезвычайно развиты «дружбы» — вроде институтского обожания. Знакомый привозит коробку конфет певице и не застает ее в ресторане.

— Не передадите ли Анюте этот сверток? — просит он другую.

Та отказывается.

— Отдайте Мане. Она с Анютою друг и передаст ей ваш подарок.

— А вы разве враги?

— Нет, конечно, — как служим в одном хоре, то подруги. Но Маня и Анюта — друзья. И если я возьмусь передавать Анюте подарки. Маня может на меня обидеться.

За исключением коллективных поездок в другие города, когда хор всею стаею поселяется в одной гостинице, певицы предпочитают квартировать одиночками, не сходясь в группы по три, по четыре, хотя при таких условиях можно бы жить и дешевле. Причина разобщенности — все та же боязнь быть принятыми за потайных проституток, и по такому подозрению при первом же неосторожном мужском визите попасть под полицейский надзор. Этого боятся как огня не столько сами певицы, но и их хозяйки: нижегородский губернатор Баранов закрывал рестораны и высылал с ярмарки хозяек хоров, где

появлялись уличенные проститутки. Последние в своей среде — парии: они марают и без того невысоко стоящую в общественном мнении хоровую корпорацию, и подруги не прощают обидной молвы — из-за одной виновной, падающей и на них, невиноватых. Торгующая собою певица терпится хором, если у нее хороши голос, или широкий круг знакомства, или она редкая красавица, — как необходимость, но у нее нет ни приятельниц, ни защитниц: ее презирают. При первой возможности заменить ее другою хозяйка спешит сплавить сомнительную женщину с рук. Разумеется, говоря это, я имею в виду порядочные, крупные хоры, а не сброд, развозимый по ярмаркам средней руки и темным ресторанчикам: такие «капеллы» почти всегда — прикрытые благовидною маскою, кочующие лупанары... Парами певицы поселяются часто — особенно «друзья». Сожительства эти, впрочем, бывают довольно кратковременны: два медведя плохо уживаются в одной берлоге. «Если хочешь поссориться с другом, поселись с ним в одной комнате», — старая аксиома. Кроме того, «друзья» никогда не селятся вместе, особенно если одна — молодая, а другая в летах, стыдясь со стороны подруг насмешливых подозрений в симпатиях к пресловутому пороку поэтессы Сафо. Симпатии эти, подаренные плевелам российской цивилизации французскими просветительницами, каскадными певицами и т.д., живут во многих хорах, а в некоторых представляют собою поголовное зло. Это — одна из причин, почему строгие блюстители нравственности своих женщин, цыгане, не любят, когда дочери их таборов дружат с русскими хористками.

«Фараоново племя» — цыганские хоры — обеспечены гораздо лучше и отличаются большею дружностью, сплоченностью, чем русские. В них живет еще крепкая корпоративная стройность — остаток таборных преданий.

Современная цыганщина по характеру и репертуару своему имеет очень мало общего с тою, которою восхищался когда-то сам Пушкин, которую воспевал Полежаев, в которой Алексей Толстой видел и слышал:

Бенгальские розы,
Свет южных лучей,
Степные обозы,
Полет журавлей,
И грозный звук сечи,
И шепот струи,
И тихие речи,
Маруся, твои!

Прежняя цыганка увлекала своих поклонников стихийною силою своих дико-откровенных страстей: грусть, — так уж слезы рекою! разгул, — так уж на целый город! Кто слыхал в хорошем хоре пресловутое «Крамбамбули» — один из последних остатков цыганской старины — может вообразить себе беспутную, но захватывающую поэзию этих далеко оставшихся позади пиров. Лесков в эпопее об «Очарованном страннике», Лев Толстой в «Двух гусарах» оставили нам блестящие описания былых в крепостное время цыганских вечеров. Какая-то вакхическая чертовщина! Цыганка пляшет, — и под ноги ее летят тысячи: «Вот тебе сотенная, другая, третья... двадцать сотенных, — только наступи башмачком!» — «Сам о ней думаю: не ты ли, ненаглядная, небо и землю создала? А с дерзостью кричу ей: ходи веселее!» Цыгане измельчали, как измельчали их слушатели: и капиталами, и самодурством, и чувствами. Они относятся к прежним Любашам и Ильюшкам приблизительно в той же пропорции, как, например, Апухтин, слушая воспетый им «ньюф-ньюф-ньюф, припев безобразный», относился к Пушкину, который плакал, слушая «Татьяну-пьяну», и уважал ее настолько, что даже повез знакомить с цыганкою-артисткою свою молодую жену. Я помянул Апухтина, потому что этот поэт, шибко поживший на своем веку, — наиболее популярный вдохновитель современной цыганской песни. Его вакхическая мелодия:

Сердце ли рвется,
Ноет ли грудь,
Пей, пока пьется!
Все позабудь! —

почти что национальный гимн «фараонова племени». Апухтинская поэзия застряла посередине между лирикою старинного романтизма и утонченными, избалованными настроениями школы Бодлера и К°.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья, —
Бессмертья, может быть, залог:
И счастлив тот, кто, средь волненья,
Их обретать и ведать мог
....
....
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье —
Быть может — полное чумы!

Старинный байроновский кодекс «Пира во время чумы» (особенно последние три стиха его) — в красивом, но, надо сознаться, довольно жидковатом отголоске — стал кодексом и «апухтинщины», придясь как нельзя более по плечу вылинявшим к концу века до полной бесцветности «героям нашего времени»: интересным подсудимым, яровским Гамлетикам и Офелиям, Маргаритам Готье и Арманам Дювалям. Апухтинские «Сердце ли рвется», «Горько ты страдаешь», «Пара гнедых», «Ночи безумные» — стали цыганскими коньками, популярными до того, что за общеизвестностью мелодии и текста, как это всегда бывает, забылось имя их автора: они как бы делались народным порождением и достоянием. Многие ли из распевающих «Черную шаль» и «Под вечер осени ненастной в пустын-

ных дева шла местах» знают, что они поют стихи юноши-Пушкина? Каждый мужик тянет:

Отцовский дом спокинул я, —
Травою зарастет!
Собачка верная моя
Залает у ворот...

и не подозревает в простодушии своем, что поет перевод «Farewell» * из «Чайльд-Гарольда» лорда Байрона, о каковом лорде, равно как и что это за штука «лорд», — он, мужик, никогда не слыхал ни одного слова, да вряд ли скоро и услышит. Не слыхал народ и о Шекспире, и о безумной Офелии, а между тем усвоил и приспособил к своим понятиям ее песню, и я сам слышал, как на подмосковных малинниках захожие поденщицы-волоколамки голосили:

Моего ль вы знали друга?
Он был бравый молодец:
За Бутырскою заставой
Разудалый был боец...

Когда афиняне аплодировали Фокиону, он спрашивал: «Что это значит, граждане? Разве я сказал какую-нибудь пошлость?» Относительно стихов и песен судить по Фокиону было бы чересчур строго — до несправедливости. Опошливались повсеместным повторением и пушкинские, и лермонтовские, и некрасовские стихи. Но общее Фокионово правило все-таки не теряет своей силы: когда песня входит во всеобщее употребление и начинает назойливо жужжать на всех перекрестках, автор текста и композитор музыки могут быть уверенными, что они своим двойным вдохновением создали немалую пошлость. Если бы учредить конкурс: кто ухитрится сочинить наивящую бессмыслицу, — вряд

* «Прощание» (*англ.*)

ли кто сумеет перещеголять глупостью текст «Тигренка», «Конфетки», «Стрелки» или прелести — вроде:

Дайте ножик, дайте вилку,
Я зарежу свою милку!
Ах, тошно — невозможно,
Без милого жить не можно!
Умер, умер мой Антошка,
Я поставлю гроб на ножках,
Ах, тошно... и т.д.
Обобью я гроб батистом,
А сама уйду к артистам!
Ах, тошно.. и пр.

Перед этою чушью пасует даже старинное «в огороде бузина, а в Киеве дядько; я за то его люблю, что в середу праздник»; тем не менее еще недавно про Антошку и гроб на ножках с увлечением пели обе столицы, а теперь поет провинция. Поэтому, делаясь достоянием песенников, авторы скорее конфузятся, чем гордятся чрезмерною популярностью своего творчества. Некий молодой поэт, страстный поклонник Я.П. Полонского, рассказывал мне о последнем анекдоте. Вышли они будто бы вдвоем с какого-то журфикса. Стоят на подъезде — прощаются. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький мастеровой: глаза как у мороженого судака, в руках гармоника. Воззрился на господ и залился:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой темной лестницей,
С завешанным окном...

Полонский даже задрожал; схватил спутника за руку и, чуть не плача, заговорил:

— Слышите? Слышите? И этак-то — каждый день, раз по десяти... целые сорок лет!.. И зачем только я написал злополучные стихи? Зачем?..

Кочевые отголоски и народные перепевы, еще живые, как рассказывают старики, в хороших таборах шестидесятых годов, теперь совсем заглохли, мелодии их исчезли не только из репертуара, но и из памяти цыган. А, должно быть, мелодии были чудные. В Москве, в Грузинах, были два грязненьких трактирчика, — теперь уничтоженные: «Капков» и «Молдавия» — постоянный притон цыган. Окончив свои ресторанные часы, «фараоново племя» ехало в эти кабачки пить утренний чай и делить ночной заработок. В «Капковом» трактире машина играла «Участь» — старинную цыганскую песню: «Еще с тех времен, когда не было оседлых таборов», — объяснял мне старый цыган. Вал с «Участью» ставился только раз в день, в семь часов утра, открывая «чистый ресторан» для публики. Несмотря на ранний час, несмотря на грязноватый характер трактира, слушать «Участь» всегда набиралось много народу.

— Потому что, — хвастался распорядитель, — песни этой вы нигде не услышите, кроме как у нас: все ее позабыли! А по жалостности своей она кого хошь может вогнать в слезу.

Действительно, может. Для меня самая лучшая трактирная машина — одиннадцатая казнь египетская. Этот инструмент вместе с аристоном, выдумал сам Вельзевул в минуту, когда Гайдн довел его до жесточайшей хандры своими богоугодными ораториями. И, однако, когда машина впервые грянула для меня «Участь», я просто онемел от новизны впечатления... В воздухе точно свежее стало, повеяло целиной, нераспаханною степниною — такие это были могучие, широкие и тоскливые, мочи нет, тоскливые звуки! Так осиротелая чайка звенит над морем усталыми крыльями, и стонет, и плачется о птенцах своих.

Но то был уже голос из-за могилы: такое пение умерло и в землю зарыто. По крайней мере, даже намека на что-либо подобное не слыхано в таборах с тех пор, как выбыла

из их среды и затем довольно скоро умерла знаменитая Пиша Викулова. Были «последние римляне», «последние греки», «последние могикане» — Пиша была «последнею цыганкою». Я не любитель и не знаток цыганского пения, но Пишу было трудно слушать без волнения. В самом диком жанре Пиша была таким же редким вокальным талантом, как Зембрих, Лукка, Дюран — в жанре оперном. В ее пении все было необыкновенно — все, начиная с голоса, терявшегося где-то на границе контральто и баритона. В adagio ее песни превращались в тяжкий стон какой-то неведомой, но безмерно страждущей силы. Казалось, злой дух, прикованный крепкою цепью к степному кургану, выплакивает ветру свою муку, ненависть и стыд неволи. Когда же песня оживлялась, развиваясь в удалое allegro, хотелось думать: «А вот и сами ветры степные — «стрибожьи внуци» — помчались веселым полетом, сгибая крыльями высокую траву...»

Бывают недюжинные фигуры; видеть их раз — значит, запомнить навсегда. Пиша Викулова — эта полубогиня «веселящейся Москвы» конца семидесятых и начала восьмидесятых годов — стоит передо мною как живая. Вот она — на концертной эстраде: огромная, смуглая женщина, красивая, упитанная, нарядная... водит по публике великолепными мрачными глазами, словно июльская ночь вспыхивает зарницами. Разношерстная толпа толпится у эстрады, точно у подножия кумира...

Враги твои много сулили...
Хотели меня все прельстить.
Но будь ты уверен, мой милый,
Что я не могу изменить! —

выводит Пиша неестественно глубокие и тяжеловесные, поистине бархатные ноты. А сама — именно, как идол индийский — вся сверкает драгоценностями; у нее даже туфли были отделаны черным жемчугом. Женщина купалась в золо-

те, как Даная, и умерла без гроша за душою. Она видела у ног своих, без преувеличения, весь цвет русского общества: «послов, софистов, и архонтов, и артистов». Ее молили не о любви... куда уж! но хоть об одном ласковом взгляде. И стоило ей поднять ресницы своих глубоких очей (такие глаза иначе, как очами, и назвать-то грех!) — к ногам ее лились золотые и бриллиантовые реки. Однажды мне случилось видеть, как Пиша плакала. Слезы градом падали на черный бархат платья... казалось, что она, как принцесса в старой сказке, и плачет-то бриллиантами.

Пиша Викулова дважды наживала своим голосом (и, нотабене для скептиков, только голосом; это была честная женщина) крупные состояния и дважды разорялась. Она презирала деньги и тратила тысячи как рубли, не щадя своей казны ни на свои удовольствия, ни на чужую нужду...

Во время оно на цыганках женились князья и графы, из-за цыганок стрелялись ремонтеры. Потом, когда вышла из моды манера стрелять себе в лоб из пистолета по поводу любовных огорчений, гг. Юханцевы и К° растрачивали в цыганских таборах кассы банков и, без особенного в том раскаяния, отправлялись за свои увлечения в места не столь и столь отдаленные: «Туда — на дальний север!» — как патетически воскликнул некогда червонный валет Верещагин, держа к присяжным заседателям свое последнее слово.

Я вас люблю, и вы поверьте,
Когда цыганка говорит,
Я буду вас любить до смерти...

Говорят, будто такие страстные истории действительно не редкость в таборах; что, если цыганку попутала нелегкая влюбиться, то и вправду — чуть не до смерти. Замечательно, однако, что в герои цыганских романов попадают исключительно очень богатые люди. За последние двадцать лет можно насчитать несколько миллионеров, женившихся на

цыганках, но я не припомню ни одного случая, чтобы цыганка вышла замуж за бедного человека, если он тоже не цыган. За цыганов же они выходят лишь тогда, когда начинают входить в годы и теряют надежды сделать более блестящую партию.

Я заступится несколькими страницами выше за чересчур уже черно оклеветанную нравственность певиц русских хоров. За нравственность женщин цыганских хоров не приходится даже вступаться: всем известно, что, пока не разрешит табор, цыганка — недоступная, хотя кокетливая весталка; ее не соблазнит Дон Жуан, не купит Ротшильд; против обольщения у нее есть упрямая сила воли и рабская покорность закону табора, а против насилия — пожалуй, и ножевая расплата. Все рассказы о целомудрии таборных красавиц ничуть не преувеличены. «Улыбками и глазками, но больше ничего!» — поет цыганский романс. Груня Лесковского «Очарованного странника» — типическое воплощение романических отношений женщины табора к стороннему человеку...

А меня с красотой продадут, продадут! —

стонет в песне молодая цыганка, но у нее и в мыслях не бывало в отчаянии этом бороться, чтобы не быть проданною, хотя продадут ее даже не те, кто имеет на нее родственное право — бессовестный отец, жадная мать: нет, продаст ее общество, т.е. табор. Силою патриархальной традиции девушка, уходящая из табора, должна быть выкуплена, и, кто даст за нее большую цену, т.е. калым, тот ее и владелец. Цыганка — собственность не своя, не семьи, но рода: она как бы символическая невеста всех мужчин табора, и они уступают свое право на нее посторонним искателям лишь за высокую цену, определяемую родовым советом. Таковы цыгане всюду...

— Но чтобы получить из табора цыганку, —
Известно ль вам? — нужна расплата!
— Что ж? Очень рад: я заплачу!.. —

переговариваются в ущелье Сьерра-Морены Хозе и Эскамильо. А красавица московских Грузин плачет, что ее «с красотой продадут, продадут!»

Антропологи ездят изучать историческую эволюцию брака, разыскивая символы архаической полиандрии, племенной семьи, на Цейлон, в центральную Африку, на берег Маклая. Зачем забираться так далеко? Лет сорок тому назад полиандрическую племенную семью представлял собою, если не de facto, то de jure, любой цыганский табор — полухристианский, полуязыческий, а сейчас, не сохранив за собою власти уже и юридической, он все же пользуется символическими привилегиями: привилегией согласия выпустить из своей среды принадлежащую ему девушку, привилегией выкупа. Пушкинский Алеко, зарезав молодого цыгана и Земфиру за нарушение своих супружеских прав, конечно, и не подозревал, что, с цыганской точки зрения, не молодой цыган, но он, Алеко, — нарушитель брачного закона; что как женщина одного табора Земфира столько же принадлежит молодому цыгану, как и ему — и не только по праву любви, но и по праву обычая. Другое дело Мариула, покинувшая старого цыгана: это была преступница и на цыганский взгляд, так как сбежала к мужчине в чужой табор из своего. Против святыни таборных привилегий пойдет лишь разве очень обруселая и эмансипированная городская цыганка. Кочевая же или полуоседлая — если влюбится в человека, не угодного табору, перенесет жестокие страдания неудовлетворенной страсти, ревности, отчаяния, она истомится, иссохнет, она руки на себя наложит, наконец, но не отдастся своему любовнику и не уйдет с ним от своих. А если уж — раз из сотни случаев — выйдет такая беда, и сбежит она из табора с вос-

прещенным ей милым дружком — ни долгого счастья, ни радостного житья из таких союзов не получается. Само собою понятно, что уже давным-давно нет и в помине тех знаменитых романических убегов, когда похититель-гусар с денщиками должен был отстреливаться с бешеной тройки от свирепой погони целого табора; когда беглую цыганку надо было держать под строгим караулом, как пленную царевну, под вечным страхом, что вот-вот ее выкрадут, подстрелят или прирежут мстительные родичи. Тем не менее, цыганке-отступнице жизнь не в радость: она чувствует себя как бы под проклятием родного племени, тоскует, ожесточается, любовь ее понемногу переходит в ненависть, и, если табор простит и позволит, в один прекрасный день она — снова в таборе. Связь цыганки с табором настолько крепка, что даже «продажные», т.е. отпущенные из табора за выкуп, замужние женщины сохраняют дружеские отношения с прежними подругами. Я уже сказал, что в Москве можно указать нескольких капиталистов, женатых на простых цыганках. В древнейшем княжеском русском роде Г. женитьба на корифейках цыганских хоров — какая-то наследственная мания. Эти цыганки-княгини, цыганки-миллионерши запросто бывают в гостях у табора, и табор бывает у них, и для табора они не «их сиятельства», но, по старой памяти, — Паши, Нади, Груни...

В настоящее время таборы все быстрее и быстрее разлагаются, безвозвратно теряя свою первобытную цельность и оригинальность. Первым утрачен костюм, вторым — тип пения, теперь вымирает национальность. В таборах появилось много русских по крови — преимущественно женщин. Это результат необходимого вырождения: цыгане, как всякое кочевое племя, подверглись ему с тех пор, как закон вывел их из-под изодранных шатров и пришпилил прописанными в участки паспортами к определенному, оседлому местожительству. Цивилизация понемногу съела дикую поэзию и экзотическую

красоту цыганщины. Измельчала раса, реже стали хорошие голоса, пришлось пополнять хоры красивыми и голосистыми певицами «с воли». Эти последние не сумели скопировать ни дикой цыганской грации, ни природного своеобразного вокального таланта, каким награждено от Господа Бога, взамен всех остальных благ, едва ли не каждое дитя этого загадочного племени. Вместо того, пришельцы познакомили цыганщину с опереточно-кокоточным репертуаром и тоном, господствующими теперь в таборах не меньше, чем в русских, немецких, венгерских хорах. Таборы, как сказал бы г. Лейкин, «оболванились». Пошли Земфиры на манер омоновских француженок: с волосами, крашенными в золотистые цвета à la lionne или à la Sarah Bernhard *, и Алеко, остриженные бобриком, с бородками Буланже. Хранителем традиций *цыганского* пения считается *армянин* Давыдов, хранительницей — *еврейка,* опереточная артистка Раисова. Да и эти знают и поют только новый, пошлый репертуар оседлой цыганщины. Вероятно, цыганский жанр окончательно выдохнется и исчезнет еще на наших глазах. До какой степени ослабела их притягательная сила, видно было по отчаянию старшин цыганских хоров при появлении в Петербурге и Москве действительно увлекательных и оригинальных неаполитанских квартетов... «Funiculi funiculi» , «Io parto a Venezia», «Carme» ** сразу вытеснили из моды и «Перстенек», и «Караул», и «Трын-траву», и прочие пошлости цыганского репертуара последних лет.

Жизнь цыган в Москве — жизнь замкнутая. Девушка — под строгим надзором и в строгом послушании у старших. Пожилые цыгане с большим неудовольствием смотрят на вторжение в таборы иноплеменного начала, особенно русского, — не по какой-либо национальной антипатии, но по несоответствию замкнутой цыганской семьи с нравами и обычаями новых прише-

---

* Как у львиц или как у Сары Бернар (*фр.*).

** «Качели», «Венецианский квартет», «Песня» (*ит.*).

лиц в нее с воли. Молодых цыганок берет зависть на сравнительную свободу русских подруг, и они понемногу сами выбиваются из повиновения семейному строю. Много цыган женаты на русских: семьи их, конечно, уже совершенно обрусели. Дети учатся в гимназиях и, понятно, не стремятся ни в степь, к костру конокрадов, по примеру дедов, ни в кабинеты Яра и Стрельны, ни на концертную эстраду Славянского базара, — по примеру отцов. Родители, сознавая, как гибнут их старинные ремесла, сами отстраняют от них свое молодое поколение. Пиша Викулова, например, дала своим братьям университетское образование. Молодое женское поколение, за баснословно редкими исключениями, совершенно невежественно: дикие, красивые зверьки, полные затаенной чувственности. Большинство даже безграмотно. Я не поверил бы своим глазам, увидав цыганку, читающую хотя бы «Московский листок». Кроме своего богатейшего аппетита, ловкого природного кокетства да голоса, если имеется таковой и мало-мальски недурен, их ничто не интересует.

Трудно понять, чем могут они увлекать человека развитого: между тем, как нарочно, все романы с цыганскими героинями, какие я могу припомнить, имели своими героями людей очень образованных. В восьмидесятых годах застрелился из-за безнадежной любви к цыганке молодой офицер-инженер с блестящею будущностью; эта цыганка — оливковый чертенок лицом — даже не была красива. Два богатых студента, кончая курс, поспорили из-за благосклонности какой-то смуглой Фени или Кати и разрешили спор дуэлью через платок. Оба были тяжело ранены, но дуракам счастье: выздоровели. Цыганофильство эпидемически свирепствовало одно время и в университете, и в лицее цесаревича Николая (Катковском). Студент был настолько популярным и частым гостем таборов, что в честь его цыгане даже пели невообразимую бессмыслицу — плод вдохновения одного лицеиста:

Передо мною книги Гая,
Раскрыт четвертый институт
Экзамен скоро, дорогая!
Кама чавал, кама ми тут!
Передо мною чашка чая,
А не шампанского бокал
Экзамен скоро, дорогая!
Кама ми тут, кама чавал

Трудно удержаться от смеха, когда слышишь безграмотную цыганку, в блаженном неведении своем поющую про книги Гая, с задорно-лукавою усмешкою, точно эти таинственные книги — по меньшей мере, сказки Боккаччо. И угораздило же лицейского поэта навязать бедным невеждам такую классическую абракадабру! Великим римским юристам, надо думать, и во сне не снилось, что некогда славу их воспоют пьяные кабинеты московских шато-кабаков.

Цыганки — страшные попрошайки, способные клянчить о вещах даже совершенно им не нужных и бесполезных: клянченье из любви к искусству или по наследству от матерей, еще просивших милостыню по большим дорогам. При этом они беспощадные пиявки... Жадность их — какая-то глупо-безжалостная.

— Паша, как вам не стыдно приставать к NN, чтобы он поил вас шампанским? Во-первых, вы шампанского не пьете: я сам видел, как вы потихоньку вылили два стакана в кадку под пальму. А затем, — ведь NN не чужой вам человек, ваш знакомый. Вы знаете, что шампанское ему не по карману, знаете, что ему неловко вам отказать, и все-таки пристаете... Нехорошо!

Паша невинно округляет изумленные глазки:

— Душенька! Как же иначе? Надо же дать ресторану торговать... Ну если ему, бедному, так трудно, я его вчера один раз поцеловала, а сегодня поцелую два...

Золото и драгоценные камни прямо гипнотизируют этих «дикарок цивилизации». Помню: приглашенный на ужин

в Стрельну московским тузом Х., я, по условию, заехал за ним в оперетку.

— Сейчас, А.В., я буду готов, — и едем! — извинился он, встречая меня. — Только позвольте сменить мои бирюльки на обыкновенные костяшки.

И он снял и оставил на хранение режиссеру театра свои превосходные изумрудные запонки.

— Боитесь потерять?

— Нет, но когда на мне эти штуки, — хоть не езди в Стрельну. Фараоново племя ходит следом и смотрит в глаза: подари да подари... И так надоедают, что один прибор, вроде этого, я уже раздарил, — только бы отстали... А он три тысячи стоил!

1896

КАТЕНЬКА

Звонят. Горничная докладывает:

— Вас какая-то спрашивает...

По презрительному выражению лица и тону голоса чувствую, что «какая-то» — не из важных.

— Просительница на бедность?

— А Бог ее знает! надо полагать...

— Ну все равно, просите...

«Какая-то» входит, и я сразу понимаю презрительный тон и негодующую мину горничной: предо мною — «беспокойная ласковость взгляда и убогая краска ланит...»

— Простите, ради Бога, что я осмелилась... — звучит робкий голос, тихий и глухой — словно из-за двух стен.

— Чем могу служить?

Долгое молчание. Потом опять — подземельный шепот.

— А вы меня не узнали? Я так и думала, что не узнаете...

Вглядываюсь: лицо как будто знакомое, но — где видал, когда, как, зачем? не могу вспомнить. И не могу определить, молода ли моя странная гостья, пожилая ли она уже. Ей можно дать и двадцать лет, и сорок...

— Виноват, как будто встречался, но...

— Я — N... помните? Вы мою мать хорошо знали, бывали у нас в Москве...

— Боже мой, неужели? Вы — Катенька N.?

— Ну да, я та самая Катенька N., которой вы конфеты возили и Брэма с картинками подарили.

Я знал мою гостью здоровым, балованным ребенком — теперь передо мною стоит «какая-то».

— Катенька, сколько же вам лет?

— Двадцать третий... А что? не похоже? Старухой смотрю?

Я смолчал. Она горько улыбалась, кусая губы; глаза ее переполнились слезами...

— Расскажите же, как вы жили в это время, что мы не видались?

Она взглянула мне в лицо, — и мне стало стыдно своего вопроса...

— А. В.! разве вы не видите? — сказала она тою глубокою интонациею трагической правды, которую нельзя подделать.

Да! уж лучше было прямо спросить: «Как дошла ты до жизни такой?»

И я узнал, как «дошла». Увы! это такая простая, обычная история, что для пересказа ее не надо даже глаголов: можно обойтись одними существительными. Смерть отца. Паралич матери. Никаких средств. Из приличной квартиры — в подвал. Исключение из гимназии за невзнос платы. Модная мастерская. Голод дома, издевательства и каторжный труд в мастерской.

— Ну а в эту пору Петрова у нашей хозяйки платье заказала... знаете, хозяйка знаменитого русского хора... небось сами в Москве сколько раз петь заставляли! Понравилась

я ей... Спрашивает: «У вас голос есть?» — «Нету». — «Ничего, ты и без голоса денег стоишь! Ступай ко мне в хор, — будешь стоять для декорации...» Двадцать пять рублей дала на всем готовом.

Дальше — все по шаблону. Девушки споили, развратили — «до того, что стала я из всего хора самая отчаянная!..» Заливать девичью совесть вином стало потребностью. А организм оказался из слабеньких, натуришка рыхлая, — девушка летела вниз стремглав и в какие-нибудь три года переработалась в алкоголичку-психопатку, с буйными порывами. В хоре стали на нее коситься: скандалистка. Прибила какого-то богатого биржевика за то, что тот швырнул ей в стакан с вином обмусленный окурок своей сигары, — вовсе выгнали... Другой хор похуже, третий, четвертый, Нижегородская ярмарка, захудалый петербургский шато-кабак, купец за купцом, гость за гостем, и — финал: страшная болезнь, после которой нет пристанища даже в хорах...

— Видите, видите, и вы отшатнулись! — закричала она в истерических слезах, когда дошла до этого места своего рассказа. Я покраснел за свое малодушие, но она была права. Было время, когда, юношески рисуясь презрением к жизни, я спокойно сидел на кровати оспенного больного, но тут невольно двинул стул, чтобы положить почтительное расстояние между собою и моею посетительницею... этою Катенькою, которой я когда-то «подарил Брэма с картинками». И — так отшатывались от нее все, отшатывались и физически, и нравственно. Она осталась одна в огромном городе — одиноким, нищим, больным, голодным животным, на которое всякий дивился: и с чего еще жива? как ты не издохнешь? и зачем не издохнешь? А издыхать, тем не менее, — не моги! Полтора года назад бросилась в Фонтанку — и дежурный городовой или дворник вытащил и награду за то получил. С тех пор с простудою пошло еще хуже...

— Зачем же ко мне-то вы теперь пришли?

— Видела вас на улице... узнала... вот и пришла... пожалейте меня!

— Да как пожалеть? Денег вам дать? Так ведь я не капиталист, — много ли я в средствах дать вам? Работать вы вряд ли можете... вон у вас какая одышка!

— Да и кто мне даст работу... такой?

— Так как же?

— Дайте мне денег на билет третьего класса уехать на родину в Б... Нет, денег не давайте, пропью... А прикажите меня отправить кому-нибудь, и, когда сяду в вагон, велите мне по третьему звонку десять рублей дать.

— Почему именно десять?

— Разве вам жаль?

— Не жаль, но почему десять? Не восемь, не пятнадцать, не двадцать пять, а именно десять?

— Потому, что я больше прожить не успею... А. В.! разве я жить еду? Умереть хочу на спокое... Легких-то ведь нету, — ау! кончено!.. Только бы до места добраться... А то здесь — в яму... без креста, без имени... Батюшка, пожалейте! Ведь вы меня человеком помните...

Страшно было слышать истерические вопли этой чахоточной груди, надорванной кашлем, окровавившим какое-то жалкое подобие платка, которое бедная женщина комкала в руках своих... В это время зашел ко мне приятель, крупный петербургский юрист, человек богатый и сердобольный. Узнав в чем дело, он сразу предложил взять дело на себя. Снабженная деньгами несчастная уехала в Б. — за крестом и могилою...

— Спасибо, что дали умереть спокойно, — были последние слова ее на вокзале.

Сейчас я получил письмо с извещением, что бедняга нашла, чего искала... Мир ее грешному праху!

Смотрю я сейчас в темное окно на улицу, сверкающую магазинами, полную спешно снующею толпою... женские

фигуры мелькают... все — Катенькины сестры! героини «Моста вздохов», бессмертной поэмы Томаса Гуда: бессмертен порок, ею проклинаемый; бессмертен и протест против него. Быть может, и этим Катенькам кто-нибудь возил «Брэма с картинками», и были они такие же пухлые, румяные, резвые, капризные, как и та Катенька, которой лишь милость и великодушие случайного встречного позволили умереть близ родного пепелища, а не под забором.

«Спасибо, что дали умереть спокойно...» А чтобы жить спокойно? неужели так-таки никогда и не удастся столице, огромной и богатой, устроить хоть что-нибудь, дабы глупенькие и нищие Катеньки не впадали в руки корыстной эксплуатации разврата, чтобы красивой, но честной женской нищете оставался хоть какой-нибудь выход житейский, кроме самопродажи, — а потом — больницы и могилы без имени и креста?

1898

ИЗ СТАРЫХ ДЕЛ

В Москве, скитаясь ради одного сенсационного процесса по зданию судебных установлений и постигнутый неудачею, так как процесс разбирать решено было при закрытых дверях, я заглянул на два, на три дела; из них одно заинтересовало меня не сутью своею: кража — и весьма сомнительная! — во время пожара, со скучнейшими мелочными подробностями, — а бытовою своей стороной, типами обвиняемых, свидетелей и свидетельниц, типами, каких при дневном свете никогда и нигде не увидишь. Это — ночные совы, летучие мыши, публика глухой городской ночи. Им как-то неловко и стыдно днем, когда в глаза им глядит яркое светлое солнце и спрашивает их своим ласковым лучом: «Кто вы такие? Зачем вы так безобразны? Отчего я никогда не вижу ни вас, ни дел ва-

ших?..» И они прячутся от солнца, кутаясь в свои мягкие, выцветшие шали. Серые линялые лица, узкие ленточки жирной кожи вместо лбов, страшно развитые челюсти, носы — и плоские, и длинные, и широкие вместе, — все признаки дегенерации, так что, хоть я и далеко не ломброзист, однако, невольно вспомнил о типах в «L'uomo delinquente» *.

Это были подонки московского порока и низости: проститутки низшего разряда, их хозяйки, экономки, их геркулесы-охранители, вольнопрактикующий сыщик и т.д. И в этой среде — два-три свертевшихся без толку рабочих парня, запутанных в мерзкую клоаку наивной погони за весельем.

Типы настолько ужасные — жалкие и уродливые — что первое чувство, какое вызывает зрелище их порока: да неужели же порок даже в такой безобразной, грязной, зловонной форме может тянуть к себе человеческую натуру, возбуждать в ней страсти, толкать ее на преступления? Когда бес является обольстителем, увлечение им понятно. Кто Богу не грешен! И праведник по семи раз на день падает. Но когда бес приходит к человеку во всеоружии всего, чем только может он отвратить от себя человеческую брезгливость, — как тогда объяснить его обаяние?

Судилась портниха (работавшая на дом терпимости) по обвинению в краже во время пожара у своей хозяйки и ее любовник портной. Их допрос и допрос свидетелей был целым рядом бытовых сценок, яркими вспышками освещавших темные и мутные нравы московских трущоб.

— Свидетельница, — спрашивает экономку председатель, — на каком счету была у вас обвиняемая?

— Ничего, только пила очень...

— Да ведь, я думаю, у вас все пьют?

— Девицы, известно, все пьют, им так и полагается, а она человек рабочий.

* «Человек преступный» (*ит.*).

— А рабочему человеку, значит, пить не полагается?

— Известно, нет. Какой уж он рабочий, ежели пьет? Пей, пожалуй, только по малости.

Этот рабочий человек сидел по четырнадцати часов в сутки над шитьем, не разгибая спины, в вертепе, где население мертвецки пьяно и гости мертвецки пьяны. Слева пьяный хохот, справа пьяная песня, наверху пьяная пляска, внизу пьяные поцелуи. И среди этого винного разгула сидит и работает единственное трезвое существо и недоумевает: в аду я или на земле? за что мне это? и как же жить-то, когда кроме хмеля кругом ничего не видишь и не слышишь? Если так нельзя, зачем же все так делается и зачем же такое терпеть надо? Если так надо, то почему же мне иная трудовая доля, чем другим? Этак сидя, недолго досидеться и до того, что — либо в прорубь полезешь, либо, живя с волками, сама по-волчьи завоешь. И в один прекрасный день завывает. Пьяным-пьяна, — туман в голове и пред глазами, горе завито веревочкой, работа к черту: чем, мол, я и лучше и хуже других? Пей, пока пьется, — душа меру знает. Любимым местопребыванием бедняги, вместо поганой развратной тюрьмы, становится такой же поганый и развратный, но, по крайней мере, свободный трактир, где она не раба, а гостья и хозяйка. Чего хочет, того и просит. И на каналью полового за свои деньги может заорать не тише, чем орет на нее «тетенька» за лень либо неисправность.

— Лентяйка? неряха я? Назло же тебе, аспидке, завтра работать не стану... Давай водки, ребята! угощаю!

Ребята — «золотая рота» — пьют и похваливают и угощенье, и угостительницу. Полиция гонит из трактира, — пьянство продолжается на улице, с тумбою вместо стола, пока компания не расходится... нет, расползается либо по домам, либо в участок.

Так «свертываются» люди!..

Великолепен был свидетель — дворник и сыщик, преисполненный профессионального торжества: как он заподозрил об-

виняемую и ее любовника, как следил и выследил, как ловил и поймал. Яд, а не водку в чарке подносил и, целуясь, обманывал. И в то же время — непочатый угол благочестия.

— Напоил, — говорит, — я девицу, как стельку, и, как скоро она захмелела, стал ее склонять на знакомство, на содержание, стало быть, звал. И через то все от нее доподлинно узнал. Она же, захмелев, принялась звать меня сейчас же к себе, но — как дело было под большой праздник — я пойти не мог...

Помните анекдот о неаполитанском bravo? * Подходит он к англичанину и говорит ему:

— Милорд! меня наняли, чтобы вас немедленно зарезать. Но так как сегодня суббота, а под воскресенье я дал обет никого не убивать, то — умоляю вас! — не вводите меня в грех, зарежьтесь сами!

Разве это — не та же самая логика?.. Удивительная наивная способность — как указал Щедрин — «одною рукою неистовствовать, а другою крестное знамение на перси возлагать».

Разврат и водка коверкают людей скоро. Но в скоро исковерканных лицах остаются еще следы недавно оживлявшей их Божьей искры: нет-нет — да словно хоть по скверному месту, а все-таки солнечный луч скользнет. Тут — ничего. Сало, тупость, идиотский взгляд, идиотская речь. Жирная, обрюзгшая, болезненно-желтая баба стоит перед судом и тупо бормочет какие-то безобразно-наивные слова:

— Пожар... Разорили, погубили... Неделю не работали... *Товар* без толку пропал... *Семью* распускать пришлось...

— Какое странное *разложение семьи!* — не утерпел, чтобы не сострить потом, в резюме, председатель Е.Р. Ринк.

И все в этой ужасной машине гнилья и разврата заведено прочно, в строгой традиционной последовательности и рутине: весь ее беспощадный, неутомимый ход кажется чем-то

* Наемный убийца, головорез (*ит.*).

совершенно логическим и необходимым и для тех, кто ест, и для тех, кого едят. Овцы вполне солидарны с волками, которые ими сыты. Он соболезнуют о потерях и безработице «тетеньки», и в самом деле от души, а не притворно соболезнуют. И от души загинают проклятия и крепкие пожелания ее предполагаемым врагам и супостатам, выбившим жизнь вертепа из его обычной колеи. Очевидно, довольны собою, своим кормом, пьянством, платьем и спальнею, и вне этих гранок ничего не видят, не слышат, да ничего и видеть, и слышать-то не хотят.

Нет, такие формы отупения скоро не приобретаются. Тут либо с детства надо в грязь по уши окунуться и носом, и ртом ее каждый миг жизни своей обонять и глотать, пока привычка не станет второю натурой; или быть рожденным для грязи, быть, подобно слепорожденному физически, слепорожденным нравственно и, подобно слепорожденному же, отвечать, может быть, не столько за свои пороки, сколько за грехи отцов своих.

Я плохо верю в порочную наследственность, не покоряющуюся воспитательному давлению, зато как нельзя более верю в то, что при отсутствии такого давления в человеке и без порочной наследственности «наследственность» проявится.

Мне была доставлена одним из московских психиатров весьма любопытная рукопись, полученная им когда-то от анонима, однако им впоследствии разгаданного и при личном объяснении, по первому же намеку психиатра, подтвержденного. Это — вопль отчаяния нравственно извращенного человека, который дошел до того, что сам себя испугался; нечто вроде известных признаний, какие получил некогда от анонима же знаменитый Каспер. Человек распустился до того, что буквально повторял, повторяет и не уверен в себе, что не будет повторять в миниатюре все выходки распутного цезаризма, жил маленьким Гелиогабалом, и, на беду еще, он достаточно богат, чтобы исполнить любую из своих фантазий,

даром что перед некоторыми из них его — судя по запискам, человека и умного, и высокообразованного — самого берет оторопь. Чувствует, что гибнет, а остановиться гибнуть не может. Это ужасно, но с этим ужасом он уже примирился и, погибая, просит врача лишь объяснить ему, откуда же собственно его погибель, откуда в нем эти дикие наклонности с этой утонченностью в изобретении средств к их осуществлению? «Дела мои возмутительны, — свидетельствует он в записках своих, — но, клянусь вам, доктор, мысли мои много хуже их, и, убегая от мыслей-то своих, я и иду к вам за их загадкою». Психиатр исследовал наследственность несчастного за цёлые сто лет: нравственная, чистая семья, удивлявшая своим целомудрием, трезвостью, порядочностью и гуманностью даже во времена крепостнического мрака, так покровительствовавшего всякой физической и нравственной распущенности. Нет, — природа иной раз шутки шутит и на здоровом теле ни с того ни с сего скверные прыщи выращивает! И напрасно тут искать какую-нибудь «наследственность»...

Это — в обстановке обеспеченности и комфорта. А как пополняется среда, обнаженная пред нами вышеописанным делом? На днях разбиралась хорошая иллюстрация к этому вопросу. Супруги-бедняки обвинялись в истязании дочери... девятнадцатилетней девушки! Возраст, когда можно терпеть колотушки, но на серьезные побои истязатель и сам легко может сдачи получить. Суд оправдал обвиняемых, но, правду сказать, — кто в деле был прав, кто виноват, — осталось нерешенным.

— Истязали?

— Истязали, так точно, что истязали, но с добрым намерением: хотели отучить ее, шельму, таскаться по бульварам.

— Вы таскались по бульварам?

— Так точно. Но что же мне оставалось делать? Ночевать-то где-нибудь надо же. Когда тепло бывало, я так бы-

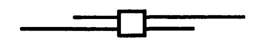
вало и бродила по целым ночам; на скамейках сидючи спала. А зимою, известно, одна надежда — на кавалеров.

— А зачем же вы уходили из дома?

— Сперва затем, что дома жрать нечего было. А потом: как ни вернешься, — бьют. Ты развратная! Ты тварь! Не кормят, — а ругают. Сидишь дома, — бьют. Уйдешь, — бьют. Дом-то постылее ада стал! Лучше — куда хочешь, только бы не домой...

Вот и извольте распутываться в этом circulus vitiosus'е *, где розы добродетели так прочно переплетены нуждою с терниями порока, что пред загадкою, где кончаются первые и начинаются вторые, должен пасовать сам премудрый Соломон. Порок отвратителен, но его голодный желудок и исполосованные плетью, испятнанные синяками плечи возбуждают невольное сострадание. Добродетель похвальна, но ее местожительство на конце ремня или в сжатом кулаке освирепевшего, хотя и честного человека вызывает испуг, а не симпатию. И, в конце концов: «Ни туды, Микита, ни сюды, Микита», — как говорит старая хохлацкая пословица.

1896



* Безвыходное положение, заколдованный круг (*лат.*)



ПРИЛОЖЕНИЕ

О БОРЬБЕ С ПРОСТИТУЦИЕЙ

После лондонского конгресса

I

Лондонский конгресс для изыскания мер борьбы против торговли белыми невольницами торжественно провалился. Впрочем, даже и не торжественно. Он просто «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней». Спрятался куда-то — в самый петитный уголок газет — и измер в нем тихою смертью. Похоронили его по шестому разряду и почти без некрологов. Конгресс оказался покойником зауряд, каких отпущено по двенадцати на дюжину: ни в чем — ни в дурном, ни в хорошем — не замечен; ни в кампаниях не участвовал, ни под судом и следствием не состоял; ни орденскими знаками отличаем не был, ни выговоров и взысканий по службе не получал. Просто — потоптался на земле, покоптил небо и исчез. И так незаметно исчез, что даже и следов по себе не оставил. И когда человечество, устами газет, спохватилось:

— Позвольте! куда же, однако, девался конгресс?

Многие с изумлением широко открывали глаза и возражали:

— А разве был конгресс?

А между тем от конгресса многого ждали, и по идее он стоил, чтобы ждали. Нет государства сколько-нибудь культурного, нет христианской страны, где вопрос о продаже женщин с целями разврата не стоял бы на очереди, как потребность насущно необходимая, как язва общественного строя, вопиющая о немедленном излечении. И нет государства, нет

христианской страны, где бы хоть кто-нибудь, кроме завзятых идеалистов, сантиментальных Эрастов Чертополоховых, аркадских пастушков социологии, искренно верил в возможность подобного излечения. Борьба с проституцией — одно из тех хороших слов, которые надо время от времени провозглашать во всеуслышание, дабы не «засохла нива жизни», но от которых — по пословице русской — «не станется». Этим знаменем, красиво веющим по ветру, много и часто машут, призывая к бою, но никто почти за ним не идет в бой, и никто не бывает за него убит, ни даже ранен. Если проследить историю общественных мер против пороков и бедствий, мы — опять-таки всегда и повсеместно — увидим, что меры против проституции, из всех других, самые неуверенные, изменчивые, колеблющиеся, неудачные. Это меры одинаково бесплодные и в крайней суровости, и в снисходительном попущении. Где существует последнее, с невероятною быстротою развивается проституция открытая; где применяется первая, с еще вящею быстротою растут проституция тайная и домашний разврат. Проституция — наследие первородного греха, неразрывного с самою природою человеческою. Борьба с проституцией — христианский завет, — почти исключительно христианский, что и понятно. Лишь общества, признающие половое чувство греховным и губительным для человечества, полагающие борьбу с грехом этим необходимою опорою нравственности, а возможность полной победы над ним ставящие краеугольным камнем своих религиозных упований, — лишь такие общества могли исторически преследовать и действительно преследовали проституцию. Общества, не озаренные светом возвышенных духовных начал, с нею мирились, ей даже покровительствовали, а, в лучшем исходе, если и искореняли ее в своей среде, то путем компромисса, вряд ли более нравственного, чем самая проституция: чрез дозволенное и узаконенное многоженство или наложничество. Чем более владеет обществом религия тела, тем больше

власти и мощи имеет над тем обществом и веком проституция. Чем сильнее развивается в нем религия духа, тем меньше терпимости к проституции, тем ярче ей противодействие. То общество, которое действительно победит первородный грех, конечно, освободится и от проституции. Мыслимо ли такое общество, побеждающее царство вавилонской блудницы и зверя не только в мечтательном идеале возвышенных и вдохновенных умов, но и в житейской наглядности? Не знаю. В прошлом его не было, нет его и сейчас.

Провозгласив целомудрие высшим нравственным идеалом, христианство воюет с проституцией девятнадцать веков, но все еще далеко до победы. Более того: чем дольше и упорнее война, тем она становится сомнительнее и даже порою представляется безнадежною. Чем чаще и громче заявляет о себе потребность упразднить проституцию, тем яснее и наглее подчеркивает эта последняя свою полнейшую неистребимость. Это — Лернейская гидра. Когда ей отрубают одну голову, у нее немедленно вырастают две новые, гораздо опаснейшие прежней. Говорят, что один в поле не воин. Между тем в войне против проституции, у современного общества — именно лишь один, истинно могучий меч: нравственный идеал, вещаемый евангельским словом. За проституцию же подняты десятки оружий не только явных, но и потаенных, не смеющих часто не только назвать себя, но даже подать голос о существовании своем, и все же существующих и вредно действующих; десятки пороков низменных и презренных, но тесно родственных натуре человеческой, — тем животным проявлениям ее, что привились нам вместе с ядом яблока Евы.

Итак, победит проституцию лишь то чистое, духовное христианство, — если возможно оно, — которое окончательно сбросит с себя путы животного начала и утонет в созерцании неизреченной красоты Вечного Идеала. Такое ликующее, светоносное, безгреховное царство обещано в апокалипсическом Новом Иерусалиме. О нем, как новом золотом веке на

земле, мечтали и молились так называемые хилиасты. Но мечты и обетования — загадки будущего. В прошлом же и в настоящем чистые евангельские формы христианства оказались достоянием лишь весьма немногих избранных, «могущих вместить», — настолько немногих, что к общей массе именующих себя христианами они относятся, как единицы к десяткам тысяч. Масса — глядя по вере, по веку и по настроению эпохи — признает единицы эти или святыми, или безумцами и либо поклоняется им, либо учиняет на них гонения.

Христианская теория и в наши дни царствует над миром. Но царство ее не автократическое, но конституционное. Она царствует, но не управляет. Ей присягают, ей клянутся, к ней, как высшей справедливости, летит последняя аппеляция человека, осужденного жизнью на горе и гибель, — но живут, хотя ее именем, не по ее естественному закону, а по закону искусственному, выработанному компромиссами христианского идеала с греховными запросами жизни. Как практическая религия, христианство — после первых апостольских дней своих — являлось в многочисленных по наименованиям, но всегда крайне тесных и немноголюдных по количеству приверженцев, общинах, которые, живя по завету Христову свято и целомудренно, превращали весь быт свой как бы в монастырь труда и нравственного самосохранения. В таких обществах, посвященных всецело «блюдению себя», разумеется, и проституция становилась невозможною. Но общины эти или были первобытными по самому происхождению своему, как, например, первоначальная церковь рыбарей-апостолов, или же, возникая протестом против современной им культуры, отрывали от нее и возвращали прозелитов своих к первобытности, как, например, делают это наши толстовцы. С численным ростом общины, с расширением ее границ, растут и ее потребности житейские, утягивая ее все далее и далее от того первобытного строя, которым обусловливалась в ней чистота и практическая применимость веры. Становятся неизбеж-

ными компромиссы и уклонения от великой теории, — и мало-помалу в молчаливом взаимосогласии чуть не поголовного самообмана практика жизни начинает слагаться именно из уклонений этих и уменья узаконить их, чрез искусное толкование нарушенной морали, к своим выгодам и удобствам. Прививка государственности превращает общую «религию» в местные «вероисповедания»; рост внешней культуры разлагает вероисповедные законодательства каждым шагом своим, настойчиво заставляя поступаться в пользу свою сурово-требовательный мир духовный, заслоняя светоч вечного идеала временным, но ярким «сиянием вещества». Культ тела, номинально уступая почтительное первенство культу духа, оттесняет его фактически на задний план; в маске показного христианства жизнь совершает попятную эволюцию к укладу языческому. А языческий уклад был не врагом, но другом и сыном первородного греха; он не чуждался разврата, но строил ему храмы, воздвигал кумиры, апофеозируя в них тех именно проституток, то именно женское продажное рабство, против коего выступил неудачный лондонский конгресс. «Наделала синица славы, а моря не зажгла». Увы! Чистое дело требует, чтобы за него брались чистыми руками. Не веку, который стреляет в дикарей пулями «дум-дум», раскапывает могилы, чтобы осквернить прах мертвого врага, изобретает подводные лодки, наверняка пускающие ко дну любой броненосец с тысячами людей на нем, швыряет динамитные бомбы и мечтает об изобретении бомб миазматических, способных отравлять всякими заразами атмосферу чуть не целого государства, — не этому веку, так усердно причиняющему смерть и так боящемуся смерти, сражаться с развратом — ее детищем, спутником и сотрудником.

Лондонский конгресс провалился потому, что при всей симпатичности заявленных им целей был втайне плодом общественной неискренности. Может ли нападать на проституцию тот социальный строй, которого она — прямой и

необходимый результат? Конечно нет, — он может лишь делать вид, будто нападает. А если нет, может ли он серьезно и убежденно стремиться к уничтожению страшного рынка, на котором обращается этот грустный товар? Конечно нет, — он может лишь делать вид, будто стремится. Ему нужен этот товар, и он будет иметь его; товару нужен рынок, и он — несмотря на все обилие честных и хороших слов против его существования — будет существовать. Быть может, немножко облагообразится, временно наденет вуаль, но — будет! Доколе? До тех пор, пока новая нравственная реформа не освежит нашу культуру, начинающую принимать столь разительно схожие формы с культурой умершего Рима — до тех пор, пока реформа эта не возвысит женщину над ее современным социальным уровнем, не укажет ее права на «душу живу», не даст ей в обиходе нашем места иного, чем, — говоря языком политико-экономическим, — «предмет первой необходимости». Покуда женщина остается в одном разряде с вином, хлебом, солью, мясом, кофе, чаем и тому подобными вещественными потребностями человечества, — до тех пор, и проституция, и рабские рынки проституции незыблемы. Ибо человек — животное эгоистическое. Привыкнув пить кофе, он заботится о том, чтобы хорош был кофе, свеж и вкусен, а вовсе не о том, чтобы хозяева кофейных плантаций не совершали несправедливостей над своими рабочими и были бы люди высоконравственные. И — если у негодяя-булочника окажется хлеб лучшего качества, чем у булочника богобоязненного и добропорядочного, последний, вопреки всем своим хорошим достоинствам, может закрывать лавочку: он банкрот.

— Но ведь это же парадоксы! — возразит мне читатель-оптимист, — софизмы Бог знает какой давности... Женщина — вещь, женщина — кусок мяса, о которой вы говорите, осталась далеко за нами — во мраке теремов, гаремов, гинекеев. Мы возвысили семейное положение

женщины. Мы создали вопрос о женском труде, выдвинули вперед стремление к женской равноправности...

Возвысили семейное положение женщины? Но она до сих пор жена мужа своего фактически — лишь до тех пор, пока он того хочет, и мать — воспитательница детей своих — опять-таки, покуда только супругу угодно. Вы имеете право любить, разлюбить, расстаться с женою, наградив ее отдельным паспортом и тем или другим денежным содержанием, можете оставить у нее детей, отнять их, можете вытребовать ее к себе по этапу, — она бессильна ответить вам подобною же мерою; она не властна даже в личном обязательственном и имущественном своем праве, и, чтобы вексель жены хоть что-нибудь стоил, его должен украшать супружеский бланк. Это — раз. А затем: чего стоит это мнимое возвышение женщины в семье, при общественном курсе, делающем с каждым годом все более и более затруднительным возникновение, поддержку и правильное существование семьи? Мы слышим всеобщий вопль: «Жить нечем!» Видим, как недостаток средств разлагает семью за семьею, как быстро растет в брачной статистике процент старых дев, не нашедших себе женихов, и холостяков, уклоняющихся от брака, по осторожному принципу: «Одна голова не бедна, а и бедна, так одна!» Целые тысячи браков, отказавшихся от деторождения или практикующих пресловутую Zweikindersystem *. Тысяча матерей, заливающихся слезами при появлении «лишней и не входившей в расчет» беременности, предпочитающих перспективе в муках родов и в недостатке и нужде растить чадо — абортивные услуги разных секретных акушерок и шарлатанов-докторишек... В обществе, где женщина вынуждена отказаться от деторождения, где правительства тщетно изобретают меры, чтобы воспитательные дома, предназначенные для незаконнорожденных, не завалива-

* Система двух детей в браке (*нем.*).

лись детьми законнорожденными, — не хвалитесь семейным возвышением женщины.

Вы лишили своих жен материнского их предназначения, а если жена — не мать, то она — по условиям мужевладычного строя — только либо предмет вашего удовольствия, либо служанка, трудящаяся на вас по домашней части. Вы не бьете ее, как били ваши предки, — да ведь и язычник-римлянин жены своей не бил и обращался с нею изысканно-вежливо, в то же время не считая, однако, ее за полного человека. Быть может, она даже властвует над вами, но властвует не силою нравственного права «матери семейства», а по тому же закону, по которому вас подчиняет себе излюбленная прихоть, пришедшаяся по вкусу игрушка. В обществах, где семейные права женщины стоят высоко, был бы немыслим тот настойчивый вопль о свободе развода, что гулом идет по всем государствам Европы и громче всего едва ли не у нас в России, то тяготение к гражданскому браку, что замечается положительно во всех слоях, слагающих современную жизнь. Мужчины исписали сотни томов в улику жен, бросающих мужей своих, как перчатки, жен — бессердечных разорительниц-кокоток семейного очага. Есть такие, множество их, и правильно их описывают. Но правильно описывая, забывают ту истину, что не растет пшеница на незасеянном поле... Мы вытеснили из обихода нашего жену-мать, — так нечего и плакаться, что семейные поля покрываются волчцами и терниями, пламя домашнего очага гаснет, и, во мраке и холоде бездетных и малодетных супружеств, беснуется от безделья жена-кокотка, которая не заправская кокотка потому только, что подходящего случая покуда не выпало. А выпадет случай, — и станет, ничтоже сумняшеся и никого не жалея.

Мы создали вопрос о женском труде и женской равноправности? Но опять — не условная ли это ложь? Не вопрос ли это, поставленный в пространстве, даже без особых стара-

ний об ответе? Увы! Если бы имелся хоть намек на последний, исчезла бы сама собою и добрая половина вопроса о проституции. Не думайте, что я стану говорить жалкие слова и рисовать сентиментальные картины, как бедная, но честная девушка тщетно искала работы, чуть не умерла с голоду, чуть не утопилась от безработицы и желания остаться бедною, но честною, и как все-таки жажда жизни взяла свое и бросила ее в гнусное лоно порока. Все это бывает, все это очень жалостно, но дело-то не в том. Это — исключения, это — аристократия падших, это — орнамент порока, а суть-то — в общей их массе и заманчивом общем правиле, ею властно руководящем. Властность же и заманчивость этого правила заключаются в том, что в нашем высококультурном обществе ни один из видов честного труда, доступных женщине, не дает такого щедрого, быстрого и легкого заработка, как злейший враг женского труда — разврат. Награждая женщину самостоятельным трудом, мы говорим ей чрезвычайно много красивых слов о сладости честно заработанного куска, затем любезно предлагаем:

— И вот вам, душенька, прелестная каторга: за 15 рублей в месяц вы будете работать ровно 15 часов в сутки... Сколько счастья!

Всюду, пока женский труд — отброс мужского, черная, кропотливая и мучительно-скучная работа, которой мы, мужчины, не берем по лени, высокомерию и потому, что есть возможность свалить ее на женские плечи за гроши, какие мужчине получать «даже непристойно». Это — везде: в банках, в папиросных мастерских, в библиотеках, в магазинах, на фабриках, на телеграфе, на полевой уборке — всюду, от малого до большого, где труд мужской мешается с трудом женским.

Требуется с женщины много, платится мало. Диво ли, что соблазн более сладкой и сытой жизни отбивает ее от труда и бросает в разряд «продажной красы»? О предпочтении пер-

вого второй можно говорить справедливые и хорошие слова с утра до ночи. Но у справедливых и хороших слов есть один огромный недостаток: как голос долга, они все требуют от человека подвижничества во имя идеи. Подвижничество же массам не свойственно, но лишь единицам из масс. Очень хорошо быть Виргинией, но, если бы Виргинии встречались по двенадцати на дюжину, их не заносили бы на скрижали истории как поучительную редкость. И — когда девочке лет 17—18 предоставляется выбор между пятнадцатичасовою ежесуточною каторгою и падением, она обычно предпочитает грех и сытую жизнь честному труду на житейской каторге. Одной Виргинией в списках житейских становится меньше, одной Катюшей Масловой — больше. Эти бедные Катюши Масловы гибнут, как мотыльки на свече — сотнями, тысячами, тупо принимая свою гибель как нечто роковое, неотменное. Чтобы мотылек не летел на свечу, надо поставить между ним и ею надежный экран... Такой экран, говорят нам, есть женский труд, полноправный с трудом мужчины. Прекрасно. Но сделайте же труд этот и равноценным труду мужчины, потому что иначе — экран дырявый, не заслоняет свечи. Если вы хотите, чтобы женский труд парализовал проституцию, сделайте его хоть сколько-нибудь способным не теряться в соседстве с нею своим бессильным заработком в совершеннейший мизер; а жизнь честной работницы сделайте сытее и, следовательно, завиднее мишурной обстановки — «убогой роскоши наряда», достающейся в удел продажным женщинам. Если общество в состоянии достигнуть такого блага, проституция погибнет сама собою; если нет, то благожелательные и красноречивые конгрессы против нее — не более как то самое бросание камешков в воду, при коем Козьма Прутков рекомендовал наблюдать круги, ими образуемые, «ибо иначе иной, пожалуй, назовет такое занятие пустою забавою»!

1899

II

Опять газеты полны разговорами о борьбе с развитием проституции, об уничтожении торга белыми невольницами, о правилах для одиночек, квартирных хозяек, об охране от разврата малолетних и т.д. Собираются и ожидаются съезды, слагается союз «защиты женщин», готовятся проекты, сочиняются речи, пишутся статьи. Сколько хороших слов, благих намерений, — надо отдать справедливость, — весьма часто переходящих и в доброжелательные поступки, и в полезные пробные мероприятия! И из года в год, из десятилетия в десятилетие повторяется одна и та же история: доброжелательные поступки приводят к результатам, чуть ли не обратно противоположным желанию, а из мероприятий вырастает для женского пола совсем неожиданным сюрпризом какая-нибудь новая житейская каторга, горшая прежних. И сатана, гуляя по своему аду, пол в котором, как известно, вымощен добрыми намерениями, — после каждого съезда или конгресса о проституции все крепче, все с большею самоуверенностью топает копытами по тому месту, где похоронены сотни разрешений вопроса о падших женщинах, язвительно смеется и приговаривает:

— Вот где у меня основательно, густо вымощено!

Борьба с распространением проституции, обыкновенно, проектируется с двух точек отправления: этической — для самих жертв проституции, медицинско-профилактической — для общества, в среде которого проституция развивается, служа показательницею его, как принято выражаться, темперамента. В дополнение к ответам на эти главные устои вопроса ищутся разгадки второстепенных осложнений, из него истекающих; в том числе с особенным усердием предлагается дилемма об улучшении быта проститутки, об охране ее человеческих и гражданских прав, словом, так сказать, о защите ее от жестокого обращения. Опять-таки — прекрас-

ные, истинно гуманные задачи; и упражняться в решении подобных житейских шарад — благороднейшее занятие для мыслителя благонамеренного и любвеобильного. Но сатана все-таки топчет копытами, смеется и восклицает:

— Нет, господа, — это место у меня надежно, крепко вымощено!

Я знал в жизни своей очень много членов разных обществ покровительства животным, в том числе иных очень деятельных, — но только одного, который покровительствовал им действительно и вполне последовательно. Он сделался вегетарианцем, всегда и всюду ходил пешком и не держал в доме своем ни кота, ни собаки. Этот человек устранил себя от потребностей в животном мире, и тогда животный мир получил некоторую гарантию, что он не будет терпеть от этого человека жестокого обращения, по крайней мере, потому вольного, что ведь, в конце-то концов, все наше отношение к животным — сплошь жестокое, даже когда мы считаем его кротким. Нельзя с нежностью лобанить быка хотя бы на самой усовершенствованной бойне, нельзя мягкосердечно перерезать горло барану и отрубить голову индюку; нельзя воображать, будто доставляешь необычайное наслаждение лошади, впрягая ее в вагон конно-железной дороги; и хотя гастрономы утверждают, будто карась любит, чтобы его жарили в сметане, однако вряд ли они от карася это слышали. Не быть жестоким по отношению к животным может только то общество, которое в состоянии обходиться без животных. Всякое иное покровительство животным заботится не о благополучии животного мира, а об успокоении нервной чувствительности общества человеческого, об умиротворении поверхностными компромиссами человеческой совести, внутренним голосом своим протестующей в нас против грубых форм эксплуатации живого, дышащего существа. Защищая истязаемое или напрасно убиваемое животное, мы оберегаем не его, но собственный нравственный ком-

форт, собственное самодовольство. Если в оправдание истязания или убийства животного имеется хоть маленький, понятный и выгодный человеку предлог, оно уже не считается ни истязанием, ни напрасным убийством. Научные интересы — достояние немногих: поэтому тысячи людей возмущаются до глубины души откровенными жестокостями вивисекции, целей которой они не понимают. Вкусовые интересы доступны всем: поэтому те же тысячи людей не смущаются есть раков, заживо сваренных в кипятке, и требуют, чтобы кухарка секла налима пред закланием его в уху, так как от сечения налим «огорчается» и вкусная печенка его распухает.

Прошу извинения за грубоватую аналогию, но мне сдается, что в вопросе о проституции мы весьма недалеко ушли от сомнительной условности обществ покровительства животным. Вопрос ставится совершенно на те же шаткие основы компромиссов между безусловным и неизбежным злом общественного явления и его условною, житейски-практическою «пользою».

Мы хотим остановить распространение проституции и, для начала, обуздать наглую торговлю живым товаром. Очень хорошо будет, если переловят разных аферистов и аферисток, промышляющих белыми невольницами на проституционном рынке, если затруднят кандидаткам в проституцию доступ к позорному ремеслу и т.д. Но я не думаю, все-таки, чтобы все эти паллиативы стоили названия борьбы с распространением проституции и чтобы, даже при самом тщательном проведении их в жизнь, проституция перестала распространяться: рост ее не от нее зависит, и остановится он, и пойдет на убыль не от тех искусственных мер, какими мы воображаем упорядочить рыночное предложение проституции, но только и исключительно от этических, социальных, экономических реформ, которые, преобразовав физиономию современного общества, естественным путем уничтожат

проституционный рынок или, по крайней мере, понизят на нем спрос. Пусть общество не нуждается или как можно меньше нуждается в проститутке, и промысел сам собою сведется на нет, фатально исчезнет, ликвидируется. Проститутка — рабочая на половой инстинкт. Труд ее подчинен тем же законам роста, как и всякий труд: где есть в нем потребность, он развивается; где падает потребность, там замирает, сокращается, уничтожается и он. В состоянии ли общество при современных условиях своего быта отказаться от обладания этим женским классом, от спроса на его услуги? Действительность говорит: нет, не в состоянии. Тогда не будем и хвалиться столь громкими предприятиями, как борьба с проституцией. Условимся лучше заменить широкие задачи просто выработкою кое-каких внешних приличий, чтобы обществу было не столь зазорно и опасно пользоваться жертвами своего темперамента и, воспользовавшись, потом смотреть им в глаза, — чтобы свинство спроса вуалировалось благовидностью и закономерностью предложения.

— Злополучная падшая женщина! порочная и несчастная торговка собственным телом! Ответствуй нам: что ты за сфинкс неразрешимый? Мы учреждаем для тебя исправительные приюты: тебя в них не заманишь и калачом, а, заманутая, ты бежишь из них куда глаза глядят, только бы уйти. Мы учреждаем для надзора за тобою врачебно-полицейскую инспекцию, — ты обращаешь ее в ведомство, за покровительство коему муза трагедии спорит с музою оперетки. Мы арестуем, судим, сажаем в тюрьмы, ссылаем твоих развратителей и рабовладелиц... и эта гидра не истребима: на место каждой отрубленной головы ее вырастают три новых. Только что защитили тебя от жестокой, наглой эксплуатации, а ты уже опять по уши увязла в ней, и опять вся, как паутиною, опутана долгами, контрактами, условиями разных агентов и агентш, сводников и сводней. Ужели ты неисправима? Ужели тщетны наши усилия, и мил тебе разврат для развра-

та, и нельзя тебя отвлечь от него ни крестом, ни пестом, ни честною молитвою? Однако вот уже сорок лет, как нас уверяют неподдельные знатоки сердца человеческого, что ты — самое несчастное и страдающее существо в подлунном мире, что ты ужасаешься самой себя, льешь о себе покаянные слезы, что ты — Соня Мармеладова, святая душа в оскверненном теле. Если так, опомнись, Соня Мармеладова! Брось стези порока, по коим водит тебя продажный разврат, и возвратись на путь добродетели, куда мы тебя великодушно призываем...

Соня Мармеладова отвечает:

— Я со всею готовностью-с... Но ведь вступив на путь добродетели, стоять на нем неподвижным столбом невозможно-с, а надо по оному пути идти вперед, далее, в текущую жизнь-с?

— Конечно!.. Мы поведем тебя! Мы просветим тебя! Мы покажем тебе прямую дорогу!

— Чувствительнейше благодарна. Только вот что скажу вам, милостивые государи мои: чтобы идти — там ли, сям ли — вперед нужны средства-силенки. А у меня и на пути порока часто подкашиваются ноги от голодухи. Так боюсь, что на пути добродетельном-то я и вовсе паду, как заезженная кляча-с... вот как надорвалась, царство ей небесное, Катерина Ивановна, покойная мачеха моя, ежели изволите ее помнить.

Этические воздействия — сила хорошая, но и они — палка о двух концах. Нет на свете книги более светлой, благой, братолюбивой, чем Евангелие Христово. И, однако, я знал человека, который из всего евангельского содержания любил только один стих, потому что толковал его как благословение на ненависть к человечеству. Был он парень гордый, рабочий, нищий, не попрошайка. Остался после болезни без места, перебивался чем и как мог, жил в углах; наконец сил не стало: протягивай руку за подаянием либо околевай. И вот

навернулся благотворитель. Прочел истощенному, озлобленному, полубольному голодному человеку лекцию о смирении, о промысле, о прилежании в труде, подарил Евангелие, пожалел, что «нет у меня для вас никакой работы», дал рубль денег и исчез. Из рубля у парня три четвертака отняла за долг хозяйка угла, где он сгнивал, четвертак он проел — а четверо суток спустя подобрали его на Даниловом кладбище, за Москвою, в тифе, и отвезли в больницу. Натура была сильная: выдержал. Врачи заинтересовались интеллигентом, который чуть не умер от голода, поддержали его кое-какою работою; он стал на ноги, вышел в люди и впоследствии был известен в адвокатуре как... рвач самой жестокой и бессовестной марки. И однажды в интимном и очень бурном разговоре на благотворительную тему, в которой он был близко и нехорошо заинтересован, он крикнул мне, пишущему эти строки, жестокие, самозабвенные слова:

— Что вы попрекаете меня христианством, Евангелие в пример приводите? Что вы в нем понимаете? Что вы можете понимать? Вы читали Евангелие в теплой комнате, сытый; а я — на Даниловом кладбище, под осенним дождем, с пустым брюхом... Помню-с: «Алкал я, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили меня». А потом я продал Евангелие кладбищенскому нищему за пятачок, а силы пойти, чтобы себе хлеба купить, мне уже недостало, и я лег на могильную плиту и стал умирать... Вот и все мое Евангелие. «Алкал я, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили меня». Помню это, — и довольно с меня. Тут целое мировоззрение!

Если бы все господа благотворители хорошо помнили этот стих, они никогда не посмели бы давать Евангелие в руки голодным людям, прежде чем их накормить.

Так вот я думаю, что и с этическими воздействиями на мир падших женщин мы не будем иметь ни малейшего успе-

ха до тех пор, пока они будут алкать и жаждать, а мы не сумеем накормить и напоить их иначе как при условии продолжения ими той же профессии, от которой мы беремся их спасать.

Мне скажут:

— Позвольте. Один из наиболее существенных пунктов программы к борьбе с проституцией в том и заключается, что мы предлагаем падшей женщине заменить добычу труда позорного заработком труда честного.

Милостивые государи! Еще раз повторю: этика — вещь прекрасная. Но ведь и политическая экономия — наука недурная. А она, увы! не делит труда на позорный и честный, но лишь на легко добывающий и трудно добывающий, при чем учит, что благо, добытое трудом легким, натуре человеческой свойственно предпочитать благу, добытому трудом тяжким, и что трудовой идеал человечества — отнюдь не в поте лица есть свой хлеб, выбирая его из волчцов и терния, но наибольшая заработная выгода при наименьшей затрате рабочей силы. И еще: однажды обладав каким-либо благом, человек не легко примиряется с его лишением и очень туго соглашается на сбавку блага. И потому-то позорный, но легкий по доходности промысел проститутки побеждает честные, но тяжелые и маловыгодные виды женского труда. Потому-то проститутка, извлеченная из дома терпимости или от тайной эксплуататорши-хозяйки и определенная к какому-нибудь утомительно-рабочему, а тем паче к «черному» месту, почти обязательно обращается чрез некоторое время вспять, оказывается рецидивисткою. И до тех пор, пока нравственный уровень нашего общества не поднимется настолько, что честные виды женского труда будут цениться если не вровень, то хоть в одну треть заработка проститутки, до тех пор я сильно опасаюсь, что кадры вредного злополучного класса не будут задержаны в прогрессивном росте своем ни нравственными воздействиями, ни полицейскими мерами.

Если хотите, чисто проституционного вопроса не существует вовсе. Есть только вечный, жгучий вопрос женского подчинения и женского труда, одною из болячек которого является проституция. Мы видим в ней аномалию, и она действительно является аномалией в общественном укладе христианского государства, но аномалией не самостоятельной, а производной, уродливою ветвью от уродливого корня, а не корнем. Очень хорошо заботиться о том, чтобы женщин в проституцию не совращали, а совращенных не обижали. Но сколько бы реформ в этом направлении ни было проведено, все они — только полумеры без успеха или с кратковременным, мнимым успехом. Серьезною, коренною реформою может очистить общество от проституции только решительная, полная переоценка культурою будущего столь огромной мировой ценности, как женщина, крутой перелом в наших отношениях к ее личности, труду, образованию, праву.

Проститутка по природной развращенности, по лени и неохоте к честному труду, — очень редкое явление, по крайней мере в России. Русская падшая девушка, в девяти случаях из десяти, становится продажною исключительно потому, что честный труд ее не кормит или кормит при слишком уж тяжких условиях. Из этого правила я не исключаю и тех, которые были вовлечены в разврат обманом, так как для них честный труд, плохо кормящий и непорочных, делается особенно скудным и даже почти недоступным по этическому лицемерию общества; мы — мастера губить девушек, но еще большие мастера возмущаться потом их падением. Один из самых блестящих и трагикомических обманов нашего мужского лицемерия состоит в том, что мы даже каторжные формы женского труда, существующие в современной цивилизации, определили женщине не просто, а как бы в награду за ее добродетельное поведение. Ты добродетельна, — ну вот тебе за это высокая честь: каторга труда кухарки, горничной, «бонны за все», гувернантки при семи ребятах, телефонной

барышни, телеграфистки с суточными дежурствами. Наслаждайся своею добродетелью и своим трудом. Ты пала, — кончено: мы не позволим тебе быть ни «бонною за все», ни гувернанткою при семи детях, ни телефонною барышнею, ни телеграфисткою с суточным дежурством. Все эти блаженства — для целомудренных; ты же ступай, куда знаешь, — пожалуй, хоть и в проститутки.

Земледельческий период русской цивилизации быстро идет к концу. Город берет верх над деревнею, городской теленок все громче похваляется, что он умнее деревенского быка, люди скорее согласны босячить, но на асфальтовой мостовой и под электрическими фонарями, чем сидеть в лесу и молиться пню, даже при изобилии. При отсутствии же изобилия, слишком ярко характерном для последних лет нашего отечества, переселение деревни в город особенно мощно и многолюдно. Городской труд велик и многообразен, но и в его области «цен на бабу нет».

Помню я: в одном интеллигентном семействе большого южного города, очень порядочном, зашла речь о развращенности современной прислуги, — тема, излюбленная хозяйками всех веков и народов. В данном случае хозяйка дома была особенно пылко заинтересована: ей везло такое несчастие, что в течение года у нее «сманули» последовательно двух молодых горничных. Теперь служила третья, девица юная, некрасивая, неумелая, взятая именно за то, что она прямо из деревни и не испорчена городскими примерами.

— По-моему, — возразил отец семейства, человек свободно и благомыслящий, — по-моему, вся эта пресловутая развращенность — дамская фантазия. И удивляться надо не тому, что известный процент Машек и Ленок уходит от нас, обывателей, из прислуги в погибшие, но милые создания, но тому, как процент этот еще вдесятеро не выше.

— Почему это? — взволновалась хозяйка.

— Потому что... возьмем хотя бы эту Дуню, которая теперь нам служит. Мы считаемся добрыми, хорошими господами, прислуга нас любит. Однако при всей нашей доброте и прекраснодушии вот дневная работа Дуни. Встала она в шестом часу утра, растопила четыре печи, вымела и вытерла тряпкою пол в семи комнатах, облазила со щеткою углы, зеркала, картины, мебель (мы любим чистоту), подала на стол и убрала со стола самовары для трех чаев со всем подобающим сервизом, накрыла завтрак и обед на семь человек и служила им, перечистила платье и обувь для семи человек, гладила на кухне для барыни, раз двенадцать выпустила и впустила на подъезд своих и чужих, раз шесть-семь бегала по нашим поручениям в лавку, трижды чистила «невежество» за котами Марьи Сергеевны, привела в порядок семь постелей на ночь... Сейчас уже двенадцать часов ночи, у нас всегда сидят до двух и больше, а она не спит, и завтра ей вставать опять в половине шестого. Комнаты у нее нету, и постель ее стоит за шкапом в коридоре. Ест она на ходу. При этом от нее требуются опрятность, быстрота, ловкость, сообразительность, чистоплотность, преданность и желание соблюдать господские интересы паче собственных. И все это ценится в десять рублей серебра месячного жалованья, то есть в 33 копейки за день, — причем все приятельницы уверяют Марью Сергеевну, что прислуга нас просто грабит. И действительно вы можете иметь в нашем городе прислугу и на пять, на шесть рублей, а в недородный год шли за три. Если при многочисленности своих занятий Дуня в чем-нибудь не довернется, вы, все за те же 33 копейки в день, имеете право обругать ее негодницею, лентяйкою, дармоедкою, а в случае упорства и непослушания, тем более дерзости, можете бросить ей паспорт и выгнать ее на улицу. Повторяю: мы слывем добрыми, хорошими господами. И я не сомневаюсь, что личные симпатии к нам значительно задержали и Машу, и Лену в стремлении катиться по наклонной плоскости. От

других они бежали бы на содержание месяцем-двумя раньше. Но вполне парализовать наклонной плоскости мы, конечно, не могли.

— Что же они — в деревне меньше что ли работы видели? — вспылила «сама».

— Не меньше. Но не забудь, что от деревенской работы они ушли в город, — стало быть, искали не такого труда, чтобы был вровень с деревенским, а лучшего, более доходного и легкого. А попали на — вон какой! Не говорю уже о том, что есть огромная психологическая разница между работою на себя в натуральном хозяйстве деревенского дома и работою на чужих, в качестве вольнонаемной прислуги у господ. Да-с. Пришли искать лучшего и легчайшего, — ан, определились на маленькую каторгу за 33 копейки в день.

— А помнишь, в Ницце нам служила одной прислугой Сюзанн? Какая работница была: десять наших ее не заменят. И платили мы ей франк в день. И не знала она никаких увлечений...

— Франк в день! Шутишь ты с франком в день! Там франк — местная денежная единица, как у нас рубль, и на франк по условиям быта можно прожить, как у нас на рубль. Тридцать франков для ниццардки — тридцать рублей, а для нашей Дуни — только двенадцать. Это — разница. Из десяти рублей своего жалованья Дуня семь отсылает родным в деревню. Таким образом, честный городской труд лично ее вознаграждает за рабство десятью копейками в день, — меньшей чем оплачивается самая низшая поденщица, не требующая ничего, кроме тупой физической силы. Лестно, не правда ли? Так что же и удивляться, если этот злополучный гривенник не в состоянии выдержать конкурсной с десятирублевым золотым, который ей предлагает частный поверенный Чижик за то, что она придет к нему на квартиру пить чай с конфектами из фарфорового блюдечка, с серебряной ложечки? За гривенник в сутки — перспектива убирать «не-

вежество» за котами; за десять рублей в сутки — серебряная ложечка и фарфоровое блюдечко. Ей-Богу, бой соблазнов слишком неравен.

— Должны же быть нравственные начала в человеке!

— А вот ты сперва внедри их в человека, эти нравственные начала, а потом уже с него и спрашивай стойкой нравственности. Да внедряй-то разумно, с раннего детства, да, главное, в сытого и небитого. А то у нас за спорами, какие школы лучше для народа, вовсе никаких нет. Откуда же ему нравственными началами раздобываться? Ищем, чего не положили, и сердимся, что не находим.

Читатель остановит меня:

— Позвольте. Вы начали положением, что проституция уничтожится только тогда, когда совершится реформа женского труда, образования, права. А теперь выходит у вас както, что чуть ли не вся беда в том, что мы платим мало жалованья женской прислуге. Так прибавить, — и вся недолга.

— Прибавить? А нуте-ка! прибавьте!

И вспоминаются мне блестящие черные глаза и насмешливое лицо одной странной интеллигентной девушки, самого оригинального и гордо-разочарованного существа, какое знал я в жизни. В течение нескольких лет она перебывала учительницею, гувернанткой, помощницею бухгалтера в банкирской конторе, телефонною барышнею, выходною актрисою, счетчицею в железнодорожном правлении, секретарствовала у знаменитого писателя и заведовала книжным магазином. Служила всюду хорошо, по службе нигде никогда никаких упущений, но... всегда и везде все как будто немножко, а иногда и очень множко недоумевали: зачем это ей? Красавица, а служит. Ей бы на содержании, в колясках кататься, а не над конторкою спину гнуть.

— Женский труд! Боже мой! Я работала как вол, по двенадцати часов в сутки, становилась полезнее всех служащих, — и не могла подняться выше пятидесяти-шестидеся-

ти рублей жалованья. Когда я жаловалась, что мало получаю, что моя работа стоит дороже, на меня широко открывали глаза и возражали;

— Помилуйте! Это мужской оклад! Столько у нас мужчины получают!

— Да ведь они за пять часов получают и еще делают вам все спустя рукава, а мы по двенадцати сидим...

— Невозможно-с! По принципу-с!.. На то они мужчины...

— Но стоило мне перестать быть «служащею», а улыбнуться и пококетничать, как полагается женщине «по природе ее», и... Сезам отворялся. И прибавка, и ссуда, и награда... Так вот и тычут тебе в нос всю жизнь: покуда ты, баба, лезешь заниматься нашим мужским делом, дотоле тебе, баба, цена ломаный грош, хоть будь ты сама Семирамида Ассирийская. А вот займись ты, баба, своим женским делом, и — благо тебе будет: купайся в золоте, сверкай бриллиантами, держи тысячных рысаков. А женское дело выходит, по-ихнему, — проституция *).

Добывать честным трудом хлеб свой — и право, и обязанность каждого человека. Но что в праве, если оно ограничено в действии своем настолько, что не может быть осуществлено? Какой нравственный смысл сохраняет обязанность, если она неисполнима при обычных условиях жизни, если она обращена в хронический подвиг, ежедневно требующий геройских усилий? Да! Между русскими трудящимися мужчинами — много героев; но русская женщина, умеющая работать бодро и не ропща при современных унизительных и тяжких условиях ее честного труда, — всегда героиня, притом героиня незаметная, неоцененная; на геройство ее как-то принято не обращать внимания. Она — точно обязана быть героинею, точно предписание геройства поставлено в непременные нравственные условия ее трудового контракта с нами, «мужским сословием».

*) См. мой роман «Виктория Павловна» (Именины) и послесловие к нему.

— Самостоятельности хочешь? Не желаешь смотреть на свет из-за мужниной спины! Ну и бейся как рыба об лед.

— Господа, будьте же справедливы! За что?

— Ни за что, а... выходи замуж.

— Да если я никого не люблю?

— Глупая, хлебом будут кормить.

— Я желаю быть обязана своим хлебом только самой себе.

— Так вот тебе и говорят: бейся как рыба об лед.

Замуж — это выход «благородный», это — «женщине счастье»: избавили от труда и за супружеские ласки кормят хлебом. При меньшем счастии народы изумляются: почему ты труженица, а не содержанка? Почему ты изнываешь «в боннах за все», когда в кафешантанном хоре дают уйму денег за одну фигуру? Почему ты стираешь белье в прачечной, а не идешь пить чай к частному поверенному Чижику? Недоумение и борьба. И чтобы успешно выдержать борьбу, женщина должна быть либо героинею, либо дурнушкою. Зато и не везет же им!

Проституция вьет свои гнезда не только по улицам и вертепам, она и живет, и свирепствует много выше. Она многолика и ловит женщину в самых разнообразных формах и на всех путях ее к самостоятельному труду и существованию, от нижайших слоев общества до верхушек его, от горничных Маши и Лены, которых какая-нибудь подвальная ходебщица сватает в наложницы частному поверенному Чижику, до блистательной столичной актрисы, которая сходится с театральным тузом, потому что «без покровителя невозможно», до светской девушки, которую поспешно выдают замуж за антипатичного ей человека, потому что он с состоянием, а она замечена в преступной «склонности к идеям».

— Выйди замуж и имей свои идеи... на всем готовом, если муж позволит. А порядочная девушка должна быть без идей.

Проституция может чувствовать себя госпожою положения даже в лоне наизаконнейшей семьи. И вот я и думаю, что пока общество не справится в собственных недрах своих с этою проституцией, что создается женским трудовым, правовым и образовательным неравенством, бессильно оно и регулировать проституцию улицы и домов терпимости. Потому что вторая — только логический плод и неизбежный житейский отброс первой.

Обе проституции невозможны там, где мужчина и женщина — равнозначащие, связанные взаимным уважением общественные силы.

Обе неизбежны там, где один — мужчина — общественная сила, ревнивая и надменная в своей деятельности, а женщина, — исключительно или прежде всего, — «земля для посева», как характеризуют ее мусульмане.

Уравняйте женщину с собою в правах на образование, труд и заработную плату. Поставьте ее так, чтобы проституция, в какой бы то ни было форме, не оказывалась для нее выгоднее честного труда, — и тогда вам не нужно будет собирать ни съездов, ни конгрессов: вопрос о проституции умрет сам собою. А без общественного равенства трудящейся женщины с трудящимся мужчиною все съезды и конгрессы — только новые кирпичи в адскую мостовую добрых намерений, над которою так злобно хохочет сатана...

У него там славно вымощено!

1902

III

Мои мысли о борьбе с проституцией вызвали пылкие возражения со стороны аболициониста В.В. Зеньковского.

Г. Зеньковский упрекает меня, как «мечтателя о коренных реформах» в области женского вопроса, в презрительном равнодушии к великому аболиционистическому движе-

нию, которым сейчас энергично всколыхнулись Европа и Россия. Источник моего якобы презрительного отношения к аболиционистической работе г. Зеньковский усматривает в малом моем знакомстве с нею. «Если бы г. Икс *) потрудился прочитать хотя бы книги Генне-Ам-Рина («Недостатки современного надзора за общественною нравственностью»), Гюйо («La Prostitution»), Окорокова («Международная торговля девушками для целей разврата»), Покровской («Регистрация способствует вырождению народа»), — он понял бы, что задачи, которые себе ставит аболиционизм, жизненны и чрезвычайно широки».

Имею эти труды, читал: они интересны, полезны, поучительны **). А сверх того, полагаю, что неоспоримое положение г. Зеньковского: «Задачи, которые себе ставит аболиционизм, жизненны и чрезвычайно широки», — не требует никаких искусственных и книжных доказательств. Оно ясно без всяких книг. Само собою, «нутром» ясно. Аболиционизм — инстинктивный протест испуганной и возмущенной человеческой натуры против слишком наглядного и осязательного, мучительного зла. Законность этого естественного протеста не подлежит ни малейшему сомнению. Больше того: черствое сердце у того человека, который не присоединяется к протесту. Мое же, — по не весьма для меня лестному мнению г. Зеньковского, — оказывается черствым из черствых, так как я будто бы даже издеваюсь над аболиционизмом, поднимаю его на смех. Откуда это г. Зеньковский взял, — не усматриваю в своей статье, равно как и того, чтобы я проповедовал «квиэтизм» по отношению к проституционному вопросу... Аболиционистические опыты и упражнения я очень уважаю, сам в них неоднократно участвовал, охотно участвую и, конечно, не раз еще буду участво-

*) Под этим случайным псевдонимом печатался весь ряд статей о проституции в «СПб. ведомостях».

**) Некоторые статьи г-жи Покровской даже печатались в одной из петербургских газет, которую я тогда фактически редактировал.

вать. Думаю, словом, что практически я — столько же аболиционист, не принимая на себя этой клички, сколько и мой оппонент. Теоретическая же разница между нашими взглядами — та, что г. Зеньковский оптимистически верит:

— Спасая и охраняя падших женщин, аболиционисты уничтожают проституцию.

Я же, менее склонный к радужным упованиям и розовым миражам, говорю:

— Спасая и охраняя падших женщин, мы спасаем и охраняем (притом редко с удачею) только известное количество известных нам падших женщин. Проституцию же как социальный институт мы благородными паллиативами аболиционизма уничтожить не можем. Рост проституции остановится (а что остановилось в росте, обречено на вымирание) исключительно от этических, общественных, экономических реформ, которые уравняют образование, трудовые и гражданские права женщины с таковыми же правами мужчины. И, прежде всего, практически необходимо равенство прав экономических. Как скоро увеличатся в числе и расширятся в компетенции области честного женского труда, как скоро честный заработок женщины будет в состоянии парализовать для нее необходимость или соблазн заработка через половую самопродажу, — смертный приговор проституционному институту (по крайней мере, в современных его формах) будет произнесен; а приведение приговора в исполнение временем станет делом весьма короткого срока.

Итак, еще раз: чтобы уничтожить проституцию, нужно, прежде всего, уничтожить соблазн ее экономических преимуществ пред честным женским трудом, возвысив его заработную плату до мужского уровня, что достижимо только коренною реформою женских прав в обществе будущего. Следовательно, давайте стремиться к коренной реформе женских прав. Вот прямой и, я полагаю, единственно возможный вывод из моей статьи. Сколько в нем «квиэтизма», предоставляю судить читателю.

Г. Зеньковский укоряет меня теоретическим «смотрением в корень» в ущерб (?) живому, практическому делу и чересчур, по его мнению, большим значением, которое я придаю в вопросе о проституции фактору экономическому. Он напоминает мне, что зло проституции может быть порождено и иными социальными причинами и принуждениями, как, например, в античном мире существовала проституция религиозная. Но возражение г. Зеньковского не опровергает, а только подтверждает необходимость «смотрения в корень», которое он странно ставит мне в вину. Экстатически-чувственные восточные культы, проникавшие и в Европу, создали религиозную проституцию, отголосок докультурной полиандрии. Существует ли религиозная проституция в настоящее время? Нет, не существует, — по крайней мере, в странах европейской цивилизации. Что убило ее? Старания античных аболиционистов? Увы, их не было. Убила «коренная реформа»: мировая победа религиозных культов духа (иудаизма, христианства, ислама; из древних религий: мифраизма, Изиды, синкретической религии неоплатоников) над культами плоти. Религиозная проституция умерла потому, что засох корень ее, уничтожились культы, желавшие проституции. Наша проституция происхождения экономического. Корень ее — женское неравенство с мужчиною в трудовых правах и заработной плате. Женщина поставлена в невозможность существовать иначе как на счет мужчины, приобретающего ее, семейно или внесемейно. Самостоятельная жизнь для женщины окупается таким жестоким, тяжким, почти аскетическим подвигом, что нести его бодро и успешно дано только натурам выдающимся, необычайным, святым; это — героини и мученицы идеи. Для женщины среднего уровня способностей и энергии самостоятельная трудовая жизнь, крайне неблагодарно вознаграждаемая, — житейская каторга. Для женщины слабой утомление этою неблагодарною каторгою зауряд разрешается в дезертирство из-под трудового

знамени: самопродажею обратно под мужскую опеку и на мужские кормы. Таковы отвратительные браки с первым встречным, лишь бы хлебом кормил, и проституция. Марья Андреевна в «Бедной невесте» — очень близкая родственница Соне Мармеладовой. И покуда Марьям Андреевнам нет дороги к достаточно сытному куску хлеба иначе как через спальню Максима Беневоленского, — наивно изумляться и плакаться, что Марьи Андреевны гибнут в неравных, вынужденных браках сотнями тысяч. Это — роковое, неизбежное. Покуда Соня Мармеладова не в состоянии накормить себя, помочь измученной трудом мачехе, ссудить отцу двугривенный на выпивку, да хоть сколько-нибудь прибрать и хоть копеечным пряником побаловать малюток Мармеладовых, — не в состоянии иначе, как навязываясь прохожим на Невском проспекте, — до тех пор наивно изумляться и слезно плакаться, что Сонями Мармеладовыми кишат вечерние улицы и дома терпимости. Это — роковое и неизбежное. И тут аболиционистическое движение, при всей его почтенности, совершенно бессильно. Потому что, как из сотни кроликов не выходит одной лошади, так и тысячи падших женщин не составляют собою проституции. И в соответствии с тем даже тысячи девушек, не допущенных к самопродаже или извлеченных из нее филантропическим путем, все-таки не решают проституционного вопроса: что обществу делать, чтобы исцелиться от проституционной язвы. Кто берет на себя смелость посильно рассуждать о загадке столь глубокой важности, тому, право же, лучше смотреть в корень ее, чем довольствоваться плаванием по видимой поверхности вопроса...

Я говорил и повторяю: «Очистить общество от проституции может только решительная, полная переоценка культурою будущего столь огромной мировой ценности, как женщина. крутой перелом в наших отношениях к ее личности, труду, образованию, праву».

Цитируя мои слова, г. Зеньковский признает, что с ними «вряд ли кто не согласится, — вряд ли не согласятся и те, неприятные для г. Икса, люди, которые так энергично борются с проституцией».

Откуда взял г. Зеньковский уверенность, будто мне неприятны люди, которые энергично борются с проституцией, и за что он бросает в меня этою оскорбительною фразою, — оставляю на его совести. Не в том дело. Главное, «вряд ли кто не согласится». Что касается аболиционистов, то, конечно, они, как более и ближе знакомые с условиями проституционного мира, даже не «вряд ли», а прямо-таки должны согласиться прежде всех других. Но тут-то и обличается мое коварство. Я сказал очень хорошо, по аттестации г. Зеньковского. Но, — это, господа, будет уже не мое, а г. Зеньковского «но»: «Обратите внимание на его (т.е. мои) слова: «решительная, полная переоценка», «крутой перелом». Так как ясно, что этот крутой перелом и решительная переоценка во всем объеме наступят очень и очень нескоро, то, конечно, можно остаться совершенно спокойным и ровно ничего не делать, так как ни единоличными усилиями, никакими конгрессами «крутого перелома» не создать».

Да? в самом деле? Ну на этот раз перевес в оптимизме за мною. Я не имею столь твердой веры в хронологическую устойчивость женского рабства, поддерживаемого буржуазною культурою, и был бы очень несчастлив, если бы мнил историю двадцатого века улитою, которая едет, когда-то будет. Девятнадцатый век пробил в стенах женской Бастилии столько брешей, что час перелома, о котором мы говорим, представляется мне совсем не таким безнадежно далеким, а работа для его ускорения совсем не таким отвлеченным, теоретическим «смотрением в корень», как воображает ее г. Зеньковский, столь благонадежно уповающий на черепаший ход улиты.

Г. Зеньковский относит меня к разряду тех сторонников коренных реформ, которые, признавая целесообразными един-

ственно таковые, спешат в то же время оговориться, что они невозможны. Опять г. Зеньковский приписывает мне, — и еще в кавычках, стало быть как цитату моих точных слов, — идею, которой нет в моей статье. То есть, что единственными целесообразными к излечению проституционной язвы средствами я признаю коренные реформы во всей общественной постановке женского вопроса, — это верно; а вот что я будто бы считаю коренные реформы «невозможными», — это уж г. Зеньковский сочинил от себя. Вся статья моя — наглядное доказательство, что для меня они — не только надежда полной возможности, но и убеждение требовательной и неотложной необходимости. Г. Зеньковский навязывает мне собственную свою мысль. Возвращаю по принадлежности и, признаюсь, без благодарности. В контраст мечтателям о коренных, но невозможных реформах г. Зеньковский восхищается теми, которые думают, что «нужно делать то, что можно делать». У всякого — свой вкус! Спасибо этим добрым и хорошим людям, делающим «что можно», но не хочу терять надежды, что будет открыт Северный полюс, ни многих других «невозможных» надежд. «Можность», предлагаемая г. Зеньковским в мерило вещей и потребностей мира сего, — начало весьма растяжимое, не говоря уже о том, что совершенно субъективное. То, чего нельзя предполагать «можным», не посмотрев или даже опасаясь смотреть в корень, весьма часто оказывается не только можным, но и должным, когда в оный посмотрим попристальнее. И, — да простит мне г. Зеньковский (впрочем, он наговорил мне столько беспричинно неприятных слов и обвинений, что я имел бы право и без извинений применить к нему правило: «долг платежом красен»), — проповедуемая им теория безапелляционной «можности» против зловредного «мечтательства» ужасно напоминает классический кодекс умеренности и аккуратности под торжествующим девизом: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь». Хорош был бы прогресс человеческий, если

бы общество измеряло свои идеалы современною возможностью их осуществления! «Volere — potere» *, — говорит итальянская пословица. И — пусть людей с идеалами «невозможного» называют не только мечтателями, но даже безумцами...

Безумству храбрых поем мы песню!
Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых есть мудрость жизни...

А что касается добрых людей с идеалами «можного», они тоже поступают отлично, очень благородно, делая свое «можное» как умеют наилучше и со всяким тщанием, потому что вреда от того нет, а многим даже, может быть, и существенная польза. Ибо, за неимением гербовой, пишут на простой, и паллиативы далеко не бесполезны. Если, скажем, для примера, в глухой деревне повальный дифтерит, то, разумеется, нет никакого резона оставлять больных вовсе без лечения, покуда не приедет из города врач с противодифтеритною сывороткою. Хорошо делать больным припарки, компрессы, ингаляции бензойным натром, спринцевания известковою водою и многое другое, рекомендуемое «Домашнею медициною» Флоринского. Похвальные труды эти успешно вознаграждаются, когда из сотни больных души две-три возьмут да и поправятся при участии собственной крепкой натуры. Честь и хвала тем, кто поставил их на ноги, — ну а без противодифтеритных прививок эпидемии все-таки не сломить, а без радикальной дезинфекции ее из деревни не выжить.

Г. Зеньковский, заимствуя красивое mot ** у Н.К. Михайловского, находит у меня порок «любви к дальнему вместо любви к ближнему». Собственно говоря, mot это — не Михайловского, а Достоевского, из «Братьев Карамазовых», но

---

* «Желать — это мочь» (*ит.*).
** Словцо (*фр.*).

г. Зеньковский нашел его у Михайловского в самостоятельной разработке и ссылается на Михайловского. Весьма уважая Н.К. Михайловского, я должен, с некоторым стыдом, сознаться, что не помню, в каком своем произведении, как и к какому именно случаю он это эффектное mot применил, а собрания его сочинений, живя в глуши, для справки достать не могу. Поэтому я не в состоянии судить, в том ли смысле повторил он, свой каламбур, как понимает г. Зеньковский. Но думаю, что, должно быть, тут есть недоразумение, — и mot сказано не в том смысле. Апофеоз сужения мысли, чувства и деятельности к пределам «можного» совершенно не в характере знаменитого публициста. В толковании цитаты г. Зеньковским каламбур звучит довольно остро, но нельзя сказать, чтобы метко и мудро. Без любви к дальнему не может быть разумной любви к ближнему. И, вообще, применять к любви линейные меры расстояния от ее предмета — способ довольно двусмысленный и опасный. Ведь прилагательные, как известно, имеют степени сравнения, и если любовь к ближнему (не к евангельскому «ближнему» вообще, а к ближнему, как противопоставлению дальнего) должна торжествовать над любовью к дальнему, то любовь к более близкому, по этой логике, выше любви к просто близкому, а прелестнейшею и самою желанною любовью окажется любовь к ближайшему, т.е. любовь животного инстинкта, семейная интимность и та близорукая сантиментальность, которой в вопросах общественного зла по хорошей русской пословице «из-за деревьев не видать леса». Деятельная любовь слагается из веры в общественный идеал и стремления приблизить к нему явления реальной жизни. Я высказал свой идеал реформы женского вопроса и говорю: осуществите его в реальном явлении, — иначе борьба с проституцией, вами предпринятая, никогда не увенчается решительным успехом. Ложный ли идеал провозглашаю я? Нет: г. Зеньковский соглашается, и едва ли кто не согласится, что истинный... Так в чем

же дело? Откуда негодование г. Зеньковского, что я возглашаю истину — и очень не новую вдобавок? Каким образом моя «дальняя» истина может приглушить его «ближнее» дело, а тем паче отвлечь от него сочувственников и содеятелей, на что именно г. Зеньковский и жалуется? Разве задачи аболиционизма противоречат идее женского равенства? Конечно, нет. По какому же тогда случаю шум и попреки, будто я сыграл в руку каким-то врагам аболиционизма? Напротив: я говорил о деятелях движения в самых почтительных выражениях, которые только г. Зеньковскому почему-то угодно принимать за скрытые насмешки. Между нами вышло в данном случай нечто в роде комического qui pro quo * на провинциальном балу.

Кавалер говорит хорошенькой даме:

— Ольга Ивановна, вы сегодня свежи как роза.

А Ольга Ивановна, глядь, вдруг ни с того ни с сего обиделась, надулась и огрызается:

— Оставьте, пожалуйста, ваши насмешки. Вы думаете, я не понимаю, что вы мне это в шпильку? Довольно даже вам должно быть стыдно.

— Помилуйте! Ей-Богу, от чистого сердца!..

— Да уж, пожалуйста! Знаем мы вас, знаем...

Ей-Богу же, мои комплименты шли от чистого сердца, — о, подозрительная и сердитая аболиционистская роза!

Итак, мой идеал признается истинным, но, по мнению г. Зеньковского, призывать к нему нельзя, потому что его провозглашение каким-то непостижимым образом мешает аболиционистам «делать что можно». Очень это курьезно, что идеал препятствует практической деятельности во имя идеала; но, куда ни шло, допустим такое невероятие. Однако... кто же в таком случае оказывается дурного мнения об аболиционизме? Кто умаляет (чтобы не сказать: уничтожа-

* Одно вместо другого (*лат.*).

ет) его общественное значение? Кто вынимает из-под ног его идейную опору и чрез то сводит роль его к красивому самообману и игре в хорошие чувства? Я или г. Зеньковский? Похоже, что не я...

Бывают средства радикальные. Аболиционистское движение — паллиатив, которым общество пытается подлечить свою проституционную язву. И отлично. Пусть подлечивает сколько может: все, что оно сделает, пойдет, конечно, на плюс, а не на минус. Никто и не сомневается, что «аболиционизм сражается не с ветряными мельницами, когда собирает конгрессы, учреждает общества, издает брошюры и книги, создает течение». Прекрасно, прекрасно. Покуда нет радикального средства, пусть общество лечится от проституции паллиативами конгрессов, брошюр, книг и «течения». Чем больше паллиативов будет найдено и применено к делу, тем лучше для человечества. Но странно успокаиваться совестью на лечении дифтерита бензойным натром, зная, что существует противодифтеритная сыворотка; или лечить укушенного бешеною собакою прижиганиями вместо Пастеровых прививок. И решительно не могу уяснить себе, почему так гневается на меня г. Зеньковский, когда я, отдавая должное бензойному натру и прижиганиям, позволяю себе мечтать о противодифтеритной сыворотке и Пастеровых прививках.

Общество больно проституцией. Аболиционизм — наша первая домашняя помощь при наиболее острых и явных припадках болезни. Этой роли у него никто не отнимает, да, кажется, никто и не думал и не думает отнимать. Г. Зеньковский намекает, что против аболиционистов действуют какие-то реакционные силы, равно как реакционная печать. Находясь далеко от центров, я не знаю, как относилась реакционная печать к движению аболиционизма в последнее время, но не помню, чтобы ранее она враждовала с ним остро и резко. Напротив: в то время как положительно прогрессивные шаги русского века, вроде пересмотра законодатель-

ства о внебрачных детях либо публицистической агитации за свободу развода, были встречаемы реакционною печатью криками ярого гнева или злобным шипением, аболиционистам неоднократно расточались ею даже кисло-сладкие комплименты, а многие уже совсем не либеральные силы охотно принимали участие в молодых начинаниях аболиционизма и даже брали их под свое руководство и покровительство. И это симптом не из лестных, — особенно при той лютой вражде, которую проявляет реакционная печать к женскому образованию, к женскому труду, к расширению женской гражданской и семейной правоспособности, т.е. ко всем положительным и общим орудиям женского прогресса и освобождения. Симптом этот доказывает, что реакционные силы не видят в аболиционизме, с его специально-запретительною и узко-ограниченною деятельностью, серьезного врага и даже охотно поддерживают легкое возбуждение им, как бы давая тем некоторую идейную взятку общественной энергии, ищущей себе исхода. Г. Зеньковский произвел меня в тайные реакционеры за то, что, проповедуя общую и коренную реформу женского вопроса, я мешаю будто бы частичным успехам аболиционизма. Есть другая, гораздо более частая и успешная уловка реакции. Когда назревает в обществе слишком крупный и нежелательный реакции вопрос, — его спешат разменять с рублей на гривенники, т.е. общественное внимание стараются рассеять, отвлекая его от огромной «дальней» сути вопроса к второстепенным «ближним» частностям, от «невозможных» корней к красивым ветвям со столь симпатичным для г. Зеньковского девизом «что можно»... Маленьких «можностей» открывается целая куча, и из-за деревьев становится не видать леса. В самом скором времени огромная суть вопроса оказывается искусственно загроможденною множеством декоративных частностей, из которых ни одна не в состоянии подвинуть вопрос к разрешению, а между тем каждая как будто свидетельствует, что вопрос

не умер, что ему дано жить и развиваться. Помилуйте, мол! Как же вы жалуетесь, будто прогресс бездействует? Неужели вы не слышите, как он топочет ногами? А топочет-то он, стоя на одном месте, и плачевнее всего то, что, топоча, доходит иногда и сам до лестного самообмана, будто и впрямь идет вперед «как можно». Хотя опять-таки «долг платежом красен», однако я не позволю себе обзывать реакционерами поклонников мнимо-прогрессивного топания на месте. Но сознаюсь, что не могу без улыбки наблюдать, как дешево стоящая идейная взятка может довести российского интеллигента до умиленного состояния, в котором он бессознательно лобызается с природными своими врагами и рад хоть на ножи против скептиков, не желающих делить его восторгов.

На месте г. Зеньковского я не отчаивался бы так в скорой достижимости коренных реформ, которыми должна уничтожиться экономическая проституция. «Невозможное» часто оказывается ближе и прекраснее самых пылких «возможных» чаяний. Тысячи либеральных людей в сороковых и пятидесятых годах, стоя на почве «возможных» ожиданий, приискивали паллиативы для упорядочения отношений между крепостными крестьянами и помещиками-душевладельцами. Многие из паллиативов были полезны, остроумны и красивы, как полезен и красив аболиционизм, вдохновляющий г. Зеньковского. И много горьких жалоб со стороны этих искренно-либеральных, но чересчур уже умеренно-аккуратных искателей паллиативов вызывали крайне немногочисленные охотники «смотреть в корень», находившие единственным, разумным и действительным выходом из вековых исторических зол рабовладельческого вопроса «невозможную» реформу освобождения крестьян с землей. А между тем кремлевская речь царя-Освободителя и манифест 19 февраля 1861 года были уже куда как не за горами. Какой московит в конце семнадцатого века предвидел Петербург и полную перестройку старого государства? Когда вопросы созрева-

ют и времена их исполняются, они заставляют общество давать ответы прямые, быстрые, решительные. А разве мы не чувствуем, что женский вопрос назревает не по дням, а по часам? Разве устроить для женщины точные и более выгодные трудовые нормы не становится неугомонною, крикливою необходимостью, столь же важною для мужчин, как и для самих женщин? Быстрое вздорожание культурной жизни во всех странах европейской цивилизации неуклонно ведет к банкротству современного семейного мужевластительства. Одних мужских сил делается уже недостаточно, чтобы оправдывать семейный расход; подспорье женского труда, жена- и мать-добычница сейчас уже настойчиво желательны, вскоре будут необходимы. А раз труд женщины станет необходимым и для мужчин (как подспорье, без которого нельзя жить в довольстве), то придется нормировать его такими условиями, чтобы он окупал себя наравне с мужским: иначе какой расчет женщине ему отдаваться? И, как скоро нормы женского труда сравняются с нормами мужского, женщине не станет нужды себя продавать, и экономической проституции — конец и вечная память.

Г. Зеньковский уверяет, будто в качестве мечтателя о коренных реформах я оказываю «своими красноречивыми строками громадную услугу всем тем силам, для которых движение аболиционистов угрожало смертью». Увы, г. Зеньковский! Аболиционизм в тех формах и рамках, как вы его понимаете, с девизом «что можно», решительно никаким темным силам смерти нанести не в состоянии. При всей своей симпатичности, он слишком ограничен и в компетенции, и в средствах действия. Спасибо ему и за то уже, если ему удается иной раз временно парализовать вредное влияние некоторых темных сил на некоторые (хотя бы и считаемые в тысячах, как уверяет г. Зеньковский) жертвы, избранные, счастливым случаем, чтобы привлечь внимание аболиционистской полиции. Спасибо аболиционизму уже и за то, если ему удастся сде-

лать известные гражданские и уголовные неприятности нескольким (хотя бы считаемым в десятках и сотнях) представителям темных сил, которые окажутся настолько наглы или неловки, что не успеют скрыть своих грязных и жестоких дел от бдительности аболиционистской полиции. Рогатый силлогизм о том, сколько надо снять волос с головы человека, чтобы его было можно считать плешивым, становится еще рогатее, когда приходится приложить его мерку к буйно-косматой и тучно обрастающей голове спроса на разврат. Внешние, рознично-количественные успехи в борьбе со злом если и бывали иногда решением вопроса, то столь медленным, что и хронологическое терпение г. Зеньковского, пожалуй, устанет ожидать. Обилие волков было очень острым злом в средневековой Европе. Англичанам удалось истребить волков на своем острове, волчьего вопроса в Англии не существует более. Но чтобы погиб последний британский волк, Англии надо было ждать от Альфреда Великого до королевы Виктории...

Выше я употребил выражение «аболиционистская полиция», потому что аболиционистское движение как полезная попытка массовой самообороны от злоупотреблений полового торга есть, конечно, прежде всего приглашение обществу превратиться в полицию нравов для самого себя. Это — нечто вроде общественного самоуправления в применении к одной из вреднейших и прочнейших сторон социального строя. Цель прекрасная, истинно «ближне» практическая и чреватая многими благими последствиями частного, розничного характера. Я вполне понимаю, почему множество добрых и честных людей бросились к ней с пылким энтузиазмом: хорошо это с их стороны, что бросились, и дай Бог, чтобы они нашли себе многих подражателей и продолжателей. Труд их полезен и достоин благодарности. Но было бы жестокою, до мании величия, ошибкою воображать себя при работе в условиях аболиционистской программы, а тем более с подчинением

девизу «что можно», радикальными целителями проституционного недуга. Прекрасно удержать девушку от проституции; прекрасно возродить падшую женщину к честной жизни, прекрасно истребить торговца живым товаром; прекрасно отменить регистрацию проституток с ее живодерными нравами и последствиями; прекрасно переработать к лучшему общую регламентацию злополучного института; прекрасны сотни проектов, — как я писал уже, часто получающих осуществление, — вызванных аболиционистским движением. Но все эти меры — самодовлеющие, живущие в самих себе. Они создают нравственные удобства настоящего, а не свободу будущего. Они не прекращают проституции, но упорядочивают ее внешние проявления так, чтобы гнусным зрелищем и запахом своим она не оскорбляла щекотливой морали и не раздражала впечатлительных нервов буржуазного общества, потребностями которого и для потребностей которого она живет. Это — санитарно-полицейское оздоровление института применительно к наиудобнейшему, наиприличнейшему и наигуманнейшему оным пользованию, а отнюдь не уничтожение женского белого рабства. И вся эта общественная работа — для себя, на нас самих, каковы мы сейчас, на общественный строй с подавляющим преобладанием мужского права, интереса и первенства. Для женщины же мы не делаем в ней почти что ничего, так как причин, толкающих ее в самопродажу, не уничтожаем, а иногда, как оказывается, даже и негодуем на дерзающих мечтать об уничтожении причин, потому что таковое-де — «невозможная коренная реформа». А покуда существует причина, будет неукоснительно проявляться и следствие.

Если в стране голод, никакие меры надзора и пресечения не могут воспрепятствовать развитию в ней добывающих пороков и преступлений. Удержать быстро падающую нравственность края можно тогда только энергичною хлебною, денежною, трудовою помощью, т.е. накормив народ. В той

стране, которая имеет больше безработного и голодающего люда, больше и голодных пороков. Сословия, экономически обездоленные и приниженные, осуждены давать процент добывающей преступности больший, чем сословия, материально обеспеченные.

«Женское сословие» — называют женщин шуточною кличкою русские мужики, купцы, мещане. В этой народной остроте много невольно сказавшейся правды... Женщины в современном обществе действительно уже не только второй пол разных сословий, но именно самостоятельное назревающее экономически, отдельное новое сословие. Это «пятое сословие» слишком обделено благоденствием всюду, а уж у нас на Руси в особенности. Оно бывает сыто лишь любовною милостью или семейною обязанностью мужских сословий. Само по себе бесправное, оно предано нужде и, следовательно, обречено выделять проституционный контингент, в форме ли скитаний Сони Мармеладовой по Невскому проспекту, в форме ли законного супружества Марьи Андреевны с Максимом Беневоленским. Г. Зеньковский распространяется о противодействии проституционному наплыву течениями религиозной, нравственной и умственной жизни. Все это очень хорошие воздействия до тех пор, покуда аболиционизм работает в розницу, по частным случаям, но совершенно невлиятельные, как скоро аболиционистская партизанская война из частной борьбы за таких-то и таких-то проституток превращается в общую борьбу против проституции. Г. Зеньковский считает меня ярым фанатиком экономической веры, не желающим, глядя из-за ее катехизиса, как из-за каменной стены, признавать серьезными психологические и социальные надстройки нашего быта и важность их для проституционного вопроса. И это г. Зеньковский от себя на меня взводит. В силу боковых течений сказанного порядка и во влияние «надстроек» я верю настолько, что в моей же статье г. Зеньковский может найти мнение, что если бы честный труд да-

вал женщине хоть одну треть того заработка, который дает проституция, то дело последней было бы уже надломлено. «Надстройки», о которых говорит г. Зеньковский, достаточно сильны, чтобы удержать на честном пути женщину, зарабатывающую рубль, от перехода на путь позорный, хотя бы он сулил заработок в три рубля. Но когда путь позорный сулит, как ему свойственно, три рубля, а путь честный едва вознаграждается черствым хлебом, тут влияние «надстроек» совершенно парализуется несоответствием общественной морали с действительностью, и, на мой взгляд, даже прибегать-то к нему не всегда великодушно, потому что — сперва накормите, а потом уже и проповедуйте, учительствуйте. Заповедь заботиться не об едином хлебе огромно велика, но заповеди сидеть без хлеба никогда не было дано.

Русский мужик Бондарев, сочинивший замечательную книгу о земледельческом труде, изданную только во французском переводе («Le Travail» *) предлагает своему читателю:

— Если ты собираешься критиковать мою книгу, обещай мне, что сперва не будешь есть три дня.

Этот своеобразный прием подготовки к критике вопроса о хлебе насущном, пожалуй, годится и для писателей о женском вопросе, старающихся умалить в проституционном недуге значение экономического фактора и уповающих побороть проституцию «чем можно», порицая мечтателей о невозможных коренных реформах.

Вот и все, — хотя довольно длинное все, — что я должен был изъяснить по существу замечаний г. Зеньковского. Pro domo sua ** говорить не буду. Совершенно излишние в идейной полемике патетические грубости г. Зеньковского меня не трогают. Упрек в сочувствии реакционерам, как попавший уже чересчур не по адресу, доставил мне несколько ве-

* «Труд» (*фр.*).

** В защиту себя (*лат.*).

селых минут. Да! между прочим, г. Зеньковский называет мой фельетон «очень умным, но глубоко его возмутившим». Вот уж этого противопоставления я никак не могу себе уяснить. Если фельетон «очень умен», то чем же в нем глубоко возмущаться? Если он глубоко возмутителен, то как же он может быть «очень умным»? Что-нибудь одно. А то странно как-то: истинный идеал мой г. Зеньковский воспрещает провозглашать, а «очень умные» слова мои его возмущают... Что за «Великий Инквизитор» такой, желающий осчастливить человечество, закрывая ему глаза на правду и доводы рассудка?

Еще отмечу негодующие восклицания почтенного оппонента: «Неужели г. Икс не понимает, кому в руку он играет? Неужели г. Икс не понимает, с кем в один голос он поет?»

Я никому не играю в руку, потому что не привык играть вопросами общественной важности вовсе — ни один, ни с партнерами. Я ни с кем не пою в один голос, потому что я — не хорист и пою свою партию solo, сам от себя. А кто, слыша меня, хоть и будет мне подпевать, это меня не касается, и мне решительно безразлично, если только припев не испортит моей песни. Во всяком случае, это будут люди, которые не боятся истины и ее слова. Важна же только истина, а не люди и их клички. Сила в своем, свободно и логически выработанном мнении, а не в хоровых символах.

Слышал я старого сойотского шамана. Долго он пел и причитал, тряся своим разрисованным бубном. И когда я попросил знакомого инородца перевести мне смысл песни, — вот что, оказалось, пел шаман:

— Я стою один на высоком холме и пою в снежную степь свою громкую песню. Меня слышит пустыня, я не слышу никого. Слова мои замерзают в воздухе, потому что стоит жестокая зима. Когда наступит лето, они растают, разольются с холма шумными ручьями, и пустыня ответит им...

Хорошо думал и пел старый сойотский шаман. С удовольствием принимаю песню его своим девизом...

1903

IV

*(Г. А – ту *) в «Нов. времени»)*

М. Г.!

Прочитал я ваш фельетон «Понемногу о многом», а в нем отделы «Белые невольницы» и «Правда ли это?» со следующими строками по моему адресу:

«Нашелся какой-то очень красноречивый Икс (побоялся выступить без забрала, несчастный!), который дерзнул сказать, что белые невольницы попадают в неволю не по роковому предназначению, а потому, что это выгодно женщине в экономическом отношении. Конечно, такая дерзость безнаказанной пройти не могла, и явились горячие протестанты, предавшие Икса растерзанию по всем правилам благонамеренных прописей и чувствительной филантропии».

«Увы! Икс струсил и пошел на компромиссы и стал каяться и божиться, что он и не думал нападать и оскорблять белых невольниц, но что он хотел только подчеркнуть как можно резче, что все приюты, создаваемые для реабилитации и спасения кающихся Магдалин, суть паллиативы и что, пока женщин не сравнять вполне в правах с мужчинами на экономическом ристалище труда и заработка, до тех пор проституция неизбежна, так как, несомненно, женщине она выгодна как профессия».

«Ах, как я огорчился такому выпаду несомненно умного, но, вероятно, еще несомненнее, трусливого человека! И ты,

*) Владимир Карлович Петерсен. Скончался в 1904 году.

благородный Брут, за уравнение прав? И вы за нечто невыполнимое и немыслимое? — думал я, стараясь в то же время выяснить себе экономическое неравенство трудящихся мужчин и женщин. Ведь сколько об этом неравенстве сказано жалких слов — и перечислить немыслимо!.. »

Чувствительнейше благодаря за комплименты моему уму, я должен, однако, заметить, что статьи мои о борьбе с проституцией вы прочитали, вероятно, из пятого в десятое, потому что приписываете мне мысли, которых я не имел, и поступки, которых не совершал. А именно:

1. По вашему мнению, я «дерзнул сказать, что белые невольницы попадают в неволю не по роковому предназначению, а потому, что это выгодно».

Не знаю, что вы хотите выразить словами «роковое предназначение», в качестве противоположения «выгоде». Моя мысль была такова: в деспотически мужском строе современного общества женщина — бесправная и дурно оплаченная работница, в которой наивысшую цену имеет ее пол; поэтому, покуда строй мужского преобладания будет управлять обществом, женщине выгоднее промышлять своим полом, чем иным трудом: поэтому в современной цивилизации торговля полом есть именно роковое предназначение женщины, от которого честному, самостоятельному труду удается отбивать для себя только натуры выдающиеся — героинь и мучениц; масса обречена кормиться своим полом — в форме ли брака, в форме ли проституции, за милость мужчины... Торговля собою — единственный настояще выгодный промысел, оставленный женщинам мужскою опекою. Какого же вам еще рокового предназначения угодно?

2. «Икс струсил и пошел на компромиссы и стал каяться и божиться, что он и не думал нападать и оскорблять белых невольниц» и т.д.

Я не мог ни в чем подобном каяться — тем паче с божбою, — прежде всего потому уже, что из оппонентов моих,

мне известных, никто меня в этом не обвинял, да, полагаю, и не мог обвинить, потому что тезисы мои, быть может, неприятны для мужского самолюбия и лицемерия, а уж никак не для женщин, которых эти милые силы нашей культуры держат в физическом и нравственном рабстве, вяжут по рукам и по ногам. Я же зову женщину к свободе, к равноправию с мужчиною. Равенство полов во всех правах и отношениях общественных определит новую культурную эру, о которой взывает наша дряхлеющая цивилизация. А зарею такого равенства является для меня все более и более нарастающая потребность в экономическом уравнении женщин и мужчин.

3. Да, я — за уравнение прав, что отнюдь не значит — «за нечто невыполнимое и немыслимое». О невыполнимости и немыслимости я уже достаточно сказал, отвечая г. Зеньковскому на его теорию «можности». Есть слово:

— Необходимость.

И... где оно раздается, там нечего говорить о можном и неможном, о выполнимом и невыполнимом, о мыслимом и немыслимом. Необходимо, — и должно быть. Вопрос о равенстве общественных прав мужчины и женщины уже близок к этой принудительной грани.

4. В качестве «человека несомненно умного, но еще несомненнее трусливого» я спрошу г. А – та, как человека несомненно храброго:

— Потребность в женском добычливом труде нарастает для общества с каждым днем. Семья уже не в силах кормиться заработком одного мужчины. Вы признаете, что наивыгоднейший способ заработать деньги для женщины — проституция. Предположим, что так. Какую же будущность готовят обществу эти положения?

Полагаю, что, когда потребность в женском труде насущно необходима, а способов к удовлетворению потребности нет, могут быть предложены только два исхода:

или широкое изыскание новых форм и областей женского труда, которое завершится полным равенством его с мужским;

или признание существующих способов правомерными и согласными с нравственностью общества.

То есть, попросту говоря, либо надо дать женщине выгодный выход из области полового труда во все остальные трудовые сферы, либо признать половой труд, т.е. проституцию, законным, честным, нравственным, равным всякому другому.

Первый выбор — мой. Второй неминуемо вытекает из рассуждений г. А – та о неисполнимости и немыслимости коренной реформы женского вопроса. Полюсы женского будущего: или равноправие с мужчиною, или общественное торжество проституции. И... как бы ни поддразнивал меня г. А – т трусостью, я сознаюсь откровенно, что не имею достаточно храбрости, чтобы утешаться второю перспективою, как социальным идеалом. Belle, oneste e atimatissime cortigiane di Venezia («прекрасные, благородные и высокопочтенные венецианские проститутки») очень хороши на картинах Бордоне, Тициана, Веронезе, но сомневаюсь, чтобы и г. А – т желал видеть этот почетный класс воскреснувшим к жизни.

Г. А – т, сомневаясь в малоценности женского труда, приводит в пример высокие заработки певиц, актрис, талантливых художниц, модисток и мамок.

На это я отвечу:

а) доказывать, что женщинам хорошо и заработно живется, именами Самокиш-Судковской, Бем, М. Фигнер, Дузе, Сары Бернар, Савиной столько же логично, как если бы я стал, напр<имер>, делать выводы о зажиточности русского мужика по состояниям Кокорева, Губонина, а о степени его развития по гению Ломоносова, по талантам Кольцова, Никитина, Сурикова. Гений не имеет пола, большой талант также. Женщины, названные г. А – том — «выдающиеся»:

они возвысились в дарованиях своих одинаково над мужскою и женскою массою. Удача исключительной личности не может быть мерилом благополучия общественной единицы. Впрочем, за развитием этой части моего возражения я попрошу г. А – та обратиться к «Послесловию» моего публицистического романа «Виктория Павловна»: там оно изложено подробно;

б) в этом же романе г. А – т найдет главу о доходности женского сценического труда, о соотношении в нем заработной платы с расходами производства и т.д. Здесь же я отмечу только, что женский сценический труд — очень недавнее завоевание женской эмансипации: ему всего 150—200 лет... Притом лишь весьма немного лет тому назад, — у нас, в России, пожалуй, нет еще и полувека, — труд актрисы и певицы очистился от *обязательной* проституционной примеси. Этому геройскому завоеванию женской эмансипации гг. мужчины покорились не с большею радостью, чем, напр<имер>, крепостники — освобождению крестьян. И процесс этого завоевания до сих пор нельзя считать совершенно законченным, что доказывается закулисным обилием негласной и привилегированной проституции добровольной. В обществе, обладающем столь поучительною пьесою, как «Таланты и поклонники», актриса — честная труженица только для лучших мужчин его, для Мелузовых; для массы она — добыча, приманка, соблазнительная кандидатка в половой разврат;

в) оставляя в стороне сценический труд исключительно талантливых, успевших стать вне пола величин, рассматривая условия его для средней работницы, надо опять-таки с грустью отметить, что доходность сцены для женщины растет постольку, поскольку амплуа ее соприкасается с половыми особенностями. Г. А – т взял в пример огромного заработка г-жу Вяльцеву: как певица эта сценическая деятельница — совершенное ничтожество, но она, как никто, умеет действовать голосом и интонациями своими на чувственность публики; это — талант

половой, и успех его половой. Здесь огромные суммы платятся не за вдохновение, труд и искусство, а за упразднение, так сказать, вокального стыда. То же самое Отеро, Кавальери e tutte quante *. Насколько публика предпочитает половые сценические впечатления чистому искусству, насколько в актрисе женщина милее ей, чем талант, разительное и трагическое доказательство явил Петербург осенью 1902 года, в отвратительной истории самоубийства антрепренера Морева из-за нарушившей контракт Кавальери. Труппа, собранная из лучших артистов Европы, не могла утешить публику в потере наслаждения видеть очень красивую женщину с ореолом скандала вокруг головы, с тенью кафешантана за спиною. Толпа «плевать хотела» на Маркони, Баттистини, Боронат и требовала деньги назад **. Антрепренер прогорел и застрелился... А история русской драмы, которую 25 лет держала в черном теле оперетка, покуда полового владычества последней не сломил уже совсем откровенно половой кафешантан? Сейчас Мельпомена как будто возрождается. Но в преуспеянии ее тоже приходится поставить немалую долю на счет тому новшеству, что строгая богиня очень смягчила свой былой пуризм, и о платонической любви декламирует ныне «Принцесса Греза» с разрезом платья, как у «Прекрасной Елены»; учить супружеской верности приходит «Монна Ванна», в чем мать родила; целомудрие проповедуют «Рабыни веселья», а семейное начало читает публике проститутка «Заза»;

г) труд мамки есть чисто половая функция, взятая внаймы. О нем не к чему и упоминать в числе доходностей женского самостоятельного труда. Менее противный, а потому и более благосклонно принимаемый обществом труд мамки, по существу своему, — такая же социальная болезнь, как и проституция, и, подобно ей, также представляет собою «торговлю полом»;

---

* И прочие, и прочие (*ит.*).

** Сравните ниже этюд «О девице Торс и господах Кувшинниковых».

д) труд модистки имеет хорошую цену только тогда, когда ставит конечною целью половое украшение женщины. Маши, шьющие женскую одежду, зарабатывают 30—50 копеек в день. Бешеные деньги платятся работницам не одежд, но туалетов, доводящих мужские умы до восторга. Таким образом, ценность труда модистки исходит из полового же источника, и опять-таки растет постольку, поскольку модистка содействует половому успеху:

Не оденешься лучше камелий
И богаче французских актрис.

е) г. А – т обмолвился дивною характеристикою женского труда в фразе: «Кухарки, в самом деле за повара, оплачиваются выше плохих поваров». Совершенно верно. Нельзя быть более метким и правдивым! Но г. А – т вряд ли когда-нибудь видал, чтобы «кухарка в самом деле за повара» оплачивалась, как в самом деле повар. То же самое, — прошу дам не обижаться на сравнение, — надо сказать и о беллетристках, художницах, переводчицах; очень хорошие из них удостаиваются цениться наравне с очень плохими беллетристами, художниками, переводчиками или даже немного выше. Прекрасная работница стоит в одной цене с никуда не годным работником: это справедливо! По мнению г. А – та, это — благополучная постановка женского вопроса?!

Одна фраза в статье г. А – та очень неприятно меня удивила и даже покоробила. Это — упрек за подпись псевдонимом: «Побоялся выступить без забрала, несчастный!» Знаете ли, счастливый без забрала, — старому литератору, к тому же также пишущему под псевдонимом, допускать такие восклицания как будто и неловко бы. Проработав в журналистике чуть не четверть века, пора бы знать, что автор часто «опускает забрало» не потому, что «боится». Иногда забрало столько же приятно опускать, как надевать железную маску...

1903

V

В «Новом времени» (№ от 30 апреля 1903 года) я нашел фельетон г. А – та, отвечающий на мое возражение.

Г. А – т подвергает критике мое положение, что необходимое возможно. «Чтобы спасти женщин от белого невольничества, необходимо сравнять их экономически с мужчинами, а если необходимо, то это и возможно». Разбивая мою счастливую идиллию по механическим законам спроса и предложения, г. А – т оставляет женщине только две деятельности, в коих она необходима и незаменима: рожать детей и кормить их грудью. То есть — признает женщину существом исключительно и фатально половым, что я и выяснял о г. А – те в возражении своем, изобличая присутствие полового элемента во всех женских профессиях, выставленных г. А – том в пример успешных и хорошо оплаченных.

Затем: «Необходимо сравнять женщин экономически с мужчинами». При такой форме императива, г. А – т, стоящий на мужской точке зрения, пожалуй, остался бы прав, сомневаясь в необходимости, мною утверждаемой. Потому что необходимо не *сравнять женщин*, но необходимо равенство женщин с мужчинами, которое будет достигнуто, конечно, не столько потребностью мужчин сравнять с собою женщин, сколько стремлением женщин сравняться с мужчинами. Я говорю не о равенстве, которое дадут мужчины, а о равенстве, которое возьмут женщины. Полагаю, что оттенок ясен, и он совершенно меняет дело.

Слово «необходимость» подразумевает вопрос: для кого? Отрицая необходимость женского равенства в современном обществе, г. А – т, — повторяю, — по-своему, по сурово, узкомужскому, прав, потому что современный строй общества — мужевладычный, и, в соображении специально мужских интересов, экономическое равенство женщины — не выигрыш, что г. А – т, со свойственною ему прямотою, и отмечает. Сейчас

повелительная необходимость равенства громко говорит о себе лишь очень немногим из мужчин, охочим пытливо заглядывать в будущее. Но *равенство уже необходимо женщинам*, и женщины развивают движение к нему. А развитие движения, толкуя смысл и укрепляя практику равенства, сделает его мало-помалу сперва выгодным, а потом необходимым уже и для мужчин. Женский вопрос переживает в этом направлении ту же эволюцию, что пережил и переживает еще вопрос рабочий, который за XIX век перестроил социальную систему Европы. Давно ли рабочий вопрос почитался злейшим врагом и разрушителем государственности? А теперь государства ищут заключить с ним союз, стараются нормировать ход его под своим знаменем, предлагают ему опору и просят у него опоры для себя. Родился «государственный социализм», доктрина коего, иногда не без успеха, пытается сочетать, казалось бы, несочетаемое. А совершилось это потому, что необходимости рабочей силы расширились в необходимости обществ, построенных на взаимоотношениях хозяев с рабочими, и, проникая в закон и обычай, медленно, но последовательно и упорно преобразили культурный уклад. И творятся подобные реформы-самоцветы именно «действием одного только чистомеханического закона спроса и предложения», который признает г. А – т, без примеси нравственных соображений, которые он, по девизу «les affaires sont les affaires» *, из рассуждений о женском труде удаляет.

Что касается необходимости для женщины в мужском труде и в мужских размерах заработной платы, я, хотя и не люблю отступать от общих доказательств логического построения к частным примерам, позволяю себе на этот раз, краткости ради, указать г. А – ту на одно весьма достопримечательное, хотя и мало замеченное, явление современной русской жизни. В течение одного 1902 года газетная хроника

* «Дела есть дела» (*фр.*).

огласила несколько судебных дел о трудящихся женщинах, живших по мужским паспортам либо вообще выдававших себя за мужчин с целью получать мужской заработок, пока случай не разрушал их невинного обмана и не возвращал их на бабье положение. Один из этих курьезных процессов возник потому, что баба-рабочий осмелела в самозванстве до решимости «жениться». А жениться надо было затем, чтобы избавить товарку-односелку от мужских приставаний. Под Киевом железнодорожный сторож оказался — давно уже пропавшею без вести, напрасно разыскиваемою... гимназисткою!

Г. А – т энергически восстает против мужчин, живущих за счет женского труда, тем паче полового: сутенеров, альфонсов и т.д. Нечего и говорить, как справедливо его негодование. Но вряд ли законны его обобщения, из негодования истекающие:

— Как позорен тот муж, у которого жене приходится искать отхожих промыслов, конечно, при наличности детской семьи! Как позорно то общество, где женщина обречена на труд поденщиц!

Первое восклицание попадает совершенно незаслуженным плевком, прежде всего в огромную часть русского крестьянства и мещанства, в которых сотни тысяч женщин осуждены на поиски отхожих промыслов вовсе не по лодырничеству мужей, а потому, что только совместный заработок мужа и жены окупает, с грехом пополам, цену жизни и позволяет вырастить новое поколение, хотя бы и на хлебной соске. Поднимаясь в область трудящейся интеллигенции, предлагаю г. А – ту вспомнить очерк Салтыкова о супругах Чемезовых, лучшее изображение столичной четы мучеников белого труда, какое мне известно в русской литературе. Не думаю, чтобы у кого-либо поднялась рука бросить камень в Чемезова, как в «позорного мужа», хотя супруга этого бедняги — в тяжком отхожем промысле с утра до вечера. А Чемезовы не

единичный случай, но тип, и притом наиболее распространенный.

Второе восклицание я изменил бы таким образом:

— Как позорно то общество, где женщина обречена на труд поденщика за плату поденщицы!

В том, что женщина трудится, хотя бы и поденщицею, нет ничего позорного ни для нее самой, ни для общества, в котором она живет. А вот, что общество, управляемое мужским строем, норовит воспользоваться женским трудом как можно более на даровщинку, — это действительно чрезвычайно позорно. И напрасно г. А – т старается уверить читателя, будто «говорить и работать в этом направлении (к поднятию женской заработной платы), право, не стоит». Всякий, кто платит за труд одинакового достоинства женщине меньше, чем мужчине, тем самым отбивает ее от труда, закрепляет ее половой силе и является бессознательным, неумышленным, но все-таки подстрекателем к проституции. Если хозяин хорошо платит женской прислуге и не мучит ее чрезмерною работою, он — уже борец против проституции, хотя бы не состоял членом ни в каком аболиционистском кружке. Если хозяин платит дурно, а работы требует каторжной, он толкает служанку в проституцию, он фактор проституции, хотя бы имя его значилось в списках всех обществ предупреждения, охранения, спасения, возрождения и возвращения. Всякий, не пустословно сантиментальничающий, но намеревающийся искренно и последовательно свое дело делать, союз аболиционистов должен, по-моему, начинаться круговою порукою, что участники союза будут оплачивать труд женщин, работающих у них или для них, не по дешевизне «женского сословия», но по соответственным ценам мужского рынка.

По мнению г. А – та, нет вопроса женского или мужского, но есть вопрос детский и материнский. Это — очень эффектный удар меча по гордиеву узлу, но, к сожалению, узлы ли ныне вяжутся из более жестких ремней, меч ли худо отто-

чен, — только узел остался неразрубленным. «Параллельно с торжеством феминизма, — жалуется г. А – т, — число бросаемых младенцев доходит до степеней поразительных; абортная практика врачей совершенствуется; есть уже умы, предлагающие кастрацию, ради уменьшения порочного и лишнего человечества. Сутенерство... и т.д.». Я не улавливаю связи, почему все эти прелести сопоставляются г. А – том с торжеством феминизма (да и где оно, это торжество?), но думаю, что к сужению женского вопроса в детский и материнский они отнюдь не располагают. Число бросаемых младенцев и аборты стоят в прямой зависимости от экономических причин, железную силу коих так основательно уважает г. А – т. Достаточно заглянуть в отчеты воспитательных домов, чтобы видеть, в какой строгой последовательности по недородным годам, когда дорожает хлеб, падает «предложение» материнского самоотвержения, к которому обращается г. А – т, и растет «спрос» на воспитательный дом. Лучшее средство обеспечить ребенку благополучное возрастание — это дать его матери свободный и доходный труд. Положение внебрачных детей в русском народе плачевно всюду, за исключением тех немногих уголков нашего отечества, где женская самостоятельность гарантирована необходимостью для мужчин-промышленников бабьей рабочей помощи: у Белого моря, на Урале, на Дону, на Кубани, в Кимрах. Экономическая необходимость и трудовое равноправие женщины очень легко разрешают вопрос о «внебрачных, естественных или пусть хотя бы святых (?) детях», — как выражается г. А – т, остря в этих эпитетах, сказать правду, довольно-таки странно. Поморка-артельщица, которую мужики приглашают на сходки, как равноправного товарища, сама добычница, не зависимая от мужских рук в прокорме себя и своего дитяти, ничуть не конфузится внебрачного ребенка: «*Мой* «парень». И детство девкина, внебрачного парня не умаляется в обычных правах, сравнительно с ее брачными парнями от законного супру-

жества. Там, где полы общественно равны, деление детей на брачных и внебрачных естественно сводится на нет. В пример крушения феминистической гордости, г. А – т напоминает мне, что Виктория Павловна в моем романе была горько наказана за уклонение от материнских обязанностей к своему внебрачному ребенку. Г. А – т забывает, что при условии общественного равноправия полов Виктория Павловна не имела бы и причин уклоняться от своего ребенка.

Что касается альфонсизма или сутенерства, в каких бы формах они ни скрывались — грубых или изящных, низменных или великосветских, то, конечно, тут феминизм уже ровно не при чем. Сутенер — прямой и естественный враг женской свободы, и развитие феминизма должно уничтожить сутенерство не только, как отвратительное явление общественной безнравственности, но и просто как чужеядный вид экономической эксплуатации, протягивающей жадную лапу даже к единственной при современных условиях доходной статье женского труда — к полу. Я убежден, что труженицам женского освобождения нестрашно принять вызов на подвиг, за цену которого г. А – т согласен приветствовать торжество феминизма:

— Чтобы дрянным душонкам, позорящим человеческое имя пошлякам и тунеядцам женщиною сильной и властной был положен тот самый категорический и достойный трутней конец, который мы воочию наблюдаем в пчелиных ульях.

VI

Молодо и живо написанная статья г. Владимира Ж. о проституции в «Руси» вызвала толки и подверглась разностороннему обсуждению в печати. Мне лично статья эта очень нравится, во-первых, своим смелым тоном и прямолинейною откровенностью, а во-вторых, основательным взглядом г. Владимира Ж. на вопрос «борьбы с проституцией», тесно

сходным с моим собственным взглядом, изъяснению которого посвящено большинство статей моей книги «Женское нестроение». Нельзя называть борьбою с проституцией современные паллиативы аболиционистического движения: при всей их симпатичности этот титул им не по чину. Победа общества над проституцией совершится лишь коренною реформою общего социального положения женщины, ростом ее образовательных, рабочих и гражданских прав. Современная проституция есть проституция экономическая в таком подавляющем промежутке, что не более десяти процентов надо отчислить в ее действующем составе на проституцию по иным мотивам, чуждым экономических побуждений. Для Петербурга из объяснительных категорий врача *А.И. Федорова,* таких побуждений, собственно говоря, лишена лишь одна: «На зло любовнику» (5,5%). Остальные, не исключая: «Захотела погулять» и «Подруги сманили», — все экономические. На безработицу, по разным причинам, падает 43%. На откровенное предпочтение легкого заработка — 51,5%. Нарочно выбираю цифры Федорова, врача, пропитанного буржуазною моралью и очень сурового к проституционному классу.

Проституция непобедима при современном общественном соотношении полов потому, что она — единственный хорошо оплачиваемый вид женского труда, и быть проституткою настолько выгоднее, чем быть работницею, что, например, для Петербурга можно смело сказать: заработок работницы кончается там, где начинается заработок проститутки. Вот цифры А.И. Федорова из брошюры «Позорный промысел», изданной министерством внутренних дел (СПб., 1900).

«При 15—18-часовом труде плата работниц различных промыслов не превышает 30 руб. на своем содержании. Это мы приводим высший заработок, но бывает много ниже. Так, например:

1) Прислуга получает от 5 до 12 руб. в месяц при хозяйском столе.

2) Вязальщицы чулок зарабатывают от 10 до 15 руб. в месяц (на своем).

3) Прачка по 60 к. в день при случайной работе, а в месяц 6 руб. на хозяйском столе и 15 руб. на всем своем.

4) Белошвейки — от 10 до 20 руб. (на своем).

5) Цветочницы — от 6 (на хозяйском содержании) до 15 руб. (на своем).

6) Папиросницы — от 10 до 20 руб. (на своем).

7) Портнихи — от 10 до 30 руб. в месяц».

В промысле же развратом — «самая плохая работница может получить в месяц до 40 руб., а хорошая получает 500—700 руб. в месяц». Еще в 1871 году г. Михаил Кузнецов высчитывал, что женщина, эксплуатируемая в петербургском первоклассном доме терпимости, дает своей хозяйке ежемесячно 1000 руб. и выше «валового дохода». Из цифр этих совершенно ясно, что плетью обуха не перешибить, и — покуда экономическое положение женщины в обществе построено так, что проститутка сыта, а работница голодает, — до тех пор ни магдалининские приюты, ни благочестивые книжки, ни вразумительные визиты филантропов и филантропок к жертвам, павшим или готовым пасть, ни даже ловля разных негодяев и негодяек, торгующих «живым товаром», и судьбища над оными, ни искусственные организации тощего «честного» труда, — словом, ничто в оборонительном арсенале аболиционизма не в состоянии сколько-либо серьезно парализовать развитие проституции. И — уж само собою разумеется — еще менее способен задержать это развитие арсенал другой партии, тоже якобы антипроституционной борьбы: полицейский арсенал регламентации, совершенно разбитый в наши дни логическими наблюдениями западной социальной науки, с Ивом Гюйо во главе. У нас наиболее рьяным и громким врагом регламентации явилась в последнее время г-жа В. Авчин-

никова: рекомендую читателям ее блестящий реферат, направленный против профессора Тарновского. Более ранние бойцы русского аболиционизма — Елистратов, Ахшарумов, Покровская, Окороков, Якобий, Стуковенков, Никольский, Жбанков и др.

Работница голодна — проститутка сыта; заработок работницы кончается там, где начинается заработок проститутки; быть проституткою выгоднее, чем быть работницею; железный экономический закон, положивший идеалом человеческого труда «наименьшую затрату сил с наибольшею доходностью», оказывается всецело на стороне проституции и ограждает ее от паллиативных атак морали крепкою бронею, стенами нерушимыми. И дырявится броня эта и расшатываются стены только там, где труд женский в оплате своей хоть приблизительно догоняет труд мужской, где повышается экономический ценз «женского сословия», во взаимодействии с расширением образовательных и гражданских прав женщины. До торжества прав этих — экономическая проституция будет могуча, какие бы меры против нее ни изобретались. С торжеством их — она начнет гаснуть сама собою, потому что станет невыгодным промыслом. Если мужчина зарабатывает рубль там, где женщина 30 копеек, то остальные 70 копеек у нее есть соблазн, а гораздо чаще горькая необходимость приработать ценою своего тела. Но, если женщина зарабатывает тоже рубль, соблазн и необходимость эти исчезают сами собою, и к услугам проституции остается только крайне незначительный процент «прирожденных проституток». Их генезис хорошо исследовали Ломброзо и Ферреро (у нас Тарновский), но — по хорошем исследовании — впали в ошибку, уничтожившую все плоды их работы: исключения возвели в правило и единицы — в тип. Работы Тарда, Лорана, Лакассана, Франца Листа, А. Коха, Бэра разрушили правоверные теории о прирожденно преступной и прирожденно проституционной расах, столь модные лет двадцать назад. Что ка-

сается до «прирожденной проститутки», то одна из почтеннейших русских писательниц по вопросу, убежденная ломброзистка, признается, что «расовые признаки» наблюдала ясно выраженными только на трех женщинах из сотен исследованных ею за десяток лет. Словом, повторяю, не экономические привносы в проституцию столь незначительны, что их почти не стоит считать в составе «социального порока»: как скоро умрет экономическая проституция, слово проститутка потеряет свое позорное значение, ибо проституция станет тогда символом уже не антиморального промысла, но просто половой болезни, и проститутку общество примется лечить как опасную больную, как выродившееся существо с пониженным самосознанием.

Таким образом, истинная война с проституцией для меня — в войне за общее экономическое преуспеяние «женского сословия». Исчезновение же проституции — естественная контрибуция, которая сама собою истекает из мирного договора о равенстве труда между вынужденным к тому Адамом и победоносною Евою. В царстве женского равноправия проституции не будет, а если и будет она, — то какая-либо иная, из новых начал, уже не экономическая.

Теперь я скажу несколько слов о том, что в яркой статье г. Владимира Ж. представляется мне непоследовательным, — именно при согласии его с взглядом на проституцию, как на органическое зло старого порядка, должное естественно погибнуть в порядке новом, с торжеством равенства народов, сословий, полов, вер, состояний. По мнению г. Владимира Ж., надежды на новый порядок очень прекрасны, но до этого благополучия миру еще далеко. А покуда нам надо признать проститутку равноправною работнице, снять пятно презрительного отчуждения с ее личности и промысла, ввести проституционный вопрос в общую массу рабочего вопроса, — словом, дать все средства жизнеспособности институту, об исчезновении которого мечтают все, о нем пишущие,

начиная с г. Владимира Ж., и который, по его надеждам, обречен смерти «в день, когда не станет предрассудков и границ». Г. Владимир Ж. требует, чтобы общество заботилось о проститутке не до ее падения и не после того, как проститутка покинет свое ремесло, — это, по его совершенно справедливому мнению, прекрасные, но паллиативные покушения, а я прибавлю: и, увы, с довольно негодными средствами! — но в самом моменте проституции, когда женщина барахтается в ее болоте. Вполне понимая чувство жалости, вдохновляющее г. Владимира Ж., я все-таки думаю, что от болотной трясины женщина может быть спасена лишь тремя способами: 1) или надо не допускать женщину упасть в трясину; 2) или надо вытащить женщину из трясины; 3) или надо уничтожить трясину, засыпать и высушить ее, чтобы женщина не могла ввалиться в нее ни сознательно, ни бессознательно. Двумя первыми спасательствами — в розницу — усердно занимаются аболиционисты. О третьем упорно твердят те, кто считает проституцию логическим результатом женского бесправия и единственное радикальное лекарство против нее видит в утверждении и росте женских прав.

На этом уповании настаиваю я. На нем держится в первой половине своей статьи и г. Владимир Ж. И вот почему особенно странно выделяется затем непоследовательность его требований признать за болотными колониями института, антипрогрессивного и обреченного на смерть, права институтов, жизнеспособных и двигающих прогресс. К чему же мы будем левою рукою спасать то, что правою сознательно бьем насмерть, и в гибели чего видим свой гражданский долг и идеал?! Если принять сравнение г. Владимира Ж. проституции с болотом, то бывают болота обширные, зыбучие, глубокие, топкие, непроходимые, но необходимых к сохранению болот нет. Единственное, что может сделать человеческая цивилизация с болотом, это — дренажировать его и сушить, дондеже оно не превратится в годную к обра-

ботке земельную площадь. Гнилая жизнь болота, конечно, при этом погибнет самым жалким образом, но зато возникнет и разовьется культурная жизнь плодоносной почвы. Если же болото, — в том числе и то, о котором мы говорим, проституционное, — нелегко подвергается осушке, и судьба ему пятнать собою цивилизацию еще долго, — то в этом случае береговым жителям остается лишь принимать меры, чтобы миазмы болота не отравляли людей малярией и прочими недугами от дурной воды. То есть, бросая метафоры, приходится человечеству сосредоточить свое внимание на профилактическом надзоре за проституцией, до прелестей регистрации включительно. К такому плачевному выводу неминуемо должен был прийти, выйдя из ошибочной посылки, и действительно пришел г. Владимир Ж. в бесспорном противоречии с самим собою: проповедь аболиционизма (в широком смысле этого слова, как освободительного движения) ему пришлось закончить совсем нежелательным заключением о необходимости регламентации, лишь смягченной несколько в формах, — причем многие смягчения, выставляемые автором, как pia desideria*, уже теперь существуют, но — что поп, что батька — от них ни проститутке, ни обществу ничуть не лучше. Например, в Москве надзор за проституцией давно уже передан из рук полиции в руки городского самоуправления. Страховка петербургской проститутки на случай ухода ее из профессии процентными вычетами из заработка введена лет пять назад Клейгельсом: к 1 января 1900 года сберегательная касса проституток петербургских имела капитал свыше 40 000 рублей, накопленный 25-проц<ентным> отчислением в течение полугода. Передача врачебных осмотров в распорядительство женщин-врачей — тоже вопрос, назревающий с такою положительною скоростью, что его можно считать уже на пороге к разрешению; а кое-где эта надежда, усилиями аболи-

* Благое пожелание (*лат.*).

ционистов, уже и осуществлена, если не в виде принципиальной монополии, то фактической. Усовершенствования регламентации даются обществу сравнительно легко, но — bonnet blanc, blanc bonnet * — сама-то регламентация — антипрогрессивное начало, и никуда она не годится.

Сравнивать проституционный вопрос с рабочим неудобно, ибо он относительно все-таки узок: рабочий вопрос — столь широкая сила, что и женский-то вопрос вливается в него, — хотя и равноправно и равномощно, — как Кама в Волгу. При том же рабочий вопрос неразлучен с элементами дешевого производства на спрос и механических двигателей, каковых элементов в вопросе проституционном не имеется и иметься не может. Если проститутка — рабочий, то — лишь кустарь, не только до электричества, но и до Уатта. Рабочий вопрос централизует в силу завод, рудник, фабрика. Никакие преуспеяния проституции не могут создать фабрик полового наслаждения, ибо оно, по самому существу своему, индивидуально и — увы! — шаблон машины здесь пасует, и потребности в «половой машине» у человечества так мало, что ее никто до сих пор не пожелал изобрести, — хоть обыщите весь список привилегий, выданных департаментом торговли и мануфактур со дня его основания. Стало быть, — даже в самой растяжимой аналогии, — проституция — только кустарное ремесло, за личный ли страх кустаря, в наемной ли группе от хозяина, в той ли наконец «ассоциации», которую мечтала создать с подругами своими Ирма, героиня г. Владимира Ж. Из кустарного состояния сей промысел, волею природы, никогда не выйдет, а следовательно, — за исключением законов рыночного спроса и предложения, — остальные аналогии рабочего уклада терпят здесь крушение. Попытка навязать обществу взгляд на регламентацию, как на фабричное законодательство, — старая штука. В особенности усердно смаковали этот взгляд французские бур-

* Колпак бел, белый колпак (*фр.*); в знач.: «что в лоб, что по лбу».

жуа, например Мартино в своей «La prostitution clandestine» *, с самыми трогательными и красноречивыми доказательствами, что тайная проститутка должна быть преследуема со всею неукоснительностью по тому же закону, по которому начальство опечатало утюг и нитки у щедринского портного Гришки, не оплатившего «пакентов». А затем — целые страницы доказательств с точки зрения профилактики и — даже — охранения общественной тишины и спокойствия. Словом, вся забота о том, чтобы доброму буржуа были предоставлены все удобства вкушать «предмет потребления» доброкачественный, с гарантией за физическую безопасность потребителя (вроде пломбы на окорок, свидетельствующей о неимении в оном трихин и финнов) и за комфорт нравственный — «без шкандалу, тихо, смирно, благородно!» Я отнюдь не думаю, чтобы подобный буржуазный кодекс пользоваться женским телом удовлетворял требованиям не только «половой морали», которую г. Владимир Ж. чересчур горячо и спешно называет нелепостью, но и просто идее равенства человеческого, которой г. Владимир Ж. врагом быть не может. В конце концов, при том строе, что проповедует Мартино, проститутка совершенно лишается человеческой личности и грубо обращается в оптовый товар... Ну раз буржуа нужен «товар», то его дело и блюсти, чтобы попался ему не линючий, а добротный ситец, свежий, а не подгнивший кусок мяса. Его и дело отстаивать регламентацию со всеми ее взглядами на женское тело, как на мясо к потреблению. Но г. Владимир Ж. — не буржуа в таком множестве своих мыслей, что, надо думать, и тут у него лишь что-то не вышло в словах, а идейного сходства с Мартино и К° я от молодого писателя не ожидаю.

В словах, иногда, бывает, что-то не выходит. Так, я охотно верю г. Владимиру Ж., что он или его босяк совсем не хотели

* «Тайная проституция» (*фр.*).

вносить в учение о проституции аристократической тенденции искупления расою илоток целомудрия девушек достаточного класса. Однако оно так вышло дословно в поэме босяка. Продолжает так выходить и теперь в разъяснении г. Владимира Ж.: без проституции — «армия спроса, не найдя на рынке армии предложения, ринулась бы тем или иным путем в наши буржуазные дома» и т.д. И затем — красивая декламация Ирмы о жертвах общественного темперамента, как клапане, устроенном, «дабы мощь разврата потоком по земле не разлилась», а иначе, без клапана, «вечно алчущая страсть» зальет, бушуя, всю вселенную. Со смирением ли, с гордостью ли за свою роль, высказывает Ирма это исповедание, — безразлично, потому что идея «живых клоак для излишка половой энергии», как выражается г. Владимир Ж., сама уже по себе, независимо от настроения Ирмы, — в высшей степени аристократически-буржуазная идея, опять-таки усиленно проповедуемая регламентаторами во Франции. Из последних, д-р Мирёр (H. Mireur) даже провозгласил торжественно проституцию необходимою для поддержания порядка и общественного строя. «Без проституции чистота нравов исчезла бы, и нарушился бы весь строй. Представим себе только на одну секунду (!) город Париж или Лондон без проституции и проституток, что бы это сталось?» Г. Владимир Ж. видит, что учение его Ирмы совпадает со страхами целомудренного врача марсельской полиции нравов почти дословно. И — не о смиренной resignation * речь, а о том, что в самой основе проституции лежит идея капиталистического неравенства, — искупления или, чтобы не употреблять столь «мистического» слова, страховки целомудрия богатых развратом нищих, — которую нельзя скрасить никакими изящными образами и пестрыми словами. Против грубой идеи, что проституция предохранительный клапан общественной безнравственности, спасающий от поругания буржуазную семью, с негодованием восставала еще

* Покорность судьбе (*фр.*).

сатира *Огюста Барбье*. У нас от нее с брезгливостью отказываются даже пиетисты, вроде пастора Дальтона. Г. Владимир Ж. приравнивает своих, гордых илотизмом, проституток к крепостным мужикам, которые 50 лет назад могли сказать барину: «*Для того* мы мякинники, *чтобы* ваша милость могла купать цыганок в шампанском...» Если бы была раса, способная провозгласить о себе такое «для того, чтобы», ей нечем было бы гордиться в себе, пропащая бы эта была раса. Потому что решительно нелестно чувствовать себя скотом, сознательно обрекшимся есть мякину, чтобы другой скот мог купать цыганок в шампанском. И никакою гражданскою провиденциею тут утешиться невозможно: нечем. И русский крепостной мужик никогда и ничуть не гордился своею крепостью, а, напротив, ненавидел ее всеми силами своей души. И, уж если говорить от его имени, то формулу, вложенную в его уста г. Владимиром Ж., надо снабдить знаком вопроса — и очень резко:

— Разве для того мы едим мякину по праздникам, чтобы ты мог купать цыганок в шампанском?!

Умные и чуткие государственные люди слышали этот вопрос, со дней Пугачевщины, через Радищева и декабристов, до дней Александра II с его страшно глубокою и многознаменательною речью к московскому дворянству: «Начнем раскрепощение сверху, чтобы оно не началось снизу», — и с манифестом 19 февраля.

Бывают ядущие и бывают ядомые. Ядомые могут составить организацию противодействия, чтобы перестать быть ядомыми и воспрепятствовать ядущим ясти их. Это понятно, разумно, всем знакомо. Но организация ядомых, направленная к тому, чтобы наиудобнейше оставаться жертвами ядения, облегчает положение их не более, чем белый соус положение цыпленка, которого иначе повар изжарил бы в соусе красном. Можно и должно жалеть проститутку, можно любить ее, можно не только извинять, но и уважать моти-

вы, которые толкнули в позорный промысел какую-нибудь Соню Мармеладову, но в самом промысле проституционном уважать решительно нечего. Никакими софизмами не обратить его из силы противообщественной в силу, работающую на общество, если только не считать социальным идеалом современный капиталистический буржуазный уклад, которому она — как раз по Сеньке шапка и верная раба. Не знаю, «нелепость» ли половая мораль, но знаю, что, например, забастовку проституток с целью уничтожить промысел и заставить общество дать им честно-доходную работу, я понял бы, а ассоциация проституток, с целью наиуспешнейше торговать собою, столь же странна, как и тот одесский трактир, о котором писали недавно в газетах, что, открывшись на артельных началах, он с места в карьер начал широкую торговлю женщинами. И опять-таки идея давняя, идея расцвета буржуазии, выношенная во Франции конца империи. У нас же еще некрасовский Леонид провозглашал общественным идеалом «мысль центрального дома терпимости», повторяя собою античного Солона, который наполнил государственные диктерии невольницами, дабы общественный темперамент не обращался на гражданок. Любопытно, что идея Леонида чуть было не осуществилась лет шесть назад в Софии, и уже было воздвигнуто прекрасное здание для этой государственной цели, но затея рухнула из-за негодования болгарских женщин и... отказа проституток!

«Нелепость» ли, нет ли половая мораль, однако она очень жива в падших женщинах. Очень редкие проститутки, хотя, казалось бы, совершенно утратившие стыд в печальном промысле самопродажи, относятся без отвращения к торговле «живым товаром». Лишь незначительная часть таких торговок выходит из среды проституток. Так, по данным Кузнецова, в 1870 году из 66 содержательниц домов терпимости в Москве ранее были проститутками только 7.

Общественный темперамент — сила огромная, но значение ее все-таки принято весьма преувеличивать. Уже широкие рамки колебаний то в росте, то в упадке проституции (например, как то наблюдено для Германии и особенно для Берлина в соответствии от больших или меньших цен на хлеб) показывают, насколько поддается сокращениям энергия общественного темперамента, как скоро дешевый спрос осекается о дорогое предложение, т.е. как скоро экономическое положение женщины улучшается настолько, что она может прокормить себя не только телом своим, как самка, но и трудом, соответственным достоинству человека. Мысль человеческая энергически работает над усвоением закона этих сокращений, и недалек тот день, когда он будет провозглашен громко и проведен в жизнь. Гораздо ближе, чем думают! Уничтожить проституцию, освободить женщину от проституции — одна из благороднейших задач, которым может посвятить себя современный человек. Упорядочивать же недра проституции «на продолжение» значит лишь менять одну полицию нравов на другую, то есть менять цвет соусов, в коих жарятся цыплята. Но об этом я много говорил уже в «Женском нестроении» и не хочу повторяться. Прибавлю лишь одно соображение, сейчас пришедшее мне в голову: что примирение общества с проституционною профессиею, как силою временно-фатальною, которое рекомендует г. Владимир Ж., должно зарезать сострадание к проститутке и свести на нет борьбу с ее ремеслом, как общественным пороком. Почему? Да потому, что если мы признаем проституцию нормальным ремеслом вровень со всяким другим, то с этого момента проститутка достойна жалости не только не более, но даже менее, чем кто-либо из работниц, ибо экономически она поставлена лучше всех, а с соображениями «половой морали», заставляющими нас сожалеть о ней ныне, что же мы будем считаться, раз условились «половую мораль» зачеркнуть? Вместо страдающей, униженной и оскорбленной женщины остается уже наголо лишь «предмет потребления», кото-

рому тем сытнее существовать на свете, чем больше на него спрос. Теперь это «чем больше» приводит нас в ужас, смущает нашу совесть тяжелыми угрызениями, а тогда — чем же смущаться? Шибко торговля идет, — благополучие, в некотором роде горою создается, — ну, стало быть, и хвала слиянию Венеры с Меркурием, да здравствует коммерция и — все зло — добро, то есть безвредно и прекрасно!

1904

VII

В «Случайных заметках» июньской книжки «Русского богатства» (1904) привлекает внимание читателя маленькая статья — «Соня Мармеладова на лекции г-жи Лухмановой»*), подписанная всем понятным псевдонимом Вл. К. Разговаривать о такой квинтэссенции надменного буржуазно-институтского «юродства», сытой безжалостности и глубочайшего социального невежества, как лекции г-жи Лухмановой о проституции, не стоило бы, если бы в Житомире это пустословие во всеуслышание не вызвало примечательного протеста: одна из женщин, обозванных добродетельною переводчицею «Дамы от Максима» в порыве целомудренного негодования «тварями» и «животными», прислала в редакцию газеты «Волынь» письмо, пытаясь оправдать свое падение. Письмо потрясающее, как все подобные письма. Я долго занимался проституционным вопросом, и в руках моих перебывало много подобных документов. Письмо житомирской Сони Мармеладовой отличается от них только грамотностью и ясностью слога, вероятно, приданными ему в редакции. Как истинная Соня Мармеладова, девушка эта пала, чтобы кормить и воспитать двух

*) Надежда Александровна Лухманова скончалась года два тому назад. Отбрасываю поэтому полемический конец этой статьи, появлявшейся в прежних изданиях «Женского нестроения» (1907).

братьев и двух сестер, которым она осталась старшею в семье после смерти матери, потому что отец скрылся без вести. Три года двенадцатичасового «честного труда» на табачной фабрике, с поденщиною по 25 коп. в сутки, что давало около 7 рублей в месяц — на содержание пяти человеческих душ! «Прирабатывала»: за 50 коп. в месяц таскала воду из колодца — после двенадцатичасовой-то поденной работы! На четвертый год, когда братья и сестры стали подрастать, требуя еще больших расходов, девушка не выдержала — начала «прирабатывать» к фабричной поденщине проституцией... Ну и результаты обычные, — сразу сказался «наиболее доходный способ женского труда»: семья стала на ноги — «один брат поступил в ученье к сапожнику, другой дома, а две сестры одеты, по воскресеньям идут в воскресную школу, а в будни у печки стряпают и моют белье».

Исключительный ли это, редкий ли факт? Насколько он подлежит обобщениям?

Я недавно имел случай говорить с читателями о современной проституции, как о зле, в подавляющем преимуществе своего состава экономическом, истекающем из общего бесправного положения женщины в буржуазном строе общества и безобразно приниженных условий женского труда. Не повторяясь в общих рассуждениях, я хочу на этот раз осветить житомирский случай одними голыми цифрами.

Из 4,812 проституток, исследованных в Петербурге в 1893—1896 гг. доктором П.Е. Обозненко, по данным врачебно-полицейского комитета и Калинкинской больницы, падение свое в торговлю телом объяснили экономическими причинами — прямыми или косвенными:

1,348 — нужда, бедность.

364 — неимение мест и занятий.

39 — ссора с родными или бегство из семьи по стыду, вследствие потери невинности.

35 — желание нажить деньги.
78 — продажа близкими людьми или своднею.
6 — ради воспитания детей.
10 — неимение паспорта.
9 — неспособность к труду по болезни.
13 — «дали бланку».
Итого — 2,901.

Затем в списке г. Обозненко выставляются неопределенные, но, кто хоть сколько-нибудь знаком с проституционным мирком, тому очень хорошо понятные рубрики: «собственное желание», «отрицающие занятие проституцией», «причины неизвестны». «Собственное желание» — полицейская формула-отметка, которою отделываются проститутки от пытливых вопросов: «Как дошла ты до жизни такой?», — когда не хотят или не умеют на них отвечать. Из 765 женщин этой рубрики можно ручаться за 500—600, что, участливо и пристально исследуемые, они в конце концов обнаружили бы побуждения материальной нужды, обычные для большинства жертв проституции. В «скрывающих занятие проституции» этот процент должен быть взять еще выше: отсылаю к книге г. Обозненко искать потрясающие картины, как голодающая угловая женщина на дне столичного населения борется против необходимости стать явною проституткою, и как ее борьба при суровых притязаниях нашей регламентации оказывается напрасною и беззащитною.

— Что ж? Дали бланку — нужно гулять! — слишком частая судьба женщин, преследуемых и загоняемых в проституцию регламентационною формалистикою, — по словам г. Обозненко, — только «за то, что она бедна, за то, что она не нашла себе места, за то, что живет в грязном углу, а не в первоклассной гостинице». Страшно сказать, но угловая женщина в Петербурге может очутиться в проституционной больнице, никогда не быв проституткою! Для

этого ей достаточно иметь на теле прелые пятна или просто, с позволения сказать, обовшиветь; «комиссионные женщины», — т.е. взятые полицейскими обходами в ночлежных квартирах за неимением паспорта, за нежеланием объявить постоянное местожительство, за неуказанием определенных занятий — «комиссионные женщины», при обнаружении свидетельствованием не только следов сифилиса, но даже царапин и расчесов или нечистоплотности, подлежат препровождению в Калинкинскую больницу, где и формируются выгодным примером подруг уже в явно-поднадзорных проституток. Почти роковая неизбежность чернорабочей бабе, оставшись в столице временно без труда, пополнить собою проституционные кадры настолько понята классом этих горемычных полунищих, «что находятся предусмотрительные женщины, которые, приходя в столицу на заработки, *прежде всего* идут в в. п. комитет и берут бланку — на *всякий случай!*» Какого ужаса, какого падения, какого развращения среды фатумом нужды еще искать! Вот какие формы страхования от потери труда создала петербургская безработица. Уж истина, что голь на выдумки хитра! Вот в какие унизительные уловки самопомощи приходится опускаться женской рабочей массе, выделяющей из себя, в судорогах отчаяния, тех «тварей» и «животных», которых наши пуританки с зажирелыми сердцами объявляют лишенными прав на общественное участие.

Итак, к вышеприведенным цифрам доктора Обозненко, и без того крупно характеризующим экономический склад петербургской проституции, надо прибавить еще, по крайней мере, тысячу женщин из трех рубрик неопределенных. Что же остается на факторы посторонние — на побуждения психологические, на случай и т.д.? Несколько сотен, причем еще о значении одного фактора — «леность» (334 женщины) — можно много условливаться и спорить.

В процентном реестре д-ра А.И. Федорова («Позорный промысел», изд<ание> мин<истерства> внутр<енних> дел) неудачной рубрики «леность» нет вовсе, хотя этот исследователь и очень суров к проституционному классу и, подобно г-же Лухмановой, отрицает нужду как причину проституции. Рубрике «леность» у него соответствует рубрика «легкий заработок», гораздо более выразительная и справедливая. В самом деле, что представляет собою «леность» чернорабочего человека? Лентяй-поденщик заслуживает свою репутацию уже тем, что норовит выкрасть на отдыхи и передышки из двенадцатичасового рабочего дня, всеми правдами и неправдами, каких-нибудь минут сорок. Каждый из нас, с репутацией усердных работников на своем деле, в неделю сдох бы, если бы был поставлен заменить лентяя-поденщика на его работе; о замене хороших делателей мзды своея, что уж и думать! Ленивая работница — это просто та, которая вместо 15—18 часов в сутки, обычных (по А.И. Федорову) для петербургского «честного женского труда», способна выдерживать его не более 10—12 часов и которую за эту «лень» не держат на местах. Попробуйте сесть — делать папиросы: этот заработок сравнительно легче других и немножко лучше оплачивается (от 10 до 20 р. в месяц на своих харчах). Вы пяти часов этой муки не выдержите, а девушка-папиросница, не лентяйка, должна высиживать 15! За десять-то рублей! Что же удивительного, если 9 проц<ентов> петербургской проституции выходит из папиросниц? Не забывайте твердой аксиомы: *цифра честного заработка рабочей труженицы кончается там, где начинается цифра заработка проститутки.* Наилучшая работница-портниха (высший заработок женского ремесленного труда в Петербурге) получает 30 рублей в месяц, самая плохая неудачница-проститутка — 40 рублей (Федоров).

Кто же остается в списке г. Обозненко за сделанными погашениями? Девочки, вовлеченные в разврат «по глупос-

ти и легкомыслию» (81), не владеющие собою, безвольные алкоголички, пьянством лишенные трудоспособности (88); больные нимфоманией, которых гонит в разврат половая потребность (27), и жертвы любовных трагедий, мстящие своим срамом любимому человеку (их довольно много — 128; рубрика эта дает крупный процент и у Федорова: 5,5 проц<ентов>). Все эти жалкие создания не дают и 10 проц<ентов> к общему контингенту исследования и, как бы ни было печально их зрелище, как бы ни владел ими и ни губил их порок, у кого же — кроме комитетских агентов — повернется язык обозвать «тварями» и «животными» человеческие существа, загубленные детским незнанием, природным слабоумием, невежеством и обманом, либо физическими недугами и аномалиями, по большей части — наследственными? Они ли виноваты перед обществом? Обществу ли, ими пользующемуся, презирать их и клеймить? Тут нужны лечебницы и школы, умная трудовая помощь, а не бранные клички и надменное фырканье буржуйного чистюльства... на этих конях давно уже перестали ездить даже сочувственники г-жи Лухмановой, — конечно, не вовсе лишенные, как эта почтенная писательница, эрудиции по темам, за которые берутся, и достаточно умные и добросовестные, чтобы не решать социальных вопросов капризною отсебятиною.

Часто ли попадаются Сони Мармеладовы, подобные житомирской? Увы! Есть в проституционном мире и грознее явление, еще не изображенное в полной мере своего трагизма никаким Достоевским! Не забывайте, что в проституционной среде 8 проц<ентов> женщин, имеющих детей. Возьмите доклад д-ра Штюрмера «Проституция в городах». Вы узнаете о женщинах, проституирующих, чтобы дети их могли воспитываться в гимназиях! Вы узнаете о женщинах, проституирующих, чтобы самим достать средства на цели самообразования! Знаменитый Parent Duchatelet, основатель

научного исследования проституции, нашел — из 5,183 парижских проституток — 37, вступивших на дорогу разврата с целью пропитать своих престарелых родителей, 23 — с целью поднять на ноги многочисленную семью и 29 — чтобы вывести в люди сестер, братьев или племянников. Совсем уже рубрика: для житомирского случая! Г. Вл. К., со справедливым уважением, указал на нравственную силу, с какою житомирская Соня Мармеладова не позволила «грязному потоку хлынуть за порог ее семьи». И это постоянно так: старинная мелодия Густава Надо...

Дитя есть у Адели,
Сын, жизнь ее души,
Она от колыбели
Хранит его в тиши:
Наденет он когда-то
Честной мундир солдата,
И *матери стыдом*
Ему не попрекнется.
Адель моя! Зачтется
Бедняжке все потом.

Ломброзо и Карлье группируют множество примеров этой самоотверженной проститутки, в помощь сестрам, братьям, сиротам-родственникам, — проституции, губящей собственные тела, чтобы дочери и сестры не стали проститутками, а сыновья и братья нищими или ворами. Мечта Адели, мечта Фантины Виктора Гюго!

— Если бы моя дочь узнала, кто я, я наложила бы на себя руки! — говорила Ломброзо проститутка, которая «работала» сверх сил, чтобы воспитывать дочь в иногороднем пансионе.

Михаил Кузнецов, автор одного из старейших русских трудов о проституции, говорит с положительностью, что в русских городах контингент «материнской проституции» гораздо больше, чем на Западе! Лично могу подтвердить это

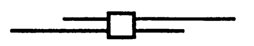
мнение на том основании, что в маленьком архиве моих собственных опросов подобные благородные мотивы к женскому позору сказались у 13 проституток из 91 — по большей части, впрочем, тайных, следовательно, еще не перечисленных официально из общества в мир «тварей» и «животных», подлежащих оплеванию г-жами Лухмановыми.

— Кто без греха, пусть первый бросит в нее камень!

Г. Вл.К. хорошо заметил, что — счастье, что, когда Христос судил блудницу, в толпе не было г-жи Лухмановой, — иначе роковой камень полетел бы в несчастную из ее добродетельной руки... Но есть арабская пословица:

— Грязь, бросаемая в страдающего, прилипает к руке!..

1904





ПРИМЕЧАНИЯ

БАБЫ И ДАМЫ. МЕЖДУСОСЛОВНЫЕ ПАРЫ

Рассказы этого цикла печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 4. Бабы и дамы. Междусословные пары. СПб.: Книгоизд. т-во «Просвещение», 1911. Шесть последних рассказов цикла («Умница», «Альфонс», «Брат и сестра», «Уголовная чернь», «Первая пощечина» и «Зоэ») в собр. соч. не были включены — они печ. по сб.: Амфитеатров А. Бабы и дамы. М., б.г.

ОТ АВТОРА

С. **8.** *«Неделя» Гайдебурова* — одна из самых популярных газет конца XIX в. С 1869 г. «Неделю» издавал, редактировал и выступал в ней с «Литературно-житейскими заметками» публицист, прозаик и драматург Павел Александрович Гайдебуров (1841—1894). В 1878 г. стало выходить приложение к газете — «Журнал романов и повестей», переименованный в 1884 г. в «Книжки «Недели». С 1894 по 1901 гг. эти издания выпускал (весьма неумело) сын Гайдебурова Василий Павлович (1866—1940).

ДОМАШНИЕ НОВОСТИ

С. **10.** *...фигура крупичатой поповны...* — Крупичатая — в знач.: располневшая, раздобревшая. Крупичатая мука — лучшая пшеничная, белая, самого тонкого помола.

С. **11.** *...ночи на алексинацких редутах...* — Алексинац — город в Сербии; здесь в 1876 г. произошли стычки между турками и сербами, а через год начались сражения русско-турецкой войны. В окрестностях Алексинаца, где находились российские редуты, установлен памятник павшим русским воинам.

С. **12.** *Решпект* (от нем. Respekt) — иронич.: уважение.

С. **18.** *...живя с джон-булями и янки...* — Джон Буль (англ. Иван Бык) — ироническая кличка англичан; на карикатурах — олицетворение Англии. Янки — прозвище, данное европейцами американцам (уроженцам США).

С. **21.** *...«с румянцем сизым на щеках»...* — Последняя строка стихотворения А.А. Фета «Еще весны душистой нега...» (1854).

С. **24.** *У меня тут даже плешка, с семитку...* — Семитка (семичник, семишник) — старинная монета (две копейки серебром).

РАЗРЫВ

С. **35.** *...похожей на Тамару, с известной гравюры Зичи...* — Русско-венгерский график и живописец Михай (Михаил Александрович) Зичи (1827—1906), в 1847 г. поселившийся в России, создал романтическую сюиту иллюстраций к поэме своего любимого поэта М.Ю. Лермонтова «Демон»: «Тамара и Демон» («Не плачь, дитя...»), «Тамара в объятиях Демона», «Тамара и Ангел-хранитель», «Тамара в церкви и Демон», «Демон под окном кельи Тамары» и др. (более 20 листов и около 100 рисунков). Часть из них была воспроизведена в гравюрах Симмонса, публиковавшихся в журналах «Нива» и «Север».

С. **44.** *...упрямится твоя Меликтриса...* — Очевидно, имеется в виду героиня русской сказки «Бова-королевич» Миликтриса (Милитриса) Кирбитьевна.

С. **46.** *...«Навязал я себе нещечко на шею!...»...* — Нещечко — сокровище, любимое существо (разг. фамильярное).

РЕБЕНОК

С. **49.** *...с терпеливой выносливостью истого Тогенбурга.* — Герой баллады Ф. Шиллера «Рыцарь Тогенбург», переведенной В.А. Жуковским (1818), ждал до самой смерти, «чтоб прекрасная явилась» и ответила на его преданную любовь.

ПОБЕГ ЛИЗЫ БАСОВОЙ

С. **63.** *«...курносый, как Сократ».* — Сократ (ок. 470—399 до н.э.) — древнегреческий философ, родоначальник диалектики.

...в городе по местам у «навозных»... — «Навозный — провозный, завозный» (В.И. Даль); занимающийся извозом, извозчик.

С. **64.** *...осторожный, как Куропаткин...* — Генерал от инфантерии Алексей Николаевич Куропаткин (1848—1925), командуя в русско-японскую войну 1904—1905 гг. войсками в Манчжурии, проявил чрезмерную осторожность и нерешительность, в результате потерпел жестокое поражение под Ляояном и Мукденом.

Фортеция (форт. лат.) — небольшое укрепление.

С. **71.** *Московское Филаретовское училище* — одно из духовных учебных заведений (обычно при мужских и женских монастырях), учрежденных с благословения митрополита Московского Филарета (в миру Василия Михайловича Дроздова; 1783—1867).

С. **74.** *Желябов* Андрей Николаевич (1851—1881) — организатор покушений на Александра II. Повешен.

С. **75.** *...считая от станка к станку...* — Станок — почтовая станция.

С. **76.** *Наянливый* — «наглый, нахальный, бесстыжий, безотвязный или навязчивый» (В.И. Даль).

С. **77.** *..«батюшка Покров». — всероссийская годовая эра крестьянских свадеб?* — Покров Пресвятой Богородицы — великий праздник православной церкви. Отмечается 1 (14) октября в память о событии, случившемся в осажденном сарацинами Константинополе. Во время всенощного бдения молящиеся о спасении увидели в облаке Матерь Божию, распростершую над верующими светоносный покров (омофор). Ободренные греки отбили врагов. На Руси Покров день празднуется в честь окончания полевых работ, к этому времени приурочиваются свадьбы.

Чалдон — коренной сибиряк.

С. **78.** *Зимний мясоед* (Рождественский) — с 25 декабря (ст. ст.) до Масленицы (перед Великим, предпасхальным постом), когда христианам разрешается есть мясную пищу.

С. **80.** *...камратами звались...* — Камрат (камрад; от гол. cameraad и лат. camera: комната) — первоначально о живших со-

вместно в одной комнате; товарищи, сослуживцы, студенты-сокурсники.

С. **83.** *Некогда Ганнибал зазимовал в Капуе... тем самым погубил весь свой итальянский поход...* — Эпизод из 2-й Пунической войны (218—201 до н.э.), когда карфагенский полководец Ганнибал (247/246—183 до н.э.) вторгся в Италию и в 211 г. угрожал Риму, но потерпел поражение, так как промедлил с наступлением, укрывшись на зиму в Капуе.

С. **84.** *Филипповский пост* — пост в память апостола Филиппа, начинающийся 15 (28) ноября и длящийся до Рождественских праздников.

С. **88.** *...«экзогамическая проституция» во вкусе и тоне древних жриц Астарты.* — Астарта — в финикийско-сирийской мифологии богиня любви, материнства и плодородия. Культовыми обрядами богини разрешались «священная проституция», брачные союзы внутри одного племени (эндогамия), но между представителями разных его родов (экзогамия).

...шик «Наполеонов тайги» и... Жозефин. — Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — французский император. Жозефина Богарне (1763—1814) — первая жена Наполеона I.

С. **89.** *Олеарий* Адам (1603—1671) — немецкий дипломат и путешественник, побывавший в России и написавший книгу «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» (1656; СПб., 1906).

Петр Петрей де Эрлезунд — дипломат и путешественник; в 1608—1614 гг. жил в Москве, являясь послом шведского короля. Автор двух книг о России.

Корб Иоганн Георг (ок. 1670 — ок. 1741) — австрийский дипломат, живший в России в 1698—1699 гг. во время стрелецкого бунта и кровавой расправы над стрельцами. Автор «Дневника путешествия в Московию», тираж которого был уничтожен. Впервые в рус. пер. вышел в 1866—1867 гг.

...до так называемой «кумовщины». — Кумовщина — амурные отношения между кумой и кумом.

С. **93.** *...от тысячника к тысячнику.* — Тысячник (тысяцкий) — «старший свадебный чин; обычно это крестный, он же и посажённый отец жениха» (В.И. Даль).

С. **96.** *Варнак* — каторжник (сибирское).

С. **103.** *Чичероне* (ит.) — проводник.

...*«Уж лучше бы... в девятый круг Дантова ада!»* — В девятый, последний, круг ада Данте поместил величайших из грешников — предателей. Среди них — христопродавец Иуда, убийцы Цезаря Брут и Кассий и др. («Божественная комедия. Ад»).

Мирмидон (греч. муравей) — вслед за Овидием («Метаморфозы») традиция относит это название к тем муравьям, из которых Зевс создал население острова Эгина. Отсюда — переносное значение слова мирмидон: маленький, незначительный человек. В греческой мифологии мирмидоны (мирмидоняне) — племя ахейцев, участвовавшее в Троянской войне под руководством Ахилла.

ФАРМАЗОНЫ

С. **108.** *Фармазон* (от фр. franc-macon) — «вольнодумец и безбожник; нескладный человек» (В.И. Даль).

Рамоли (фр. ramolli) — 1) размягченный; 2) слабоумный, впавший в маразм.

С. **110.** *Феникс* — «баснословная птица древних; редкий, по дарованиям своим, человек» (В.И. Даль).

С. **113.** ...*атуры — загляденье*! — Атур (от фр. au tour — изгиб) — в знач.: как выточенная, прекрасно сложенная.

С. **115.** *На просвирниной дочери?* — Просвирня — женщина, занимающаяся выпечкой просвир (булочек, используемых в церкви для причащения).

Я ей «Что делать» читал — Имеется в виду роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (1863).

Тогда я начал ей «Шаг за шагом» читать. — Вызвавший полемику и цензурные запреты роман об увлечении революционно-демократическим просветительством Иннокентия Васильевича Омулевского (1836—1883) «Шаг за шагом» печатался в 1870 г. в журнале «Дело» (книгой был издан под названием «Светов. Его взгляды, характер и деятельность»; 1871).

С. **117.** *Волосы — копром.* — Копёр — «копна, куча, ворох» (В.И. Даль).

С. **120.** ... «*...вы мне авантажны*!» — Авантажный — «в казистом виде представший» (В.И. Даль). В авантаже — в блестящем виде, в выгодном свете (устар.).

Табло (от фр. tableau) — картина.

С. **123.** *Дебора* (Девора) — в ветхозаветном историческом предании пророчица, предводительница израилевых племен, одна из «судей израилевых» (см. Книга Судей, гл. 4).

Веледа — германская прорицательница.

МЕБЛИРОВАННАЯ КАРМЕН

С. **126.** *...во вкусе А.И. Левитова...* — Александр Иванович Левитов (1835—1877) — прозаик, автор рассказов и повестей «о многоразличных видах нашего горя», написанных подчас вычурно, языком «улицы», с чрезмерным увлечением кабацким жаргоном и диалектизмами.

С. **127.** *Монрепо* (от фр. mon repos — мой отдых) — название европейских курортных местностей.

...Есиповой нос утереть... — Анна Николаевна Есипова (1851—1914) — пианистка и педагог; основательница одной из лучших в России пианистических школ. С триумфом гастролировала во многих странах Европы и в США.

С. **128.** *Жюдик* Анна (1850—1911) — французская артистка оперетты, эстрадная певица, гастролировавшая с 1875 г. в Москве и Петербурге.

Сара Бернар (1844—1923) — французская драматическая актриса и художница.

С. **131.** *Коломенская верста* — поговорка, рожденная во времена царя Алексея Михайловича, расставившего на дороге к своему дворцу в селе Коломенском чересчур высокие верстовые столбы. В переносном значении о людях высокого роста, верзилах.

...на лице выражение Хозе, вызывающего Эскамильо... — Бригадир Хозе и тореадор Эскамильо — герои-соперники из оперы «Кармен» (1875) французского композитора Жоржа Бизе (1838—1875).

С. **131.** *Mezzo-soprano* (ит. меццо-сопрано) — женский голос, средний между сопрано (самым высоким) и контральто (низким). Для этого голоса Бизе написал партию Кармен в одноименной опере.

С. **133.** *Бурже* Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский прозаик.

ОСТРОЖНАЯ СКАЗКА

С. **136.** *Зимний Никола* — Никола студеный или зимний — православный праздник, отмечается 19 (6 ст.ст.) декабря.

С. **138.** *...поезжай с дочерью на кислые воды.* — Имеется в виду бальнеологический курорт Кисловодск, один лучших в группе здравниц Кавказских Минеральных Вод.

ЕЛЕНА ОКРУТОВА

С. **143.** *Хитров рынок* — размещался в центре Москвы на берегу Яузы. Назван по имени основателя (с 1823 г.) генерал-майора в отставке Н.З. Хитрово. К началу XX в. «Хитровка» стала пристанищем бездомных и рассадником преступности; место действия героев книги В.А. Гиляровского «Москва и москвичи».

НЕЛЛИ РАИНЦЕВА

С. **154.** *Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829—1894) — композитор, пианист-виртуоз, дирижер.

Лист Ференц (1811—1886) — венгерский композитор, пианист-виртуоз, дирижер; автор знаменитых 19 «Венгерских рапсодий».

Семирадский Генрих (Хенрык) Ипполитович (1843—1902) — польский и русский живописец; автор картин из античной жизни.

Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902) — скульптор.

Эверарди Камилло Франсуа Эврар (1825—1899) — итальянский оперный певец-баритон; в 1857—1874 гг. — солист итальянской труп-

пы петербургских театров (любимец публики). В 1870—1888 гг. — профессор Петербургской консерватории, с 1898 г. — Московской консерватории.

С. **154.** *Буренин* Виктор Петрович (1841—1926) — литературный и театральный критик, поэт, автор пародий в стихах и прозе.

...сладострастных образов, взятых напрокат у Катюль Мендеса, Ришпена, Верлена, Ростана... — Катюль Мендес (1841—1909) — французский поэт из группы эстетов «Парнас», прозаик, драматург; автор эротических романов «Король-девственник», «Первая любовница» и др. Жан Ришпен (наст. имя и фам. Огюст Жюль; 1849—1926) — французский поэт, прозаик, драматург, автор произведений, анархистски отрицающих официальную мораль: «Мадам Андре», «Клейкая», «Миарка, вскормленная медведицей» и др. Поль Верлен (1844—1896) — французский поэт (по словам В.Я. Брюсова, «интимнейший из поэтов»). Эдмон Ростан (1868—1918) — французский поэт и драматург, автор героико-романтической комедии «Сирано де Бержерак».

Жанна д'Арк (ок. 1412—1431) — народная героиня Франции; в Столетней войне возглавила борьбу против английских захватчиков. Сожжена на костре.

С. **155.** *Рекамье* Жюли (177?—1849) — красавица-хозяйка знаменитого парижского салона.

...прикинувшись хоть Марией Башкирцевой. — Мария Константиновна Башкирцева (1860—1884) — художница, автор знаменитого «Дневника» (на фр. яз. Париж, 1887, т. 1—2). Впервые полностью на рус. яз. издан в 1893 г. Женщина-вундеркинд, неизлечимо больная туберкулезом, окончила за пять месяцев лицей, за два года прошла семилетний курс в парижской женской художественной мастерской Р. Жюлиана. В 1880—1881 гг. успешно выставлялась в Салоне художников (ею создано 150 картин, 200 рисунков, а также несколько скульптур). «Дневник» Башкирцевой, по ее словам, — это «жизнь женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки, как будто бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время с страстным желанием, чтобы оно было прочитано». Эта исповедь вызвала разноречивые оценки: от отрицательных (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов) до восторженных (В.Я. Брюсов, В.В. Хлебников, М.И. Цветаева).

С. **156.** *От ликующих, праздно болтающих...* — Из стихотворения Н.А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

С. **158.** *...вышла в свет «La terre».* — «Земля» — роман французского классика натурализма Эмиля Золя (1840—1902).

Одалиска — наложница в гареме.

С. **159.** *...в какой-нибудь Венецуэле невестою героя pronunciamento...* — Пронунсиаменто — испанское и латиноамериканское название государственного переворота.

...в царевококшайском клубе читает лекцию об алмазных копях Трансвааля. — Царевококшайск — город в бывшей Казанской губернии (с 1919 г. Йошкар-Ола). Трансвааль — республика в Южной Африке (ныне ЮАР).

Мазини Анджело (1844—1926) — итальянский оперный певец-тенор; в 1877—1903 гг. гастролировал в России.

Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1918) — поэт, критик, переводчик, адвокат, славившийся остроумием оратор. Автор книги «Защитительные речи» (1891; изд. 5-е вышло под названием «Драмы жизни») и мемуаров «Книга о смерти. Мысли и воспоминания» (т. 1—2, 1922).

С. **163.** *...как есть «комильфот»...* — Комильфо (от фр. comme il faut — букв. как надо, как следует) — приличный, соответствующий правилам светского приличия.

С. **168.** *...как грешники в девятом кругу Дантова ада.* — См. примеч. к рассказу «Побег Лизы Басовой».

СЕМЕЙСТВО ЧЕНЧИ

С. **173.** *...среда, которую... прозвали «темным царством»... в которую... льются злоисцеляющие «светлые лучи».* — Имеются в виду статьи Н.А. Добролюбова «Темное царство» (1859) и «Луч света в темном царстве» (1860), посвященные анализу драматургии А.Н. Островского.

С. **174.** *«Эрмитаж»* — московский увеселительный сад с несколькими театрами, дававшими спектакли на открытых площадках. Основан в 1876 г. М.В. Лентовским (см. о нем примеч. к рассказу «Уголовная чернь»). В 1894 г. сад «Эрмитаж» взял в аренду Я.В. Щукин и построил

там театр для своей опереточной труппы. На сцене этого театра в 1898—1901 гг. давал спектакли Московский Художественный театр (МХТ), а 26 мая 1896 г. москвичи здесь увидели чудо — первый кинофильм.

С. **174.** *...более упрощенные семейные формы и отношения, чем во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого?* — Драма «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть» (1886) была издана в 1887 г. огромным по тем временам тиражом — более 100 000 экз., но сразу подверглась запретам, так как показалась цензорам аморальной. На сцене была поставлена только в 1895 г. сразу в четырех театрах.

...с одной стороны Большовы, Коршуновы, Гордеи Торцовы, с другой — угнетенные Митеньки... Любови Гордеевны и жалкая пьяная правда... Любима Торцова... — Названы герои пьес А.Н. Островского: «Свои люди — сочтемся!» (Большов; 1850), «Бедность не порок» (Коршунов, Гордей, Любим и Любовь Гордеевна Торцовы, Митя; 1854).

С. **175.** *Подхалюзин* — приказчик из комедии Островского «Свои люди — сочтемся!».

С. **178.** *Спиноза Бенедикт* (1632—1677) — нидерландский философ-пантеист.

Щервинский Василий Дмитриевич (1850—1941) — профессор общей терапевтической клиники Московского университета; один из основателей и председатель Московского терапевтического общества. В 1922—1929 гг. — директор института экспериментальной эндокринологии. Автор труда «Основы эндокринологии» (1929).

Остроумов Алексей Александрович (1844/45—1908) — терапевт, профессор Московского университета, основатель научной школы.

С. **180.** *...анализ такого скрытого в семье полового преступления дал А.Ф. Писемский в драме «Бывые соколы».* — Драма Алексея Феофилактовича Писемского (1821—1881) «Бывые соколы» (1868) была впервые поставлена Общедоступным частным театром в Москве 29 сентября 1876 г.

В ОМУТЕ

С. **190.** *Вальпургиева ночь* — ночь на 1 мая; праздник весны древних германцев, совпадавший с днем памяти католической свя-

той Вальпургии. В эту ночь, согласно народным поверьям, устраивался «шабаш ведьм» на Брокене (самая высокая вершина в горах Герца). «Вальпургиева ночь» — одна из сцен трагедии И.В. Гёте «Фауст».

С. **191.** *...везет, как Неверу в «Гугенотах»...* — Граф Невер — герой романтической оперы композитора Джакомо Мейербера (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер; 1791—1864) «Гугеноты» (1835).

С. **192.** *Метаморфоза, каких не найти и у Овидия!* — «Метаморфозы» римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н.э. — ок. 18 н.э.) — поэма, в которой около 250 мифологических сказаний, повествующих о любовных страданиях людей и об их превращениях то в животных, то в растения, то в созвездия.

С. **194.** *...«я другому отдана и буду век ему верна».* — Из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (письмо Татьяны Онегину).

С. **196.** *«Чтоб иметь детей — кому ума недоставало»...* — Из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

С. **198.** *...из «Двух миров» Майкова...* — Лирическая драма Аполлона Николаевича Майкова (1821—1897) «Два мира» (1872) повествует о трагическом противостоянии язычников и христиан в эпоху римского императора Нерона.

МАМКА

С. **199.** *...крестьянка Некормленой губернии, Терпигорева уезда, Пустопорожней волости, деревни Заплатина, Неурожайка то ж...* — В фальшивый паспорт героини рассказа внесены данные из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

С. **201.** *Юнона* — в римской мифологии богиня брака и материнства, покровительница женщин; супруга бога неба, дневного света, грозы, «царя богов» Юпитера (у греков Зевса).

КЕЛЬНЕРША

С. **210.** *...сиплые «дизезки»...* — «Дизёзки» (от фр. diseuse) — актрисы-куплетистки.

С. **211.** *Вы как-то раз напечатали рассказ на такой сюжет.* — Речь идет о рассказе Амфитеатрова «Домашние новости» (см. в наст. томе).

С. **212.** *...«Горелова, Неелова, Неурожайки то ж».* — Из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

...корни крылись где-то за Дмитрием Донским или Иваном Калитою. — Дмитрий Донской (1350—1389) — великий князь московский. Иван I Калита (?—1340) — великий князь владимирский и московский.

С. **213.** *«Птичка Божия не знала ни заботы, ни труда».* — Неточная цитата из поэмы Пушкина «Цыганы» (1824).

С. **215.** *Лермонтов похвалил за него Максима Максимовича...* — Максим Максимыч — персонаж одноименной главы романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова.

...а Гончаров — русских матросов в Японии. — Имеется в виду эпизод из путевых очерков «Фрегат «Паллада» (1855 — 57) Ивана Александровича Гончарова (1812—1891), совершившего в 1852 г. кругосветное плавание в качестве секретаря адмирала Е.В. Путятина.

Тартюфы — т.е. ханжи, лицемеры; по имени героя комедии «Тартюф» (1664) французского классика драматургии Мольера (наст. имя Жан Батист Поклен; 1622—1673).

С. **219.** *...плохая копия с Марии Башкирцевой.* — См. примеч. к рассказу «Нелли Раинцева».

С. **220.** *Успенский Глеб Иванович* (1843—1902) — прозаик, очеркист-бытописатель.

С. **221.** *...«красой ногтей».* — Из «Евгения Онегина» Пушкина: «Быть можно дельным человеком // И думать о красе ногтей».

С. **223.** *На Покрова будем справлять свадьбу.* — См. примеч. к рассказу «Побегу Лизы Басовой».

С. **226.** *Полиция, как Аргус стоглазый...* — Аргус (Аргос) — в греческой мифологии великан, тело которого испещрено бесчисленным множеством глаз (по самой распространенной версии — сто глаз), из которых спали одновременно только два ока.

ПИТЕРСКИЕ КОНТРАБАНДИСТКИ

С. **230.** *...старого чичиковского времени.* — Чичиков — герой поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».

С. **231.** *Монте-Карло* — город в Монако, славящийся игорными домами, казино.

Монблан — самая высокая в Западной Европе горная вершина.

С. **236.** *Где вы купили этот валансьен?* — Валансьен — сорт известных с XVIII в. французских кружев с тонким, прозрачным узором; их производством славился город Валансьен.

С. **238.** *«О азар»* (от фр. hasard — случайность) — в знач.: запальчивые, задорные, азартные.

С. **240.** *Расплюев* — герой трилогии Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817—1903) — комедии «Свадьба Кречинского» (1854), драмы «Дело» (1861) и комедии-шутки «Смерть Тарелкина» (1869).

С. **243.** *Штос, макао* — азартные карточные игры.

КУРОРТНЫЙ МУЖ

С. **254.** *Нирвана* (санскр. угасание) — центральное понятие в буддизме и джайнизме; состояние отрешенности от внешнего мира и совершенной удовлетворенности.

С. **256.** *Участь первых — Капитолий.* — На Капитолийском холме в древнем Риме размещался храм трех богов — Юпитера, Юноны и Минервы. Во время триумфальных шествий к этому храму восходили римские полководцы для воздания почестей.

С. **257.** *...только бы орать какому-нибудь Тартакову или Яковлеву...* — Упомянуты известные оперные певцы (баритон): Иоаким Викторович Тартаков (1860—1923) и Леонид Георгиевич Яковлев (1858—1919).

О первых вещают миру Тациты, Несторы, Нибуры, Костомаровы. — Названы знаменитые историки: римлянин Тацит (ок. 58 — ок. 117), монах Киево-Печерского монастыря, летописец, автор «Повести временных лет» Нестор (XI — нач. XII вв.), немецкий исследователь античности Бартольд Георг Нибур (1776—1831) и русско-украинский ученый и писатель Николай Иванович Костомаров (1817—1885).

О вторых — Казановы, Арман-Сильвестры, Боккаччио, Поль де Кок... — Джованни Джакомо Казанова (1725—1798) — итальянский писатель, автор двенадцатитомных «Мемуаров» (на фр. яз.) об

авантюрно-любовных приключениях автора. Арман Сильвестр (1837—1901) — французский поэт и прозаик. Джованни Боккаччо (1313—1375) — итальянский классик эпохи Раннего Возрождения, автор книги новелл о любви «Декамерон» (1350—53, опубл. 1470). Поль де Кок (1793—1871) — французский прозаик, автор популярных в XIX в. мелодраматических и авантюрных романов-водевилей.

С. **257.** *...не сродни ли я любезному сыну беспутной Пазифаи?* — Пасифая — в греческой мифологии жена критского царя Миноса, воспылавшая страстью к быку и родившая Минотавра, монстра с головой быка.

Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик.

С. **258.** *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ-волюнтарист, автор труда «Мир как воля и представление».

С. **259.** *...«Молчалины блаженствуют на свете!»* — Из комедии Грибоедова «Горе от ума».

Обломов — Илья Ильич Обломов — герой романа И.А. Гончарова «Обломов» (1884—1859). Судьба Обломова — череда неудач и жизненных разочарований.

Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт, критик, публицист.

...«собачки дворника»... — Из «Горя от ума» Грибоедова.

С. **261.** *Я проклят, как Каин.* — Согласно ветхозаветному преданию, сын первой человеческой пары Адама и Евы Каин был проклят за то, что убил своего брата Авеля.

...на лбу клеймо, гласящее: вот фалалей! — Фалалей (простореч. презрит.) — простофиля, рохля, разиня.

С. **262.** *...«народ безмолвствовал».* — У Пушкина в трагедии «Борис Годунов» заключительная ремарка: «Народ безмолвствует».

Мне бы женщину-мечту: Офелию, Гретхен, Теклу или Лауру у клавесина... — Персонажи из трагедий: Шекспира «Гамлет» (Офелия), Гёте «Фауст» (Гретхен), Ф. Шиллера «Валленштейн» (Текла) и канцоньере Ф. Петрарки «На жизнь мадонны Лауры», «На смерть мадонны Лауры».

Исаия, ликуй!.. — Название литургического гимна, исполняемого во время бракосочетания. Исайя (евр. «спасение Господне») —

библейский пророк, автор «Книги пророка Исайи». Погиб мученической смертью: за обличения царского двора в грехах был перепилен деревянной пилой. Память великомученика церковь отмечает 9 (22) мая.

С. **263.** *...тень незабвенного Менелая!* — Менелай — царь древнегреческой Спарты, «обманутый супруг» Елены, из-за похищения которой разгорелась Троянская война, ставшая центральным событием поэмы Гомера «Илиада».

...приписал Чичикову Собакевич... — Герои поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Собакевич подсовывает в список душ, продаваемых Чичикову, — женщину — «Елизавету Воробей» (на самом деле мужчину).

«Все промелькнули перед нами, все побывали тут!» — Из стихотворения Лермонтова «Бородино» (1837).

С. **264.** *...«Дама, приятная во многих отношениях»...* — неточная цитата из «Мертвых душ» Гоголя.

...более греческий, чем даже Анабазис Ксенофонта... — Ксенофонт Афинский (ок. 430—335/354 до н.э.) — древнегреческий историк, участник персидского похода Кира Младшего против Артаксеркса; автор книги об этом походе «Анабасис» и «Греческой истории» в семи книгах.

Гомер — древнегреческий поэт.

С. **265.** *Отелло* — герой одноименной трагедии Шекспира.

...с капитаном Андрэ к Северному полюсу... — Саломон Август Андре (1854—1897) — шведский инженер, погибший с двумя спутниками во время перелета на воздушном шаре со Шпицбергена на Северный полюс.

... «мужа-мальчика, мужа-слуги»... — Из «Горя от ума» Грибоедова.

Жан Вальжан — герой романа В. Гюго «Отверженные» (1862), бывший каторжник.

Мессалина (ок. 25—48 н.э.) — третья жена римского императора Клавдия, казненная им за распутство и заговор против него.

С. **266.** *Клеопатра VII Египетская* (69—30 до н.э.) — царица Египта, ставшая любовницей римского императора Юлия Цезаря, а после его убийства — полководца и консула Марка Антония.

С. **266.** *Нинон* — героиня романа французского писателя Шодерло де Лакло (1741—1803) «Опасные связи» (1782).

С. **268.** *Пентефрий* (Потифар) — египетский царедворец, начальник телохранителей фараона, опекавший Иосифа. Как повествуется в Библии, жена Потифара пыталась соблазнить красавца-иудея, но была им отвергнута. По ее лживому доносу Иосифа заключили в темницу (Книга Бытия, гл. 37, ст. 36 и гл. 31, ст. 1).

НА ЗАРЕ

С. **273.** *«Оглянуться не успела, // Как зима катит в глаза!»...* — Из басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей».

...точно спицы колес в повозке Гелиоса... — Гелиос — в греческой мифологии бог солнца; изображается мчащимся в ослепительном сиянии на золотой колеснице.

МЕЧТА
Житейская сказка

С. **277.** *А в ту пору Тургенев только что выпустил «Стихотворения в прозе»...* — Стихотворный цикл И.С. Тургенева впервые был опубликован в декабрьской книжке журнала «Вестник Европы» за 1882 г.

...«Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда в моей памяти!..» — Из стихотворения в прозе Тургенева «Стой!» (1879).

С. **278.** *...«гласу Бога внемлет и поет себе, поет»...* — Неточная цитата из поэмы Пушкина «Цыганы».

...слеплю с вас «Святую Екатерину, встречающую небесного Жениха»... — Екатерина — жительница Александрии, принявшая в 307 г. мученическую смерть за веру при императоре Максимилиане. Славившаяся ученостью святая считается покровительницей учащейся молодежи.

С. **280.** *Вы читали «Юлиана Милостивого»?* — Имеется в виду переведенная Тургеневым повесть Густава Флобера «Легенда о св. Юлиане Милостивом» (1877).

С. **281.** *...рабочей слободки... с которой, говорят, Глеб Иванович Успенский написал Растеряеву улицу.* — Речь идет о первом очерковом цикле Успенского «Нравы Растеряевой улицы» (1866).

С. **290.** *...сбежал бы от неравного брака, как новый Подколесин.* — Подколесин — герой комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» (1840—1842).

С. **294.** *...как Кабаниха обрывает Катерину...* — Эпизод из драмы А.Н. Островского «Гроза» (1859).

Сильвестр (? — ок. 1566) — священник московского Благовещенского собора, автор одной из редакций «Домостроя»; оказывал сильное влияние на Ивана Грозного.

ДВЕНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ

С. **300.** *...в отдельном кабинете «Славянского базара».* — «Славянский базар» — гостиница (1872) и ресторан на Никольской улице в Москве. Здесь 21 июня 1898 г. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко приняли решение об открытии Московского Художественного театра (МХТ).

...вспоминали... Рулье, Ешевского, Никиту Крылова. — Названы профессора Московского университета: биолог Карл Францевич Рулье (1814—1858); Степан Васильевич Ешевский (1829—1865) вел курс римской и общей истории; один из самых популярных университетских преподавателей Никита Иванович Крылов (1807—1879) читал лекции по римскому праву.

...помянули добрым словом Васильевых, Садовского, Живокини... — Выдающиеся актеры Малого театра, прославившиеся исполнением ролей в пьесах А.Н. Островского: братья Васильевы — Сергей Васильевич (1827—1862) и Павел Васильевич (1832—1879; с 1860 г. в Александринском театре), Пров Михайлович Садовский (1818—1872), комик-буфф Василий Игнатьевич Живокини (1805—1874).

...кто выше — Барнай или Поссарт... — Людвиг Барнай (1842—1924) и Эрнст Поссарт (1841—1921) — выдающиеся немецкие актеры-трагики, исполнители ролей в пьесах Шекспира и Шиллера; неоднократно гастролировали в Москве и Петербурге.

С. **301**. *...выше всех клоун Дуров...* — Владимир Леонидович Дуров (1863—1934) — клоун, сатирик и дрессировщик; вместе с братом Анатолием Леонидовичем (1864—1916) — родоначальник цирковой династии.

...выдержек из Баркова, маркиза де-Сад и Арман Сильвестра. — Иван Семенович Барков (ок. 1732—1768) — поэт, переводчик; известность приобрел как автор непристойных стихов, распространявшихся в списках. Донасьен Альфонс Франсуа де Сад (1740—1814) — французский прозаик, философ, драматург; автор романов, наполненных описаниями сексуальных извращений. Арман Сильвестр (1837—1901) — французский поэт и беллетрист.

...спеть хором Gaudeamus... — «Gaudeamus igitur» («Итак, будем веселиться!» — лат.) — старинная студенческая песня, возникшая из застольных песен вагантов; музыка фламандца Иоганна Окенгейма (XV в.). Нынешний текст известен с конца XVIII в. Приводим перевод гимна студентов на русский язык, выполненный известным филологом-античником Сергеем Ивановичем Соболевским (1864—1963):

Итак, будем веселиться,
пока мы молоды!
После приятной юности,
После тягостной старости
нас возьмет земля.
Где те, которые раньше нас
жили в мире?
Подите на небо.
перейдите в ад,
где они уже были.
Жизнь наша коротка,
скоро она кончится.
Смерть приходит быстро,
уносит нас безжалостно,
никому пощады не будет.
Да здравствует университет,
да здравствуют профессора!
Да здравствует каждый член его,

да здравствуют все члены,
да вечно они процветают!
Да здравствуют все девушки,
ласковые и красивые!
Да здравствуют и женщины,
нежные, достойные любви,
добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
и тот, который им правит!
Да здравствует наш город,
милость меценатов,
которая нам здесь покровительствует.
Да исчезнет печаль,
да погибнут ненавистники наши,
да погибнет дьявол,
все враги студентов
и смеющиеся над ними!

С. **301.** *...сбивался на мотив «Коль славен»...* — «Коль славен наш Господь в Сионе...» — до 1830-х гг. государственный гимн России; музыка Д.С. Бортнянского (1751—1825), слова М.М. Хераскова (1733—1807). Гимн каждый час исполнялся курантами Петропавловской крепости в Петербурге.

С. **302.** *...побить... как пророка Иеремию, только не камнями...* — Иеремия — один из четырех великих пророков Ветхого Завета. Сограждане, не верившие в пророчества праведника, высмеивали его и избивали. В Библии ему принадлежат «Книга пророка Иеремии», «Плач Иеремии», «Послание Иеремии».

...прошли прекрасные дни наших Аранхуэцов... — В городе Аранхуэс находилась резиденция королей Испании.

С. **303.** *...бегала тайком в Пашков дом посмотреть картины.* — Пашков дом (Москва, Моховая улица, 20) — памятник архитектуры классицизма, построенный в 1784—1786 гг. (постройка приписывается архитектору В.И. Баженову); принадлежал капитан-поручику П.Е. Пашкову. В 1839 г. от наследников Пашкова перешел в казну, с 1861 г. в нем разместился «Румянцевский музей», в который была перевезена из Петербурга коллекция картин и библиотека графа Н.П. Румянцева. Ныне — одно из зданий Российской государственной библиотеки (РГБ).

УМНИЦА
Международная история

С. **304.** *Шли «Гугеноты» Рауля пел любимый тенор...* — Очевидно, имеется в виду итальянский тенор Анджело Мазини, исполнявший на гастролях в Петербурге (в 1879—1903 гг.) партию Рауля в опере Мейербера «Гугеноты».

С. **306.** *«...фигура Цереры... мозг Бисмарка!»...* — Церера — древнейшая италийская крестьянская (плебейская) богиня злаков и урожая, а также материнства и брака. Князь Отто фон Шёнгаузен Бисмарк (1815—1898) — первый рейхсканцлер германской империи, отличавшийся умом изощренного дипломата.

С. **308.** *Началась крымская кампания.* — Имеется в виду Крымская война 1853—1856 гг.

С. **310.** *...миллионер показался ей чуть не «Антоном Горемыкой»...* — Антон Горемыка — герой одноименной повести (1847) Дмитрия Васильевича Григоровича (1822—1899/1900).

С. **313.** *Камергер* — придворное звание; предоставлялось только дворянам, состоящим на государственной службе и имеющим чин не ниже статского советника. Камергеры титуловались «Ваше превосходительство».

С. **314.** *Донон* — Модный ресторан в Петербурге (Мойка, 24).

Вивер (фр. viveur) — кутила, гуляка.

Мутаки — подушки в виде валика.

С. **316.** *...Faust-Dirne... Маленькая смесь немецкого с нижегородским...* — Фауст — ученый-астролог, заключивший союз с дьяволом (Мефистофелем); герой немецких народных легенд и одноименной трагедии Гёте. Dirne — девка (о проститутке; нем.).

С. **317.** *...извиняете репутацию Мессалины!* — См. примеч. к рассказу «Курортный муж».

С. **321.** *...князь только Менелай, «муж своей жены»?..* — См. примеч. к рассказу «Курортный муж».

С. **325.** *...после краха знаменитого Бонту...* — Французский предприниматель и финансист Евгений Бонту (1824—1904) основал в 1872 г. в Париже банк, который через восемь лет лопнул.

Ротшильд — династическая фамилия западноевропейских банкиров.

С. **326.** *Фетировать* — чествовать, поздравлять (от фр. fête — праздник); зд.: находиться в центре внимания.

С. **327.** *Конклав* — совет кардиналов для избрания папы римского.

Филлипики — обличительные речи.

...в романе у Доде... какой-то набоб умер, сделавшись жертвой общественного презрения... — Доде Альфонс (1840—1897) — французский писатель, автор романа «Набоб» (1877).

С. **330.** *...начал с сатир Джусти, а кончил... сентиментальщиной Стеккетти!..* — Джузеппе Джусти (1809—1850) — итальянский поэт, автор политических сатир; «итальянский Беранже». Лоренцо Стеккетти — под этим псевдонимом итальянский поэт-лирик Олиндо Гуэррини (1855—1916) опубликовал в 1877 г. сб. «Посмертные стихи», привлекший всеобщее внимание.

«АЛЬФОНС»

С. **331.** *Альфонс* — герой комедии А. Дюма (сына) «Мосье Альфонс»; нарицат.: мужчина на содержании любовницы.

С. **334.** *...билет на бенефис Зембрих!* — Марчелла Зембрих (наст. имя и фам. Марцелина Коханьская; 1858—1935) — выдающаяся польская певица (колоратурное сопрано). В 1898—1909 гг. пела в театре «Метрополитен-опера» (США). В России неоднократно гастролировала с 1880 г.

С. **335.** *Альфонс XIII* (1886—1941), *Альфонс XII* (1857—1885) — испанские короли.

С. **336.** *...карикатуры Сарданапалова пира...* — Имеются в виду пиры легендарного ассирийского царя Сарданапала (VIII в. до н.э.), славившегося распутством. Когда враги осадили его столицу Ниневию, он приказал сжечь себя вместе с женами, наложницами и сокровищами.

С. **337.** *...женщина классической красоты, настоящая Юнона...* — См. примеч. к рассказу «Мамка».

...глаза волоокой Геры... — Гера — в греческой мифологии верховная богиня Олимпа, супруга Зевса. Волоокой ее называет Гомер в «Илиаде» и «Одиссее» (намек на то, что в Аргосе богиню почитают в облике коровы).

БРАТ И СЕСТРА

С. **349.** *Вознесенье* — один из 12 главных праздников русского православия, отмечаемый на 40-й день после Пасхи. Как рассказывается в Библии, Христос после воскресения из мертвых пробыл на земле еще 40 дней, а затем на горе Елеонской в присутствии учеников свершилось Его вознесение на небо.

Иеромонах — монах в сане священника.

С. **350.** *Иордан* — знаменитая по библейским рассказам священная река в Палестине; в ее водах от руки Иоанна Крестителя принял крещение Иисус Христос.

УГОЛОВНАЯ ЧЕРНЬ

С. **363.** *...не о карательном сечении во вкусе князя Мещерского, и не о сечении педагогическом во вкусе... Шперка...* — Сторонники применения физических наказаний за провинности: Владимир Петрович Мещерский (1839—1914) — публицист, прозаик, издатель газет и журналов; Эдуард Фридрихович Шперк (1837—1891) —врач, директор Петербургского института экспериментальной медицины.

С. **364.** *Душ Шарко* — популярная до сих пор лечебная процедура, предложенная знаменитым французским невропатологом и психиатром Жаном Мартеном Шарко (1825—1893).

С. **367.** *Понсон дю Террайль* Пьер Алексис (1829—1871) — французский прозаик; автор многотомных (более 250) авантюрно-приключенческих романов-сериалов «Похождения Рокамболя», «Парижские драмы», «Молодость Генриха IV».

Ксавье де Монтепен (1823—1902) — французский прозаик, автор многочисленных уголовных, авантюрных и мелодраматических романов, популярных в России конца XIX в.

Габорио Эмиль (1832—1873) — французский прозаик, автор романов о сыщике Лекоке, принесших ему славу одного из зачинателей детективного жанра.

С. **369.** *Биргалка* (от нем. Bier — пиво) — пивная.

Телемах (Телемак) — в греческой мифологии сын Одиссея и Пенелопы; персонаж поэмы Гомера «Одиссей».

С. **371.** *Линская* — Неметти (Колышко) Вера Александровна (1857—1910) — актриса и антрепренер; основательница петербургских театров оперетты и «Сад Неметти» (с комедийно-фарсовым репертуаром).

Лентовский Михаил Валентинович (1843—1896) — антрепренер, режиссер, актер, начинавший в Малом театре, автор водевилей. Поставил около 280 пьес, основал 11 театров в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, в том числе московский увеселительный сад «Эрмитаж» (1876) с несколькими театрами, дававшими спектакли на открытых площадках.

С. **376.** *Арман Дюваль, Маргарита Готье* — главные герои романа Александра Дюма-сына (1824—1895) «Дама с камелиями» (1848), на сюжет которой Джузеппе Верди (1813—1901) создал оперу «Травиата» (1853).

Яго — персонаж трагедии Шекспира «Отелло».

С. **377.** *...«ревность он не скоро ощутил, но ощутив, не знал уже пределов».* — Из трагедии Шекспира «Отелло».

...у Вольтерова Отелло Орозмана... — Султан Оросман — главный герой трагедии французского прозаика, драматурга, философа-просветителя Вольтера (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778) «Заира», написанной по образцу трагедии Шекспира «Отелло» с той разницей, что вольтеровский Оросман вовсе не ревнивец (как Отелло) и даже осуждает ревность — в полном соответствии с нравами французов XVIII столетия.

С. **378.** *Андреевские, Карабчиевские, Урусовы потеют над Ломброзо и Маньяном...* — С.А. Андреевский (см. о нем примеч. к рассказу «Нелли Раинцева»), Николай Платонович Карабчиевский (1851—1925), Александр Иванович Урусов (1843—1900) — адвокаты, выдающиеся судебные ораторы, публицисты. Чезаре Ломброзо (1835—1909) — итальянский судебный психиатр и криминалист, родоначальник учения о типе человека с врожденной преступностью. Валентин Маньян (1835—?) — французский психиатр.

...роются в Крафт-Эбинге... — Рихард Крафт-Эбинг (1840—1902) — немецкий психиатр, автор книг «Учебник психиатрии» и «Судебная психиатрия», переведенных на русский язык и много раз переиздававшихся.

...приискивают цитаты у Зола, Гаршина... — Эмиль Золя (1840—1902) — французский прозаик, автор 20-томной серии ро-

манов «Ругон-Маккары». Всеволод Михайлович Гаршин (1855—1888) — прозаик.

ПЕРВАЯ ПОЩЕЧИНА

С. **380.** *...шурша саженным трэном...* — Трен (от фр. train) — шлейф, длинный подол женского платья.

С. **382.** *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт, кумир молодежи 1880-х годов.

...ах, Мазини! ах, Фигнер! — Мазини — см. примеч. к рассказу «Нелли Раинцева». Супруги Фигнер — популярные оперные певцы Мариинского театра: Медея Ивановна (1859—1952) и Николай Иванович (1857—1918).

ЗОЭ

С. **384.** *...ливень хлестал Палатин и Капитолий...* — Палатин и Капитолий — холмы в Риме с памятниками античности.

С. **390.** *...зарезанный в подземном ходе Коммод.* — Одна из версий гибели римского императора Коммода (161—192), последнего из династии Антонинов, развратного и жестокого сына знаменитого императора-философа Марка Аврелия.

МИФЫ ЖИЗНИ

Рассказы сборника печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 10. Мифы жизни. СПб., 1910.

ГОРНЫЕ ПИСЬМА

СКИТАЛЕЦ

С. **401.** *Николай Михайлович Пржевальский* (1839—1888) — путешественник, исследователь Центральной Азии.

С. **402.** *После Петровок собирались свадьбу играть.* — Петровки, Петра и Павла день — христианский праздник, отмечаемый 29 июня (12 июля) в честь «первоверховных апостолов». Перед праздником верующие долго постились, поэтому свадьбы играли после Петровок.

В ЦАРСТВЕ СНОВ

С. **408.** *...духом Млет надо было бы назвать резвого Ариэля...* — Ариэль — водяной дух (в каббале); в пьесе Шекспира «Буря» — дух воздуха.

...царственных Оберона и Титании... — Оберон — легендарный король эльфов, наделенный могуществом. Титания — супруга Оберона.

Пук (др.исл. Puke; др.англ. puca) — черт, кобольд (домовой).

С. **409.** *Калибан* — получеловек-получудовище, олицетворение грубой животности в человеке; персонаж драм «Буря» (1612) Шекспира и «Калибан» (1878) французского писателя и филолога Жозефа Эрнеста Ренана (1823—1892).

Венера — в римской мифологии богиня садов; в литературе утвердилось представление о ней как о богине любовной страсти, матери Амура.

...ослиную челюсть, заброшенную ...Самсоном после боя с филистимлянами. — Самсон — герой ветхозаветных преданий (см.: Книга судей, гл. 13—16), наделенный богатырской силой; один из 12 «судей израилевых». В одном из сражений с филистимлянами Самсон, подняв с земли ослиную челюсть, сразил ею тысячу воинов. Изнемогший после битвы от жажды, он молит бога дать ему воды, и из земли забил ключ, получивший название «Источник воззвавшего», а местность нарекли «Нагорьем челюсти». Самсона предала его возлюбленная Далила: она отрезала ему волосы, в которых заключалась сила богатыря, после чего выдала его филистимлянам.

С. **411.** *Немцы прячут в Кифгейзере Фридриха Барбароссу, а в Оденберге — Карла Великого...* — Фридрих I Барбаросса (1123—1190) — германский император, утонувший во время крестового похода. По немецкому преданию, император не умер, а спит в одном из замков и встанет, когда придет пора восстановить былую мощь Германии. Карл Великий (742—814) — основатель Западной Римской империи, личностью которого восхищались все государи Европы — от Фридриха Барбароссы до Наполеона Бонапарта. В народных поверьях он бессмертен на небе, но и жив на земле: в усыпальнице Аахена тор-

жественно восседает на троне в императорской мантии, с мечом в руках и Евангелием на коленах.

С. **411.** *Марк Кралевич* — король Сербии с 1371 г., герой южнославянского эпоса.

Матьяс — Матьяш Хуньярди (Матвей Корвин; 1443—1490) — король Венгерского королевства с 1458 г.

Венцель (Венцеслав; 1361—1410) — немецкий император; в 1364 г. избран чешским королем, в 1376 г. коронован римским императором.

Артур — король бриттов в V—VI вв., герой кельтских народных преданий о рыцарях «Круглого стола», которые были собраны и систематизированы английским писателем Томасом Мэлори (ок. 1417—1471) в эпопее «Смерть Артура» (1469).

Иван Черноевич (Иван-бег) правил Черногорией в 1465—1490 гг.

Олаф Краснобородый (Олаф Харальдсон Святой; ок. 995—1030) — король Норвегии в 1015 (или 1016) —1028 гг., завершивший введение христианства в стране.

Канут (Кнут; ум. 1035) — предводитель (конунг) древних скандинавов, король Дании, покоривший Англию (был провозглашен ее королем) и Норвегию.

С. **412.** *Давид Возобновитель* — грузинский царь Давид IV Строитель (ок. 1073—1125) из династии Багратиони, восстановивший независимость Грузии от сельджуков.

Ираклий II (1720—1798) — грузинский царь и полководец из династии Багратионов. Заключил Георгиевский трактат о покровительстве России над Восточной Грузией.

СТАРЫЙ МУЖ — ГРОЗНЫЙ МУЖ

С. **412.** *Но счастья нет и между вами, // Природы бедные сыны...* — Из поэмы Пушкина «Цыганы».

РАССКАЗЫ ДАТИКО

С. **420.** *Бешмет* (тат.) — стеганый полукафтан.

С. **423.** *...точно пословицы у Санчо Панса...* — Герой романа Сервантеса «Дон Кихот» оруженосец Санчо Панса — добродушный говорун, сочинитель остроумных изречений.

С. **424.** *Вечный Жид* — персонаж христианской легенды позднего западноевропейского средневековья Агасфер (лат.), оскорбительно отказавший в отдыхе Иисусу Христу во время его страдальческого пути на Голгофу под бременем креста. За это был обречен на вечное скитание до второго пришествия Христа.

Летучий Голландец — легендарный корабль-призрак, обреченный никогда не приставать к берегу; встреча с ним сулила морякам гибель.

ОБ ОДНОМ УЩЕЛЬЕ И ГРУЗИНСКОЙ УНДИНЕ

С. **426.** *Ундина* (от лат. unda — волна) — женский дух воды; русалка. Сюжет средневековой сказки использован в романтической повести немецкого писателя Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843), в России известной в переводе В.А. Жуковского.

С. **429.** *Панглос* — герой философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1767).

С. **430.** *Собакевич* — герой поэмы Гоголя «Мертвые души» (1842).

...рисуют архангела Гавриила на образах Благовещения... — Архангел Гавриил первым сообщил Деве Марии благую весть о грядущем рождении Сына Божьего Иисуса Христа. В память об этом событии церковь ежегодно 25 марта (7 апреля) отмечает день Благовещения — один из 12 главных праздников русского православия.

Дионисий Сиракузский (ок. 432 — 367 до н.э.) — тиран, при котором Сиракузы достигли высшего расцвета.

АРИМАН

С. **439.** *Ариман* — в религии Заратустры бог тьмы, олицетворение всего дурного, первоисточник зла. Вечный противник Аримана — Ормузд, бог света, олицетворение добра.

Валансьенское кружево — см. примеч. к рассказу «Питерские контрабандистки».

С. **439.** *Белая папаха Казбека...* — Казбек (груз. Мкинвари, Мкинвацвери — ледяная гора) — вершина в центральной части Кавказского хребта, возвышающаяся над долиной реки Терек и Военно-Грузинской дорогой.

С. **441.** *Илья* — библейский пророк, за праведность взятый живым на небо; его память отмечается 20 июля (2 августа).

Архангел Михаил — вождь (архистратиг) небесного воинства; его память отмечается 8 (21) ноября.

Георгий Победоносец — по преданию римский воин, ставший христианином и принявший мученическую смерть за веру при императоре Диоклетиане. Один из самых почитаемых святых великомучеников в России, где в 1769 г. в его честь был учрежден орден: Георгиевский крест четырех степеней. День памяти св. Георгия, покровителя г. Москвы — 23 апреля (6 мая).

С. **442.** *Шат-гора* (перс.-тюрк.: Царь-гора) — Эльбрус, высочайшая вершина Кавказского хребта.

С. **443.** *Мта-Стефан-Цминда* — Степан-Цминда (святой Степан), село у подножия Казбека.

С. **444.** *Мцхета* — город на Военно-Грузинской дороге. В древней столице Грузии в XI в. воздвигнуты памятники зодчества — патриарший собор «Светицховели» («Животворящий столб», усыпальница грузинских царей) и храм «Самтавро», бывшая резиденция правителя. А на горе у слияния рек Арагви и Куры — храм «Джвари» («Крест»), построенный в начале VII в.

СИОН

С. **444.** *...еще при царице Тамаре, — этой грузинской Семирамиде...* — Тамара (Тамар; ок. середины 60-х гг. XII в. — 1207) — грузинская царица с 1184 г.; отличалась мудростью и красотой. Семирамида — в греческой мифологии царица Вавилона, построившая ирригационные и оборонительные сооружения, а также одно из семи чудес света — знаменитые висячие сады (на самом деле их построил Навуходоносор II).

Есть на Казбеке Стефан-Цминда — та самая заоблачная келья, о которой мечтал Пушкин и у стен которой похоронил свою Тамару

Лермонтов. — О легендарной Тамаре Пушкин рассказывает в «Путешествии в Арзрум» (1835), а Лермонтов — в балладе «Тамара» (1841).

С. **446.** *Церковь Хевского Сиона* — один из храмов Хевсуретии в Грузии. Название «Сион» носили несколько средневековых церквей в Грузии.

С. **448.** *Дискант* — высокий певческий голос.

КОНОКРАДЫ

С. **451.** *...становится настоящим престолом Борея с белыми власами и седою бородой.* — Борей — в греческой мифологии бог северного ветра.

С. **452.** *Империал дилижанса* — места на крыше пассажирской или почтовой кареты.

МУРАД-РАЗБОЙНИК

С. **458.** *Байгуш* — нищий.

Сарбаз — персидский солдат-пехотинец.

С. **461.** *...волки живут: шайтаны-курды!* — Курды — горский народ, проживающий на территории Турции и других стран, в том числе на юге Закавказья. В прежние времена многие из них занимались разбоем.

ИТАЛИЯ

КАТАКОМБЫ

С. **468.** *...начало знаменитых катакомб св. Каллиста.* — Катакомбы св. Каллиста — подземное кладбище, где хоронили римских епископов и мучеников; достопримечательность Рима II—III вв.

С. **469.** *Катакомбы св. Присциллы* — самые древние катакомбы на Салариевой дороге (вблизи Рима); названы в честь матери сенатора, которая в своем доме оказала гостеприимство апостолу Петру, первому главе римской христианской общины, казненному в 64 или 67 гг.

...кит, изрыгающий Иону... — Пророк Иона — персонаж ветхозаветной Книги Иова. Его, как не исполнившего повеление бога Яхве,

бросили в бушующее море, где он был проглочен китом. Через три дня Иона раскаялся и был прощен; он стал истовым проповедником веры.

С. **470.** *...недалеко от могилы св. Цецилии.* — Цецилия — святая мученица католической церкви, обратившая в христианство своего жениха и его брата. Палач трижды пытался ее обезглавить, но безуспешно; она погибла от ран лишь на третий день в 230 г. Прах мученицы перенесен из катакомб в склеп церкви, носящей ее имя. Известны портреты Цецилии, написанные Рафаэлем, Доменикино, Карло Дольче и др. Святая считается покровительницей духовной музыки.

Себастиан (Себастьян; род. в 250 г.) — христианский великомученик. В армии императора Диоклетиана командовал отрядом преторианцев и тайно обращал их в Христову веру. Погиб после жестоких пыток. Впоследствии перезахоронен в катакомбах, где над могилой в V в. возведен храм его имени.

...средством царевны Ариадны — клубком снурков. — Дочь критского царя Миноса и Пасифаи Ариадна спасла своего возлюбленного Тесея, заключенного в лабиринт, тайно вручив ему клубок нити («нить Ариадны»).

С. **471.** *Латеранский музей* — хранилище христианских и языческих древностей, учрежденное в Риме в 1813 г. папой Григорием XI.

С. **484.** *Аллегри* (ит. «будьте веселы») — билет общедоступной лотереи, проводимой в Италии во время празднеств.

МЕРТВЫЕ БОГИ

(Тосканская легенда)

С. **486.** *...огненный дракон Апокалипсиса, готовый пожрать месяц и звезды...* — Сюжет из новозаветной книги «Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова», в которой содержатся пророчества о конце света.

Булла Папы и эдикты королей... — Булла — послание или распоряжение, издаваемое римским папой. Эдикт — особо важный указ императоров и королей.

Сарацины — в античной литературе название арабского населения Аравии, принятое и в средневековой Европе.

С. **486.** *Джеронима Альдобранди* — легендарная римская принцесса; она изображена на древней фреске «Альдобрандинская свадьба», найденной в Риме в 1606 г. Хранится в музее Ватикана.

С. **487.** *Власяница* (вретище) — одеяние в виде мешка из грубой шерсти или из жестких волос, носимое в знак печали или для умерщвления плоти.

...антихрист... под видом Папы — безбожника, ученого-чернокнижника Герберта-Сильвестра. — Сильвестр II (Герберт; ок. 940 и 945—1003) — французский монах-бенедиктинец, математик, физик, химик, философ, избранный в 999 г. папой римским. Обвинялся в колдовстве и чернокнижии (современники не могли постигнуть высоту его учености).

С. **488.** *...выходили из низших общественных слоев, как Сфорца и Медичи...* — Род будущих итальянских герцогов Сфорца ведет начало от крестьянина из Романьи. Предки знаменитых Медичи были торговцами.

С. **492.** *Марена* — многолетние травы, полукустарники и кустарники из семейства мареновых.

С. **493.** *Красный порфир* — горная порода вулканического происхождения.

С. **494.** *Дротик* — короткое метательное копье с острым наконечником.

С. **497.** *Гипербореи* — в греческой мифологии народ, живущий на крайнем севере, «за Бореем», т.е. за обиталищем бога северного ветра Борея.

С. **498.** *Глетчер* — ледник.

С. **501.** *Диана* — в римской мифологии богиня растительности, родовспомогательница, олицетворение луны.

Приор (от лат. prior — первый, старший) — настоятель небольшого католического монастыря.

ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК

С. **503.** *...на мшистой стене флорентийской Чертозы...* — Чертоза — так назывались многочисленные монастыри, основанные иноками картезианского ордена, чертозианцами.

С. **505.** *Созвездие Воза* (Возница) — созвездие Большой Медведицы.

Денница — утренняя заря.

С. **507.** *Бурнус* — у арабов плащ с капюшоном.

С. **508.** *Халдеи* — семитические племена, населявшие в первой половине первого тысячелетия до н.э. Южную Месопотамию и основавшие Нововавилонское царство (626—538).

С. **515.** *...плавая наудачу то к Сикулам, то к Иберам, то к жителям далекого Тира.* — Сикулы — одно из древнейших племен Италии и о. Сицилия (остров назван по имени этого племени). Иберы — название племен, населявших Восточную Грузию. Тир — приморский город древней Финикии, разрушенный Александром Македонским в 332 до н.э.

С. **522.** *Этруски* — древние племена, населявшие в первом тысячелетии до н.э. северо-запад Апеннинского полуострова (современная Тоскана).

ИЗМЕНА
(Сицилийская легенда)

С. **523.** *«И был свет».* — Из Библии: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Книга Бытия, гл. 1, ст. 3).

С. **524.** *Азраил* — ангел смерти (у мусульман).

БОЛОТНАЯ ЦАРИЦА
(Сказка мареммы)

С. **528.** *Мареммы* — болотистая местность в средней Италии на побережье Средиземного моря.

С. **532.** *...рождают безобразных кобольдов.* — Кобольды — в германской мифологии домовые, карлики-духи домашнего очага и гор.

СТРЕЛКИ В ТОСКАНЕ

С. **532.** *Духов день* — христианский праздник в честь сошествия на апостолов Святого Духа; отмечается на следующий день

после праздника Троицы (Пятидесятницы, пятидесятый день после Пасхи).

С. **532.** *Подеста* — в городах средневековой Италии глава судебной и исполнительной власти.

С. **533.** *Гарибальдийское движение* — итальянское Рисорджименто (национально-освободительное движение), одним из вождей которого был Джузеппе Гарибальди (1807—1882). В 1880 г. он возглавил поход «Тысячи», освободившей Юг Италии.

Объединение Италии и правление Виктора-Эммануила... — Виктор Эммануил II (1820—1878) — первый король объединенной Италии.

С. **534.** *Капеллан* — католический приходской священник.

Сакристьян — священнослужитель, ведающий в католическом храме предметами культа и библиотекой.

С. **535.** *Нобили* — римская знать, аристократы.

С. **536.** *Штуцер* (от нем. Stutzen) — нарезное ружье в XVI—XIX вв.

...великим Джузеппе, когда мы встретились с ним в Америке. — Имеется в виду вождь итальянского национально-освободительного движения Джузеппе Гарибальди, более 10 лет сражавшийся также за независимость южно-американских республик.

ПАДРЕ АГОСТИНО

С. **540.** *...с ее ушедшими под облака Fiesole и Certosa d'Ema...* — Фьезоле — древний город с крепостью в окрестностях Флоренции. Чертоза д'Эма — монастырь картезианцев (чертозианцев).

Loggia d'Orcagna перестала изумлять меня своим Персеем... — Лоджия делла Орканья (впоследствии Лоджия деи Ланци) — парадное трехарочное помещение для официальных церемоний, построенное в 1376—1382 гг. на площади Синьории во Флоренции (рядом с Палаццо Веккьо). «Персей» — бронзовая скульптура Бенвенуто Челлини (1500—1571), установленная в Лоджии делла Арканьи в 1554 г.

...Palazzo Uffizi — Медицейской Венерой... — Уффици — один из старейших художественных музеев Флоренции; крупнейшее собрание итальянского искусства эпохи Возрождения. Галерея осно-

вана в 1581 г. Медицейская (Медичейская) Венера — скульптурное изображение богини красоты и любви, находившееся в собрании семейства Медичи (отюда — Медицейская); ныне в музее Уффици (Флоренция).

С. **540.** *Palazzo Pitti* (Палаццо Питти) — здесь в 1828 г. был открыт знаменитый художественный музей Флоренции — Галерея Питти с ее собранием итальянской и фламандской живописи XV—XVII вв.; в музее также хранятся многие произведения Рафаэля Санти (1483—1520).

Томмазо Сальвини (1820—1915) — итальянский трагик.

...дебютирует в Pergola... — Пергола — театр-веранда в Италии.

С. **541.** *Клака* — в театрах группа наемных хлопальщиков (клакеров).

...бенефис... Bulycioff... — Булычева Надежда Васильевна (1859—1921) — оперная певица (сопрано). С 1880 г. пела в театрах Италии, Испании, Южной Америки; с 1891 г. в Большом театре. В последние годы жизни преподавала в Милане.

...слушая ее в «Лоэнгрине»... — В опере немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883) «Лоэнгрин» (1848) Булычева исполняла партию графини Ортруды.

Хоть сам Котоньи приезжай... — Антонио Котоньи (1831—1918) — итальянский оперный певец (баритон); в 1872—1894 гг. пел в Итальянской опере в Петербурге. В 1894—1898 гг. преподавал в Петербургской консерватории.

Гарибальди Джузеппе — о нем см. примеч. к рассказу «Стрелки в Тоскане».

С. **542.** *...спаливших на своей Piazza della Signoria Джироламо Савонаролу...* — Джиролама Савонарола (1452—1498) — настоятель монастыря доминиканцев Сан-Марко во Флоренции; пламенный обличитель пороков общества папской церкви и современного ему искусства, организатор публичного сожжения произведений живописи. Из любимца публики Савонарола превратился в ненавистного еретика. Он был отлучен от церкви, затем по приговору приората повешен, а труп его вселюдно сожгли на площади Синьории (Piazza della Signoria).

...на месте ужасного костра нецензурный фонтан Нептуна... — Имеется в виду фонтан с бассейном, в центре которого — высокая

статуя Нептуна работы Бартоломео Амманати (1511—1592).

С. 542. ...*под грандиозным куполом Брунеллески.* — Имеется в виду величественный купол-восьмигранник Флорентийского собора, воздвигнутый итальянским архитектором, скульптором и ученым Филиппо Брунеллески (1377—1446), — первый крупный памятник ренессансного зодчества и выдающееся достижение инженерной мысли эпохи Возрождения.

Микеланджело Буонарротти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.

С. 543. ...*комитет реставрации знаменитой Facciata del Duomo и башни Джотто.* — Джотто ди Бондоне (1266 или 1267—1337) — итальянский живописец, автор проекта и первый руководитель строительства выдающегося памятника эпохи Возрождения — флорентийского собора Санта Марии дель Фьоре и его кампанилы (колокольни), облицованной мрамором трех цветов — белым, розовым и зелено-черным.

Стеккетти — см. примеч к рассказу «Умница».

Кардуччи Бартоломео (1560—1608) — итальянский живописец, скульптор и архитектор, много лет живший и творивший в Испании.

Донателло (собств. Донато ди Никколо ди Бетто Барди; ок. 1386—1466) — итальянский скульптор эпохи Раннего Возрождения; представитель флорентийской школы.

...*о покушении на жизнь братьев Медичи...* — Имеется в виду покушение 27 апреля 1478 г., в результате которого заговорщики убили Джулиана и ранили Лоренцо Медичи. Поэт и покровитель искусств Лоренцо I Великолепный (1449—1492) стал одним из самых просвещенных правителей Флоренции. Братья похоронены в саркофаге знаменитой Капеллы Медичи, созданной Микеланджело Буонаротти в 1524—1534 гг.

С. 544. *Поссарт* Эрнест — см. о нем примеч. к рассказу «Двенадцатое января».

...*воспитывающими свою речь по Легуве и Лаблашу.* — Эрнест Легуве (1807—1903) — французский драматург, прозаик, публицист Луиджи Лаблаш (1794—1858) — итальянский оперный певец-бас; издал 28 упражнений для баса. С 1852 г. гастролировал в России.

С. **546.** *Джусти* — см. примеч. к рассказу «Умница».

Ломброзо Чезаре — см. примеч. к рассказу«Уголовная чернь».

Гамбетта Леон (1838—1882) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции, лидер левых республиканцев.

РУСЬ

НАПОЛЕОНДЕР
(Солдатская легенда о старой гвардии)

С. **548.** *Архангел Михаил* — вождь небесного воинства в его борьбе с темными силами ада, национальный покровитель иудеев.

Тряхни-ка их, Господи, трусом. — Трус (от глаголов трусить, трясти) — «буря и волненье, лютованье стихий» (В.И. Даль); землетрясение.

...Содом-Гоморру растрясли... — В ветхозаветном предании города Содом и Гоморра, жители которых погрязли в распутстве, были испепелены небесным огнем.

Глад — голод.

Рафаил (евр. «помощь Божия, врачевание, исцеление») — один из семи архангелов.

С. **549.** *Аред* (Иаред) — библейскии патриарх.

Ирод-царь — Ирод I Великий (ок. 73—4 до н.э.), прокуратор Иудеи, назначенный римским сенатом царем. Отличался жестокостью (убил жену и двух сыновей во время избиения младенцев в Вифлееме).

Иван-царь — Иван IV Грозный.

Мамай-царь — татарский темник (военачальник), правитель Золотой Орды, организатор походов в русские земли.

Петр-царь — Петр I.

Аника-воин — фольклорный персонаж, русский богатырь, вступивший в противоборство с самой смертью.

С. **552.** *...царь Александр Благословенный, что теперь в Петербурге-городе на Александровской колонне стоит и крестом благословляет...* — на Дворцовой площади Петербурга в память об Александре I в 1834 г. по проекту французского архитектора

О. Монферрана сооружена Александровская колонна, вершина которой увенчана фигурой ангела с крестом.

С. **553.** *Мешкотно* — медленно, непроворно, вяло.

С. **554.** *Пупавка* (пупавник, желтый цвет) — полевое сорное растение.

С. **559.** *Кволенький* (кволый, квелый) — «хилый, слабый, нежный, болезненный» (В.И. Даль).

СЫЩИК

Рассказ посвящен А.П. Чехову, с которым Амфитеатров в начале 1880-х гг. сотрудничал в юмористическом журнале «Будильник». Входил в состав сборников «Случайные рассказы» (1890), «Сон и явь» (1893), «Святочная книжка» (1902).

С. **562.** *Талейран* Шарль Морис (1754—1838) — французский дипломат, министр иностранных дел; мастер изощренной интриги.

Меттерних Клеменс, князь (1773—1859) — австрийский дипломат, канцлер в 1821—1848 гг.

С. **566.** *Брандмауэр* — массивная противопожарная стена между строениями.

С. **568.** *Макарьевская ярмарка* — знаменитая в XVI—XVIII вв. ярмарка в г. Макарьев; после пожара, случившегося здесь в 1817 г., переведена в Нижний Новгород.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ГИПНОТИЗМ

С. **570.** *Царь Навуходоносор не скучал в своей жизни ровно семь лет... пасся на подножном корму.* — Эпизод из легенд о вавилонском царе Навуходоносоре II, правившем в 605—562 гг. до н.э. При нем Вавилония достигла наивысшего расцвета: развивалась торговля, возводились укрепления, были построены знаменитые Вавилонская башня и висячие сады.

«Русские ведомости» — политическая и литературная газета, выходившая в Москве в 1863—1918 гг.

С. **570.** *...Бисмарк ладил тройственный союз.* — Тройственный союз, организованный канцлером Германии Бисмарком, был направлен против Франции и России.

С. **571.** *Кроме добродетели, и в рубище почтенной...* — См. в драме Островского «Гроза» слова Кулигина: «И в рубище почтенна добродетель!»

...везли в Москву из Таганрога тело императора Александра Павловича. — Император России Александр I (1877—1825) скоропостижно скончался в Таганроге 19 ноября.

С. **572.** *Дионисий* (ок. 430—367 до н.э.) — тиран Сиракуз с 405 г., основатель мощного греческого государства вокруг Мессинского пролива.

«Петь Лазаря» — канючить, попрошайничать. Лазарь — библейский персонаж, нищий, больной и бедный из притчи Иисуса Христа о богаче и Лазаре (Евангелие от Луки, гл. 14, ст. 18—31).

С. **573.** *Вознесеньев день* — 40-й день после Пасхи (см. примеч. к рассказу «Брат и сестра»).

Ономнясь — «оными днями» (В.И. Даль); недавно.

С. **574.** *Стуколка* — азартная карточная игра.

Калеб сира Эдгарда Равенсвуда... — Эдгард Равенсвуд и его слуга (калеб) — персонажи романа «Ламмермурская невеста» (1819) английского писателя Вальтера Скотта (1771—1832).

С. **575.** *Рамс* (от нем. Ramsch) — азартная карточная игра.

«Сорочинская ярмарка» — повесть Н.В. Гоголя из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

С. **576.** *Стоерос* (стоеросовый) — растущий стоймя, прямо; употр. в бранных выражениях: дубина стоеросовая, болван, дурак стоеросовый и т.п.

Слыхал ли ты, Савка, про лисицу и виноград? — Имеется в виду басня И.А. Крылова «Лиса и виноград».

С. **577.** *Санкюлоты* (от фр. sans-culotte — букв.: без коротких штаны) — так называли патриотов во время Великой французской революции из числа городской бедноты (они не носили короткие штаны из слишком дорогой для них ткани).

...как Исаия возликует. — См. примеч. к рассказу «Курортный муж».

...попурри из «Цыганского барона»... — Имеется в виду оперетта «Цыганский барон» (1885) австрийского композитора Иоганна Штрауса (1825—1899).

С. **577.** *...с платьями по модам из «Нивы»...* — «Нива» (1870—1918) — ежемесячный иллюстрированный журнал, один из самых популярных в России.

...с восторгами к господину Бурже в русском переводе... — Поль Шарль Жозеф Бурже (1852—1935) — французский прозаик, поэт, драматург, психолог; автор популярных в России романов.

С. **579.** *Михайлов день* — празднуется 8 (21) ноября в честь Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

С. **580.** *...играл на скрипке старинные полонезы Огинского.* — Михаил Клеофас Огиньский, граф (1765—1833) — польский композитор и политический деятель. С 1802 по 1815 гг. жил в Петербурге, где стал сенатором. Автор популярных полонезов, в том числе знаменитого «Прощание с родиной» (1794), а также вальсов, мазурок, менуэтов, маршей, романсов и оперы «Зелида и Валькур, или Бонапарт в Каире» (1799).

Из-за Гекубы!!! //Что ему Гекуба? // Что он Гекубе?! — Гамлет в одноименной трагедии Шекспира риторически вопрошает: «Что ему Гекуба и что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?» Гекуба, героиня поэмы Гомера «Илиада» и трагедий Еврипида, — жена троянского царя Приама, оплакивающая убитого сына, за которого она мстит убийце: убивает его детей и ослепляет его самого.

С. **581.** *Петров день* — христианский праздник , отмечаемый 29 июня (12 июля) в честь «первоверховных апостолов» Петра и Павла.

С. **582.** *Мы под Плевною, за генералом Ганецким...* — Иван Степанович Ганецкий (1810—1887) — генерал-адъютант; в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. командовал гренадерским корпусом, действовавшим под Плевной.

С. **583.** *...запел я ему из «Вражьей силы».* — «Вражья сила» — незаконченная опера Александра Николаевича Серова (1820—1871) на сюжет драмы А.Н. Островского «Не так живи, как хочется». Оперу завершили жена композитора В.С. Серова и Н.Ф. Соловьев.

Гнетка (гнетуха) — «лихорадка, лихоманка, воргуша» (В.И. Даль).

С. **585.** *Верша* — рыболовная снасть, сплетенная из прутьев или проволоки в виде воронки.

С. **587.** *...сбегал... за гофманскими каплями.* — Имеются в виду успокоительные капли немецкого врача и фармаколога Фридриха Гофмана (1660—1742).

С. **588.** *...Валентин своей собственной Маргариты...* — Валентин и Маргарита — герои трагедии И.В.Гёте «Фауст».

С. **590.** *Но слушай: в родине моей // Среди пустынных рыбарей...* — Иэ поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

С. **591.** *Александр Павлович Ленский* (1847—1908) — актер Малого театра, режиссер, педагог.

Николай Карлович Милославский (наст. фам. Фридебург; 1811—1882) — известный актер, исполнитель ролей Гамлета, короля Лира и др.

Василий Васильевич Самойлов (1813—1887) — актер петербургских драматических театров.

Иван Васильевич Самарин (1817—1885) — актер Малого театра с 1837 г., педагог.

Николай Хрисанфович Рыбаков (1811—1876) — актер, пропагандист драматургии А.Н. Островского.

«Я царь, я раб, я червь, я бог!» — Из стихотворения Г.Р. Державина «Бог» (1784).

...как у Щедрина меринос захирел и издох от того, что увидел во сне вольного барана? — Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Баран-непомнящий».

«Шопенгауэр. Мир как воля и представление». — Имеется в виду главное сочинение немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788—1860).

С. **592.** *Киник* — сторонник кинической школы в древнегреческой философии, последователи Сократа, учившие аскетизму, умению довольствоваться малым и избегать зла.

«Духа не унижайте!» — сказал апостол. — См. Первое послание Апостола Павла к фессалоникийцам: «Духа не угашайте» (гл. 5, ст. 19).

С. **594.** *Требы* — священнодействия и молитвословия, совершаемые по просьбе (требованию) верующих.

С. **603.** *Галилео Галилей* (1564—1642) — итальянский ученый, подвергшийся суду инквизиции за то, что активно защищал гелиоцентрическую систему мира польского астронома Николая Копер-

ника, который первым доказал, что планеты, в том числе Земля, обращаются вокруг Солнца, а не наоборот.

С. **603.** *...найден был на могиле осиновый кол...* — Осиновые колы вбивали в могилы колдунов, чтобы они не могли выбраться.

ТАТЬ В НОЩИ
(Давний случай)

С. **605.** *Сераль* — резиденция султана и его гарема.

С. **606.** *Акцизный* — сборщик налогов (акцизов).

С. **608.** *...вывози на устреток!* — Т.е. навстречу.

С. **609.** *Венера Медицейская* — см. примеч. к рассказу «Падре Агостино».

Маклачить — заниматься профессией маклака (устар. презрит.) — торговать старьем, подержанными товарами.

С. **614.** *Бахус* (Вакх) — одно из имен Диониса, греческого бога плодоносящих сил земли, виноградарства и виноделия.

СИБИРСКАЯ БЫЛИНА О ГЕНЕРАЛЕ ПЕСТЕЛЕ И МЕЩАНИНЕ САЛАМАТОВЕ

С. **617.** *Пестель Иван Борисович* (1765—1843) — тайный советник.

С. **618.** *Аракчеев Алексей Андреевич* (1769—1834) — генерал-лейтенант, граф, государственный и военный деятель. В последние десять лет царствования Александра I влияние Аракчеева распространилось на все отрасли внутреннего управления.

Игумнов Александр Васильевич (1761—1834) — исследователь Сибири, автор трудов о монголах.

Корф Модест Андреевич, барон (1800—1876) — государственный деятель; по его предложению Николай I создал негласный комитет для надзора за книгопечатанием (1848—1856), открывший эпоху цензурного террора. Автор книги «Жизнь графа Сперанского» (1861), с которым много лет сотрудничал. Учился с Пушкиным в Царскосельском лицее.

Ядринцев Николай Михайлович (1842—1891) — этнограф, публицист, автор исследовательских трудов о Сибири.

С. 618. *Милорадович* Михаил Андреевич (1771—1825) — генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г. С 1818 г. генерал-губернатор Петербурга. Во время восстания декабристов смертельно ранен П.Г. Каховским.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель эпохи Александра I, инициатор либеральных преобразований. С 1819 г. — генерал-губернатор Сибири.

ПРОКОПИЙ

С. 626. *Прокопий* Устюжский (ум. 1303) — варяг, прибывший в Новгород по торговым делам. Здесь увлекся православием и стал иноком Хутынского монастыря. Прославился чудотворством, юродством и обличениями пороков.

С. 627. *Вериги* (церк.) — железные цепи, оковы, надеваемые аскетами, а также в значении: нравственное или душевное бремя (книжн.).

...читал покаянный канон Андрея Критского... — Андрей Критский (ок. 660—740) — византийский проповедник и гимнолог, архиепископ на о. Крит. Из его песнопений самый знаменитый — «Великий покаянный канон», содержащий около 250 тропарей; исполняется в предпасхальный пост.

С. 628. *...шумное новгородское вече, Волхов, Святая София...* — В Древней Руси Новгород Великий на р. Волхов прославился тем, что в 1136—1478 гг. был столицей Новгородской республики, которая управлялась советом бояр, вече, избиравшем епископа. Главная достопримечательность Новгорода — Софийский собор, построенный в 1045—1050 гг.

Аксамит (от греч. hexamitos — из шести нитей) — бархат, дорогая шелковая ткань.

Басурманское Низовье — бывшее Астраханское ханство в нижнем течении Волги.

С. 629. *...подобно векше, делал запасы на зиму орехов...* — Векша (обл.) — белка.

Майдан (араб.) — площадь, рынок.

С. 630. *Зовут меня Мстиславом Я князь на Торопце. А ныне призвала меня Святая София в Новгород чинить суд и расправу...* — Мстислав Мстиславич Удалой (?—1228) княжил в Триполье, Галиче,

Новгороде, Пскове, Торопце и др. Командовал новгородским войском в Липицкой битве в 1216 г., победа в которой привела к усилению политической роли Новгорода.

С. **633**. *Эпитимья* (епитимья) — церковное наказание.

СТИХ О ВОСКРЕСШЕМ ХРИСТЕ
(По сибирской легенде)

С. **636.** *Анна-Каиаф* — Амфитеатров соединил двух иудейских первосвященников. Властолюбивый и заносчивый Анна (у древнееврейского историка Иосифа Флавия — Анан)был председателем Синедриона, который судил Иисуса Христа и непочтительно с ним обращался. Каиафа (у Флавия — Иосиф) — зять Анана, также участвовавший в судилище над Иисусом Христом, а позже яростно преследовавший апостолов.

Понтий Пилат — с 26 г. н.э. наместник Иудеи, приговоривший к распятию Иисуса Христа. Покончил с собой в 39 г.

С. **637.** *Окарачь* — «нар. сиб. на карачках, на четвереньках» (В.И. Даль).

Мария Магдалина — персонаж из Библии Мария из Магдалы; раскаявшаяся блудница, ставшая самой преданной последовательницей Христовой веры; ей первой явился Иисус после своего Восересения. Память мироносицы равноапостольной (равной апостолам) Марии Магдалины церковь отмечает 22 июля (4 августа).

Иуда Искариот — один из 12 апостолов Иисуса Христа, предавший его за 30 сребреников (мелких монет); символ предательства.

С. **640.** *Игемон* — искаженное гегемон (греч. предводитель), властелин, вождь.

Варавва — персонаж из Библии; разбойник и убийца. Пилат, судивший Иисуса Христа, предложил иудеям воспользоваться пасхальным обычаем — помиловать на выбор Варавву или Христа. Народ в своем заблуждении предпочел освободить первого, а Христос был предан казни на распятии.

С. **642.** *Самоядь* — летописное название самоедов (на саамском языке — земля саами); старое название саами и других народов Севера России и Сибири.

С. **644.** *Каин* — старший сын Адама и Евы, убивший своего брата Авеля.

УКРАЙНА

ВЕТЛА

С. **649.** *Святая Троица* — один из 12 праздников русского православия, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. Главный догмат христианской религии Троица — это, по определению С.С. Аверинцева, «в христианских теологических представлениях Бог, сущность которого едина, но бытие которого есть личностное отношение трех ипостасей: Отца — безначального Первоначала, Сына — Логоса, т.е. абсолютного смысла (воплотившегося в Иисусе Христе), и Духа Святого — «животворящего» начала... Все они участвуют в сотворении и бытии космоса по следующей формуле: всё от Отца (ибо наделено от него бытием), через Сына (ибо устроено через его оформляющую энергию смысла) и в Духе (ибо получает от него жизненную целостность)» (Мифологический словарь. М., 1990. С. 537).

ЛЕТАВИЦА

С. **652.** *Корсунский замок, что еще Понятовских помнит...* — Понятовские — польский княжеский род. Станислав Август Понятовский (1732—1798) стал последним королем Польши. Юзеф Понятовский (1763—1813) — польский генерал, маршал Франции, воевавший в армии Наполеона.

ЧЕРТ

С. **661.** *Франц Иосиф I* (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии; один из виновников первой мировой войны.

С. **662.** *...Кит проглотил Иону...* — См. примеч. к рассказу «Катакомбы».

С. **663.** *...матерого волка, как изображен он Густавом Дорэ в иллюстрациях к сказкам Перро...* — Гюстав Доре (1832—1883) — французский график, автор гротескно-выразительных иллюстраций к Библии, «Божественной Комедии» Данте, «Дон Кихоту»

Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, а также к «Сказкам моей матушки Гусыни...» (1697) Шарля Перро (1628—1703).

С. **663.** ...*ликантропический спутник...* — т.е. похожий на волка. Ликантропия — отождествление себя с волком (психическое заболевание).

Альбов Михаил Нилович (1851—1911) — прозаик.

Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927) — прозаик.

Станюкович Константин Михайлович (1843—1903) — прозаик-маринист.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — прозаик, драматург.

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (наст. фам. Мамин; 1852—1912) — прозаик.

С. **663.** ...*наскучив тьмами низких истин, бросил в нас возвышающие обманы...* — Вольное переложение (реминисценция) строк стихотворения Пушкина «Герой» (1830): «Тьмы низких истин нам дороже // Нас возвышающий обман».

С. **664.** *Блаватская* Елена Петровна (псевд. Радда Бай; 1831—1891) — прозаик, автор религиозно-мистических сочинений, издательница теософских сочинений. В 1875 г. основала в Нью-Йорке вместе с Г. Олкоттом Теософское общество. Такое общество возникло и в России в 1910-х гг. (при журнале «Вопросы теософии»). Спиритические «феномены» выдающейся теософки разоблачил Вс. С. Соловьев в книге «Современная жрица Изиды. Мое знакомство с Блаватской и теософическим обществом» (1904).

Пеладан Жозефен (1859—1918) — французский прозаик, автор мистических романов и многотомного труда «Амфитеатр мертвых наук» (1892—1911); основатель тайного ордена розенкрейцеров.

...*выдвинул вперед Данте Россетти и прерафаэлитов...* — Данте Габриел Россетти (собств. Габриел Чарлз Данте; 1828—1882) — английский живописец и поэт; один из основателей «Братства прерафаэлитов» (1848), пытавшегося в противовес академизму возродить наивную религиозность Раннего Возрождения (до Рафаэля).

Вельзевул — в христианских легендах демоническое существо, синоним дьявола, сатаны.

...*бичующего себя четками трапписта...* — Трапписты — монахи французского ордена со строгим, аскетическим уставом, учрежденного в 1122 г. В XVI в. орден обрел дурную славу «бандитов Ля Трапп».

С. **664.** *...козлиным хвостом сатаны с брокенского шабаша...* — См. примеч. к рассказу «В омуте».

С. **665.** *...вообразил себя своего рода Пигмалионом...* — Пигмалион — в греческой мифологии легендарный царь Кипра, сторонившийся женщин. Однажды он сделал из слоновой кости статую прекрасной женщины и влюбился в нее. Богиня любви Афродита, внявшая его мольбам, оживила статую, и царь женился на красавице.

Захер-Мазох Леопольд фон (1836—1895) — австрийский прозаик, автор эротических романов, в которых описывается патологическое половое извращение, названное его именем: мазохизм.

Францоз Карл Эмиль (1848—1904) — немецкий прозаик, драматург, публицист.

...сатана Байрона и Мильтона... — Имеются в виду герои драмы «Каин» Байрона и поэмы «Потерянный рай» Джона Милтона (1608—1674).

С. **666.** *...роковой 1840 год, когда столько галицийских панов погибло под ножами и в пожарах народного восстания...* — Очевидно, неточность: Галицийское антифеодальное восстание вспыхнуло в феврале-апреле 1846 г. и вскоре было жестоко подавлено австрийскими властями.

КАЗНЬ

С. **682.** *Складень* — складная икона из двух и более частей.

С. **685.** *Пепиньерка* — ученица специальных классов женского института. Пепиньерок из бедных и способных воспитанниц готовили для службы в качестве классных дам, гувернанток или домашних учителей.

С. **689.** *Роббер* — игра, состоящая из двух партий.

ПТИЧКИ ПЕВЧИЕ

(Московские нравы)

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 13.

С. **697.** *«Птички певчие»* — под таким названием в Петербурге была поставлена в 1869 г. оперетта Жака Оффенбаха «Перикола».

С. **698.** *...слушает «Пару гнедых» от г. Давыдова и «Нищую»...* — «Пара гнедых» — стихотворение Алексея Николаевича Апухтина (1840—1893), ставшее популярным романсом (муз. С.И. Донаурова). Романс входил в репертуар знаменитого тенора Александра Давыдовича Давыдова (наст. фам. Карапетян; 1849—1911), выступавшего в оперных и драматических спектаклях Малого, Большого театров и на сцене Московского артистического кружка, особенно много — в оперетте. «Нищая» — стихотворение Пьера Жана Беранже (1780—1857), ставшее романсом; на русский язык впервые перевел актер и водевилист (написал 54 водевиля) Дмитрий Тимофеевич Ленский (наст. фам. Воробьев; 1805—1860).

С. **699.** *Барнай* Людвиг (1842—1924) — немецкий актер, известность приобретший исполнением ролей в трагедиях У. Шекспира и Ф. Шиллера.

Мунэ Сюлли Жан (1841—1916) — французский актер-трагик; гастролировал в России в 1894 г. и прославился здесь исполнением ролей в пьесах Шекспира, Расина, Вольтера.

Сара Бернар — см. примеч. к рассказу «Меблированная Кармен».

Дузе Элеонора (1858—1924) — итальянская актриса; в 1891—1892 и 1898 гг. триумфально выступала в России.

Ермолова Мария Николаевна (1853—1928) — трагедийная актриса Малого театра с 1871 г.

...мучительно-страстные некрасовские стихи «Не говори, что молодость сгубила»... — Отрывок из стихотворения Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю...» (1856), ставший популярным романсом. На музыку положен Я.Ф. Пригожим, К. Керрибарджи и А.С. Фамицыным; вошел в репертуар А.Д. Давыдова.

«Ночи безумные» (1876) — стихотворение А.Н. Апухтина, положенное на музыку П.И. Чайковским в 1886 г., С.И. Донауровым и др. Романсы на стихи Апухтина создали около тридцати композиторов, в том числе А.Т. Гречанинов, А.С. Аренский, Ц.А. Кюи, И.А. Бородин, Р.М. Глиэр, С.С. Прокофьев.

С. **701.** *Джером К. Джером* (1859—1927) — английский прозаик, автор известной повести «Трое в одной лодке (не считая собаки)».

С. **703.** *Синдбад-Мореход* — герой сказок из сборника «Тысяча и одна ночь», памятника средневековой арабской литературы.

С. **703.** *Половой* — официант, подававший пищу и напитки в «русских» трактирах.

...ненасытный Гаргантюа. — Гаргантюа — герой романа французского прозаика Франсуа Рабле (1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль», шедевра мировой литературы.

С. **707.** *Арман Дюваль, Маргарита Готье* — герои романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями».

С. **709.** *У Кузнецова есть дешевые...* — Кузнецов Матвей Сидорович (1846—1911) — купец 1-й гильдии, фабрикант, на его заводах выпускалась фарфоровая и фаянсовая посуда.

С. **714.** *«На пороге к делу», известную пьесу Соловьева, поправленную А Н Островским.* — Из 23 пьес Николая Яковлевича Соловьева (1845—1898) «На пороге к делу» (1879) имела наибольший успех, благодаря участию М.Н. Ермоловой, создавшей на сцене Малого театра яркий образ сельской учительницы. Соловьев в соавторстве с Островским написал в 1876—1880 гг. еще четыре пьесы: «Счастливый день», «Женитьба Белугина», «Дикарка», «Светит да не греет», которые надолго вошли в репертуар русских театров.

С. **717.** *«Мадонны лик, взор херувима», — как определял Жюдик Некрасов.* — Из поэмы Н.А. Некрасова «Современники» (1875). «Зала № 3» поэмы посвящена всеобщему увлечению спектаклями легкого жанра, в частности в театре «Опера-Буфф», открывшемся в Петербурге в 1870 г. Здесь в 1875 г. блистала каскадная актриса из Франции Анна Жюдик (см. примеч. к рассказу «Меблированная Кармен»). Некрасов о ней писал:

Мадонны лик,
Взор херувима
Мадам Жюдик
Непостижима!
Жизнь наша — пуф,
Пустей ореха,
Заехать в Буфф —
Одна утеха.
Восторга крик,
Порыв блаженства...
Мадам Жюдик
Верх совершенства.

С. 718. *Бурже* — см. примеч. к рассказу «Деревенский гипнотизм».

...брошюрки Мантегацци... — Паоло Мантегацца (1831—1910) — итальянский врач, автор популярных книг «Физиология удовольствия», «Гигиена любви» и др.

...за кулисами Омона.. — «Омоны» — кафешганы и увеселительные заведения, называемые по имени их владельца — антрепренера, создателя театра фарса Шарля Омона (наст. фам. Соломон); в них обычно устраивались представления с опереточными и цирковыми номерами. «Омоны» были в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. В 1920 г. в омоновском здании открыл свой театр В.Э. Мейерхольд.

...редкая не знает гг. Ракшанина, Пазухина, Апраксина, Хлопова, «Синее Домино»... — Названы авторы популярных уголовных, авантюрных и мелодраматических романов: журналист и театральный критик Николай Осипович Ракшанин (ок. 1858—1903), Алексей Михайлович Пазухин (1851—1919), Александр Дмитриевич Апраксин (1851—1913), Николай Афанасьевич Хлопов (1852—1909), Александра Ивановна Соколова (псевд. Синее Домино; 1836—1914).

С. 719. *...городской голова Н.А. Алексеев... умер, застреленный сумасшедшим Адриановым...* — Алексеев Николай Александрович (1852—1893) — городской голова Москвы в 1885—1893 гг; был смертельно ранен 9 марта 1893 г. душевнобольным, явившемся к нему на прием в здание городской думы.

С. 721. *Баранов* Николай Михайлович (1837—1901) — генерал-лейтенант, в 1883—1897 гг. — нижегородский губернатор.

С. 722. *Лупанары* (лупанарии) — публичные дома в античности.

...пресловутому пороку поэтессы Сафо. — Выдающаяся поэтесса Древней Греции Сафо (Сапфо; род. ок. 650 до н.э.) жила в Митилене на о. Лесбос, где собрала вокруг себя кружок знатных девушек. Сапфо обучала их музыке, стихосложению, танцам. Поэтессе приписывают воспевание в стихах лесбийской (однополой) любови.

Современная цыганщина... которую воспевал Полежаев... — На музыку положены 12 стихотворений Александра Ивановича Полежаева (1805—1838).

С. 723. *Бенгальские розы, // Свет южных лучей...* — Из стихотворения Алексея Константиновича Толстого (1817—1875) «Цыганс-

кие песни». На музыку положены 128 стихотворений поэта, в том числе известные «Колокольчики мои, цветики степные...», «Средь шумного бала, случайно...», «Не верь мне, друг...», «Ты не спрашивай, не распытывай...», «То было раннею весной...», «Благословляю вас, леса...», «О, если б ты могла...».

С. 723. *...пресловутое «Крамбамбули» — один из последних остатков цыганской старины...* — «Крамбамбули» (фр. ликер; крепкий напиток) — популярная в XIX в. студенческая песня, автором которой считается Николай Михайлович Языков (1803—1846):

Крамбамбули, отцов наследство,
Питье любимое у нас,
И утешительное средство,
Когда взгрустнется нам подчас.
Тогда мы все: люли-люли!
Готовы пить Крамбамбули!
Крамбамбули, Крамбамбули!
Когда случится нам заехать
На грязный постоялый двор,
То прежде, чем спрошу обедать,
На рюмки обращу я взор!
Тогда хоть черт все побери,
Когда я пью Крамбамбули!
Крамбамбули, Крамбамбули!
Когда б родился я на троне,
И грозных турок побеждал,
То на брильянтовой короне
Такой девиз бы начертал:
Toujour content et sans sousi
Lorsque je prends Crambambouli!
Крамбамбули! Крамбамбули!

Текст воспроизводится по изд.: Языков Н.М. Полн. собр. стихотворений. Л.: Academia, 1934.

...Апухтин, слушая воспетый им «ньюф-ньюф-ньюф, припев безобразный»... — Неточная цитата из стихотворения А.Н. Апухтина «Старая цыганка» (конец 1860-х гг.).

...Пушкину, который плакал, слушая «Татьяну-пьяну»... — Имеется в виду Татьяна Дмитриевна Демьянова (1810—1977), знаменитая в 1820—1830 гг. цыганская певица. Ее рассказ «Пушкин и Языков»

записал и опубликовал Б.М. Маркевич (см.: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1985. С. 248—252).

С. **724.** *Сердце ли рвется, // Ноет ли грудь...* — Цитируется рефрен стихотворения Апухтина «Chanson a boire» («Застольная песня»; фр.), которое стало «цыганским романсом» (музыку написал А.И. Шишкин).

Бодлер Шарль (1821—1867) — французский поэт, предшественник символизма; автор сборника «Цветы зла» (1857).

Все, все, что гибелью грозит... — Из «маленькой трагедии» Пушкина «Пир во время чумы» (1832).

«Черная шаль» («Гляжу, как безумный, на черную шаль...»; 1820) — стихотворение Пушкина (музыка А.Н. Верстовского; 1823).

«Под вечер осени ненастной...» — Неточно цитируется первая строка «Романса» («Под вечер, осенью ненастной...»; 1814) Пушкина (музыка Н.С. Титова; 1829).

С. **725.** *Фокион* (402—318 до н.э.) — афинский государственный деятель.

С. **726.** *Полонский* Яков Петрович (1819—1898) — поэт, многие стихотворения которого положены на музыку. Среди них — «Затворница» («В одной знакомой улице...»; 1846), «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит...»; 1853) и др.

Журфикс (фр. jour-fixe определенный день) — день приема гостей.

С. **727.** *Грузины* — исторический район на северо-западе Москвы, между современными улицами Пресненский вал, Грузинский вал и Большая Грузинская улица.

Аристон — старинный музыкальный инструмент наподобие граммофона; мелодии, записанные на картонные круги, воспроизводятся вращением ручки.

...Гайдн довел его до жесточайшей хандры своими богоугодными ораториями. — Имеются в виду оратории «Семь слов Спасителя на кресте», «Сотворение мира» и др. австрийского композитора Йозефа Гайдна (1732—1809).

С. **728.** *...как Зембрих, Лукка, Дюран — в жанре оперном.* — Названы выдающиеся вокалисты: польская певица Марчелла Зембрих (1858—1935), австрийская певица Паолина Лукка (1841—1908), итальянская певица Мария Дюран (она успешно выступала вместе с Ф.И. Шаляпиным на сцене московской Частной оперы С.И. Мамонтова).

С. 728. *Женщина купалась в золоте, как Даная...* — В греческой мифологии Даная — дочь аргосского царя Акрисия, которому оракул предсказал, что он будет убит своим внуком. Акрисий заключил дочь в подземный терем. Однако туда проник Зевс в виде золотого дождя, и Даная родила Персея, который впоследствии непреднамеренно убил диском своего деда.

С. 731. *...переговариваются в ущелье Сьерра-Морены Хозе и Эскамильо.* — Эпизод из оперы Ж. Бизе «Кармен».

...на берег Маклая. — Берег Миклухо-Маклая на о. Новая Гвинея открыт и изучен этнографом и путешественником Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем (1846—1888).

Пушкинский Алеко, зарезав молодого цыгана и Земфиру... — Центральный эпизод поэмы Пушкина «Цыганы» (1824). Мариула — цыганка из этой поэмы.

С. 733. *Лейкин* Николай Александрович (1841—1906) — прозаик, издатель юмористического журнала «Осколки» (1882—1905), в котором дебютировал А.П. Чехов.

Хранителем традиций цыганского пения считается армянин Давыдов... — А.Д. Давыдов. См. о нем на с. 872.

С. 734. *...в лицее цесаревича Николая (Катковском).* — Императорский Лицей в память цесаревича Николая в Москве был открыт 13 января 1868 г. публицистами Михаилом Никифоровичем Катковым (1815—1887) и Павлом Михайловичем Леонтьевым (1822—1874).

С. 735. *...книги Гая...* — Гай — римский юрист второй половины II в., автор образцового юридического учебника «Институции» в 4-х книгах.

...сказки Боккаччо. — Имеется в виду книга новелл «Декамерон» итальянского поэта и прозаика Джованни Боккаччо (1313—1375).

ПРИЛОЖЕНИЕ

О БОРЬБЕ С ПРОСТИТУЦИЕЙ

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. СПб.: Просвещение, 1911. Т. 13. Очерки, составившие эту публикацию, печатались в 1899—1904 гг. в порядке дискуссии в газетах (в основном в «С.-Петербургских ведо-

мостях»). В собрании сочинений они включены как приложение к пятому изданию романа «Марья Лусьева».

С. 749. *Похоронили его по шестому разряду...* — Т.е. по самому низшему разряду, как хоронят нищих и бездомных.

С. 750. *Эраст Чертополохов* — герой-воздыхатель и любовник, а также бездарный стихослагатель из пародий и эпиграмм, популярных в первой половине XIX в. (Эраст — персонаж сентиментальной повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза). Вот одна из многих эпитафий, ему посвященнных: «Под камнем сим лежит Эраст Чертополохов. // Скончался в середу от слез, любви и вздохов».

...аркадских пастушков социологии... — Аркадия — центральная часть древнего Пелопоннеса (Греция), изображавшаяся поэтами и художниками как райская земля, заселенная пастухами и охотниками, обетованная страна идиллически-патриархального быта.

С. 751. *Вавилонская блудница* — Апокалипсис (гл. 17, ст. 3—6). Видение вавилонской блудницы в образе женщины, облаченной в «порфиру и багряницу», восседающей на багряном звере о семи головах и десяти рогах. Она держит золотую чашу, «наполненную мерзостями». Считалось, что семь голов зверя — это семь холмов Рима, его олицетворение.

Лернейская гидра — девятиглавое чудовище, убитое греческим героем Гераклом (второй из его двенадцати подвигов). Гидра похищала скот и опустошала земли в окрестностях Лерны.

...безгреховное царство обещано в апокалипсическом Новом Иерусалиме. — Новый мир, небесный Иерусалим изображается в последней книге Нового завета — Апокалипсисе (Откровении Иоанна Богослова, гл. 21).

С. 752. *Хилиасты* (от гр. chilioi — тысяча) — сторонники религиозно-мистического учения о тысячелетнем земном царствовании Иисуса Христа, которое должно наступить перед концом света.

Прозелит (греч. proselytos — пришелец) — принявший новую веру; новый сторонник, приверженец какого-либо учения, движения и т.п.

С. 753. *Пули «дум-дум»* — пули с неполной или надпиленной оболочкой, причинявшие раненым жестокие страдания. Впервые были изготовлены в предместье Калькутты (Индия) Дамдам и применены англичанами в войне против буров в 1899—1902 гг.

С. 753. *Бомбы миазматические* — т.е. с отравляющими веществами; будущее оружие массового поражения, которое начали применять в первую мировую войну.

С. 754. *Софизм* — ложное умозаключение, кажущееся истинным; словесные ухищрения, вводящие в заблуждение, основаны на преднамеренном нарушении правил логики. В Древней Греции во второй половине V в. до н.э. сложилась знаменитая афинская школа софистов. Софисты были также учителями философии, математики, ораторского искусства.

Гинекеи — женские покои в греческом доме.

С. 755. *...практикующих пресловутую Zweikindersystem.* — Имеется в виду принятая в Германии в конце XIX в. «система двух детей в браке», ограничивающая рождаемость.

С. 756. *...семейные поля покрываются волчцами и терниями...* — Волчец — род колючих сорных трав. Терние (церковно-книжн. устар.) — всякое колючее растение, а также отдельная колючка, шип, игла такого растения.

С. 758. *Одной Виргинией... меньше, одной Катюшей Масловой — больше.* — Виргиния — целомудренная дочь римского воина, убитая отцом, желавшим спасти ее от похотливых притязаний децемвира Аппия Клавдия. Считается, что это убийство послужило причиной низложения власти децемвиров («коллегии десяти»). Катюша Маслова — соблазненная аристократом героиня романа Л.Н. Толстого «Воскресение».

...то самое бросание камешков в воду, при коем Козьма Прутков рекомендовал наблюдать круги... — Из афоризмов Козьмы Пруткова; под этим коллективным псевдонимом выступали А.К. Толстой и братья А.М. и В.М. Жемчужниковы.

С.763. *...Соня Мармеладова, святая душа в оскверненном теле.* — Соня Мармеладова — героиня романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

С. 773. *...возражения со стороны аболициониста В.В. Зеньковского.* — Василий Васильевич Зеньковский (1881—1962) — религиозный философ, историк философии, психолог и церковный деятель. Будучи студентом Киевского университета, сотрудничал в газетах «Юго-Западная неделя», «Юго-Западный край» (здесь раз в неделю публиковал философский фельетон), «Народ», в жур-

налах «Педагогическая мысль» и «Вопросы философии». Активно выступал против отмены регламентации проституции (т.е. был аболиционистом).

С. 774. *«Если бы г. Икс...»* — Икс — один из 62-х псевдонимов Амфитеатрова; так он подписывал статьи в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Вестник Юга», «Одесские новости», «Киевская газета» и др.

Генне-Ам-Рин Отто (1828С. 777.?) — швейцарский историк культуры.

Гюйо Ив (1843—?) — французский государственный деятель, экономист, прозаик, публицист; один из организаторов Женевского международного конгресса против регламентации проституции. Опубликовал несколько аболиционистских статей, вызвавших полемику.

С. 777. *Марья Андреевна в «Бедной невесте»...* — Марья Андреевна Незабудкина — главная героиня второй комедии А.Н. Островского «Бедная невеста» (1852).

Максим Беневоленский — персонаж из «Бедной невесты» Островского.

С. 779. *«В мои лета не должно сметь...»* — из монолога Молчалина («Горе от ума» А.С. Грибоедова)

С. 780. *Безумству храбрых поем мы песню!..* — Цитаты из «Песни о Буревестнике» (1901) М. Горького.

Флоринский Василий Маркович (1833—1899) — акушер и археолог; автор многих трудов.

...заимствуя красивое mot у Н.К Михайловского... — Николай Константинович Михайловский (1842—1904) — публицист, социолог, критик, редактор-издатель (совместно с В.Г. Короленко) журнала «Русское богатство».

С. 783. *...вместо Пастеровых прививок.* — Луи Пастер (1822—1895) — французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии; создатель метода профилактической вакцинации (прививок) против многих инфекционных заболеваний.

С. 785. *...кремлевская речь царя-Освободителя и манифест 19 февраля 1861 года...* — Весной 1856 г. Александр II выступил в Москве с речью, в которой заявил: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой

начнет отменяться снизу... Прошу вас, господа, подумать о том, как бы привести это в исполнение. Передайте слова мои дворянству для соображений». А через пять лет подготовительной работы последовали Положение о крестьянах 19 февраля 1861 г. и манифест царя-Освободителя, объявлявший об отмене крепостного права.

С. **787.** *...ждать от Альфреда Великого до королевы Виктории.* — Альфред Великий (ок. 849 — ок. 900) — король англосаксонского королевства Уэссекс с 871 г. Виктория (1819—1901) — королева Великобритании с 1837 г.; последняя из Ганноверской династии.

С. **790.** *Русский мужик Бондарев, сочинивший замечательную книгу... во французском переводе («Le Travail»)...* — Донской крестьянин-сектант Тимофей Михайлович Бондарев (1820—1898), автор трактата «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледелия» (впервые в журнале «Русское дело». 1886. № 12). Бондарев доказывает, что земледельческий труд является единственно нравственным. Л.Н. Толстой одобрительно прочитал книгу и написал к ней предисловие, а также заметку об авторе для «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых» С.А. Венгерова. На французском языке книга Бондарева издана с сокращениями и под названием «Труд» («Le Travail»).

С. **791.** *...«Великий Инквизитор»...* — так называется глава в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», являющаяся его кульминационным идейным центром. «Смысл книги, — пишет он 19 мая 1879 г. К.П. Победоносцеву, — богохульство и опровержение богохульства».

С. **792.** *Владимир Карлович Петерсен* (1842—1906) — военный инженер, журналист. А – т — один из его 13 псевдонимов.

С. **795.** *...хороши на картинах Бордоне, Тициана, Веронезе...* — Итальянские живописцы эпохи Возрождения: Парис Бордоне (1500—1579), Тициан (1476/77 или 1480-е гг. —1576), Паоло Веронезе (1528—1588).

...женщинам хорошо и заработно живется, именами Самокиш-Судковской, Бем, М. Фигнер, Дузе, Сары Бернар, Савиной... — Елена Петровна Самокиш-Судковская — художница-иллюстратор; жена известного живописца и рисовальщика Н.С. Самокиша (1860—1944). Елизавета Меркульевна Бем (1843—?) — художница-акварелистка, автор 14 альбомов. Певица Медея Ивановна Фигнер — см. примеч. к рассказу «Первая пощечина». Сара Бернар (1844—1923) — см. примеч.

к рассказу «Меблированная Кармен». Мария Гавриловна Савина (1854—1915) — актриса Александринского театра в Петербурге, одна из лучших исполнительниц ролей в пьесах Гоголя, Тургенева, Островского.

С. 795. *...выводы о зажиточности русского мужика по состояниям Кокорева, Губонина...* — Василий Александрович Кокорев (1817—1889) — предприниматель, банкир; построил с Губониным Уральскую горнозаводскую железную дорогу.

...по талантам Кольцова, Никитина, Сурикова. — Русские поэты: Алексей Васильевич Кольцов (1809—1842), Иван Саввич Никитин (1824—1861), Иван Захарович Суриков (1841—1880).

С. 796. *«Таланты и поклонники»* (1882) — комедия А.Н. Островского. Мелузов — персонаж этой пьесы.

Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871—1913) — популярная эстадная певица, артистка оперетты (сопрано).

С. 797. *Кавальери* Лина (Наталина; 1874—1944) — итальянская певица (сопрано); в 1901, 1907—1910, 1914 гг. пела в Петербурге.

Маркони Франческо (1843—?) — итальянский оперный певец (тенор).

Баттистини Маттиа (1859—1928) — итальянский оперный певец (баритон), певший в России с 1893 г.

Мельпомена — в греческой мифологии муза трагедии, одна из девяти дочерей Зевса и Мнемосины.

...о платонической любви декламирует ныне «Принцесса Греза» с разрезом платья, как у «Прекрасной Елены»... — «Принцесса Греза» (1895) — пьеса французского драматурга Эдмона Ростана (1868—1918) о возвышенной любви провансальского трубадура; создана по мотивам средневековой легенды. Роль принцессы Мелиссанды — одна из лучших в творчестве Сары Бернар. В России драма была поставлена впервые в киевском театре Н.Н. Соловцова (1896) и петербургском Малом театре (1900). Прекрасная Елена — жена царя Спарты Менелая, славившаяся необычайной красотой, героиня одноименной оперетты французского композитора Жака Оффенбаха (1819—1880).

...учить супружекой верности приходит «Монна Ванна», в чем мать родила... — Эпизод из пьесы бельгийского драматурга, Нобелевского лауреата Мориса Метерлинка (1862—1949) «Монна Ван-

на» (1902). Драма с успехом шла на сцене Александринского, Малого, Нового и других театров. Трагическая роль Монны Ванны стала одной из лучших в творчестве В.Ф. Комиссаржевской.

С. **797.** *...целомудрие проповедуют «Рабыни веселья»...* — Имеются в виду героини пьесы «Рабыни веселья» Виктора Викторовича Протопопова (? —1916) и «романа из жизни падших созданий» «Рабыни веселья» Петра Петровича Дудорова, (1872—?), писавшего под псевдонимом П. Орловец, автора многих авантюрно-приключенческих, уголовно-сыщицких повестей, а также книг о животных и морских путешествиях.

...семейное начало читает публике проститутка «Заза»... — Имеется в виду героиня одноименной пьесы французских драматургов Пьера Франсуа Сэмюэля Бертана и Шарля Симона.

С. **801.** *.. очерк Салтыкова о супругах Чемезовых, лучшее изображение столичной четы мучеников белого труда...* — У Амфитеатрова неточность: речь идет об очерке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Черезовы муж и жена» из главы 2 «Молодые люди» в книге «Мелочи жизни» (1886).

С. **806.** *...В. Авчинникова: рекомендую... ее блестящий реферат...* — Имеется в виду брошюра В.В. Авчинниковой «Взгляд профессора Тарновского на проституцию» (1904). Вениамин Михайлович Тарновский (1837—1906) — русский венеролог, основатель первого в Европе русского сифилидологического и дерматологического научного общества (1885).

С. **807.** *...бойцы русского аболиционизма — Елистратов, Ахшарумов, Покровская, Окороков, Якобий, Стуковенков, Никольский, Жбанков...* — Из названных известны: А. Елистратов — автор книги «О прикреплении женщин к проституции. Врачебно-полицейский надзор» (Казань, 1903); Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов (1827—1910) — врач-гигиенист, публицист, автор книг «Проституция и ее регламентация» (Рига, 1889) и «Записки петрашевца»; М.И. Покровская — автор книги «Врачебно-полицейский надзор за проституцией способствует вырождению народа» (СПб., 1902); Михаил Иванович Стуковенков (1842—1897) — сифилидолог и дерматолог, профессор Киевского университета.

...исследовали Ломброзо и Ферреро... — Имеется в виду книга «Женщина преступница и проститутка» (рус. пер. Киев, 1902) италь-

янских психиатров и психологов Чезаре Ломброзо (см. о нем примеч. к рассказу«Уголовная чернь») и его ученика (и зятя) Гульемо Ферреро (1871—1942).

С. **807.** *Тард* Габриель (1843—1904) — французский социолог и криминалист.

Лоран Огюст (1807—1853) — французский химик.

Франц фон Лист (1851—1919) — австрийский юрист, представитель социологической школы уголовного права.

Бэр Карл Максимович (1792—1876) — естествоиспытатель, один из основателей эмбриологии, академик Петербургской АН.

С. **811.** *...не только до электричества, но и до Уатта.* — Эпоха электричества началась со второй половины XIX в., когда американский изобретатель Томас Алва Эдисон (1847—1931) усовершенствовал лампу накаливания (1878) и построил в 1882 г. первую в мире электростанцию общественного пользования. А до этого в 1774—1884 гг. англичанин Джеймс Уатт (1736—1819) изобрел универсальную паровую машину, позволившую в 1803 г. создать первый паровоз.

С. **812.** *...Мартино в своей «La prostitution clandestine»...* — Книга Л. Мартино «Тайная проституция». СПб., 1887 (пер. с фр.).

...начальство опечатало утюг и нитки у щедринского портного Гришки... — Эпизод из книги Салтыкова-Щедрина «Мелочи жизни» (глава 6 «Портной Гришка»).

С. **814.** *Огюст Барбье* (1805—1882) — французский поэт.

...пиетисты, вроде пастора Дальтона. — Герман Дальтон (1833—?) — немецкий богослов, в 1858—1888 гг. — пастор реформатской общины в Петербурге. Пиетизм (лат. благочестие) — религиозно-мистическое учение (главным образом в немецком лютеранстве), отвергавшее церковную обрядность, проповедовавшее религиозное подвижничество.

С. **815.** *...некрасовский Леонид провозглашал... «мысль центрального дома терпимости».* — Леонид — персонаж поэмы Н.А. Некрасова «Современники» (1875—1876).

Солон (ок. 640 — ок. 559 до н.э.) — афинский политический деятель-реформатор и поэт, вошедший в античные времена в число Семи мудрецов.

...по данным Кузнецова... — Имеется в виду книга М. Кузнецова «Проституция и сифилис в России». СПб., 1871.

С. **817.** *«Соня Мармеладова на лекции г-жи Лухмановой»...* — статья прозаика и публициста Владимира Галактионовича Короленко (1853—1921). Вл. К. — один из его псевдонимов. Надежда Александровна Лухманова (урожд. Байкова; 1844—1907) — прозаик, драматург, переводчица. Статью Короленко написал на основе отчетов о лекциях Лухмановой, посвященных воспитанию детей и борьбе с проституцией. Короленко упрекает «моралистку» в отступлении от евангельских заповедей и в том, что она «очень строга к бедным Магдалинам».

С. **818.** *...исследованных в... 1893—1896 гг. доктором П.Е. Обозненко...* — Имеется в виду книга П.Е. Обозненко «Поднадзорная проституция С.-Петербурга по данным врачебно-полицейского комитета и Калинкинской больницы». СПб., 1896.

С. **821.** *«Позорный промысел»* — книга А.И. Федорова, вышедшая в Петербурге в 1900 г.

С. **823.** *Густав Надо* (1820—1893) — французский поэт и композитор.

...мечта Фантины Виктора Гюго! — Героиня романа Виктора Гюго «Отверженные» белошвейка Фантина вынуждена торговать собой, чтобы обеспечить будущее своему ребенку.

СОДЕРЖАНИЕ

Бабы и дамы. *Междусословные пары.* Рассказы	5	827
От автора ко 2-му изданию	7	827
Домашние новости	9	827
Разрыв	33	828
Ребенок	48	828
Побег Лизы Басовой	63	829
Фармазоны	108	831
Меблированная Кармен	125	832
Острожная сказка	135	833
Елена Окрутова	142	833
Нелли Раинцева	152	833
Семейство Ченчи	172	835
В омуте	187	836
Мамка	198	837
Кельнерша	210	837
Питерские контрабандистки	230	838
Курортный муж	253	839
На заре	269	842
Мечта. *Житейская сказка*	275	842
Двенадцатое января	300	843
Умница. *Международная история*	304	846
«Альфонс»	331	847
Брат и сестра	348	848
Уголовная чернь	363	848
Первая пощечина	379	850
Зоэ	383	850

Мифы жизни	393	850
Горные письма	395	—
От автора	395	—
Дикий цветок	396	—
Скиталец	400	850
В царстве снов	407	851
Старый муж — грозный муж	412	852
Рассказы Датико	418	852
Об одном ущелье и грузинской Ундине	426	853
Между жизнью и смертью *(История одной секунды)*	435	—
Ариман	439	853
Сион	444	854
Конокрады	451	855
Мурад-разбойник	457	855
Италия	468	855
Катакомбы	468	855
Мертвые боги *(Тосканская легенда)*	486	856
Черный всадник	503	857
Измена *(Сицилийская легенда)*	522	858
Болотная царица *(Сказка мареммы)*	528	858
Стрелки в Тоскане	532	858
Падре Агостино	540	859
Русь	547	862
Наполеондер *(Солдатская легенда о старой гвардии)*	547	862
Сыщик	561	863
Деревенский гипнотизм	569	863
Тать в нощи *(Давний случай)*	604	867
Сибирская былина о генерале Пестеле и мещанине Саламатове	617	867
Прокопий	626	868
Стих о воскресшем Христе *(По сибирской легенде)*	636	869

Украйна	645	870
Ветла	645	870
Летавица	651	870
Черт	661	870
Казнь	681	870
Птички певчие *(Московские нравы)*	697	872
Катенька	736	—
Из старых дел	740	—
Приложение		
О борьбе с проституцией. *После лондонского конгресса*	749	878
Примечания	825	—

Амфитеатров А.В.
А 63 Собрание сочинений В 10 т. Т 3 Рассказы. Повести. Легенды / Сост, примеч Т Ф Прокопова — М НПК «Интелвак», 2001 — 892 с

ISBN 5-93264-029-4 (т 3)

Впервые в полном составе публикуется цикл новелл о междусословных браках «Бабы и дамы», сборник рассказов и легенд «Мифы жизни», а также цикл из московской жизни «Птички певчие (Московские нравы)» В приложении приведены очерки «О борьбе с проституцией», печатавшиеся в 1899—1904 гг. в столичных газетах.

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос-Рус)1

Амфитеатров Александр Валентинович

Собрание сочинений в 10 томах
Том 3
РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ. ЛЕГЕНДЫ

Составление, примечания
Тимофея Федоровича Прокопова

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *Наталья Шипилова*
Макет и верстка — *Ирина Ануфриева*

Подписано в печать 27.02.2001.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 47,04. Уч.-нзд. л. 36,3.
Тираж 3000 экз. Заказ № 4290.

Лицензия ЛР № 3071768 от 15 декабря 1998 г.

Издательство НПК «Интелваю»
113105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847. Тел. 127 3846
E-mail: iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета на ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 5-93264-029-4

9 785932 640296 >

В серии «ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ» вышли в свет:

И.С. ЛУКАШ

Сочинения: В 2 т.

Т.1. ПОЖАР МОСКВЫ. Т.2 . БЕДНАЯ ЛЮБОВЬ МУСОРГСКОГО

Иван Лукаш (1892—1940) — самобытный писатель, представитель первой волны русской эмиграции. В книгу вошли произведения разных жанров, созданные в разные периоды и посвященные различным вехам российской истории — от Петра I до Великой Смуты XX века. Каждый, кто прочтет книгу, найдет в ней пищу для размышлений о судьбе России. Все произведения, кроме повести «Граф Калиостро», публикуются в России впервые Книга содержит отзывы эмигрантской печати (В. Ходасевич, К. Зайцев, В Набоков, Б. Зайцев. Ив. Шмелев и др.) об Иване Лукаше.

Объем: 1 т. — 576 стр., 2 т. — 400 стр. Тираж 3000 экз.

Н. Н. БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ

Сочинения **КОГДА РУШАТСЯ ТРОНЫ...**

В книгу включены два приключенческо-авантюрных романа Николая Николаевича Брешко-Брешковского (1874—1943), представителя первой русской эмиграции Его сравнивали с А. Дюма-отцом и Ж. Сименоном, о нем тепло отзывались А. Блок и А. Куприн. Его романами зачитывалась вся зарубежная Россия. Динамичные, остросюжетные произведения Н.Н. Брешко-Брешковского — увлекательное, легкое чтение и в наши дни.

Объем — 740 стр. Тираж 3000.

П.Н. КРАСНОВ

Сочинения: В 2 кн.

Кн.1. ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМ. Кн.2. ПОНЯТЬ — ПРОСТИТЬ

Петр Николаевич Краснов (1869—1947) — прозаик, историк, профессиональный военный. В двухтомник включены произведения, ранее не издававшиеся в России. В книге 1 публикуются приключенческий роман «Амазонка пустыни» и роман-утопия «За чертополохом» В романе «Понять — простить» (кн. 2) автор, активный участник и один из руководителей Белого движения, предлагает свою версию русской революции. В предисловии рассказывается о том, какую роль сыграл этот роман в судьбе шолоховского «Тихого Дона». В издание также включены отзывы писателей первой русской эмиграции о творчестве П.Н. Краснова

Объем· 1 т. — 608 стр. т. — 656 стр. Тираж 3000.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫПУСК
многотомных изданий:

А.В. АМФИТЕАТРОВ
Собрание сочинений В 10 т Т. 1, 2

Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938) — выдающийся представитель литературы Серебряного века и Русского зарубежья Блистательный бытописатель создал произведения, в которых нашла достоверное отображение российская действительность самой тревожной, переломной эпохи двух веков — конца XIX и начала XX. Еще большую известность Амфитеатрову принесли романы, повести, новеллы о трагедиях и радостях любви. Из них самыми читаемыми стали «Марья Лусьева» и «Марья Лусьева за границей», «Отравленная совесть», «Лиляша», трилогии «Виктория Павловна» и «Паутина», цикл новелл о межсословных браках «Бабы и дамы» С равной увлеченностью читали Амфитеатрова и взыскательные мэтры литературы, и широкая публика. Сегодня же эти прекрасные книги мало кто знает: ярлыки «писатель-белогвардеец» и «политэмигрант» надолго закрыли их от читателя. В заключительных томах Собрания публикуются мемуарные и литературно-критические статьи и очерки писателя из его обширного наследия (около 20 книг).

Объем: 1 т. — 845 стр., 2 т. — 750 стр Тираж 3000 экз.

ФЕДОР СОЛОГУБ
Собрание сочинений В 6 т Т. 1, 3

Федор Сологуб (1863—1927) — один из вождей русского литературного модерна, самый издаваемый (при жизни вышло три собраний сочинений), выдающийся прозаик, поэт и драматург — в посмертной судьбе оказался в списке несправедливо преданных забвению. В настоящем Собрании сочинений представлено все многообразие творческого наследия Ф Сологуба: романы, рассказы, пьесы, стихотворения. Отдельные разделы Собрания занимают публицистика Сологуба и воспоминания о нем современников. За основу составления томов принята концепция автора, осуществленная им в Собраниях, которые он готовил при участии жены, талантливой переводчицы и критика А.Н. Чеботаревской

В т. 1 вошли роман «Тяжелые сны». сборники рассказов «Земные дети», «Недобрая госпожа»; в т. 3 — роман «Слаще яда» и сборники рассказов «Книга стремлений» и «Книга превращений».

Объем: т. 1 — 664 стр., т. 2 — 736 стр Тираж 3000 экз.

